

**КАРЕЛ
ЧАПЕК**
**В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННОКОВ**



**СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
МЕМУАРОВ**



**СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
МЕМУАРОВ**

Редакционная коллегия:

В. Э. ВАЦУРО

Н. Я. ГЕЙ

Г. Г. ЕЛИЗАВЕТИНА

О. А. МАКАШИН

Д. П. НИКАЛАЕВ

В. Н. ОРЛОВ

А. И. ПУЗИКОВ

К. И. ТЮНЬКИН

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

**КАРЕЛ
ЧАПЕК**
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

Перевод с чешского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

И (Чехосл)
Ч-19

Предисловие

С. В. НИКОЛЬСКОГО

Составление и комментарии

О. М. МАЛЕВИЧА

Оформление художника

В. МАКСИНА

Ч 4703000000-368 138-82
028(01)-83

© Предисловие, коммента-
рии, состав, переводы,
оформление. Издатель-
ство «Художественная
литература», 1983 г.

О СБОРНИКЕ «КАРЕЛ ЧАПЕК В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ»

Вполне естественно, что читатели зачастую хотят не только глубже познать творчество любимых своих писателей, но и представить себе их личность, поближе познакомиться с их жизнью, их отношением к событиям и общественным процессам своего времени, с их вкусами, привязанностями, секретами творческой лаборатории и т. д. Отчасти такой интерес удовлетворяют статьи и книги критиков и литературоведов, научные и художественные жизнеописания. Но, конечно, ничто не может заменить живых свидетельств, словно восполняющих невозможность непосредственного общения и позволяющих пережить хотя бы подобие такого общения.

В нашей стране стало уже традицией издавать отдельными сборниками воспоминания современников о крупных отечественных писателях. Подобные издания, кстати говоря, практикуются далеко не в каждой стране, и в известном смысле их можно даже считать (так же как, например, и серию «Жизнь замечательных людей» или «Литературное наследство») своего рода счастливой находкой, свидетельствующей одновременно о своеобразии литературной жизни и ее уровне.

Однако до сих пор практически не издавались собрания воспоминаний о зарубежных писателях. В этом смысле книга, которую вы сейчас держите в руках, представляет собой по сути дела первый опыт такого рода. Надо, конечно, полагать, что он получит продолжение. Ведь если взять для примера даже только литературу Чехословакии (литературу Чехословакии, поскольку так сложилось, что эта первая книга посвящена чешскому писателю), то нетрудно представить себе, с каким волнением и горячим интересом наши читатели встретили бы собрание воспоминаний об авторе «Репортажа с петлей на шее», герое антифашистского Сопротивления Юлиусе Фучике, или всемирно известном сатирике и комиссаре Красной Армии Ярославе Гашеке, или об одном из лучших лириков XX века, «гейзере поэзии» Витезславе Незвале и т. д. (Пока что у нас появились в печати лишь отдельные воспоминания об этих писателях: Густы Фучиковой о Ю. Фучике, Й. Лады о Я. Гашеке и некоторые другие.) То же самое, разумеется, можно сказать и о писателях-классиках любой другой социалистической страны и любой другой литературы.

Собрания живых свидетельств о крупнейших писателях мира могут стать прекрасным дополнением к тому, несомненно лучшему в мире, переводному фонду всемирной литературы, которым располагает наш читатель.

В настоящей книге собраны воспоминания о всемирно известном чешском писателе Кареле Чапеке (1890—1938). Он обладал поразительно многогранным дарованием. Его перу была подвластна и проза, и драматургия, и поэзия, малые и крупные литературные формы, самые разнообразные жанры, стихия лирики и мастерство остросюжетного повествования, стиль эссе и разговорного диалога. Чапек блестяще владел искусством сатиры, пародии, юмора. Он внес немалый вклад в развитие мировой научно-фантастической литературы, социальной фантастики. Достаточно напомнить, что именно Чапеком было пущено в обиход слово «робот». Прозвучавшее впервые со сцены в пьесе Чапека «RUR» (1920), оно вошло затем во все языки мира и в международный научно-технический лексикон. Сейчас это слово знает каждый школьник и даже многие дошкольники.

Оригинальные научно-фантастические сюжеты, построение произведения по принципу философского парадокса, искусство сатиры использовались Чапеком для постановки и заострения больших проблем современного бытия. Его увлекательные произведения об искусственном человеке — роботе или об открытии эликсира жизни, о расщеплении атомной энергии и т. д. отнюдь не переносят читателя в даль грядущих веков, как это нередко бывает в научно-фантастической литературе. Необыкновенные события обычно вписаны у него в современность, что придает его произведениям совершенно особую атмосферу, позволяет с особой наглядностью вскрыть ту или иную проблему, выявить и продемонстрировать ту или иную тенденцию современной жизни, предостеречь об опасности определенных явлений.

Одним из первых в мировой литературе Чапек обратил внимание на симптомы дисгармонии между техническим и социально-нравственным прогрессом, на опасность уродливо однобокого развития и обезличивания человека — робота в век бездушного буржуазного расчета и технического стандарта. Задолго до того, как в литературе стала обсуждаться проблема непредвиденных последствий научно-технической революции, ущерба, наносимого природе и т. п., Чапек вплотную подошел к этим вопросам, что видно, кстати говоря, не только из его пьесы «RUR» и романа «Фабрика Абсолюта», но и из «Автобиографического предисловия» братьев Чапек, публикуемого в этой книге.

Все творчество Чапека проникнуто протестом против милитаризма. Писателя глубоко тревожили возрастающие масштабы современных войн. Еще в 1924 году в романе «Кракатит» Чапек предостерегал против опасности использования энергии атомного взрыва в военных целях, против опасности развязывания разрушительных сил, которые он уподоблял вулканическим катастрофам (само заглавие романа «Кракатит» образовано от названия вулкана Кракатау, извержение которого в 1883 г. было одним из самых страшных событий такого рода, удержавшихся в памяти человечества). Наше время еще более актуализировало призыв Чапека к политике разума в противовес «политике инстинктов».

Защита Чапеком гуманистических ценностей, хотя и не лишенная, особенно в 20-е годы, серьезных философских противоречий, а также иллюзий относительно буржуазной демократии, закономерно привела его в 30-е годы на активные антифашистские позиции. Образ псевдочеловека, человека без человеческой сущности, появившийся и раньше в творчестве чешского писателя, слился

теперь в его представлении с фашизмом, перерос в образ античеловека, символизирующего силы человеконенавистничества, агрессии, войны, смерти. Именно таков смысл собирательного образа саламандр-фашистов в памфлете Чапека «Война с саламандрами» (1936). Этот роман стал одним из самых сильных в мировой литературе обличений гитлеровской «животной доктрины», как ее называл чешский писатель. В пьесах Чапека конца 30-х годов «Белая болезнь» и «Мать» (последняя явилась и откликом на события в Испании) утверждается святое дело борьбы против фашизма, вплоть до пресечения его преступных притязаний силой оружия.

Помимо «стержневых» социально-фантастических романов и драм, в которых Чапек раздумывает о крупных проблемах современного общественно-политического и международного бытия, о судьбах человечества (само действие этих произведений развертывается иногда в масштабах всего человечества, а события охватывают весь мир), неизменной любовью читателей пользуются и другие произведения чешского писателя. Это и его путевые записки, в которых Чапек любит многообразие национальных проявлений созидательно-творческой деятельности человека и которые словно переливаются игрой светотеней — радости, грусти и юмора. Это и «апокрифы» Чапека, как называл он свои комические интерпретации и переделки известных литературных и легендарных сюжетов, исполненные то философской иронии, то актуальных параллелей с современностью, то озорного пародийного юмора. Это и романы Чапека «Гордубал», «Метеор», «Обыкновенная жизнь» — своего рода «философская трилогия» о сложности личности и человеческих отношений. Это и многочисленные рассказы и очерки, детективные, юмористические и лирические, изображающие разнообразные стороны общественной и частной жизни человека, его стремлений и его слабостей.

По-видимому, нет необходимости более подробно говорить о творчестве Чапека. Его произведения многократно издавались в нашей стране и хорошо известны нашим читателям. Дважды вышло на русском языке собрание его сочинений. Пьесы Чапека ставятся на сценах советских театров. О внимании нашей литературной общественности к его творчеству говорит и тот факт, что советскими авторами, помимо многочисленных статей, написано пять книг о творчестве чешского писателя. И все же они довольно неполно доносят живой облик Чапека-человека. Объясняется это отчасти тем, что никто пока не ставил перед собой цели создать именно жизнеописание Чапека. Кроме того, надо учитывать, что биография Чапека, в отличие, например, от биографии Я. Гашека или Ю. Фучика, не богата внешними событиями и внешним драматизмом. Он вел жизнь профессионального писателя, полную интенсивной внутренней работы. Драматические сдвиги совершались скорее где-то в сознании и в сердце художника. Живой его облик, богатство внутренней жизни вырисовывается более выпукло, пожалуй, именно из мозаики воспоминаний.

Перед читателями этой книги пройдет вся жизнь, вся судьба Чапека, начиная с детства и юности, раскроются многие стороны чехословацкой действительности 10—30-х годов нашего века, отмеченные такими событиями, как возникновение независимого Чехословацкого государства, образованного в 1918 году после трех веков иноземного гнета, тяжелейший экономический кризис 1929—

1930-х годов, когда Чапек участвовал в организации помощи голодающим детям, нарастающая угроза фашистской агрессии и трагическая година мюнхенского сговора, когда Чехословакия была выдана западными державами на растерзание Гитлеру. Антифашистская позиция Чапека, травля, обрушившаяся на писателя со стороны профашистских элементов, широко отражены в воспоминаниях современников, так же, как и реакция Чапека на мюнхенское предательство, Удручающие переживания, связанные с трагедией родины, были и одной из причин смерти писателя.

Книга знакомит с окружением Чапека, близкими ему людьми — родителями писателя, его сестрой, братом Йозефом, вместе с которым он создавал часть своих произведений (известный чешский художник и литератор, автор цикла антифашистских карикатур «Диктаторские сапоги», Йозеф Чапек погиб в гитлеровском концлагере в апреле 1945 г.).

Многих читателей, по-видимому, заинтересует история любви Чапека к актрисе Ольге Шайнпфлюговой, ставшей впоследствии женой писателя. Ее автобиографическое повествование особенно ценно многочисленными выдержками из подлинных писем Чапека.

Среди авторов воспоминаний — известные чешские писатели Франтишек Лангер, Франтишек Кубка, Карел Полачек, Анна Мария Тильшова, Эдуард Басс, художники, кинорежиссеры, деятели театра, кино, зарубежные почитатели Чапека — Ромен Роллан (присутствовавший некогда вместе с Чапеком на постановке его пьесы о роботах в пражском театре), Луи Арагон, И. Эренбург, Специально следует выделить статьи писателей-коммунистов Юлиуса Фучика и Ладислава Новомеского, которые не только стремились поделиться с читателями своими наблюдениями и мыслями, но и нарисовать обобщенную картину творческого пути Чапека во всей его сложности, высоко ценя талант писателя, его художественные свершения, но и не сглаживая заблуждений и противоречий, через которые он прошел, прежде чем найти свое место в антифашистской борьбе и создать вершинные произведения.

Воспоминания о Чапеке содержат богатый материал, относящийся к творческой истории многих его произведений, к его литературным взглядам, симпатиям и антипатиям. Он позволяет приобщиться к живой атмосфере неустанного писательского наблюдения и познания жизни, к чапековскому пониманию смысла и особенностей литературного творчества, наконец, просто к стилю его работы.

И еще одна отличительная черта книги. Многие из включенных в нее записок, очерков, зарисовок, мемуаров принадлежат перу писателей или, по крайней мере, людей, прекрасно владеющих литературным слогом и обладающих даром рассказчика. Если учесть к тому же нередкие вкрапления мыслей, высказываний, острот самого Чапека, то едва ли есть необходимость подчеркивать, что читателя ждет увлекательное чтение.

С. Никольский

ВОСПОМИНАНИЯ

КАРЕЛ И ЙОЗЕФ ЧАПЕК

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Занявшись сборниками «Сияющие глубины», «Распятие» и «Лелио», критики вспомнили и об этих прозаических мелочах, которые восемь-десять лет тому назад якобы *раздражали, приводили в ужас и утомляли* читателей разных газет. Они раздражали всем, вплоть до фамилии авторов, хотя она и не столь уж необычна. Толковали тогда, что писателей с такой фамилией вообще не существует, что это попросту блеф или удачный псевдоним, за которым скрывается один человек, некая гонимая миром личность, какой-то разорившийся банкир или, как говорится, человек с прошлым. Утверждали, наконец, что все это мистификация, а сами рассказы — переводы произведения неизвестного французского писателя.

За время, прошедшее с тех пор, авторам удалось доказать, что они существуют. Легенда их молодости развеяна. Читатели, которых некогда интриговал легкомысленный банкир и странник, были разочарованы. Прогоревший финансист, по-видимому, милее их сердцу, чем два мальчика, которые пускали в мир мыльные пузыри своей радужной фантазии.

«Мы принимали ваши непристойности всерьез, — могли бы возразить нам некоторые читатели, — и поэтому искали подходящего автора; нам и в голову не приходило, что все это только безудержная и бесцельная игра. По какому праву вы выказывали такую циничную опытность и дерзкую светскость? Откуда они у вас? И что вы, собственно, хотели этим сказать?»

Именно к *этим* читателям авторы обращаются снова и с радостью предлагают: «Примите и теперь наши непристойности всерьез. Мы никого не хотим мистифицировать; легенда о банкире фальшива с начала до конца.

Мы можем предложить другую легенду о происхождении «Сада Краконоша». Она не столь увлекательна, как прежняя, но зато она наша собственная. Недавно один неусыпный критик написал где-то, что своими первыми сочинениями авторы мало поведали о себе. Так вот мы с радостью восполняем этот пробел. Ведь никогда не поздно достичь взаимопонимания.

Сад Краконоша в узком смысле слова — это тот край, та врезающаяся в земную твердь долина реки Упы, по сторонам которой возвышаются величественные, сказочные, священные силуэты: Снежка, Козий хребет, Бренды, Жалтман, Гейшовина... Здесь вы встретите черные валуны, похожие на каменных идолов, а пермская глина красна тут, почти как кровь. Весной со скал и из леса струится серебристая влага, журчат ручейки и низвергаются потоки. И наверное, нигде на свете не цветет столько диких анемонов, богородициных слезок, вереска и чабреца, горького корня, толии и ятрышников, как здесь. Таинственно расцветает в Краконошах редкостный аконит и дикая лилия. Велика колдовская сила папоротников и диковинных хвощей. Там есть лес, в котором нашли клад арабских монет; туда вела Земская дорога; там, наверху, дружище, есть замок с полузасыпанной подземной темницей, где содержали узников, осужденных на голодную смерть; здесь в скалах князь Бржетислав повелел искать золото, а там в травянистой ложбине провалился под землю целый храм. А разве не поразительна и не прекрасна пещера с нежными сталактитами, которую однажды нашел ты сам? А кристаллы и мерцающие прожилки колчедана? А отпечатки доисторических растений на плитках каменного угля? Разве не манил тебя мрак пропасти? И разве не отважился ты забраться в давно заброшенную штольню, из которой непрерывно просачивалась ржавая вода? Я предпочту умолчать о еще более удивительных и прямо-таки невероятных вещах, но ты-то ведь знаешь, что все это правда.

Вон там — дом священника, где ты учился немецкому; но ты заглядывал и в родники, ловил саламандр и коротконожек, остерегался змей и отыскивал нарядную ящерицу, которую в народе называют девушкой-змеей. Наш священник давно уже почил в бозе, а ты живешь и вспоминаешь сад Краконоша.

Там твоему зачарованному взору открылся рай све-

та. Этим краем ты прошел спозаранку, не переставая удивляться, в сладкой истоме, растроганный, возбужденный всем тем неведомым, что мир открывает мальчишкам, потрясенным его таинственностью и красотой.

Промышленность. Но долина ощетибилась фабричными трубами и затянулась пеленой копоти и мглы. Фабрики шумно дышат паром и дымом. Грязь течет из них и плывет радужными масляными лохмотьями по горной реке, в которой перевелась рыба; хор визгливых и басовитых фабричных гудков встречает и провожает день. Нескончаемым потоком движутся синие блузы, пахнущие машиной, машинным маслом, джутом, крахмалом и текстильной пылью. И единственный человеческий запах — запах пота. Тогда тебе казалось, что все рабочие больны туберкулезом.

Ты сам — очарован и уstraшен машинами. Что влекло тебя в цехи огромных и шумных фабрик, где ты дрожал от страха и любопытства, когда машина начинала сострясаться и реветь, как связанный великан? Словно тысячи металлических москитов, пронзительно и тонко верещат веретена, оглушительно стучат ткацкие станки, свистят ремни, поет динамо, обжигает дыхание топки котла, сопит и чмокает паровая машина. Ужасен вид ощеренной пасти зубчатых передач, раздробивших уже столько человеческих пальцев. Самое сильное впечатление — маховик, огромное, блестящее, обагрненное маслом колесо с шипами, которое вращается безостановочно и бесшумно. Детская мечта и апофеоз: взобраться по тонким железным ребрам на самый верх фабричной трубы.

Горе жизни. Прижавшись носом и губами к оконному стеклу, ты мог смотреть прямо в стеклянные двери трактира, расположенного напротив, а зрение у тебя было прекрасное. Если ты столько раз бегал босиком по черной пыли рабочих кварталов (у тебя прекрасное зрение и чуткий слух), то никто уж не сможет убедить тебя, что в мире мало горя, порока, грязи и ужасов. Их так много, что словами не передать.

И тут же рядом, столь же часто и воочию, ты видел миллионеров, спесь, силу и богатство.

Дом врача. Дома ты ежедневно видел раны, болезни и умирание; твоим первым жизненным впечатлением был танец смерти. Смерть стояла в углу приемной, задернутая занавесом. Посетители очень боялись ее, но ты, изображая из себя героя, кощунственно подавал ей руку. Наверное, ни один мальчишка не видел такого множества раздавленных рук и ног, столько самоубийц, утопленников, ран, мучений и обнаженной, стонущей, хрипящей и кричащей, жгуче болезненной человеческой плоти. Прости, что я напоминаю об этом.

Сопровождая отца во время посещения больных и обследований трупов, ты исходил этот обширный край вдоль и поперек. Красивые дороги через холмы и леса вели к домам страданий; дома страданий оставались позади красивых дорог. Ты видел одновременно двойкий лик мира.

Экзотика. Говорят, что экзотика не для чехов, что мы льнем к своей стране, как тесто в деже. Конечно, это правда; но неужели вы, господа, никогда не зачитывались «Робинзоном Крузо», «Последним из моги кан» и Жюлем Верном? И разве сам ты не жил в Чехии и не было у тебя приятелей, таких же, как и ты, из которых один — и разве случайно? — подался к бродячим комедиантам, другой сгинул где-то в Америке, а третий затерялся в мире, став моряком? И ты был таким же, как они.

Книги. Признаться, первой книгой, которая захватила тебя, была не Библия и не героический эпос, а большое «Природоведение в картинках». Из этой книги ты почерпнул первые сведения о характерах мирных и грозных и научился подозревать коварство в каждом кусте, быть осторожным и бояться. Недавно А. Н. написал о тебе, что ты любишь змей, и ты был возмущен, ведь ты никогда не любил змей, они всегда вызывали у тебя брезгливое отвращение своей осклизлостью, спрятанным ядом и тем, что на солнцепеке они меняют кожу. Свою любовь ты отдал собаке, кошке, бабочкам, льву, слону и лирохвосту. Кроме того, ты читал все дозволенное и не дозволенное, лежа на животе под кроватью или раскачиваясь на ветвях в кроне ясеня.

Стать рабочим. Мальчик, который хотел быть шарманщиком, пожарником, капитаном или путешественником, плохо учился, и все решили, что толку из него не выйдет. Поэтому его отдали на фабрику. Он ковал железные скобы, делал подсчеты, монтировал машины, ткал бесконечные полотна для полотенец и скатертей и наконец над километрами солдатского тика, предназначенного для Китая, так затосковал по природе, что убежал с фабрики и стал художником, хотя и это пока что не принесло ему особого счастья.

Быть анархистом. Мальчику, который имел склонность к тихой жизни, страшно нравились ремесла. Но так как он был хорошим учеником, его отдали учиться дальше. В школе он очень быстро влюбился, писал под партой стихи, воевал с учителями и законниками и, попав в весьма невинный кружок анархистов, вынужден был вскоре покинуть негостеприимную провинциальную гимназию. Убеждения его были расшатаны.

Любовь и пол. А теперь, молодой человек, как вы ни краснейте и ни возражайте, я должен спросить вас еще кое о чем. О сердце, вечно влюбленное! Вспомните с волнением и с любовью — да, с волнением и любовью — тех, кто был для вас образцом красоты и верности, коварства и печали. В годы неспорченной юности вы писали о женщинах так жестоко и беззастенчиво! Постыдные свидетельства тому есть и в этой книжке, несмотря на тщательный отбор. Сердце, вечно влюбленное! Как вы могли тогда так писать?

Милостивый пан или пани! — не знаю, кто обращается ко мне с вопросом, — я охотнее повинился бы, чем оправдывался. Я не могу объяснить свое тогдашнее поведение ни неопытностью, ни жаждой мести, ни неутоленными желаниями; наоборот, я был тогда вполне счастлив. Но просто не хотелось так легко поддаваться. Вот, собственно, и все.

Как вы это писали? Мы до сих пор не знаем, как писали братья Гонкуры, братья Рони или как работают либреттисты. Мы занялись литературой очень рано, но зато в состоянии полного литературного невежества. Мы даже не подозревали, что у нас на родине писать

вдвоем — совершенно необычное дело. Мы приехали из провинции, где вместе росли; в Праге у нас не было даже друзей, и мы полностью были предоставлены самим себе. Мы писали сообща потому, что так нам казалось легче, и потому, что каждый из нас не доверял себе. Когда мы обязались раз в неделю поставлять в газету материал, то нашей заботой стало как можно быстрее и увереннее решать, что от нас хотят получить. Замысел чаще всего подсказывало чтение газет, событие дня, текущий момент и погода, форму — неискренность и молодость.

Авторы тогда даже не вполне осознавали, какими дикими и эксцентричными казались их вещи публике.

Литературные влияния. Если бы авторам пришлось откровенно перечислить, какие литературные влияния они испытывали, то обнаружилась бы их тогдашняя весьма убогая начитанность. Несомненно, они читали те книжки, которыми портила в те годы свой вкус вся молодежь. Их тоже коснулось очарование красивых глаз Мессалины Альфреда Жарри. Увлекали «Саломея» и «Дориан Грей» О. Уайльда; их трогал также Стриндберг, Гамсун и Гарборг, а позже Стендаль. Они знали Эдгара По, Бодлера и Гюисманса — иными словами, то, что в переводах было тогда доступно каждому человеку, не владеющему иностранными языками. Но много им говорили в то время также Главачек, Нейман и Дык — да простят они, что мы упоминаем их в этой связи.

И Прага. Сама жизнь. Прежде чем молодые авторы опомнились от удивления перед размахом большого города, от упоения его чувственной роскошью, от первого восхищения его огромными (казалось бы) перспективами, которые его электрическое искусство набрасывало на чистый экран их сознания, было уже поздно: эта книжка была написана. Так и осталась в ней лирическая очарованность и странный вкус, эксцентричная крикливость, контрастное освещение, увлечение вульгаризмами, радость новизны и наслаждения жизнью.

Дело критики выжечь на челе авторов клеймо литературных влияний, дело авторов — злиться, что тем самым у них умышленно выбивают почву из-под ног. Неоднократно случалось, что критика находила у нас «вли-

яния испанские, итальянские, французские, английские и американские» (к сожалению, почти всегда без более точного указания источников), так что мы выглядели самыми неоригинальными и самыми бедными авторами в Чехии. Однако на такую нечеловеческую скромность авторы не способны, а потому отправляют в свет и эти старые произведения как свидетельство о самих себе.

Астральное влияние Венеры в этой книге несомненно. Что касается литературных влияний, то авторы будут приятно польщены, если кто-нибудь из добрых побуждений отыщет интеллигентных и знаменитых крестных отцов для этих детищ литературного невежества, от которого авторы постепенно избавлялись.

Их дальнейшая жизнь уже не имеет особого отношения к этой книжке. Для них наступает пора новых событий, путей, занятий и интересов. Если путь их литературного развития показался некоторым критикам извилистым и нелогичным, то еще более извилист и нелогичен сам путь жизни. Думается только, что в ранней юности взору человека открывается слишком много и смотрит он смело, смотрит с удивлением и восторгом, и от этого все представляется ему несколько преувеличенным и искривленным. Лишь потом появляется внимание к вещам, наступает пора более пристального рассматривания и вслушивания. В ранней юности человек неясно чувствует многоликость и загадочность жизни и одолевает ее смелостью фантазии и желаний, обращенных в будущее; только позднее он научится наблюдать — наблюдать, даже если сердце дрожит и замирает от страха. Не ищите поэтому в нашей книжке того, чего в ней и быть не может. Это книжка ранней молодости, книга двадцатилетних.

Кто хочет избить собаку, тот всегда найдет палку. И, наоборот, кто хочет приласкать и погладить ее, у того всегда найдется приветливое слово. Так и с книгами... Вот вам на выбор несколько палок: книжка незрелая, фривольная, надуманная, рассудочная, нечешская, претенциозная, декадентская, парадоксальная, несерьезная, неестественная, поверхностная, устаревшая; а вот для сочувствующих — несколько добрых слов: книжка незрелая, лирическая, дерзкая, наивная, молодая, грустная и дикая.

ЙОЗЕФ ЧАПЕК

К О ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ «САДА КРАКОНОША»

[...] мальчишки, в детстве шалившие в отцовском саду, сохранили братское согласие и на других жизненных этапах. Нас с самого начала можно было видеть вдвоем и в садах литературы; а доказательством того, что и там мы вели себя отнюдь не как пай-мальчики, доказательством прямо-таки вызывающим, служит «Сад Краконоша».

В более позднем возрасте и на новой почве появилась возможность возобновить буйную дружбу мальчишеских лет. Мы немало веселились и ссорились, сочиняя сообща истории из «Сада Краконоша». В нашем сотрудничестве не было ничего искусственного. Нам и в голову не приходило, что мы следуем прославленным образцам, удивительным и необычным. Случилось так, что Карел Чапек написал какой-то рассказец, но, недовольный тем, что вышло, забросил его в дальний ящик. Мне стало жалко вещицы, и я кое-что в ней поправил. А потом все это заново переписал Карел. Под конец мы еще раз покорпели над рассказом оба. После чего сие изделие (не помню уж, под каким названием) было послано, кажется, в «Моравский край». Тут-то мы и решили, что, пожалуй, литературу нам лучше всего делать вместе.

Расхаживая по тихой Владиславовой улице или по Вышеградской набережной, мы обсуждали, что в течение следующей недели напишем для «Горкего тыдника», а позднее — для «Стопы». Достаточно было ничтожнейшего повода, намек на прочитанное в газетах, отклика на современную сенсацию, чтобы братское единомыслие затеяло оживленный диалог, напоминавший эксцентриаду, гимнастику или игру в индейцев; мы раз-

влекались иногда умнее, иногда глупее, стараясь превзойти друг друга в изобретательности; веселое и полное препирательств содружество постепенно обрело цельность, увлекательность и возбуждающую прелесть совместной игры в садах детства. Понятно, что таким образом мы легко впадали в рискованные крайности, о чем свидетельствует и «Сад Краконоша».

Разумеется, нам было приятно, когда плод этой игры появлялся в печати, и мы исподтишка наблюдали в кафе за читателями «Горького тыдника» — не слишком ли они хмурятся. Мы посещали тогда уроки танцев и побаивались, как бы барышня, нравившаяся нам обомим, в праведном гневе не отказалась танцевать с молодыми людьми, способными писать столь дерзкие и циничные вещи. Однако вскоре мы облегченно вздохнули, убедившись, что вовсе не так знамениты; мы были чрезвычайно довольны этим, ибо, по правде говоря, куда выше ценили в те годы успех у девиц, чем славу.

Насколько серьезно литературное творчество, мы отчетливее поняли лишь после того, как перед нами распахнулись двери «Пршегледа».

ИЗ КНИГИ «О СЕБЕ»

НАШ ВОДЯНОЙ

Наша мать Божена Чапкова, жена врача в Упице, была ревностной труженицей на национальной ниве и в годы, предшествовавшие Этнографической выставке, прилежно собирала народные песни, легенды, поверья, пословицы и поговорки упицкого края. Созывала старых бабок и дедов то из Гавловиц, то из Суховршиц, то из Ртыни — словом, со всей округи; они усаживались в заменявшей тогда жилую комнату просторной кухне, где в изобилии варился кофе, и дядюшки с тетюшками вспоминали, рассказывали, пели, стараясь перещеголять один другого. Мы тогда были маленькими шалунами, но, разумеется, не хотели пропустить зрелище, хоть нас и гнали вон, хоть и твердили, что мы мешаем. Мы садились на кухонную скамеечку и слушали; чего только не знали эти старики! Мы — то есть сестра Гелена, я и Карел (или Ичек, как его звали тогда), хорошенький мальчик с открытым от любопытства

ртом и глазами навывкате. Все это волновало нас и нравилось до чрезвычайности; тут жизнь обрела особую полноту; хорошо нам известные места заселялись сказочными существами — и ведь все это была истинная правда, ведь тех, с кем приключились самые невероятные вещи, даже называли по именам, Если говорят о национальной природе чапековского таланта, то именно здесь, в атмосфере народных преданий, мы и найдем один из корней этой национальной природы. Отсюда и вышел будущий Карел Чапек. Вспомним его сказки: что-то очень конкретное и поэтическое осталось в них с тех времен, когда он слушал, что и как говорили у нас в кухне старенькие дядюшки и тетушки. [...]

Я уверен, что впечатления молодости, а также цельная и прекрасная народная натура нашей бабушки, мельничихи Гелены Новотной из Гронова, в последующие годы воздействовали на богатую, сочную, пластичную и в то же время простую речь писателя Карела Чапека, оказав на нее основополагающее мощное влияние. Великолепный чешский язык Чапека в равной мере определили как высокая литературная утонченность и самодисциплина, так и народная мягкость и естественность выражения.

СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ, КАК...

Сегодня неделя, как я видел его — без сознания, в агонии — спускающимся в царство теней; ушел из жизни значительный и популярный писатель; все свидетельствует об этом: печаль множества людей, сообщения и некрологи в газетах, грандиозные похороны, — но я потерял родного брата, с которым был неразлучен, рост и развитие которого я наблюдал начиная с первых детских шажков.

Сегодня неделя... сегодня год... три года... десять лет... тридцать... сегодня почти пятьдесят лет... Сколько печали в том, что, беспомощные, бессильные в любви и тревоге, мы не можем постигнуть смерть! Слишком далеко уходит от нас, малодушных, тот, кто в смерти своей сливается с космосом.

«Присматривайте за Карелом, — говаривала нам, старшей сестре и старшему брату, мама, — Карел хрупок,

слаб, такие талантливые люди, случается, рано умирают». Как самый младший, он был любимцем, баловнем семьи; «воскресное дитя» — называла его мама, потому что во всем, начиная с первых школьных лет, ему сопутствовало особое счастье, особый успех и везение. «Ты; Йозеф, второй его папа, его воспитатель!» Ах, мамочка, мы присматривали за ним, но он убегал от нас, все время убегал, мы звали его, все звали: «Карел! Карел!» — а он словно не слышит, — и вот это случилось! Сегодня неделя, как случилось... Я видел: яростное уничтожение кусок за куском уносит его жизнь, я звал его, но помочь был не в силах. Прерывалось дыхание — я не мог отдать ему часть своего; слабело сердце — я не мог поделиться с ним своим; силы оставляли его. Я не мог перелить ему свои. Смерть уносила Карела — я не мог вырвать его из ее рук. Он был — и его нет больше, — где же он? Ах, бездыханное тело — лишь оболочка, лишь скорлупка!

Состоялись многолюдные похороны прославленного писателя, но теперь я один хороню своего брата, порой ничего не видя от слез. Мой брат был прославленный писатель, все говорят об этом. Но я думаю о наших детских, братских играх. О тех тысячах малых радостей, из которых соткано нечто самое существенное в жизни; о ее прелестной, буйной роскоши, какую может дать только благополучие и любовь родного семейного гнезда. О том, как мы росли рядом, вместе жили и понимали друг друга.

Карел, ни великие дела, ни холодное солнце славы, которое своим сиянием только создает возможность для появления черных теней, ползущих за любым светом, ни вихрь жизни, порой уносивший тебя так далеко, что ты уже не слышал наших зовов, не заставят тебя возвратиться назад; не заставят тебя возвратиться и те мелочи, для всех прочих несущественные, из которых слагалась теплая сердечная ткань нашей братской жизни. Ты оставил прославленное, получившее широкое признание наследие и оледенел, словно отрекаясь от всего. Как мне заставить тебя улыбнуться воспоминаниям о наших веселых детских проделках, если у меня самого они вызывают слезы?

Я, глупый, вспоминаю наш братский жаргон, говоря на котором мы достигли такого исключительного согласия. Он произрос из семейного лона, из нашего семей-

ного бытия; из прибауток дедушкиных и бабушкиных родителей; из цитат, аббревиатур и опечаток, найденных в книгах, которые мы читали с мальчишеских лет, цитат, применяемых самым несусветным образом и в самых неподходящих случаях; на память приходят наши синтетические слова, сложенные из двух, одновременно выражавшие и сам предмет, и его смешную или горькую изнанку; несуразные каламбуры, в которых мы старались превзойти самих себя; фейерверки остроумия и дадаистических бессмыслиц, которыми мы бредили, — всю ту искрометную буйную акробатику духа, которой мы к взаимной радости одаряли друг друга, и те грубоватые и циничные шутки, которые были призваны замаскировать слишком чувствительное и горячее братское участие. Вспоминаю самое братское в нашем братстве: наши улыбки, наши радости, наше братское счастье. Сегодня я один хороню тебя здесь; не думаю ни о славе, которую ты заслужил, ни о ненависти, которой ты не заслуживал, ни о чем из того, чем тебя сверх всякой меры окружила благодарная и неблагодарная нация; думаю только о тебе самом, о брате Кареле, о прелести нашего братства, о сердечном жаргоне двух родных и так тесно сжившихся братьев. Мы больше не будем «двумя стариками, поедающими арбуз», как мы себя окрестили, найдя в повести Гоголя этот образ, до того нам, мальчишкам, понравившийся, что, садясь вдвоем за стол, мы непременно вспоминали его. Нет уже на свете такого арбуза, который мы, два старика, могли бы съесть. Никогда больше не споем мы «Grolier, Grolier», никогда не споем наше «Sliochd, Sliochd dan nan goon» — тюленью песнь из преданья древних гэлов, такую грозную и могучую, что услышавший ее сразу погибал. А однажды в Париже, когда в сумерках уходящего дня после собственноручно состряпанного ужина нам вдруг взгрустнулось по родной Чехии, мы принялись петь стародавние бабушкины и народные песенки. Решили, что Карел будет петь тенором, а я басом; такого сочетания, сказали мы, такого двухголосия наверняка никто не переживет; потому мы и назвали свое пение «Sliochd». Всякий раз в такие вечера доходила очередь и до нашей любимой песни «Зеленые рощи». Никогда больше мы не скажем (ах, в последний раз я услышал это от тебя со смертного ложа): «Kóra!»—«Indé! Indé!»—«Kóra nanda!» («Го-

вори!» — «Нет! Нет!» — «Говори глупости!»); никогда больше не упрекнем друг друга: «Эх ты, неблагородный Бурда»... Я уже только лишь вспоминаю. Никогда мы не будем сражаться подушками, шлепанцами, суповыми ложками, деревянным пестиком... было нас двое мальчишек... Никогда... Никогда!

САД ВСПОМИНАЕТ

Мне известно, что некоторых людей возмущала и приводила в негодование садоводческая страсть К. Чапека. Кому сейчас интересны чьи-то садики? На свете есть вещи и поважнее! А кто-то, будто нет ничего более серьезного, играет и возится с цветочками! Безусловно, в известной мере эти люди правы: ни цветочек, ни садик не повлияют на ход мировых событий, ничего не изменят в ходе истории. Но в конечном счете результат оказывался один и тот же. Пока эти ворчуны, сидя в кафе, пытались влиять на ход мировых событий, Карел Чапек ухаживал за своим садиком. Разумеется, когда кончал главную работу, когда все остальное было уже сделано; просто-напросто ход мировых событий обычно налагает на людей обязанности, но все же оставляет и кое-какие житейские радости. Следовательно, тех, кого возмущал садик Карела Чапека и кто тоже не определил и не остановил хода истории, выводила из себя чья-то самая обычная житейская радость.

Но и без того для других, для тех, кто садика не имеет и за цветочками не ухаживает, рассказ о каком-то садике может показаться чем-то столь же бесполезным и обременительным, как повествование о чужих детях. В эту весну садик Карела Чапека расцветает без хозяина; вот почему, рассказывая о садике как бы вместо брата, а отчасти и в силу своей собственной потребности, поскольку моему мысленному взору еще представляется, как бродит по саду ушедший, как трудится он на его клумбах, — ведь для меня они — словно подмости призрачных диалогов, — я попытаюсь сделать эту главу приемлемой и для тех, кто никогда не рылся в садовой почве.

Мне вспоминается, как прежде в эту пору Карел свистел под окнами нашим условным свистом, хотя

свистеть по-настоящему в общем-то не умел. «Что случилось?» — «Иди взгляни, как у меня цветет анемон!» Этот анемон был его садовнической гордостью: анемон татранский, *Pulsatilla slavica*, можно сказать, в какой-то мере наш отечественный раритет; анемон — самое волшебное из всех волшебств, с двумя-тремя десятками цветов, огромных, шелковисто-фиолетовых, с золотыми тычинками, на которых пьяно покачиваются шмели. [...] Собственно говоря, я уже давно ходил любоваться этим прекрасным анемоном, но теперь нужно было нанести ему особый визит вместе с Карелом. *Здорово он у меня цветет*, верно? Господи, а как у *меня* цветет чилишник!

И тут я поднимал его на смех... Дело в том, что наши занятия садовничеством помогли мне сделать одно открытие. Я убедился в исключительном эгоизме, в невероятной мании величия, развитой у садоводов. Если несадовник увидит где-нибудь цветущий анемон, или сирень, или пионы, он скажет: «Посмотрите, какая красота, здесь цветут анемоны, цветет сирень, липы цветут...» Но у садовода все совсем по-иному; его язык полон неслыханного, доходящего до высокомерия эгоцентризма, гипербол, продиктованных стремлением присвоить себе весь мир. Расцвела *Pulsatilla slavica*. Нет! Скорее бросай все, иди взглянуть, как у *меня* цветет *Pulsatilla slavica*. Видишь, как у *меня* цветет сирень! Как у *меня* цветет липа! И если бы, скажем, в его саду росла гигантская секвойя, значит, это у *него* расцветет целая гигантская секвойя. Вот я и подшучивал над этим садовничьим эгоизмом, которого, впрочем, и сам был не лишен: «Никакой анемон у *тебя* не цветет!» — «Как это — у *меня* не цветет? Ты что, не видишь?» — «Вижу, но он цветет для себя, а не для *тебя*». — «Ладно, но ты только посмотри, как у *меня* цветет торица!»

Однако нужно признать, что садовники в этой своей эгоцентрической мании величия, которая охватывает как доброе, так и дурное, проявляют и справедливость. У *него* великолепно *цветет* вероника, но зато у *него* не цветет горная генциана, этот рододендрон у *него* *болеет*, а можжевельник у *него* *погиб*. И вот теперь, милый Карел, я должен тебе доложить о твоём садике: все у *тебя* после столь неблагоприятной нынешней весны всходит прекрасно. Только, как ни странно, как ни грустно, именно твой любимый анемон, твоя гордость,

погиб, завершил свой жизненный путь, видимо, тоже заболел и вместе с тобой исчез с лица земли! В нынешнем году он у тебя уже не цветет, но мы посадили тебе новый анемон. И *Cytisus kewensis*¹ тоже у тебя погиб, его еще в прошлом году здорово обглодали подлые мыши, и мы тоже посадили новый: бог даст, в будущем году он у тебя прекрасно расцветет. Бог даст, все взойдет в твоём садике, который ты так любил, даже после нынешней холодной весны садик у тебя расцветет чудесно. Ты ведь так это любил! А вместе с твоим садиком чудесно расцветет и вся твоя чешская отчизна!

¹ Ракитник Кью (лат.).

ГЕЛЕНА ЧАПКОВА

ИЗ КНИГИ «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА»

Отцу исполнилось двадцать восемь, когда его вновь привлекло родное Подкрконошье. Во всем этом крае разбросанных среди гор городков, деревенок и хуторов не было ни одного врача, кроме него, и ему приходилось с утра до ночи служить людским хворобам — он тянул свою лямку, как ломовая лошадь. В бричке с вместительными внутренними «карманами» он отправился на далекую мельницу за нашей будущей мамой и, несмотря на сдержанное сопротивление избранницы, вскоре привез ее в пустую квартиру старого барского дома.

Мама мечтала о романтических чувствах и так никогда и не примирилась с этим простым и бесцеремонным мужланом, даже не пытавшимся изображать первую пылкую любовь.

Отец был сильный. Выбрав девушку, добился ее и уложил в свою постель как основу и колыбель семьи, которой уже заранее принадлежала медвежья мощь его рук и его трудолюбие.

Он не умел быть лиричным, нежным; все в нем было просто, как в природе. И жена, по его представлениям, существовала для того, чтобы одного за другим рожать здоровых детей [...].

ИЗ КНИГИ «МОИ МИЛЫЕ БРАТЬЯ»

МЫ НАЧИНАЕМ ЖИТЬ

[...] Зимним январским вечером в Сватонёвицах откуда ни возьмись — скорей всего его вытащили из-под маминой перины — проворно и быстро появился на свет наш усердный младшенький Карел. Печа даже не проснулся, а я, почти четырехлетняя, ни капельки не испугалась: ведь крику было мало, а куски окровавленной

ваты мы каждый день видели в приемной папы; бабушка что-то пронесла в фартуке, с какой-то чужой тетей поплескала водой в ванне и затем вытерла крошечное тельце новорожденного. Вот и еще один мальчик!

Мы смеялись, радовались вместе с папенькой, словно этот малыш был даром небес: ведь маменька, тогда такая хрупкая, болезненная, все покашливала и быстро уставала, а теперь глаз не сводила с трогательного малыша и, преисполненная любви, пеленала и прижимала к себе белой рукой своего последнего, самого желанного, с первой минуты обожаемого ребенка. В нее словно влили ртуть; бывало, позовет нас и с гордостью показывает его, а смотреть-то не на что, один смешной хохолок черных волосиков на темени да карие, то и дело жмурящиеся глазки. Совсем не интересен был этот все время спящий братик, и казалось во сто крат занятнее нянчить куклу, упругую, словно тесто, или кидать мячик с золотыми звездочками а Печу: мы с ним не могли наиграться досыта. Иногда маменька приказывала нам покачать братишку, если он заплачет, пока она возится на кухне, и тогда мы, каждый со своей стороны, так дергали колыбельку, что в пол только отзывалось: бух-бух! Мы усыпляли его привычными словами стишка, которому нас выучила служанка: «Гоп-гоп, поела баба горох, а дед пшена от большого ума!» [...]

МЕСТА, ГДЕ ПРОХОДИЛО НАШЕ ДЕТСТВО

[...] Мы, двое старших, ничем особенным не отличались, я и Печа были обыкновенными шумными детьми. А наш младшенький и в самом деле был такой занятный, словно нигде и ни у кого не мог родиться подобный мальчуган. Он не выпускал маменькиной руки или селенил рядышком, цепко ухватившись за ее юбки, а днем, укрывшись ими, спал на полу на своей полосатой перинке. Маменька на него никогда не сердилась; у нее на коленях он чувствовал себя в безопасности, а она оберегала его от всего и обожала безмерно. Он подкупал и успокаивал ее своей послушностью, милым лепетом. А она всей душой стремилась к нему, жить не могла без сияющего взгляда этого хрупкого, для нее единственного существа и делала все, чтобы он, ничем не потревоженный, безмятежно порхал, как мотылек.

Как только он просыпался и вставал, она сразу обнимала и ласкала его, а мы, двое старших, только молча взирали на это. Ему тут же подносили «рогаличек» и «кофеечек», а нам совали рогалик и кофе. Потом он семенил к нам. Мы насмешливо указывали ему на кончик его полосатой перинки: «Эй, такой большой, а все еще ходишь с такой большой соской и без конца ее сосешь. Не стыдно тебе? Всю жизнь так и будешь? И не смей брать наши игрушки, у тебя своих полно!»

Карел пускался в рев, бежал жаловаться, и каждый из нас получал подзатыльник. [...]

МАЛЕНЬКИЙ КАРЕЛ

Как водится, наш младшенький подрастал, а вместе с ним возрастали и его жалобы. Стоило нам с Печей задумать какое-нибудь дело, он тут же бежал домой и своим пронзительным голоском вызванивал маменьке про наши намерения, пищал, что мы не хотим брать его с собой. Нелегко нам с ним было! Впрочем, его нельзя винить за это, еще малышом он жаждал поделиться своими наблюдениями, домыслами и представлениями, а на маменькины глаза он всегда был прав; для нее он был ангелом-утешителем, а мы — как нам казалось — изоглавшимися, непослушными балбесами. В конце концов нам оставалось только самим взяться за его воспитание, и мы так часто и долго твердили ему, что вовсе он не «мальчишечка» и не «Иченек», а обычный Ичек — «ябеда-берабида», «куриная гузка», что мало-помалу он помнел и перестал на нас жаловаться. Ему хотелось участвовать в наших играх, и, значит, жаловаться было нельзя. Однажды случилось так, что Карел великодушно промолчал и, приняв на себя вину Печи, получил хорошую трепку от папеньки, хотя, бегая с мальчишками, не он поломал прекрасный розовый куст, после чего безмерно кичился своей братской солидарностью. Он столько раз с гордостью показывал нам следы розог на попке и хвостал, что промолчал и пострадал ни за что, пока мы не сказали ему: «Хватит! Эка невидаль, один раз получить взбучку!» Мы были не изнежены и не сентиментальны, и почему бы не всыпать разочек этому развязному комаришке, маленькому глупышке? Тем более что он наверняка скоро опять ляпнет что не на-

до, а то побежит к папеньке с тревожным сообщением о нашем новом «грехопадении», и уж тогда нам несдобровать! Ведь даже бабушка в прошлый раз признала: «Ничего не поделаешь, такой болтунишка, чистый Гатарек, ему непременно надо выпалить все, что известно, а то и поболее!»

Знала ли бабушка какого-то болтунишку Гатарека или сама изобрела понятие «гатарковства»? Такого слова не было в словарях, не бытовало оно и в нашем крае, но навсегда осталось в семье и, слава богу, запахло в память Карела. Соображал он молниеносно и тут же делал вывод: «А если получится так, то что потом? А дальше? Что же в конце концов выйдет?» Ни безудержно оптимистичная сестра, ни во всем сомневающийся, склонный к пессимизму старший брат-фаталист, ни мечтательная и несправедливая маменька, ни здравомыслящий папенька не могли ему ответить. Не сумели сделать это ни жизнь, ни мир, и вечное «почему?», «а что потом?» беспокойного ребенка до конца жизни мучили и терзали пытливую мысль. Слишком много у него возникало вопросов. Вы слышите, как он без конца их задает?

Не только наш младший, но и мы, старшие, в детстве спрашивали обо всем, что творилось вокруг, интересовались тем, как это получается и что делается в городке и деревне, в огромном котле быстротекущей жизни, которая в то время была аскетически суровой. Папенька возил нас с собой и многое показывал, а дома мы изображали Карела, который с такой жадностью разглядывал все вокруг, и маменьку, что лишь изредка, издали, из семейного мирка, смотрела из окошка или с мнимого балкона на мелькавших, словно в кинематографе, людей и происшествия провинциального городка. Зато мы были ненасытными зрителями и хотели видеть все изблизи. Подобно античному хору, мы были свидетелями того, как жили обитатели почти каждого дома. Карелу мало было просто видеть; не в меру любознательный, дотошный и бесстрашный, маленький, как тихая, всюду сующая свой нос мышка, он все еще «сопереживал». Мы с Печей бегали смотреть на горн кузнеца и ковку лошадей, а Карел проводил в кузнице полдня, хотел видеть, как кузнец раздувает огонь мехами, калит железо и как, рассыпая искры, мягкое железо поддается клещам. Карел с раннего детства обожествлял

огонь, искры и яркие вспышки пламени. Его занимало, что кони терпеливо стоят, когда им подрезают копыта и прибивают подковы, он хотел видеть, как натягивают шины на колеса телеги и ослабляют дышло; переминаясь с ноги на ногу, с посиневшим от холода носиком, засунув руки в карманы, он подолгу торчал там и не мог наглядеться.

То бежал к колеснику посмотреть, как продвигается ремонт двух повозок, а затем дома с удовлетворением сообщал, что у одной телеги боковые решетки уже сделали, а завтра примутся за другую. Что там появился новый ученик, по имени Франта, пока он даже инструменты поднести не может, но ему у мастера уже нравится. Он сказал, что на обед у них была пшенная каша со сливами, а он ее любит, так что учиться ему уже охота!

Схватив какие-то наши вдрызг разбитые башмаки, он бежал напротив, к сапожнику, нашему главному благодетелю, ведь мы быстро рвали самую крепкую обувь, которую тот добросовестно чинил, после чего она здорово жала ноги, особенно в пятках и носках. А работа сапожника была тяжелой: весь день сидел он за низким столиком в своей единственной комнате, где тяжелый воздух был пропитан запахом кожи, краски, клея, еды и всюду развешанных пеленок. Вездесущему Карелу были известны все мелочи в этом доме: куда мастер положил чью-то бумажную мерку, куда сунул молоток, знал, что у него сломалось шило и на подошве мало гвоздей. Удивительно, как после всего увиденного он сам не научился чинить обувь. [...]

Не было ни одного уголка в лавках или мастерских, где бы не зазевался кто-нибудь из нас. Мы двое, постарше и поопытнее, прибегали домой вовремя, а Карела теряли без конца; порой приходилось обегать весь город, прежде чем мы натыкались на следы маленького брата, а затем и на него самого, страстно увлеченного бог знает чем.

— А где Иченек, разгильдяи? — кричала маменька вне себя от страха, когда мы возвращались одни. — Не пошел ли на речку? Где вы его бросили?

— Он остался у кузницы, не захотел пойти с нами.

— Ты, конечно, шлялась с девчонками, балаболка, а Печа баловался с мальчишками! И не стыдно вам яв-

ляться домой одним, без него? Бог знает что с ним может стрястись!

И на наши беспечные головы сыпались подзатыльники, а то и шлепки посильнее, а граненый, выступающий камешек обручального кольца, надо сказать, был твердый. Мы, как испуганные голуби, вылетали из гнезда на поиски Карела. А он мог оказаться в самых невероятных местах.

Иногда малыш стоял, перегнувшись, у фонтана и не мог наглядеться, как рябит вода от удара его прутика. Либо замирал у витрины с часами, ожидая появления кукушки, а то где-нибудь в уголке беседовал с мальчиком поменьше и пытался подружиться с Тигром, огромным псом мясника, глазел на птиц, подзывал к себе чужую кошку. Мы рысью бежали с ним домой и передавали маме, как дароносицу. [...]

Наше положение в школе очень ухудшилось, когда и Карел стал школьником. По способностям ему не было равных, для него все было просто, он размышлял по-своему и, не слушая, все слышал, обладая даром схватывать все на лету, вероятно, инстинктивно.

— Как только это ему удастся? — бурчал Печа, неся домой дневник, испорченный двойками за чистописание и черчение и тройкой за помарки в сочинении, потому что зачеркивал, писал и чертил слишком толстой линией. У Карела тетради были чистые, буквы мелкие, словно мушиные лапки, а рисунки сделаны быстро и с такой легкостью, с какою паук тклет свою паутинку. Жаль, что они не сохранились! Надув губы и высунув язык, он рисовал их играючи; рисунок был закончен в миг. Карел вполне заслуженно мог бы получать одни пятерки, однако у него хватало и четверок, потому что он постоянно играл и по дороге домой нередко терял «науку», а потом заливался слезами. Папеньке школьники доставляли немало радостей, да и забот. [...]

УЧЕНИЕ КАРЕЛА И КОЕ-ЧТО С ЭПИМ СВЯЗАННОЕ

Жаль, что идиллия эта продолжалась год, самое большое — два, и маменька снова принялась плакать, на этот раз из-за неподдельного страха: встал вопрос о Кареле и его учении.

— Слава богу, Ленча уже отучилась, ей остается только освоить шитье, стряпню и иностранные языки. Сколько она нам стоила денег и забот — и представить нельзя. А теперь — мальчики. Печа поступит в городское училище в Жацлерже, чтобы одолеть наконец немецкий, опять пойдет в третий класс. А вот Иченек — его пора определять в градецкую гимназию, но сами видите, как он еще слаб после тяжелой скарлатины: наверное, я скоро высохну от забот. Бог знает, каково мальчику придется у чужих-то людей, как с ним станут обращаться. Он сам говорит, что будет скучать. Ужасно боюсь я за этого ребенка, — плакалась маменька бабушке.

— Оно конечно так, ну да придумаем что-нибудь. Хочешь, я с ним поеду? У меня деньги есть, а на него пан доктор даст, как дал бы всем другим, мальчику надо хорошенько питаться. А уж если он со мной, то вам и беспокоиться нечего

Осчастливленная маменька тут же помчалась в Градец подыскать квартиру — и подыскала; маленькая темная кухонька, зато рядом — светлая большая комната с видом на окрестности. Это было в доме Кнепров на Малой площади; там бабушка с Карелом прожили четыре года. А веселая волшебница там вроде и впрямь колдовала: нашему одиннадцатилетнему любимчику жилось отлично, как дома. В дневнике он, например, записал так: «Сегодня прекрасный день, утром вызвали получать награду. Я гулял и не учился. На обед говядина, укропный соус, кнедлики, на ужин — ветчина, бабушкин кофе — ам, ам! — булка и ветчина — объедение!» [...]

В Градце бабушка ухаживала за Карелом, не щадя сил. Он был самой большой радостью ее жизни. Учился мальчик отлично, и она им безмерно гордилась, может быть, в его успехах даже видя и свою скромную заслугу.

— Учись, Кадличек, хорошо, на радость своим, как следует все вычитывай в книжках, — говорила она.

Он же читал что ни попадя; никакого отношения к урокам это не имело, а она между тем ходила вокруг на цыпочках. Наконец он отрывался от книги, и тут у них развязывались языки. Это был настоящий концерт, со-

стоявший из выдумок, шуток и народных изречений. От бабушки Карел научился отыскивать в повседневной речи простые, но сочные словечки, высмеивать свою и чужую сентиментальность, составлять анаграммы, играя со словами, словно жонглер с пестрым мячиком, и с добродушным сарказмом обсуждать проблемы и сомнения, которые его мучили. Без бабушкиного юмора и оптимизма ему пришлось бы пережить массу горестей и конфликтов, неизбежных в переходном возрасте; рядом с ней продлевалась счастливая пора его детства. Ведь этот неумный хлопотун, ненасытный зритель и слушатель мог и смел делать все, что вздумается. Бабушка воспитывала его ненавязчиво, мягко, он словно нежился в атмосфере беспредельной любви. Резвый, будто ласочка, он собирал, умножал и увеличивал свой духовный капитал, накопленный бесчисленными поколениями многих веков. Легонький и подвижный, как стрекоза над тростником, он своим хоботком высасывал все, что ему было по вкусу. Счастливым мальчик и прекрасные годы! [...]

САД КРАКОНОША И ХЛОПОТЫ С ПЕЧЕЙ

[...] У нас с Печей свободного времени оставалось мало, да и не тянуло никуда идти; меня маменька заставляла шить и помогать по хозяйству, а Печа предпочитал рисовать, чтобы набить руку. А вот подрастающий Карел прилип к папеньке и, навещая больных, объехал с ним весь наш край. Он слушал, как спокойно и разумно разговаривает врач с пациентом, и всегда знал, как кто себя чувствует. «Таким образом я лучше всего подведу сынишку к тому, чтобы он стал врачом и моим преемником», — радовался папенька; однако сына больше увлекала философия, и мы вместе разбирали учения античных философов и произведения писателей всех времен и народов. Карела уже не удовлетворяли знания отца, и у нас конца не было дебатам о прочитанном и виденном; неумный паренек нередко ставил отца в тупик своими вопросами.

— Даже не знаю, что давать ему читать, у нас полно книг, но далеко не все ему нравятся, а свои любимые он знает чуть ли не наизусть. Я выписал бы что-нибудь, да только вот что?

Карел покраснел от похвалы, и хохолок на затылке надменно встал дыбом.

— Да, папа, Тршебизским и Ирасеком я уже сыт по горло, а Немцову с Нерудой знаю от корки до корки. Придется тебе поломать голову, подбирая мне подходящие книги.

Подходящими оказались стихи Байрона и других поэтов, современные журналы, такие, как «Пршеглед» и «Модерни живот». Стихи Карел читал с огромным увлечением, играл в рифмы и даже пытался говорить рифмованными фразами.

Он развивался стремительно; особенно заинтересовал его модный тогда декаданс.

* * *

— Не знаю, что такое, но Кадличек все время где-то болтается. Совсем слушаться перестал. Уроки выучит, и опять какие-то встречи, скорей всего, с друзьями, не только днем, но и после ужина убегает. Не то чтобы со мной пошутить или в карты поиграть, как бывало; ему говоришь, а он тоже за словом в карман не лезет: «Вам этого не понять, бабуся!» Так жаловалась бабушка внучке, когда та приехала в Градец учиться кулинарии в местной гостинице.

— Не огорчайтесь, бабушка, ведь он по-прежнему отличник!

— А как же иначе, будь по-другому, я вашим и на глаза бы не показалась. Живется ему со мной хорошо, книжки бесперечь читает и без конца что-то строчит, наверное, уроки, а сам хмурый, словечка не вымолвит!

— Что произошло, Карел? Что с тобой? Признавайся! — пристала я к нему, когда мы остались вдвоем.

Он вспыхнул.

— Ради бога, ты-то хоть оставь меня в покое; что дурного в том, если мы задумали основать в гимназии тайное общество учащихся? А я его возглавляю, хотя там примут участие и восьмиклассники; после каникул начнем издавать ежемесячный журнал, и все стоят на том, чтобы редактором был я. Я уже собираю статьи и стихи, свои и чужие, хожу к ребятам, выбиваю из них обещанное. А бабушка суетится, бегаёт внизу в шлепанцах, все меня ищет и кричит: «Когда домой заявишься?»

Вот погоди, пожалуюсь папеньке, что ты то и дело где-то носишься, а время позднее, уже девять часов!» Пойми, ведь надо мной смеются!

— Ну и пускай, а ты не обращай внимания да радуйся, что она с тобой, тебе нигде не было бы лучше.

— Знаю, а что с ней станет, если ей сказать, что я влюбился! Такая красивая девочка! Я готов проводить ночи напролет под ее окнами. Ведь я уже не маленький, мне скоро четырнадцать. (Какое! Четырнадцать еще совсем не скоро!) Придется потерпеть, пока не отучу бабушку бегать за мной. [...]

КАРЕЛ У ЗАМУЖНЕЙ СЕСТРЫ В БРНО. ДЕТИ

Бедный Карел! Я всего лишь два месяца замужем, понемногу привыкаю к новой жизни и хозяйству, а от него из Градца пришло возмущенное, гневное письмо.

19 января
(1905)

Мои дорогие!

Последнее время я так занят, что не выбрался сестра за письмо, да этому препятствовал и ряд обстоятельств.

Сразу же по приезде маменька рассказала о том, что вы тревожитесь за меня; мне, конечно, было приятно узнать об этом, однако, за последние дни положение мое резко изменилось. С бабушкой чувствую себя свободнее, сбросил оковы, именуемые бабушкиными заботами; мы живем вместе, но независимо друг от друга, почти как чужие. Меня это устраивает вполне.

Что касается несчастной любви — тут тоже произошла перемена. Моя первая любовь окончила свое существование как раз пятого января 1905 года. И прекрасно! Обожаемая мной Марженка оказалась вполне, пожалуй, даже слишком заурядной, легкомысленной и кое в чем очень уж «разболтанной». Я рад, безмерно рад, что нашел в себе силы покончить с этим делом. Мне стало легче, моя первая любовь была не чем иным, как непрерывной цепью страданий. Как-нибудь я вам расскажу об этом. Последняя неприятность случилась со мной на рождество: я написал «ей» письмо, и оно попало в руки нашим. Вот тут-то они обнаружили всю свою мелоч-

ность. Фи! Мама с бабушкой показали себя! А папа плыл по течению, хотя ничуть не сердился за то, что я ее так пламенно люблю, и, кажется, даже сочувствовал мне. Но теперь, слава богу, все страдания позади.

В результате я стал спокойнее. Конечно, в то время все вместе взятое — любовь, волнения, ссоры с бабушкой — здорово потрепали мне нервы, но теперь это только *temperi passati*¹.

Есть обстоятельства, весьма скрашивающие мою жизнь. Это недавно возникшее большое и прекрасное движение среди учащихся. Особенно мощно оно в Градце.

Одним словом: здесь выходит отпечатанный на гектографе ежемесячный журнал гимназистов, конечно, тайно (хотя эта тайна, пожалуй, уж и не тайна); возник гимназический кружок самообразования, тоже, разумеется, тайный. Цели кружка велики и благородны, однако его очень легко могут разогнать. По особой, архиособой случайности в комитете оказался и коллега Чапек. Кружок достаточно большой, в нем пятьдесят членов из разных учебных заведений и один юрист. Председателем выбрали восьмиклассника. В задачу кружка входит всестороннее образование, в первую очередь изучение литературы, политики, искусства, современных наук и т. д., но ни в коем случае не анархизм; словом, движение это очень симпатичное, во всяком случае для меня, думаю, и для тебя тоже, доктор. С восторгом занимаюсь в кружке, в этой среде я чувствую себя счастливым. Мне нравится эта кипучая и содержательная жизнь, когда знаешь, что участвуешь в важном деле, а не влачишь дни буднично и бесцельно — раньше мне этого очень недоставало, отчего Градец казался таким скучным. Теперь я живу радостно и вдохновенно.

Думаю через год-два приехать в Брно. Надеюсь, что там буду жить так же интересно, как живу сейчас здесь.

Доктор, ты даже не представляешь, насколько я вновь стал честолюбив. Все остальное уступило место честолюбию — думаю, это совсем не плохо. Ответь мне, доктор, поскорее (пиши на гимназию, а не на бабушкин адрес, не хочу, чтобы она была в курсе моих дел, ведь ты ее знаешь). Сообщи, что думаешь о нашем кружке,

¹ Прошлое (ит.).

или, будь добр, посоветуй что-нибудь. Нашим об этом, разумеется, ни слова, это ведь можно понять. Думаю, ты с пониманием отнесешься к этому движению. И, значит, посоветуешь что-нибудь, пиши скорее, я уже заранее радуюсь твоему письму. Ты и Гелча единственные, кто поймет и одобрит наше начинание.

Ваш Карел,

Конечно, он получил от нас, молодых супругов, массу различных советов и предупреждений. Но как могли мы помочь его глубокому горю, излечить от неудачной любви к легкомысленной и кокетливой девочке? Все усложнялось тем, что виновником ее «измены» был его родной брат Печа. Возвращаясь то ли со свадьбы, то ли с рождественских праздников, Печа остановился в Градце. Он носил тогда элегантную шляпу под названием «котелок», у него уже пробивались усики, и выглядел он куда романтичнее и мужественнее, чем хрупкий Карел! Как неосмотрительный младший брат не распознал сразу, что он отвергнут? [...]

Ах, четырнадцатилетний Карел очень страдал от внутреннего смятения и неустройства современного мира! В конце концов беспокойный дух не выдержал, и свое критическое отношение брат излил в обличающих стихах (1904):

Пятнадцать лет брожу я по земле унылой,
И в жилах охладела кровь.
Осталось мне лишь горькое смирение,
Но уж не гнев и не любовь!

Поэтическая фантазия о пятнадцатилетнем блуждании его нисколько не смутила, он спокойно прибавил себе лишний год жизни. Мы поддразнивали Карела этими стихами всю его дальнейшую жизнь, исполненную трудов и постоянной спешки. Но именно тогда, в 1905 году, его градецкой карьере пришел конец. Сам директор гимназии вызвал его к себе; конечно, нашелся предатель, и все шишки посыпались на голову несовершеннолетнего «анархиста». Ему было заявлено: «Гимназия сожалеет, что вынуждена расстаться с вами. Вы были превосходным учеником, Чапек, но эти кружки и прочие ваши дела... могут вам лишь посоветовать уйти доб-

ровольно и поступить учиться в другом месте. Иначе вам грозит *consilium abendi*¹.

Пунцовый Карел поблагодарил за ясное указание и гордо вышел, его хохолок дыбом поднялся на темени. Увы, голубчик, надо не только уметь разглагольствовать и вести споры об анархизме, за свои убеждения приходится порой и пострадать! В пятый класс Карел поступил в Брно. [...]

Можно ли сказать о Кареле той поры, что молодость была в нем ключом? Нет, это был не ключ, а живой поток; робкий, деликатный, пытливый юноша с волшебной палочкой в худенькой полудетской руке, — где бы он ни ударил палочкой, тут же возникало нечто чудесное, чего мы жаждали и искали давно, но только тогда оно вдруг являлось нам.

Он был словно фонарик; своей исключительной наблюдательностью Карел освещал все потаенные чувства и уголки человеческой души. И тут его нельзя назвать скромным; тем самым он невольно подавал пример своей вконец растерявшейся сестре, однако я, вовсе того не желая, осталась далеко позади. Да и как иначе? Я бежала тяжело, спотыкаясь, туго воспринимала и, словно школьница, читала по слогам, в то время как он схватывал все молниеносно. Тем не менее говорили мы с ним обо всем без стеснения и откровенно; в то время мы прямо вторгались в современную литературу, блестящую и раздвоенную, богатую новыми идеями, дерзкую, беззастенчивую и прежде всего молодую.

Называлась она по-разному: декаданс, модерн, в ней находили дьяволизм, разбушевавшийся Эрос, новые варианты поэзии проклятья, эстетство и натурализм, мистицизм, скепсис — одним словом, все что угодно. [...]

Еще до приезда Карела в Брно я убедилась, насколько устарел книжный фонд библиотеки «Читательский кружок», где я могла брать книги; большинство интересных мы уже прочли дома, а переводы иностранной литературы были порой очень неровны.

Потому, ограничив расходы по хозяйству на несколь-

¹ Вынужденный уход (*лат.*).

ко крон, я тайком записалась в частную немецкую библиотеку, на которую для брненских чехов было наложено табу; как прекрасно было, ощущая смертельную опасность, в сумерках проскользнуть туда вместе с Карелом: ведь нас никто не должен был видеть, А дома мы быстро прятали книги под подушки.

Какие же клады мы открывали для себя! Вспоминаю чудесные книги скандинавских авторов, глубокие, чистые, трагичные и лирические вместе с тем, по-человечески теплые, несмотря на юмор, близкий к сарказму, — о, где бы еще мы могли прочесть нечто подобное! А находили мы их инстинктивно. Да и как иначе могли мы, непосвященные, ощупью, вода рукой по полкам, отыскать Гамсуна, Ибсена, Якобсена, Гарборга, Стриндберга, Лагерлеф и других авторов; из немцев — Рильке, Демеля, Гофманстала, Томаса Манна, первые книги которых только что появились. А упоительные произведения французских, английских и русских писателей! Денег на покупку этих книг у нас, разумеется, не было.

Мы были как два любознательных, восторженных и пытливых гимназиста, решивших не погибать от душевной убогости. Как хорошо, что для своего духовного развития мы не избрали наставниками кого-либо из окружающих, кто давал бы советы и руководил нами; да такого и не было рядом. Мы сами продирались через эти чащи и изобилие, Разговаривая на интеллектуальные темы, почерпнутые из книг, мы порой в шутку прибегали к народному диалекту, чем порой смиряли чрезмерное эстетство и сознание исключительности, сбивая со снобов спесь, словно головку чертополоха. Бог знает как это получалось, но все встречавшееся нам в повседневной жизни мы называли своими истинными именами.

Так прошли два года (1905—1907) нашей молодости. Обращение к источникам культуры, открытие красот литературы и музыки породили в нас непреодолимую тягу ко всему тому прекрасному и совершенному, что когда-либо было создано человечеством. Ах, как жаль тех лет, когда мы, голодные и страждущие, жили вместе и зачитывались сатирическими, полными бунта против невыносимых обывательских форм жизни произведениями.

У нашей приветливой квартирной хозяйки-немки, жившей прямо напротив Августинской улицы, рядом с

«Весной», мы с Карелом проводили за чтением вечера, а подчас и ночи. Карел играючи овладел немецким, так что родители могли быть довольны его пребыванием а Брно. Он получил блестящий аттестат — своих учителей Карел превозносил до небес — а кроме того, он постепенно освобождался от своего декаданса, всегда чуждого моему здравому смыслу, а мой муж составил ему протекцию и отдал для публикации в газету «Моравска орлице» и другие редакции его первые стихи. Карел ликовал! [...]

НАПРАСНЫЕ ОПАСЕНИЯ

Однажды осенним днем 1907 года пришло письмо от маменьки из Праги.

Милая Геленка!

Наконец-то мы вполне обжились в новом доме и, представь себе, так хорошо все устроили, что сами диву даемся. Знаю, что ты и твой милый муж были против нашего отъезда из Улице и вам, как мне кажется, было совершенно безразлично, что мы с папенькой там от ужасных людей совсем извелись; больной отец не выдержал бы и сошел в могилу. А теперь приезжай посмотреть на нас; мы очень довольны, мальчикам здесь все нравится, ведь у них опять есть дом; бабушка — и та не скучает, а только сетует, что до сих пор не видела твою малышку Геленку. Знай, что и для детей здесь хватает места, у нас полно кроватей. Приезжай поскорей!

Мы все здоровы и приветствуем вас обоих.

Твоя мама.

Мальчики передают тебе, что выставка импрессионистов из Франции очень интересная, Печа помогал ее устраивать, и оба ею гордятся.

Ох уж эти проказники! Оба казались больше чем довольны. Печа покинул скверную комнатенку на Платнержской улице, где еле сводил концы с концами и пререкался из-за долгов с товарищами, а Карел после слишком мягкой женской опеки попал под мужскую — папеньки и брата Печи. И в самом деле, самая большая и лучшая комната в квартире стала «мальчишеской», хотя даже там им было тесновато. Но они обжились, ведь столько школьных лет братья жили в разлуке. Ка-

рел был во власти своей экзальтации и чувств, теперь уже семнадцатилетних. Он уже писал, и не только в стол, а посылал в брненские журналы небольшие статьи и стихи, которые потом вошли в сборничек «Возбужденные танцы». [...]

Их цель — искусство! Но искусство требует самодисциплины, умения видеть и понимать, постоянного углубления в него. И оба брата — да, да — непреклонно стояли у его врат, не зная, с чего начать. Ими владела страстная жажда познать новое, неведомое, но им самим еще не ясно было, чего же они хотят. А как они стремились найти свою собственную, новую форму самовыражения! С первой минуты в Праге мне показалось, что братья усиленно ищут новые стимулы для своего творчества, еще только смутно предчувствуемые и тем более заманчивые. Они знали и верили, что эти стимулы пробудят богатую и захватывающую духовную жизнь, полную новых импульсов; уже тогда они вместе начали подбирать ключи к этому «не знаю, чего хочу». Полные буйства и молодых сил, подзадоривая себя, бросались они от одного эксперимента к другому. Совсем еще молодые, они вместе наслаждались произведениями искусства и прочитанными книгами, вместе рисовали и вместе мечтали. [...]

ПРОКАЗЫ

Почему память зачастую хранит мелочи, которых мы, в сущности, почти не замечали, а тысячи важных сцен и событий оказываются позабытыми?

О да, все мы тогда сохраняли простую и глубокую веру наших предков, что жизнь — это великий дар, и укрепляли ее взятыми на себя обязательствами. Согласно унаследованному нами представлению о добре, мы за все, что нам давала жизнь, справедливой платой считали готовность жить правильно. Мы полностью отдавали себе отчет в том, хороши или плохи наши поступки, и знали, что настолько владеем своим сознанием, что можем валять дурака, как только нам вздумается. Нам необходимо было израсходовать избыток врожденной энергии. Но на что? На шутки, остроты, бесцеремонность, добродушные насмешки, каламбуры и на проказы. [...]

— Ты чего спозаранку, словно угорелая, врываешься к нам в комнату и будишь нас? Кофе не кофе, не имеет значения. Придется заператься, пока не настанет наше «брдиди».

— Ради бога, что такое «брдиди»?

— Ну, постепенное пробуждение, когда ты уже не спишь, а лежишь с закрытыми глазами и прислушиваешься к шагам и разговорам. Прекрасное состояние. Даешь себе минуту или пять, а то считаешь до ста, только никакого насилия, нет, нет! После этого — день прекрасный! Только на школьника можно орать: «Вставай, и немедленно!» Наших от этого мы уже отучили, они знают, что у нас есть свое «брдиди», что мы его никому не отдадим, и все же в школу явимся вовремя.

Ура, молодые люди дружно пожаловали к завтраку, когда ложечки уже давно позвякивали в чашках, а за столом звенели детские голоса.

— Вот видишь, Карел, бельишко не соврало, — рассудительно заметил Печ а. — Говорил я тебе, что тот аноним уже пятнадцатый и будет брызгать слюной, но свою подпись не поставит, как уважающий себя критик, а предпочтет безобразничать в потемках.

О каком же правдивом бельишке шла речь? Да, конечно, о бельишке из приключенческой детской книжки, скорее всего, Купера. Старый, умудренный следопыт находит узелок с тонким, но испачканным бельишком похищенного ребенка и, не брезгуя, тщательно рассматривает его. И смотрите-ка, на рубашечке — богато вышитая графская корона! И тут же с исключительной находчивостью следопыт разыскивает след коварного похитителя и ребенка, сопоставляются доказательства, после чего раздается победный крик преследователей: «Эге, бельишко не соврало!» Тут же определяется степень вины и мера наказания. Братья смеются и поучают меня:

— Глупый случай, но отсюда мораль: никогда не оставляй грязного белья! Оно всегда выдаст хозяина.

Неустрасимо и быстро ступили они на свои потаенные индейские тропки и отправились открывать новые явления духа. Их символическое бельишко, предъявленное отнюдь не украдкой пред ясные очи общест-венности, было чистым и их собственным.

Позднее, в своем предисловии к «Саду Краконоша», они сами нашли несколько палок для всех, кому они по-

надобятся: «Кто хочет избить собаку, тот всегда найдет палку... Вот вам на выбор несколько палок: книжка незрелая, фривольная, надуманная, рассудочная, неческая, претенциозная, декадентская, парадоксальная, несерьезная, неестественная, поверхностная, устаревшая; а вот для сочувствующих — *несколько добрых слов*: книжка незрелая, лирическая, дерзкая, наивная, молодая, грустная и дикая».

Эту книгу совместно писали молодые, двадцатилетние, одержимые бесом, то шумно, а то погружаясь в молчание, они собирали корни, цветы и травы, пряные и экзотичные, известные издревле и рожденные только что в необъятном мире духовных ценностей; сначала их рвали охапками и затем тщательно выбирали лишь по горсточкам. Изю дня в день авторам приходило в голову что-либо необычное, чуть ли не чудесное, а все метафизически-гнетущее, пока оно преобладало, проскальзывало в силу собственной тяжести через это чудесное, и снова наступало облегчение, полное свежей бодрости и веселья. Ведь преобладала в них простая народная мудрость бытия, и братья не могли от нее отречься, ибо это сулило — а в творческом наслаждении это важнее всего — осуществление возможного и невозможного.

Два молодых коня паслись на лугах, по-утреннему свежих.

В следующий приезд в Прагу — а он последовал быстро — все уже было по-другому; я, совсем не чувствовавшая себя изгнанницей, застала двух молодых фавнов. Тщетно негодовал папенька: «Глупости, баловство!» Маменька, когда-то страстная танцовка, рассудила иначе: дескать, мальчикам давно пора появиться у Линка на танцах; нет, нет, она никак не хочет, чтобы ее сыновья остались неуклюжими слонами!

Я приехала как раз после заключительной вечеринки с котильоном: боже, куда девались провинциальные мальчишки!

Разыгрывая светских людей, они тут же начали хвастаться: принесли кучу замечательных бонбоньерок и лент, расшитых на концах золотом и блестками; пестрой гривой они свешивались у них с локтей до полу.

Господи, мои братья имели успех не хуже теноров

на сцене! Барышни предпочитали их во сто крат лучшим танцорам; еще бы, они так славно и остроумно болтали! А тут далеко не каждый мог с ними соперничать, разве что бабушка, но ее знали только домашние.

— А что вы собираетесь делать с этим нарядом и откуда все это взялось?

— Позавчера на вечеринке барышни нас так украсили; я выглядел, мои дорогие, как дружка либо Кецал из «Проданной невесты»! — похвалялся плечистый и статный Печа.

— А я нет? — ревниво спрашивал худенький Карел. — Кто из нас получил эти бонбоньерки, ты или я?

— Конечно, тот, кто больше всех развлекал девушек и провожал домой дочь известного кондитера и ее подружек, но ни одна из них, на мой взгляд, не блещет ни умом, ни красотой. Я предпочел пойти домой читать, а Карелу бросил ключи из окошка.

— А по-моему, лучше поменьше бантов и побольше конфет, вы только поглядите, милые, что за роскошь!

Мы дружно поделили конфеты, и бабушка, одобрительно кивая, жевала деснами свою долю конфет: ведь тут налицо была и ее заслуга. Кто другой смог бы смастерить галстуки с такой оригинальной вышивкой и так их накрахмалить? Мальчики выглядели элегантно, словно женихи.

Прекрасное время! Танцы! В ту пору я сама словно пускалась с ними в пляс, как будто снова становясь девушкой. Карел не очень увлекался танцами, зато Печа (правда, может, это только слухи) иногда яростно отплясывал «шляпак» на воскресных вечеринках, устраиваемых в предместье, но всегда крутил партнершу только в левую сторону. Карел смотрел на него, мурлыча одну песенку за другой. Может быть, помнил он и такую: «Вот до сих пор мое, а отсюда твое!» Если и знал, то лишь отрывки да еще мелодию. Ничего больше — ни себе, ни ему — Печа не позволял.

Маменька опять забеспокоилась; ведь папенька давно выздоровел и выглядит, как огурчик. «Не оставаться же на лето в Праге? Я не говорю о даче. Об этом и речи быть не может. Но тебе следует походить, может, найдется где свободная вакансия, или справиться в Обществе медиков, не нужен ли врач на каком-нибудь ку-

порте. Мы и с мальчиками прожили бы там задаром, и лишние деньги не помешали бы!»

Кажется, только два раза братья ездили летом с родителями на небольшие курорты. Один раз — в Сватый Ян под Скалой, в другой — в Святую Катержину на Высочине. Вот именно там Карел и влюбился без памяти в прелестную, милую девушку, и любовь эта была исполнена самой нежной поэзии, о чем мне доверительно сообщил Печа.

Мими из «Разбойника»? Возможно, именно эта девушка послужила ее прототипом, потом она исчезла и лишь гораздо позднее вновь появилась в образе Анчи из «Кракатита».

Но, по правде говоря, разве наш Карел походил на разбойника? Он был вовсе не из того теста, из которого его беспокойный дух, одержимый фантазией, создал Прокопа в «Кракатите». Лишь в том проявилась его мятежность, что ни Мими, ни Анча, ни татарская принцесса не смогли полонить его до конца, он искал таинственную незнакомку, скрывавшую свое лицо под вуалью...

БИЛОВИЦКИЕ ЦИКЛАМЕНЫ

Мы были безоглядно счастливы! И ничья ревность не была нам помехой; тщетно мамочка соблазняла своих сыновей поехать туда, где служил отец, напрасно за ужином хмурился и односложно отвечал мой ревнивый муж. Каждый год мы проводили наши летние каникулы в Биловицах, неподалеку от Брно. Всего две остановки поездом или примерно два часа пешком. Жители Брно пренебрежительно говорили, что у них там schön und billig¹. Тем не менее каждое воскресенье туда валом валили толпы людей, одетых, как туристы, собравшиеся в Альпы: парни — в коротких кожанках, с голыми коленками и в огромных тяжелых ботинках, девушки — в платьях немецкого покроя, с гитарами, украшенными лентами, перекинутыми через плечо, с толстыми рюкзаками, «хлебницами» и корзинами; из леса доносилось треньканье и переливчатое пение. «Das seien die Brunnes»², — говорили мы. Как мы смеялись над ними,

¹ Красиво и дешево (нем.).

² Они из Брно (нем.).

мы, простые и легконогие, уже обжившиеся в маленьком домике за деревней, открывавшей прелестную долинку Мелатина у подножия Врановских гор; перед домиком находился садик с беседкой, позади — крутой лесистый склон.

Ведь в Биловицах к подлинному детству моих дочурок возвращалось и счастливое детство двух братьев и их сестры. [...]

Сестре вменялось в обязанность музицировать на взятом напрокат пианино, которое каждый год при участии половины жителей Биловиц с большим трудом привозили из Брно; мужчины, галдя и отдуваясь, снимали его с телеги и заносили в домик на высокой меже.

А братья были ненасытны, бог знает чего только им не хотелось послушать: и классическую музыку, и самую современную, и патетическую.

— Шопена ты исполняешь хорошо, а вот Сука надо еще подучить. Удивительно, но в твоём исполнении нам все понятно, даже Шенберг. А теперь сыграй Шумана, знаешь «Aufschwung»? ¹ Как ты это переведешь? Взмах? Взлет? Да, да, прекрасный взлет в божий свет, ля-ля-ля я, — гудел Карел, отправляясь в беседку готовиться к экзамену... [...]

Отшвырнув томик философии, Карел пыхтел, кропал рифмованные, а иногда свободные стихи, иначе он не мог, его просто распирало от пылких слов, образов и видений. Вполне вероятно, что именно в то время он написал свое стихотворение «Спящая любовь»:

Есть жгучая страна, где, опаленный жаром,
Иссох я, и от жажды язык мой почернел.
Я бредил, и фантомы,
Сомкнувшиеся вокруг, дышали мне в лицо.
Любовь моя не знает и не узнает
Суровую страну ту с ее безумным жаром,
Где солнце так палит немилосердно,
Но душа ее никогда себе этого не представит,
Ибо, объята сном, она нежится в прохладе,
В лилейном холодке; в прозрачном свете
Среди цветов там спит любовь; но есть страна,
Где спит любовь среди цветов, где свет прекраснее

¹ Порыв (нем.).

Дневного света, что мысль баюкает,
И все представления, сны и забвения
Утихают; но разве нет страны,
Где спит любовь среди цветов?

Однажды Печа, вернувшись, привел с собой гостя; это был обросший, как фавн, и загорелый поэт С.-К. Нейман, автор стихотворного сборника «Книга лесов, вод и косогоров». Ему одному были ведомы все тайны необъятного края.

В руках он держал узелок и говорил с каким-то злорадством:

— Вы, поди, ходили по грибы и принесли только сыроежки, подберезовики и два-три боровика? Я тоже бродил с четырех утра и глядите, что вам принес. Ах, поганки? Да это настоящие трюфели!

Ну да, мы впервые видели эти «трюфели», маленькие, скользкие, темно-коричневые.

Да где они растут? Где их искать? Мы предвкушали истинную радость проникновения в незнакомые места.

— Растут они под землей и лишь в одном месте. Мне одному о нем известно, но я никому не скажу. А вы даже не ищите понапрасну. — И он гордо выпрямился, ведь только он властвовал в этом лесном царстве, один он!

Из трюфелей сделали соус и еще какой-то гарнир к жаркому по фантастическому рецепту гурмана Печи.

Поэт остался в Брно и стал часто бывать у нас. Мы бесконечно много разговаривали о литературе, искусстве, об исправлении плохо устроенного мира, спорили так, что от жарких дискуссий у всех полыхали уши.

Чего же все-таки недоставало нашему летнему житью в Биловицах? Жизнь здесь была естественной и простой, однако был у нее один — и весьма существенный — недостаток. Она продолжалась слишком коротко, всего две недели, и, хотя это повторялось из года в год и двухнедельных отпусков накопилось довольно, каждый был незабываем. Братья охотно приезжали сюда, а мне всякий раз удавалось так устроить встречу на вокзале, а потом совместные ужины, что мой муж и отец моих детей всегда примирялся с нами, хотя и ворчал: «Надо иметь утиный желудок, чтобы переварить ваши разговоры».

Но мальчиков уже снова ждала работа и нетерпеливая маменька. [...]

ДЕНДИ

[...] Дома я начинала приставать к мужу: «Я соскучилась. Все знаю, но хочется побывать в Праге, повидаться со своими!» [...]

В Праге меня ожидал сюрприз: что произошло с моими братьями-проказниками? Один за другим они тихо и чинно вышли в переднюю встретить меня с детьми и при этом выступали весьма степенно.

— Привет, мальчики, как вы себя чувствуете и что поделываете? — Я кинулась их целовать и протянула им руку; они осторожно взяли ее и, поклонившись, поцеловали кончики моих пальцев.

— Вы что, сдурели, глупцы? В чем дело? — спросила я, собираясь вlepить им подзатыльник.

— Проходите, мадам! — Они церемонно открыли дверь и стали с обеих сторон ее.

Войдя в комнату, я разглядела их получше; вроде они, но какие-то другие.

— Карел, отчего ты небрежно завязал галстук? — укоризненно заметил Печа.

Бог мой, да что же это такое? Ведь вместо удобного воротничка у него на шее был доходящий до ушей манжет; и без того детское лицо Карела покраснело, и он выглядел теперь, как ученик начальной школы. У Печи был точно такой же воротничок, на обоих — узкие в талию костюмы, ботинки с квадратными носами, ухоженные ногти — одним словом, денди, а не Ичек и не Печа из биловицкого леса.

— Разве нельзя было сказать мне это раньше, а не теперь, в присутствии дамы? — недовольно ответил Карел.

Я прыснула со смеху.

— По какому случаю вы порядком хлебнули и строите из себя шутов?

— Не говори ты с этими комедиантами, они теперь все время так себя ведут, я сам скоро от них спячу, — проворчал папа.

— Нет, мадам, извините, все наоборот. Мы еще никогда не были столь уживчивы, ибо наконец ведем себя, как истинно культурные люди. Нам надоела вульгарная фамильярность и тривиальность. Мы хотим, чтобы с на-

ми обращались так же изысканно, как мы обращаемся с другими. Вот и все.

Вот оно что! Они увлекались Гюисмансом и Уайльдом, проклятыми поэтами со всей их эксцентрично-изысканной манерностью. [...]

Понизив голос, они шепотом рассказали мне о своих грешных планах; планы эти были осуществлены до мельчайших деталей. Как раз на другой день, поздно вечером, после спектакля, греховно шурша юбкой, в кафе явилась Изабелла. Там, в большой компании друзей-художников, уже сидели оба доморощенных лорда и напряженно всматривались в нее. Она остановилась неподалеку от их столика, накидка распахнута, глаза сияют. Как быть?

Словно две тонкие пружинки, оба брата подскочили и учтиво, с глубокими поклонами поцеловали ей руки, потом небрежно попрощались с друзьями и, по-свойски подхватив даму с обеих сторон, величественно удалились. Все говорило о том, что они близко с ней знакомы и что она на сто процентов являет собой женщину их типа.

— Как все смотрели на вас, Карел! Двое мужчин на одну женщину — то-то будет зависти, сплетен и разговоров!

Только на улице, довольные удачным розыгрышем, они громко расхохотались. И в самом деле, с тех пор на курсе разнёсся слух о двух «развращенных» братьях, а они не раз с таинственным выражением лица, то и дело поглядывая на часы, вдвоем покидали компанию художников.

ЗАПИСНАЯ КНИГА ОПА

[...] опасения папы оправдались: мальчики «пустились в разгул».

Мало того что раз в неделю они компанией ходили в «Унионку», но Печа иногда позволял себе полбутылки вина. Он легкомысленно затаскивал в ресторан и Карела, где они заказывали самое что ни на есть фирменное блюдо: ростбиф с гарниром. «Но только кровавый, пан официант!» — просили они, а во время еды вспоминали Гоголя: «Два старика, поедающие арбуз», и вели беседу низкими мужскими голосами. Дома, разумеется, таких

изысканных блюд маменька не готовила, не подавала кровавый ростбиф на серебряном блюде со всевозможным гарниром, но...

— Что у нас сегодня на ужин, мама?

— Что? Гуляш? Не пойдет! Нас не ждите, мы где-нибудь поужинаем!

Однако остатки гуляша смиренно доедали на другой день, зато вечером наслаждались роскошью большого света и ошастливили себя безумством экскурсии в Утопию. Много ли оставалось у них после этого на книги и журналы?

Они следили за тем, что появляется у букинистов, а папа ворчал:

— И это называется книги? Тащат домой старое барахло. Гроша ломаного не дал бы за них и на полку ни за что бы не поставил; хотел бы я знать, какой переплетчик возьмется переплести это рванье. Да и для чтения эти современные книги не годятся!

Зато потом мальчики писали — боже мой, какие эротические наставления и фривольные, дерзкие вещи сочиняли они и где-то даже нелегально печатали, скритники!

Дело было опасное, и старый папин приятель, доктор Тихий, тоже живший в Праге на пенсии, был не на шутку встревожен.

— Послушай, Тони, — сказал он папеньке, — эти твои парни... Не стоило выделять им их доли. Тут как-то в кафе я читал их опусы, и скажу тебе... ведь они извращены и уж куда опытнее нас, двух врачей и старых мужиков, во всяком случае, когда дело касается женского пола. Они у тебя прожигают жизнь, несчастный ты человек. Прекрати это, пока не поздно, а то, не дай бог, подцепят что-нибудь.

— У меня самого голова кругом идет, чертовски трудное дело, без конца ворчу; а когда читаю их книги, становится еще страшнее. На самом деле-то у них все это показное, ведь они, честное слово, никуда глаз не кажут, разве что в кафе посидят, я спрашивал Патеру, говорит, заказывают только кофе, ну, Печа иной раз попросит к закуске вина, а Карел ни-ни, у него и от кофе уши горят. Этот и без того подсакивает, будто мячик, во время своих бесконечных дебатов и разговоров с товарищами. Речи быть не может, чтобы они вовремя Домой не явились. [...]

Вспоминаю период декаданса в литературе, стиль модерн в изобразительном искусстве, которые, догорая, все еще ослепляли фальшивой красотой невозмутимые мещанские круги, вспоминаю плакаты, книжные обложки и иллюстрации, тот особый мир, пытавшийся выглядеть изощренным и демоническим.

Помнится и все остальное: уайльдовская изысканность обоих космополитов — двух Дорианов Греев, чем они пытались, пожалуй, поразить пражских буржуа; так они вели себя довольно долго; не отдавая себе в том отчета, они старались освоить утонченную форму в отношениях с людьми. Сохранились их фотографии тех лет: задумчивые, одухотворенные глаза и лица! Кажется, даже их руки, такие аристократически-узкие с самого рождения, живут самостоятельной жизнью. [...]

ЧАСТИЦА МИРА

Жизнь продолжала ткать свою основу, и челнок с готовностью подхватывал и заново надвигивал изрядно помятые волокна.

Братья решились и сообщили нам, что — увы! — ничего не поделаешь, подошло время ехать учиться за границу на год или два, словом, пока хватит собственных средств. Несмотря на «бурный» образ жизни, они сумели накопить некоторую сумму, а сбереженные деньги все равно что заработанные; ну, там видно будет, на сколько хватит ренты этим удачливым молодым людям. Ведь перед ними открывался широченный мир с его обжигающим дыханием, и они, дрожа от нетерпения, стремились поскорее войти в него.

Тщетно проливала слезы маменька, пытаясь удержать их. Наконец она твердо объявила: «Вы не желаете признавать, что у вас впереди еще уйма времени. Ладно. Мне не понять, к чему этот слух. Но вот вам мое слово: жить будете только на свои средства, мы не прибавим ни кроны. И запомните, всюду жизнь дороже, чем дома. Уверена, что денег у вас на всякие фокусы не хватит и вы живо прикатите обратно!»

Отец отнюдь не возражал: он понимал, что родители сами предоставили сыновьям материальную независимость, а с нею и право распоряжаться ей по своему усмотрению. А вот подкинуть? Не из чего будет. Он рассуждал логично: соскучатся по дому — и вернуться.

Но волшебница-бабушка поскребла тайком в своих пустых карманах и сунула каждому по дукату. И они истратили их последними.

Поездка была обычная, студенческая: как все чехи, мальчики взяли с собой лишь самое необходимое.

Добросовестный Карел без всякого удовольствия поехал на полгода в Берлин, послушать курс лекций в университете. Там ему пришлось несладко; на фотографии того времени он похож на Чаплина из фильма «Собачья жизнь», настоящая карикатура на безнадежно растерянного и униженного человека. Он еще никогда не жил один среди чужих, в чуждой обстановке, да еще со своей чудовищной неприспособленностью к быту. Обстановка была не для него, и через несколько недель он сбежал в Париж, где Печа уже обжился, освоился и разыскал множество знакомых. Он даже ухитрился купить терпентин для живописи, долго не понимая, почему в Париже его прозвали «терербентин». Разумеется, братья стали жить вместе и поселились в дешевой гостинице под громким названием «Американский отель»; к счастью, гостиница находилась на улице Мосье ле Принц в Латинском квартале; для чешских друзей адрес звучал пышно, чем братья были очень довольны.

Из-за ограниченных средств обеда готовили дома, собственно, кухарил Йозеф, а Карел только мешал ему своими бесконечными советами. Надо сказать, что за это время Печа стал отличным поваром. «Поспорим на что хочешь, — хвастался он мне после возвращения домой, — тебе ни в жизнь не приготовить такой превосходный ростбиф, какой я делал; он прямо хрустывал, когда я сверху посыпал его четырьмя головками накрошенного лука. К нему я подавал еще салат и жареный картофель, который покупал в большом пакете. Мы частенько едали кровяную колбасу, она очень дешевая, я поджаривал ее на плите и творил из нее чудеса. Сама по себе она не аппетитная, сначала я пробовал жарить ее на масле, добавлял коренья и чеснок, все равно толку было мало. Наконец меня осенило, — сказочное изобретение, великая идея! — я как следует полил ее уксусом! Карел сроду ни на что так не набрасывался, а до этого в рот ее не брал. В самом деле, я отлично его кормил!» Однако по виду того и другого этого сказать было никак нельзя; вернулись они худющие, как борзые.

В своих «Воспоминаниях» Йозеф рассказывает, как после таких домашних ужинов они, стосковавшись по дому, пели старинные народные и бабушкины песни. И как-то вспомнили; «Что же мы никогда не поем «Гролиер, Гролиер»? Это был наш победный клич, когда, одолев трудные препятствия, мы достигали цели, а слово это мы вычитали и взяли на вооружение из книги Хилери Беллока «Четверо путников». Распевая песни, сочиняя стихи и вспоминая разные шутки и легенды, эти путники весело и безропотно шли пешком в свой родной край Сассекс, тогда как нам троим было суждено бродить и скитаться в других краях. Ах, как мы любили эту книжку!»

Эту книгу они нашли у меня, попалась им и другая, в ужасно скверном переводе, под названием «Ветер и волны», напечатанная под псевдонимом Фиона Маклеод. Песня тюленей из нее «Дан-нан-роон» в Париже была гимном тоски по родине для двух голосов; хотя, распевая ее самым потешным образом, они покатывались со смеху, отнюдь не напоминая действительно истосковавшихся парней.

В Париже у братьев было довольно друзей и знакомых, их компания встречалась в старом кафе «Флора». Но главное, — мальчики наблюдали; они не только смотрели глазами, но всем существом впитывали все, были упоены зрелищем и не могли насладиться им до конца.

О, как много увидели, оценили и изучили глаза двадцатилетнего Карела! Позднее, через двадцать шесть лет, он написал и сопроводил рисунками «Письма из Италии» (1923), «Письма из Англии» (1924), «Прогулку в Испанию» (1930) и «Картинки Голландии» (1936); в «Путешествии на Север» он написал: «Я знаю, словами этого не передашь. Словами можно говорить о любви или о полевых цветах, но не о скалах. Разве можно описать пером контуры или форму горы? Да, все это нужно увидеть и «ощупать» глазами, ибо зрение — божественный инструмент, лучшее свойство нашего мозга; глаза чувствительнее кончиков пальцев и острее лезвия ножа, чего только не постигаешь глазами! Слова... Слова — ничто, и я не стану больше рассказывать о том, что видел». И в другом месте: «Я видел чересчур много». А он хотел видеть все вблизи и расстался с Йозефом, чтобы воочию познакомиться с океаном и французскими

портами на Севере, но быстро вернулся, решив на последние деньги съездить в Испанию и — предел мечтаний! — отправиться из Марсея к африканским берегам и хотя бы коснуться их почвы ногами!

Жара, нехватка денег и болезненные укусы прожорливых марсельских клопов — нет, хрупкий Карел этого не выдержал и, нигде не задерживаясь, прямым путем сломя голову примчался обратно. Куда обратно? Конечно, в Биловице, и там, охладив в Свитаве искусанное до болячек тело, несколько дней подряд отсыпался и только после этого ожил вновь! [...]

«Гролиер!» — воскликнули мы с Карелом, когда проводник объявил: «Wilowitz — Биловице!» — и загорелый, похудевший Йозеф выскочил из вагона. Сколько было радости!

Как выразить мимолетные, неуловимые моменты, составившие большую часть нашей жизни в 1912 году? Два путника вернулись и привезли с собой богатую добычу, хотя на песчаных и пыльных дорогах, по которым они прошли, следы их уже затерялись. Но увиденное ими запечатлено и живет, доступное всем; вы найдете это в книгах, написанных братьями совместно: в «Саду Краконоша», «Сияющих глубинах» и в произведениях Йозефа: «Лелио» и «Для дельфина», а также в его рисунках и картинах.

Зрели впечатления и у Карела, он стал переводить современную французскую поэзию, из которой его более всего интересовал Г. Аполлинер и Тристан Корбьер. Годами возился этот большой ребенок с их стихами, открывая для себя сокровища, сокровища чешского языка. Это воодушевило его на восторженные гимны и дифирамбы. Он понял, что на нашем языке можно выразить все, все, что есть на этой земле.

Вернувшись летом из-за границы, он сразу, как был, в потрепанной одежде, даже не остановясь в Праге, приехал в скромные Биловице, где на его костюм никто не обратил ровно никакого внимания. [...]

[...] В марте 1912 года мой практичный муж, который всегда знал все, что происходит в Моравии и Словакии, сделал отцу деловое предложение: «У меня для вас есть весьма интересное сообщение: речь идет о Трен-

чанских Теплицах. Я там побывал недавно. У них нет врача-чеха, одни мадьяры, а единственный славянин-поляк собирается уезжать». [...]

Родители, исконные жители пограничных областей, оживились: собственно, какой смысл из года в год скитаться по захолустным маленьким курортам, попадая на случайные должности?..

Немолодые патриоты отправились в Теплице, там им все сразу пришлось по душе. [...]

ИНТЕРМЕДИЯ В СЛОВАКИИ

[...] Словакия вдохновила нас на длительные прогулки по чудесным местам, которые во время своих разъездов открыл отец. Он не стал модным врачом богатых пациентов, приезжавших туда со всего света, а лечил простой люд окрестных деревень, где его коллеги даже не показывались; часто они даже не знали, как туда проехать, да в словацком крае никто и не понимал их языка. Горный край и простые люди — стихия отца. Он скоро свел знакомство с сотнями людей, и они с раннего утра толпились не только в приемной, но в коридоре и на лестнице, а маменька терялась, не зная, что делать с кувшинами молока, узелками яиц, творога и масла, которыми больные расплачивались с врачом, ибо деньги водились у них редко.

Днем отец брал нас с собой к больным, и мы видели закопченные кухни бедных домов, где дым очага валил через дыру в крыше, а котелок с варевом, подвешенный на цепочке, раскачивался над пламенем открытого огня, разведенного прямо на камнях. Проходили мы мимо старинных мочильных чанов, наполненных связками льна и конопли, восхищались почерневшими станками с начатой штукой полотна и белой шерсти; станок занимал чуть ли не всю избу. Дети спали на дубовых сундуках, их сон сторожили уложенные в сундуках чудесно-расшитые одежды, прекрасные ткани и длинные-предлинные пояса; если их туго обмотать вокруг тела, то они напомнили бы блестящие латы. Мы тесно соприкасались с нищетой, все свое имущество эти люди создали сами из того, что давала им природа; надо было лишь присмотреться, выбрать, приложить силы и своими руками произвести все необходимое из куска дерева, из глины, пряжи, соткать из домашней шерсти изысканное худо-

жественное изделие, насколько это позволяли незамысловатые материалы. Липовый кувшин у колодца выглядел, как драгоценность из слоновой кости, изгиб его ручки, орнамент, измышление древней народной фантазии пришли к нам из глубины веков, покоясь на представлениях древних о наиболее удобной форме для руки. Только мостик через ручей или речку связывал с остальным миром эти затерянные деревушки и хижинны, где среди людей царила искренность и дружба.

Нам приходилось делать и длительные переходы по бездорожью, то вверх, то вниз, через пастбища, через горы и леса, где, как говорят, еще до недавнего времени бродили медведи; наткнулись мы на заповедное пристанище кабанов, разрытое и затоптанное; оно произвело на нас очень сильное впечатление, нам казалось, что в воздухе стоит запах диких зверей. Так мы добрались до Валашской Белы художника Манеса и продолжали путь дальше. Возможно, он, как и мы, увидел на высоком холме призрак женщины в чистой, полотняной, собранной в жесткие сборки юбке; вместе с мужчиной они возводили крышу пастушьей хижины—колыбы — из грубо отесанных бревен, сильно пахнувших древесиной; полом им послужит утрамбованная земля, но в хижине будет тепло, а свет будет мягким от желтоватого дерева и голубизны неба и леса.

Как далек отсюда механизированный, гудящий моторами и машинами мир! Как не хотелось в него возвращаться, не хотелось верить, что счастье человека разъезжает в экипаже, катящем по гладкой дороге. К самым красивым местам можно подойти только пешком.

Жаль, очень жаль, что в те поры Карел еще не надумал делать собственные рисунки к своим повествованиям!

ДАМА С РОЗОЙ И ДРУГИЕ ПОЛЕМИКИ

Да, да, работа работе рознь; в этом я убедилась во время очередного приезда в Прагу зимой, когда папенька осудил братьев и не ободрил их ни единым словом.

— Печа, неужели только ради этого ты ездил в Париж и в Испанию? Жаль впустую потраченных денег и времени! Неужто ты думаешь, что какой-нибудь сумасшедший повесит твою мазню у себя дома? Кубизм, но ведь это ужас! Не ясно, то ли это задница, то ли голова,

а рисовал ты неведомо чем, поленом или локтем! Вот Карел, тот, по крайней мере, учится, и среди сумасбродных его вещей, написанных под твоим влиянием, есть и вполне приличные. В жизни не видел ничего кошмарнее. И это картина? То, что ты рисовал в школе, куда ни шло, все же виден рисунок и добросовестная работа. А от этих — тьфу, просто тошнит! К тому же ты стараешься выразить некую мировую скорбь, а спрашивается, к чему? Жаль зря потраченных лет, но Карела ты мне не порти!

Разгневанный отец плюнул и вышел, хлопнув дверью. Не следовало предоставлять материальную независимость Йозефу, не будет из него толку. Хотя бы Карел...

— А вот я докажу папе, — Йозеф молча, со злостью стал натягивать новый холст. Вскоре на мольберте засияла другая картина: портрет незнакомки с весьма глубоким декольте, в густых локонах — роза с капельками росы, а на пионовом бархате сборчатой робы зачарован не только мягкий блеск, но и любая ворсинка материи. Отойдя в сторонку, проговорив: «Бр-р!», Йозеф украсил свое творение большим шелковым бабушкиным платком и пригласил к этому алтарю мрачных родителей.

— Ты говорил, папа, что я не умею ни рисовать, ни писать маслом; ну и как тебе нравится техника а-ля Брожик?

— Совсем не нравится! И не стыдно тебе? Ведь это безвкусица!

— Как живая! — льстиво восхищалась маменька. — Сколько таких я видела на выставках!

— Нет, мать, с первого взгляда видать, насколько это старомодно и банально, глядеть тошно. Не стройте из нас дураков, ведь вы с Карелом корчитесь от смеха. Как разумный отец, скажу вам прямо, что ваше упорство и выдумки не доведут до добра и вы умрете нищими под забором. Ваша совместная писанина — пустое занятие; одного сумасброда в семье более чем достаточно. Пусть хоть Карел учится, он способный, может чего-то достичь и как преподаватель философии, а то, что вы творите вдвоем, это просто дурачество.

Родители с достоинством удалились, но были расстроены, полагая, что такого огорчения они не заслужили. Им казалось, что сыновья не считаются с ними и не беспокоятся ни о своем настоящем, ни о будущем. Ночью

маменька горько плакала: ведь она дала им жизнь и отстояла их материальную независимость; они все получили, а теперь идут своими неисповедимыми путями. Но куда эти пути ведут? Мальчики такие странные, то необузданные, то унылые; кто может их понять и идти с ними в ногу? Да от нее они почти и оторвались, управляют сами. И как ей быть — по-прежнему верить в них или лучше покориться и предаться горькому смирению. Ах боже, боже, что еще может сделать бедная мать? Как ей хотелось сейчас тайком получить совет от свато-нёвицкой девы Марии!

Из комнаты мальчиков донеслись звуки приглушенного ночного спора, затем послышался смех.

— У меня идея! — почти выкрикнул Карел, а Йозеф в ответ что-то согласно пробурчал. — Завтра же примусь, на другой стороне этой мерзкой утки специально для папы я нарисую знаешь кого? Зеленого клоуна, я его уже наметил, он целый месяц не выходит у меня из головы.

Зашелестела бумага, задвигались стулья. Маменьке вдруг стало их жаль: как они трудятся, как оба работают — каждый в отдельности и оба вместе. Ей захотелось пойти к ним, погладить, похвалить, а вдруг они удивятся и воспримут ее приход как неуместную назойливость? Разумеется, в них бурлит любовь к жизни и творчеству, — но разве в этом нет хотя бы небольшой ее заслуги? Они чувствуют себя самостоятельными, вдохновлены этим, оба — ненасытно любознательны, безумно восприимчивы, им достаточно шевельнуть пальцами, как это сразу обращается в страстную, хотя внешне спокойную речь. Пусть остаются такими, как есть, пусть живут по-своему, нищими они не станут и с голоду не умрут. Жаль, если им придется работать только ради денег. А если не хватит средств, чтобы жениться, тем лучше, по крайней мере, останутся с ней и, может быть, до конца жизни!

Отец давно уже спал крепким, здоровым сном, и маменька, погасив свет, задремала. С ними все хорошо. Хорошо. Они своего добьются. Пусть себе ворчит отец, она уверена, что свои сбережения они вложили в самое стоящее дело.

Известно ли было молодым людям, что они избранники своего рода? Начиная горячо, восторженно, они преодолевали все препятствия на своем пути; ведь свой

особый язык они начали создавать всего-навсего из тридцати четырех букв, а теперь стремились слова отливать, как статуи, а строки выстраивать, словно аллеи колонн. При этом они понимали, как ничтожно и случайно все, что они знают. Пребывание за границей было недолгим, будто незавершенный эпизод, едва раздвинутая завеса и беглый взгляд на необозримые богатства культуры иных народов. Разве легко им было теперь без всяких оговорок, искренне смириться с малостью своей страны? Этим двум индивидуальностям люди, с которыми они встречались, зачастую казались заурядными, второсортными посредственностями, и, чтобы обрести уверенность, братья иронически констатировали всякий раз: какая смесь неподвижных и бесчувственных окаменелостей! К тому же — они настолько закоснели, что обросли мхом.

А сами они хотели быть подвижными камнями, им хотелось расшевелить безучастных, привести в движение равнодушных, пробить стены.

Для них не было ничего святого. Им казалось, что вещи и люди только ждут своего открывателя, а они-то сами — и есть новоявленные Колумбы. Рылись они и в мусоре повседневности, чтобы раскопать в нем выброшенные человеческие ценности. Вооруженный наукой и одновременно наделенный поэтическим духом, Карел принялся за работу со всем пылом исследователя, который сохранил до самой смерти, тогда как Йозеф, скрывая патетичность, разрабатывал свои темы; ему не нужно было ходить далеко, он писал и рисовал то, что созревало в нем самом и, не облегчая своей задачи, не искал родственных душ, не стремился быть понятным, не нуждался ни в чьей похвале.

Бескорыстный, на редкость общительный Карел, со своей детской душой, полный доброты, со всеми делился своими мыслями и поверял свою тревогу и страх за судьбы человечества. Видимо, желая избавиться от этого страха, невыносимого для его хрупкой, эмоциональной натуры, он на какое-то время воспринял некоторые идеи прагматизма. Он даже не допускал мысли, чтобы какие-то ценности погибли безвозвратно; ведь дверь, ведущая к светочу разума, слава богу, оставалась открытой. Когда Карел мог выразить на бумаге то, что мучило и угнетало его, человеческий удел представлялся ему более сносным. Но мог ли Карел согласиться

с таким существованием, если бы призрак, являвшийся ему почти ежедневно, приносил облегчение только ему одному? Никогда! Свою робкую и скромную, но беззаветную любовь к людям он всегда прятал, можно сказать, под искупительной, сверкающей иронией.

А это их юношеское: «Если бы!» Бесконечное «если бы» они прежде всего примеряли к человеку, спрашивая, каков он есть и каким должен быть. Братья частенько падали духом, а то предавались несбыточным мечтам о счастливом острове Бимини с его родниками живой воды, деревьями, усыпанными ароматными плодами необыкновенного цвета и вкуса, — туда, вот туда они убежали бы. Однако в первых своих рассказах они никогда не обнаруживали овладевавших иногда ими мрачных настроений и очень мало писали о своих извечных желаниях, больше о надеждах, проявляя самоуверенность и делая вид, что нет ничего проще, как перескочить через море, часть света, а в родительском доме — через все традиции и запреты. Да, они самому господу богу с удовольствием помогли бы сотворить мир заново, ничего не имели бы против нового всемирного потопа для старого мира, который «погряз во лжи». Они только замолвили бы словечко за еще один Ноев ковчег, дабы из него сошел небесный образ нового мира и непременно маленький лучезарный кусочек земли — уж не Бимини ли? Ведь сколько они вывели бабочек из гадких личинок и гусениц, когда были детьми и еще ничего не создали...

Со стороны поглядеть — богохульники и насмешники! Чего только они не оплевывали и не вышучивали! Страшно вспомнить, сколько всего эти молодцы высмеяли и в смелых речах, и в очерках, и статьях, и в афоризмах, в то время уже публиковавшихся. Иногда они подписывали их общим именем «Братья Чапек», а то использовали (охраняемую законом) фабричную марку завода Золинген — изображение двух близнецов. Так вместе они и действовали, ничем не смущаясь, дерзкие и насмешливые. Казалось, что мои братья разлюбили. Даже прогулки и только подсмеивались над теми, кто отправлялся полюбоваться «красотами природы». На словах они не признавали ничего, словно абсолютно

пресытись красотой мира, культурой, переполнившись равнодушием и отрицанием — это было модно в те времена, — однако на самом деле тщательно сохраняли в душе любовь к дорогим для них святыням.

Как-то я шепотом и взглядом обратила их внимание на одну женщину, эфирное и прелестное создание в белом плиссированном платье.

— Да что ты в ней нашла? Ведь это урод, бр-р, и груди у нее отвислые, — ухмыльнулись нахалы, почти не удостоив ее даже мимолетного взгляда.

Как они иногда нас сердили! По примеру родителей, будучи женой пламенного патриота Словакии, я собирала народные вышивки и, не жалея сил, мастерила из них различные аппликации. Пышно разодетые на народный манер, мы с детьми явились в Прагу и подарили маменьке сумочку, искусно собранную из полос пестрых вышивок; сумочка сверкала блестками и позументом и переливалась яркими красками. Как она была хороша!

Оба дядюшки явились нас приветствовать; перемигнувшись, они запели; «Морава, Морава, Моравочка милая!» Ага, вы приехали принять участие в Этнографической выставке, увы, она уже давно закрылась! Но это не важно. Мама может пойти с вами и размахивать сумочкой. Кстати, когда тут появится твой благоверный? Разумеется, ты не успела вышить ему словацкую рубашку, а ведь теперь носят рубашки только с красными петухами у ворота или со странными яблочками, вышитыми черным крестом. Хотелось бы лицезреть его в шляпе с пером, но, увы, у него теперь супруга и две дочки. «Морава, Морава, о, каких рысаков родит земля твоя!» Они с хохотом исчезли и правильно сделали, иначе я запустила бы в них первым, что попало под руку.

Вспоминаю (у старых людей всегда много воспоминаний), что когда-то в детстве отец зачитывался книжкой Велишского «Жизнь греков и римлян», написанной в 1876 году. Автор издал ее за свой счет с одобрения и поддержки «Матицы Ческой» и Общества чешских филологов в Праге. На своем ветхозаветном языке Велишский с поистине филигранной тонкостью, с мельчай-

шими подробностями живописал жизнь античного мира. Очевидно, под влиянием этой книги братья еще в юности избрали для себя чужих богов (*dii peregrini*), а простодушной сестре оставили богов домашних (*dii patrii*).

Но я совсем не огорчалась, ведь *ritus* (обряды) выполняли высшие духовные лица со своими священнослужителями, а их было много; к ним принадлежали и наши родители. Но *ritus* богов чужих (*dii peregrini*) совершали «члены совета пятнадцати», как поучал профессор Велишский. Смешно: совет всего лишь пятнадцати!

У братьев хватило наглости подтрунивать над домашними богами: «Смотри, какая наша Ленча вместе с детьми теперь самобытная, как они по-своему соединяют чешские и немецкие словечки. А ты, мама, если пойдешь с ними, не забудь взять свою новую сумочку, получится такая живописная группа, то-то будет зрелище!»

Мы, остальные, справедливо обижались: ведь национальные традиции нам всем были дороги! Неужели их ничего не связывает с ними?

Они на это реагировали по-своему. Посмотрите, как иронически пишут они в своем очерке «*Creatura naturalis*» в книжке «Сад Краконоша».

«Нас приводит в ужас индустриализация, фабрики и механизация нашего времени, а современная эпоха представляется нам подобно Калипсо, женщиной просвещенной, жестокой и коварной; тоскуя, выходим мы на мыс и с жадностью вглядываемся в горизонт, надеясь увидеть, где не поднимаются в небо клубы дыма, ибо только там может находиться подлинная родная Итака и подлинная Пенелопа, занятая бесхитростным рукоделием, последнее прибежище нашей механофобии и нашего поклонения перед природой».

И дальше: «Словакия от Бечвы до Мыйявы, от Грозенкова вплоть до Диваков должна быть объявлена национальным заповедником нашей Моравии. Там, под охраной закона, в первозданных условиях, по старинке, будут проживать словаки, а также моравские писатели и художники, и ничто не потревожит их своеобразного образа жизни. Во всем этом крае, сохранившем в неприкосновенности древние народные традиции, будет запрещено все нестильное, ненародное, неморавское и, прежде всего, здесь будет запрещено строить фабрики.

На всей этой территории, скорее всего, в Годонине или Угерском Градиште, будет дозволено возвести единственное предприятие: огромную еврейскую бетонную паровую фабрику, производящую в массовом количестве изделия словацких народных промыслов, как-то: вышивки, ленты, специальные туфли и искусственные перья из целлулоида».

Бесстыдники! Вороны-пересмешники! Перефразируя их, я говорила себе: «Das ist aber ein heisser Baum!»¹ — и в сумерках бежала в магазин к пану Буковскому, Он проявлял особый интерес к таким вещам, любил подчеркивать занимательные журнальные изюминки толстым красным карандашом, ставить восклицательные знаки и выставлять их на обозрение. К счастью, жители Брно не проявляли особого любопытства ко всему, что пишут лицемерные чехи о Моравии; разве у моравского автора поднялась бы рука написать такие кощунственные вещи? Да он бы и подумать об этом не посмел! Да его навсегда подвергли бы остракизму.

В следующий приезд в Прагу мой муж появился в белом элегантном жилете, гармонизировавшем с летним костюмом; несмотря на обычный фасон, жилет его был вышит многочисленными звездочками из зеленых крестиков. Модный жилет был мужу к лицу. Вышивая его, я со злорадством думала, что братья не только обратят на него внимание, но даже позавидуют. «Я вам покажу эту вашу «подлинную Пенелопу» с ее бесхитростным рукоделием! И вам хотелось бы иметь такую, но дудки! Вместо Пенелопы у вас есть маменька, живите и радуйтесь, что есть кому чинить ваше белье и носки!»

А их ответ («Сад Краконоша», Афоризмы II, Пенелопа): «Не думайте, что вышивание — механический труд; нужно внимательно следить, чтобы стежки были ровные, равномерные и одинаковой величины; нужно также рассчитать количество ниток, чтобы их хватило на орнамент, который должен быть точно посередине. А это весьма сложно и тяжело».

«Мы знаем, о дамы, что вышивка — сложное и нелегкое дело; нам также известно, что каждый стежок приковывает к себе взгляд женщины, который иначе

¹ Но это горячее дерево! (нем.)

мог бы устремиться на солнечный горизонт либо на походку чужого мужа; мы знаем, что в каждый равномерный стежок вшиты вдох и выдох, которые могли бы стать вздохом, а то и стоном. Все вышеизложенное означает, что добродетель дамы заключена в ее собственноручной работе и, главное, что супружеская верность сплетена из ровных, равномерных стежков одинаковой величины или из гарусных глазков, между которыми нет пропуска».

Сестра-рукодельница внимательно прочла Афоризмы II и сквозь зубы прошипела: «Паршивцы!»

Маленькие стычки не ограничивались только семейным кругом; передо мной лежит книжка С.- К. Неймана «На пороге Пантеона», написанная в 1906—1909 годах, а изданная в 1911 году, и я нахожу в ней намек на моих братьев.

Он любил их, в Биловицах не мог без них обойтись, хотя был уже зрелым человеком, а они еще юношами. Братья были столь деятельны и упоены жизнью, что у Неймана возникло желание стать их литературным наставником и крестным отцом; ведь в его жизни было так мало подлинных радостей! Но в своей книге он не пожалел слов. Кого еще мог иметь в виду этот огромный лохматый барбос, разлаявшийся на щенят? Вот небольшая цитата из статьи «О моде, успехе и нетерпении»: «Гениальные эмбрионы, неспособные одним прыжком достигнуть вершины Парнаса, претендуют на мнимую исключительность, хотя бы в своем кругу. Будучи твердо и приятно убеждены, что молодым все позволено, они из высшей степени тщеславных становятся в высшей степени нахальными.

Сколько мнимых гениев различного толка все еще рождается в нашем мире! К счастью, эти жертвы тщеславия, моды, успеха, нетерпеливости и жажды сенсации, импонирующие завсегдатаям кафе, кончают одинаково и довольно быстро».

Конечно, братья языкасты, а «крестный отец» чувствителен. Спорили они с ним слишком горячо, по-чапковски, и их молодой скепсис раздражал его. Он перестал к нам ходить и стал ждать; дела, дела, он жаждал видеть их творческие достижения. Дождавшись, он вновь сблизился с ними, ведь этот бирюк любил их на свой манер, а они его уважали.

Они принимали и ценили честную критику, но не терпели фарисеев, которые — хотя сами создавали мало или вовсе ничего — злобно старались выбить почву из-под ног истинных творцов нашей литературы. Позднее злонамеренная травля писателей и поэтов зашла чересчур далеко.

Нет, не могу удержаться и прошу разрешения привести еще кусочек из статьи Карела Чапека, напечатанной в «Лядовых новинах». (Потом она вошла в сборник «Три статьи о патриотизме».)

«Народ в нас не нуждается», — написал не то генерал, не то писатель Рудольф Медек. Если, мол, писатели не станут такими, не будут согласны с тем, что нынче пишут в «Народних листах» от имени народа, то пусть, мол, пеняют на себя, коли народ в них не будет нуждаться. А нам неизвестно, в каком ночном кабаке явился к нему дух народа и возложил на него эту миссию.

Суть в том, что мы, писатели, не позволим отделить себя от народа. И вообще — от кого бы то ни было. Запомните: есть вещи, которые мы не отдадим; и первая из них — принадлежность к народу, на языке которого мы пишем. А если кто-то не признает за нами эту связь, ответ у нас лишь один: удар кулаком в зубы. Я не собираюсь разъяснять свою мысль более трогательным образом; ведь никто не становится писателем, никто не становится творцом языка и поэтом, не питая безмерной любви к народу, ибо язык есть душа народа.

Даже если бы поэт ни разу в жизни не употребил слово народ и родина, любое слово родной речи, сказанное в поэтическом произведении, словно произнесенное впервые, покрыто росой, как в день творения, не запятнано ложью, фразерством и бездарностью.

И тут является некто — то ли генерал, то ли писатель, некий анонимный журналист или кто-то еще и берется разглагольствовать о том о сем, что народ, дескать, обойдется и без писателей. Да разве вы не понимаете, безумцы, что отнимаете у народа? Не стану представлять себя, но надеюсь, что чешский народ перед миром я не посрамил. Впервые в жизни я позволил себе сказать такое. Я не большевик, даже не марксист, я не питаю особой склонности к левому крылу нашей интеллигенции, которое несколько лет тому назад едва не отлучило меня от литературы; все эти годы они постоянно говорят обо мне, что я правый, конструктивист и т. п.

Следовательно, тут все ясно. Но пока я жив, то не допущу, чтобы кто-то исключал из народа, скажем, С.-К. Неймана; он коммунист, и одну фразу, написанную им, даже я ему не прощаю, однако, кроме этой фразы, да будет вам известно, он написал «Книгу лесов, вод и косогородов», а также «Песни тишины» и много других, и этих книг никто не выкинет из чешской литературы, так же, как никто не сотрет с карты Чехии речку Свитаву, и солнечные просеки, и деревенские улочки, и все то, что воспел поэт Нейман, такой удивительно чешский по духу и такой чешский по языку; мало кому из чешских политиков, начиная с Ригера, было свойственно такое чешское национальное самосознание. И никто не исключит из народа поэта Незвала, коммуниста, который придал нашему языку напевность и мелодичность скрипок, какому идиоту придет в голову выкинуть из народной речи музыку Незвала? И так далее и тому подобное: значит, чешскому народу не нужен Карел Томан, самый чешский из всех поэтов? Не нужен высокообразованный Ванчура, который ведет свой язык из средневековья? Если не нужны Шрадек, Гора и Сейферт, не нужен Шальда, — тогда скажите, кто нужен чешскому народу? Да, мы уже слышали: ему, мол, хватит писателей умерших. Весьма удобная позиция: ведь мертвые уже не могут судить о живых».

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

[...] — Папа, война на носу, бросай все, завтра едем в Прагу, — решительно заявила маменька в Теплицах еще до начала мобилизации. — Ведь ты не допустишь, чтобы ребята забрала и они погибли бы за Австрию. А их наверняка призовут сразу. Бог с ним, с курортным сезоном. Я иду укладывать вещи!

— Погоди, может, все еще уладится, ты уж слишком паникуешь.

— Я?!!

Тут уж и отец, обеспокоившись, стал размышлять: «Карела никогда не призывали, он слабый, а Печа очень близорук. Но кто знает, как обернется теперь. Ты права, едем. Дела и впрямь нехороши».

Дома отец сразу начал подбирать коллекцию очков.

— Ведь они как бинокль, вблизи я совсем ничего не вижу! — сопротивлялся Печа.

— Не важно, не важно, постепенно привыкнешь в них читать, возьмешь самые сильные, и пусть комиссия проверит диоптрию. Если в комиссии не будет чешских коллег, значит, сам черт вмешался; я разужнаю...

Печу все же забрали и отправили куда-то в Северную Чехию. Ужасно обеспокоенный Карел поехал его искать и свою дорогу и ночные бдения описал в «Распятии», в рассказе «Зал ожидания». Волнуясь за брата, он не мог бездействовать, хотел его повидать и по возможности помочь выбраться из беды.

Каким-то чудом Печу в конце концов отпустили, заинтересовавшись: «Как вы с вашим зрением хотите стать художником?» Тем не менее он хотел.

— А теперь, Карел, как быть с тобой? Можно бы симулировать ишиас, но ты так пуглив, что наверняка себя выдашь. Помни, это воспаление нерва, и каждое движение вызывает дикую боль; я покажу тебе это место, да ведь ты не сумеешь притворяться, — огорчался папа.

— К чему эта симуляция и бог знает где? У меня в самом деле уже давно болит верхняя часть позвоночника, и с каждым днем все сильнее. Что бы это могло быть?

— Не знаю, во всяком случае, это не ишиас; я вижу, как ты сутулишься, когда пишешь, а вообще — очень подвижен. У тебя на самом деле там болит?

— Не осложнение ли это после тяжелой скарлатины? И после дифтерита у него все суставы болели. Сколько аспирина проглотил, сколько потел, а я ночами его укутывала, боялась ревматизма суставов! Да, с ним что-то не в порядке! — вставила свое слово встревоженная маменька.

— Глупости: осложнение спустя столько лет? Сутулится он от слабости. Конечно, ишиас ему теперь пригодился бы, сумей он его симулировать, но что поделаешь, коли он такой шальной. Да, забот у меня с ним хватает!

Как ни слаб был Карел, зимой он стал часто ходить по улицам, домой возвращался поздно, продрогший до костей. Он проговорился, что гуляет с девушкой и сидит с ней на Петршине, при этом на каменной скамейке. «Ничуть не холодно, — уверял он Печу, — я отдаю ей свое пальто, она закутывается в него, а я рассказываю ей об Альдебаране, Венере, Сатурне, о своих планах и книжках, которые собираюсь написать».

Только когда боль, молнией пронизывавшая грудь, стала нестерпимой, больной и сгорбленный, Карел прекратил свои прогулки; может, это просто невралгия? На военную службу его не призвали, ему было трудно поворачивать голову, и отец положил его в клинику на обследование. Обнаружилось странное, в то время почти неизвестное заболевание, но врачи все же установили: явное повреждение позвоночника, однако оставалось неясным, отчего оно возникло и причиняло такую боль?

Любознательный Карел без конца совал свой нос в медицинские книги папы и вычитывал в них страшные вещи: о туберкулезе позвоночника, о сухотке спинного мозга и бог знает еще о каких ужасах. Впервые в жизни я увидела его в безнадежно трагическом состоянии.

— Знаешь, что меня ждет? Гниение заживо на волосяном могильном матраце — как Гейне. Не стану этого дожидаться. Лучше пожертвую собой и, прежде чем добровольно покинуть сей мир, прихватчу с собой на тот свет кого-нибудь из мерзавцев-политиканов. Мама может с ума сойти, но я не могу ждать. Не нужны мне ее бесконечные согревающие компрессы, жилет из кошачьей шкурки, который она начнет разыскивать. Я не баба и буду нести свой крест, как подобает мужчине, пока не надоест.

Бесконечные медицинские исследования продолжались до тех пор, пока не осталось сомнений: у Карела редкое заболевание — последствие болезней, перенесенных в детстве, — заизвесткование двух или трех хрящей между позвонками. Это неизлечимо, вопрос в том, будет ли продолжаться процесс. А пока необходим покой, постоянное наблюдение врача; позднее картина проявится. По-видимому, имел место скрытый процесс, который пока приостановился. Карел превратился в живой барометр, реагирующий на каждое резкое движение, на перемену погоды и атмосферное давление. Он привык к боли и даже шутил, что с ней встает, ложится и живет. А когда годы спустя они с Печей построили себе виллу и разбили сад, он, бывало, кричал: «Эй, почему ты, прежде чем поливать розы, не спрашиваешь меня? Ведь рядом пророк, и ему ясно, мой неразумный друг, что ночью польет дождь. Думаешь, зря у меня еще с вечера болит хребет? Можешь не сомневаться!»

Тут он становился важным, требовал похвалы и любил, чтобы последнее слово оставалось за ним. И на са-

мом деле, всю ночь лил дождь, и утром торжествующий Карел спрашивал: «Ну, теперь признай сам, хорош ли мой совет? Видишь, сколько ты сэкономил труда и воды?» [...]

Как-то зимой 1915 года Карел спросил:

— Папа, когда у нас суббота? Через три дня. Тогда времени хватит. Мама, знаешь, что в этот день я хочу иметь на обед? Хороший кусок говядины, кнедлики из булки и белый соус с хреном, да, к этому еще красную маринованную свеклу и главное — настоящий, крепкий черный кофе! Мой любимый напиток!

— Ты в своем уме? Да разве мы Ротшильды? Может, еще испечь пирожное с миндалем и изюмом, а? Где нам все это взять? Ты, кажется, забыл, что идет война!

— Пожалуйста, не сердитесь, в субботу я получаю докторский диплом, я уже Ленче написал и думал...

— Что же ты сразу не сказал? Это другое дело, может, что и раздобудем, а как дела с экзаменами, ты о них даже не заикнулся?

— Ну, все сдал на «отлично», есть о чем говорить! Это даже неинтересно, — равнодушно ответил согбенный в три погибели без пяти минут доктор философии.

— Но... но ты мог бы получить стипендию *sub auspiciis imperatoris*¹, если бы захотел.

— Я не захотел. От императора не хочу даже золотого перстня!

— Да и я тоже! — сказал отец, отправляясь договариваться насчет мяса, мама пошла доставать свеклу и хрен, а прислугу послала куда-то под Пльзень за настоящей сметаной.

Торжественный обед удался на славу. Я тоже присутствовала на нем и привезла военный торт из картофельной муки со сдобной начинкой. Он оказался вполне приличным. Мы пили настоящий черный кофе, отец даже заметил: «Мама, это не кофе, а яд!» И с наслаждением облизнулся. Карел ото всего взял себе по две порции, Печа не отставал от него, ну и на здоровье! Ведь юбиляром был наш младшенький, малыш, Ичек, Иченек...

— Что ты теперь намерен делать, Карел? Поступишь в провинциальную гимназию преподавателем? — развесясь, спросил отец после обеда.

¹ На средства императора (*лат.*).

— Я? Нет, об этом не может быть и речи.

— Там, по крайней мере, ты бы питался лучше, чем в Праге, а для тебя это важно. А так, господи милосердный, на что же ты собираешься жить? Задумаешь жениться, иметь детей. Или хочешь стать доцентом в университете?

— Увидим, папа. Во всяком случае, я не намерен закончить свои дни, директорствуя в гимназии где-нибудь в Пелгржимове... Не люблю ни учителей, ни преподавателей гимназии, и бесплатная доцентура меня не привлекает. Впрочем, ни в Пелгржимове, ни в другом таком же месте я не был, да что там может быть? Останусь в Праге и займусь своими делами.

— То есть литературой? Вместе с Печей? Да ведь она вас никогда не прокормит! Жаль, я всегда мечтал видеть тебя врачом, у тебя и руки словно для этого созданы.

— Бр-р! Ни за что, я слишком близко видел больных. Не ломай понапрасну голову! Не бойся, папа, увидишь, я сам себе найду дело. — И величавый Карел мужественно взмахнул узкой рукой.

— Будь жива покойная бабушка, она бы сказала: «Только не заносись ты, Плоцек!» — Отец умолк, и они с мамой только вздохнули.

Махнуть рукой Карелу было легко, а вот жить куда труднее. Цены росли с головокружительной быстротой, не было хлеба, от голода братьев спасала только языкастая и преданная прислуга Пепичка. Она ездила в деревню к своему другу и привозила оттуда молока, иной раз несколько яиц и всякие другие продукты. Эти поездки обходились недешево, и оба рантье могли оплатить едва ли половину расходов. А дома не было ничего, что можно было бы продать или обменять на продукты.

Поэтому родители опять переехали в Теплице, на этот раз надолго. На границе с Венгрией они раздобывали кое-что, иной раз и контрабандой. Очень они обрадовались, когда в Моравии, сразу же на первой станции за Вларой, обзавелись чемоданом; как только будет полон — пошлют сыновьям в Прагу. [...]

Братьям пришлось пережить еще немало горьких минут, прежде чем кончилась война. Карел шлифовал стихи для своей «Французской поэзии», но перевод стихов

оплачивался плохо, так же как живопись и рисунки Йозефа. Однако этому факиру любви и искусства было безразлично, сыт он или голоден; ведь его любимая жила поблизости. Карел решил получить твердый заработок и стал добиваться скромной должности в Академической библиотеке. Работал всего за несколько крон, зато чувствовал себя уютно среди книжных сокровищ. Домой Карел возвращался поздно, совершенно измотанный и усталый; не так-то просто с большим позвоночником сто раз на дню лазить по лестнице за книгами, спускаться вниз, носить и расставлять горы учености. Пришлось от библиотеки отказаться; он устроился гувернером единственного сына графа, владельца замка в Хише возле Жлутиц.

Пробыл он там меньше года (1916—1917), но жизнь в замке, в краю, который он называл «серым», оказала немалое влияние на характер его поэзии. Атмосфера замка пропитала его, словно аромат старого вина и негромкий напев старинной романтической мелодии; это был совсем иной, почти феодальный мир. Поездки в карете по незнакомым местам, о существовании которых Карел даже не слышал, хотя названия их уводили в чешскую старину. Местные жители, онемеченные еще во владычество Марии-Терезии и Иосифа II, в большинстве своем по-чешски совсем не говорили, однако в их речи сохранилось множество выражений гуситских времен. Жижка разрушал там старые крепости и замки, а на горе Владаржи, отступая, выиграл большое сражение и сжег дотла городок Жлутице, от которого уцелели лишь древние погребя, образованные в скалах. Этот гуситский городок был известен своим уникальным сборником чешских песнопений в деревянном переплете, весом около сорока килограммов. Хотя он был чешский, немцы хранили его как драгоценную реликвию и не раз закапывали, оберегая от неприятелей этой земли.

Почему редкостная, неповторимая «Голубая хризантема» в «Рассказах из одного кармана» выросла не где-то возле Упице или в Сватонёвицах у одинокого домика путевого обходчика, рядом с железной дорогой, а именно недалеко от Лубенце, поблизости Хише? Ведь юродивая Клара родом была из Упице, мы все ее знали, слышали ее смех и странную болтовню; там, в волшебном краю нашей молодости, следовало бы ей рвать и носить голубые хризантемы.

Впечатления от жизни в замке отражены в «Кракатите»; не там ли повстречался брату безупречный в услужливый камердинер пан Паул? Не там ли промелькнула «татарская принцесса» Вилле? А несчастная гувернантка из рассказа «В замке» из «Мучительных рассказов»?

Наверняка там живо подмечен мастерски сделанный, с юмором, точно, портрет старого графа Лажанского в сборнике «Ветвь и лавр». Этот немец был таким страстным чешским патриотом, что сердце радуется, когда читаешь о нем. [...]

В 1917 году выздоровевшему Карелу наконец предоставилась возможность работы в редакции газеты «Народни листы». Значит, ему предстояло стать журналистом? Да, и он был очень этому рад! В числе сотрудников газеты были Виктор Дык, К.-М. Чапек и ряд других известных литераторов, однако среди них не было... Карел посмотрел на Печу: «Выходит, брат, я один? Нет, так дело не пойдет!»

Новый сотрудник предложение принял не сразу. Он поставил условие: «Весьма польщен, но или вы возьмете нас обоих, или ни одного. В противном случае благодарю и сожалею. Искренне Ваш К. Ч.».

Кто знает, понравилось или не понравилось это в редакции, но они тут же стали подыскивать соответствующую рубрику. Вспомнили, что печатали совсем не плохие статьи Печи об изобразительном искусстве и кое-какие его публикации в «Вольных смерах» и «Умелцом месячнике». Одним словом, договорились; хозяева газеты были весьма экономны, но у Печи голова пошла кругом, когда он узнал, что ему будут платить шестьсот крон в месяц. Первый надежный заработок, хотя стоимость старых крон неудержимо падала.

А теперь — докажи, что у тебя меткий глаз, проворные ноги, что ты способен ходить без усталости, умеешь гоняться за своей новой работой, сколько потребуется.

— Ну видишь, если каждый из нас внесет свою долю, то мы заживем, как господа! — предложил счастливый Карел.

Йозеф ничего не ответил, только просиял, ведь его

акции поднимались с головокружительной быстротой. Теперь он гораздо чаще показывался на людях со своей девушкой, не думая о возможности запрета со стороны ее строгой и рассудительной матери. Сознание, что он в состоянии обеспечить будущее любимой, придало ему мужества.

В редакции тоже ими были довольны. Карел завалил их острыми, легко написанными статьями и злободневными заметками, а Йозеф поставлял объективные и вдумчивые рецензии о выставках и искусстве, рисунки для «Небойсы», не забыли они и о детях, получивших два тома «Короба сказок». Могло ли быть более плодотворное сотрудничество?

Карел обыгрывал все, что ему приходилось читать, видеть и узнавать; в пятидесяти двух «Воскресных оконцах» он в пух и прах разнес избитые клише выпренных фраз. Его книжечка «Критика слов» являет собой неистощимо яркий фейерверк иронии, остроумия и свежести мысли.

Заботился он не только о себе.

— Печа, ты о чем собираешься сегодня писать? Утром у меня появились кое-какие идейки, но как бы ты их не слопа! У тебя в запасе есть что-нибудь?

— Не бойся, свои у меня уже лежат в кармане.

— Отлично, очень рад, тем лучше!

Забавно было наблюдать, как они писали вместе: расхаживая по комнате, они часами спорили, кричали, доказывая, как можно или нельзя выразиться, как лучше сказать — так или иначе.

— Слушай, Карел, ведь я где-то читал что-то подобное и знаю «тайну твоих подтяжек». К чему так много действия и событий? Зачем столько персонажей? Лучше, если их меньше, тогда слова значительнее; а так у тебя — готовая рыцарская пьеса! Ты слишком пристрастился ко всякого рода «приключенческим» историям!

— Когда все уже написано, черт побери, то уже ничего не хочется выкидывать, да и зачем? Нелепо говорить так сложно и сжато, как делаешь ты; разве это более подробно и с разных точек зрения. А главное, во всем должна быть идея, четкая логика и никаких неясностей.

Именно в это время в статье «Холодный» («Критика слов») Карел написал: «Инстинкт безошибочно опи-

рается на тысячелетние достижения, в то время как рассудок хотя и с небольшим успехом, но ведет к достижениям новым. Поэтому, бога ради, уважайте рассудок и не считайте его холодным. Наоборот, добрый и живой рассудок очень раскаляется от сильного трения о препятствия и ситуации, которые ему приходится преодолевать. Ум изобретателен, как дитя, и прост, как ремесленник. Он добросовестно трудится, но и легко перескакивает через звенья цепи, которых придерживается инстинкт. Рассудок предоставляет бесконечную возможность для ошибок и авантур, но дает также и возможность выбора». Что же выбрал Карел для себя? Безобидное буйство сердца и сдержанную веселость.

В то время еще не имело значения, кто из них сел за стол и написал то, что уже обоими было обговорено. Все равно, сочиняя, они заглядывали друг другу через плечо, а потом Карел своим мелким почерком правил то, что написал Йозеф, или наоборот. Йозеф размашисто делал свои пометки на полях рукописи.

Правда, Печа был несколько тяжелодум, тогда как у Карела мысли лились непринужденно, как песня; Йозеф отбивал такт, а Карел сочинял мелодию, но законченное произведение они создавали оба. Йозеф с давних пор увлекался философией — он изучал ее вместе с общительным и более чем доброжелательным Карелом — и был по-настоящему захвачен этой наукой, но не Джеймсом, а широким интеллектуальным миром Востока и античности, Коменским и Библией. Он начинал себя премудростями, старыми как мир, в то время как творческий дух Карела всецело отдавался изучению различных словесных выражений, в которые он воплощал свои трагические или озаренные спокойным светом видения и мысли. У меня создалось впечатление, что Йозеф погружается в глубины, откуда он, оплетенный водорослями, иногда выныривал на короткое время, а Карел был водолазом; опускаясь на ту же глубину, что и Печа, он оставался там до тех пор, пока не отыщет жемчуг. [...]

ПЕЧА ЖЕНИТСЯ

Да, да, в первый же год после войны Печа наконец решился; ждать эту торжественную минуту девять лет — уж не сценка ли это из мифологии? Он пошел просить

руки девушки, движимый молодостью и огромной любовью. Глубоко ошибается тот, кто думает, что терпеливое ожидание — легкая вещь. Терпение — это самая большая добродетель, приближающаяся к святости; тут необходимы сила, решимость и самоотверженность; это сердцевина истинной и подлинной человечности.

Печа был уверен, что Карел ему поможет, они под считали, что совместных заработков да Печиной халтурки в придачу вполне хватит для ведения совместно го хозяйства. Вот и прекрасно!

Я получила от них письмо: «Приезжай с детьми на свадьбу, на день-два пораньше, соберемся узким семейным кругом, если можешь, одень девочек в платья дружек. Наши из Теплиц не приедут, они уступили нам квартиру я не хотят мешать, посмотришь, как мы все здесь переделали. И так...»

Счастливым Йозефом! Сколько было восторгов и похвал, ибо в старой квартире, такой прежде мрачной и забитой постелями, теперь было светло и, несмотря на скромную обстановку, красиво.

Разве мог Печа упустить случай щегольнуть перед любимой и не обставить две их комнаты? Из двух остальных, маленькая, бабушкина, досталась Карелу, а находившаяся рядом с ней угловая, заваленная вещами и барахлом родителей, была выделена для приезжих гостей.

Родителям ничего не оставалось, как окончательно обосноваться в Теплицах, где отец все еще продолжал работать ради денег, особенно теперь, когда после реформы Рашина их сбережения, отложенные на старость, уменьшились да к тому же маменька все время похварывала. Они охотно оставили трем счастливым пражскую квартиру.

О, Печа не мог допустить, чтобы у него, в новой квартире, жена не была окружена красотой.

Он сам нарисовал и вырезал художественные трафареты; стоило поглядеть, как он раскрасил ими спальню и столовую! Райский сон, розочки или их контуры среди зеленых листиков на стенах, подходящий фон для бирдермейеровской мебели невесты. Вспомнил Печа и о своем навыке работы с текстилем; он сам покрыл

батиком темно-синее полотно, обив им папину ободранную «обитель отдыха» с ее «мягкими выпуклостями, в которых от одного прикосновения образуется норка» («Самое скромное искусство», 1920), — если вы видели ее на картинке, то знаете, что рисунок Печи состоял из птиц и бабочек. Поделив пополам расходы, братья покрасили лестницу и широкий подъезд, ведь пыль, осевшая на этих стенах, наверное, не сметалась со времен Марии-Терезии или императора Иосифа!

Они тянули меня в разные стороны.

— Да ты только взгляни, как тут будет уже с завтрашнего дня! Узнаешь что-нибудь? — похвалился Йозеф.

А Карел увел меня в свою комнатушку.

— Видишь ли, голубушка, я уже из Парижа приехал с идеей новой пьесы, написал ее и отдал Национальному театру; вот приедешь в следующий раз — в позову на премьеру! Называется пьеса «Разбойник».

Портной принес новые костюмы. Карел раскошелился, чтобы быть достойным свидетелем на свадьбе. Костюм сидел на нем очень хорошо. Красив был и Печа, однако наш младшенький вдруг погрустнел. Почему? Куда девалось его изысканное и неиссякаемое красноречие?

Утром я и девочки, одетые как дружки, побежали будить его. Карел уже проснулся, он сидел на кровати и печально смотрел на ботинок в руке. И прямо повизгивал: «Ай-яй-яй-яй!» Все громче и отчаяннее.

— Ради бога, что с тобой, неужели ботинки так жмут?

— Ай-яй-яй, если бы только ботинки, разве ты не понимаешь, что сегодня Печа женится? — и он так швырнул ботинки, что они отлетели в угол. Карел был совершенно растерян.

— Разве ты против его женитьбы? Ведь ты тоже скоро можешь жениться! Печа уже не ребенок, ему тридцать два, и он так настрадался от долгого ожидания; а ты не бери с него пример!

— Я? Ведь ты знаешь, что я не могу жениться из-за больного позвоночника, а потом — не представляю, какую должна быть женщина, с которой я захотел бы связать себя на всю жизнь. Печа знает: его невеста хорошая, достойная и все такое прочее. Но все же, хотя бы ради

меня, он не должен был этого делать, он уже никогда не будет прежним, ай-яй-яй!— Бедняга Карел, покинутый братом, поднял ботинки, и мы поехали женить Печу.

Свадьба прошла достойно и серьезно, серьезным было и лицо несчастного свидетеля. [...]

В 1920 году Карел написал мне: «Приезжай хоть на пару дней, я остался один, Печа с Ярмилой путешествуют. Ты не пожалеешь; негодяи из Национального театра именно теперь вставили в программу премьеру «Разбойника». Не знаю, как она пройдет. Гюбнерова играет отлично, и Мими хорошая, но, понимаешь, я боюсь. Ты мне нужна как зритель и как хозяйка: после премьеры я назвал уйму гостей, и ты поможешь мне подготовиться к приему. Наши не смогут приехать, а Печу моя запоздалая слава не манит».

Карел задумал устроить необычное угощение: холодные закуски, бутерброды, сладости. Сразу после войны достать продукты было делом нелегким, но нам повезло. А вот как и где все красиво разложить? К счастью, вырубил большой круглый стол в столовой молодежков, а сиденья набрали отовсюду. Но вот что подложить под тарелки и миски? Карел придумал: принес большие листы белой бумаги, и мы вырезали в них дырочки и зубцы разной формы, как на вышивках. Посредине каждой салфетки Карел красиво написал: «Я прекрасная салфетка». И впрямь они были неподражаемы. В творческом запале мы покрыли ими в комнате все, что только можно.

На премьеры — успех, вызовы пунцового и взволнованного автора и бесконечные аплодисменты.

Затем нагрянули гости, среди них уверенная, молоденькая и живая девушка — Карел называл ее просто Ольгой — с более тихой сестренкой; гости все оценили, пили за мое здоровье и за остроумное оформление. Прекрасный день!

Зато критика была строгая. В «Модерни ревью» Арношт Прохазка написал примерно так: «Дирекция театра проявила невниманье и не сочла нужным послать контрамарку на первую вещь Карела Чапека «Разбойник». Стоимость билета на балкон, гардероба и программки, а также проезда на трамвае ради такой скуки

и потерянного времени слишком высока. Актеры играли хорошо и т. д. и т. п.».

Карел заметил, рассмеявшись, как мальчишка: «Знаешь, что я сделаю? Подсчитаю все эти затраты, пошлю деньги почтой славной редакции и выражу глубокое соболезнование. У нас с Печей есть еще одна пьеса, мы ее закончим, как только он вернется; кроме того, я вынашиваю идею следующей, скоро примусь и за нее, надо только театр предупредить заблаговременно».

И он, весело посвистывая, расхаживал по комнате, встряхивая задорно торчащим хохолком волос.

В тот же год братья и я с детьми собрались у родителей в Теплицах; стояло нестерпимо жаркое лето. Карел днем не выходил из своей маленькой мансарды, снятой для него в бывшем курортном доме. Улицы, переполненные больными, были пусты, как после пожара, и только в крытой колоннаде все увеличивалось число костылей и тросточек. Знойный, душный воздух, мрачное зрелище компрессов, повязок и потных людей. Тянуло к бесконечно далекой освежающей прохладе, подалше отсюда; там, несомненно, хотя бы ненадолго прекратилась непроходящая головная боль и чувство, что в такой изнуряющей жаре легкие не могут вдохнуть воздух, израсходованный полностью, как в закрытой банке.

Карел пришел к обеду только после настойчивых приглашений и стука в дверь; он был замкнут, узкое аскетическое лицо печально, с трудом проглотил несколько кусков обжигающе горячей еды и сразу ушел. Брат выглядел не выздоравливающим, а больным, нуждающимся в помощи.

Ах, почему здешний дом не был упицким родным домом с садом, не дул здесь освежающий ветерок, не было широкого простора, не моросил дождичек, вдали не проступали туманные очертания наших гор!

Карел явился к нам только под вечер, но из суеверия ни словом не обмолвился о работе, от которой у него горели лицо и глаза. Ему хотелось уйти куда-нибудь в необозримую даль. Иногда, взяв детей, мы посещали свое тайное любимое местечко; эта колыбель покоя находилась за гранью мира. И нигде на земле не было такого красивого заката — солнце, то вспыхивая, то уга-

сая, медленно опускалось в райские кущи, а бесчисленные стада розовых барашков паслись на небе и опрокидывались в волны далекого Вага. Всамделишный загробный мир!

Карел, в мыслях витавший где-то далеко отсюда, не отрываясь следил за этой поразительной игрой и ее угасанием; сверкающий световой покров служил ему утехой и убежищем перед мистическим страхом, рожденным его видениями и мыслями. Произведение, над которым он работал, бурлило и пенилось в нем, слагая песнь, исполненную ужаса; а он искал надежды и успокоения, не мог допустить гибели всего живого.

Работая над «RUR», Карел страдал неутешимо; и тщетно было пытаться вернуть его к действительности; повсюду ему мерещились страшилища и ненавистные призраки, несущие разрушение и гибель.

Возможно, Карелу — и не только тогда — был нужен очень близкий и простой человек, скажем, такой, как я, его сестра, или дети — племянницы, мои дочери, — кто избавил бы его от страха, владевшего им, когда он создавал своих бесчувственных роботов. Он еще не придумал, как их назвать, а Печа, видя мучения одержимого этими созданиями брата, не долго думая, окрестил их единым словом: «роботы».

Наконец однажды вечером Карел сказал:

— Я уже написал довольно много, так что, если хотите, после ужина могу почитать вам. Мне необходимо наконец избавиться от этого, или я сойду с ума!

Читал он плохо, дикция была неважной, он стеснялся и, казалось, хотел защитить себя от кого-то или от чего-то.

Не стану повторять, что мы чувствовали, говорили и пророчили после первого прочтения пьесы.

Как роженица, разрешившаяся от бремени, освобожденный и счастливый Карел отдыхал; ему больше не хотелось видеть свое дитя, оно пугало его самого.

— Обсуждать не станем, все равно менять я ничего не смогу, рад, что наконец избавился от этой вещи и теперь она как бы уже не моя. Пойдемте отсюда в лес, куда-нибудь подальше!

Его глаза вновь заискрились молодостью и ве-

сельем, он шалил и играл с детьми, составлял анаграммы и весело посвистывал, словно дрозд.

Сразу после ужина он ушел спать; его раздражали чрезмерные заботы и обожание маменьки. Усталый отец редко когда вступал в разговор, а Карел привез из Праги кучу английских детективов и Честертона, которого очень любил.

Год выдался урожайный! «RUR» сразу был поставлен, и не только дома, но и за границей. Весь культурный мир принял и запомнил имя молодого тридцатилетнего автора. А вскоре, ранней весной тысяча девятьсот двадцать второго года, в репертуаре появилась новая премьера, на этот раз пьеса двух братьев — «Из жизни насекомых».

И в том же урожайном тысяча девятьсот двадцать первом году, когда впервые был сыгран «RUR», разыгралась еще одна драма, на этот раз со счастливым концом — разрыв братьев Чапек с газетой «Народни листы».

Подобно министру Алоису Рашину, который экономил на апельсинах для детей, редакционный совет газеты стал наводить экономию на редакторах. Прежде всего решили сократить фонд зарплаты. Карел Чапек останется, а Йозеф получает расчет, хотя и с извинениями.

Но они не знали Карела. Не теряя времени, он написал в редакцию: «С чувством сожаления, почтительно сообщаю, что, хотя работа в вашей газете доставляла мне радость и я глубоко уважал моих коллег, прошу одновременно с братом Йозефом немедленно освободить меня от всех моих обязанностей. Искренне преданный К. Ч.». И жирная точка. Решение редакционного совета пришлось весьма кстати, ибо Карелу и Йозефу уже давно претила политическая линия газеты.

К Новому году Карел написал нам в Брно поздравление с небольшой припиской: «Итак, с первого числа мы безработные, мы ушли из «Народних листов». И не одни мы, семь сотрудников редакции, которые не могли и не захотели оставаться, подписали протест против политической линии газеты. Что делать дальше, пока не знаем».

Я и муж только рассмеялись и позвонили в главную редакцию «Лидовых новин»:

— Гейнрих, Чапеки свободны! Оба, разумеется.

— Что? Какой у них номер телефона?

— Телефона нет, они еще не столь знамениты. Их адрес: Прага III, Ржични, 11.

Вскоре Гейнрих позвонил сам.

— Я уже связался с ними, жду ответа на телеграмму и предложение. Примут? А как насчет условий?

— Предложите сами, они Чапеки! Дайте что им положено! Мое дело — сторона.

— Черт побери, мы не наивные, они нам будут нужны в Праге. Съезжу туда сам.

Договорились. Издатели «Лядовых новин» не отличались щедростью, далеко нет; жадничали без зазрения совести и при этом многого хотели. В редакции уже давно завидовали, что «Народни листы» заполучили братьев, и у «страшного владыки газеты» Гейнриха были на сей счет свои чрезвычайно честолюбивые планы. Здесь не место разбирать состав работников брненской и пражской редакций, о тогдашних сотрудниках братьев можно было бы целые книги написать. Какие имена! Назову первые вспомнившиеся: Яначек, Маген, Рихард Вейнер, Тесноглидек, Элгарт Сокол, Йон, Басс и много, много других. Все они писали, отдавали газете все самое лучшее и представляли собой не кучку случайно набранных музыкантов, а блестящий концертный ансамбль, играющий не ради денег, а скорее из любви к искусству.

Первоначальная зарплата Йозефа и, вероятно, Карела колебалась от шестисот до восьмисот крон ежемесячно. За рисунки к воскресному приложению, называвшемуся «Байа», Йозефу дополнительно платили двадцать пять — тридцать крон. Свои «романы-фельетоны» и рассказы для подвала Карел отдавал газете бесплатно еще до того, как они выходили книжным изданием.

Гейнрих, энергичный человек, прирожденный организатор, был дьявольски проницателен, безжалостен и настолько сварлив, что его все боялись; он всегда был недоволен и умел из самого лучшего выбрать наилучшее.

«Окаянные парни, — говаривал он в кафе членам редакции и друзьям газеты, — если бы я не кричал на них, газета на глазах превратилась бы чуть не в бордель. Мы народ писучий, и каждый, кто умеет держать перо, считает себя писателем. Половину статей я бросаю в корзину, идите вы к шуту со своей трепотней, мы местная пресса, что ли? Вы полагаете, д е д , — в присутствии це-

лого круга людей обратился он к владельцу «Лидовых новин» доктору Адольфу Странскому, — что эту вашу дурацкую передовую, которую вы мне сегодня сунули, я отдам в печать? Вы все перепутали, дорогой, теперь не эпоха чешского Возрождения, и мы уже не разглагольствуем, как в венском парламенте перед войной».

Когда Йозеф и Карел начали работать в «Лидовых новинах», оба были уже сложившимися художниками и поэтому избежали опасности раствориться и быть целиком поглощенными газетной работой. Они не опустили до ее тогдашнего уровня, а, напротив, подняли его до своего. Они с большой охотой выполняли свою ежедневную обязанность писать как для интеллигенции, так и для простых людей. Принято считать, что результаты изнурительного труда журналистов недолговечны, эфемерны, ибо то, что важно сегодня, завтра уже теряет свое значение. Братья решили эту задачу, как бы сунув руку в одну рукавицу, — их сотрудничество стало еще более тесным, и они смотрели на него не как на импровизацию, а как на жизненную миссию.

Карел с его необычайной любознательностью, жадной добротой до сути вещей и явлений, поднять глубокие пласты человеческой души, со всем пылом молодости проявлял идеалистическое рвение и с виртуозной легкостью, зачастую испытывая истинное наслаждение, справлялся с темами, которые сам выбирал и решал по своему усмотрению. Он обладал редкостной зрительной памятью, а обращаясь к читателям, использовал свой богатейший словарный запас, что давало ему возможность лаконично строить свои кристально ясные фразы.

Читатели его фельетонов не могли не восхищаться поразительной четкостью этого мыслительного аппарата! А сколько еще Карел опускал! В нем было слишком много всего — как той закваски, что некогда поднимала мягкое, рыхлое и душистое тесто в бабушкиной квашне для ее великолепных пирогов. При этом внук мог не сразу разделять тесто из своей квашни, а каждый день отщипывать понемногу, стараясь свой пирожок подать в наилучшем виде. Пирожок мог быть крохотным, но им можно было насытиться. Карел играючи справлялся с сюжетом, которого другому хватило бы на целый роман или философско-моральный фолиант. Он знал, что завтра запустит руку в квашню и вытащит что-нибудь новое, ведь оно рождалось у него в пальцах и стремилось вы-

браться поскорей; ему приходилось приказывать: потерпите, вот наиграюсь с этой штучкой, придет время, вытаску и вас!

У него, конечно, были свои маленькие, но важные секреты в работе; однако, как и Йозеф, он не любил общие места, ему была свойственна доброта и ясность мысли, он стремился укротить буйный поток идей, ввести его в русло строгих требований искусства.

Карел не был избалован или заносчив; наоборот, деликатный и мечтательный, он скорее страдал от недостатка самоуверенности. Зарабатывая на хлеб насущный, он хотел быть уверен, что стоит на правильном пути. А приходилось ему нелегко. Самым большим его желанием было хотя бы отчасти выполнить миссию спасителя, пусть ценой изоляции как художника, а когда это чувство овладевало им с неукротимой силой, он сопротивлялся и старался во что бы то ни стало подавить его. Если он и сдерживал свой размах, то сохранял смелость в стремлении достичь высшей простоты языка и подлинной чешской гражданственности. Йозеф, который пытался с ним соперничать и догнать его, одобрял это. Разве он мог оставаться равнодушным, работая рядом с созидающим и общительным Карелом, когда всей душой хотел думать и работать вместе с ним? Волшебная изобретательность Карела будила в нем желание играть самостоятельную партию, не становясь лишь аккомпаниатором; иллюстрируя необычные мысли и идеи брата, он наделял их пафосом, который переполнял его самого. [...]

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ МАТЕРИ

[...] Организовать окончательный переезд родителей в Прагу оказалось нетрудным. К счастью, незадолго до этого Карел обосновался в собственной квартире, неподалеку от старой, в том же коридоре. С присущей ему изобретательностью он переоборудовал ее из бывшего склада, отведенного для досок и прочих строительных материалов.

После того как все было приведено в порядок, он зажил там припеваючи; при перестройке хватило работы каменщикам, затем взялись за дело маляры и лакировщики, и, наконец, печник поставил безобразную, блестящую, украшенную железными кружевами и воланами американскую печь, которая топилась непрерывно. Она

стала домашним божеством, источником тепла, и Карел написал о ней хвалебный фельетон; не разрешая никому до нее дотрагиваться, он следил за ней сам, иначе бедняга окоченел бы в этом зале. Обстановка неособенно заботила брата: он купил простую латунную кровать, у родителей взял книжные шкафы, однако позволил себе и роскошь: приобрел удобную оттоманку и мог в любое время вытянуться на ней, давая отдых больному позвоночнику. В этой пустыне он был совершенно счастлив. Но у него появился новый кошмар. Он жаловался:

— Сплю теперь вполглаза, подо мной столярная мастерская, а вдруг какой-нибудь подмастерье бросит в стружки непогашенный окурок? Мне не улыбается согреться заживо; по ночам я все поглядываю да прислушиваюсь, боюсь каждого потрескивания.

Он много работал и принимал гостей. У него бывали Франя Шрамек, Франтишек Лангер и другие. Так было положено начало его будущим «пятницам». В его просторной комнате, несмотря на совершенно простую обстановку, было уютно и мило. [...]

РАДОСТНЫЙ ПЕРЕЕЗД В НОВЫЙ ДОМ

Старая квартира на Ржичной улице была мрачной, неудобной и слишком уж огромной. Солнце в нее не заглядывало, печь никуда не годилась, не было места для ванной комнаты, а уборная находилась на открытой галерее. Но Карел, юркий и подвижный, словно рыбка, что-то где-то прослышал и однажды пришел с деловым сообщением:

— Папа, мне стоило большого труда уговорить Печу, он очень боялся, но мы оба уже вступили в строительный кооператив, и за пивоваренным заводом на Виноградах поставим дом для двоих. Около дома разобьем приличный садик для тебя и Аленки. Тебе будет за чем присматривать, а нам ты поможешь при строительстве.

— Откуда вам взять столько денег? Я продам облигации и одолжу вам деньги, но потребую с вас проценты, ведь мы ведем хозяйство на паях. А влезу я туда со своими вещами? Ведь не собираетесь вы возводить Версаль? Да на это наших средств и не хватит.

— Конечно, нет, на большой дом мы и не замахиваемся. Да и строить можно только по типу, предписанному кооперативом, — восемьдесят квадратных метров жилой площади на пайщика. Наличными вносим вступительный взнос и оплачиваем участок, а проценты и паевые взносы — в кредит, постепенно погасим свой долг. Ведь Печа тоже рискнул! У тебя будет самая большая комната с отдельным входом, чтобы я не знал, если тебе вдруг вздумается кутить. Стоит открыть дверь, пройти коридором — и ты уже в саду. А отсюда бери все, что хочешь. Это тебя устраивает?

— Разумеется, а то здесь все напоминает мне маменьку. К тому же с Виноград на кладбище к ней куда ближе, буду ходить поливать цветы на могилке.

Сколько новых забот и радостей! Пешком, как паломники, Карел с отцом каждую неделю ходили на разрытый и пустой участок, — в то время это находилось далеко за Прагой. А вскоре, переезжая через межи и овраги, дорогой и по бездорожью, основательно потрясая в экипаже, там появилось и семейство Печи с грудным младенцем и детской коляской. Ведь до сих пор братья виделись только в редакции. Встретиться с Печей было трудно, он то писал, то рисовал, а то сидел около своей дочурки, как зачарованный, не сводя с нее глаз.

— Это самое лучшее мое произведение, — с гордостью говорил Печа.

— Выйди на минутку! Почему ты никогда не спускаешься к нам? — приглашал его Карел,

— Некогда, люблюсь дочкой. Она пытается сесть и смеется! — упорствовал Печа.

Карел уже видел моих малышей. Теперь они стали большими, и бедняжке-маме приходится приглядывать за ними на танцах. Этот птенчик тоже незаметно подрастет.

На стройке каждый из братьев тащил меня к себе.

— Посмотри, вот здесь будет ванная, а за ней — маленькая гардеробная, она в проекте не учтена как площадь, а туда войдет два шкафа. Здорово?!

— На первом этаже я оборудую помещение для приемов по пятницам, и приемы эти станут регулярными. Закажу два угловых канапе, посредине поставлю стол для кофе, а на стене повешу застекленный шкафчик для посуды. А вот эта самая большая дыра внизу — для па-

пиной комнаты, надеюсь, девочек он туда водить не станет! Под окнами разобьем клумбу и посадим розы!

— Знаешь, наш плут-строитель дал мне очень дельный совет, — похвастался Печ а. — Как использовать чердак? Конечно, сушить белье, но это я буду делать в другом месте. В фронтоне он устроит мне ателье с помостом и окно на север (окна там выходили на восток). Понимаешь, дружище, что это значит? Ведь мне тридцать семь с гаком, а я еще не имел собственного угла и места для картин.

— Печ а, я отдам тебе свои ящики из приемного покоя, там можно держать краски и бумаги. Мне теперь хватит небольшого письменного стола, — вставил отец.

Ящики до сих пор стоят в ателье, но на них уже никто не присаживается.

— А что думает этот мошенник? Ведь у меня точно такой же чердак и точно также пропадает, — воскликнул Кар е л. — А что, Ленча, не устроить ли там для вас гостиную? Только ты сама обставишь ее, у нас с папой остались лишь старые кровати.

О, как я обрадовалась. Детям давно уже была мала их детская с огромной гигиенической школьной партой, комнату надо было привести в порядок, вообще, во всей квартире негде было отдохнуть. В Прагу переехал красный шкаф, который, пугая маму во сне, бегал за ней по квартире, а также вся остальная мебель из скромной комнатки, когда-то предназначенной Йозефом для его молодой жены. Однако, следуя современной моде, мебель нужно было обновить, и ее покрыли черным лаком. Еще долго все лазили по лестницам и помостам столь желанной новостройки, пока наконец Карел не вызвал меня письмом: «Командируй себя к нам и помоги с переездом!»

Печ а сам позаботился о своем переезде, и в его дела нам нечего было и вмешиваться. А вот Карел и папа... Они долго готовились и упаковывались; в день переезда дождь лил как из ведра, и в пустых комнатах, где с потолка свешивались только голые лампочки, быстро стемнело.

Наконец к дому по бездорожью, после бесконечных объездов, с руганью возчиков, подъехал фургон с мебелью. Черт побери! Ему придется стоять здесь до утра!

Но Карел этого не допустил; могучие парни приня-

лись за работу, внося на огромных сапогах пуды грязи, а на ремнях — кое-какие вещи. Куда же их ставить? Ага! Вот несут два высоких книжных шкафа Карела; пройдут или нет? Какой дурак выдумал такие низкие двери? Эй, разворачивайся, подавай назад, раз, два, взяли! Слышался только треск дерева. Нет, эти чудища слишком велики, придется их разбирать. А потом соберем заново, разумеется.

— Проклятый бедлам! — в отчаянии сокрушался Карел (и «чудовищный», — добавил папа). Все вместе, втроем, следуя указаниям хозяина Карела, мы принялись наводить порядок.

— Ящики с книгами — в подвал, иначе пол под ними провалится. — Осмотрительный Карел страховал свое первое (и последнее) движимое имущество.

Обо все спотыкаясь, мы падали друг на друга, и я, боясь, как бы дело не кончилось увечьем, взяла руководство в свои руки.

— Прежде всего поставим на место кровати и расстелем влажные от дождя перины; вначале папину, а там видно будет.

Я заметила, что Карел неожиданно исчез, словно дух, но вскоре вбежал запыхавшись.

— У Печи еще хуже, чем у нас, но там дело движется, черт побери, если мы их не догоним! Поддай жару, девочка, ничего не попишешь! То-то будет сраму, если мы от них отстанем! Проклятье, надо подтянуться!

Это был не переезд, а бешеная скачка. Уставший отец сдался первым. Для его старых ног это было чересчур, и он предпочел без ужина отправиться спать: манила раскрытая постель.

А мы? Нам было не до сна! Книжные полки стояли, зияя пустотой, а внизу, в подвале, ловко открытые отцом, ждали ящики с книгами. Как перетащить наверх эту тяжесть и расставить книги по местам?

Среди всякого скарба я, по своей практичности, отыскала корыто. Нагрузив его книгами, мы носили их по лестнице вверх, раскрасневшиеся, запыхавшиеся и веселые, будто воробьи, добывшие для гнезда стебелек. Думаете, Карел пожаловался на боль в позвоночнике?

Поздно вечером, вернее, ночью, явилась их старая экономка и начала сердито причитать:

— Да разве вас в этакой тьме сыщешь? В трамвай меня с кошкой не пустили, хотя она в сумке сидела; сна-

чала она мяукала, а затем вырвалась и убежала, а людей полно, пришлось мне с ней выйти. И по такой грязице я пешком дошла сюда. Вот вам эта стерва Пудлена, мокрая как мышь, а я пойду лягу, господи боже мой, как утром подняться в этом свинарнике, тут как в хлеву.

Проклятущая Пудленка, пришлось ее, испуганную и недоверчивую, вымыть, вытереть и положить в постель Карела согреться. Но никто не сказал нам, что в сумке еще лежали сосиски и хлеб. Голодный Карел только вздохнул:

— Не хвали день до ужина!

А все из-за беспризорной кошки, которую Карел пригрел когда-то, в благодарность она два раза в год приносила ему такое множество котят, что он не мог сосчитать все мордочки и лапки, а тем более — раздать по знакомым, которые из-за столь обильной плодовитости животного уже избегали хозяина.

Тем не менее дело подвигалось, мы забили крюки и развесили картины. Карел, как заправский инженер, все точно и аккуратно вымерил. Однако после каждой законченной операции он стирал пот со лба и валился в кресло.

— Голубушка, минуточку передышки, давай вместе выкурим бычок! — И вновь принимался за дело.

Верьте не верьте, но за ночь мы устроили все; одному богу известно, как нам это удалось. Размерив окна, я быстро сшила занавески, после чего небольшая квартира приобрела свою неповторимую и целомудренную завершенность, ее простор не был утяжелен ни единым лишним украшением, отчего прекрасные картины Карела выигрывали еще больше.

Старая экономка пришла и попросила расчет: «Такая даль; нигде ничего не купишь, к тому же эта непутевая Пудлена».

Пудлена осталась и добросовестно продолжала размножаться: здесь она завела дружбу с пролетарскими вршовицкими котами. Отец с Карелом, однако, после ухода старой экономки выиграли. Я прислала им из Брно новую экономку — хрупкую, небольшого росточка девушку из Моравии. Они всякий раз говорили:

— Послушай, где ты такую нашла, она такая деликатная, порядочная, заботливая, словом, наша благодетельница. О нас никто никогда так не заботился.

Вот тебе, Карел, и Моравия! Девушка в самом деле пеклась обо всем. Она их полюбила и была им предана. Полюбила и каждый цветочек в саду, каждую мелочь в доме, где работала и прожила лет двадцать. А потом постоянно вспоминала Карела и папу. [...]

«ФАБРИКА АБСОЛЮТА» И «СРЕДСТВО МАКРОПУЛОСА». МАЭСТРО ЯНАЧЕК

Какое множество книг Карел прочитал и проглядел, чтобы материалы для подвалов «Лидовых новин» были занимательными и ценными по содержанию! Было ли это предписанием редакции? Вряд ли. Скорее просто добросовестность не позволяла ему поступать иначе, кроме того, он постоянно проявлял интерес к новым литературным начинаниям.

И вот настал такой момент, когда в произведениях других авторов Карел не смог найти для себя нужного материала, и тогда смущенно признался мне:

— Ничего не поделаешь, моя милая, погляди, сколько я тут начитал всякой всячины! И ни одна не подходит для «Лидовок». И мне не остается ничего иного: *muss halt mal selbst was schreiben*¹. Это будет роман-фельетон, готовы уже несколько страниц и название. Сегодня ночью меня осенило. Он будет называться «Фабрика Абсолюта», не кажется ли тебе оно несколько странным?

Станным не странным, но до сих пор он сочинял только рассказы и пьесы, а теперь, в тысяча девятьсот двадцать первом — двадцать втором годах, впервые приступил к написанию романа-фельетона. Карел знал, что придется торопиться, но тема его увлекала, и, будь у него время все как следует обдумать, могло бы получиться исключительно сильное и впечатляющее произведение.

Роман для ежедневного читателя газет? Позднее он мне рассказывал:

— Ты даже не представляешь, в какой спешке и суматохе я писал эту вещь. Но я дал себе слово — ты думаешь, это пустяк ежедневно давать в газету четыре колонки из того материала, который у меня был собран? Сколько пришлось опустить, не спать по ночам,

¹ Придется самому сесть и писать (нем.).

прежде чем я смог выдать приемлемый для чтения кусок. Говорят, читателям нравится, но я зарекся — больше не братья за невозможное. Что ты на это скажешь? Ты и понятия не имеешь, как недоволен Печа, он утверждает, что я не должен был так спешить, особенно в конце, что этим я все испортил. Прав он или нет?

— Вещь большая, занимательная, ни одного скучного куска, хотя материал очень сложный. Но для газеты и нельзя писать иначе.

— Да я не собирался развлекать читателя! Глупая ты женщина! Ты, конечно, не Печа, у тебя ум короток, а у него — ума палата, но сегодня вы словно сговорились и твердите одно и то же!

Нет, мы не договаривались; мне, не очень вдумчивой, «Фабрика Абсолюта» казалась острой и свежей, но требовательный Йозеф был недоволен, особенно возражал он против благополучного завершения романа.

— Лучше вовсе не писать, чем выдумывать и давать читателям мешанину, ведь Карел еще вчера не знал, за что зацепиться и каким будет продолжение сегодня. А втирать очки, — заметил Йозеф, — это не для тебя, Карел, ты согласен?

В том же году Карел начал работу над пьесой «Средство Макропулоса», она шла с успехом в театре, была отлично поставлена и сыграна, а позже переведена на другие языки. Годы спустя я видела знаменитую венскую актрису Константин — то было замечательное зрелище борьбы молодости со старостью, два века в одном человеке, это была больше чем виртуозная игра, это было высочайшее актерское искусство.

Но мне кажется, что сам Карел не слишком любил этот свой ребус, когда при помощи алхимического фокуса жизнь была продлена настолько, что смерть стала представляться избавлением от состояния, когда жизнью уже можно цинично пренебрегать.

Поэтому, когда, прибегнув к моему посредничеству, Леош Яначек попросил у него разрешения использовать сюжет пьесы для либретто новой оперы, Карел только махнул рукой и проворчал:

— Старый чудак! Скоро он начнет писать музыку

на газетную хронику. Хорошо еще, что он не просит моей помощи, у меня нет охоты стряпать из пьесы либретто; я не смогу бы, да и времени у меня нет, впрочем, будь оно, я все равно не взялся бы за это дело.

Однако маэстро он написал, что с удовольствием предоставляет пьесу целиком в его распоряжение и совершенно не претендует на гонорар. Тут он был абсолютно искренен: он отдавал свою пьесу не только как знак уважения, но и как дар. Вот что Яначек пишет своим телеграфным стилем госпоже Илоне Курцово-Штепановой (ноябрь тысяча девятьсот двадцать шестого года): «После «Лисы-плутовки» я не знал, за что взяться. Ждал, что бог пошлет. Жизни жажду, жизни. На Штрбском плесе прочитал «Ребенка» Шальды, которого мне все хвалили, и «Макропулоса». Пьеса меня захватила. Понимаете, как ужасно сознание, что ты вечен. Сушая трагедия. Ничего не хотеть, ничего не ждать. Из этого можно что-то сделать. Основа — третье действие. Какая динамика, какое столкновение! Я понял, это именно то, чего я хотел. Работал около года. Сюжет не шел из головы, я нараздумывался всласть. А как хорошо писалось! Словно машина!¹

Карел сдался и приехал в Брно на премьеру оперы. Он был восхищен и безмерно рад. Пьеса, над которой он долго размышлял, в прекрасной обработке Яначека, с блестящими музыкальными партиями получилась благородной, великолепной; она была отлично поставлена. Карел весь лучился от счастья, когда они с Яначеком поднимали у нас бокал за успех оперы.

— Вы сделали это во сто раз лучше, чем можно было себе представить, — заявил Карел.

Но неутомимый маэстро уже смотрел дальше, вперед. Нет, у него никогда не было времени возвратиться к прошлому. [...]

БРАТЯ ВСТУПАЮТ В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

Тогда у нас в искусстве никому не воздавали шумных почестей, чаще ругали, не избежал этого и наш Карел.

Его роман «Кракатит», написанный в тысяча девятьсот двадцать четвертом году, имел успех, и каж-

¹ Из книги Б. Штедроя «Яначек в воспоминаниях и письмах». (Прим. автора).

дое новое издание его сразу расходилось. Это сон, фантазия, пророчество и еле уловимые реминисценции о лично пережитом. Книгу перевели на другие языки, автора завалили письмами со всех концов света — как хвалебными, так и критическими.

Однажды он сказал мне с оттенком горечи:

— Понимаешь, люди хотят, чтобы я был всеведущ. Но когда пишешь, невозможно предусмотреть все. Химики утверждают, что кракатиит Прокопа с научной точки зрения — бессмыслица. Я советовался со специалистами и сам многое изучил, но, по-видимому, люди считают, что я обязан знать о составе взрывчатых веществ все от «а» до «я». Им, извольте видеть, необходимо досконально выяснить, как я мог создать такое наивное чудо. Поверишь ли, даже теннисисты упрекают меня, что я не разбираюсь в их игре, я считаю, что я не должен был упоминать о ней. Верно, правил тенниса я не знаю, но они меня не бог весть как занимают, поскольку у меня больной позвоночник. Мне бы хотелось показать тебе все эти письма, но я предпочитаю бросать их в корзину. Люди у нас всегда чем-нибудь недовольны, наш национальный порок — крохоборство; у нас можно только писать о том, как Еничек женился на Марженке и как они оба были счастливы, других же тем надо чураться. Вспоминая Чапека-Хода; он говаривал, что самой надежной основой для любого порядочного писателя, желающего создать нечто новое, является крепкая и выносливая задница. Я ему ответил: «Хочу писать, но я отнюдь не *Arschmensch!*»¹ А он: «Будете жалеть, следовало бы научиться. А это значит, вначале надо ходить и наблюдать, а затем дома сесть и досконально изучить то, о чем хоть мельком упомянешь в своем произведении». Сам он так и делал. У меня, когда я работаю, мысль нельзя остановить, каждую минуту что-то приходит в голову, и скажу тебе, что первые, произвольные идеи оказываются самыми лучшими.

Уже давно Карел у себя на родине и во всем мире приобрел известность не только своими пьесами, но также «Письмами из Италии» и «Письмами из Англии»,

¹ Человек-задница (нем.).

Однажды он сказал

— Мои дорогие, родись я в Англии, Америке или в какой-нибудь другой стране и доведись мне быть гражданином великого народа, если бы там я тоже стал тем, кем я есть, можете представить, сколько тогда на мою долю пришлось бы ругани и почестей! У нас и при «малых масштабах» масса завистников, ну и пускай! На жизнь я всегда заработаю, а на остальное мне начхать: ни за что не хотел бы жить в другой стране, я всюду тосковал бы. Придет время, мне устроят пышные похороны с музыкой и хором, придут критики и университетские профессора, но главное — читатели, простые люди, ведь я писал для них, и ты, голубка, увидишь, сколько соберется народа с венками.

И он начал озорно высвистывать протяжный траурный марш Шопена. Свадебный марш Мендельсона он до сих пор не насвистывал, даже если бы и мог!

В действительности Карел был застенчив и нерешителен, в детстве не чувствовал себя принцем — разве что только у мамы на коленях — и не претендовал ни на какое особое положение для себя. Тем не менее оно у него было; он отличался от нас и, прежде чем пуститься в какое-нибудь приключение, всегда раздумывал. Он не бросался на все так стремительно, как мы, маленькие ножки не мчали его за нами или другими детьми так быстро и энергично, как наши. Ведь он только смотрел издали и, если что-нибудь особенно его увлекало, тихонько, почти крадучись, подходил разглядеть поближе; при этом глаза его светились таким сочувствием, в них было столько заинтересованности, что, казалось, он застывал от любопытства, изумления и страха, как бы не упустить что-то важное. И у Йозефа от рождения были изящные руки и ноги и необычайно выразительное лицо с тонкими чертами. Карел же был — само благородство, легонький, солнечный мальчик, создание, нуждавшееся в нашей защите. Ему не надо было ни о чем просить, достаточно было взгляда его сияющих глаз, и он получал требуемое, а потом с неопишым восторгом рассматривал и возился с тем, что оказалось в его нежных и чутких пальчиках (бабушка называла их воровскими); все, что Карел выпросил, вычитал и узнал из книг, он помнил всю жизнь.

Настойчивость и стремление к познанию мира и жизни у обоих братьев была необычайно велика, но

вместе с этим их мучили кошмарные видения, разнообразные, леденящие душу предчувствия и особое острое состояние экстаза, от которого здоровяк Печа высвобождался двумя способами: он садился писать или рисовать. А Карел беспомощно метался, описать свое состояние ему было весьма сложно, не хотелось пугать ни себя, ни других. Он пытался обломать острие своих дедукций, написанных по первому побуждению; он предпочитал вечный и безответный вопрос «почему?». Карел не мечтал о приключениях и перемене мест, как Йозеф в глубине своей скромной, но страстной души; Карел хотел спокойно жить дома и заниматься творческим трудом. Во время путешествий случалось, что от тоски по дому он буквально выл, чувствуя, что все вокруг, в том числе и он сам, угнетает его. Пребывание за границей было для него не исполнением давнего желания, а скорее потрясением, стоившим ему большого напряжения. От всего увиденного — а повидал он много — Карел не отупевал и не испытывал пресыщения. Жажда и жизненная необходимость сосредоточенной умственной работы для братьев означала очень много; они унаследовали невероятную работоспособность нашего рода, ярким примером чему служила поразительная деятельность отца, настолько плодотворная, что казалась нечеловеческой, и была по плечу скорее сказочным великанам, чем обычному лекарю. Служить людям, а потом чувствовать приятную усталость — уже это приносило здоровье, и ни в коем случае не терзание, не надрыв и не изнурение души и тела; она была честно заслуженной.

В мою задачу не входит (да и не подобает сестре) разбирать и оценивать творческую деятельность братьев. Я лучше попытаюсь просто и как можно короче свидетельствовать о том, почему в определенные периоды жизни им работалось так, а не иначе, отчего и как возникали перерывы и паузы в их творчестве; кое-что я знала об этом или догадывалась, делая выводы из отдельных замечаний.

Карел был молод, но много выстрадал, вечно бичуемый фуриями телесных недугов. К тому же в своих произведениях он предугадывал будущее. С самого начала его творчество пронизывает скепсис и стремление спасти человечество или хотя бы отдельные души ужасом своих — увы! — столь пророческих утопий, которые

его самого преследовали, как ночные кошмары, под непомерной тяжестью которых он пробуждался словно после тяжкого сна, в изнеможении покрываясь потом.

Карел не гнался за успехом, не боялся рисковать. Именно в этот период, когда магия метафоричности тогдашней поэзии захватила даже крупных прозаиков, Карел, хотя и владел прирожденным поэтическим даром, пошел совершенно иным путем. Метафор ему было не занимать, но он отверг это богатство и стал писать для народа. С давних пор, с раннего детства, Карел любил простых людей и теперь возвращался к ним, чтобы освежиться у этого родника; он пишет о них и для них, не боясь пропитаться простой и остроумной народной речью. Таков генезис его «Рассказов из одного кармана». Вначале даже мы, его родные, не понимали этого и были к нему несправедливы. Теперь ясно, что, окунувшись в купель народности, его стиль стал еще более живым и выразительным, свежим, богатым и, главное, более способным решать задачи высшего порядка. Отсюда, от этой демократичности, логический путь развития ведет к его знаменитой трилогии и к «Первой спасательной». Он верил в людей, любил их и хотел походить на них. Все свое честолюбие Карел направил на то, чтобы показать образ человека частично или крупным планом. [...]

«АДАМ-ТВОРЕЦ»

Я видела их и постоянно вижу обоих малышами, подростками и взрослыми, и это всегда они, мои братья. Тогда еще я не знала, что никогда не увижу их стариками. Спокойно, один за другим, ушли они от осиротевшей сестры именно в тот момент, когда казалось, что в жилах народа уже перестала струиться свободная, красная кровь. Никогда больше я не услышу от них ободряющих слов. Глядя в окна, я видела только пустыню; я продолжаю их любить, чужим стал лишь окружающий меня мир; мне стало понятно, что они предчувствовали, как близится ненависть, охватившая народы и отдельных людей; они знали, что призывы к терпимости — чистый обман. От сотворения мира человечество не ведало покоя. Написать драму о мире? Какой печальный парадокс!

Когда я пишу свои воспоминания, в памяти всплы-

вает — часто беспорядочно — масса подробностей, неизвестно как возникших. Мне был известен глубокий и остро иронический скепсис моих братьев, их споры, но о том, кому из них пришла в голову идея, сюжет и драматическая форма новой современной пьесы «Адам-творец», я не знаю почти ничего.

Можно заставить себя писать рассудительно и коротко, ограничившись лишь упоминанием или ссылкой на произведение: возьмите оригинал, сами поищите источники, а затем насладитесь победой иронического духа над грубой материей прошлого и будущего!

Не стану ничего придумывать; к своему стыду, о постановке «Адама-творца» и его сценическом успехе я почти ничего не помню. Я не была на его представлении.

Насколько мне помнится, их совместно написанная пьеса имела весьма небольшой успех у публики и критики; а успех за границей вызывал раздражение и еще более острую критику. Писали и говорили, будто пьесы и самого Карела, и написанные им в соавторстве с Йозефом, предназначались отнюдь не для народа, а в первую очередь на экспорт. А разве можно хвалить и оценивать такое произведение как волнующее и положительное? Это бы ничего не стоило! О, мы так легко не сдадимся, мы молоды и исповедуем лозунг: «Все чешское — прекрасно», а разные щелчки только раззадоривали и вызывали желание — уничтожить, главным образом — из зависти. Отсюда столько оговорок в печати, сплошные «но» и «однако» и бог весть что еще; нет, этот синтез не удался, произведение братьев не устояло и, выдержав сравнительно мало представлений, сошло со сцены, возможно, навсегда.

Мужественный Йозеф только пожал плечами, уселся рисовать и смеялся над их общим провалом. Карел, задетый более глубоко, сказал своей будущей жене: «Мы с Печей решили больше для театра не писать, ни я один, ни в соавторстве. Думаю, мы перенапряглись и с Адамом перемудрили. До такой пьесы людям еще надо дорасти».

Вот тогда-то они и решили похоронить свое братское сотрудничество и сделали это без соболезнований и фейерверков. Они и так написали много вещей, которые принесли им мировую известность. С тех пор в литературе имя «братья Чапек» не появлялось.

После того как они прекратили соавторство, прошло много времени, и все же я с радостью возвращаюсь к их последней пьесе, в которой два жонглера так легко перебрасываются остроумными идеями, так кощунственно называя ее «комедией». В эту пьесу они вложили много души! Мне было бы больно выбросить из нее хоть слово.

И еще в одном произведении они играют равноценные роли — в «Годе садовода». В этой неповторимой, достойной удивления книге Йозеф является не просто иллюстратором, а непосредственно, с таким же очарованием, рисунками рассказывает то, что Карел — словами.

Каждый из них уже шел своим путем, но всегда рука об руку, если речь шла о борьбе за идею, которой они были привержены.

Провал пьесы их не обескуражил, а нападки критиков они воспринимали как бессмысленное кружение ос. [...]

УПАТЫ

[...] Мужественный Йозеф покорила свою возлюбленную девятилетней верностью и постоянством, а когда мама или окружение избранницы называли его сумасшедшим, он только посмеивался. А был ли этот молодой художник-кубист, без какой-либо надежды на приличный заработок, сумасшедшим? Он не ведал сомнений и дождался своего часа. Совсем иным был наш Карел. Иногда несправедливо считая себя уродом, он терял уверенность и, конечно, испытывал все муки ревности; ведь он сам альтруистически решил устраниваться, находя забвение в своем творческом труде. «Я пришел к выводу, что самая прекрасная вещь на свете — это сочинительство», — написал он своей будущей жене. А в другой раз: «Не предаваться горестям, а как можно дальше отойти от своей личной жизни». Словно эта жизнь ничего не стоила!

Да, эта счастливая-несчастливая любовь нашего младшего и очень хрупкого братика была чудом. Он доказал это строгим распорядком жизни, полной самоотречения, показал, как искусство изо всех сил сопротивляется нормальным желаниям человека и с какой

гордостью, упорством и алчностью становится важнейшей заменой личной жизни. И тем не менее Карел страстно любил жизнь и участвовал во всех ее проявлениях, пусть издали, глазами, слухом, фантазией. И при этом он оставался тенью, как бы отстраненным, неофициальным зрителем, с детства одинокий король страны, которую создал в своем воображении. Если и был в нем эгоизм, то как редко спускал он его с цепи и только в любви к обожаемой девушке; однако он сразу овладевал собой, и тут же взволнованно раскаивался, и писал ей о своем вечном самоотречении, называя себя «старым и седым волком», в чем был уверен и уговаривал любимую думать не о нем, а искать свое счастье.

Это невысказанно хаотическая любовь была его упорным несчастьем и в то же время отрадой; чувство к Ольге воодушевляло и возвышало его. Единственный выход из этой неразберихи и неуверенности без конца колеблющийся Карел видел в том, чтобы молчать либо говорить о вещах, не вызывающих сомнения; однако, мгновенно овладев собой, Карел обретал силу духа и становился хозяином положения, что было очень важно, ибо он отдавал себе отчет в том, что счастливы в совместной жизни могут быть только сильные и здоровые люди. А он переоценивал свою давнюю болезнь, в чем, конечно, сыграла свою роль и ревнивая маменька, которая сумела уговорить отца, и Карел снова был напуган осмотрами врачей, предостерегавшими его против женитьбы не только устно, но и письменно. Ревность матери не считалась с тем, какие страдания вызывает длительное ожидание и отсрочки, она настаивала на своем. Ревность присваивает себе все права, однако случается и так, что она все теряет; так было и с Карелом, который никогда не решался говорить с родителями о своей любви. А если кто-нибудь из нас осмеливался произнести имя Ольги, он часто с раздражением отвечал: «Надеюсь, вы не думаете, что я вообще когда-нибудь женюсь? Оставьте меня в покое! Прошу вас больше не упоминать о ней!»

Он встречался с Ольгой тайно, словно боялся кого-то; за четырнадцать лет я, пожалуй, встретилась с ней только один раз. Это было в самом начале их знакомства. Она со своими косичками показалась мне совсем юной, чуть старше моей дочки, и я сказала Карелу:

«Боже, ведь она еще совсем цыпленок! А ты много старше, о чем ты думаешь!» После этого он не допустил новых встреч ее с нами и тем самым посеял в ней сомнения. Ольга была незаурядной девушкой, художник до мозга костей, она по праву гордилась своей независимостью, и, безусловно, ей было тяжело сознавать, что Карел предназначил ей роль какого-то анонима в своей семье. Прискорбно! Только спустя много лет мы сблизились, и обе жалели, что не знали друг друга раньше; этим он лишил многого не только нас, но и себя: вместо братских у нас тогда установились лишь внешне родственные отношения.

Что было, то было, и даже если оба брата и их жены достаточно намучились за время долгого ожидания, то были вознаграждены; любовь каждого из них была благословением, и перенесенные страдания пробудили в них самоотверженное чувство. [...]

[...] Новая пражская квартира в мгновение ока была приведена в порядок, и отца распирало от гордости и желания похвастаться. Он пригласил из Жернова своего старшего брата, дядю Пепика, приехать посмотреть дом и прекрасно разрастающийся общий сад мальчиков.

Однако вначале из-за этого сада были небольшие раздоры: у отца было свое мнение, он хотел сделать его по образцу сада в Упице, чтобы он не только радовал глаз, но и приносил пользу. Но упрямый Печа никакой пользы не признавал; этот скромный человек вдруг проявил непомерное честолюбие: он хотел иметь хотя бы кусок или кусочек сада Краконоша и постепенно по совету садовника сотворил чудо; в его части сада уже давно были посажены и росли альпийские травы.

А Карел, тогда еще равнодушный к прелестям садоводства, дал себя уговорить, и отец кое-где высадил привой, вскопал грядки и начал выращивать какие-то овощи. Однако их дотла пожирали гусеницы, и вконец сконфуженный папа все повыдергал и признал: «Дорогой мой мальчик, и впрямь земля у тебя здесь плохая, а с меня хватит трудиться. Поговори лучше с Печей, скорей всего тут надо бы оставить твои березки, а впрочем, посоветуйся с садовником. Сам я уже

не справлюсь, да и ты запретил мне в саду возиться!»

Еще бы, ведь когда отец вырывал эти жалкие коренья, у него кровь пошла горлом, и перепуганный Карел тут же созвал консилиум.

Доктора сказали: «Склероз; видимо, коллега забыл, что ему за семьдесят? Нельзя перенапрягаться, можно только смотреть и любоваться, каждый день спокойные прогулки, это — пожалуйста, но копать — ни-ни! И вообще надо быть осторожным...»

— Я осел, осел, не надо было разрешать ему так возиться, — сетовал Карел.

В саду сразу появились альпийские растения, строгая оградка вокруг насаждений, небольшой бассейн, обрамленный ирисами, а в нем золотые рыбки, купы один за другим расцветающих кустов, роскошные клумбы с редкостными флоксами, экзотические азалии — словом, настоящий райский уголок; Карел с каждым днем все больше любил свой сад и ухаживал за ним. Отец только смотрел и поражался, как оба сына зимой вместе изучают специальные журналы и книги только потому, что лишь самые прекрасные кусты и цветы казались им вполне подходящими для их сада. [...]

ОЛЬГА ШАЙНФЛОГОВА

ИЗ КНИГИ «ЧЕШСКИЙ РОМАН»

[...] На следующий день она познакомилась с Карелом Чапеком. Литературный мир уже воспринимал это имя как одно из наиболее многообещающих в молодом государстве. Незадолго до того он издал книгу рассказов, поразившую самых тонких ценителей, и сейсмографы стражей литературного благоденствия отметили приближение крупной личности. Ольга бурно реагировала на это имя и, одержимая жаждой сильного и нового образа мыслей, до той поры читала каждое написанное Чапеком слово. По фотографиям, которые появились в газетах и журналах, она знала его необычное лицо с огромными глазами и детским ртом, слышала, как рассказывал о нем ее отец, работавший вместе с ним в редакции, но и в самых смелых мечтах не представляла себе, что однажды, после спектакля в маленьком театре, он вдруг, раскланиваясь, снимет перед ней шляпу. Мощный квадрат дворика дышал запахами театральных складов и пива из расположенной напротив пивной, привратник, как всегда, ворчал, что нынче господа актеры слишком замешкались, а уродливый шпиц по меньшей мере в сотый раз окроплял свой излюбленный угол у входа. Все буквально смердело повседневностью в тот миг, когда решалась судьба двух людей.

Выглядел Чапек еще больше мальчишкой, чем на всех карикатурах, а глаза его так сияли и были так глубоки, что Ольга не могла смотреть в них без изумленья.

— Добрый вечер, — сказал он громко, точно давным-давно был с нею знаком. — Может быть, вы не рассердитесь на одного не совсем воспитанного человека... Я Чапек, барышня. Знаете, тот, что написал кое-какие

рассказишки. Я был в театре и дождался вас. Дерзость, не правда ли?

Первым, что их соединило, была долгая пауза, для него спокойная и шутливая, а возможно — и прекрасная, но для нее — бесконечная, невыносимая. Ведь Ольга знала: он видел ее на сцене, но почему-то не говорит, понравилось ли ему. Так и не сказал. Пришлось начать самой, нарочито ироническим тоном, но ирония, как ни странно, прозвучала фальшиво, словно малый ребенок играл роль опытного интригана.

— Что это вы вдруг решили прийти к нам сюда, на окраину?

Потом, когда она анализировала свои неудавшиеся потуги на иронию с профессиональной, актерской точки зрения, ей было просто стыдно.

— Хотел увидеть в а с , — прогудел он глухим голосом, глубина которого решительно не вязалась с детским удивлением на его лице.

— Меня?

— Да. Дочь человека, которого я люблю, и барышню, опубликовавшую трагический рассказ в воскресном приложении.

Ольге почудилось, будто плиты тротуара, как трясина, колышутся под ее ногами; с первой минуты она почему-то ощутила неуверенность. Его и без того глухой голос был плохо приспособлен к низким тонам, и все же ей казалось, что говорит он несерьезно.

— Почему? — спросила она еле слышно, измученная этой системой частых продолжительных пауз.

— Хотелось увидеть дикий, нетронутый экземпляр литературной фауны. Послушайте, барышня (чувствовалось, как он не любит это слово), в том, что вы написали, много бессмыслицы и много таланта.

Земля под ее ногами совсем обмякла и стала куда-то проваливаться; возникло постыдное и блаженное ощущение — словно она летит по воздуху. [...] Талантливый Карел Чапек шел рядом с ней, точно ведя ее в тот, другой мир, о котором она мечтала как-то чище и горячее, чем о театре, и все же не с такой силой, не так самозабвенно и безудержно.

— Хотел взглянуть, как вы играете, как обращаетесь со словом. Послушайте, на сцене вы преуспели больше, но в рассказе местами просто безжалостны.

— К кому? — спросила она, все еще паря над землей.

— К слову. — Крупные, как у негритенка, губы перебросили мундштук с сигаретой в другой угол рта. — Да, еще ботаника. Вы когда-нибудь видели чилишник?

— Конечно, — ответила Ольга уже несколько агрессивно, потому что теперь в его негибком голосе действительно послышалась усмешка.

— Волосы у нее были золотые, как цветок чилишника, — гудел он уже совсем дерзко. — Бога ради, милая барышня, разве чилишник можно сравнить с золотом? Ведь это желтизна вызывающая, как апельсин, навязчивая, как цветок одуванчика, комичная, как пушок только что вылупившегося гусенка, — знаете ли, я не могу себе представить такую блондинку.

Она засмеялась, правда, с оттенком удивления. И беспомощно возразила:

— Мне так нравилось.

— Наверное, вы услышали красоту звучания, — со знанием дела заключил он. — Полагаю, вашему литературному творчеству будет мешать театр.

Ольга остановилась, вся — напряженное ожидание.

— Вы думаете, это не просто проба пера, по-вашему, я правда буду писать?

— Безусловно, — подтвердили его брови из-под смятых полей странной шляпы, — если почувствуете необходимость.

Потом, немного помолчав, он двинулся дальше необычными, слишком мелкими для мужчины шажками. Ольга заметила, что во время разговора он никогда не смотрит на того, кому адресует вопросы, просто идет и бубнит себе под нос относящиеся к собеседнику слова.

— У вас голос, ради которого я и пришел сюда, хотя никогда еще не ожидал актрис у заднего выхода.

Такой чудесный, хрупкий и бесстыдно молодой голос. Как у зяблика, как у мальчишки — или нет — совсем как у нежной, восхитительной девушки.

Она снова лишь кивнула: мол, принимает сказанное к сведению; не нашлась, что возразить. Так и шли они рядом, хотя он этого не просил и она не давала согласия; формальности их не интересовали, ведь почва, по которой они ступали, как-никак была территорией, принадлежавшей искусству.

Чапек был не из тех людей, за которыми можно подглядывать исподтишка, на него нужно было смотреть широко раскрытыми глазами; пришлось даже на

миг остановиться, чтобы он весь, целиком вошел в поле ее зрения. Так много его было в этом худом теле и удлиннном тонком лице! Часть высокого неповторимого лба срезала старая мятая шляпа, а кожа на тридцатилетнем лице была по-юношески розовой — до смешного прелестный румянец на лице мыслителя. Крупные, резко очерченные губы точно постоянно впитывали слова собеседника — а с ними воздух и свет всего мира. Какие же глаза у этого странного человека, все лицо — сплошные глаза, темные и большие, пронзительные и сияющие бесконечной радостью и наивностью, бесконечным умом и печалью! Но как только они оживятся — это сама игривая детскость, лучезарность и ирония.

— Удивительно безликая роль, — заметила она то ли в оправдание, то ли потому, что так это и было на самом деле. — Многого в ней не покажешь.

— Разумеется, но с меня достаточно и вашего голоса. — А сам искоса поглядывает на ее рот. — Не люблю сильные и чистые голоса, в которых столько красоты и очарования, что уже не остается места для обыкновенного, человеческого. Ваш голос съезжился, как бабочка, только что высвободившаяся из кокона, как молодой зеленый лист; он еще звучит неуверенно, отвага его лишь показная. Но мне он нужен, этот ваш лукавый голосок. Знаете, я заканчиваю пьесу, лирическую комедию, она будет называться «Разбойник» и отчасти написана стихами. Я хотел бы услышать свои вирши не в декламации, — сохрани господь! — а чтобы они заливались, щебетали и пели вашим голосом жаворонка, или нет, постойте, — синички. Видите ли, у меня в пьесе есть девушка, похожая на вас... Хоть она не пишет рассказов и не играет в театре, но так же ошеломлена своей молодостью и так же не знает, что с ней делать. Как раз это я и попытался передать стихами.

— Зачем? — спросила она серьезно, поскольку пьеса в стихах показалась ей чем-то недостаточно современным.

— Молодость обычно мыслит стихами, даже когда живет среди бог знает какой гнусной прозы; она всегда расточает чувства и слова, и в этом всегда есть какой-то ритм.

— Пожалуй, вы правы, — согласилась Ольга скорее от имени собственных семнадцати лет, чем в соот-

ветствии со своими взглядами на искусство. «Осторожней, — подумала она, — этому бедняге уже не меньше тридцати, у нас, едва достигших семнадцати, кое о чем более современное мнение».

Они идут по опустевшей в ночи улице, точно это свидание давно уже было уготовано им судьбой, и оба изумляются красоте естественности. [...]

Он останавливается, переламывает сигарету медленными, размеренными движениями юношеских рук, которые красивее и моложе его. И глаза у него, пожалуй, моложе — неужели вам уже тридцать? Да они гораздо моложе ее самой, навсегда остались где-то среди чудес детства, среди первых радостей познания и первых игрушек и никак не могут примириться с тем, что мир, казавшийся мягким как шелк, стал угловатым и суровым.

— Мою героиню зовут Мими, — произнес он с ияя. — Может быть, если бы вы одолжили ей на время свой голос, она бы еще многое о себе досочинила и досказала. Позвольте обратиться к вам от ее имени: не могли бы вы уделить ей часок своего молодого времени?

Ольга старалась, подражая ему, смотреть прямо перед собой; их взгляды, словно две параллельные прямые, никак не могли встретиться, что, собственно, было очень удобно в эту минуту.

— Где? — просто спросила она вместо согласия.

Что-то в нем словно бы не сумело сдержать неожиданную радость, но что именно? Это не могло быть ни пальто на неподвижных плечах, ни глаза, которых она не видела, ни глубокий горловой голос, неспособный к слишком явственным переменам.

— Я бы зашел к вам... раз уж не могу пригласить вас к себе.

— Хорошо. Завтра в пять, — уточняет Ольга. [...]

[...] Она сидит на ковре, по-мальчишески поджав под себя ноги, перед ней прочитанные страницы «Разбойника», а Карел Чапек восседает на диване, словно паша, который слушает чтение, куря кальян. Поначалу камнем преткновения была рукопись — микроскопический почерк, сплошные вымарки и вставки; сколько раз Ольга краснела, без конца спотыкаясь об исправления или неразборчиво написанные места. Но теперь

она уже всюду раззвенелась смелым голосом, скользит взглядом по строчкам, резвится и замирает над весенним стихом молодой пьесы, благочестиво смиренной и озорной, как глаза Чапека.

Порой посмотрит в лицо автора, розовое от волнения и радости, и видит в нем нечто странное, нарочито от нее не скрываемое. Конечно, она не слишком-то опытная чтица, зато у нее есть чувство и почти звериный инстинкт. Она идет по следам чапековской фантазии, как вышколенный пес за своим хозяином.

— Спасибо, хорошо, — кивает розовое лицо.

А иной раз он просит, будто завороченный сказкой мальчик:

— Еще раз, пожалуйста.

Одну страницу пришлось перечитывать трижды, здесь текст звучал особенно отчетливо и чисто; Чапек прикрыл глаза большими веками, притушил разгорающийся в душе пламень и казался неземным. Она видела, как Чапек слушает, приоткрыв рот, словно бы впитывая ее голос; он не смотрел на нее, не улыбался, но и сквозь кожу неподвижного лица проглядывали радость и упоение. [...]

Кончила и сидела пунцовая от стыда, задышающаяся и влюбленная в жизнь, в театр и в Мими. [...] Чапек кивнул и уже не был так прекрасно, так свято слеп, глянул огромными сияющими глазами на эти семнадцать лет, сидящие перед ним на ковре и вызывающие свою песнь.

Его голос продирался к ней откуда-то издалека:

— Я это знал еще вчера, потому и дожидался вас. У меня возникло предчувствие, когда я читал вашу наивную новеллу. Да, девочка, вы совершенное создание моей фантазии.

Он не уточнил, что под этим подразумевает, но явно думал о Мими. Потом курил несколько больше и задумчивее, чем приличествует спокойному человеку. Опустился рядом с ней на пол, как-то слишком низко склонив голову, так что она видела всю красоту иссиня-черных волос над высоким сводом благородного лба. Нарочно подождал, пока она соберет страницы пьесы, хотя это полагалось сделать ему самому, и обом было ясно, что ему хочется видеть неуверенные, нервные движения ее детских рук; он следил за ними взглядом весело скачущим, словно разыгравшийся щенок.

— Какие у вас сухие, маленькие, морщинистые и натруженные руки! Точно птичьи лапки, нет — точно обезьяньи... или как руки старого китайца, а ведь вы семнадцатилетняя барышня!

— Я знаю, — сказала она по-женски и поднесла к глазам ладони с растопыренными пальцами, словно два живых веера. — Не думайте, я и сама расстраиваюсь из-за этого; господи, сколько крема на них потрачено, а все впустую!

Казалось, он разочарован ее признанием. Взял одну руку своими красивыми пальцами и с целомудренной смелостью стал ее разглядывать.

— Посмотрите, что за диковина — такая молодая ладонь, и столько морщинок!

— Это как моя душа, — сказала она серьезно. — Ей семнадцать, но она уже ох как стара! Словно была тут с незапамятных времен и все уже пережила. Пожалуй, потому я и могу представить себе что угодно — все это вписано в мою душу каким-то давним опытом.

— Интересное объяснение образного видения, — улыбнулся он и добавил, глядя ей прямо в лицо большими глазами: — Мне тоже порой так кажется, если хотите знать. И довольно часто. Однажды это даже обрело более определенные формы, чем просто инстинкт или предчувствие. Несколько лет назад я бродил по Франции в поисках больших впечатлений за малые деньги. Это было близ Марселя — в типичной южной деревушке, выжженной солнцем и грязноватой. С той поры я видел сотни подобных деревушек, но на окраине этой деревни меня что-то поразило. Я шел по белой дороге между ровными рядами домов, ошеломленный, с громко бьющимся сердцем... Даже стыдно было, что вытворяло оно под мужским пиджаком. Я знал точно, был абсолютно уверен, что когда-то здесь уже бывал, что мне знаком тут каждый уголок, каждый поворот улицы и эта группа холмов за синим срезом горизонта. «Вон там лавка бакалейщика» — говорил я себе, — а чуть подальше темная кузница. Когда-то в ней на трех ногах стояли оседланные кони». Заглянул — коней там не было, но бородатый детина внизу, в сводчатой подземной нише, размашисто и ловко играл с железом и огнем. «Все так и есть, успокойся, безрассудное сердце», — уговаривал я себя и, точно продолжая идти по собственному следу, угадывал: теперь — часовенка, а

за ней наполненная водой каменная чаша, в которой крестьянки бьют вальками белье. Затаив дыхание, подошел к часовенке и водоему по белой, залитой солнцем мостовой французской деревни. Я был как-то странно и неприятно уверен. Возможно, я когда-то здесь жил или знал эту деревню из снов, из каких-то необъяснимых воспоминаний... каждый уголок... каждый изгиб дороги... даже звон колокольчика на дверях лавчонки... Я заранее с насмешкой отвергал любую идиотскую ссылку на спиритизм. Почему, черт возьми, некоторые вещи не могут оставаться необъясненными, почему человек со своим глупым любопытством во что бы то ни стало желает все понять?.. Это как ваша морщинистая ладонь Да, девочка. *Знаете, молодой человек порой бывает ужасно старым, молодеет он гораздо позже, с возрастом и зрелостью. Никогда не ощущаешь себя таким старым, никогда не переживаешь все так мучительно, как в молодости.*

— Ваша Мими не такая, — снова нежно зазвучал ее колокольчик.

— Не пугайте, у нее только молодой голос, и оттого кажется, будто в ней еще ничто не надломилось, но все это вскоре ждет ее, вокруг нее уже смыкается кольцо страшной боли, для нее уже уготован крест.

Она спросила: «Какой?», заранее представляя себе, что он ответит.

— Крест любви. Если бы в моей комедии был четвертый акт, бедняжка перестала бы улыбаться. [...]

— Несчастливая Мими, — вздохнула она, потому что эти два слова короче всего выразили ее чувства.

Мундштук во рту приглушал красоту его слов и значительность фраз:

— *Ах нет, девочка, — горячо начал он своим гулким голосом, — никто из тех, кому дано что-то пережить, не должен считаться несчастным. Возможно, иногда он мученик, герой, но не несчастный. Несчастливы те, кого жизнь и ее события начисто обошли стороной, оставив бесцветно, серо глазеть на великие дела и богатую жизнь вокруг. Такие, кто ни за что не дрался, никогда не знал больших желаний, чем поест да поспать или ощутить еще какую-нибудь заурядную, трезвую радость.*

[...] Он не умел так удобно располагаться на полу, как она, — мешали длинные ноги; держать голову ему

тоже было явно нелегко. Ольга минуту смотрела в его лицо широко раскрытыми глазами, как должен был смотреть на него каждый, — и видела теперь все сразу. И как дурно шит его костюм, о господи, нечеткостью покроя он совершенно размазывает линии худощавой фигуры, и как не похож, как он совсем не похож на других людей, которые окружали ее с детства, лица которых она видела на картинах, а характеры вычитывала из книг. Не похож ни на одного из мужчин в драмах, прочитанных или сыгранных ею. Не похож и на мечты девичьих ночей, обступавшие ее полудетскую постель. Смесь наивности и тяжело доставшейся мудрости, сияющая в его глазах, вызывала в ней странное смятение. [...]

Здесь, на ковре отцовского кабинета, Ольга почувствовала, что сегодня решалась судьба, вся ее жизнь. [...] Она поднялась на ноги первой, на несколько волнующих секунд опередив его, и рука, подававшая ему рукопись «Разбойника», заметно дрожала.

— Видно, я слишком сильно на нее опиралась, — объяснила она по-детски.

Он смотрел куда-то за дальние горизонты, точно эта комната не была ограничена стенами. Рот его расцвел невероятным пурпуром, а детские сияющие глаза заполнили все лицо. Ольга слышала, как бьется его сердце под дурно сшитым пиджаком; вероятно, он стыдился этого и заглушил громкое сердцебиение глубоким, негибким голосом:

— Могу ли я... то есть... я должен вас видеть. Нельзя ли завтра в шесть?

Она кивнула, как кивает растение под напором ветра.

— В семь. Завтра я не играю, вечер у меня совершенно свободен.

Детская рука с морщинистой ладонью протягивается для прощания, и стеклянный девичий голосок проносит прикоснувшимся к этой руке губам, словно они — орган его слуха:

— Вот видите, я давно, еще до того, как принялась за чтение вашей Мими, знала, что вы попросите меня об этом!

[...] Чапек высвободил ее из плена безличия. [...] Под его всевидящим взглядом рушится любая фальшь, любое стремление казаться лучше, и она становится

просто собой, такой, какая она есть, сложной и таинственной, но это только она, один человек, потому что любить можно только одного.

Свершилось унизительное обеднение, но одновременно и удивительное освобождение.

— У вас пятьдесят лиц, — говорит ей Чапек как раз в тот момент, когда круг ее мысли замыкается. — Будь я скульптором, я бы не решился вас лепить: выраженные лица у вас поминутно меняется.

«Надо же, и это подсмотрел, хоть мне и кажется, будто теперь я утратила былую многоликость», — подумала Ольга удивленно. Очевидно, естественность и неподдельность, исходившие от личности Чапека, заразительны и распространяют свое свечение, как радий, который испепеляет все вредоносное, все, что произошло вне правил и законов души и тела. Говорит он просто и естественно, как никто на свете, и всегда о чем-нибудь стоящем. По-молодому восприимчивый, он буквально нашпигован впечатлениями от статуй, картин, книг, науки, жизни и людей — но все это в нем как-то удивительно приведено в порядок и систему. [...]

Ольга не стыдится того, что не знает многих общеизвестных и значительных вещей, ведь она настолько моложе его и до сих пор не слишком преуспела в своем образовании; заметила даже, что ее молодость, талант и неведение отчего-то особенно импонируют ему как мужчине. И ее скованность тоже кажется ему трогательной и юной, и потому, встречаясь с нею или посылая письмо, он неизменно обращается к ней: девочка, детка, маленькая — тоном, в котором звучит потребность любить, воспитывать, лелеять и холить. Ее чувства и глаза наполнены им; как он благороден в своем неудачно сшитом костюме, вечно засыпанном на груди табачной крошкой из разломленных сигарет! Он правит «Разбойника» и все время ощущает потребность говорить о нем нежные и поэтичные вещи своим глухим, лишенным приятности голосом. [...] Все, чего сама она не умела написать и выразить, но что ощущала, как кислород в своих легких, как кровь в жилах, — все это есть в его пьесе. Словно бы он взял и пропел вслух ее собственную молодость цветущими словами, он, уже прошедший после первых смятений и кризисов немалый кусок жизни. Она чувствует, что писать — дело

важное, очень важное, важнее и священнее, чем играть в театре. [...]

А тем временем Чапек рядом с ней бубнит, склонившись над рукописью «Разбойника», пестрящей по-марками и исправлениями:

— Я рад, что наконец сведу счеты с этим взбалмошным парнем, полным любви и дерзости, и снова хоть на минутку стану солидным господином Чапеком.

— На минутку? Как это?

— Пока не примусь за что-нибудь новое. Знаете, маленькая-миленькая, как только начинаю работать над созданием какого-нибудь значительного персонажа, я влезая в его шкуру со всеми своими потрохами и на время теряюсь в ней. Это даже смешно, поверьте: я, в ком нет ни молекулы комедиантства, вдруг обретаю другую походку, чужие мысли, злые или добрые инстинкты, иной вкус и отношение к жизни. Пожалуй, даже из еды мне нравится то, чем бы с удовольствием набивал брюхо мой герой; временами это меня прямо ужасает. [...]

— У меня есть кое-какие замечания насчет М и м и, — вдруг отважно выпалила Ольга и просияла, увидев, с какой серьезностью он ее слушает. Наверняка эти замечания не были совсем уж глупы и бесполезны, ведь она прекрасно понимала как раз этот розовый и бесплодный возраст.

Возвращалась со свиданий в смятении, исполненная стыда и страха перед тем, как мало знает в сравнении с его образованностью, с его тридцатью годами. Хотелось догнать его быстро, сейчас же и во всех направлениях. Вот она кружит по огромной отцовской библиотеке — с чего начать? Замуровать бы тут на долгие годы, штудировать, искать, изучать и выйти, лишь когда будешь знать не меньше, чем он. Жаль, что она прервала учебу, что театр так рано увел ее от всего, что еще может понадобиться ей в литературе. Но Ольга утешает себя: Чапек знает все как-то иначе, шире, чем это известно другим, знает просто и глубоко, по-своему; такое звание не обретешь зубрежкой.

Уже две недели, как она гуляет с ним по смеркающей Праге, смотрит на мир двумя биноклями его глаз. [...] Свою «никакую» роль в театре играет с ужасающей неохотой, поскольку не может с ней ничего

поделать, а именно теперь ей так хочется, так необходимо что-то доказать! Сыграть перед Карелом Чапеком что-нибудь большое и сложное, чем она наэлектризована с головы до пят, пусть увидит, что и она не только обыкновенная девушка, что и в ней живы силы, готовые расцвести и дать урожай. Потому-то она так много говорит с ним о Мими; эту роль она уже знает наизусть, отшлифовала ее, как драгоценный камень, ей что-то нашептывают порывы весеннего ветра, учащенное жаркое дыхание жизни. В благоуханной тишине она декламирует Чапеку некоторые строки, когда они проходят мощным одиночеством глухих улочек или пронизанными светом садами; никто не оглянется, не увидит, как они остановились. Его стихи и ее голос — странное и явственное предвестье будущего.

— Пойте еще, — ненасытно просит он и слушает ее, приоткрыв рот, с разгоревшимися глазами.

Рядом с ним мир слов и вещей становился зримей и прекрасней, чем прежде, точно она обрела новые глаза или переселилась на другую планету. Никогда еще ей не приходило в голову, какой неприметной святости исполнены кроткие улочки Кампы, — Ольга чувствует это только сейчас, когда они идут вдвоем и изредка останавливаются, очарованные тайной. Фонари старых домов превращают садовые решетки в тугое металлическое кружево, голос черной реки временами доплескивает и сюда, точно где-то вдали купается невидимый бог. Крыши становятся наблюдательными вышками для лунного света; порой ночной город чем-то звякнет и загремит, как будто в огромном отеле моют посуду. [...] После красивых зрелых стихов Чапека она начинает читать свои, понимает, что они, вероятно, покажутся бессодержательными и слишком молодыми, но продолжает читать, словно отвечая ему ими; он даже не поинтересовался, чьи это стихи, — и так было ясно, кто автор.

— Сразу видно, что вы читали много стихов, — сказал он вместо какой бы то ни было похвалы.

[...] Пока они знают друг о друге лишь самое главное, остальное — с пятого на десятое. Они полны настоящим, и прошлое им только мешает. И все же Оль-

га буквально выклянчивает у него любую подробность. [...]

— Говорите, — просит она, как ребенок, не желающий уснуть без сказки.

Чапек соглашается, прячет куда-то свои излучающие свет глаза, и на его лице появляется что-то детское.

Он с предгорий, где весной из луж талого снега прорастают цветы, где весь год — зеленая, мягкая, благодатная сырость.

— Этакое маленькое гнездышко, кажется, целиком уместится на ладони. Отец был доктором, и белые окна его врачебного кабинета светились до поздней ночи. Суровый край, одни шахтеры, увечья да бедность, можете себе представить — все время кто-нибудь болеет.

Как будто не прибавилось ни силы голоса, ни блеска в глазах, и все же, когда он начал об этом, чего-то в нем стало больше — видно, очень любил отца.

— Он могучий, развесистый и прекрасный, как дерево на деревенской площади, которому хватило пространства, чтобы разрастись вширь; кости как балки, но при этом — само ворчливое и немногословное милосердие; сызмальства помогает всюду, где в нем нуждаются, и всегда мрачно и молчаливо заранее отвергает все слова, которые могли бы это подчеркнуть. Мама — сплошные нервы, вспыльчивость и необыкновенная фантазия, кое-что я, видимо, унаследовал от нее. Она записывала народные сказки, набралось несколько тетрадок... И уверяю вас, это был незаурядный труд. Сестра и брат, думаю, физически в отца — румянец, спокойствие, рассудительность и здоровье, а я...

Чапек робко и смущенно запнулся, как бывало всякий раз, когда надо было поведать о себе что-то нелегкое, сокровенное. Но Ольга клянчит и настаивает до тех пор [...], пока он наконец снова не отваживается вернуться к рассказу о своем детстве. Так было однажды в кафе, где-то на окраине города; за окном шел сильный и нескончаемый дождь. У Чапека порозовели скулы, но многие прекрасные подробности он портил нечеткостью речи, чему явно способствовал мундштук в уголке рта.

— *Признаюсь вам, быть в семье самым младшим не всегда хорошо. Такого, как говорится, поскребыша балуют большие других, зато он сильнее ощущает свою слабость и зависимость; старшие его охраняют, но од-*

новременно довольно жестоко доказывают ему свое превосходство... Он не может не чувствовать, что дети постарше держатся вместе, что у них свои интересы, и, несмотря на свое положение любимчика, немного их побаивается, не доверяет и все же старается им подражать... Говорят, самые младшие дети бывают талантливыми; возможно, но часто на них налипает что-то рабское, — не знаю, как это иначе назвать.

Ольге известно, как он любит брата и сестру; она слушает, затаив дыхание, и не перестает выпрашивать продолжение рассказа.

— Детство у нас было чудесное, полное разных встреч и впечатлений; в мальчишескую пору у меня было две большие привязанности: отцовский врачебный кабинет и дедушкина мельница. К величайшим дарам детства относилась бабушка, которую мы все любили, — она была круглая, как шарик, и непрестанно шутила. Постоянно нам, детям что-нибудь приносила или варила. А сколько она помнила всяких поговорок, сколько замечательных народных прибауток! Знаете, нашему народу от самого господ бога достался особый дар юмора и остроумия; вероятно, этим он скрашивал свою суровую жизнь. Что поделаешь, сейчас уже такого нет, наверное, мы утратили терпение и жизнестойкость. Думаю, именно бабушка научила меня сотням чешских выражений, которые без нее я бы никогда не услышал. [...]

Дедушка после работы сживал за столом, разговаривал с заказчиками и думал свою думу над кружкой выдохшегося пива, толстым указательным пальцем набивая между коленями трубку, которая у него постоянно гасла, или вел разговоры об урожае, о ценах на скот, о Бисмарке и мировой политике. Он был мудр, некогда немало поездил на своих мериных по белу свету, и я неизбежно верил, что дедушка все знает и во всем разбирается.

Когда мы приходили, он отрезал каждому из нас по сухой, съезжившейся колбаске, что венцом висели в кладовой, и наливал по кружке пива — мальчишкой я заранее неделями предвкушал эту церемонию; ни одно лакомство на свете не казалось мне более желанным. В дедовской конюшне стояло шесть лошадей — этакие огромные фурманские мерины с задами в добрый стол; я всегда прокрадывался к ним в стойло и верил, что

это самые большие и мудрые лошади на свете. Дедушке устроили красивые похороны: гроб поставили на фуру, затянутую черным сукном, и в нее запрягли всех шестерых меринов; на каждом пристяжном сидел работник. «Похороны не хуже, чем у князя», — говорили в округе; я глаз не мог отвести от этой упряжки. Дедушка питал слабость ко всему помпезному. Но в первый раз мне по-настоящему было грустно, когда умерла бабушка, такая веселая и бойкая; тогда я впервые ясно осознал, что такое смерть. [...]

Чапек сидит за невзрачным столом захудалого кафе, за окном которого струится занавес дождя, играет морщинистой ладонью Ольги, и его щеки и глаза сияют, как у маленького мальчика. [...] Он не употребляет ни одного литературного выражения, все высказано человечеснейшей речью непосредственного чувства и постижения, запечатлено в душе и памяти любовью к людям и восхищенным вниманием к подробностям жизни.

— Дедушкина мельница, — наверное, самое глубокое чешское впечатление, какое я вынес из детских лет. [...] Знаете, мне этого до самой смерти будет не хватать... вечного гула воды и деревянного перестука... А ведь стучат только пальцевые колеса, сама мельница, зернодробилки, вальцовые дробилки и прочие деревянные машины монотонно и гулко дребезжат; это скорее бесконечный, суровый и приглушенный шум [...], такое это приятное, теплое и мучительное ощущение, словно гладишь ладонью грубую мешковину... Постойте, как описать вам дедушкину мельницу... С дороги надо было спуститься на несколько ступенек; на крыльце стояли прислоненные к стенке жернова... словно почетные знаки мукомола. С крыльца попадаешь в каменное просторное сводчатое помещение, где, как в костеле, царит вечный полумрак и холод. Далее следовала людская, знаете, такой мир в себе, там чудесно пахло мужским потом и дешевым табаком; за нею была пекарня, где месилось тесто и выпекались караваи хлеба, багровые и блестящие, как каштаны, боже, запах свежего хлеба — это куда великолепнее и святее, чем аромат кадила! Печь занимала почти половину горницы, где готовили пищу, жили и спали, — это была большая сводчатая комната со стенами, толстыми, как крепостные валы, — мы втроем помещались в оконном проеме, такая

это была толщина. А наверху, на печи, было наше детское убежище — теплое и сумрачное, там сушились щепы и поленья, а на потолке резвились мухи; мы, малышня, охотнее всего залезали сюда с какой-нибудь игрушкой или книжкой.

Дети спали внизу, в горнице, вместе со взрослыми, но я предпочитал затащить перины на печку и там, в тепле, блаженствовал: эта печь была моим кораблем или островом Робинзона, моей крепостью или пещерой, судя по тому, какую книжку я в тот момент проглатывал. К потолку был подвешен шест для сушки белья, я перебросил через него старую тряпку, заменявшую мне пиратский парус или палатку. Хорошо там было. [...]

В противоположном конце постройки находилась мукомольня; это уже был другой, целиком деревянный мир, лесенки, полаты и балки, но какие балки и какие доски, боже мой, такого ядреного и крепкого дерева сейчас уже, наверное, нет в природе. И на нем всегда мягкий налет мякины, отрубей и муки; повсюду бежали, шуршали и хлопали приводные ремни, крутились валы и колеса, дребезжали машины, и все это было приятно приглушено мучной пылью. По узкой лестнице сновал младший помощник деда Винчек с полными зерна мешками на спине, только и слышишь, как шлепают его домашние туфли; сверху по деревянному желобу сыпалось зерно — от постава к постава, пока не превращалось в белоснежную, просеянную через шелк муку, трусившуюся в подставленные мешки. Этот шелк был большой редкостью; время от времени дед с озабоченным вздохом объявлял, что опять придется покупать новый шелк, а какая это — о господи — дорогизна!.. Может быть, вы помните эти деревянные трубы, заканчивающиеся мешками, из которых сыплется мелево; мне это всегда напоминало вымя деревянной коровы, из которого доится мука. Работающая мельница — вообще нечто живое, это скорее органический процесс, чем взаимодействие машин. Ведь и мешок с мукой, если вы к нему приглядитесь, похож на древнего идола, так достойно, почти по-человечески он выглядит...

За мукомольней — проход к водяному двигателю. У нас было три мельничных колеса — что за красота! Едва я скрывался из поля зрения старших, как уже

стоял на деревянной галерее или на мостках, над водой, и мог часами наблюдать, как крутятся лопасти колес в пенящейся, брызжущей и бурлящей воде. Мне, малышу, эти колеса казались большими и грозными; огромные черные руки вечно вращались и мелькали в полумраке, в гуле и клетоте воды, внушая священный трепет, — сердце сжималось, голова начинала кружиться, я судорожно держался за перила, хотелось кричать от радости и рыдать от страха. Наши этого не любили, боялись, что я упаду, а Мартинец, старший дедов помощник, пугая водяным, который якобы часто посиживает на мокрых черных балках над самой водой, божился, будто однажды сам его там видел и у водяного светились зеленые глаза. Разумеется, я от этого испытывал еще более острый и сладостный страх, дрожал от ужаса и в то же время был разочарован, что не вижу водяного.

Оттуда можно было пройти в сад; это был узкий замкнутый уголок мира: с одной стороны — черная река, по берегам поросшая серебряными ивами и ольхой, с другой — ясная и быстрая водичка отвода; наверху, под мостками и щитовыми затворами, шумела плотина; в сад никто никогда не заходил, только бабушка: если у кого-нибудь болела голова, она шла туда нарвать листьев дикого хрена, которые затем клались на лоб и снимали боль; или мы, дети, отправлялись за недозрелыми сливами... Сад зарос лопухом и высокой крапивой, а с какой-нибудь из клумб сюда занесло осеннюю астру, аконит и голубые флоксы; у реки благоухала таволга... Здесь можно было укрыться, если вдруг почувствуешь себя страшно одиноким; сначала острое ощущение одиночества сдавливало горло, но потом от шума воды и черного ольшаника постепенно отступало; однажды кто-то сказал, что над садом, как синее сияние, пролетает зимородок, я ждал его, и само это ожидание было таким чудом, что вся скорбь неизвестно куда подевалась.

— Неужели, Карел, скорбь? — спросила она с улыбкой. — Ведь вы рассказываете о детстве! Неужели вы и тогда уже знали, что такое скорбь?

— Конечно, и, наверное... с самого рожденья, только тогда я еще стыдился в этом признаться, взрослые не так заботятся о своем достоинстве...

Сияние в его глазах разгоралось все сильнее.

— Но какая это была жизнь для маленького мальчугана — не опишешь! К примеру, звякнет в сенцах колокольчик, и бабушка бежит от плиты в кладовую — кому-то что-то продать. Естественно, малыш — за нею, держится за юбку и хочет знать, кто пришел. Бабушка взвесит в оловянной миске муки или крупы и разговаривает с соседкой, мол, у того-то слабая грудь, а у этого родилась дочка; тем временем мальчуган набрал пригоршню маку и набил полный рот. Потом заметит выдвижной ящик с сушеными сливами, исследует вкус твердых горошин или семян репы — там всегда можно было найти что-нибудь заслуживающее внимания.

У старшего брата — другие интересы, а карапуз где-нибудь мается от скуки и решает отправиться через дорогу на хозяйственный двор, где всем заправляет дедушкин конюх Вильда. Он как раз распрягает Кубу и Филиппа; мальчонка их немного побаивается и издали протягивает им выуженный из кармана замусоленный кусок сахара; Куба нежно, покорно берет мягкими губами сахар из липкой ладони, а Филипп прыдет ушами и вытягивает шею: как, а я ничего не получу? Еще там есть пес Жулик, что ездит с Вильдой на козлах; с мальчуганом у него своего рода соглашение о дружбе и взаимном невмешательстве: я — пан, ты — пан, но держи ухо востро! Он усердно ловит блох и, не прерывая этого занятия, пытается вертеть хвостом, да еще одним глазом поглядывает на молодого хозяина — для обыкновенной псины этого слишком много, он тоже как-то сбит с панталыку и, неожиданно отряхнувшись, набрасывается на кур.

Куры, как известно, большого интереса не представляют: только и умеют, что прилежно искать корм да поглядывать одним глазком — не насыплешь ли ты им чего-нибудь вкусенького. Гуси куда занятней: гусь ущипнет кусок лапчатки, встанет на одну ногу и победоносно осматривается вокруг, словно ему принадлежит весь двор. Увидев мальчугана, гуси вытягивают шеи и шипят по-змеиному; маленький мужчина хмурится и делает вид, будто прячет за спиной прутик. На поленнице сидит кошка, сыто жмурит глаза; ее ночная смена в мукомольне, где она ловит крыс и мышей, кончилась, и она полна сознания выполненного долга. Карапуз боязливо гладит пальцем плюшевый носик и глад-

кое твердое темечко между ушами; кошка начинает старательно, с каким-то хрипом мурлыкать, вот-вот захлебнется, и от блаженства вонзает когти в кору поленьев.

— Боже, как вы наблюдательны, как удивительно, как живо видите каждую мелочь!

— Это не я, это тот мальчуган, маленький Карел, которого в семье называли «Ичек».

— Право же, Ичек, с такими глазами, как у вас, можно написать прекрасные вещи.

— Я бы хотел, чтобы это были самые что ни на есть чешские вещи; знаете, таких бабушек и мельниц, наверное, нет больше нигде на свете. Еще немного, и я закончу свой рассказ.

Мальчуган любит забираться в хлев, но там ничего нет; лишь корова в полутьме повернет голову, звякнет цепью на шее и продолжает медленно жевать. В конюшне гребет копытом Куба или Филипп, там сильно пахнет лошадьми, но от конюха Вильды смердит еще сильнее; мальчику это нисколько не мешает, при всяком удобном случае он подсаживается к Вильде и слушает, как тот без конца бормочет о каких-то «стервах» и «свинях», которых он когда-нибудь все равно убьет, Вильда вечно пьян, бабушка говорит, что в один прекрасный день в нем вся эта водка вспыхнет, и мальчик напряженно ждет, не загорится ли Вильда, зажигая свою мокрую вонючую трубку. Этот Вильда был удивительно добрый человек, а как он любил лошадей! Но когда оказывался в обществе людей, не открывал рта и только сердито попыхивал трубкой.

Так было на хозяйственном дворе. Но существовала еще и мукомольня. «Не путайся тут под ногами!» — кричит мальчику пан Мартинец, старший помощник деда, — только сам дедушка осмеливается называть его Францем, для остальных он пан Мартинец. Высокий, сутулый, всегда серьезный евангелик с очками на носу беспрерывно кашляет и отхаркивает мельничную пыль; но какой он ловкий — сам и по дереву сработает, и за механика любую неполадку исправит, мельничный механизм знает на слух: в потемках различит, где заело; да, вот как надо владеть своим ремеслом! К внуку старого мельника он очень привязан, вырезает ему из досочек тележку или пасхальную трещотку, а по воскресеньям усаживает его возле себя и, водрузив на са-

мый кончик носа очки, читает вслух рассказы из календаря. Или возьмет его с собой на мостки, где ловит под плотиной окуней и плотву. «Пан Мартинец, клюет!» — возбужденно шепчет мальчик. Пан Мартинец, словно очнувшись, поднимает голову: «Что ты сказал?» — «Клевала, — взволнованно шепчет тот и как можно шире расставляет руки. — Вот такая!»

Не знаю почему, но есть я в детстве любил вместе с мельничными работниками; уместившись между паном Мартинцем и Винцеком, я вылавливал ложкой куски из их миски. Мне нравился этот мужской, шумный и ворчливый мир; все это были мои друзья, под их охраной я чувствовал себя уверенно и на свой манер любил их тяжелые рабочие руки, мокрые бороды и едкий запах пота. Когда вспомню, какие это были детины, до сих пор кажусь себе ребенком, который болтает ножками, сидя на лавке, и важно выпячивает грудь от гордого сознания, что находится среди взрослых.

Чапек замолчал, в кафе стало почти совсем темно. [...] Невидимый дождь шумел за окном с усыпляющим постоянством.

— Вот видите, — глухо произнес он, разломив пополам очередную сигарету, — столько я никому не рассказал за всю свою жизнь. О таких вещах я охотнее молчу или пишу. У меня мучительное подозрение, что все это имеет особую и весьма серьезную причину.

— Что именно, Карел?

— Да то, что я рассказывал вам о своем детстве, о том, что меня тогда более всего очаровывало и трогало. [...] Ведь не принято вспоминать вслух про бабушку или детскую скорбь [...], разве только когда расчувствуешься или [...] влюбишься так бесповоротно и глупо, как я в вас.

Оставалась единственная забота, единственная связь с прошлым: Иржи. Он продолжает писать доверчивые письма, посылает цветы; теперь Ольга не отталкивает людей так легко, как прежде, до знакомства с Карелом Чапеком.

— Бедняга влюблен по уши, — озабоченно призналась она Чапеку, когда уже полностью ему доверяла. — Знаете, я поиграла с ним и...

— Это жестоко.

— Конечно. А теперь ума не приложу, что делать? —
Ей необходимо было нечто вроде полуисповеди, полу-
признания. [...]

— Скажите ему правду.

— Какую?

— Ну... вам виднее.

Она вздохнула, точно перед ней стояла тяжкая за-
дача: ведь признаться надо было и тому, и другому.

— Хорошо, — произнесла она совсем просто, — я ска-
жу ему, что влюбилась.

Шаловливое выражение его лица скрыло блажен-
ство и растроганность.

— Сильно? Говорите скорее — сильно?

— До смерти, Каченка. — Она сложила это имя из
инициалов, которыми он подписывал свои статьи в га-
зетах.

— Чего уж там, этого мало, лучше на всю жизнь,
моя милая, я предпочитаю жизнь.

Близится премьера «Разбойника» в Национальном
театре, роль Мими готовит примадонна, а сердце Оль-
ги впервые сжимается неведомой прежде завистью. [...]
В своем маленьком театре она получила большую
роль.

Разучивает ее не так, как прежде, — с внимани-
ем к каждой детали, по десять раз пережевывая
одно и то же место и все еще не удовлетворяясь.
«Сказать правду проще и труднее всего», — смеется
Карел. [...]

Ольга имела успех. [...] На улице стоял Чапек в мя-
том костюме, глаза сияют как звезды, половинка сига-
реты в мундштуке, голова на малоподвижной шее низко
наклонена, — и то, что он ждет ее, было самое
главное.

— Совсем недурно, — сказал он минут через пять со-
вместной ходьбы и покивал головой, что у него было,
признаком удовлетворения. [...] Потом разговорился о
созданном ею образе и был похож на скульптора, стоя-
щего перед мягкой, податливой глиной:

— Тут, я думаю, надо бы чуточку добавить, а в по-
следнем акте приглушить тон. Результат будет гораздо
значительней и по воздействию, и по форме, вот уви-
дите.

Ольга верила ему так же, как он верил ей, юной и

глупой, когда она показывала ему пальчиком какое-нибудь место в испещренной помарками рукописи:

— Мне кажется, тут Мими должна испугаться, потому что хоть она и противится родителям...

Его успех пришел через неделю, успех потрясающий, безусловный. Ольга сидела на балконе в окружении чужих людей, никто не знал, что она имеет к Чапеку какое-то отношение, что знает роль Мими наизусть. [...] Ага, вот его любимый брат, тот розовощекий, с резкими чертами весьма необычного лица. Старший брат, имя которого Карел произносил чаще и теплее, чем любое другое. А эти большие жгучие глаза под черными волосами всех Чапеков — сестра, умная, энергичная и талантливая, как ее братья, та самая, после которой маленький Ичек донашивал штанишки с кружевами и потому стыдился остальных мальчишек. [...] Чапека Ольга видела словно в тумане: он в дурно сшитом смокинге, низким наклоном головы благодарит публику за аплодисменты, и только отсюда, издали, Ольга обратила внимание — и сердце ее сжалось от новой тревоги: почему он так странно держит голову, ведь это должно быть заметно каждому, кто хоть раз остановился с ним поговорить! Он же поворачивается всем телом, если хочет глянуть чуточку вбок; это ему даже идет, пожалуй, тут есть нечто непреднамеренно ироническое, но наверняка это не свидетельствует о крепком здоровье. Вспомнились его маленькие, хрупкие и всегда теплые руки, не способные нанести удар, влажный лоб, покрывающийся испариной от любого напряжения, и стало страшно здесь, вдали от него, страшно чего-то, еще не высказанного.

«Мими играет примадонна, которая намного старше меня», — завистливо и торжествующе думает Ольга. Играет прекрасно, но иначе, чем произносила бы текст этой роли она сама. Ольга с трудом сдерживает желание вылететь на сцену, отстранить ее и доиграть безыскусно, по-своему. Сказать тихо и вежливо: «Простите, вы, конечно, прославленная актриса, но ведь тут говорится о нашей любви», — а после представления уйти с поэтом.

Условились встретиться на углу; и вот она ждет, пламенная и ужасно взволнованная, — когда же наконец Чапек разделается со славой и будет принадлежать ей, и только ей. [...] Но все получилось совсем не так,

как они представляли себе еще днем. Вокруг него, постоянно сменяясь, толпятся люди, желающие пожать его руку. Оглушенный успехом и предложениями, он стеснительно, по-мальчишески поворачивается в разные стороны и пытается отговориться, но его куда-то тянут, подталкивают, увлекают друзья, верные и случайные, те, что появляются одновременно с успехом, а она понапрасну переступает с ноги на ногу на опустевшем углу. [...] Посыльный из какого-то ресторана принес короткую записку с просьбой извинить и не сердиться, сунул в окаменевшие руки несколько цветов из его букета. [...]

Дни, появившиеся на свет после той отвратительной ночи, были точно старые, слишком мудрые дети. Ольга ходит из угла в угол, пережевывает свои заботы. Только теперь ей пришло в голову: почему Карел живет один, у родных, словно старый холостяк, в то время как другие в его возрасте давно женаты?

[...] Она чувствует себя умудренной опытом, взявшей на себя обязательство быть честной в каждом слове и мысли: Карел нездоров, когда-то он сказал ее отцу, что должен жить один, теперь ее долг помочь ему в этом даже ценой самой тяжелой утраты. Ольга старается уклоняться от встреч. «Сегодня не могу, завтра работаю, послезавтра, и вправду, целый день должна учить роль».

Просто поразительно, как быстро он отреагировал. *«Что случилось? Скажите, что произошло? Лучшие одна смертельная рана, чем унижительная медленная казнь»*. Он заметил ее замкнутость, улыбку, которая искривилась и больше походила на печальную усмешку, ее неожиданную занятость — и испугался, побелел как полотно. Но Ольга судорожно держалась за свое мудрое решение. [...]

— Я и правда не могу, мы немного перегнули палку, пора вернуться к разумному поведению и работе.

— Думаете, я бездельничаю? — возмутился Чапек.

Он готов был наплевать на успех, на все последовавшие за ним предложения, точно и для него главное содержание жизни составляла она. Писал ей письма, продиктованные бессонницей и расстройством, которых

не скрывал, ожидал ее перед театром, даже после того, как она сухо заметила, что не уверена, будет ли одна; ее упорство лишь усиливало его чувство, превратившееся в какую-то манию. Ольга собирала все силы, чтобы «доиграть» спокойствие, сохраняла самообладание до порога своего дома, а там брала трясущимися руками его письма и перечитывала десятки раз, с мокрыми глазами — и старые, томившиеся в ее столике, и те, что приходили вновь:

«Не могу работать — и это на Вашей совести. Девочка злая и печальная, что случилось, скажите, ради бога, что случилось с Вами и с нами? Писать Вам — единственная возможность с Вами разговаривать, пусть безответно, я говорю, и это помогает мне пережить хотя бы один трудный час разлуки. Когда кончу писать, будет хуже. В последний раз Вы держались как-то странно: подали мне маленькую чужую руку и вообще были как чужая, я с трудом Вас узнавал...»

Довольно. Она же не бесчувственная и сама дрожит от жалости и тоски по прежним, утраченным свиданиям. [...] Ольга ответила, что придет завтра, и пыталась быть веселой, как прежде, но страх и боль перехватывали голос, отнимали отвагу. [...]

Теперь она уже точно знает, что Карел нездоров, он объяснил ей это небрежно, в его голосе чувствовалось нежелание — ради бога! — затрагивать эту тему.

— *Такая глупая болезнь, она появилась после скарлатины, сидит в позвоночнике и порой причиняет невыносимую боль, требуя терпения и снисходительности, но мы с ней уже привыкли друг к другу и живем вполне сносно. Я научился считаться со своей болезнью как с частью своего тела, порой бывает хуже, но выпадают дни, когда нам не так уж плохо вместе.* [...]

Чапек как у себя дома и в медицине; это тоже конек, который достался Карелу по наследству, ведь он вырастал среди запаха карболки, в атмосфере диагнозов; он не пренебрегает ничем, что связано с жизнью и человеком. До того как он окунулся в литературу, считалось решенным делом, что ему предстоит стать врачом, но все карты смешало увлечение философией...

— *Это было не для меня,* — объясняет он теперь, — *я вижу, что все больше страшусь любого человеческого*

страдания, с которым соприкасаюсь; много это закаляет, но я, увы, со временем могу утратить всю отвагу. Поэтому я переквалифицировался с тела на душу, это, так сказать, тоже нужное дело, а хороших специалистов, разбирающихся в нем, мало. Ведь понимать людей — уже в известном смысле духовная терапия; думаю, я принял правильное решение. [...] Наши руки, я имею в виду, говоря поэтически, — ваши и мои, — совсем рядом, они сблизились на малом отрезке современности — мы оба хотим излечить человека от боли и нравственных недугов. [...]

— Каждый человек, очевидно, представляет собой скопище всех человеческих свойств, не так ли? Но использует только те, которые в его роду оправдали себя, стали привычными, осели в хромосомах и генах предков. [...]

— Совершенно верно, — он остановился, как делал всякий раз, когда разговор начинал его по-настоящему занимать. — Я мужчина, но порой мне болезненно горько оттого, что я ощущаю в себе всю утонченную и экзальтированную нервность, все комплексы моей мамы, а известную долю бодрости я наверняка унаследовал от бабушки, но меньше всего я ощущаю в себе достойную зависти, кряжистую силу отца, хотя так его люблю. Видите ли, все это тащишь за собой как полезное приобретение или обузу. А теперь речь идет о том, чтобы в первую очередь чувствовать еще и все те простые миры обыкновенных людей, о которых я пишу. А писать о великих людях, по всей вероятности, не так трудно, правда? Величие — это хорошо, сила, героизм и тому подобное... Но существует и величие маленького человека, запятанное, укрытое в буднях, в обыденных словах, в трагической скромности. [...]

Ольга принесла ему свои стихи и просила отобрать те, которые он советует включить в ее книгу; он пронумеровал многие, а некоторые забраковал, хотя ей они казались самыми лучшими.

— Самое лучшее не всегда годится, — улыбнулся Чапек, видя ее удивление, — подчас достаточно просто хорошего. [...]

«Драма о роботах завершена», — объявил вконец обессиленный Чапек примерно неделю назад, но все

еще что-то в ней порет и перешивает, упрощает и чистит.

— Экое мученье, — улыбается Карел устало, — самое сложное никогда не удастся написать достаточно просто. — Он исхудал, а его обычный румянец несколько потускнел, ибо в последнее время он слишком много работал и чувствовал, слишком часто совершал с ней ночные прогулки и слишком долго ходил из угла в угол один по своей узкой комнате. — Если работаешь над прозой, кажется, никогда нет ощущения полной завершенности, вечно можно что-то дополнять и додумывать, растягивать или менять, а драма, как арифметический пример, не терпит никакого перебора или недобора, иначе результат будет не тот. Еще денек, чтобы обнаружить закрашивуюся куда-нибудь ошибку, — и конец, сбегу от всего, хватит. Ох, это будет миг освобождения!

Дома уже знают, что происходит, — в конце концов, невозможно утаить столько поздних возвращений, столько интереса к имени Чапека. Отец подозревал это с самого начала и теперь лишь пожимает плечами.

— Великолепный человек, — сказал он, — сильный, чистый и благородный, но...

Она не допускала сомнений:

— И довольно. Спасибо тебе, папа, я ужасно счастлива.

Он посмотрел на дочь поверх очков и произнес потоповски растроганно:

— Если бы так было всегда!

[...] Итак, драма «RUR» закончена, Чапек принес рукопись, доверил ее Ольге всего на день и уходил с таким видом, будто опасается за безопасность своего детища. Восемьдесят машинописных страничек, сплошь зачеркивания, вставки и переделки, больше исправлений, чем связного текста; если хочешь слепить фразу, приходится продираться через бесконечные поправки.

— Надо бы переписать, — самоотверженно предложила Ольга.

— Надо, но для меня это несущественно, — произнес он уже в дверях. — Я отдаю рукопись такой, как ей и положено выглядеть, со всеми опечатками и болезненными следами труда, со всеми помарками, — такой она мне еще дороже.

Ольга читает, вся — настороженная любовь. [...] Где-то на середине чтения, волнуясь, громко вздыха-

ет — и безошибочно чувствует, что это сильнее и значительнее, чем она предполагала, сильнее большинства произведений, которые ей доводилось читать. [...] После такой вещи мир наверняка завладеет его именем как собственностью, будет говорить о нем хорошее и плохое, но роковое расстояние от его губ к ее губам, от его дома к ее дому, от его голоса к ее слуху, безусловно, увеличится. Он начнет говорить как бы для всех, не для нее одной, будет учить и вести за собой множество людей, не только ее.

Она несла Чапеку рукопись в портфеле; несла, словно тяжкий груз. «Возьмите, — скажет она растроганно, — свою победу и мое поражение!» [...] Но когда стоит наконец перед ним, уста ее сомкнуты стыдом и осторожностью; перед ним надо быть целомудренно чистой в выборе слов, и произвольно, вместо изъявлений восторга, Ольга становится чуть ироничной:

— Возьмите, Каченка, свою мировую славу. Лучше проверьте сразу, пока я здесь, все ли странички на месте, все ли тут ваши помарки, кляксы и вставки, не исчезла ли какая-нибудь из тысячи ваших точек с запятой.

Он и вправду внимательно просмотрел каждую страничку и сказал, продолжая сидеть к Ольге спиной:

— Все в порядке. Значит, вы считаете, что ничего больше добавлять не нужно? Ведь возиться с этим — небольшое удовольствие. Писать о людях приятней, они всегда вокруг нас, и, даже когда вы их выдумаете, у них остаются изъяны, унаследованные от матушек или дядюшек, они постоянно спорят с вами, точно лучше вас знают свою глупую натуру, но всем этим как-то помогают двигать вещь вперед. А лишенные всего человеческого роботы целиком зависели от меня. Это страшное ощущение, девочка. Я с ужасом понял, что могу делать с ними, что захочу, потому что у них нет собственной души. Я приказал им вытеснить человечество из сферы труда — и они беспрекословно сделали это, мгновенно и без хлопот, на двух-трех страницах лаконичного диалога; я отправил их в утиль — они только кивнули: взбунтовал их против всего человечества — они пошли, без колебаний, без единой мысли, без раздумий о том, что будет с миром и с ними. *Во время работы над пьесой меня охватил невероятный страх, я хотел его как-то предостеречь от производства бездум-*

ной массы, от бесчеловечных лозунгов; и вдруг мною овладело томительное предчувствие, что когда-нибудь так и случится, и может быть — скоро, что своим предупреждением я ничего уже не спасу: как я, автор, направлял, куда хотел, силу этих тупых механизмов, точно так же кто-нибудь однажды поведет глупого стадного человека против мира и бога. Мне было нехорошо, Ольга, и потому под конец я почти судорожно искал какое-нибудь решение в согласии и любви. Вы считаете, этому можно верить, дорогая?

Невольно она вложила в ответ немалую долю скепсиса:

— В вашем произведении — безусловно. — Заметив, как Чапек пытается повернуть к ней голову, поняла: он хочет услышать еще что-нибудь, — и сказала естественно и просто, глядя в его неподвижную спину: — Ручаюсь, эта вещь изменит всю вашу жизнь, Карел! — Хотела сказать нашу, но примазываться к его работе показалось ей слишком нескромным.

Он повернулся всем телом, лицо его было — сплошь горящие глаза и рот:

— Ну, ну, скорее пророчествуйте, Олясек!

Ольга сидела, с трудом переводя дыхание, и говорила этому сияющему лицу:

— Вот увидите, скоро вы перестанете смеяться; может, я всего до конца и не понимаю, но как-то ясно и отчетливо предчувствую. — Для убедительности она любила помогать себе в разговоре указательным пальцем, это ему нравилось. — Ваша пьеса пойдет в мир, далеко через границы. Хотите со мной поспорить?

Он пробубнил с коротким, идущим откуда-то из глубины смешком:

— Вообще-то не хочу, поскольку имею обыкновенные проигрывать. Может случиться, что вы и правы, — не дай бог, если мне действительно предстоит так называемый большой успех. Большой успех всегда решает судьбу человека — а я для себя не желаю значительных событий, лучше уж погляжу на них со стороны. — Потом добавил очень мягко и серьезно: — Однако я рад, что вы во все это верите!

Через неделю Ольга читала пьесу нескольким литераторам и театральным деятелям. Чапек попросил ее с робкой растерянностью:

— Я знаю, мой «внешний» голос наверняка заглушит «внутренний», прочтите лучше вы. [...]

Она сидела рядом с автором, разгоряченная смущением и торжественностью момента, чувствовала, что на ней дешевая, неудачно купленная шляпка, и, словно никогда прежде не читала вслух, неуклюже выталкивала слово за словом. Краснела при каждой оговорке и не осмеливалась оглядеться вокруг. Это было их обручение искусством, первое признание перед людьми художественного мира, тихое и праздничное признание в том, что они принадлежат друг другу. Когда чтение было окончено, воцарилось молчанье; все присутствующие словно бы безмолвно подчеркивали значимость услышанного. Каждый был восхищен по-своему, но каждый — искренне.

Премьера прошла великолепно, публику, которая обычно аплодировала лишь посредственности, на сей раз удалось обмануть необычностью содержания, и она поддалась глубокому воздействию пьесы. Ольга сидела в зрительном зале, сложив руки на коленях, а после спектакля ужинала с семьей Чапеков. Ощущала на своем лице долгий, спокойный взгляд его отца, взгляд врача, видящего и под кожей, определяющего характер, как определяют болезнь. А вот жесткие, прекрасные, чуть диковатые глаза старой дамы, воспринимающей успех Карела как нечто само собой разумеющееся, ибо это был ее сын; глаза, которые заранее ревновали и ненавидели всякого, кто претендовал на его сердце. Оба так тонки, что сумели угадать и оценить атмосферу этого вечера. Карел ей несколько раз улыбнулся, по-детски трогательно, как всегда, и дважды крепко стиснул под столом ее руку...

Потом их мир завертелся колесом. Через два месяца после премьеры с абсолютной точностью исполнилось ее пророчество. Лондон, Берлин, Америка, Италия, малые и самые большие государства нашли путь в Прагу, к чешскому писателю с лицом деревенского паренька. Чапек приходил на свидания как ни в чем не бывало, но каждый раз приносил показать ей какой-нибудь новый договор или предложение.

— Моя пьеса перескакивает на чужие крыши, как пожар, — трезво удивлялся он. — *Это уж слишком, кто бы мог поверить, что столько людей позволят сказать себе правду в глаза.*

— Я это знала, — победоносно смеялась Ольга. — До сих пор мы тщетно старались показать, что и в литературе кое на что способны.

Он радовался, как малый ребенок, построивший нечто грандиозное.

— *Главное, пьеса удалась, дело сделано, и этого достаточно.* [...] Моя радость совсем не эгоистична. Вы не поверите, но от этого она еще больше. Успех пьесы касается не только меня, благодаря ей в мир входит наше новое государство. Самые сильные и могущественные увидят, что мы тут, у себя, думаем по-своему, — а это приятное чувство.

Удачи, как и поражения, обычно приходят сериями. Мир Чапека распахнулся настужь; Ольга стояла рядом с ним немного потерянная и беспомощная; чувствовала себя неприметной, блуждающей по периферии искусства и, чем больше осознавала высокий духовный уровень и тонкий вкус Карела, тем сильнее стыдилась за репертуар окраинного театрала, в котором играла. Это мучило ее, хотя он даже не заходил в зрительный зал и видел сладко-сентиментальные воланчики из очередной низкопробной вещицы лишь в уборной. [...] Поэтому Ольга в состоянии, близком к обмороку, опустилась на стул, когда однажды поздней весной с утренней почтой получила приглашение Городского театра. [...] В ту пору Городской театр был самой высокохудожественной сценой, предметом мечтаний творческой молодежи; что скажет Чапек, когда узнает об этом? Но сообщила ему новость просто и спокойно, потому что уже успела пережить приступ радости; даже выждала подходящую паузу в разговоре.

— Я меняю ангажемент, получила приглашение от Городского театра, здорово, правда? — Она хорошо усвоила тон, которым он бесстрастно, почти небрежно сообщал о своих успехах: «Вчера у меня была премьера в Сиднее, это в Австралии, знаете?»

Ее сообщению он обрадовался больше, чем всему, чего добился в этом году сам, скулы огненно покраснели. [...]

— *Слава богу, что это случилось так быстро! Я готов был молиться, чтобы вы больше не играли ни в «Цветках прерий», ни в «Папочкиной баловнице», знаете, порой начало складывается так, что потом всю жизнь не можешь обрести уверенности, а эти пьесы заставля-*

ли меня страшиться за вас. Бывали минуты, когда я невероятно вас жалел и даже хотел предложить, не оставить ли вам лучше все это и стать...

— Кем?

— *Пани Чапковой. По-моему, это была бы не такая уж плохая роль. [...]*

Теперь впереди были каникулы, деревья, дороги и цветы, ведь природа всегда в тайном сговоре с любовью; без природы любовь была бы словно картина без рамы.

— Поедем куда-нибудь... в горы!

Через неделю они уже в горах под снисходительным надзором знакомой писательницы, умеющей на целый день спрятаться в своем номере. Собственно, все это время — одни. [...]

Ольга сидит в своем номере над начатым рассказом и тяжело вздыхает... [...] Час назад они собирались идти на прогулку, а Карела все нет и нет. Она не помнит, что написала, не находит в себе сил прочесть несколько перемаранных страниц, не знает, какая сегодня погода, хотя не меньше десяти раз через открытое окно смотрела на небо и в темную горную котловину.

Чапек не идет. А ведь он живет совсем рядом, вторая дверь напротив, — так пересеки же коридор, щепетильная дурочка, постучи и узнаешь, что происходит; впрочем, все равно эти мужественные глаза не скажут тебе правду, если она не слишком веселая. Спрячутся под опущенными веками, и гулкий голос будет спокойно говорить о повседневных и вполне благополучных вещах, а то еще попытается шутить.

Во время обеда, к которому Чапек не явился, Ольга читала о его успехе в Англии, им полны были все газеты — и до сих пор она не может ему об этом рассказать. [...]

— Алло, можно войти?

Он пробормотал что-то, но не встал ей навстречу, пришлось отворять дверь самой.

— Наконец-то! Где вы, черт побери, весь день пропадаете? Наверняка захотели от меня отдохнуть! А я тут сижу и кропаю вам письмо.

С души сразу свалился камень.

— Я ждала, когда вы придете, мы ведь договорились...

Только теперь он встал, поднялся быстро и резко, это стоило ему неожиданной жестокой боли, точно по спине полоснули топором, — но, главное, боль удалось скрыть. Не то Ольга сразу подбежит со своим унизи-тельно заботливым взглядом. Лишь росинки пота вы-дают правду. Отирая их, Чапек неловким движением провел носовым платком по лбу — и вот уже все в по-рядке.

— Я жалкий грешник [...], на меня нашло вдохно-вение, то есть, говоря скромнее, такая интимная раз-говорчивость, и ни за что на свете не желала выпус-тить меня из своих когтей. Простите меня, невоспитан-ного и рассеянного дурака!

Вскоре они идут по дороге между двумя горами — пожалуй, только медленнее, чем обычно.

— Тут слишком красиво, чтобы спешить. — Он тихо мурлычет песенку и по временам крепко сжимает ее ладонь. [...]

— Обвенчаемся осенью, — вдруг срывается с его языка как вызов болезни и слабости, которые сегодня преодолевают его тело. [...] — Решено?

Ему кажется, что она немного медлит с ответом, но смотрит он Не на нее, а на небо, как будто ожидает от-вета оттуда.

— Решено. [...]

Они расстаются на небольшой станции, где еще пах-нет горами и деревом, коровьим пометом и наивной зеленью мха. Ольга едет в Прагу, он в Словакию, к ро-дителям, всего на две недели.

— Влюбленный говорит «всего на две недели», даже если едет к собственным родителям.

А затем они встретятся, чтобы уже никогда не рас-ставаться, даже на месяц. Чапек рад, что они наконец поженятся, хотя Ольга так неприлично молода; посте-пенно их отношения немного отстоятся, примут более спокойный характер; пора снова засесть за что-нибудь стоящее, а в этом блаженном сумбуре любви он не мо-жет писать. [...]

Ольга лежит на постели, как подрубленное дерево, слабеет от судорожного страха.

— Завтра будет десять дней, как я ничего о нем не знаю, завтра проглочу унижение и пошлю телеграмму.

Отец только кивнул и, ощутив в спертom августовском воздухе комнаты духотy, вышел. Ольга слышит, как он ходит туда-сюда, меряя шагами длинную переднюю, словно надеется этим что-то изменить. Если не понимать языка несчастья, можно с ума сойти от этих мерных шагов. На другой день он пришел к дочери, чтобы опередить телеграмму. [...]

— Ты разумная, мудрая девочка, — начал он странным голосом, от неуверенности точно застревающим в горле, — ты хочешь что-то совершить в жизни, ведь правда?

— Д а л ь ш е, — послышался из угла комнаты до неприличия бесцветный голосок.

— Твоей неискушенной молодости предстоит неожиданное испытание. Я должен сообщить тебе неприятную новость, ты докажешь свое мужество, приняв ее спокойно.

Серые глаза вдруг заполнили все ее разом постаревшее лицо, они знали, понимали, давно предвидели это в минуты страха и теперь только интересовались подробностями:

— Карел?

— Да. На этот раз он написал не тебе, а мне, мы ведь давние приятели, наше знакомство состоялось задолго до того несчастного дня, как ты с ним встрети-лась.

— Несчастливого?

— Безусловно. — Голос отца звучал глуше, отяжелел. — Ясно, ты любишь его больше, чем я этого хотел с первой же минуты вашего знакомства.

— Больше всего на свете, папа. [...]

— Я знал, насколько он нездоров. [...] А сегодня это стало известно и ему самому, он посоветовался с отцом, ты же знаешь — его отец врач, и... Плохи его дела, Ольга. [...]

— Что с ним, отец?

Ольга хочет встать, топнуть ватными ногами, вернуть им силу, раскрыть шкаф и немедленно побросать в чемоданы свои платья. [...]

— Я поеду к нему, — восклицает она, наконец вновь обретя голос. — Сейчас же возьму и поеду, вот только покрепче встану на ноги...

— Не поедешь! — Отец стоял перед Ольгой, словно собственным телом пытался загородить все выходы из

дома. — [...] Он пишет, что вам нельзя больше встречаться. С этим кончено, пишет, что тем самым навсегда прощается с молодостью и... и потому я не должен считать его дурным человеком.

Отец вынужден продолжать, потому что на постели ужасающая, неестественная тишина, а это хуже, чем плач или причитания.

— Он пишет, врачи запретили ему все, что сделало бы его бесконечно счастливым с тобой; увя, это называется любовью, детка! [...]

Третий день душно, как перед грозой, ветви деревьев, словно налитые свинцом, не шелохнутся; Ольга старается глубже дышать, чтобы сердце, набравшись кислороду, продолжало биться. Наконец небо раскололи первые молнии — и пришло облегчение, ибо такой тихой духоты нервы бы дольше не выдержали. Между двумя ослепительными вспышками молний у двери позвонил Карел Чапек и передал через девушку-служанку, что хочет поговорить с Ольгой. [...]

— Пусть пройдет, сейчас же, скажи — я жду. Будь так добр, папочка, позволь нам... на несколько минут остаться одним. [...]

И вот они стоят в комнате, друг против друга, не умея скрыть волнение; она — бледная, истомленная, судорожно напряженная, все кости торчат — настоящее страшилище, какая уж там красота... Он тоже побледнел, черты его лица заострились, но мальчишеский румянец на щеках не отступил полностью, углы губ опустились, образовав горькую складку, а в глазах пылает огромная внутренняя жизнь. [...]

— Добрый день, — пробормотал он глухим голосом и стер носовым платком несколько капель пота с красивого лба. — Глядите на слабого и безвольного человека, да? — Чапек сделал попытку улыбнуться, Ольга тоже, и этим они немного помогли друг другу. — *Так вот, девочка, тот человек, который именем всего святого обещал богу, врачу, вашему отцу и своей совести, что никогда больше вас не увидит, что залезет в какой-нибудь уголок и затаится там, откажется от всего, чтобы не портить вашу молодую жизнь, выдержал только до нынешнего дня. Вот это характер, правда? Но сегодня*

ня, после одной из отвратительных ночей, он решил, что лучше вынесет этот позор, лучше выпьет до дна чашу заслуженного унижения, только бы еще минутку вас видеть.

— Вы очень больны, Карел?

Как тонок и жалок ее голосок!

— И давно. Но в последнее время я об этом легко-мысленно забыл. *Теперь мне напомнили о недомогании боли, душевная депрессия и врачи, они-то и вынудили меня проявить нежелательное любопытство.*

— ?..

— *Я спросил их, девочка, какое будущее ожидает одного влюбленного человека и его молодую, до невозможности молодую жену. [...] Мне запретили жениться, но никто не может запретить мне любить.* Если бы этого не случилось, если бы я вас не встретил, на свете было бы двумя спокойными людьми больше. — Его голос, весь в ссадинах от боли, сдавленный волнением, падает все ниже и ниже, так что минутами слова почти неразличимы. — Я совершил непростительное мальчишество, встав на вашем пути, девочка. Но причинил этим вред и себе, это будет и уже стало для меня самым жестоким наказанием. [...]

— Думаете, я могла бы повредить вам? — спрашивает она трогательно, совсем по-детски. Теперь Ольга рада, что они снова перешли на «вы». [...]

— *Душе моей вы могли бы только оказать благодеяние, а пожалуй — даже наверняка — и моей работе. Видеть мир четырьмя глазами — думаю, это великолепно, это ни с чем не сравнимое богатство. Но...* — теперь он повернулся к ней всем корпусом, сам от себя не ожидая столь неловкого, резкого движения, — ... но существует еще то, что носит меня по этой земле, то физическое и неодолимое, с чем я часто несогласен, что, безусловно, глупее меня и потому стало моим господином, это самое никчемное, чем я не могу распоряжаться и что смеется над всеми моими стремлениями. [...] *Я не хочу, чтобы когда-нибудь вам пришлось возить меня в кресле, девочка. [...]*

Они намеренно ходят теперь по другим улицам, Чапек ввел это новое правило. *«Не копаться в болячках, отойти подальше от собственной жизни»,* — так выра-

зил он свою мысль. Хорошо ему говорить, он, и правда, словно бы живет не для самого себя, а для наблюдения над другими, для лицезрения мира и жизни, чтобы сформулировать потом свое философское и критическое суждение о них.

Подальше от собственного бытия! Потому-то он и предпочитает прогулки по предместьям — чем дальше от города, тем темнее облупившаяся штукатурка домов, тем более стоек кислый запах супов и дешевого солодового кофе. Глаза его смущенно, но с любопытством блуждают по жалким жилищам и согбленным фигурам двуногих выючных животных, по истощенным лицам подростков и рахитичных детей — и щурятся, словно все это их ранит. На обратном пути Чапек ускоряет шаг и кажется спокойным, ибо именно в этой атмосфере несправедливо разделенных благ он набирается сил, смирения и решимости нести бремя собственной неудавшейся жизни. [...]

По счастью, пришло искупление трудом: Чапеком овладела страсть к писанию, да и Ольга удивленно наблюдает, как ее боль переплавляется в стихи. Мир художественного выражения победоносно тянет ее на свою сторону. Одновременно Ольга начала играть; они несколько отделились друг от друга, от мании любви перешли к мании искусства, оба обогащенные знанием, укрепившим их лучшие свойства, оба исполненные решимости отдать себя, потеряться в служении требовательной поэзии. Теперь им есть о чем говорить без постоянного покушения на сердечный покой. [...]

— Ну, как твои дела, начинай, пожалуйста, с утра, чтобы от меня не утаился ни единый час.

Он умеет ее раззадорить, впрочем, это легче, чем поджечь лист бумаги.

— Играть в подлинно художественном репертуаре для актрисы из предместья — это же настоящее потрясение, испытываешь жестокий и сладостный страх перед взятыми на себя обязательствами, кажется, будто У тебя — ей-же-ей — прямо на глазах растут руки, ноги и сердце.

Он доволен, что это так ее наполняет, нарочно распрощивает, желая услышать, как она по-иному начинает чувствовать себя на сцене, точнее мыслить. [...]

Каждое его замечание брызжет светом и соком, хо-

тя, кажется, он особенно рад, когда Ольга вдруг встает на дыбы, точно норовистый конь, когда она спорит и страстно отстаивает свою точку зрения.

— Множество мнений всегда лучше, чем их отсутствие, — говорит он с улыбкой.

Ольга пишет стихи в современном стиле, а в театре репетирует Ибсена, к которому исполнена священного трепета еще со времен обучения у великой актрисы, но теперь чувствует себя как-то странно далекой от символистских диалогов и проблем, а собственное восхищение Ибсеном порой представляется ей лицемерным. После войны думают и говорят иначе, нет больше тайны символов и каменных башен фраз, за которыми скрывается трагедия или страстная мечта человека; мир ободран и наг, каждый видит тело другого, все в шрамах от тумачов и ножевых ран, нанесенных ближними.

— Сейчас страдание и мечту выражают более прямыми и ясными словами, — соглашается с нею Чапек.

Работать, не справившись с таким внутренним противоречием, трудно, если к тому же не умеешь по-настоящему подняться над собой; он почувствовал это, как чувствовал все, о чем она умалчивала. И предложил с самой скромной улыбкой:

— Я хотел бы знать, как тебе это удастся, хотел бы помочь тебе, облегчить твою ношу. — В этот момент он кажется ей бесконечно близким и преданным.

Скорее из стремления к художественному союзничеству, чем из насущной потребности она решила зайти к нему, чтобы поработать над очередной ролью; они вместе смотрят в текст, вместе обдумывают, как к нему подойти.

— Никогда не повторяй так называемых проверенных акцентов и жестов, старайся сделать что-то иное, пусть хоть совсем противоположное — иначе ты лишь присоединишься к старой цепи. А ты обязана добавить к ней собственное, новое звено.

Ольга ощущает актерское ремесло так же ясно и безусловно, как птица песню, рождающуюся в ее горле; но для Чапека оно в новинку, он увлечен каждой сценой и качает головой по поводу всего, с чем не согласен. Вдруг он бросил совсем по-детски [...]:

— Боже милостивый, за что раньше братья, отчего на свете повсюду столько возможностей, столько инте-

ресного для человека, который родился не совсем уж идиотом! [...]

Премьера удалась, Ольга имела успех, такой решительный и полный, давший ей таким трудом, что все это налагало серьезные обязательства.

— *Стать кем-нибудь не так уж трудно, а вот удержаться...* — сказал недавно Чапек. [...] Много людей подходило, чтобы пожать ей руку: директор, художественный руководитель театра, режиссер; ведь она была молода и нуждалась в поддержке. Лицо ее горело, как у солдата после битвы, мышцы вокруг губ подрагивали от неодолимого волнения. Но все это неважно, главное — что скажет Карел, который ужасно не любит ходить на премьеры.

— Это почти садистское зрелище! — восклицал он. — Сидеть в кресле и смотреть на сгусток нервов, напряжения и волнения.

Кроме того, в большой толпе он чувствовал себя подавленным, не терпел, если вокруг сидели люди, ощущал себя стиснутым со всех сторон и потому в кинематограф ходил только днем, когда там пусто, и садился только куда-нибудь в сторонку, где не было никаких соседей. И сегодня, неохотно, вернее, только по требованию Ольги он, сгорбившись, сидел в ложе и теперь ждет ее на улице с неизменной тростью в руке и с каким-нибудь шутливым приветствием в уголке губ.

Ольга выбежала, кое-как разгримировавшись, лишь бы поскорее оказаться рядом с ним. [...] Увидела его на противоположном тротуаре с мундштуком во рту. Она еще не знала, что после успеха не так-то просто уйти из театра: у входа ей загородила путь молодежь, щебечущая восторженная группка, требующая автографов. [...] «Очевидно, и это неотъемлемо от успеха», — подумала она, подписывая последние визитные карточки, — и пускай, неважно, все это внешнее и нестоящее, главное — что Чапек там, на противоположной стороне.

Но что это? Его там уже нет, он повернулся и идет мелкими шажками, как обычно, когда торопится; Ольга видит через головы молодых людей, как он уходит с тростью в руке. [...]

Она заметила пустые извозчичы дрожки и вырвалась из толпы, словно из дурного сна.

— Я очень устала, спокойной ночи, господа.

Через десять минут сердце застучало от волнения и радости — доехала вовремя, его окно еще не светится. [...]

Вскоре подошел Чапек, и на его лице быстро сменились два ясно читаемых чувства: радость и печаль. Страх за нее всегда рождал у него тревогу и опасения.

— Что такое, бога ради? Что-нибудь случилось?

— Ничего. Через пять минут, Карел, ты спокойно ляжешь спать. Я только хотела знать перед бессонной ночью, почему ты меня не дождал?

— Пойдем куда-нибудь отсюда, тут стоять нельзя — то есть... ты не можешь стоять у моего дома, это не к лицу такой актрисе.

Его слова прозвучали похвалой, смешанной с печалью. А Ольга не может уступить, пока не выяснит все до конца:

— Да ведь мы долго не задержимся, полагаю, твое объяснение займет не так уж много времени.

Он продолжал стоять рядом с ней, склонив голову, и его большие глаза горестно светились... [...]

— *Маленькая, миленькая,* — пробормотал он расстроганно и нежно, точно качая на колене хныкающего младенца, — *там стояло, дожидаясь тебя, столько очарованной молодости. Я видел этих смущенных розовощеких юношей, слышал, как они говорили о тебе, горя неуклюжим восторгом и желанием познакомиться. Мне показалось, я должен оставить им шансы, со своей больной спиной я не имею права встать на пути какого-нибудь веселого приятного знакомства и... И я сбежал, как сбегу всякий раз, если к тебе будет приближаться возможность полнокровной жизни.*

«Вот оно как!» — Ольга вдруг увидела темные кусты за решеткой ограды, отразившиеся в выпуклой поверхности слезы; вот оно, значит, как, а ведь она это знала. Она бы, пожалуй, и не поехала сюда, чтобы стоять, опершись о дверь, и покорно, как нищий, ждать его возвращения, если бы не почувяла в его бегстве чего-то печально-благородного. [...]

— Я сам себя почитал бы убийцей, ничемным, преступным и трусливым эгоистом. Мы должны быть разумными, Ольга. [...]

Чего он хочет от нее, этот человек, научивший ее чувствовать, взявший ее в полон и погубивший своей

любовью, куда теперь от себя гонит... [...] Ольга быстро обернулась, задыхаясь от дикой жалости.

— Я избрала для себя путь одиночества, в котором ты будешь меня сопровождать. [...]

Он посмотрел на нее серьезно, мускулы его лица отвердели — нет, это не Карел, это благоразумие и жестокая рассудочность говорят его голосом:

— *Спасибо тебе за чудесную решимость, но помни: я не могу и никогда не осмелюсь ее принять. В твоём возрасте человек ещё совсем не знает, что такое жизнь и как она порой чертовски длинна. Когда тебе будет лет на двадцать больше, приходи и повтори мне эти слова, тогда я, пожалуй, буду настолько эгоистичен и глуп, что всерьёз над ними задумаюсь. Но сейчас позволь мне, как более взрослому и разумному, сказать, что все это прекрасная и благородная несутражица. Нет никого и ничего щедрее молодости. Все, что ты мне сегодня даешь, каждую улыбку, каждый час своей молодой жизни, я принимаю как дар, как редкостную ссуду и до самой смерти останусь твоим должником. Но ничто из этого мне и впредь не принадлежит. Помни это. Таково единственное условие, при котором я вновь завтра или послезавтра буду покорно и благодарно ждать тебя на углу той улицы, какую ты выберешь. [...] Ты свободна, дитя мое, может быть, теперь ты уже понимаешь, что это значит. Ты свободна, а я не принадлежу себе. Я принадлежу тебе, потому что не способен уйти; вечно буду висеть на твоей молодой шее — больной, седой волк. Но ты будешь жить, как умеешь и как этого требует твоя жадная до жизни натура, будешь принимать все, что тебе дарует жизнь, понимаешь? Я же постараюсь, чтобы у меня радостно светились глаза, когда там, на твоей стороне, жизнь будет прекрасна.*

Со времени этих горьких фраз, ставших девизом их отношений, оба энергично взяли жизнь в свои руки... [...]

Чапека увлек театр, он должен был испробовать это, как все, что влекло его к работе и к проверке собственных сил; в качестве режиссера он ставит несколько вещей, и как раз в Городском театре, причем с самого начала добивается большого успеха. Встречаются они на лестнице и за кулисами, оба в театральном тран-

се, кивнут друг другу, бросят на ходу какую-нибудь шутку на театральном жаргоне, и никто не знает, что потом каждый из них где-нибудь в уголке успокаивает сердце и дышание, чтобы продолжать работу.

— *Меня забавляет режиссура,* — говорит Чапек, сияя глазами и размахивая руками, — *господи, сколько жизни можно впихнуть в одно представление! Но долго я бы в театре не выдержал, это слишком неупорядоченная, суматошная и засасывающая среда.*

Часто во время репетиции Ольга чувствует его присутствие за кулисами — даже в тех случаях, когда он лишь на минутку остановится и пройдет мимо, — и это ощущение не так уж ей приятно. Не проходило суток, чтобы они не встретились, хотя бы днем, если вечером Ольга играет. Часто после репетиции, измотанная и обессилевшая, как выжатый лимон, она хотела бы только лежать и спокойно разговаривать, уставившись в потолок. Но Карел ждал ее в холоде и шуме пражской улицы — нужно было собраться с силами, идти к нему.

— Как хорошо было бы сидеть с тобой и беседовать, — сказала она ему однажды по-дружески. — Пить чай или красноречиво молчать под защитой четырех стен. Думаю, я это как-нибудь устрою. [...]

Ольга отважилась, как только стала получать чуть побольше жалованья:

— Хочу снять для себя маленькую квартирку, мне приходится учить роли вслух, да и вообще не вечно же сидеть на вашей шее. [...]

Чапек приходил регулярно, очарованный и растроганный ее одиночеством; здесь можно было молчать или разговаривать, не стараясь перекричать шум улицы.

Усаживался — всегда общительный и таинственный, скрытный и сердечный, полный новостей, юмора, серьезности и планов, мыслей о работе и слов, умеющих обойти старые раны и все, что грозит напряжением или подавленностью. Его сила и самообладание удивительны, они просто поражают. [...]

— Как могло стать, что ты все это так быстро и спокойно пережил, что ни капли не страдаешь!

Он зашипел от боли, точно сжал в кулаке острый нож, — казалось, будто у него потекла кровь и он испуганно пытается ее остановить; теперь Ольга была бы

рада сделать что угодно, лишь бы сгладить свою отвратительную выходку. [...]

Карел снова обращался к Ольге на «вы», так бывало — она это заметила — всякий раз, когда они преступали границы дружбы и оказывались на зыбкой почве чувств.

— Расскажите лучше, что вы придумали, пережили, что будете играть, ведь есть на свете более достойные вещи, чем глупые человеческие муки.

И она возвращалась к дружескому тону, как послушный школяр, как плохая актриса, которая не владеет ни голосом, ни лицом. [...]

Зато если завести речь о работе, для жалоб наверняка не останется времени. Чапек пишет сатиру — значит, есть за что ухватиться в разговоре.

— Уверяю вас, лишь очень серьезные люди обладают чувством юмора, — заявляет он, подавив остатки волнения. — *Дай бог тебе счастья, Олясек, и будет уж хныкать; вот погоди, скоро станешь старой и уродливой. Подумай, стоит ли так себя терзать и можем ли мы с тобой позволить себе это, ведь у каждого из нас есть свое призвание, а все прочее к чертям, дружок. Ты же знаешь, как я не люблю произносить высокие слова, но это должно быть для нас самым важным.*

С разгоревшимися глазами он заговорил о своем веселом романе — эти глаза способны были в один миг превратить лицо деревенского паренька в лик мыслителя.

— *В шутку порой можно сказать и самую кровоотчающую правду; к сожалению, у нас недооценивают все, что не желает выглядеть серьезно.* Юмор — привилегия авторов, ставших музейной классикой, современный писатель не может себе его позволить, как будто это признак легкомысленного отношения к искусству. Тяжеловесен славянский характер — юмор для нас вещь почти запретная. [...]

Бывают минуты, когда уже нет смысла увертываться и обходить стороной, когда нужно сдаться на милость трагедии, как актер отдается изматывающей его роли, и снова пережить час страшной неги и горечи.

— Неужели у тебя нет силы воли хоть что-нибудь предпринять, ведь мы с тобой так несчастны! [...]

Возможно, мы в этом мире — лишь инструменты, с помощью которых что-то делается; возможно, нам обо-

им было суждено нести свой крест, чтобы от чересчур счастливой жизни мы не стали обыкновенными смертными и сумели свершить предназначанное.

Ольге пришло в голову, что с некоторых пор Чапек говорит слишком покорно и смиренно, словно вместе с любовью отказывается и от всего остального. Он был в ее глазах служителем поэзии, из уст которого слишком часто слетали слова, не соответствующие его сильной, мужественной натуре: грех, чистота, тишина, покорность. [...]

Чапек пытался увести ее мысли подальше от горестей и делился с ней своими мечтами:

— Это будет прекрасно, представь себе: когда-нибудь ты будешь играть в моих пьесах, ведь не вечно же тебе быть такой невозможно молодой. Мечтаю, дружок, видеть тебя в роли Мими, когда пьеса снова оживет в каком-нибудь театре. [...]

Творчество Чапека завоевывает весь свет, покоряет страну за страной, быстро и легко, словно не существует ни литературных агентств, ни длительных переговоров с переводчиками. Каждый его успех вызывает у Ольги громкие восторженные возгласы, сам же Чапек остается спокоен.

— Вот и славно, давно нам, чехам, этого не хватало, — говорит он с непонятной скромностью и беспристрастием.

Ольга смотрит на него с удивлением, ведь она знает его, почти как самое себя, ей-то известно, насколько он не способен к лицемерию.

— Тебя это словно бы и не касается, точно это не твой успех.

— Успех — дело второстепенное, — басил он смущенно...

Страх, никогда не отпускавший Ольгу, снова обретал более четкие очертания; она боялась, что время отнимет у нее Карела, что когда-нибудь может ослабеть его потребность видеть ее ежедневно, а потом... что будет потом?..

И с радостью, большей, чем любая из пережитых ею прежде, со временем заметила, что она нужна ему, как соль, что ему просто необходимо делиться с нею мыслями, советоваться, спорить, что он бывает тронут,

когда что-нибудь действительно ей нравится, и всегда настаораживается, когда ее голосок что-то критикует.

— У тебя удивительное чутье, — говорил он часто, глядя ей прямо в глаза. [...]

Карел стал укорачивать часы свиданий, являлся позже, уходил раньше обычного, очень редко приходил вечером и однажды совсем уехал в Италию.

— *Снова еду жить одними глазами*, — пробасил он, опустив веки, и, уходя, несколько раз поцеловал Ольгу в лоб.

Они стояли близко друг к другу и слышали, как взволнованно бились оба сердца.

— Хотелось бы найти тебя здоровой и счастливой, — сказал он искренне и горячо. — *Пусть все в тебе прояснится*.

«Устранился с моего пути, — со злостью и болью говорила себе Ольга, — надеется, что вместе с ним уйдут все муки этих сложных отношений, и потому предпочел уехать...» Из страны апельсинов, олив, картин и кафедральных соборов приходит письмо за письмом. Никогда не писал он так много и так часто, точно хочет, чтобы она не прожила и дня, не вспомнив о нем. [...]

Пишет о каком-то меланхолическом примирении с самим собой, о покое, который он предписал своей потерпевшей поражение страстной душе.

«Все же мне выпал чудесный миг на морском берегу. Пахло тимьяном, а я смотрел на север, где лежит Чехия, и говорил себе: вот видишь, сумасброд, где-то там остались твои успехи, твое имя, все, ради чего ты столько старался; тут ты никто и ничто, запыленный человечек на тумбе у дороги — и смотри, тебе не так уж плохо; от всего бы ты мог отречься, и в первую очередь от того, что кажется другим особенно завидным. Вспомнил, что когда-то я написал стихи: «На высокой скале я сидел по-турецки, шумящее море слагало прекрасную страшную песнь; и морю сказал я: «Не зови, отпусти меня, море, ты дождешься, однажды замру над тобой, сам не ведая где, буду странный я, никому не известный, равнодушный ко всем, безучастный к хуле и безгласный». Примерно так звучали эти стихи в моих ушах. Я видел, что самое большое, мое наслажденье — покой; потому-то и люблю я море и тишину. Я уже не

молод, возможно, вся моя болезнь и была переходом от мнимой и какой-то подточенной молодости к нынешнему состоянию... не могу еще сказать «зрелости», но уже безусловно не молодости. Наверное, никогда уже я не буду весел, как бывал прежде, но хочу покоя, тишины и сосредоточенности. Не слишком много радостей испытал я в жизни, да, наверное, уже и не испытаю, но мне вовсе не жалко, я не опечален и не разочарован, и это хорошо. Только бы найти душевный покой, чтобы не мучить самого себя. Только не быть злым и хмурым, чтобы никого и ничего не тяготить и не подавлять. Дружице, ты должен многого требовать от себя. Сделать себя лучше и чище, глубже и спокойнее. Я не обрету спокойствия, пока не добьюсь полной внутренней чистоты. Начинаю строже присматриваться к себе; нам еще многое надо в себе исправить». [...]

Что происходит с Карелом, ясным и мудрым наблюдателем, страстным и тихим поклонником жизни, до сих пор едва ли написавшим о себе несколько фраз, если теперь он испытывает явную потребность каяться и исповедоваться в своих сокровенных чувствах? Ольгу охватил страх, не ее ли, пусть частичная, вина в этих переменах, и следующее письмо, присланное из Неаполя, она уже читала в тревоге:

«Я прячусь в свое одиночество, как червь в головку сыра, гложу его, набиваю им рот; если бы я мог распоряжаться своей судьбой, я бы охотнее всего удалился а пустыню, не брился и не мылся, не писал глупых вещей и питался одними горькими корешками. Меня одолевает невероятная потребность в некоем очищении. А пока я скитаюсь с места на место, точно что-то меня преследует, точно за мной по пятам гонится ужасное беспокойство. Словно я должен скорее, как можно скорее все осмотреть, а потом... но что потом? Не знаю. Не умею, действительно не умею по-человечески отдыхать, как будто мне отмерено слишком мало времени, тороплюсь, подсовываю пищу глазам, чтобы избежать беспокойства, которое меня жжет и гложет».

Ольга ежедневно с благосклонной улыбкой кивала ясному голосу друга и ежедневно с беспокойством убеждалась, что Карел там, вдали, не просто путешествует, как обычно, но предпринимает некое неторопливое паломничество от познания к познанию, со страхом

и в то же время отважно, ступенька за ступенькой спускается в самые опасные глубины своего «я».

«Люблю монастырские церквушки, — пишет он Ольге, — видно, во мне самом много монашеского, все время думаю о строгой, чистой жизни, когда трудятся не ради успеха, а ради «славы божией», то есть из нравственных и познавательных побуждений. В целях защиты и спасения я окружил себя панцирем одиночества. В телесном отношении мне немного лучше, не так часто страдаю от жестоких головных болей, так что с этой стороны, надеюсь, мое путешествие не было напрасным. Но душевного спокойствия я не обрел и здесь и, очевидно, не обрету никогда. Впрочем, интенсивнее всего живу глазами».

Тем временем в газетах появляются его путевые очерки, полные искрометного юмора, радости и недостижимого остроумия, читатели рвут их друг у друга из рук как средство обрести улыбку до ушей. Душа Чапека кажется Ольге похожей на реку, как бы устремляющуюся вперед двумя струями, — на зеркальной поверхности сияет многоцветная веселая красота мира, а на дне тяжелая тень сторожит печаль утонувших вещей. [...]

Дома Ольгу ждало письмо [...]:

«Тут прекрасно, но, когда я вспоминаю наши дуга, леса и ручейки, я отдаю им предпочтение перед пальмами и кактусами на выжженных белых скалах. Я давно уже знаю, что место наших страданий и нашей борьбы, нашего труда и нашей веры — наша единственная родина». [...]

Чапек добрался до самой Сицилии и, утомленный солнцем, впечатлениями и одиночеством, вернулся домой... [...]

Навестил Ольгу и со смущением выловил из кармана несколько ракушек.

— Эта из Палермо, а эту я подобрал однажды во время отлива, когда мне было особенно грустно. А вот это платок из Флоренции, там продают такие на улицах. [...]

В ту пору Чапек с головой ушел в роман, нашпигованный любовью, действием, тринитрофенолом и философией; героиней в нем была какая-то принцесса, страшно молодая и сложная, как Ольга, Ольга расто-

чает откровения, щедро делится тем незнакомым, в чем нуждается он для своей новой жизни, испытывая радость от того, что нужна поэту, что способна рассказать ему больше, чем тот мог где бы то ни было услышать. [...]

Чапек развлекся несколькими режиссерскими работами, но теперь только пишет, строже и увлеченнее, чем прежде. Никогда Ольга не слышала от него слов неудовольствия или протеста. Обремененный болезнью, словно тяжелым панцирем, он выковал в своем хрупком теле мужество и волю, хотя постепенно из остроумного, задиристого поэта превращается в человека застенчивого, ищущего одиночества, человека с какой-то обостренной чуткостью. Ольга — самый близкий наблюдатель этой перемены; ей жаль, что кое-что в нем пропадает, зато возникает другое, и, быть может, еще более совершенное. Он не принимает жизнь как нечто само собой разумеющееся, старается ответить ей двумя великими чувствами: восхищением и благодарностью. Без конца он что-то ищет, узнает, открывает, и на его лице постепенно запечатлевается очарованное удивление. Это скорее лицо мальчика, который увидел самую прекрасную на свете бабочку и крадется на цыпочках, чтобы ее не спугнуть.

— Оставь меня, — говорит он весело, когда они гуляют вместе по красивым местам и Ольга каким-нибудь разговором отвлекает его от созерцания природы. — Оставь меня, я сейчас — само зрение. [...]

— Я хочу выстроить себе домик, — сказал он неуверенно [...]. — За городом, на чистом воздухе, без шума, там я смогу лучше писать и свободней дышать. Ты ведь сама мне советовала... Маленький домик с клочком земли для сада. Что ты на это скажешь, Олясек?

Он решительно и не без успеха старался говорить с ней, как с товарищем.

Что ей было ответить? Когда-то они мечтали о домике, где будут жить вместе; два кабинета, две библиотеки, стол для общих обедов. Теперь он отправится туда один, без нее, в свой замкнутый мир. [...] Ольга мужественно кивнула и даже улыбнулась:

— Хорошо, тебе это давно было необходимо. Строй

себе домик, через порог которого я никогда не переступлю. [...]

В один прекрасный день Карел сообщил ей, что уезжает в Англию. «Через неделю». [...] Потом приходили письма из английских домов, куда Чапек был зван, открытки, подписанные Шоу, Ребеккой Уэст, Найдгелом Плейфером, потом письмо из дома прославленного Уэллса. Он пишет, ослепленный новыми дружескими связями: сблизился с Голсуорси и Честертоном, которым Ольга восхищалась. Писал коротко и остроумно или, наоборот, обширно, когда не спешил, не уставал от впечатлений и переодевания. Он принят в члены различных клубов, выступал перед студентами, ужинал с румынской королевой и испанской инфантой Беатрисой. [...]

«Мы не имеем понятия, что такое светское общество, — пишет Карел через некоторое время, — и именно поэтому я невыразимо тоскую по дому». [...]

А вот, наконец, фразы, написанные специально для нее: *«...я видел на сцене мисс Эванс и мисс Торндайк, они великолепны, очень просты в средствах выражения, но, господи, какая точность оттенков! Это актерская игра, которая именно тебе понравилась бы: мало стилизации, облагороженный и отшлифованный реализм в самой совершенной форме. Чисто актерский театр, режиссер целомудренно отступает на задний план.* [...]

В последнем письме он сообщает: *«Осмелюсь доложить, я принялся за веселые путевые очерки об Англии и намерен сопроводить эту безрассудную книжку собственными рисунками. Попробовал рисовать, получается довольно забавно.* [...]

...Утром зазвонил телефон. [...]

— Алло, я вас слушаю, кто это?

«Отгадывай» — произнесла тишина в черной ракушке, короткая, невыразимо сладостная тишина, и сразу послышался глубокий голос Чапека:

— Я, Карел. Осмелюсь доложить, вчера я приехал. [...]

Чапек пришел так естественно, будто они виделись только вчера, оставил в прихожей трость и потирал руки, точно на улице мороз. [...]

— Ну, рассказывай, Каченка!

Глаза, под которыми обозначились круги усталости, сияли:

— ...Их общество — это все превосходные и надежные люди, остроумные и политически ужасно отсталые, ручаюсь, что мировоззрение каждого из них не менялось, по крайней мере, на протяжении последних тридцати лет. Кое-кто там не выносит друг друга, но их антипатии проявляются элегантно, с иронией, не так зло и прямолинейно, как у нас. Знаешь, Олина, и завидовать можно с достоинством. Но стоит ли говорить о человеческих слабостях, когда я там видел вещи куда значительней и прекрасней. Например, Шотландию. Как мне было жалко, дружок, что тебя нет со мной и ты этого не видишь. Туман, тоска и дороги, по которым за человеком не пройдет даже осел, дни, когда, случается, не выходят ни солнце, ни газеты, во всем одна влажная, сырая, меланхолическая умиротворенность. Красота мира — единственное счастье, которое невозможно осквернить. [...]

Впрочем, смотреть — тоже ничего не значит, это, девочка, умеет и слепой, а вот видеть — это, моя милая, сумеет не всякий. Боже мой, видеть всеми родами зрения сразу — какая бы это была славная, благословенная жизнь! Видеть глазами живописца, зрением скульптора, поэта, садовника, архитектора, плотника, глазами шахтера, женщины и ребенка. [...]

Ольга окружила себя мужчинами — такими, от которых можно многое узнать и которые умеют дружески общаться с женщинами определенного типа, сносят насмешки и сами вышучивают кого и что угодно, разбираются в искусстве и несентиментальны. В их обществе она превращалась в совершенно другого человека, искрилась остроумием и веселостью, словно мальчишка, отвечала шуткой на шутку — сплошная ирония и два ряда белых зубов. Ничто не должно было выдавать, какую дикую пустоту ощущала она в глубине души, сколько раз за день болезненно сжималось ее сердце.

Где-то за городом, среди садовых оград, стоит новый дом, его белоснежные двери пахнут лаком, вечерняя лампа отбрасывает тени на ковры, занавеси, на голову Чапека, неподвижно склоненную над столом, — это дом их любви, выдуманный ими три года назад, когда они

были сама надежда, желанье, мечта. Теперь там живет только один из них, сосредоточенный на самом себе, в то время как другой спасается от призрака одиночества в атмосфере приятельского жаргона, джаза и цинизма. Играй же лучше свою роль легкомысленной, болливой, пикантной женщины-вампа, только бы никто не понял, как ты печальна и опустошена! [...]

С детской доверчивостью и мужественным стремлением к обмену мнениями Чапек расширил кружок писателей и живо мыслящих людей, первые собрания которых состоялись еще на старой квартире; каждый раз, приходя к Ольге, он сообщал имя какого-нибудь нового участника регулярных сборищ, проводимых по пятницам. Сообщал как о приобретении, как об обогащении жизненного опыта и всегда прибавлял что-нибудь одобрительное: «Это очень умный человек» или «ужасный добряк», «талантливый парень, Олина».

Ему хотелось видеть в людях хорошее. Он не считал человека злым по природе, снисходительно принимал человеческие слабости, как врач болезни. Он любит человека, восхищается его достоинствами и ищет их в самых обыкновенных судьбах, но человечество для него твердый орешек. Оно его пугает, он не доверяет ему, пророчит отвратительные злодеяния, ничего доброго от него не ждет. Верит больше маленькому индивидууму, чем так называемому человечеству в целом. Очарованный человеком, великой и прекрасной личностью, Чапек издавна говорил: «Я боюсь толпы, это самая жестокая и глупая из всех природных стихий».

Ольга часто смеялась:

— Понимаю тебя, Каченка, ты любишь маленьких, неприметных чинуш и работяг, которым сейчас мало кто из мыслящих людей придает значение.

Он согласился:

— Безусловно. Они так забиты, так мало эффектны для большой литературы, поэтому я и принял их под свою опеку. *Дело в том, что порядочность я уважаю больше, чем любые страсти, человечность чту больше, чем иной громяющий доспехами героизм.*

Чапек на всю жизнь полюбил своего друга Франтишека Лангера, теперь к нему присовокупились и мно-

гие иные. Мужские дружеские беседы наполняли его ощущением сильной, мускулистой жизни.

— Это необходимо, — не мог нарадоваться он, — слышать раз в неделю несколько бесстрашных, грубоватых слов и непривычных мнений, только тогда и можешь выбрать для себя самое верное.

Пятницы — единственные дни, когда Ольга его не видит. В субботу он обычно рассказывает, что примечательного было произнесено тем или иным, что готовится и происходит в чешском мире. Эти отрывочные и скудные сведения — все, что Ольга знает о жизни в желтой вилле. [...]

Чапек продолжает приходить точно и регулярно, как прежде, только всегда заранее спрашивает по телефону: «Будет ли мне дозволено прийти?» Когда-то он говорил одно лишь слово: «Приду», недавно начал спрашивать: «Можно прийти?», а теперь совсем официально: «Будет ли дозволено...» Им по-прежнему есть о чем говорить, хоть они старательно избегают личных тем; искусство, окружающий мир и всяческие события обретают в их беседах силу и полноту. Чапек любит говорить шутливо и кратко, настраиваясь на самый дружеский тон:

— Тебе бы надо вступить в какую-нибудь литературную группу, иначе с тобой никто не будет считаться.

— Я твоя последовательница, — не задумываясь, выпаливает она.

— Это тебе большой выгоды не принесет.

Ее театр и его работа с лихвой наполняют их дни, а тут еще и политические интересы, кажется, все в полнейшем порядке. [...]

И все же в Ольге растет дикая, строптивая жажда вырваться из пут этого рабства. [...] Наконец она собралась написать [...]:

«Я решила подарить тебе монашеское одиночество, о котором ты так мечтаешь. Будь здоров и пиши самые прекрасные на свете вещи! Мы не можем себе позволить слабость, ни ты, ни я, и должны без обиняков сказать, что эти дни были для нас последними. Я буду всю жизнь болеть за тебя душой, пусть все тебе удастся, как ты того заслуживаешь, буду дрожать за судьбу каждой твоей книги, потому что знаю — работа для тебя всегда важнее собственной жизни. Так и должно

быть. Непременно должно, если делаешь что-то стоящее. Постараюсь набраться мудрости и силы, чтобы не упасть на улице, если вдруг когда-нибудь доведется тебя встретить. Да благословит господь твои труды и дни!»

Готово! Даже самые сложные вещи можно разрешить одним росчерком пера. [...]

Вместо ожидаемых четырех-пяти спокойных фраз ответа перед ней письмо — все в нервных пометках, письмо, длиннее многих прежних, полное отчаяния, щедрости, ласки и горя:

«Дорогая Олина!

Единственное, что я сейчас способен написать, единственное, что смею и на что перед самим собой имею право, это мое страстное желание, чтобы ты была счастлива. Даже смерть не заставила бы меня сказать тебе «прощай», вместо этого говорю и от всей души тебе желаю: будь счастлива. Бедняжка, у тебя такая необыкновенная способность страдать, что я не в состоянии ни за себя, ни за тебя ничего придумать, кроме молитвы: будь счастлива. Ольга, сегодня утром я получил твое письмо, даже не могу сказать, что мне было больно, — слишком много невысказанного я знал и без него, оно обрушилось на меня так, будто я когда-то раньше все это уже пережил, я выбежал под дождь в парк и там за тебя молился. Только после этого я смог принять муку и стал сводить с собою счеты. Когда ты будешь читать мое письмо, пройдет уже ночь и день; к тому времени я успею предъявить себе счет за все, в чем виновен, и за то, в чем не виноват сознательно, приму всю боль, которая меня еще ждет, возьму на себя, сколько снесу, человеческого страдания, чтобы заплатить по этому счету. Сам я уже не хочу для себя счастья, хочу только примирения. Олинка, у меня нет для тебя ни единого горького слова. Рад бы попросить у тебя прощения, но просить не так легко, как тебе кажется. Я тебя ужасно боюсь, боюсь, как бы ты и в этих строчках не отыскала чего-нибудь, что причинит тебе боль, над чем тебе захочется плакать. На коленях прошу тебя, Олина, не отягчай мою душу сознанием, что какое-то мое слово или проступок стали для тебя причиной новых страданий. [...] Я бы не перенес больше твоих страданий; ты никогда этого не видела, но я сносил их тяжелее любых собственных. Единственное хорошее, что я способен теперь себе сказать, — то, что говорю

сейчас, бегая по парку: будь счастлива, будь счастлива, будь счастлива. Ты не представляешь, какое в этом утешение!

Олинка, у меня нет ни слова в свое оправдание; если я когда-нибудь был суров с тобой, я был суров и с собой, а теперь я еще в десять раз суровей, и нет необходимости перечислять, чем я тебя за эти годы обидел. Но тебе, девочка, тебе бы я хотел сказать, тебе котел бы прокричать: будь счастлива! Я не знаю, что такое счастье, да, не знаю, как это делается, чтобы кто-то был счастлив, но хотел бы, по крайней мере, научиться не причинять тебе боли. Возможно, я никогда не умел любить; единственное, что я умел, — ощущать страшную боль от каждой твоей боли. Пожалуй, это не любовь в твоём понимании; я уже не способен уяснить себе, как я к тебе отношусь, но знаю, что это самое сильное чувство, на какое я способен. Может быть, вы, остальные, способны на какие-то иные чувства, но моя любовь к тебе, к людям, к богу — ко всему, что существует и что я знаю, — это страстное сочувствие. Господи, Ольга, если бы ты поняла, если бы знала, как переполнено всем этим мое сердце! Возможно, для спасения моей души вообще необходимо, чтобы я не жил собственной жизнью. Думаю, этот разговор с самим собой окажет большое влияние на всю мою дальнейшую жизнь; но сейчас дело не в том, дело не во мне; дело только и только в тебе. Олинка, смотри же, будь счастлива, это твой великий долг. Прошу тебя, Ольга, сделай Олинку счастливой; ради любви ко мне — пусть она будет счастливее! Обо мне говорят, будто я эгоист; ладно, пускай; так вот, в эту горькую минуту я прошу снисхождения к себе: пусть она будет счастлива! Если наступит день, когда ты мне улыбнешься, меня не будет больше страшить самое тяжкое, что сжимает сейчас мое сердце. Знаю, знаю, слишком хорошо знаю: во всем, что здесь написано, я старательно обхожу то, чего ты ждешь от меня, но мне так страшно затронуть какое-нибудь разбереженное место твоего сердца, мне очень страшно, Олинка. Не хочу, чтобы ты страдала, я этого больше не вынесу. Целую твои руки. Карел».

И внизу приписка. Ольга должна найти в себе мужество, чтобы дочитать:

«Посреди ночи. Олинка, ты так решила. Принимаю. И у меня начинает проясняться — не на сердце, в голо-

ве. Будь счастлива. Боже мой, как бы я хотел, чтобы решение далось тебе легко. Ты этого заслуживаешь, будь же счастлива.

[...] Она мечтала об одном: сосредоточиться, чтобы встать и спрятать последнее письмо Карела в ящик письменного стола, где лежат все остальные, — поставить точку в конце этой истории. [...]

«Не могу — ни вперед, ни назад, — сказала себе Ольга, — а жить так — непрерывная страшная мука». Она была экзальтированной, как все трагедийные актрисы, нервы которых издерганы чужими страданиями. [...] Ольга видела, как ее ноги в пижамных брюках сделали несколько шагов к столику, — в ящике там лежали алонал и пантопон. [...] Всыпала таблетки в рот, как ребенок, который спешит разом проглотить конфеты, чтобы их у него не отняли, и запила чашечкой остывшего чая. Вопрос исчерпан. [...] Упала на пол и еще видела, как испуганная экономка звонит по телефону. [...]

— Как ты себя чувствуешь?

Она не знала. Вместо ответа широко раскрыла глаза, которые сразу ослепил свет. Видишь, благодарю, смотрю и узнаю тебя, чего еще может желать мертвый.

Можно было не сомневаться — Карел рядом с нею, примерно так представляла она свое вступление на небеса перед тем, как в приступе отчаяния решила умереть. Чапек молча держал ее руку. Сознание понемногу прояснялось, как фотографический снимок при проявлении. В отяжелевших конечностях росло и усиливалось ощущение жизни; казалось, оно приходило из узкой и благородной руки, которую она держала в своей, жизнь поднималась от ладони к сердцу, а оттуда разливалось по всему телу.

Он видел, что Ольга начала мерно и глубоко дышать, и пробасил счастливым голосом:

— Фу, так теперь не поступают даже сентиментальные швеи. [...]

Время распорядилось по-своему. Единственная, действительно заметная перемена произошла с Карелом Чапекком. [...]

Он регулярно приходит, отдает теперь этим свида-

ниям каждую свободную минуту и того же требует от Ольги. Вместо недавних робких вопросов снова только назначает встречу и договаривается о месте и времени: слова «будет ли дозволено прийти?» канули в небытие одновременно со всем остальным. [...]

Он не спрашивает, не больно ли Ольге, только смотрит карими глазами, при улыбке отливающими янтарной желтизной, вглядывается в невысказанное и молча говорит: это твоя воля, дорогая, я не хочу ни словечком участвовать в столь важном для тебя решении. Но Ольга ему нужна, как и он ей, никогда еще он не выражал этого так прямо, как теперь, когда они снова одни.

Чапек приносит Ольге рукописи и читает ей, актрисе, своим глубоким, безликим голосом, снова делится с нею всеми литературными и политическими заботами. [...]

Наконец-то она стала сердечным, ровным в поведении товарищем. [...]

Теперь Ольга снова может сосредоточиться, помимо своей работы, только на нем, видит, как его суждения становятся все более проникновенными и прочувствованными. [...] Собственные страдания внушили Чапеку сочувствие к другим; все дурное и заслуживающее критики он умеет переплавить в ласковый, снисходительный юмор.

Ольга видит внутреннее развитие и рост поэта вблизи, как мало кто иной; с нею, женщиной, он порой говорит и о самых болезненных для себя вещах. Он покори́л мир, способствовал росту доброй славы своего народа за рубежом, а в собственной стране нажил множество врагов; каждый, кто действует на благо отчизны, готовит себе трагическую участь. Отношение Чапека к родине было пылким и целомудренным, он не спекулировал понятием «патриотизм», не произносил слово «родина» с большой буквы, но служил ей мужественно и неутомимо, с подлинно детским воодушевлением. Служил ей и тем, что не закрывал глаза на недостатки чешской общественной и политической жизни, хотел все улучшить, «очистить от безобразий и мелочного соперничества партий». Мало у кого из художников встречала Ольга такую безоговорочную самоотверженность. Он служил общему делу высоким качеством своего ли-

тературного труда, красотой чешского языка, терпеливым ожиданием какого-либо прогресса, снисхождением к ошибкам начинающих, строгостью к любой нравственной нечистоплотности. Чапек целиком подчинил свою жизнь трем задачам: быть поэтом, человеком и чехом. Помимо единственной попытки создать в Чехословакии партию трудовой интеллигенции, попытки, потерпевшей полный крах, Чапек никогда не вступал ни в одну политическую партию; и в этом вопросе он стремился к свободе и непредвзятости. «Дух должен возноситься над волами», — улыбался он.

Человек хрупкого здоровья, он всегда шел туда, где нужно было кому-нибудь помочь или посодествовать; никогда ни от чего не отказывался, если речь шла о чем-то достойном, хотя на все это приходилось тратить драгоценное время, ибо верил, что и малый труд приносит общественную пользу.

— Нужно делать как можно больше, — говорил он часто, сломленный утомлением и слабостью. — Свобода не упадет с неба, ее необходимо строить всю жизнь, защищать каждый день, стеречь каждый час.

Его любили или ненавидели, как и положено всякой выдающейся личности, но он отражал нападки с открытой улыбкой полнейшего снисхождения:

— Каждый должен до дна испить чашу, которую сам себе уготовил, — говорит он спокойно.

Но политические дразги и литературные свары вызывают его гнев, поскольку это вредит здоровой атмосфере в государстве. Сверкая всевидящими глазами и покусывая детские губы, он постоянно ищет выход:

— *Не выношу и хотел бы вымести мелочность, злобу, клевету, зависть, эгоизм — все, что делает нас намного мельче, чем мы есть в действительности!*

Чапек трогательно верил, что ему удастся справиться с этим, не обращал никакого внимания на выпады, направленные лично против него, старался объединить всех людей, всех художников, все интересы, уладить все споры и неурядицы.

— Сколько недоразумений отпало бы, если бы люди знали друг друга, — говорит он.

И не экономит скупно отпущенных ему телесных сил, отдыхая, лишь когда уже не может не отдохнуть, когда приходится слишком часто отирать со лба пот, выступивший в результате сдерживаемой боли. В небольшом

доме, знакомом Ольге только по газетным пасквилям, охотно принимают многочисленных гостей Праги; необычайно радушно и обстоятельно Чапек показывает им страну с исключительно одаренным народом, обладающим политической прозорливостью.

— Послушай, дружок, — часто по-мальчишески шепчет он, прикрыв рот ладонью, — не говори никому, *но у меня такое впечатление, что мы едва ли не самая талантливая и образованная нация. Когда слушаешь других, понимаешь, как это плохо — видеть не дальше собственного носа — столь ограничены их интересы и настолько меньше нас они знают. Пусть большие народы трубят о себе что угодно, я уже заглянул в их кухню. Только бы еще избавиться от нашей мелочности, от этой приземленности... Величие одних вовсе не в том, что они считают других ничтожествами.*

Это убеждение растет и крепнет в Чапек с каждым днем его требовательной любви. Он любит Словакию, всегда с удовольствием ждет поездки в Топольчанки, каждого иностранца отправляет взглянуть на Татры, узнать, что такое словацкий фольклор и люди с детскими глазами.

В тот день Ольга ездила на машине за город, в леса, по пути ее застал настоящий ураган. Деревья клонились к земле, как колосья, ехать дальше было невозможно. Она велела шоферу повернуть домой; едва взбежала по ступенькам наверх, как позвонил телефон:

— Умер мой отец, — пробормотал Карел и повесил трубку.

Он много сидел у Ольги в эти три дня, пока отца не похоронили, похудел и стал еще более одухотворенным, как бывает с теми, кто видел смерть в непосредственной близости. [...] Невысказанный ужас перед смертью владел всем его существом, он боролся как мог, но не сумел скрыть от Ольги своих переживаний. Его собственное слабое тело слишком явственно ощутило легкость ухода из жизни, а сильный дух стремился к самосохранению; очевидно, на этом и основывалась вера Карела в посмертное существование. Отца он бесконечно любил и теперь выглядел сиротливо, очень страдал.

— Бедный отец, — бормотал он, устремив неподвижный взгляд на свои живые красивые руки, — в последние дни ему, воинствующему и убежденному атеисту, вероятно, было тяжело. Думаю, при всей своей скром-

ности я бы не смог так ни во что не верить, кроме собственной смерти. А вот отец, как и многие врачи, не верил. Я часто ему говорил: «Погоди, папа, вряд ли тебе понравится, когда после смерти ты убедишься, что все еще существуешь».

На эту тему Ольга и Карел беседовали довольно часто, как будто в нем жила постоянная потребность к ней возвращаться, но сегодня она снова спросила, стараясь подбодрить его самым тоном вопроса:

— А ты, Карел, веришь?

— Безусловно.

— Как поэт?

— И как человек. Рекомендую: лучший рецепт для сохранения всех добродетелей!

— Это уже философия, — возразила она.

— Нет, это уверенность. И жизнь. Смерть — та же жизнь, если ты как-то продолжаешь существовать... — бормотал он с грустным, побледневшим лицом. — Природа по-хозяйски обходится с каждым сухим листом, не может быть, чтобы человеческий дух, ее величайшее открытие, значил для нее меньше. В этом мы чрезвычайно сходимся с Т.-Г. М., тот несколько раз говорил мне: «Не думаю, чтобы после смерти я стал какой-то метафизической кашей, я хочу снова быть самим собой...» Бедный отец, — детское лицо Карела состарилось от боли. — Как врачу, ему трудно было ухаживать... так безвозвратно. — Он посмотрел на Ольгу, та улыбалась, но его это не раздражало. — Ясное дело, после смерти я не превращусь в ангелочка в голубом хитоне, и все же... возможно, существует некая цистерна сознания, в которую и я внесу свою каплю. [...]

Он снова вернулся к мысли об отце:

— Что такое семьдесят три года? При своей бодрости он вполне мог прожить еще семь-восемь лет. *Нет, жизнь человека не должна прерываться, пока его дух в полном порядке!* [...]

Последний голос семьи отзывался в скромном доме поэта; у брата и сестры свои друзья и дети, оба — неизменная любовь, сплоченность, шутка, но каждый при этом вьет гнездо отдельно. Отношение Чапека к брату Йозефу было более, чем братством по крови и духу, это была любовь. Когда-то они вместе начинали мыслить и открывать свой мир. Это была самая тесная солидарность, какую Ольга знала. Карел часто произносил имя

брата, и всякий раз взгляд его смягчался. Он бы не потерпел вокруг себя ни на йоту больше красоты, чем ее видит Йозеф. Ольга редко бывала с ними обоими вместе; когда это случалось, она оказывалась свидетельницей остроумнейших и оживленнейших бесед. «Меня ждет Печа — Печа меня проводит», — говорил он, уходя, и глаза его сияли. «Йозеф пишет то-то и то-то...», «У Йозефа чудодейственная кисть, последнее время под ней расцветают прекрасные картины».

Братья Чапек вдвоем возвращались из редакции, организовывали «пятницы», обсуждали идеи своих новых произведений. Это был другой мир Чапека, который Ольга уважала, никогда не пытаясь проникнуть дальше установленной черты. Братья жили в непосредственной близости, полные взаимного доверия; Ольга знала, что у Йозефа Карел в полной духовной и эмоциональной безопасности. Но у того была своя семья, а Карелу не о ком было заботиться, и потому, пользуясь одиночеством, он стал еще больше писать и вникать в окружающий мир, стал служить всему, что в нем нуждалось. Очевидно, он никогда не нянчил на руках маленького ребенка, скорее всего — из страха, как бы не повредить такую великолепную хрупкую вещь, но смотрел на каждого малыша с особенной заботливостью.

— Дети не должны чувствовать социальную несправедливость, взрослый уж как-то с этим справляется, но только не ребенок!

Он основал организацию «Демократия детям» и, где мог, добывал деньги, измышлял мероприятия, позволяющие собрать необходимые средства, придумал благотворительные марки, которые давали ежегодно до двух миллионов крон. Все это стоило ему уйму времени, напряжения и энергии. Чапека не задевали насмешки тех, кто называл его благотворительную деятельность филантропией, достойной старых баб; ему говорили, что тут нужно измельить всю систему и т. д.

— Безусловно, — улыбался он, — но пока это еще не получилось, я делаю, что в моих силах, чтобы уменьшить нужду, которую вижу вокруг; бедность не может ждать, особенно дети. Мне это стоит немало времени, но раз я имею хоть какое-то нравственное влияние...

Он выглядел утомленным, но когда «Демократии детям» удавалось послать несколько сот малышей на каникулы в деревню, поддержать какое-то количество ра-

хитичных детишек питанием, одеть сколько-то оборванцев, казался счастливым. [...]

Чапек не выносит лета — частые перемены атмосферного давления усиливают боли в позвоночнике, жара изнуряет, он прячется в тень и, в то время, когда все прыгают в воду или отправляются в деревни, сидит заросший, небритый, в рабочих парусиновых штанах и пишет. Ольга уже хорошо знает литературное лето Чапека, эту жаркую, истомленную жаждой плодovitость, пышно расцветающую вместе с тропическими растениями его оранжереи. Расслабленный, с влажным лбом, который он по-детски без конца оттирает скомканным платком, с телом, утомленным тягостной духотой, он пишет произведения, требующие особой сосредоточенности, и сам себе не может объяснить: почему именно в эту пору, которую он физически переносит хуже всего. *«Может, оттого, что улицы такие вываренные и пустые»*, — говорит Чапек. Но ей кажется — дело не в этом, поскольку он пишет и за городом, когда уезжает из Праги. *«А может, оттого, что в эту пору у меня больше болит спина и словно бы под воздействием боли лучше работает голова.»* [...]

Теперь Чапек замахнулся на трилогию о человеческой натуре, мечтал бежать из области философской утопии и сатиры в головокружительную сложность обыкновенного человека. Последнее время он постоянно вдохновлялся музыкой. [...]

— Мои похороны будут сплошной музыкой, печальное «трамтарарам» по дороге на кладбище и трескучие марши на обратном пути. Это я любил еще мальчишкой. Ведь и во время такой грустной вещи, как похороны, люди должны получать удовольствие.

Потом музыка, как и все увлечения, захватила Чапека целиком, он хотел разобраться в ней, понять ее корни, ее душу, отыскивал крупницы, капли, из которых складывается волшебный поток исполненных поэзии звуков. Начал собирать фольклор всего света, любого дикарского островка — от драматических маршей местных тиранов до примитивных судорог негритянского танца. Сложными путями приобретал граммофонные пластинки с Востока и из южных колоний — все подлинное, первозданное, что записывалось в любом уголке света; так возникала единственная в своем роде фонотека.

Одна пластинка с Кубы вдохновила Чапека на со-

здание, возможно, самого сильного его романа — «Метеор». Эту пластинку он ставил постоянно, упоенный монотонным ритмом маракасов и барабанов; прислушивался к потрескиванию горячего воздуха, наполняющему гортанную песнь тропиков. Он был пьян этой музыкой и ходил по родной земле с отсутствующим видом — ведь он был уже там, далеко, на Кубе, в духоте, которой не выносил, среди растений, названия которых старался определить, и людей, рождавшихся в его сознании, как жизнь в материнском лоне. Со свойственной ему скрупулезностью Чапек собирал необходимые сведения — остальное уже было делом его фантазии; он мыслил так наглядно, живо и точно, что едва ли мог допустить ошибку.

Чапек достиг полной нравственной чистоты; ему было что сказать людям различного цвета кожи, испытывающим разной степени гнет, в разной степени лишенным свободы, разделенным разными границами; его сердце, застенчивое и горячее, хотело бы спасти целый свет.

— Стараюсь открыть человечеству глаза, если уж не способен на большее, — говорит он — и пишет, пишет. [...]

Ольга и Карел пожали друг другу руки и обменялись поцелуями в щеку.

— Прежде всего, как твоя работа, Каченка?

Он перебросил мундштук в другой угол рта, лицо его было неподвижнее, чем обычно.

— *На минутку я сбежал от нее, право же, у меня отбили всякую охоту к творчеству.*

Карел опустил в старое мягкое кресло, где уже столько передумал и переговорил. [...]

Ольга с горечью слушает его и пытается как-то логически все объяснить:

— [...] Понимаешь, ты пришелся по вкусу всему миру, а те, кто чувствует непрерывную потребность делать людям зло, охотно и громко говорят о твоём предательстве, раз ты не желаешь быть всего лишь чехом и, как они, крикливо прославлять клочок родной земли, одновременно убивая на ней самое полезное, самое лучшее. Возможно, у тебя непривычно широкие для них взгляды, ты смотришь дальше, чем дозволено...

Карел прервал ее очень серьезно:

— *Если бы это было так, я бы, ей-богу, не упрекнул их в дурном отношении к себе, только пожалел бы, что они, по всей вероятности, слепы и глухи, раз мои книги*

и мой язык не кажутся им абсолютно чешскими. Наша слава, и верно, не только в нас самих, но и в широте нашего мировоззрения, в правильном осознании себя в масштабах Европы, в понимании того, что мы претендуем на правоту не только нашу, местную, но и нашу — чешскую, демократическую, общеевропейскую. [...]

И он снова взялся за решение самой неблагоприятной и тяжелой задачи — искать в тех, кто стоит у кормила, добрую волю, поддерживать ее там, где она есть, и воспитывать — где ее нет. Он убежден, что дело всеобщего примирения и договоренности должно увенчаться успехом; в вопросах доверия к людям он, как ребенок, не замечает подлости и неискренности тех, кому смотрит в глаза. Его оружие — строгая требовательность и шутка; он убежден, что юмор во многом способен устранить напряженность, сблизить людей, принадлежащих к разным политическим лагерям, и тем самым вызывает еще большую ненависть врагов; ведь они жестоки и не умеют улыбаться.

— Оставь все это, замкнись в себе, — советует Ольга, видя, как он попусту тратит силы и позволяет злоупотреблять своим доверием, — занимайся одним искусством, в нем ты сильнее, жаль, что ты расходуешь себя на эту поденщину.

— Знаю, но послушаться не могу. — Вокруг его глаз сгустились маленькие, едва различимые тени горькой усталости. — Ведь на свете столько полезной скромной работы, кто-то же должен ее делать, кто-то, желающий принести человечеству пользу. *Неужели, черт возьми, наши люди не возьмутся за ум и не перестанут чернить друг друга. Мужчинам такая бесчестность не к лицу, мы не можем ее себе позволить, Малый народ сохранит себя в первую очередь здоровым разумом и моральной силой. [...]*

Ольга вспоминает все, что Карел говорил после самых удачных ее выступлений, когда она выбиралась из театра полумертвая от усталости: «Ты отлично рычал, лев!», или в другой раз, когда она имела большой успех: «Все было в порядке, можешь спать спокойно». Ольга знает, что означает самое сдержанное слово его похвалы, с какой ответственностью оно произносится.

Карел — самый близкий ее друг, ласковый, смирившийся со своей участью и во всем с ней солидарный, она бы не смогла солгать ему или что-нибудь от него утаить. Вероятно, Чапеку стало немного лучше, он никогда о себе не говорит, но кажется, ему уже не так больно прямо держать спину и плечи. [...]

Театральный сезон готовился угаснуть, как гаснет ракета, на мгновение ослепившая нас красотой. [...] С июня Ольга уже перелистывает «бедекеры», путешествует по картам. [...] Она купила себе маленький автомобиль и теперь озирается во все стороны, ведь когда у вас машина и за плечами шоферский экзамен, так трудно определить, куда податься раньше. [...]

Карел наперед согласен со всем, что ей придет в голову, но машину не желает видеть и каждый день хоть пять минут брюзжит:

— Ты нервная, близорукая, пугливая как заяц, я боюсь, как бы эта прогулка не кончилась плохо! [...]

И вот Карел спрашивает, как спрашивал все пятнадцать лет:

— Откуда будешь писать мне в этом году?

Он никогда не задавал вопроса, с кем Ольга едет, и потому она, как всегда, охотно объясняет:

— Еду со старым шофером, который учил меня водить машину, одна бы я не решилась. Во время войны он служил на Пьяве и ужасно хотел бы увидеть Доломитовые Альпы.

Карел смотрел на ее руки, берущие и откладывающие в сторону различные дорожные предметы, и что-то невысказанное было в его лице, словно он придумал какую-то великолепную шутку, какое-то чудесное озорство. Ольга глянула на него — и не смогла отвести глаза. Возможно, он удачно сел в полутень и потому его лицо так помолодело и похорошело, — ей подумалось, что именно таким он был в пору их первой встречи. Минутку Карел сосредоточенно покусывал мундштук [...], потом сказал как нечто само собой разумеющееся:

— Нынче Старый пан хворает и не нуждается во мне, а писать я начну только осенью, мне бы очень хотелось во время этого путешествия напоминать тебе, чтобы ты ехала осторожней.

Она долго не могла понять, о чем Карел говорит, выглядела идиоткой и довольно глупо рассмеялась:

— Что ты говоришь... просто невероятно... вдруг, после стольких лет!

Он опустил глаза и нерешительно пробормотал:

— Ты же знаешь, как я люблю горы, и потом, дружок... в этом году впервые у меня чуть меньше болит хребет. Я бы, собственно, давно тебе это предложил, да не знал, не подыскала ли ты себе другое общество, но кажется...

Ольга сердилась, что так плохо владеет собой, что не умеет скрыть безудержную радость:

— Ты... ты же знаешь... даже если бы я кому-нибудь обещала, а ты захотел поехать... Просто не представляю себе лучшего путешествия! [...]

Можно встречаться с человеком две трети своей жизни и не знать его, пока не совершишь с ним совместного путешествия. Оба глядят друг на друга глазами первооткрывателей. Разве этот милый восторженный юноша с холостяцким беспорядком в обшарпанном чемоданчике — тот самый Чапек, которого она прежде знала, приятель-поэт, постоянно погруженный в какой-то строгий внутренний мир? Он выглядит, как ребенок, впервые едущий в поезде: восторженно поворачивается в разные стороны и жестикулирует, показывая Ольге всевозможные красоты:

— Посмотри туда, скорее, а сюда, ах, черт возьми!

Его сияющие глаза слились с природой, с небом и далью, и нет в них ничего, кроме любознательности и отражения красоты. [...]

Остановились в Вене, он о чем-то договаривался, Ольга не спрашивала о чем, наверное, о какой-то литературной встрече, а потом — в горы, на голубой простор.

Маленький автомобиль везет сквозь зелень двух обновленных людей, освобожденных каникулами от обременительных задач и обязанностей, помолодевших под воздействием окружающей красоты, отброшенных свалившейся на них неожиданной радостью далеко назад, во времена, когда их обоих еще ничто не мучило и не тяготило. [...]

Они едут, шутят, восхищаются и предаются поэтическим грезам.

Ольга впервые может целиком и безраздельно смот-

реть на мир его глазами; ее удивляет способность Карела восхищаться, познавать и классифицировать. И гордая выпавшей ей ролью свидетельницы, она думает: «Вы, кто не видел, как он смотрит, вы не знаете Карела Чапека!» По сто раз на день останавливались то там, то сям, Ольга часто сидела где-нибудь на обочине — со стороны она могла лучше за ним наблюдать, а он карабкался по цветущим берегам гор, чтобы лично засвидетельствовать почтение как можно большему количеству цветов, взять в руки и приласкать камень, поглядеть всему этому многокрасочному чуду, присесть на корточки возле пучка валерианы, ибо не мог склонить к нему неподвижную голову. С какой очарованной нежностью бормочет он названия этих горных диковин, как робко его прекрасная рука раздвигает стебельки голубых подснежников, горечавок, диких астр и дриад, как он празднует встречу с волшебными дарами гор — соколей травой или красным молодилом.

Он не выносит жары, но может часами с капельками пота на лбу подниматься в гору, к первой сероватой полосе снега; сидеть на упавших деревьях и сияющими большими глазами гладить вздутые животы и широкие плечи гор; затаив дыханье, любоваться коврами аквилегий или вызывать откуда-то из сказочной зоологии всех бабочек мира! Издали доносится нечто похожее на шум воды.

— Слышишь? — спрашивает он не дыша; потом заставляя ее сесть на упавшее дерево. — Подождем, я хочу видеть «аполлона», никогда еще не видел живого «аполлона», а здесь он вполне мог бы объявиться, ведь тут растет молодило и полно водосбора. Если подождать, мы непременно его увидим.

Чтобы доставить ему удовольствие, Ольга с улыбкой присела рядом с ним, между снегом и цветами. Казалось, никогда в жизни не забыть ей этой картины: как он сидел и доверчиво ждал чуда. Минут через десять Карел тихо сжал ее руку, и оба перестали дышать: «аполлоны» прилетели — сразу две тяжело взмахивающие крыльями гигантские бабочки.

— Вот видишь, — шепчет он, когда бабочки пролетают возле их голов, точно это было проще всего на свете — дождаться самого прекрасного. Ольге чудилось, будто он как-то странно и таинственно связан с природой, а та, в свою очередь, любит его как самого горячего своего поклонника. [...]

Всю дорогу Карел шутит с ней, со старым шофером, с господом богом, а к вечеру стихает, часто останавливается, вбирая в легкие свой любимый сумрак с сотнями оттенков синевы и переливами тоскливых серых тонов, тишину тысяч умолкших звуков, покой растений, воздуха, умиротворение людей. Карел не терпит скучных полуденных часов, обкрадывающих пейзаж, отнимающих у него прелесть теней; его глаза оживают лишь под вечер, когда все вокруг обретает пластичность и красоту. Он любит закаты, каждодневный величественный обряд природы, но всегда помнит, что кончился еще один отпущенный нам день, и находит в себе мужество глядеть этой утрате в глаза, как будто говорит своим взглядом преходящей красоте два мудрых и святых слова: Жаль и Благодарю. [...]

Ночлег они подыскивают в просторных приземистых деревенских трактирах, укрывшихся под сенью лип, их запоздалым душистым цветом усыпаны естественные газоны и скамейки перед соседними домами. Под прохладной защитой синих теней голоса собеседников звучат мягче и интимнее. За границей особенно широко раскрываются сердца, с особой охотой вспоминаешь родину, молодость, все, что так тебе дорого. И постепенно голос сидящего рядом начинает нежно подрагивать, как рука, осторожно играющая драгоценной хрупкой вещцей.

— Когда я был мальчиком, — рассказывает Чапек, — в такие благоуханные вечера я ходил ловить хрущей, прямо в кулак, их особенно много жужжало вокруг жасмина и роз.

— А я, когда была подростком, любила в такую ночь оцепенеть, как мертвая, уставиться во тьму и думать.

— О чем?

— О любви. — Теперь это слово уже можно произносить вслух. [...]

Дружески пожав руки, они расходятся на ночь по своим комнатам.

— Good night ¹, — произносит Карел, чтобы избежать более нежного прощанья.

— Night, dear ², — лаконично отвечает Ольга. Это

¹ Спокойной ночи (англ.).

² Спокойной ночи, дорогой (англ.).

осталось у них со времен, когда Карел учил ее английскому.

А утром встречаются за завтраком — в чистой, но изрядно помятой одежде, кивнув друг другу, радуясь, что снова начинается свежий росный день, и оба полны планов, веселой готовности двигаться в любом направлении, к любой цели. [...]

Прекрасная старомодная Австрия с распятиями на полевых дорогах, которые Чапек так любит, с наивными фресками, изображающими святых, на старых деревенских халупах и городских домах, окруженных галереями. Тихая народная поэзия часовенок и крестов среди редкого растрепанного овса, меж стогами душистого сена или в глубокой тени старой аллеи!

Маленький автомобиль приближается к прохладным холмам у подножия гор, присоленных вечными снегами; он едет тихо и легко, точно его приводит в движение не бензиновая смесь, а счастье. Карел молчит, весь уйдя в зрение, и странная, ясная умиротворенность постепенно сглаживает в душе Ольги драматические черты.

Пообедали в маленьком городке, сложенном из старых детских кубиков, кто-то когда-то играл ими и выстроил этот городок для взрослых, сейчас игрушка совсем обветшала, но еще постоит тут, чтобы околдовывать несколько тысяч таких же, как они, восторженных путешественников. Зашли в церковку, переполненную набожными крестьянами, минутку посидели молча на скамье возле покашливающей старухи.

— Тут красиво, — прошептал Карел, и Ольга впервые увидела, какие у него, никогда не молившегося, набожные глаза. — Наверняка господь бог живет здесь на даче. [...]

В Гнеденвальде есть старый санаторий — деревянный дом с балконами и башенками, луга со стадами коров и развесистые липы, благоухающие, как нигде в мире. Остановились там на ночлег. Им отвели две комнаты с балконами, выходящими прямо в небо. [...]

Вечером на небе выступили бесчисленные звезды, точно прозрачный черный флер был сплошь подшит серебром. Ольга вышла ночью на балкон. [...]

Рядом на балконе черная фигура, блеск месяца позаботился о четкости ее очертаний; это Карел с угольком сигареты у губ; он тоже замер в сладком блаженстве. Даже не окликнул Ольгу, только взмахом руки дал

понять, что видит ее, — и больше ничего; у кого хватит отваги разорвать, разрушить эту нежную ткань тишины. [...]

Ольга ненадолго уснула, ей снилось, будто она проспала завтрак, назначенный на семь, придется ехать на-тощак, пока не настала жара. Проснулась белесоватым утром и, хотя свет его казался еще слишком хрупким и несмелым, не знала — поздно или рано, ее ручные часики ночью остановились. Еще сонная, она оделась, щетка и гребень валились из рук — господи, какой становишься неумехой, когда спешишь! Кто-то стучит в дверь, наверное, шофер пришел за чемоданчиком.

— Кто там?

— Открой, Олясек.

— Который час? — спрашивает она, еще не отперев двери.

— Не знаю, все равно открой.

Ольга удивилась. Не может же она впустить его, когда у нее такой ужасный вид: только что из ванной, на лице крем. Неужели это так важно?

— Подожди несколько минут. Я сейчас.

— Я и так достаточно долго ждал, — загудел он нетерпеливо.

Наверное, все-таки еще не так поздно. И верно, неплохо бы узнать, который час. Ольга чуть приоткрыла дверь, чтобы Карел не увидел ее такой растрепой, но наткнулась на его сияющее лицо.

— Что случилось?

Он выглядит, словно мальчуган, который влечься выспался и радостно предвкушает добрый каникулярный день. По коридору ходят горничные и больные, лечащие здесь нервы, нехорошо говорить громко: в Австрии многие понимают по-чешски.

— Чего тебе?

— Do you wish to marry me? ¹ — озорно спросил он с самым невозмутимым видом, будто интересовался, когда она спустится завтракать. Вошел в номер — и ровно никакого внимания на ее блестящую от крема кожу и растрепанные волосы, стоит у двери, слегка опустив глаза, держит в руке обкусанную трость, которой внизу, перед домом, играл с черным сенбернартом, и повто-

¹ Хотите выйти за меня замуж? (англ.).

ряет свой вопрос уже по-чешски, потому что теперь мимо них не шмыгают любопытные старые дамы:

— Хочешь выйти за меня замуж?

Ольга держала в руках мыло, вещь для такого момента слишком скользкую и неприятную. Пятнадцать лет она умирала с горя от недостижимости того, что слышит, и вот теперь выглядит так по-идиотски!

— Как это? — спросила она просто, без видимого волнения. Стояла перед ним с неподкрашенным лицом, растрепанная и маленькая, в тапках без каблуков, вокруг — утренний женский беспорядок — право же, некрасивая декорация к такому happy-end'у¹.

— Скажи, пожалуйста, который час?

— Пять утра, — задорно признался он.

— Иди, Каченка, я сейчас спущусь.

— Сразу?

— Конечно.

— Через пять минут?

— Через пять минут.

Она появилась минут через десять, потому что довольно долго сидела на постели с туфлей в руке, с улыбкой на лице и с невероятным удивлением в сердце. Как, в конце концов, проста любая серьезная и сложная вещь! Ей казалось, будто до сих пор на сцене она слишком выпячивала силу чувств, а ведь в решительные моменты человек способен лишь на самые скромные реакции.

Внизу, за столом, уже собралось несколько человек, каждый завтракал, излучая радостную свежесть утра. Подсели к тарелке с кусочками твердого, сверкающего гляncем масла, точно их интересовала только еда. Ольга ничего не спросила, дала Чапеку возможность выговориться — видела, какое счастье это ему доставляет.

— Я все уступал тебя кому-нибудь другому, чтобы ты была счастлива, но как-то не видно, чтобы это принесло тебе много счастья, лучше уж нам мучиться вдвоем.

В кофе Ольги невольно капнула тяжелая слеза, первая и единственная, дальнейшие она себе строжайше запретит.

— Моя болезнь, кажется, уже давно приостановилась, — гудел он тихо, перескакивая взглядом с горизонта на ее лицо и словно бы забавляясь этим. — Опасность

¹ Счастливому концу (англ.).

миновала, хотя я и останусь таким же малоподвижным и болеть это будет вечно. Мне показали рентгеновские снимки; чтобы от меня не скрыли правду, я дал проявить их в Вене, где меня никто не знает. Ты можешь не бояться.

— Ну что ж, решено, — продолжал он и детскими губами отхлебнул из цветастой чашки, — не реви, фу, вон та толстая дама очень тобой интересуется.

— Почему ты не сказал мне раньше?

— Чего?

— Что тебе лучше. [...]

— Я боялся. [...] *Хотел прийти вчера и... остаться у тебя. Но прежде долго, до самой ночи беседовал с господом богом, просил у него совета.* Черт возьми, не так это просто, сделать счастливой такую неудачницу, как ты! Обвенчаемся сразу по возвращении, не хочу больше ждать, когда наконец начнется моя жизнь!

— Каченка!

— Договорились!

— ...

Швейцария, Италия с багряным чудом потрескавшихся скал. Маленькие albergo¹ в городках с водоемами на белой раскаленной площади. Лорензаго. Оба будут вечно помнить это название.

Ледники над Берниной, первые виноградины, откусываемые с общей грозди южного плодородия; душистые цветы в дикой траве. [...]

— Ужасно было все эти годы говорить тебе «никогда», а оказалось, все напрасно, о господи!

— Все, что неизбежно, — к лучшему, — весело цитировала она его собственный девиз. — А ты разве не страдал?..

— Страшно, — мужественно признался он. — [...] Однако это уже позади. Я всего лишь хотел, чтобы тебе было хорошо, и...

Он стоял у окна белоснежного отеля, притиснув к искрящемуся на солнце стеклу воспаленное лицо.

— Трагический удел — быть человеком.

— Безусловно.

Но оба улыбались, потому что в ту минуту его слова уже не были правдой. [...]

¹ Гостиницы (ит.).

Возвращались домой, погрузив глаза в синие реки неба, которые бесконечно текли между берегами деревьев, и во время этой небесной прогулки держались за руки; счастье свалилось на них неожиданно, и они стали неразговорчивы и как-то нерешительны. [...]

Ехали в маленьком автомобиле, за полной достоинства спиной старого шофера, и чувствовали себя детьми, которые лукаво таят свою радость за спиной взрослого. [...]

Оба явно не знали, как себя вести в новой обстановке, и каждый старался скрыть эту неуверенность от другого. Да, месяц назад — вернее, пятнадцать лет назад — они нашли друг друга и скоро объединятся по законам сердца и жизни.

Чапек пытался сдерживать свой гулкий голос, который столько раз помогал ему преодолеть и скрыть волнение, боль или ревность; но в любом своем проявлении это уже был возлюбленный и муж. Насколько иначе он теперь помогал ей, своей прежней приятельнице, выйти из машины, подавал вечно теряемую перчатку или провалившуюся в сиденье машины сумочку. Очевидно, впервые его стало заботить, что она ест и не хочет ли пить. [...]

Долгая холостяцкая жизнь оставила на нем отпечаток: самые большие трудности он испытывал от самых незначительных бытовых затруднений; он издавна боролся за порядок в мире, но совершенно не умел навести порядок в домашних мелочах.

— Две квартиры, твоя и моя экономки, родственные отношения и друзья, как все это объединить?!

Ольга, вооруженная женской практичностью, смеялась. Она и теперь, как всегда и во всем, понимала его: он был горд своим счастьем и мужественным решением наконец-то создать для себя нормальную жизнь, но в глазах своего окружения как-то не решался вдруг расцвести столь пышным цветом. И заранее извинялся: перед Ольгой — что все это случилось так поздно; перед другими — что это вообще случилось. Сильный, когда дело касалось борьбы, равнодушный к нападкам, он сызмальства стыдился своих успехов и радостей, всегда извиняясь за них, точно так же, как и за свой талант. Не любил показывать более слабым свою одаренность, здоровым — свою телесную хрупкость, вообще не любил, чтобы на него обращали внимание.

— Свадьба будет через месяц, — предложила Ольга, по-женски мечтавшая получить от приготовлений максимум удовольствия. [...]

— Нет, через десять дней, — твердо уточнил он. — Я уже написал, чтобы все организовали, поскорее разделаться с этим счастьем — и с плеч долой. Да будет тебе известно, осенью я собираюсь писать. И перепланировать сад; перед домом будут розы, море красных и желтых роз в обрамлении серого камня, нежность и суровая грубость в гармоничном единении. Я обсудил это с братом Йозефом еще до отъезда, а без особой необходимости никогда ничего не откладываю. [...]

Чапек позвонил утром, примерно после пяти, вдруг ему всюду стало не хватать жены — даже при поисках запонок. Голос Карела гудел, как обычно; он не позволял себе никаких признаков волнения — и только еще больше острел.

— Приходи скорей, — торопила Ольга, уже одетая с головы до пят.

— Хорошо сказать — приходи, — комически жаловался он. Ситуация начала проясняться. Карел отправил в уютжку единственный элегантный костюм и теперь печально и тщетно ждал, когда его принесут. В конце концов Ольга вынуждена была согласиться на старый синий с узкими брюками, который всей душой ненавидела. И на трость.

— Иначе я не знал бы, куда деть руки, — торговался он.

В ратушу ехали на маленькой машине, к которой привыкли во время путешествия. Старый шофер улыбался, как будто и он способствовал этому счастью. Совсем утаить свадьбу не удалось, перед ратушей собралось множество любопытных и кинооператоров. В тот момент, когда Ольга выходила из машины, мимо прошел трубочист. Разумеется, никто не знал, что его специально наняли товарищи из «Марцелки», и новобрачные суеверно радовались. Мучительная церемония началась. Киноаппараты зажужжали, как стая саранчи. [...]

— Ужасная вещь — сказать: я жених, вероятно, это слово само по себе подарило миру множество закоренелых холостяков, — говорил он на лестнице по выполнении всех изматывающих душу формальностей. — Я не мог произнести его ни за что на свете, Олясек. Бывают слова, которые невозможно сказать вслух.

— Но ведь ты сказал, — торжествующе смеялась она.
— Надеюсь, нет. Кажется, я сказал: жмых...

Только в машине они осознали, что едут домой: у них были две квартиры, но дом — только один, только тот, где они будут жить вместе. [...] Остановились перед желтым зданием; она никогда тут не бывала, но знала каждый кирпич, каждую секцию забора, знала железную калитку, через которую ни разу не прошла, ровные окна, глядящие в зеленый сад, красную, крышу — хранильницу творческих мыслей и мечтаний.

— Ну, худшее уже позади, — сказал он весело и впервые подал ей руку как своей супруге. — Слава богу, избавились... Я говорю о людях с фотоаппаратами. Лучше показать язык, чем выглядеть пристойно и серьезно. Целых двадцать минут я имел такой отвратительно торжественный вид, что теперь, наверно, долго не смогу отыскать собственное лицо.

Его экономка, маленькая, с детскими глазами и движениями, распахнула калитку.

— Приветствую вас, — произнес голос, знакомый Ольге по телефонным переговорам («Пана доктора нет дома, пан доктор пишет, пан доктор в саду»).

«Пан доктор тут, возле меня», — подумала она торжествующе, с сознанием полного счастья.

Луч солнца заставил Ольгу остановиться перед ящиками с мускатами и бегониями. Она видела только свет и цветы: острые мечи агавы, колючие, как у ежа, хребты можжевельника и зеленые потоки густого дикого винограда, щедро выщегося по стене дома.

Карел с неожиданной силой сжал ее руку.

— Сначала в сад. Порог нашего дома — самое красивое, что в нем есть.

Они спустились по лесенке, сложенной из больших камней, к крошечному бассейну, пестревшему оранжевыми телами золотых рыбок. Конец августа позволил расцвести всей тяжелой лилейной красоте розовых, желтых и белых воплощений чуда. [...]

Ольга и Карел стояли вдвоем на камнях, заросших мягкими подушками мха, колокольчиками и молодилом. Его руки блаженно обвили ее шею.

— Вот видишь, — произнес он сияя, и в этих словах звучали великое искупление и победа, — вот видишь, дружок, жизнь не такая уж плохая и глупая штука, какой нам казалась...

В этот момент из кустов послышался треск киноаппарата, а чуть поодаль от бассейна ему вторил другой.

— Мэтр разрешит? — произнесла не в меру усердная голова возле объектива, и пленка стала накручиваться.

— Я бы тоже попросил несколько кадров, — клянчил другой оператор, вылезший из-за большелистой гидрангеи. — Там, в ратуше, нас было так много, здесь выйдет куда интимней. Руку я бы попросил оставить там, где она была. Ах, мэтр, это будет великолепный свадебный кадр!

Карел покраснел и страдальчески пожал плечами.

— Раз уж я влип в эту историю... — пробурчал он комически и рассмешил свою жену, как будто нарочно для картинки свадебного счастья. Узкие брючки, в которых он напоминал чиновника на выслуге, наверняка получатся отвратительно, но еще не изобрели такого трюка, чтобы сделать их нарядными и элегантными.

Наконец господа из кино сложили свои вещи и удалились, оставив в саду примятые ботанические чудеса и оба нефотогеничных экземпляра супругов Чапек. [...]

Ольга уезжала в театр из дома, полного любви, и, лихорадочно счастливая, спешила вернуться к совместному обеду. Чапек спускался вниз в рабочем костюме, с отблеском творческой мысли в глазах и затевал разговор.

Ольга была растрогана, видела, какое большое, детски чистое счастье принес ему брак, с какой милой непосредственностью демонстрирует он это. Одиночество, которое Чапек преодолевал годами и к которому относился, как к неразговорчивой, неприветливой квартирохозяйке, судя по тому, как он праздновал расставание с ним, было вещью малоприятной. Брак стал для него не только счастьем, но и источником познания, необходимого ему как поэту. Он смаковал каждую подробность жизни вдвоем. [...] Очевидно, ни одно из его всемирно известных произведений не наполняло его такой верой в себя, как простой факт женитьбы. Он давал это понять и той солидарностью, с какой старался на людях держаться рядом с женой, и прямо невиданной галантностью, и шутивными репликами, обращенными к това-

рищам [...]: «Говорите мне, что хотите, но полноценным мужчиной становишься только после женитьбы». [...]

И все же, помимо своего блаженно-супружеского издania, это был прежний, всегда серьезный и остроумный Карел Чапек. Он играл словами, как жонглер мячиками, шутил, но в определенные часы регулярно садился за свою изнурительную и любимую работу. Чапек писал утопический роман «Война с саламандрами», просиживал над ним до глубокой ночи, не замечая ни позднего времени, ни усталости. Это была ирония, ужас перед механической полуобразованностью; страх перед агрессивностью оглушенной толпы, перед захватническим инстинктом массы, разрушающей берега цивилизации; пророчество гибели, которой грозили миру новоявленные лозунги фашизма и сонное безразличие стражей старого порядка.

Ольга на цыпочках входила в его кабинет после полуночи; сама утомленная спектаклем, шла напомнить заработавшемуся мужу о времени. В прокуренном помещении, которое не успевало проветриваться через окно, по рассеянности открытое лишь наполовину, она видела другого человека — Чапека с изменившимся лицом, с тяжелым взглядом и напряженно стянутыми мышцами детского рта. Точно на нее смотрели тысячелетний опыт и горечь предчувствий. Предостерегающий и угрожающий, он ошетикивался против глупеющего мира, который в ответ только затыкал уши. Он предупреждал и бил в набат иронией, шуткой — формой самой приемлемой для тех, кто не выносит неприятностей. Кивал Ольге, точно видел ее за какими-то нескончаемыми завесами, и довольно долго ни словом, ни жестом не выдавал, что заметил ее, не предлагал ей сесть. Он напоминал капитана, который упорно вглядывается в даль.

— Хотелось бы писать что-нибудь более человеческое, — жаловался он, — но я не могу закрыть на все глаза и не тревожиться. Завидую тем, кто еще не чувствует опасности.

— Почему?

— Потому что они на сколько-то часов счастливее и благополучнее. Наслаждаются душевным покоем. А нам... нам его уже не видать, дружок.

В эти минуты он бывал так взволнован и напряжен, точно в самом деле слышал близящийся топот вражеских копыт. [...]

Скромность обстановки, в которой жил Чапек, изумляла: его окружала красота картин, книг и цветов, но в остальном здесь не было абсолютно никаких претензий. Мебель обшарпанная, диваны и кресла давно нуждались в смене обивки; жена Чапека, как большинство актеров, не умеет считать деньги; сам Карел вырос в обстановке строгой домашней бережливости, но при этом не имеет понятия, сколько у него денег — десять или сто тысяч, вообще не думает о деньгах, стыдится их тратить.

Проблема, связанная с недостатком места, была разрешена быстро, ибо практическое мышление у Чапека не менее развито, чем художественное. Он задумался — и через четверть часа перед ним уже лежала кипа чертежиков.

— Вот удивишься! — радостно объявил он, но ни за что не пожелал преждевременно удовлетворить ее любопытство.

Делать что-то из ничего — его всегдашний конек. Наверху, в мансарде, был чулан, где постепенно ветшали вышедшие из употребления вещи: семейные шкафы, полные старых книг, медицинская литература покойного отца, портреты будителей, когда-то волновавшие патристические чувства деда; тут же были дощатые полки, заставленные вареньем, компотами, маринованными огурцами. Рядом в полумраке скорчились две неправильной формы каморки для прислуги с оконцами под самым потолком, из которых открывался вид на крыши и цветущие сады соседних вилл. Остроумные идеи и чертежи хозяина дома превратили эти три помещения в современный жилой рай. Всесторонняя фантазия Чапека, взяв на себя прерогативы архитектора, проломила переборки, удобно разместила крашенные каминные облицовки из дуба и лиственницы, придав им неправильной формы стенам красоту и солидность. Кирпич и народная мозаика на гладкой стене, балки с косым светом на потолке, ступеньки из лиственницы, ведущие к деревянному помосту перед окнами — на нем будет стоять письменный стол Чапека. [...]

— Сколько лет собаки лаем мешали мне работать, теперь я положу этому конец, — радовался он. — Нет ничего милее мансард, в них ощущаешь что-то молодое, студенческое.

Другая каморка превратилась в маленькую спальню.

ку, всю из пахучего дерева, на фоне которого будут красиво выглядеть народные изображения мадонн. А третья каморка будет гостиной; ничего, кроме зеленых скамей и красных кирпичных стен; столб, подпирающий кровлю посередине чердака, станет одновременно единственной толстой ногой веселого стола в этом импровизированном баре; кирпичный камин да еще вентиляция в окнах, поглощающая табачный дым и шум беседы, — здесь будет хорошо завсегда для его «пятниц». [...] Дом Чапека разделился на два мира, картины и библиотеки обоих супругов соединились и перемешались в полном согласии, а то, что не вошло, было отослано в Стрж. [...]

Как только глаза Чапека отрывались от работы, в них загоралась радость, юмор и удовлетворение, он умел радоваться всему, что наполняло его день: еде (хотя ел меньше других), жилью, работе, погоде и своей жене. Друзья, которых он знал многие годы, радовали его так, словно он встретил их впервые только вчера, картины, провисевшие у него десять лет, тоже доставляли ему такое удовольствие, будто он их только что приобрел. Он никогда ничему не мог нарадоваться и не изменил ни одной старой радости, радуясь новой. [...]

— Я нуждаюсь в изоляции от всего мира, чтобы погрузиться на дно собственной души, — говорил он, — а когда не пишу, мне необходима жизнь и еще раз жизнь, чтобы я мог наполниться ею и учиться у нее. [...]

Зима в доме супругов Чапек проходит незаметно, в раю совместного труда и общения; супруги затворничают в своих кабинетах и встречаются за обедом. Вечером, возле теплого очага, лучше всего говорится о предстоящих задачах. Карел признается в своем интересе к театру, ведь диалог — лучший язык мирового взаимопонимания, драматическая форма — закон, а актерское искусство — удивительнейший инструмент для истолкования того и другого. Чапек всегда безнадежно махал рукой, когда речь заходила о его дальнейшей драматургической деятельности, но Ольге было ясно, что она не имеет права так легко сдаваться; она начала бодро и уверенно:

— Послушай, ты должен вернуться к драматургии. Нужно...

— Начать? — обиженно перебил он.

— Нет, продолжить, — поправила Ольга.

И видела, что попала в цель. Сперва он сделал слабый, довольно неопределенный отрицательный жест, но потом стал ходить по своей маленькой комнате, более оживленный и раскованный, чем обычно.

— Кто станет пачкать руки, — бубнил он недовольно, — кому захочется вновь погрязнуть в этом сумасбродном мире. — Ты бы послушала, что я о себе узнал в связи с премьерой последней пьесы! С такими вещами нельзя мириться, и после них невозможно писать.

— Приходится мириться, если делаешь что-то незаурядное, — решительно возразила Ольга. — [...] Если что-то умеешь, то обязан дать это людям, даже если потом они отомстят тебе за твою щедрость.

Он остановился и по-детски просиял, глядя ей в глаза, словно она помогла ему одолеть трудный участок пути. Казалось, он только и ждал этих слов.

— Ты права, дружок. — Так он обратился к Ольге, когда та бывала для него больше, чем просто женой. — За десять лет я не написал ни одной пьесы, а сколько их пронеслось в голове, сколько диалогов так и просилось на язык! Но я всегда упорно сжимал зубы. Пожалуй, я зря позволил отбить у себя охоту к этому делу.

Ольга торжествующе улыбнулась; она знала этот зачарованный, решительный свет в его глазах, на губах и лице — словно на прекрасный пейзаж вдруг пролилось солнце. Положила руку на его плечо, сильно и надежно, как будто они в чем-то только что дали друг другу слово.

— Разве не для того мы с тобой вместе, чтобы я принесла в твой дом захватывающий и сумбурный мир театра, чтобы ты снова подчинился ему и заговорил его языком? Ты понимаешь меня?

Он понимал. Часто возвращался к этому разговору, а через некоторое время без обвиняков и сомнений объявил:

— Примусь за дело, и думаю — скоро.

Ей хотелось поставить все точки над «i», чтобы его слова прозвучали как обязательство:

— За какое дело, Карел?

— За драму. У меня есть очень недурная идея; как

она меня измучила, о господи! Все требует своего, хочет вырваться к людям.

Погруженный в искусственный сон драматург был пробужден.

Чапек как раз дописывал роман, был возбужденный, усталый, как всегда, когда кончал что-нибудь крупное; точно отдал этому все физические силы. А тут пришлось ехать за границу, на конгресс Пен-клуба; Ольга ходила из угла в угол по небольшому дому и только теперь окончательно понимала, какой пустой и бесцельной была ее жизнь без Карела.

Он и там хвастал своим счастьем, посылал ей открытки, подписанные его литературными друзьями. [...]

В верхнем этаже замка были комнаты для гостей, первую из них отвели Чапеку под кабинет. Он полюбил письменный стол с циферблатом старых амбирных часов, умиротворяющий деревенский воздух и вид на столетние деревья в парке. Часто они с Ольгой проводили здесь два последних дня недели, и Карел тихо, очарованно погружался в стихию поэзии. Он дополнял свои французские переводы, переводил из Верлена и Бодлера. Обещал, что примется и за англоязычную поэзию, хотел перевести избранные стихи Уитмена и наконец с милым смущением признался, что мечтает о собственной лирике.

— До сих пор я не мог себе представить, что способен не стыдась сесть за стол и описывать собственные чувства и переживания, я старался таить их, чтобы они не проникали в мою прозу, в размышления и речь придуманных мною фигур и фигурок, а теперь — трудно поверить, до чего может дойти счастливый мужчина! Думаю, когда отброшу последние сомнения, напишу в стихах что-нибудь вроде нашего свадебного путевого дневника. [...]

Он боялся счастья, как боялся взять на руки очаровавшего его ребенка, чтобы не повредить ему неловким прикосновением. [...]

— *Для многих так естественно, что они живут, они над этим даже не задумываются, —* говорил он, — *а я всегда этим поражен, удивлен и растроган.*

Постепенно Карел Чапек начал с абсолютным спокойствием, но с жестокой ясностью сознавать, что и в рядах чешских литераторов его стали воспринимать раздраженно или иронически-пренебрежительно. Это росло, как

лавина, и заразило легко поддающееся подобным мнениям общество. Чапек беспокоился, как бы эти личные моменты не повредили общественным интересам, и после долгих размышлений в нем созрело решение сложить с себя обязанности председателя чехословацкого отделения Пен-клуба. Президент Масарик дважды просил ему передать, чтобы он этого не делал, ведь его широко известное имя было гарантией добрых контактов с зарубежной литературой, но Чапек стоял на своем и послал президенту письменное объяснение:

«Позитивные доводы в пользу моей отставки носят не личный, вернее, не только личный, характер. В течение нескольких лет я замечаю, что между мною и нашей литературной средой, особенно между мною и младшим поколением, возникло определенное отчуждение. Меня считают официальным представителем чешской литературы, а, как Вы сами знаете, официальность — особенно у нас — своего рода проклятье. Что я ни напишу, что ни сделаю, это воспринимается как нечто «официальное» и уже по одному тому как бы утрачивает значение. Многое связано и с обыкновенной завистью — в особенности из-за моих так называемых успехов за рубежом; стало привычкой приписывать их не моему творчеству, а как раз этому официальному положению. Тут против меня настроены все, и старые и молодые, и правые и левые; и я дорого расплачиваюсь за это — все, что бы я ни написал, не находит отклика у общественности... Я уверен, что, если мне еще есть что сказать, я должен сказать это скорее как фрондер, как писатель, который сражается за себя и за свою веру, — думаю, это будет в интересах тех истин и той веры, которые я отстаиваю. Уже то, что я смогу вступить в борьбу, стоит многого, а я в том возрасте, когда нельзя сидеть сложа руки».

Сам Чапек умел радоваться всякому удачному произведению, всякому заслуженному успеху чешского писателя. «Право же, хорошо; господи, побольше бы такого, нам это так нужно!» Зависть других его смущала. И приводила в недоумение, вероятно, он так и не сумел до конца ее понять. Единственное, чего он не выносил, это рассчитанной на бульварный успех банальности; такая никчемная литература, лишенная всякого художественного риска, его попросту не интересовала. «Лучше

излишества сильных, чем банальности слабых», — считал он.

Дерзкие выходки молодых он не высмеивал, но скептически воспринимал крикливую рекламную оболочку их слов.

— Это пройдет, — улыбался он, как будто речь шла всего лишь о легкой болезни с явно выраженными симптомами, [...] — мы тоже совсем недавно были поколением, как модный костюм, носившим эксцентрические идеи, что ж, от этого всегда хоть что-нибудь полезное остается. Но считать, что необходимо как можно скорее исчерпать все то сумасбродное и талантливое, что дает нам быстротечная молодость, — это уже излишняя торопливость и пренебрежение смыслом времени. Ведь молодость продолжается, это то, без чего невозможно созревание. [...]

Весна в доме Чапеков была праздником. Сам Карел, уже не способный, как прежде, сидеть в кабинете, в немумолимых клешнях труда, безрассудно позволяет себе какую-то озаренную внутренним сиянием несосредоточенность: то и дело сбегает вниз, чтобы погладить жену, похвастать перед ней первым крокусом или наивным пучком расцветшей веретеницы. Водит Ольгу за руку с восторгом ребенка, впервые открывшего какую-то из таинственных красот действительности, предлагая коснуться коленями пробудившейся земли и с затаенным дыханием вглядываться в холодное хрупкое чудо белоцветника или лазурной пролески. Ласковыми, зачарованными руками пригибает он тоненькие стволы жемчужно-белых берез, кусты таволги или тенистой гидрангеи, разглядывает сердитые колючие илексы и срезает ножиком высохшие за зиму веточки. [...]

Маленький бассейн он наполнил водой, из оранжереи сюда перенесли золотых рыбок. Среди них была одна большая и удивительно кроткая, поистине личность среди равнодушной стайки декоративных существ. Ее привязчивость и вообще все ее повадки требовали, чтобы она была выделена из безликой толпы, почему-то ее называли Бертой, и, когда хозяин останавливался у края бассейна, она отделялась от стайки рыб и преданно подплывала к его ботинку. Хозяйская сучка из породы фокстерьеров яростно к ней ревновала и несколько раз

с размаху плюхалась в бассейн, тщетно пытаюсь ее поймать; остальных рыбок, бесчувственных и глупых, Дашенька оставляла в покое. Сама она была безумно знаменита, ведь книжка, которую хозяин написал о ней и сам украсил рисунками, обошла мир не менее чем на тринадцати языках. Очевидно, в своей ревнивой собачьей преданности она не желала, чтобы хозяин написал такую же прославленную книжку и о золотых рыбках.

Этот жесткошерстный, вечно ворчащий враг человечества был наглядным доказательством поэтической фантазии Чапека: его любимица, очаровательная собачка, чья наивная натура привлекла к породе фокстерьеров симпатии всего света, в сущности была вечно ошетиливавшейся задирой и букой, недемократичной задавкой, преследовавшей брюки представителей трудового народа, ненавистницей всех появлявшихся в доме ботинок, грозой всех нежных рук, которые пытались ее погладить. Это была собака по меньшей мере асоциальная, яростнее всего визжащая при виде нищих. Печальный опыт вынудил Чапеков держать некий фонд для оплаты разорванных штанин и юбок обслуживающего персонала, а то и просто прохожих. Тем не менее выглядела эта сучка очень мило и невинно — суший собачий ангелочек; до поздней старости эта коварная шавка сохранила почти щенячье очарование. Весну Дашенька приветствовала с прямо-таки возмутительной самоуверенностью и проявлениями радости, достойными актера-любителя, гавкая на детей и собачек из-за решетки железных ворот. Хозяин стыдился ее невоспитанности, ибо это была грубая натура, из тех, от которых добром ничего не добьешься.

Маленький садик зазвенел голосами черных дроздов, будивших дом еще в бледные часы рассвета, — за зимний корм они благодарили тем, что принципиально и последовательно выклевывали из земли первые венчики крокусов. [...]

Сколько красоты умел наколдовать садовник Чапек на маленьком клочке городской земли! Дни меняли краски и растения, словно цветные стеклышки в калейдоскопе, солнце щедрой рукой раздавало свои милости и дары, и сад звучал, как оркестр. Кусты чилишника день ото дня становились все более белесо-желтыми, по камням на легком ветерке танцевали стройные стебли

расцветших гвоздик. Березы, посаженные участниками чапековских «пятниц», махали дерзко-крикливой, как перья попугая, зеленью.

Чапеки завтракали под ними за садовым столом, соединенные чистотой утра, запахом цветов и голосами птиц, игриво присаживающихся прямо над их головами. [...]

В Стржи весна начиналась чуть позднее, чем в Праге. Молодая чета уезжала туда, чтобы привести в порядок деревенский дом. Никогда красота так не тешила Чапека, как в то время, когда он сам мог ее создавать. Избавившись от стружек и ударов молотка, едва дозвучавших в пражском доме, в Стржи они попали в настоящее строительное и столярное землетрясение. Чапек, всегда восторгавшийся ловкостью и умением представителей различных ремесел, был непрестанно в своей стихии — его внимание к материальному труду было не одной лишь данью уважения, но и искренним восхищением. Он любил эту трудовую обстановку, грубоватую речь мастеров; уважал все талантливое, деятельное и мускулистое, что составляло основу натуры людей, создающих солидные, необходимые вещи.

У самого же Чапека глаза разбегались, стараясь охватить этот великий дар-землю, полученную им для того, чтобы сделать ее красивой и лучше. Ольга не переставала удивляться тому, как он колдует, создавая красоту из вещей обветшавших и бесполезных. Любую мелочь он видел с точки зрения слаженного целого; прекрасное исключение при несовершенстве всего окружающего не имело для него цены. Из хлебов, крытых давно прогнившей дранкой, была сооружена романтическая пергола.

— Здесь я врую столбы и сделаю перекрытия, — восторженно объяснял он, как всегда оборачиваясь к Ольге всем телом. — Со временем она зарастет диким виноградом, плющом и лоницерой, получится нечто вроде аркады, вроде монастырской галереи, вот увидишь!

Он дал себе двухнедельную передышку, мало писал и только ломал, строил и фантазировал; это было великолепное сражение со скупостью грубой, неподатливой земли, которая на протяжении столетий делала здесь, что хотела. Блокноты Чапека-садовода были испещре-

ны записями заказов, столбцами цен и заранее оговоренных скидок, планами точного размещения хвойных деревьев. С такой же скрупулезностью взялся он и за перестройку старого дома: сюда свезли остатки мебели, не вошедшей в маленькие пражские комнаты, — старые кресла, оставшиеся после родителей, и современные диваны; от смешения таких разнокалиберных вещей возникла более уютная атмосфера, чем если бы ее создавал профессионал-архитектор. [...]

Ольга знала его давнюю мечту побывать на Севере. Сколько раз он высказывал ее, еще сидя в Ольгиной девичьей квартирке, сколько раз у нее сжималось сердце, потому что он говорил об этом в единственном числе: «Хочу увидеть Норвегию... Я должен заглянуть в Швецию...»

Она взяла реванш за тогдашнее ревнивое сожаление, сказав решительно и энергично:

— Поедем на Север!

Это был смелый план, ведь за спиной оставалась недостроенная Стрж, раскопанный ручей, а пражский дом только-только покинули мастера. Потому-то Ольга и старалась говорить особенно бодро:

— Сначала в Данию и через Швецию и Норвегию до самого Норд-Капа, а потом...

Теперь он уже не пугался больших начинаний:

— Куда торопиться, как-нибудь в другой раз. Я хочу еще немного выждать, потому что, наверное, это будет самое прекрасное из всего, что мне суждено увидеть. Никогда я не любил юг, для меня он слишком выжжен солнцем и утомителен. Когда-нибудь непременно поедем.

Но Ольгу точно что подталкивало: ехать сейчас, немедленно, хоть завтра, чтобы оторвать его от этой мирной домашней красоты, которую он еще только начал чистить и украшать, и направить на поиски совсем иной красоты.

— Никогда потом не найдешь времени на то, что можно сделать сразу, — торопила она и все-таки настояла на своем. Носила ему в кабинет и в сад проспекты и планы, раскладывала перед ним, пока однажды он не взял их в руки:

— Хорошо, в июле. — И с воодушевлением заклю-

чил: — Это будет наше первое совместное путешествие; прошлым летом перед свадьбой мы были еще глупы, не имели понятия, что такое вместе выехать и возвращаться в общий дом. [...]

На Север выехали в июле, веселые, хорошо экипированные в предвидении романтической прохлады самого жаркого месяца. Была пора каникул, жители Скандинавии тоже выезжали кто в лес, кто на фьорды, однако Карелу Чапеку всюду доставало сердечного гостеприимства. Весь Север знал его пьесы и книги; на каждом вокзале его встречали кинооператоры и цветы. Утомленные длительным путешествием, Карел с Ольгой не успевали привести в порядок свою одежду и лица, как залы отелей наполнялись журналистами и любопытными. Мир переживал политическое напряжение, и автору «RUR» и «Войны с саламандрами» было что сказать.

Ольгу трогало, как трудно было Карелу в присутствии жены переносить эту лавину внимания; скромный и застенчивый, он призывал на помощь все присущее ему остроумие и во время каждого интервью переводил разговор на свой народ и свое государство. На вопросы, которые ему задавались, он отвечал во множественном числе — от имени чехов и словаков.

— Ваше мнение о скандинавских литературах?

— Мы, чехи, знаем почти все, что вы написали; у нас поразительно много переводят и еще больше читают.

— Вы написали «Войну с саламандрами», что вы этим хотели сказать?

— Ну, у нас дома никто бы этого уже не спросил; мы, так сказать, заглянули нашей эпохе и всей мировой ситуации в печенки.

Вопросы, касавшиеся его персоны, Чапек всегда отmetal, но о том, что затрагивало чешские национальные интересы, мог говорить часами. Жена сидела рядом в английском костюме и улыбалась блаженной и чуть растерянной улыбкой всех жен знаменитостей. В такие минуты она была всего лишь его супругой и без ложной скромности могла признать, что это было приятное и гордое ощущение. Смотрела на черный хохолок, из-

вестный по всем карикатурам, и с почти наивным удивлением слушала гулкий голос, повторяющий знакомые слова: «мы, чехи и словаки», «наша демократия», «наша литература», «общая моральная ответственность». [...]

В Швеции Ольгу пугало безразличие к немецкому нацизму, к имени Гитлер там относились с полной серьезностью: шведская коммерция усердно влиwała новые силы в агрессивную мускулатуру Третьей империи.

— Все это делается ради новой войны и против нас, против целой Европы, — резко говорил Чапек. Образованный мир пожимал плечами по поводу деятельности мира торгового, как это бывает всегда и всюду, где капитализм может безнаказанно участвовать в политике, которая ведет мир к гибели. — Посмотрите на свое благополучие, вы прекрасно знаете, что оно вскормлено длительным покоем, тем, что вы целое столетие не переживали войн, пожелайте такого же развития и остальным странам. — Литературные круги тут были ни при чем; кучка подлинной, твердой в своих убеждениях интеллигенции всегда и всюду остается миром в себе.

Карел Чапек уже несколько лет был кандидатом на Нобелевскую премию, но его последняя книга «Война с саламандрами» оказалась слишком беспощадной, слишком явственно в ней задевался предводитель определенного политического направления. Чапеку намекнули, что неплохо бы ему написать еще роман страниц этак на триста, в котором не следует ни на кого и ни на что нападать.

— Благодарю за проявленную вами добрую волю, — сказал он человеку, который выступил в качестве посредника, — но свою диссертацию я давно уже защитил.

Это было все, что Чапек предпринял для бессмертия.

В остальном же он был просто опьянен Швецией. [...] Чапек расспрашивал об условиях жизни рабочих, ходил обедать в их столовые — они сидели там спокойные, длинноногие, хорошо одетые и полные достоинства, как и большинство шведов, владели этикетом поведения за едой с абсолютным совершенством и полнейшей уверенностью в себе. Страна, где каждые двадцать лет не пускают на воздух все достояние государ-

ства и его граждан. Тем большее возмущение безрас- судной Европой испытывал Чапек, тем более страст- но сжимал он кулаки, точно готовился еще упорнее сражаться с врагами международного мира и про- гресса...

Когда Ольга вспоминала, как она прежде мыкалась по свету, ей казалось, что это была лишь смена отелей и пейзажей. Путешествие с Карелом было тяжелой ра- ботой и наслаждением. С раннего утра они успевали облазать музеи, улицы и окраины, квартиры рабочих и крестьян, самые захудалые уголки, пахнущие рыбой и дешевыми обедами.

— Ни один город не бывает таким, каким он хочет казаться в своем центре, — объяснял Карел.

Ольга с удивлением наблюдала, как он смотрит и как видит: мир словно бы многократно увеличивался в его глазах; она замечала, как расширяются эти глаза при виде бирюзовых вод каналов и протоков, по кото- рым они проезжали на переполненных лодках; как он внимательно вглядывается в обветренные лица рыба- ков и старух; как расспрашивает их о тысячах разных различностей, допытывается об уровне жизни различных классов, интересуется цветами, которые знает только по атласу, и по-мальчишески восхищается романтиче- скими ладьями викингов. [...]

И вот они вступили на путь красоты, превосходящей все, что может выдумать самая буйная фантазия.

Окружающее пространство сузилось для них до че- тырехугольника неудобной каюты, где они встречались поздно вечером, полные блаженного удивления. Ольга, страдающая морской болезнью, чтобы выдержать этот путь без глубоких обмороков, тайком проглатывала целые коробки лекарств. Скополамин вызывал вялость и сонливость; часто Ольга засыпала прямо на палубе, положив голову на плечо мужа. Он, не шелохнувшись, продолжал делать эскизы в маленьких альбомах. Это было нечто похожее на мазню трехлетнего ребенка. Но это было единственное, что Чапек вообще набрасывал на бумаге, ибо для своих литературных произведений он никогда не пользовался записями.

И здесь Карел Чапек путешествовал как человек, ищущий познания, а не как турист в отпуске. Он отка- зался от больших комфортабельных пароходов, на ко- торых путешествует избранное общество, поскольку те

плавали лишь по наиболее известным местам и лишь там, где была безопасность глубины. Чапек выбрал старое, обшарпанное суденышко, соседство бочек, ржавых цепей и ящиков; здесь было всего несколько кают для обветренных моряков и немногочисленных пассажиров, готовых мириться с неудобствами. Зато эта посудина останавливалась у самых захудалых пристаней, у берегов пустынных и ничем не знаменитых, ибо развозила по одиноким поселкам почту и продукты.

Они плыли и плыли, одурманенные бесконечной изменчивостью вод, скал, головоастых рыб, медуз, неутомимых чаек и чувством собственного счастья. На самом удобном месте палубы каждый день сидела тихая безногая девушка с красивым печальным лицом; у нее был украден мир, и теперь она пыталась увидеть хотя бы красоту его витрин. Ее целомудренная и гордая убогость омрачала настроение Чапека; не проходило дня, чтобы он не упомянул об изуродованном несчастном существе.

— Отчего это, — растроганно бубнил он, — перед ней стесняешься пройти по палубе или подбежать к борту?

Капитан парохода, рассудительный молчаливый норвежец, знал его книги и охотно разрешил ему по временам стоять на капитанском мостике. Карел не сводил глаз с горизонта, одновременно следя за командами и указаниями лоцмана. С той минуты, как его пустили на капитанский мостик, он смотрел на этого краснолицего человека с искренней серьезностью и уважением, какое питал к каждому, кто умел руководить и нести в работе бремя большой ответственности.

У пристаней крошечных поселков с горсткой обитателей, которых надо было снабдить мукой и кирпичом, пароход порой простаивал на якоре часами; пассажиры гуляли по пустынному берегу и, скучающие, озябшие, ожидали отправления, Чапек с женой использовали это время до последней секунды. Проходили целые километры по торфяным пустошам, где уже не росло ничего, кроме лишайника, облизывающего скалы и телеграфные провода, которые тянутся от маяка к маяку, соединяя затерянных на краю света героев. Сушильни с пахучими рыбинами, кучи гниющих тресковых голов, жужжащие мухами, да зябкий горизонт, кажущийся вратами в замерзшее небо без бога. Но Чапек шел и

шел, стараясь, чтобы в его зрении и сознании осело как можно больше впечатлений.

Потом появились острова, заросшие буйной зеленью, похожие на прохладный рай, изумрудные луга, прорезаемые артериями свежей воды, гигантские деревья и невысокие горы со снежными вершинами, подобные окаменевшим хребтам бело-пегих коров.

— Хотел бы я здесь родиться, жениться и умереть, — раз мечтался Чапек, больше всего на свете любивший зелень и тень. — Но покоя бы мне тут не было, — добавил он, — я бы постоянно терзался, не нужно ли что от меня в Чехии и все ли там в порядке. [...]

Он рисует, она пишет стихи, ритм которых ей диктует шум могучих водопадов, мерные удары волн о борт парохода, тоскливое и ленивое шлепанье гребного колеса в вечерних дремлющих водах.

— Давай все объединим, — предложил Карел. — Это будет наша первая общая книга.

Ольга обомлела. Никогда не помышляла она о том, чтобы издавать с ним совместные произведения, чувствовала, что это путешествие вызывает в нем счастливое ощущение их близости, которым он не мог до конца насытиться. [...]

Полуночное солнце выбивало их из колеи, точно так же, как лишало оно покоя любое растение, рыбу или скалу. Они отправлялись спать днем, чтобы затем насладиться перламутровым сиянием ночи. Карел стихал и ходил в этом ясном свете чуть ли не на цыпочках; когда бы Ольга ни заставала его на палубе, он стоял изумленный и полный смирения, словно ему явился бог.

— Молчи, — просил он, озаренный багряным сиянием. — *Человек еще недостаточно совершенен и порядочен, чтобы иметь право жить на такой прекрасной планете, как Земля.* [...]

Пароход повернул назад, пассажиры были чудесно настроены; теперь можно уделить какое-то внимание и спутникам. Карел и Ольга завязали несколько знакомств с норвежцами, соседями по маленькой столовой, с толстым добродушным немцем, профессором музыки из Ганновера. Была тут еще молодая прелестная чета из Швейцарии и группа старых англичан, медленно, но верно объехавших весь свет. Они попали на этот некомфортабельный пароход, потому что все места на судах

получше были распроданы. Чапек разговорился, сравнивал Норвегию и Шотландию, они ее не знали, не знали и половины красот, которые Чапек открыл на их земле.

— Visit England¹, — предлагал он им с мальчишеским озорством.

На пароходе возникла некая стихийная проверка патриотических чувств: каждый из пассажиров, проплывая между снегом и скалами, размышлял, видел ли он у себя на родине, действительно, все, что заслуживает внимания.

Чапек тоже задумался с улыбкой на губах и долго молчал, как обычно, когда сосредоточивался на чем-то значительном. Неожиданно у него возникли новые планы:

— Напишу «Письма с родины» и нарисую к ним множество картинок, объездим Чехословакию вдоль и поперек, не пропустим ни одной деревни, которой до сих пор не знали.

Еще не была закончена одна работа, а его уже манила другая, новая мысль все более укреплялась в нем с каждым морским узлом пройденного пути.

— Нужно уехать далеко, страшно далеко, чтобы почувствовать особенную близость родины, — качал он головой и заранее взвешивал неизбежные трудности. — Это будет нелегко, у нас нельзя шутить, как за границей; наш народ любит юмор, но насмешка должна касаться кого-то другого. По отношению к себе мы чересчур серьезны и щепетильны. [...]

Они приближались и приближались к пристани, оставляя позади бесконечность вод и скал; день, вынырнувший из волн, был поистине восхитителен, золотой от солнца, полный трепета и прохлады — словно весь из стекла. Тысячи полутонов, оттенков и световых пятен проступали на воде, придавая ей согревающую, рябящую живость. Пароход стоял на якоре не более получаса, но после длительного перерыва приятно было ступить на твердую землю. Они с истинным наслаждением разминали ноги в сырой пыли дорог. [...]

Когда вернулись, суденышко до неузнаваемости изменилось: люди на палубе суетились и усиленно жестикулировали. Сбегались в кучки и снова разбегались.

¹ Посетите Англию (англ.).

Спокойные норвежские моряки стояли тесной группкой и попыхивали сигаретами.

На пароходе оказалась газета, кто-то принес ее с берега, из киоска.

— Что такое?

— Гражданская война в Испании! — кричал немец-профессор тем, кто этого еще не знал.

Никто из иностранцев не понимал по-норвежски, с настойчивым любопытством разыскивали шведа, который владел немецким и мог перевести газетный текст. С каждой фразой росли волнение и беспокойство.

— Коммунисты! — истерически выкрикнул кто-то сзади.

— Фашизм, — раздраженно ответил один из норвежских моряков.

Каждый кричал свое; только безногая девушка сидела так же равнодушно.

В глазах Чапека померкли все краски дня. Он оттащил свою жену подальше от галдящей толпы и, мучимый тяжелыми мыслями, молча кусал полные губы. Все, что он в течение пути насбирал глазами, теперь испарилось.

— Что это означает? — по-женски спросила Ольга.

— Это означает конец многим вещам. — Его голос звучал бесцветно, как чужой. — Например, конец миру и конец здравому смыслу. Конец всему, что хоть в какой-то мере было безопасно и человечно.

— Конец? — вопросительно пробормотала она трясущимися губами.

— Конец. И начало всего, что я предвидел, начало неистовства и бездушного уничтожения.

Он замолчал, как будто и говорить ему было больно. Пароход тронулся, шум винта заглушил взволнованные голоса на палубе. Лица до сих пор спокойных пассажиров пылали, каждый хотел говорить, спорить, доказывать.

Солнце светило на красные и белые скалы, но Чапек уже не видел их; судорожно держась за перила борта, он смотрел вдаль, за горизонт. На лбу прорезались две морщинки глубокой озабоченности. Ольга заметила, что он уже не выглядит так удивительно молодо.

Пассажиры на палубе, доселе очарованные и размягченные окружающей красотой, превратились в клубок

запальчиво спорящих, возбужденных и огрубевших людей; каждый защищал и признавал лишь собственную правду. Английское общество изображало равнодушие, словно их это вообще не касается. На пароходе воцарилась атмосфера несогласия и раздора; вежливые люди, которые провели вместе на пароходе две недели, теперь зло и раздраженно, с красными от натуги лицами, что-то выкрикивали друг другу.

Толстый добродушный профессор из Ганновера, всю дорогу вспоминая свою покойную матушку (однажды он даже расплакался, что она так никогда и не видела полуночного солнца), теперь без устали привставал на цыпочки и воздевал вверх руку, должно быть, чтобы казаться выше ростом.

— Хайль Гитлер! — кричал он, весь багровея, в бессмысленном восторге.

Он как бы сам по себе представлял целую группу — с горящими глазами, судорожно напряженным лицом, каждым своим проявлением выражающий готовность к насилию.

— Die Sache hat begonnen, zum Teufel mit dem Kommunismus¹.

— Радуетесь предстоящей войне, господин профессор? — спросил Чапек, когда эти выкрики всем уже набили оскомину.

Профессор вдруг замолчал и точно съежился.

— Мы никогда не будем воевать, — возразил он наивно, с искренним убеждением. — Фюрер слишком любит свой народ, чтобы когда-нибудь послать его на смерть.

Молодой новобранный из Швейцарии безнадежно махнул рукой и в знак солидарности пожал Чапеку руку. [...]

На коленях у Карела лежал открытый альбом с чистым листом — но рисовать ему больше не хотелось, хотя проплывали фьорд, приближению которого он вчера так радовался. Ольга под села, обняла его за шею и сама поразилась, каким дружески серьезным оказалось это объятие. И все же в уголке белого листа она что-то заметила — это был не набросок будущего рисунка, а какие-то цифры: 1 550 000—1 620 000...

— Что это такое? — спросила она удивленно; странно было видеть Чапека пишущим цифры,

¹ События начались, к черту коммунизм! (нем.)

— Ничего, — пробормотал он и зачеркнул их крест накрест.

— Полтора миллиона — и вдруг ничего? — проговорила она изумленным тоном: впервые ей было отказано в объяснении.

Он написал оба числа заново, жирно и крупно.

— Я высчитываю, какой численности армию мы сможем выставить при наших тринадцати миллионах. Говорят, в особых случаях армия может составлять от двенадцати до пятнадцати процентов населения.

Ошибки и причины одной национальной катастрофы, словно каркающие вороны, садились на чужой порог, страх перебросился на наши внутренние дела. Чапек говорил больше и громче, чем когда-либо. [...] Бульварная пресса встретила его высказывания непристойными выпадами: писали, будто он отправился на Север, чтобы выпрашивать Нобелевскую премию. [...] Чапек, занятый более серьезными заботами, только презрительно улыбался. Теперь он ездил в Прагу даже в самые прекрасные осенние дни, которые больше всею любил. [...] Возвращался в Стрж в конце недели, вконец измотанный, но еще в воротах превращался в старого хозяина. [...]

К вечеру он тихо улетучивался из кабинета, и если возвращался с отвисшими карманами, из которых торчало несколько солидных белых и красных грибов, то в глазах его светилось детское счастье. [...]

— Грибы с мальчишеских лет кажутся мне удивительно таинственными, как гномы, — говорил он. — Пожалуй, это единственное, на что и сейчас глядишь так же, как в детстве.

Он был способен совершенно серьезно сердиться на жену и прислугу, если, пользуясь тем, что он работает, кто-нибудь обирал «его места». [...]

Каникул словно не бывало, Чапек уже опять пишет, что-то до глубокой ночи изучает, строчит статьи для газет, прокладывает пути для «Демократии детям», убеждает за границу в международном значении нашей свободы и старается примирить всех, кого может, в вечно одолеваемом раздорами политическом и культурном мире. [...] О путешествии он вспоминает уже, лишь говоря о пользе и знаниях, которые оно ему принесло. [...]

И все же одно воспоминание отодвинуло в сторону и приглушило все красоты, мимо которых они проехали. Это Германия, где им пришлось заночевать на обратном пути. В Гамбурге как раз был съезд гитлеровских SS, и Чапек затянул шторами окно, чтобы не слышать резких, визгливых команд и цоканья кованых сапог политических роботов. [...]

С горечью и ужасом наблюдает Чапек пробные маневры великих держав, происходящие на трагической почве Испании.

В то время он получил приглашение на конгресс Пен-клуба в Аргентину. Это было бы полезное путешествие, потому что представителя Чехословакии Чапека должны были избрать президентом этой организации всемирного духа. Но он подумал и отказался:

— На это ушла бы уйма времени, а здесь нужен каждый спокойный и добросовестный человек.

В результате был избран французский писатель, полагавший, что у него-то времени достаточно; приверженцы этого писателя выразили протест, когда президентом собирались избрать отсутствующего Чапека.

— Это нормально, — сказал Чапек и целиком обратился к проблемам родной страны. — Теперь я знаю жаркие и холодные края света, их красоты и недостатки, могу сравнивать. Начну писать путевые очерки о нашей стране. [...] Может получиться сильная книга, в ней будут думать и говорить едва ли не самые остроумные люди, каких я знаю.

— И самые мудрые, — радостно добавила Ольга.

— Ну нет, мудрость — свойство, которое приобретается долгими годами, а мы еще молодая свобода и самостоятельность. Но мы ясно видим все горизонты света. Это обеспечено нашим географическим положением.

Чапек обстоятельно и без всякого стеснения заговорил о служении народу и государству, которое он воспринимал серьезнее всех остальных своих задач и обязанностей:

— У нас любят нескромно злоупотреблять этими понятиями. Национальная культура, действительно, существует и в высшей степени важна для нас. Нужно только очистить это понятие от журналистских громких фраз, псевдозначительных лозунгов и политической контрбанды. Эту национальную культуру и ее смысл необходимо искать и изучать там, где они есть на самом

деле, а именно во всей широте нашего культурного творчества, в его традициях, в его актуальном процессе. [...] Последнее время мне приходит в голову столько мелочей, которые в конечном счете могли бы помочь и большим вещам. До сих пор у нас не хватало времени для самих себя, мы целиком отдавали его борьбе за жизнь. Но как это важно — позволить себе роскошь расти, становиться лучше и в тех частностях, которые придают народам нравственное очарование! Например, нам следовало бы пестовать национальный идеал мужества, чести и героизма. У каждой нации собственное представление о том, каким должен быть настоящий, цельный мужчина. Английское джентльменство, французский и романский идеал истинного кавалера, русское богатырство... нам тоже следовало бы попытаться сформулировать наше представление о мужском совершенстве. Здесь могла бы оказать помощь литература. Далее, надо стараться, чтобы большие значения придавалось честности во всей нашей общественной и личной жизни. Вопросы чести у нас порой воспринимаются слишком легкомысленно. Вмешаться под этим углом зрения в гражданское воспитание, далее, — вмешаться в деятельность ежедневной прессы: требовать от нации больше самосознания, больше уважения и рыцарства даже в отношении к противникам, меньше клеветы, раздражения и истерии. Это новое поле деятельности, на котором можно было бы многого добиться с помощью военных и других инстанций. Гражданская честь, правила порядочности в общении с людьми и учреждениями. Частица самосознания есть в каждом. Поддерживать это в молодых людях, придать жизни значительность и достоинство, я подумываю и о торжественном посвящении в гражданство, это во всяком случае не менее необходимо, чем конфирмация. Собственная порядочность должна доставлять людям радость, я рискнул бы предложить ордена за мужество и для гражданских лиц. Я не постыдился бы написать рекомендации для истинно порядочной жизни, гражданский катехизис.

[...] Маленький кабинет совсем поглотил Карела Чапека, он не спускался вниз даже ночью, когда жена приходила из театра. Ольга уже знала, что это означа-

ет, и ходила на цыпочках. Когда замысел дозреет, Карел, как обычно, придет поделиться с нею.

И пришел. Весь горел новым замыслом и прикрывал тяжелые веки, словно хотел заглянуть в себя. Долго рассказывал, помогая себе робкими жестами нежных благородных рук. Опять предостережение эпохе и человечеству, охваченному политической чумой, губительной и заразной, угрожающей душе и телу. Все было удивительно продумано; когда он кончил, оба долго молчали. Потом он сказал, словно нуждался в одобрении:

— Получился бы сильный роман.

— Нет, получится сильная драма, — поправила его Ольга.

Он и сам знал это так же хорошо, как она, но противился возвращению на зыбкую почву театра.

— Я не хочу, — возразил он тихо.

— Ты должен. Люди лучше всего слышат, когда им говорят прямо в лицо. Театр — самая непосредственная встреча с публикой, самый сильный способ воздействия.

— Да, здесь мысль, которая рвется в сражение, — согласился он.

— Почему ты хочешь писать?

— Потому что должен, потому что написанное должно служить людям.

— Вот видишь. А в театр иногда приходят и те, кто не желает читать или слушать неприятные вещи.

Он как-то неопределенно кивнул, но через две недели сообщил Ольге, что первое действие уже готово. [...]

Чапек начал писать шахтерский роман «Первая спасательная», апофеоз мужской солидарности, служения ближнему и любви, еще возраставших в атмосфере общей опасности, которая неотвратимо близилась к порогу нашего народа.

— *Даже если я навсегда охрипну или онемею, сейчас я обязан кричать изо всех сил,* — сказал он, когда, не успев отдохнуть после драмы, снова взялся за перо.

Едва солнце стало больше пригревать, он поехал в Кладно, чтобы спуститься в шахту; Ольга его сопровождала. [...] Видела, как он в шахтерской одежде с рудничной лампой на груди спускается в клетки вместе с остальными шахтерами в преисподнюю нашей цивилизации. Лицо у него вдруг стало совсем как у человека из народа. [...]

Вечером Ольга ждала у подъемника. Чапек появился вместе с шахтерами, надышавшимися угольной пылью. [...] Он был неузнаваем, только глаза на черном лице сияли новым опытом и пониманием. Карел мальчишески подмигнул Ольге, но пошел с шахтерами. Что уж там, ведь он еще принадлежал им, своим новым друзьям, которых успел горячо полюбить. [...]

Он растроганно прощался со своей бригадой, словно этот день мрака и опасности связал их навек. С воодушевлением, захлебываясь словами, рассказывал:

— Шахтеры! Это же рабочая элита! Страшная и прекрасная профессия — вечно рисковать жизнью, дышать пылью и рубить черные скалы, чтобы другие согрелись! Я случайно очутился как раз в том месте, где обрушилась часть свода, словно шахта сама хотела показать мне, на что она способна. Чуть не произошла катастрофа. Ты бы видела при этом полное достоинства спокойствие и поразительную деловитость шахтеров! Как эти люди без единого слова четко делают свое дело, презирая смерть, неотъемлемую от их нищенского заработка!

Он влюбился в шахтеров, говорил о них, как мальчишка о взрослых мужчинах, сидел с ними в столовых, чтобы вслушаться в их речь. На следующий день с неотступным любопытством облазил наземную часть шахты: здесь мыли уголь; немного дальше машина с помощью человеческих рук сортировала его, отделяя крупные глыбы от кусков поменьше.

— Это я тоже должен узнать, — с жадностью говорил он, но потом затосковал: — Боже мой, отчего жизнь так коротка!

На шахтном дворе стоял полуголый силач и, отчаянно напрягая мускулы, направлял вагонетки то в одну, то в другую сторону. Казалось, сотни килограммов железа и угля сами отскакивали от его крепкого тела. Чапек долго смотрел на руки силача.

— Идем уж, — наконец позвала его Ольга.

Он шел словно в дурмане.

— Что с тобой? — спросила она.

— Я отдал бы все, что имею и что умею, чтобы стать таким сильным и здоровым, как он, — пробормотал он тихо.

Ольга знала эту его давнюю тоску по физической силе. Правда, с момента их женитьбы он ни разу не

заговаривал о своем здоровье. Только однажды, когда друзья перечисляли свои желанья, он прервал их мечты о всякого рода излишествах:

— Чего только вам не хочется! А с меня хватило бы прожить хоть один день, не испытывая боли.

Ольга тогда испугалась и погрузилась, но ни словом не выразила ему сочувствия. Она знала его гиппократовский девиз: «Побеждать боль!»

«Первую спасательную» он писал дольше, чем предполагал.

— Какое это чертовски сложное дело, — говорил он. — Я больше не удивляюсь, что искусство так часто идет окольными путями, это как-то легче. Простота ничего не утаивает, все признает и все выдает, не умеет уклоняться и лавировать. Это каторжный труд, черт бы его побрал!

Она знает, о чем идет речь, — о фигурах шахтеров, воплощающих черты чешского характера: несентиментальное мужество и суровую, мало разговорчивую самоотверженность, солидарность засыпанных, их веру и надежду до последнего дыхания. Таковы мы и так будем себя вести, если на нас обрушится несчастье.

Прислуга знает, когда «хозяин» пишет, и приглушает голоса, окликая собак, между тем как из мансарды доносятся звуки радио — музыка лучше всего помогает Чапеку сосредоточиться. [...]

Работа — единственная неоскверненная красота этих дней, все остальное затянула тяжелая грозовая туча насилия и жажды уничтожения, сгустившаяся на горизонте соседней империи. Мудрая и прозорливая страна понимает, что ее ждет, чешский пастух знает немцев лучше, чем ведущие деятели некоторых государств. [...]

— *К сожалению, мы, малые нации, не задаем тон политической нравственности,* — говорит Чапек. — *В противном случае мир выглядел бы, по всей вероятности, значительно лучше. Маленький народ обычно довольствуется малым, только великий хочет еще большего.*

Сам он впрягся в борьбу, не жалея сил: пишет, призывает к действию, организует, старается стряхнуть блаженную дремоту опасной беспечности с каждого проходящего к нему в гости иностранца.

— *Говорить о мире могут только все народы вмес-*

те, — убеждает он и тех, кто знает его обычное стремление разрешать споры по возможности без кровопролитий, — как только один из этих народов начинает готовиться к войне, вынуждены готовиться к ней и другие. Мир нельзя защитить философскими предпосылками, к сожалению, для этого нужны войска, тринитрофенол и боеприпасы. Нужно бестрепетно обратиться лицом к неприятелю.

В Европе было много людей, которые еще не знали, где их неприятель. Чапек приходил в ужас, когда собеседники неуверенно улыбались в ответ на его настойчивость и видели в ней всего лишь чехословацкие интересы. «Все на свете объединено строгой нравственной связью, — предостерегал он, — это, собственно, и называется мировым порядком. Страх и ответственность за других — лучшая гарантия собственной безопасности».

Чешские писатели вступили в сотрудничество с армией, нужно было поддерживать вооруженное сопротивление сопротивлением духа. На собраниях тех, кто служит этому делу, Чапек встречается и со своим заклятым врагом, который вместе с близкой ему группкой не скрывает ненависти к Чапеку.

Ольгу это возмущает. [...]

— Может быть, ты с ним даже разговариваешь? — допытывается она с плохо скрываемой иронией.

— Лишь о том, что необходимо в интересах дела. Но сегодня я подвез его домой на машине; мне показалось, он торопится, а живет бедняга далеко.

Она встрепелась, как и всякий раз, когда считала необходимым защитить достоинство мужа.

— Почему ты думаешь, что он бедняга, Каченка?

— Потому что он ненавидит, — ответил Чапек спокойно. — Потому что он подчинил свой талант и свою душу такому низкому, глупому и убогому чувству. — Он усмехнулся с оттенком горечи и строгости. — Понимать и прощать — это сила, которую люди принимают за слабость, не правда ли?

Ольга, застыдившись, ждала, что он скажет еще.

— Впрочем, сейчас все это действительно не имеет значения, у нас нет времени на мелочные дразги и личную неприязнь, это остаток роскоши, унаследованной от того мира, который мы теряем. Сейчас нужно стоять друг возле друга сплоченными и тесными рядами, никто не должен покидать строй, никто не вправе выбирать

соседа, если это не отъявленный мерзавец. В каждую брешь между нами может проскользнуть неприятель.

— Пусть так, но ведь это еще не основание, чтобы жалеть того, кто делает тебе гадости.

Он невозмутимо разламывал сигарету.

— *Ничего не напишешь, мне его жаль, такое чувство, как ненависть, не приносит плодов тому, кто рожден по-этом.* Только роняет его человеческое достоинство. [...] Главное — вести себя так, чтобы не утратить уважения к самому себе. [...] Все прочее, все дурное, отчего страдает художник, преходяще, ибо оно существует, лишь пока этот художник жив. А потом обычно исчезает. — Он улыбнулся совсем весело. — Мертвый не получает таньем и премий, не ставит под удар ничьих надежд своим еще не законченным произведением. Мертвый — вполне терпимая конкуренция. [...]

Опять что-то заиграло в его пронзительно сияющих глазах, словно водная гладь заискрилась отражением света; и снова — это обыкновенный человек в рабочем вельветовом костюме с карманами, набитыми калабашками, планками и четвертушками бумаги. Он удалился мелкими шажками, словно радуясь каждому метру земли под ступней. [...]

Ольга нашла его в углу подвала, среди старого скарба и земли. Он мастерил из ящика скворечник.

— Чего тебе? — Он встретил ее, держа мундштук во рту, уставший и воодушевленный, как бывало, когда выполнял какую-нибудь грубую ручную работу.

— Пришла за тобой. [...]

— Рановато, — забормотал он торопливо, — я еще не кончил. Разве можно купить такую вещь? Тогда она лишилась бы своей прелести. Подарить природе немного уюта, сделанного своими руками, обливаясь потом от собственного усердия и неловкости, — это, я бы сказал, превосходное и поэтическое ощущение. [...]

Ольга играла теперь с максимальной аффектацией, как того требовал новый театральный стиль. [...] Такая игра не соответствовала ее актерскому характеру, а Чапек, возвращаясь с каждой премьеры, говорил:

— Оставьте меня в покое с этим динамизмом. Люди хорошие, разве его мало в политике? [...] Только бы не потерять в этой массовой толчее человека, спасти его достоинство, избавить от истерии и хвастовства — вот наша задача, если еще останется время на искусство.

Тишина и человек, нет, из этого не может возникнуть ничего суетного и дурного. [...] Я бы хотел создавать самое целомудренное и самое интимное искусство, но ничего не поделаешь — сейчас мы обязаны только служить. А если вокруг со всех сторон слышатся вой и гам, то и мы не можем позволить себе говорить слишком сдержанно, нас тоже должно быть хоть немного слышно. [...]

Они отправились на съезд писателей, проходивший тогда в Париже; предстояло говорить с пишущим миром о страшной опасности, которую чувствовали тогда только чехи и словаки. [...]

Чапек взял на себя немаловажную задачу — убедить своих коллег в необходимости солидарных действий в случае нападения на Чехословакию, посягательства на безопасность ее границ. Осторожными словами, стараясь не выглядеть нескромным, толковал Чапек о единстве кровеносной системы демократической свободы мира. Существование ЧСР необходимо для нормального кровообращения в теле Европы, это не просто конечность, которую можно заменить протезом компромисса. [...] Писатели большей частью соглашались, но на лице Франции не было заметно серьезной озабоченности, Страстно аплодировали мужественной Испании, демократическое выступление председателя было принято с бурным воодушевлением, но мало кому хотелось думать о новой войне. «Если бы вы знали, сколько французских имен начертано на памятниках павшим воинам в каждой нашей деревне!» — говорили многие. Как будто народ может предотвратить войну лишь тем, что страстно ее не желает.

Чапек говорил, разъяснял, предостерегал:

— На этот раз мы с вами связаны не на жизнь, а на смерть.

Потом Карел и Ольга заглянули в старый Руан. Ехали в автокаре, восхищенные красотой страны. [...]

На всем лежало благословение июля, по траве вперевалку бегали дети, похожие на движущиеся цветы; влюбленные парочками плыли в розовых мечтах, как по воздуху, а над речной гладью замерли рыбаки. Мир и спокойствие. Супруги Чапек стыдились жестоких мыслей, которые владели ими: хотелось потрясти это спокойствие, спугнуть его предчувствием ужаса, беды.

— Послушай, Карел, — сказала вдруг Ольга, — мне пришла в голову идея написать для театра трагедию матери. В пьесе должен быть человек и одновременно — эпоха, в которую мы живем. Мать исполнена добродетелей, любви к жизни и всех величайших божьих даров, ставших для нас непозволительной роскошью. У нее погибает муж и один за другим гибнут сыновья. Все они служат самым священным задачам и отстаивают их в борьбе. Остается последний мальчик, на которого мать переносит всю свою иступленную, полную отчаяния любовь. Стережет его, укрывает от опасности и от его собственного стремления поступить наперекор ей. А в конце, когда видит, как далеко зашел наш злополучный мир, убивающий даже малышей, она чувствует себя матерью чужих убитых детей и сама подает последнему сыну ружье, посылая его на поле сражения защищать интересы человечности... Это была бы небольшая по размерам семейная комедия, перерастающая в античную трагедию, понимаешь?

Чапек загорелся. Назад они уже ехали, не обращая внимания на пейзаж, не замечая времени, полностью погруженные в обдумыванье сюжета ее новой пьесы. Когда они ужинали на Итальянском бульваре, вспыхнули демонстрации. Рабочие начали одну из многочисленных забастовок того года и кричали, проходя по улицам: «Blum au pouvoir!»¹

На другой день где-то в предместье стали строить баррикады.

Чапек был озабочен.

— Теперь это не ко времени. Франция не может сейчас заниматься своими застарелыми социальными проблемами. Впрочем, родина тоже обязана дать человеку то, чего он заслуживает, иначе в самую роковую минуту он не оправдает ее надежд.

Уезжали расстроенные и встревоженные.

Ольга предложила освежиться в Альпах, которые Карел так любил. Австрия, запуганная шарлатанской нацистской пропагандой, присмирела.

— Знаю, я здесь в последний раз, — сказал Чапек и мудрой печалью глаз прощался с уютом старинных городков.

Он любил деревенские кладбища у подножия гор,

¹ Блюм к власти (фр.).

полные неба, искупительной тишины и птиц. Вероятно, именно потому, что здесь не хоронили знаменитых людей, мог подолгу бродить среди обычных, простых могил. Ольга удивлялась его неожиданной смелой готовности соприкоснуться с тем, чего он всю жизнь так сторонился. У многих могил были маленькие резервуары с ключевой водой, чтобы поливать цветы и чтобы ее пили птицы. Чапеку это нравилось, как ребенку. Он смотрел на печальные руки деревенской вдовы, совершавшие утреннюю поливку почетного караула лилий, на бесстрашного черного дрозда, набиравшего влаги в желтый клюв.

— Это прекрасно, — улыбнулся Чапек, — служить еще и за роковой чертой, даже последний клочок земли не оставлять для одного себя и для удобств смерти. Утолять чью-то жажду!

И словно бы неожиданно после многолетних недоразумений завязав со смертью дружеский контакт, впервые начал говорить о ней спокойно и пространно:

— Когда я несколько лет назад ездил в Испанию, произошло столкновение поездов, и вагон-ресторан, в котором я обедал, превратился в жалкую грудку дерева, железа, стекла и людей. Восемь человек пострадало. Избежали ранений только я, какое-то важное лицо да официант. Я сохранил на память осколок своей тарелки.

Ольга знала эту историю, хотя он не часто о ней вспоминал. Они стояли возле маленькой могилы; Чапек приглушил голос до школярского шепота:

— И еще, как-то я в последнюю минуту отказался от участия в съезде Пен-клубов в Польше. Устроитель даже заблаговременно отвел мне место в машине для экскурсии в Закопане. Им воспользовался Юлиан Эйсмонд и по дороге погиб в аварии. Это было шесть лет назад, Ольга. Эйсмондом я попрекаю себя до сих пор.

С кладбища уходили словно на цыпочках и долго еще продолжали говорить шепотом. Поездка была прекрасна, но не принесла ожидаемого облегчения. Руки сами просились к перу, и Чапек предложил повернуть машину к дому. [...]

Ольга делала первые подготовительные шаги к созданию новой драмы, закладывала, разрушала и вновь возводила фундамент. Чапек задумчиво бродил по до-

му, переходил от окна к окну, часто подолгу затворничал в своей мансарде. Ольга знала, что он увлечен новой идеей, и боялась спугнуть его каким-нибудь вопросом. Она была уверена, что Карел придет сам.

И он пришел. В мечтательной рассеянности провел рукой по ее волосам, весь углубленный в себя, только сигарета в мундштуке была на обычном месте — в углу рта.

— Как ты посмотришь на такую вещь... Что, если «Мать» напишу я? — сказал он со странной улыбкой. — Словом, я пришел спросить, доверишь ли ты мне эту идею?

Ольга резко обернулась, охваченная огромной радостью и гордостью: значит, ее замысел заинтересовал его?

Карел ходил по ее маленькому кабинету. Голос его удивительно потеплел и смягчился, как бывало, когда он делился своими еще не совсем определенными, не до конца созревшими мыслями.

— Видишь ли, этот сюжет давно уже меня беспокоит, а теперь завладел мною целиком и полностью. Я еще не сталкивался с таким захватывающим материалом, он не дает мне думать ни о чем, перечеркивает все мои планы и требует к себе внимания. Впрочем, у меня другое решение, пожалуй, несколько непривычное: те, кто у тебя умирает, у меня и мертвыми остаются на сцене; сейчас приходится думать и о том, как использовать силу тех, кто отошел в небытие. По-моему, кто погиб за нечто порядочное, тот не умирает и не исчезает совсем, а остается среди нас, он необходим нам своей нравственной ценностью или пользой, которую принес обществу. Не знаю почему, но чувствую — это будет твердый орешек, я еще никогда не писал о мертвых; они не отпускают меня, все время толпятся вокруг и, такие упрямцы, тихо и скромно требуют, чтобы я о них думал. И при том они живые, страшно живые, они полны интереса к судьбам своей страны и забот о ее безопасности, полны любопытства и тревоги по поводу того, кто и как продолжает их дело.

Ольга молчала, увлеченная его порывом, а он продолжал объяснять ей и себе самому:

— *Бог весть отчего меня вдруг так потянуло на сторону мертвых!*

Он остановился у окна оранжереи, образовывавшего

стену кабинета, и стал опять смотреть куда-то далеко вперед, как всегда и во всем, что чувствовал и писал.

— Мы, чехи, знаем или предчувствуем, что нас ждет, хотя и не желаем этого знать; и мы ясно и четко сознаем, что пойдем защищать не только двадцать лет чешской независимости, но и сотни предшествовавших им трагических и бурных лет. И все те, кто на протяжении веков помогал нашему делу, пойдут вместе с нами, ты не думаешь? С именами великих в душе обычно идут в самые решающие сражения. [...]

Эту пьесу он писал, словно Ольга все время смотрела ему через плечо, рассказывая ей каждую новую подробность:

— *Знаешь, — басил он с сияющими глазами, — меня просто пугает, в какой степени я вдруг оказался на стороне мертвых, я понимаю их интересы, защищаю их права на участие в современности, это какое-то леденящее и праздничное чувство, в иные минуты я сам настолько мертв, что прихожу в полную растерянность, когда нужно отложить перо и спуститься к обеду. Это тихое и чрезвычайно благородное общество, ничего не поделаешь, я уже как-то пригляделся к ним, уже немало принадлежу их миру.*

— Зачем ты это пишешь? — вдруг спросила она с тоской в голосе, совершенно утратив прежнюю радость.

— Потому что обязан, потому что так нужно! [...]

В то время, когда Чапек писал «Мать», он словно преобразился. Его обычное остроумие, его удовольствие от игры словами — все начисто исчезло. Он был каким-то духовно просветленным и страшно серьезным, наслаждался сюжетом как профессионал, который понимает, сколько в нем таится возможностей.

— Хочу, чтобы это была сильная пьеса, — говорил он. — Без хныканья и при всей своей серьезности ясная по мысли. Очевидно, существуют неизбежные и неотвратимые трагедии человечества, надо найти хотя бы то доброе, что в них есть, — благородство или мудрость, которые проявляет в них индивидуум. Все, кто в моей пьесе умер (смотри-ка, я уже говорю моя пьеса!), были еще не стары, и потому незачем сетовать и рыдать, оплакивая их судьбы. Для молодых людей смерть — поэзия, только для старых она становится страшной и трезвой действительностью. [...]

Карел никогда не любил рождество. «Поскорей бы

оно прошло», — говорил он при его приближении. И обрушивался на него весьма неместно и незаслуженно. «Вот перетерплю рождество...», или: «Вот как свалю с плеч рождество...» Когда спрашивали, чем этот прекрасный праздник ему насолил, он ничего не объяснял и только пожимал плечами.

В полночь из радиоприемника послышался его низкий голос, записанный на магнитофонную ленту, — он читал мирное послание; с другой стороны света ему отвечал Рабиндранат Тагор. Человечеству должен быть сохранен мир, мир — это ответственность за миллионы жизней, мир — это свобода народов, это торжество здравого разума!

Карел как будто испугался собственного голоса, неожиданно чужого, на самом же деле ему не понравились слова, которые произнесли оба писателя, слова эти показались ему недостаточно убедительными. Когда война на пороге, обычно превозносят мир; когда надвигается смерть, воспевают красоты жизни. [...]

Смертельные судороги австрийской независимости воспринимались с ужасом. [...]

Карел с женой сидели у радиоприемника, ловя последнее дыханье задушенной австрийской свободы. Неожиданно из сентиментальной бидермейеровской Вены донеслись надменные, кичливые прусские марши. [...]

— Там теряют все, что придает достоинство жизни, человеку и обществу, — сказал Чапек после длительного молчания, — но у них [...] хотя бы не могут отнять родную речь. [...] Теперь очередь за нами, начнется с Судет, а кончится Прагой — ныне это понимали даже самые легкомысленные и тупые.

Чапек ринулся в жестокое сражение. Писал статью за статьей, ежедневно встречался с людьми, на которых лежала высочайшая ответственность, до изнеможения вел переписку с влиятельными писателями мира, убеждая их выступить перед общественным мнением своих стран в защиту чехословацкой свободы.

Минуты отдыха проводил в саду или в Стржи, копал или возил землю, как будто ему помогало сознание, что и так он тоже служит своей стране. [...]

В эти дни Чапек, статьи и книги которого некогда переводились и на немецкий язык, получал груды писем от немецких сограждан из пограничья, — многие из них испуганно призывали к защите демократии. Он читал эти

письма и отвечал на них до глубокой ночи, отодвигал в сторону все, что хотелось написать, и служил только этому делу с наивной верой всех честных людей, будто добрая воля может стать всеобщим связующим началом.

Чапек не позволял себе утратить надежду, когда речь шла о выполнении гражданского долга.

— *Жертвы нужно приносить не своим правам, а своим обязанностям,* — говорил он просто и терпеливо, вновь берясь за перо. [...]

— Художник должен участвовать в нравственном развитии и ра, — заявил он.

— Искусство не может служить тенденции, — возражали многие и писали, как прежде, отвернувшись от действительности.

— Кто-то должен обо все это мараться, — отвечал Чапек с иронией. [...] — Писатель обязан поставить себя на службу своему народу и эпохе.

Ольга стала испытывать за него судорожный страх. [...] Он редко цитировал пророков (и вообще со своими огромными знаниями обращался чрезвычайно целомудренно и скромно), но тут, улыбнувшись, напомнил ей слова Конфуция: «Если я испытаю себя и увижу, что честен, то без боязни пойду против тысяч и десятков тысяч». [...]

«Мать» появилась на сцене во всей своей трагической силе, и публика, потрясенная и полная решимости, поняла ее наказ. Наказ эпохи, которая вкладывает в руки самого дорогого, самого последнего винтовку и говорит: «Иди! Иди умирать за то, чтобы в мире вновь установились человеческие законы!»

Через три недели после премьеры Гитлер придвинул войска к границам республики, за этим сразу же последовала первая чехословацкая мобилизация. Солдаты шли с естественной простотой, без шумихи. Чапек овладело болезненное стремление идти вместе со всеми или, если потребуется, хоть как-то помогать. Пусть в качестве военного корреспондента, но при этом никого не просить о помощи, а при случае оказывать помощь другим.

Карел предложил шоферу научить его водить машину. Учился он быстро. [...]

Но однажды он вернулся молчаливый и поникший; шофер в растерянности шел за ним. Оба выглядели так, будто только что потерпели серьезную неудачу.

— Что случилось? — спросила Ольга, когда наверху, в мансарде, хлопнула дверь.

Шоферу было трудно говорить:

— Мы отработывали самое последнее — задний ход и...

— Не поладили?

Это был праздный вопрос: у ее мужа ни с кем из работавших никогда не бывало недоразумений.

— Да что там, просто пан доктор почувствовал, что никогда не сдаст водительских экзаменов и вообще не сможет ездить один, выскочил из машины и, не говоря ни слова, пошел сюда.

— В чем же дело, господи?

— При заднем ходе он не может оглянуться. [...]

Теперь дни Чапека были завалены работой и обязанностями, до поздней ночи он писал и советовался с разными людьми. [...] А высвободившись, устало плюхался в машину и ехал в Стрж — сосредоточиться там, где он был недосыгаем для хаоса, телефона и человеческих притязаний. [...]

Всякий раз, когда возникали тревожные опасения и неуверенность в завтрашнем дне, он еще основательнее и усерднее думал и работал для будущего.

— Кто знает, будем ли мы тут еще следующим летом, — сказала Ольга со свойственной ей склонностью к пессимизму, и это решило вопрос о новой перестройке дома. Чапек был, как Алквист из его пьесы «RUR», который надевал фартук каменщика, когда ему становилось особенно тоскливо.

Он нанял рабочих и в свободные минуты сам помогал им. Начертил множество проектов и планов, решил укрепить берега ручья, сделать их неприступными для воды; ведь нельзя допустить, чтобы ручей, когда ему вздумается, подмывал корни столетних красавиц ив. [...] Это была длительная и трудоемкая работа, начатая в пору величайшей неуверенности и напряжения, она повлекла за собой сотни и сотни тачек глины, песка, асфальта; физически слабый Чапек гнул спину до изнеурения, сияя отблесками утраченной радости. Натянув резиновые сапоги, он трудился рядом с рабочими, доставал с запущенного дна плодородный ил и лишь изредка настороженно вглядывался в горизонт своими тяжелыми, пророческими глазами. [...]

В то роковое лето, когда внимание тех, кто поумнее, было приковано к Чехословацкой республике, в Праге состоялся всемирный съезд писателей. Представители мысли и духа хотели отметить своим визитом именно эту страну, находившуюся в самой большой опасности и пока наиболее мужественную.

Великая радость, но и утомительные заботы, связанные с этим съездом, были взвалены на плечи Чапека. У него было много сердечных контактов с пишущими людьми, и он по-мальчишески радовался, что сможет принять друзей в своем маленьком доме.

Обессиленный более серьезными заботами, уставший от тревог и провидчества, он помогал составлять программу всего, что должна знать мировая литература о ЧСР, что ей нужно будет показать: Татры, курорты, социальные и культурные достижения, чешский театр, «Сокол» и войско. [...]

Сказать по правде, западный мир никого не порадовал. Старый Г. Уэллс, которого Чапек так любил, приехал и на этот раз привез какое-то раздражение на всех и вся и с удручающей иронией оценивал современные британские способности защищать что бы то ни было. Жюль Ромен звучно и страстно говорил о демократии, но из всех околичностей явствовало, что во Франции все еще не слышат топота копыт вражеской конницы так отчетливо, как слышат его здесь. [...]

Красным, белым и синим разгорелся слет тридцать восьмого года. [...]

Карел Чапек, не выносивший толпы, продирался сквозь густые массы людей, обессиленный, похудевший и гордый, и пытался прочесть в глазах иностранцев, достаточно ли в них восхищения и горячей заинтересованности судьбой его страны. «Посмотрите!» — говорил он им сиянием глаз и в эту минуту не только верил, но был убежден в успехе дела. «Посмотрите! — говорили тысячи мускулистых рук и ног, тысячи разумных голов на залитом солнцем стадионе. — Это мы, народ мыслящих личностей, со свободой в каждом нерве, станем железным слитком единства, если на карту будет поставлена судьба и безопасность нации».

Для писателей были подготовлены большие военные маневры в Миловицах — модель современного сражения на земле и в воздухе. Солдаты продемонстрировали представителям всего цивилизованного мира свою готов-

ность. Прославленные писатели из всех европейских стран должны были знать, о чем идет и пойдет речь в критические часы истории: здесь будут защищать дух и свободу мира, господя!

Чапек ожил, стяхнул с себя усталость, накопившуюся в течение кризисного лета и последних дней, оторвался от остальных участников съезда и продвигался вместе с солдатами, продираясь сквозь заросли крапивы и зеленую, как железный купорос, вату искусственного тумана, словно участвуя в наступлении и обороне чешских солдат и машин. Ольга сопровождала его, грязная и ободранная, но счастливая, что минутами видит его глаза. Они сели рядом на склоне, чтобы наблюдать за небом, где разыгрывалась вооруженная схватка аэропланов, проносившихся над ними на убийственной скорости. Чапек с трудом и болью пытался задрать голову, пот слабости, вечный спутник его мучений, выступал на лбу, и он, как всегда поспешно, отирал его платком, но глаза его сияли глубокой и прекрасной гордостью.

— Думаешь, это понадобится? — спросила она с женским страхом.

— Надеюсь — нет, — ответил он, провожая взглядом полет металлических жуков в небе, — если остальной мир будет достаточно мудр и порядочен.

Потом за солдатским гуляшем каждый из присутствовавших от имени своего народа произнес краткую речь. [...] Ольга внезапно неудержимо разрыдалась, когда Чапек своим глухим, бесцветным голосом стал благодарить гостей, потом он ответил на вопросы и закончил:

— Я призываю вас вместе с нами и в нашем лице защищать самих себя! [...]

Вечером проводились испытательные полеты истребителей и бомбардировщиков. Военные пригласили принять в них участие и нескольких писателей. Боеспособность духа и оружия слились в единую готовность к сопротивлению. Незадолго до этого Чапек написал: *«Кроме священных границ своей страны, наш народ имеет и свою духовную территорию, которую мы обязаны охранять от любых посягательств. Для нас, воспринявших традицию будителей, которые положили начало нашему национальному, политическому и вооруженно-*

грязью сапогах вокруг радиоприемника, слушали последние известия, потом возвращались — они вниз, к своей работе, он — к своим бумагам. [...]

Единственное, чего боялись простые чешские люди, — это капитуляции без войны; то, что было связано с самой войной, воспринималось уже как детали, о которых не стоит и говорить. Смерть, как и жизнь, стала чем-то второстепенным, единственно, что было важно, — идти защищать себя и все другие народы, которые охраняла чехословацкая граница. Никто не сомневался, что теперь на очереди они — трамплин в Европу; только в Англии надеялись обойтись дипломатией сослагательного наклонения. [...] Твердая надежда оставалась только на Россию. [...]

Мертвящая тяжесть и оцепенение овладели природой, деревья несколько дней стояли не шелохнувшись, ни единым листком, ни единой веткой не подавая признаков жизни. Стаи каркающих и верещащих ворон опустились на неподвижные ветки. Казалось, вся земля в смертном поту страха. Леса образовали на горизонте тяжелую стену цвета индиго, за которой прекращалась всякая жизнь растений и насекомых. Тысячи испуганных ласточек и воронков слетелись к дому, одиноко стоявшему посреди омертвелого края, от тяжести их маленьких тел провисали электрические провода. [...] Они облепили весь дом, густой черной каймой обвели крышу и все окна. [...]

«Как перед потопом», — говорили люди. Чапек по несколько раз в день вглядывался в застывший горизонт.

Три дня и три ночи не закрывали окон, чтобы не спугнуть эти дышащие комочки перьев, в смертельном страхе доверчиво прильнувшие к человеческому жилью. [...]

К вечеру мир как-то странно, испуганно померк, небо затянулось угрожающей, тяжело нависшей тучей; в воздухе было что-то настолько давящее, что трудно дышалось. Налетевшая гроза несла разрушительные смерчи, деревья падали, как детские игрушки. [...]

На другой день, утопая в потоках грязной воды, они вышли посмотреть, что натворила смертоносная стихия. [...] Карел, полный решимости прийти на помощь каждому юному деревцу, исправлял обвалившийся местами берег, подпирал клонящиеся к земле ясени и молодые ивы.

— Главное, — он кивнул в сторону д о м а , — эти двое выдержали, ведь таких и за сотню лет не вырастишь.

Два его любимых дерева — столетняя липа и самая молодая ива — с обеих сторон стерегли каменный дом, украшая его и отбрасывая тень. Слава богу, бешеная рука смерча не коснулась их возвышенного благородства.

Наступившая ночь была целительно тиха, как будто природа исчерпала силы и хотела отдохнуть от страданий. [...]

Вдруг послышался протяжный звук, точно топор прошелся по стволу, затем последовал глухой удар и треск ветвей. И вот уже ночь снова хранит строгое, исполненное достоинства молчание.

Вскочили не сговариваясь, оба уверенные в том, что произошло; ведь грохот падения раздался под самыми окнами их спальни. Громадная ива, любимица Чапека, верный страж семейного крова, зеленое благословение, живая тень, стоявшая на карауле у старого дома! [...]

Рано утром они уже были в саду. Зеленый гигант, поверженный, лежал на земле, и крона его расщепилась надвое. При падении ива увлекла за собой молодой траурный ясень и два куста. Расщепленный обрубок голого ствола глядел в небо с выражением тихого изумления и боли. Дом, казалось, стыдился своей незащищенности и выглядел покинутым. Упавшее дерево все еще было связано с корнями тонкой полоской древесины и коры.

Чапек быстро принял решение:

— Ива останется здесь во всей своей поверженной красе; то, чем она связана с жизнью, — всего лишь клочок кожи, тонкий волосок, но благодаря ему это дерево, воплощение трагической обреченности, еще сможет послужить нашему саду. Я делаю ставку на изуродованное, поверженное дерево. [...]

Даже это печальное происшествие послужило для Чапека уроком, как надо защищаться против разрушительных сил. Возле быстро бегущего потока, косо наклонившись от берега к берегу, стоял самый прекрасный во всей Стржи экземпляр ивы, пышно-зеленый кафедральный собор с совершенной архитектурой ветвей. Корни этой гигантской ивы, уходившие в ненадежный, зыбкий берег дикого потока, постепенно все больше погружа-

лись в воду. В тот же день Чапек вызвал деревенского каменщика с помощниками, они навозили камней, земли, и все это залили цементом. Два дня работали с утра до ночи. Чапек помогал им слабыми руками, на его лбу блестели капельки пота. Только после того, как готовая рухнуть в поток краса была спасена, настало время вернуться к поверженной охранительнице дома.

— Видишь, — Чапек обратился к ней, как к живому другу, — возможно, своим падением ты спасла остальных, к кому мы поспешили на помощь. — Он дотронулся до раненого ствола, с которого уже вяло свисали погибающие ветви и отростки, точно погладил спину погибшего животного. — Всегда приходится дорого платить за то, что любишь. [...]

Чета Чапек собиралась отпраздновать третью годовщину своей свадьбы. Обещали приехать друзья, на кухне начались приготовления. Супруги гуляли по холму; после столь длительных страшных волнений они снова хоть ненадолго принадлежали друг другу. [...]

— Завтра три года. Уже три, только подумай, Карел! [...]

— Я предпочел бы, чтобы поскорее было десять, пятнадцать, пусть даже ценой старости.

Ольга знала, как он хотел опередить эпоху, которая надвигалась на них, подобно лавине. [...] Она видела, как похудел Карел за это суровое лето, под кожей его лица и в глазах проглядывало тайное беспокойство, руки казались совсем детскими. Он старался превозмочь усталость, за улыбкой и ласковостью скрыть, каким трудом ему приходится заставлять себя держаться прямо. [...]

Присели на ствол старого дерева, который Карел положил здесь как естественную скамью. Вокруг спокойно гудело царство насекомых, и, издавая тысячу запахов, молчал пренебрегающий человеческим безумием благородный мир растений.

— Чего они хотят? — без всякого вступления спросила Ольга. — Чего вообще хотят те, кто готовится к войне, и те, кто это допускает?

Он всегда умерял излишний драматизм Ольги беспредельной простотой тона. Глядя на ровную поверх-

ность пронизанного солнцем пруда, похожую на большой кусок станиоля, он заговорил рассудительно, но не смог справиться с затрудненным дыханием:

— Дело тут вот в чем. С людьми испокон веку тяжкий крест. Они жаждут насилия больше, чем свободы, или хотят такой свободы, что ее приходится отнимать у других. Им представляется, будто недостаточно сделать великой собственную жизнь, нет, гораздо больше они стремятся помешать другим. Но и это когда-нибудь канет в Лету. — Он отер носовым платком сухой лоб тем неуклюжим движением, которое так любила Ольга, и гулко, спокойно продолжал: — Войны во всей их безнравственности лишь пытаются остановить неудержимое развитие человека, нагнать на него страх, обезобразить его злом, унижить и отбросить назад, но и войны прекратятся, когда человечество наведет в мире порядок.

Он снова смотрел куда-то вдаль, точно его собственная жизнь вообще ничего не значила. Ольга не стыдилась своего естественного эгоизма.

— Но сейчас, что будет сейчас, Карел?

Он пожал плечами и зажмурился, как перед ударом:

— Ну... сейчас на нас надвигается самое грубое и преступное, что когда-либо допускал этот сонный, лишенный бдительности мир; что тут поделаешь, придется окунуться во мрак с открытыми глазами. Хотя я и верю в здравый разум и победный исход грядущей войны, тем не менее на ближайшее время иллюзий не строю. Но и это не остановит развития, пожалуй, еще ускорит его. Что бы сейчас ни произошло, пусть даже самое ужасное, когда-нибудь величайшим нравственным достоянием народов будет дружба между ними, поверь мне.

— Какой ты мужественный, — восхищенно произнесла Ольга.

— Физически — неслишком, — улыбнулся он, — боюсь боли, хотя пора бы уж к ней и привыкнуть, но не в этом дело... *Мужество интеллекта не в серьезности воззрений, а в отваге мыслить до конца.* Разумеется, легче верить лозунгам, чем людям, но в конечном счете человек должен прийти к человеку, иначе им не договориться, порох не может быть постоянным средством общения. [...] Войны ужасны не из-за того, что тогда происходит, но из-за того, что они вообще ведутся, — продолжал Карел

сдавленным голосом. — *Несчастье человечества в нехватке фантазии; если бы каждый обладал хоть капелькой провидческого воображения!* [...]

Горизонт над поваленными лесами казался зловещим, ветер становился все злее. Лучше было укрыться в доме, не смотреть на небо.

Вечер угрюмо нахмурился, потом расшумелся ветром и грозой, над Стржью нависла свинцовая крыша с золотыми зигзагообразными трещинами молний. Одна из них съехала по громоотводу и, как игрушку, сотрясла старый дом. Чапек любил грозу, но на этот раз не подходил близко к окнам; молнии он любил лишь до той поры, пока не стал владельцем высоких деревьев. Тяжелые тучи обрушились на землю жестоким ливнем. [...] Поверхность пруда, обычно по-домашнему кроткая, дико вспенивалась и заливала сад и луг, с беспощадной прожорливостью заглатывала все новые участки земли. Лесничий пытался пробраться через потоки воды к плотине, чтобы освободить затворы. Настали часы рева, слякоти и безжалостного опустошения, пока наконец милосердный сумрак не прикрыл затопленные дамбы и берега с остатками вырванных растений и погибших кустов. [...]

Ливень низвергался на землю до полуночи, потом перешел в густой, нудный дождь, продолжавшийся до самого утра. В Стржи не спали, ручей слишком громко и грозно шумел, у затворов что-то равномерно, сокрушающе бушевало. На рассвете, в четыре часа, приехали пожарные и приказали покинуть дом, стоящий ниже уровня поверхности пруда: «Наверху прорвало дамбу, вся вода устремилась сюда, к вам!»

Они покинули Стрж в тот момент, когда из домика лесника выносили перины и одежду. Тоскливо было смотреть на мерзость разрушения; сад превратился в широкую бурю реку, из которой лишь кое-где выглядывали усталые кусты и деревья. [...] Все это казалось жестокой насмешкой над трехлетними трудами.

Молча вышли на дамбу, где толпились измученные женщины из ближней деревни, наблюдавшие за поверхностью пруда, который грозился вот-вот низвергнуться в долину Стржи.

Чапек был, как всегда, спокоен и ласков.

— Пойдем отсюда, — обратился он к жене, — нам ничего не остается, как уйти. Ведь мы не можем воспротивиться ничему, нам не под силу с этим бороться, мы ни-

кому не в состоянии ни помочь, ни заступиться. Пойдем же, дружок, самое последнее дело сопротивляться немолимой и явно превосходящей нас силе. [...]

В Стрж вернулись только через четыре дня, когда пришло известие, что вода спала. Приближались к саду по раскисшей, побитой ливнями дороге, полной луж и наносов. Ворота были распахнуты настезь, так что можно было пройти через них вместе, рука об руку.

Слава богу, старые деревья достойно и верно стояли на своих местах, глубокие корни выдержали натиск потоков; больше всего пострадала молодая поросль: все, что стояло на пути воды, было сметено и выворочено. Но гигантская ива, которую Чапек совсем недавно позаботился подпереть столбами, прочно держалась на своих зацементированных корнях. [...]

Чапек никогда не жаловался.

— Ну, это еще не так плохо, — мужественно произнес он и обвел взором опустошенный участок. — Даже если бы вода унесла все, я начал бы сызнава, с самых малых саженцев.

— И что бы ты получил от этого? — эгоистично спросила Ольга.

— Сам я, быть может, ничего. Но могу себе представить, как много лет спустя будет выглядеть этот сад — и довольно. Нельзя предаваться унынию, нельзя думать только о себе — и тогда любая утрата станет всего лишь временной. Будущим поколениям тоже снова захочется восхищаться столетними деревьями. Возьмемся за дело сразу же, как только земля хоть немного отойдет и просохнет.

В доме стояла неприятная сырость, из окон были видны только затопленные луга, липкая земля на траве да безобразные хлопья пены вокруг кустов. Все скользкое и мягкое, мир без позвоночника, без суставов и мышц. Невозможно было сразу вызывать рабочих и строить забор, вывозить грязь, наносы и камни.

Карелу пришлось отложить все восстановительные работы и писать для газеты, ибо ситуация становилась поистине угрожающей. Для него было облегчением затереться в кабинете, затянуть окна сетями занавесей и не видеть обезображенного, растерзанного сада; в тихой

комнате со страниц газет и из угрожающих криков по радио веяло предвестием борьбы.

Смерч и наводнение были странной прелюдией к роковому сентябрю. Под дикий рев фюрера Германия выдвинула новые требования. Унизительная в своей бесперспективности для чехов и словаков битва за безопасность и честь всего мира началась. [...]

— *Ты обязана быть спокойной,* — отечески уговаривал Чапек Ольгу, хотя прежде всегда и во всем выглядел таким ребенком. — *Это была бы самая большая победа. Спокойный человек не может потерпеть пора' жение — ни от кого.* [...]

Кольцо вокруг Чехословакии стягивалось. Чапек печально улыбался и горько шутил:

— *Абиссиния, Испания, Китай, а теперь мы. Скажите на милость, растем!*

И вот настал день, самый знаменательный и самый трагический в истории нашего государства. [...] Прекрасные аккорды арфы давно уже терзали нас тревогой. Вдруг сильный голос объявил, чтобы все оставались у репродукторов.

— *Мобилизация!* — восторженно воскликнул Карел, Все вскочили с мест. [...]

Никогда еще лицо Чапека не светилось таким внутренним счастьем, верой, сознанием того, что настал наконец час искупленья.

— *Слава богу, мои дорогие,* — растроганно басил он. — *Все безумные страданья последних дней и то, что еще наступит, стоило и стоит этого. Значит, мы опять идем все вместе, мы опять все на одном берегу, как двадцать лет назад. Слава богу!* [...]

Они пошли будить шофера, который преспокойно спал в мансарде. Тут не надо было начинать издалека, Карел и Ольга знали его готовность «встать под ружье».

— *Проснитесь, Вацлав, вам надо явиться в часть, сегодня же, ночью!*

— *Мобилизация!* — торжествующе воскликнула хозяйка дома.

Вацлав был немного сонный, но уже улыбался.

— *Дождались! Вот видите!* — В Праге у него была молодая жена, нужно еще забежать проститься. Чапек

предложил ему ехать на машине, все равно предстоит передать ее в распоряжение армии.

— А я уж как-нибудь домой доберусь, — сказал он, держа шофера за руку, как младшего брата. [...]

Премьера новой постановки «Разбойника» состоялась на третий день мобилизации. Ольга играла Мими. [...]

Карел Чапек, как всегда, пришел улыбающийся, приветливый, на его впалой груди висело противогазовое страшилище в металлической коробке, но хотя выглядел он скорее как профессор с сумкой для бабочек, смешного в этом было мало. [...]

Жаркий, изнурительный вечер кончился, навсегда перечеркнув какие бы то ни было сравнения и воспоминанья.

— В эту железную эпоху мы не имеем права становиться тряпками, — сказал Карел, когда они вышли. — Этого еще не хватало! Ведь сейчас речь идет о чуть более важных вещах, чем какая-то утраченная и ветреная молодость! [...]

Теперь во время поездок в Стрж они лишь пересаживались от одного письменного стола к другому, от одного радиоприемника к другому, от заботы к заботе. Строительство беседки, террасы и домика лесничего осталось незавершенным, каменщики прямо от брошенных лопат, тачек и кирок ушли в армию. Опустошенный сад тщетно пытался сбросить нанос грязи и камней, залечить глубокие шрамы, оставшиеся после наводнения. Чапек был уже не в силах ему помочь: он ездил в Прагу, совещался и писал до самой ночи — статью за статьей, письмо за письмом. [...]

— *Когда под угрозу ставится то, что ты уважал и ценил, надо защищать эти ценности с той же страстью, с какой ты прежде их любил.*

С тревогой в глазах наблюдал он за нерешительностью, охватившей Европу; неподготовленность, неуверенность, нравственная беспринципность, глупость, в то время как готовые к борьбе и полные воодушевления чехи и словаки занимали позиции, чтобы стоять насмерть. Чапек грустно и без свойственного ему юмора качал головой:

— Наш народ, постоянно боявшийся, что он в чем-то будет слишком мал, и делавший все возможное, чтобы не проявлять мелочности и малодушия, на сей раз превзошел самые великие нации. [...]

По одну сторону границы продолжали все так же кричать и грозить, по другую — ожидали первого выстрела. В массе народа, естественно, начали распространяться нервозность и беспокойство, менее сильные поддались сомнениям: война не начинается — значит, где-то что-то не в порядке. И в страхе перед большими неожиданностями стали выискивать причины помельче. [...]

Самой удобной мишенью оказался Карел Чапек, олицетворявший воинственный дух чешской демократии. [...]

Хоть он и писал статью за статьей, стараясь поддерживать боеспособность и спокойствие, нашлось немало зараженных инфекцией лжи и не очень привыкших считаться с фактами доносчиков, которые поспешили услужливо сообщить в различные редакции, что Карел Чапек в эти трудные времена ездит отдыхать в свой загородный дом. [...] В редакции одной из газет аграрной партии высекли искру, и напряженная тишина ожидания, представлявшая собой великолепный горячий материал, вдруг вспыхнула: наш герой Карел Чапек вместе со своей женошкой улепетнул за границу! Кто-то нерешительно приглушил сенсацию, перенеся пристанище беглецов вместо «заграницы» на расстояние сорока километров от центра города. Но и это казалось недопустимым: разве может поэт, каждое лето живущий в своем загородном доме, и теперь хотя бы изредка ездить туда на ночь, когда Праге угрожает немецкая сталь? [...]

Чапек только махнул рукой и пренебрежительно усмехнулся, некогда было отражать нападки, да и вообще зачем в такое время привлекать внимание к собственной персоне? [...]

Клевета росла и ширилась, как эпидемия. «Карел Чапек бежал, покинул корабль перед бурей!» Так, возможно, говорили и многие из тех, кто видел, как он постукивает своей тростью о мостовую возле их дома. Ольга стискивала зубы и страдала, но вдруг по-женски решила принять все эти наветы за знамение рока:

— Уезжай, правда, уезжай как можно скорее. Физически ты не солдат, на этом фронте ты ничем не можешь

помочь! И клевета иной раз внушает добрую идею, ибо человеческая фантазия естественна и практична. Тут от тебя не слишком много пользы, раз ты не в силах стрелять; но там, где-нибудь в России или в Англии, ты бы активнее способствовал спасению родины. Ты хотел ехать в Закопане на встречу с пишущей Польшей — тоже неплохая идея: личные встречи обычно помогают взаимопониманию, ты знаешь весь мыслящий мир Англии, к твоему имени там привыкли; звали тебя и в Россию — разве там ты не сделал бы больше, чем здесь, где людям не надо растолковывать истину, ибо она и без того достаточно очевидна.

Он сухо улыбнулся и стал расхаживать по комнате, как всякий раз, когда старался больше думать, чем говорить. Потом остановился:

— Я не так давно думал об этом, когда еще верил, что любой разумный голос, способный объяснить людям сложившуюся ситуацию, не просто полезен, но необходим. И, учитывая подозрительность и подлость господ недоброжелателей, предпочел остаться дома. Слухи, которые могли бы возникнуть на этой почве, мне не в состоянии повредить, но они не способствовали бы спокойствию страны. [...]

Дня через два после этого разговора ему было сказано:

— Мы рассчитываем на вас, у вас есть имя за рубежом, пожалуй, вам давно следовало быть там. Пока что подготовьте необходимые бумаги.

Но он ничего не подготовил, сидел, писал и бестрепетно принимал ежедневную порцию газетного хамства. Нашлось немало людей, у которых в эти дни еще оставалось время для анонимных нападок. Чапек качал головой, чужая злоба его не трогала, но он был серьезен, как всегда, когда речь шла о непорядочности, которая через бактерии печати могла перенестись в организм читающего общества.

— Видишь, как ответственно быть журналистом! — говорил он, точно и из этого примера хотел извлечь для себя урок. [...]

В несчастной Чехословакии люди не ели и не спали; целые семьи, как и воины на границе, стояли у радиоприемников. [...]

Карелу Чапеку вдруг предложили уехать. «Отправляетесь скорее, завтра же, вечерним самолетом в Польшу, оттуда в Англию, любое разумное слово полезно, поезжайте немедленно».

Он выслушал это предложение как приказ. «Может быть, уже поздно», — слабо сопротивлялся он, хотя ни за что не допускал мысли, что в Годесберге все уже потеряно. Карел как-то сентиментально верил в английский *point d'honneur*¹.

Решение он сформулировал кратко, более обычного склонившись вперед:

— Разумеется, без тебя я не поеду. — Жена растерянно пожала плечами, чувствуя, что у нее есть обязанности и поважнее, чем сопровождать мужа за границу. — Ах, не думай, что ты не будешь служить общему делу вместе со мной и на свой лад, — продолжал он. — Повсюду есть женщины, которые должны услышать страстный голос правды, понять драматизм нашей действительности. Для нас обоих это будет тяжелая борьба, требующая немало терпения и напряжения сил — говорить, писать, убеждать, опровергать возражения, отметать равнодушие и в любой момент, когда позвонят у дверей, быть готовыми увидеть дуло нацистского револьвера. [...]

День наполнился лихорадочной спешкой. Чапек утратил привычное спокойствие, ходил мелкими торопливыми шажками, распорядился, писал что-то на листках и выбегал пройтись по узкой дорожке своего пражского сада, словно прощаясь со всем, что он тут посадил, пестовал и холил. [...]

Позвонил телефон. К нему уже никто не хотел подходить. Не хватало времени, чтобы попрощаться с каждым в отдельности. «Алло, пан доктор, совершенно конфиденциально». Он подскочил к телефону, чтобы услышать еще один, наверняка последний приказ. Но лишь несколько раз вяло кивнул. Повесил трубку и стал бледен как полотно, глаза на изменившемся лице — как две глубокие, смертельные раны. Подошел к дверям, вынес на середину комнаты свой чемоданчик и опустился на него, как потерпевший кораблекрушение. Страшная тишина заполнила комнату, полную людей и предчувствий. [...]

¹ Вопрос чести (*фр.*).

У Ольги задрожал подбородок, она подошла к мужу в ожидании приговора.

— Что тебе сказали?

Он повернулся к ней: это был совсем другой человек, молодость его лица была убита, доверие и сияние в глазах выжжены, сухой, чужой голос словно доносился из тысячемильной дали.

— Все напрасно. Мы проигрываем, друзья мои. [...]

— *Того, кто подвергся нападению, схватили за руки, чтобы он не мог защищаться, — и спор был разрешен,* — горько иронизировал Карел. Но последнее слово все еще не было сказано.

Это случилось только к вечеру. [...]

Ольга трясущимися руками отперла пустой дом. [...]

Карел сидел в маленькой столовой у нетронутого ужина, в пепельнице перед ним — гора окурков, руки брошены на подлокотники широкого кресла.

— О л и н а , — сказал он вместо приветствия.

Она тупо села рядом с ним, запретив себе плакать, его детское лицо отвердело, казалось каменным. Оба молча смотрели в пустоту и не шевелились. Время остановилось, словно кто на него прикрикнул, словно в комнате лежал покойник. Затемнение уже не соблюдалось, полосы бумаги на окнах — как ребра на рентгеновском снимке.

— Ты этого не ожидал? — наконец спросила она хрипло. [...]

— Нет. Пожалуй, я этого страшно боялся, но старался не верить собственному страху. — Впервые за все время, что она знала Карела, его движения стали какими-то беспорядочными: резким взмахом руки он прикрыл глаза, как будто хотел ослепнуть и не видеть. — О господи, это конец. [...]

— *Я чувствую себя безгранично слабым, не физически, а нравственно и духовно, слабым для надежд, слабым для упрека, не готовым ни к тому, ни к другому, облегчение и боль — все это стало мне как-то безразлично.* [...] Возможно, я умел немного заглянуть вперед, — продолжал он, — даже в те времена, когда это было еще совсем не легко. Теперь уже легче, теперь каждый глупец и путаник видит, куда и к чему ведет ход событий. С нами расправились, теперь мы будем

лишь смотреть, как в ту же бездну погружается весь мир. [...]

Ольга с тревогой вглядывалась в похудевшее лицо Карела, который, казалось, слабел с каждым часом молчания.

— Теперь ты будешь писать, — начала она, чтобы чем-то его ободрить. — Самое прекрасное и сильное, что есть в тебе, ты должен отдать этой маленькой, изуродованной и всеми покинутой стране. Только теперь по-настоящему понадобятся наша сила и любовь.

— Побежденные не любят, побежденные ненавидят.

— Только не ты, — возразила она. — Ты даже не умеешь ненавидеть.

Она не понимала, что унижает его, глядя по голове.

— Оставь меня, — вздохнул он. — *Все существо мое разорвано, я чувствую себя так, будто из меня вытекает кровь, вываливаются кишки, мозг, все внутренности, будто меня растоптало всполошенное стадо быков.*

[...] Порой даже сдержанный и достаточно трезвый человек вынужден размышлять, не следует ли ему покончить с собой. [...] Да и в конце концов, что бы я тут мог делать? — продолжал он с пронзительной простотой, погасший и бесконечно усталый. — Я превратился бы в комическую фигуру; мой мир умер, ведь я верил в какие-то обязательства, в так называемую честь и тому подобные вещи. Думаю, к нынешней толчее я не сумею приспособиться. [...]

После самого острого в своей жизни кризиса Карел, осунувшийся за день, сидел неподвижно и улыбался ей. [...]

— Что-то слишком много мы занимались самими собой, не правда ли, Олясек? Конечно, самое простое — умереть, это сумел бы всякий, но не всякий может себе это позволить. Мы должны дальше тащить свой воз, даже если это погребальные дроги. Надо опять впрягаться, дружок, и поражение требует, чтобы ему преданно служили. Только бы достало сил принять на себя всю его тяжесть!

Он встал и попросил Ольгу сварить немного черного кофе. [...]

Карел Чапек, всегда смотревший вперед, философ, терпеливо сносивший невзгоды настоящего, на какое-то время поддался общей боли. Ежедневно изучал подроб-

ную карту районов, куда ринулось коричневое наводнение, прощался с каждой деревней. [...] Бежал к друзьям и от друзей, к работе и от работы. [...]

— *Господи боже мой, неужели существуют на свете вещи, из которых при любом прикосновении не сочится жгучая кровь!* [...]

Он предвидел, что будет война, что она неотвратима и перережет жилы всей беззаботной Европе. [...]

«Молитва», которую он написал в час поражения, разошлась по всему миру, обошла все народы, еще не придавленные нацистским сапогом, но на родине принесла писателю лишь насмешки и раздражение врагов. Поэзия боли и религия национальной веры были названы бабством и размагниченностью. [...]

Жена пыталась вернуть ему хотя бы любовь к Стржи. Стоял октябрь, его любимый месяц; но умирающие силы и красоты, такое прекрасное в годы надежного и плодотворного покоя, теперь производило трагичное и даже символическое впечатление. Чапек ехал дорогами, которые любил, среди мягких красок редких каштанов, по засыпанному песком и засыпающему шоссе, но смотрел вокруг невидящими глазами, как будто уязвлено и упорно отворачивался от великолепия жизни.

Такое состояние продолжалось у Чапека недолго. Ольга знала: это пройдет, как только опять где-нибудь потребуются его услуги и участие в борьбе. [...]

Пораженцы и самая черная реакция легко нашли козла отпущения. [...] Дом поэта был завален анонимными письмами, яростно и тупо отражавшими враждебную кампанию, которая велась против него в газетах.

Предательству, которое совершалось по отношению к цвету и славе чешского духа, изворотливые нувориши нашли наконец название, не слишком далекое от того, что придумали господа немцы: возрождение! А чтобы преступная ложь действовала на народные массы, к этому слову добавили самое эффектное и широко употребительное определение — «национальное». «Национальное возрождение» топором палача расправлялось со всем, что имело хоть какую-то ценность. [...]

— Бог свидетель, за этим возрождением мне не поспеть, — горько смеялся Чапек и со спокойной совестью возвращался к самому надежному — работе.

Ольга по-своему старалась ему помогать, подходила к телефону и выслушивала анонимные нападки, а потом утаивала их от мужа. [...] Ранним утром вместе с преданным шофером выходила сдирать с ворот бранные наклейки, смывать с забора надписи, авторы которых не слишком стеснялись в выражениях. [...]

— Это в порядке вещей, — снисходительно говорил Карел, но колебания кого-либо из порядочных людей прощал неохотно. [...]

— У благородства нет выбора, — говорил он. [...] — *Время и дальнейший ход событий будут лучшими учителями, чем я.* — И не обращал внимания на стрелы, то и дело свистевшие над его головой. — *Что поделаешь, мир не был бы таким сумасшедшим домом, если бы люди не проявляли подобной моральной непоследовательности.*

— Мы сделали плохой выбор, — улыбался он жене, когда видел, что ею овладевают усталость и бессилие. — *И подделом нам, зачем мы добились так называемой известности. Маленький человек живет инкогнито, становится незаметным участником любой победы или поражения.* [...]

— Негодяев всего-навсего каких-нибудь неполных два процента [...], ей-ей, не больше, а видны они потому, что теперь вся порядочная часть нации отступила на задний план.

Культурный мир за границей задним числом начал стыдиться того, что сделал Мюнхен с Чехословакией; Чапек получил немало писем, подписанных звучными литературными именами, но читал их довольно апатично.

— В мире нас по-настоящему оценят, когда им самим придется расхлебывать кашу, сваренную из их же ошибок. [...] Теперь нам важнее заниматься своим внутренним положением, противостоять любому проявлению слабости и подлости. [...]

Писаки, едва справлявшиеся со скандальной заметкой из восьми строк, теперь начали освещать «проблему» творчества Чапека. *«Освещать проблему у нас всегда означало — наводить тень на плетень»,* — смеялся он. [...] *«Каждый ненавидит как умеет».* [...] *«Благородство животных в том, что они немые».* [...]

— Правда побеждает, но это стоит пота и крови! —

пророчески сказал Чапек, подняв указательный палец. [...]

Он собирался ехать в Стрж — запереться и устроиться; худой и усталый, он вновь мечтал о какой-нибудь большой творческой работе. Словно начинал новую главу жизни. [...]

Нужно было заканчивать строительство, начатое в то роковое лето; дом снова ожил под ударами молотков, снова его наполнили голоса каменщиков. В этом гаме и Чапек задумал новую работу.

— Начну роман, — сообщил он жене после нескольких дней сосредоточенного молчания. [...] — Напишу довольно безрадостную историю — рассказ о судьбе бедняги, который потерял все; изображу этакого маленького будничного Иова. Вся его семья сойдет в могилу, имущество растает, но рок не сможет отнять у него главного — богатства трех добродетелей: веры, надежды и любви. В некотором роде библейская вещь, мрачная в своей достоверности и почти святая благодаря выраженной в ней надежде, — я должен ее написать, Ольга. [...] У меня даже и название есть — никогда название не приходит мне в голову заранее, а сейчас пришло: «Черная година». Там будет много людей, все разные и все в равной мере жертвы глупого человеческого невезения.

Казалось, он уже засучивает рукава. [...]

В Прагу Чапек ездил дважды в неделю: взять на себя очередные обязательства и надышаться омерзительной атмосферой эпохи. [...] В эти горькие часы он смотрел далеко вперед и улыбался скорее глазами, чем ртом.

— *Наша жизнь не такая уж слабая глава, как это кое-кому кажется. [...] В ней немало внутреннего драматизма, который не терпит внешнего пафоса и экзальтированных жестов. Надо трактовать ее сдержанно, тихо, я бы сказал — ангельски, с мудрой улыбкой терпимости взирая на явную ненависть. И нам будет хорошо, если в этой юдоли скорби вообще может быть что-нибудь хорошее.* [...] Я отдал, дружок, много сил, и теперь мне нужно немного покоя, чтобы снова ясно и четко мыслить. Беспокойные мысли никогда не способствуют ничему хорошему, они проходящи и бесполезны. [...]

— Ты прав, но потерпевший поражение не мо-

жет обрести покой, он продолжает бороться, пока не победит.

— Несомненно, — согласился он, — однако мы еще не до конца проиграли, нам необходимо перевести дыхание и набраться сил для нового, еще более жестокого поражения, и только тогда, дойдя до самых горьких глубин попрапия своего достоинства, наш народ... [...]

Приходили друзья, люди твердые и цельные. [...]

Но приходили и люди со сломленной верой. [...] Чапек убеждал их с терпением истинного доктора.

— [...] *Не важно, что осел есть осел*, — говорил он, — *беда в том, что из него пытаются сделать льва*.

Он был так же спокоен и тверд, как и в случаях нарушения подлинной иерархии духовных или художественных ценностей.

— *Ценности — не фикция, ценности — это действительность*, — настойчиво утверждал он.

Меж тем на чешские средства информации начала оказывать давление бдительная цензура. [...]

Однажды Чапек решительно поднялся из-за стола, от начатой рукописи «Черной години».

— Незачем продолжать, — тихо пробормотал он, — без переделки роман не увидит света, да теперь, пожалуй, он и не ко времени. [...]

Новоявленные судьи потерпевших поражение духовных идеалов стали громко говорить о необходимости подвергнуть творчество Чапека переоценке. [...] Ничего не воспринимал он с таким юмором и равнодушием. [...] Но однажды Ольга застала его не похожим на себя — лицо посерело, вечно молодые глаза состарились. Он пожал плечами, словно человеческая злоба приводела его в недоумение; эта мягкая и тихая беззащитность делала его прекрасным.

— Чего я только не узнал о себе, и сказано это было прямо в лицо, — заговорил он глухо. [...] — Право же, я только улыбался, пока все это шло из темных углов, но теперь...

— Что тебе сказали, Каченка?

— Не важно — что [...], просто ужасно сознавать, до какой глупости и низости может довести ненависть. Посмотришь на искаженное ею лицо — и перестаешь узнавать человека; господи, до чего маленькими, злыми и... жалкими могут стать человеческие глаза. *Я желал бы людям иметь психологию чуть потоньше.*

Через два дня Карел уже снова воспрял духом, а в его глазах далее появилось что-то упрямое.

— *Мои муки в этом земном узилище стали еще нестерпимей*, — сказал он со странной улыбкой, похожей на гримасу насмешки или боли. Он с трудом поворачивал голову и почти не ел. — Снова начну писать, пусть я буду лакеем тенденции и прислужником эпохи, раз уж не способен закрыть глаза, заткнуть себе рот и как ни в чем не бывало предаваться возвышенным медитациям. [...]

Чапек полностью отдался газетной работе, ибо нужно было обращаться к возможно большему числу людей, ищущих спасательные пояса в море всеобщего смятения. [...]

Он должен был принять на свои плечи тяжесть поражения и продолжать борьбу, но личные нападки отбивали у него всякую охоту к этому, руки опускались. На несколько дней он заперся в Стряси, чтобы подышать незагрязненным воздухом, но освободиться от давящей сердце тяжести не смог и там. [...]

При встрече Ольга прямо испугалась странной и трогательной меланхолии, обволакивающей его слова и взгляд. [...]

— *Я знаю, не следует, чтобы другие замечали тяжесть твоего состояния и твою слабость, но полагаю, люди не должны считать меня негодяем*. [...]

Он начал писать «Фолтына», трагедию бездарного человека, несущего проклятие честолюбия, лжи, авантюризма. Этого тщеславного, экзальтированного поэта Чапек избрал для утверждения вечных и неприкосновенных законов подлинного искусства, которое нельзя ни подкупить деньгами, ни обмануть громкими фразами. Он хотел отвратить свой измученный поэтический слух от грызни политического манежа; хотел доказать, что всякий честолюбивый обман, всякие нечестные устремления людей и мира — лишь отвратительная ложь и судороги, из которых может родиться только трагический блеф. Вывернуть наизнанку малейшую фальшь, напыщенность, показать, что за ними — пустота. Еще раз подтвердить, что в искусстве, как и в жизни, все живое исходит только от живого, чистое — от чистого, что самая великая ложь не способна породить и крупницы истины. [...] Он писал «Фолтына», как всегда, с величайшим тщанием, с потребностью добиться

высокого уровня прозы. «Мир полон Фолтынов, в политике и в искусстве, их нужно поставить на место». [...]

Следующая неделя принесла волну жесточайших морозов, столбик ртути на термометре опустился непривычно низко. Ольга репетировала Мольера, Карел с головой ушел в рукопись «Фолтына». Суровая зима беспокоила его как садовника, несколько раз он даже отрывался от листа бумаги и, озабоченный судьбой кустов и березок, смотрел в окно на застывший сад. «Боюсь, они этого не перенесут», — говорил он тоскливо и снова садился за работу.

Теперь он с особой радостью приветствовал каждого из друзей, весь мир сузился до самых тесных личных контактов и доверия. [...] В их обществе Чапек всегда был весел и никому не позволял впадать в меланхолию, поддаваться унынию; с естественной шутливостью выбирал из пачек анонимных писем самые грубые и глупые и давал им читать. Друзья знали ненависть к нему политической черни, слышали жестокие голоса тупиц, открыто призывавшие: «Убить его!» Поэтому приятелям так импонировало спокойствие Чапека, его вера в будущее, которое всем воздаст по заслугам. Однажды Ольга под утро вернулась с гастрольного спектакля и нашла дом освещенным, прокуренным, наполненным голосами. Карел сидел в столовой с поэтом Горой. На столе стояли нетронутые рюмки и тарелки с бутербродами.

— Что же вы не пили? — спросила Ольга, когда в сером утреннем свете супруги отправлялись спать.

— Мы вспоминали детство, а дети не пьют, — мило ответил Карел. [...]

То была странная ночь, начавшаяся мутным, промозглым утром.

— Послушай, — начал он без всякого предисловия, когда у нее уже слипались ресницы, — одиночество — страшная вещь, оно отдает тебя во власть всему — миру, опасностям, судьбе и людям, требуя страшного вознаграждения за одну лишь скромную возможность сосредоточиться.

Ольга на миг очнулась от вялой сонливости.

— Почему это именно сейчас пришло тебе в голову?

— Я только хотел сказать, ты не должна оставаться одинокой, даже если я умру.

Она резко и испуганно поднялась, поспешно нащупала его теплую, спокойную руку, от нее не укрылось, как слабо и тихо прозвучал его голос, когда он впервые высказал эту мысль.

— Что ты! — хрипло и напряженно пробормотала она. [...]

— Ну, ну, не надо пугаться, однако время сейчас тяжелое, а будет еще хуже, хочешь не хочешь, надо быть ко всему готовым... [...]

Когда после неудачной репетиции Ольга вернулась домой, Карел успокоил ее ясным настроением и разговорчивостью, он снова весь погрузился в творчество.

— Представляешь, из «Фолтына» получается нечто вроде моего художественного кредо; всегда так бывает: любой жизненный материал в конце концов требует своего выражения. Вообрази, такой бесталанный дилетант, болтун, позер и враль, а ведь именно он спровоцировал меня на самые строгие оценки, на самые смелые прикосновения к столь святым вещам, как искусство и ответственность перед ним. Ничего не попишешь, порядочный человек этого бы из меня не вытянул, с ним говоришь сдержанно, вполголоса и т. д. Что ж, оказывается, я не совсем напрасно придумал этого печального мошенника. [...] Здесь будет все, что я люблю и во что верю: закон всеобщей взаимосвязи и тому подобное, чистота подлинной ценности, которой не достигнешь никакой алхимией, никаким, пусть даже самым возвышенным обманом. [...] Может, я выскажу самое сокровенное и сниму с себя часть тяжести, которую ношу на сердце. Нет, никогда не становится легче, сколько ни раздаешь гнетущей тебя тяжести, только обременяешь ею еще и других; но это не важно, с тяжелой жизнью не так легко распрощаться, сама она не выскользнет из рук.

Они спустились вниз, чтобы пообедать за маленьким столом. В широком окне стыл сад. Экономка сообщила, что по соседству умер семидесятилетний старик. Всего неделю назад он кормил в своем саду черных дроздов, и вот...

— Боже мой, — сочувственно произнес Карел, — не хотелось бы мне покидать дом в такую стужу.

Холод в самом деле был ужасный, у Карела начался

насморк, как и всякий год в эту пору, на другой день у него даже разболелась голова, напомнила о себе старая мигрень. Они были приглашены на ужин, пришлось Ольге пойти одной. Когда она вернулась, Карел лежал в своей комнате и читал.

— Мне уже лучше, — сказал он, хотя раньше не признавался, что ему плохо.

Прогнал с глаз завесу усталости и усадил жену рядом с собой — прямо в вечернем туалете.

— Покажись, — мило попросил он и смотрел на нее в блаженном удивлении, что она у него есть. Он не слишком разбирался в нарядах, но радовался, когда платье ей шло. — Ну, рассказывай...

— Все сейчас говорят одно и то же, — вздохнула Ольга. — Все страдают, терзаются и трепещут перед приходом Гитлера. Несовпадение лишь в том, когда этого ожидают — завтра или послезавтра.

Чапек мудро смотрел вдаль, от нее не ускользнуло, что он стал как будто уже в плечах и с трудом держится прямо. Выглядел в своей пижаме, почти как мальчишка, только в глазах светилась тысячелетняя мудрость.

— Нас ожидает хаос, горе и унижения, ложь и множество напрасных смертей, — сказал он просто. — Разверстый ад, предел глупости, на какую только способно самое умное на свете существо — человек. Но не бойся за человечество, оно зализает все свои раны и стряхнет все ошибки; пока это удастся ему лишь на время, но когда-нибудь — и окончательно. Никто не может безнаказанно, без роковых последствий позволить себе какой бы то ни было произвол, судороги, скотство, потому что любой человек связан с нравственными законами больше, чем полагает. Даже тот, кто вконец одичал, должен будет покорно и униженно вернуться в свой нравственный хомут, без которого он погибнет, как обезумевшее животное; это неодолимый и неколебимый закон. Будь спокойна, когда-нибудь он дойдет до сознания даже самого глупого народа. [...]

Рядом с его постелью лежала рукопись, словно он ни на минуту не хотел отрываться от работы; он всегда терпеливо по многу раз перечитывал написанное — с самого начала, страницу за страницей, чтобы каждая строка включилась в абсолютную общую закономерность. [...]

Маленькую комнату согрело тепло доверия и откровенности, после года политической борьбы и поражения это был опять вечер, целиком отданный полнокровному общению двух художников. Только под конец беседа снова возвратилась к их заботам и страстным надеждам. [...]

— *Остаться на высоте*, — горячо говорил он, — *одинаково трудная задача как в политике, так и в искусстве. Быть на высоте — означает быть на высоте всех веков. Своей правдой преодолеть все временные проигрыши и неудачи.* [...]

На другой день Чапек чувствовал себя уже почти совсем хорошо, только ощущал обычную при насморке вялость тела и мысли; в таких случаях он обычно прекращал писать и ради отдыха развлекался садоводческими преискурантами. На третий день бодро и сосредоточенно принялся за работу. [...]

— Подплываю к самым прекрасным главам, — говорил он за едой, вкуса которой не замечал. — Пожалуй, своим творчеством я ставил перед собой задачи двойного рода: порой я служил человечеству, порой — человеку. Возможно, и то, и другое одинаково необходимо, но второе решительно более занято.

Он отодвинул пачку писем, чтобы не замарать чистоту мысли анонимным хамством.

К вечеру спустился с мансарды — соскучился по друзьям; начал созывать их по телефону прежде, чем Ольга успела этому воспротивиться. [...]

Звал их в какой-то странной спешке, словно что-то произошло; Ольга знала, что он не любит разговоров о здоровье, но все же решила вмешаться:

— Ты еще не совсем оправился, я отменю приглашение, объясню... Можно будет встретиться как-нибудь в другой раз.

— Наше «в другой раз» — вещь весьма ненадежная, моя дорогая, — резко возразил Карел. Неожиданно он превратился в мальчишку, которому не позволяют играть с товарищами. — Согласись, имею же я право видеть несколько честных лиц, когда целыми днями брожу по щиколотку в злобе и глупости. [...]

Пришли все, кого он звал, хотя на дворе свирепствовал двадцатидвухградусный мороз; не было заметно, что Чапек себя плохо чувствует, радость и бодрость прогнали утомление и простуду. В это воскресенье он

буквально горел интересом ко всему, и плохому, и хорошему, — сверкал остроумием, излучал веру и непоколебимую убежденность в том, что все дурное для людей справедливых лишь колыбель лучшего будущего.

— До сих пор человечество больше рассчитывало на удачу, чем на разум, — говорил он. — Когда оно будет больше полагаться на второе, в мире настанет порядок. [...]

Потом принес груды писем, которые лежали на карнизе у письменного стола.

— Эта пачка — глоток чистого воздуха, друзья мои. Опять появились люди, испытывающие потребность благородно писать, во что-то верить. Если бы у человечества было столько же соратников по общему делу, сколько судей, мир не оказался бы в такой скверной ситуации. — Его руки скрестились на пиджаке, усыпанном жилками табака. — Слава богу, у нас уже начинается поворот к лучшему, многие возвращаются на те позиции, которые им и следовало занимать.

Чапек прочел несколько писем, которые не столько касались его лично, сколько говорили о доверии к великой нравственной силе прошлого, о необходимости опираться на нее. [...]

— Люди начинают распрямлять спины, верить, надеяться, это хорошо, так мы выдержим, судари мои.

— Выдержим... что?

— Самое плохое, — забасил он весело, чтобы не внушать своими словами ужас. — И это самое плохое — наше ближайшее будущее. [...]

Расходились перед полуночью, дав друг другу обещание в ближайшее воскресенье снова встретиться.

— По крайней мере, поможете, мне пережить воскресенье, — весело кричал им вдогонку Карел, — не выношу воскресений.

Следующие два дня он почти не отрывался от письменного стола; его «Фолтын» продвинулся настолько, что уже мог вынести самую жестокую правду, которую хотел вложить в него поэт. Рука Чапека мелким почерком выводила простые слова великих предостережений, толкования мирской святости, именуемой искусством. [...]

Вечером Ольга играла веселую роль классической субретки и после представления торопилась домой: Карел весь день писал, будет о чем поговорить.

Карел сидел в столовой над пасьянсом, увидав ее, он смущенно смешал карты.

— Вышло? — засмеялась Ольга с порога.

— Нет и нет, хоть сто раз раскладывай; может, оттого это меня и забавляет. Такое упрямство! — Чапек молчал удивительно долго. [...] — У меня невыносимо болит голова, — с усилием произнес он наконец. — Наверное, слишком много писал.

Утром он снова отправился в кабинет работать; Ольга заметила, что походка у него какая-то вялая, но боялась что-нибудь ему сказать, он ведь так стыдился своих недомоганий.

— Тебе надо лежать, — заметила Ольга озабоченно и немного проводила его.

Он отказался с ласковой улыбкой:

— Лежа писать невозможно. До встречи.

В полдень он не прикоснулся к еде. Теперь уже было явственно видно, как плохо он выглядит, как осунулся, словно со вчерашнего вечера у него изменились лицо, руки, выражение глаз. Все это не могло быть только следствием трагических событий.

— Ты должен лечь, сейчас же, — решительно заявила она, — у тебя грипп или что-нибудь в этом роде, надо лежать...

— Не пугайся, — улыбнулся он. [...] — Видно, все это как-то во мне накопилось, весь этот страшный год, вся мерзость, работа, напряжение, отвращение... — Он откинул голову на спинку кресла и устало прикрыл глаза. — Я должен дописать, — тихо бормотал он побелевшими губами. — Не могу разрешить себе болезнь, не могу прервать работу, от такой остановки я многое потеряю.

Ольга осторожно вела его в спальню:

— Сейчас ты чуточку отдохнешь, а потом будешь продолжать, все равно — главное уже написано.

— Главного, вероятно, никогда не напишешь, — говорил он, развязывая галстук, — да что уж там, это, поди, и вовсе невозможно. Такое ощущение возникает после каждой книги, после каждой новой вещи, и опять начинаешь писать... в надежде сказать главное... я опять бог весть почему не доходишь до цели. Пожалуй, даже са-

мым великим до конца суждено выполнить лишь второстепенное главное же бог не позволяет вырвать из своих рук пожалуй, человеку суждено ходить лишь окольными путями.

В постели он выглядел значительно лучше, щеки вновь обрели молодой румянец, серьезные глаза, как всегда, улыбались.

— Когда лежишь, — говорил он, — превращаешься в ребенка, которому не надо идти в школу, правда? Прекрасно, Олина, дашь мне каких-нибудь сластей, которых я вообще-то не ем, и хороший детективный роман. Боже, до чего мир сразу сужается, когда не надо идти в школу. [...]

Вечером у его постели сидело несколько человек. Существовали еще «Демократия детям», редакционные и другие обязанности, от которых нельзя отказаться и при высокой температуре. Кто-то из друзей принес известие, которому трудно было поверить: евреи были исключены из Общественного клуба. Это прозвучало как первое предвестие морального одичания. Чапек взволнованно приподнялся и, сидя, обвел присутствующих вопросительно-испуганным взглядом нездоровых, блестящих глаз, словно хотел сказать, как он страдает от того, что силы отказали ему в самый критический момент. [...]

— Кто это сделал?

Несколько смущенных голосов пытались найти оправдание: мол, руководители клуба хотели спасти положение, опередить события, предотвратить кару. Чапек не желал, не мог этого понять.

— Когда я встану, — глухо, с явным напряжением произнес он, испытывая стыд за тех, кто впервые унижился до морального прислужничества, — я скажу им, что напрасно они торопятся. Несправедливость и трусость никогда не были добрыми советчиками. Пусть немцы делают, что задумали, но никто из нас не должен идти им навстречу по этой дороге безумия и преступлений. Чего бы это ни стоило, лучше потерять все, чем принять участие в воровстве.

Он пылал отвращением и решимостью. [...]

— Защитите справедливость, право и для тех, кого вы, быть может, даже не любите, — гудел он мрачно, — стоит поколебаться, и от всего этого, люди добрые, следа не останется ни для кого — ни для вас самих, ни для всех прочих!

Тут Карел неожиданно осознал, что слабеет, призрачная рука странной усталости сковывала его голос и дыхание, он с детской неискушенностью пугался этого.

Жена, увидев его робкий взгляд, постигающий ужас болезни, подседа ближе.

— Во мне болит все человеческое, — сказал он с улыбкой, как бы отделяя душу от тела, над которым уже был не властен. [...]

— Вот видишь, Каченка, у тебя настоящий бронхит, страшный кашель, — сказала она с упреком, словно он сам старался нажить эту болезнь.

Ольгу удивляло, что он сидит, она обняла его за шею, чтобы удобнее положить. Карел сделал слабую попытку высвободиться.

— Так я буду кашлять еще больше, — возразил он чуть слышно и маленькой рукой прижал ко рту носовой платок.

Плечи под пижамой вздрагивали от участвовавшего напряженного дыхания, на лбу выступило несколько капель холодного пота.

— Газету, — неожиданно попросил он после очередного приступа кашля.

— Тебе нельзя волноваться, — возразила Ольга, но пошла за газетой.

Сегодня она еще могла дать больному газету, а завтра в ней уже появится сообщение о состоянии его здоровья, сообщение тревожное, которое может...

Ольга принесла две газеты, лежавшие на столе в холле, вероятно, их читал кто-то из вчерашних посетителей.

— Прошу тебя, только недолго, — умоляла она. — У тебя мало сил.

— Завтра их будет еще меньше, — заметил он строго и, борясь с приступом кашля, пытался прочесть хотя бы заголовки на первой странице. Это была газета аграрной партии. Ольга поздно осознала свою оплошность. «Письмо Эдуарда Бенеша Карелу Чапеку» — кричали жирные буквы заголовка. «Карел Чапек поддерживает тайную связь с бывшим президентом».

То было фальсифицированное, кем-то от начала до конца выдуманное письмо, в действительности его никто не отправлял и не получал. [...]

— Какая подлость, — устало произнес Чапек. — Тут

дело уже не во мне, а в тех дурных и вредных последствиях, которые из этого произойдут. Господи, если бы я мог встать и сказать им во всю силу легких, что я об этом думаю. Во всю силу здоровых легких, моя дорогая.

Она вскочила и бросилась к телефону:

— До сих пор мы не требовали опровержений, что бы о нас ни писали, но тогда мы несли ответственность только за себя. То, что нас поддерживало, было достаточно сильно, чтобы противостоять подлости, но теперь...

Он кивнул, провожая ее взглядом до соседней комнаты, где она набрала номер редакции «Вечера». [...]

В шесть часов он откинулся в подушки, посиневший и оцепенелый; профессор, который делал последний укол в руку, от волнения покрылся потом. Чапека привели в чувство, но он не говорил, лежал с синим лицом, в которое уже вонзила когти смерть. И не сводил больших глаз с жены.

Теперь они остались одни, только Ольга, он и профессор — свидетель их прощанья.

— Иди ля г, — сказал Карел слабо, точно хотел избавиться от самой большой своей за б о т ы, — я уж справлюсь сам.

— Когда уснешь, — кивнула Ольга, довольная, что слышит его голос, и нащупала под одеялом холодную ступню. [...] Потом снова взяла его руку и улыбнулась, глядя прямо в глаза, как довольная мама, на плече которой наконец-то засыпает спасенный от смерти ребенок.

Дыхание его стало чуть слышным, как дыхание всего, что умирает: дыхание забитой до смерти птицы, дыхание засыпающей вечным сном рыбы, дыхание раздавленной бабочки. Страшная боль судорогой прошла по его телу и лицу, на глаза спустилась еле приметная завеса.

— Засыпает! — радостно крикнула она врачу.

Карел услышал и пожал ей руку. Новый укол уже не подействовал; воздух уходил из комнаты, как будто она умирала вместе с ним. Его глаза широко раскрылись, удивленно, но без страха, прояснились от блеснувшего в них сознания близкого конца, словно он перед смертью пробудился к жизни. Лицо Ольги улыбалось, пыталось сказать что-то радостное, в чем уже никто не

нуждался. Теперь он ясно осознал это. Трудно было заговорить, как бывает, когда узнаешь самое главное; судорога свела рот умирающего, чтобы он уже не мог поведать живым тайну смерти. Карел вырвал свою леденящую руку из ее успокоительной ладони и, собрав последние силы, поднял два пальца — средний и указательный — дорогой ее сердцу символ содружества, которое уходило в небытие. Мы были вместе, Ольга, вдвоем. На все вдвоем: на рост, на боль, на борьбу и на скупые часы счастья. Вдвоем на победы и поражения, на жизнь и на смерть, моя родная.

Он умер на ее плече в три четверти седьмого. [...]

— Сердце не выдержало всего этого, — сказал профессор, бледный, словно он тоже принадлежал к семье покойного, и закрыл ему глаза. [...]

КАРЕЛ ЧАПЕК И МАЛЕ СВАТОНЁВИЦЕ

Карел Чапек часто рассказывал мне о своем родном крае, где тридцатого июля будет открыта мемориальная доска на доме, в котором он впервые заплакал, извещая о своем появлении на свет. Вспоминал, но не хотел туда возвращаться, чтобы впечатления, прошедшие через увеличительные стекла детских зрачков, не уменьшились от трезвости взрослого сознания. Но его замечания, обрывки воспоминаний, улыбки и покачивание головой, когда речь заходила о первых путешествиях по земле, путешествиях от Упице до самого Гронова, убеждали меня, что родиной для нас остается место, где мы впервые почувствовали надежность затворов и дверей отчего дома, увидели свет родных окон, ощутили запах сена, тление осени, набухшие соками вёсны. Родиной всегда остается место, где мы открыли для себя головокругительное чудо первых в нашей жизни бабочек и цветов, неизъяснимость звезд и вселенной, солнечные закаты, тени деревьев, воды, бегущие к неведомой цели; место, где мы, затаив дыхание, слушали первые в нашей жизни голоса животных, рокот машин и грозы, хоровое пение людей и крикливые хоры птиц. Место первого изумления, испуга, познания, первого волнения и первых проявлений человечности.

Я видела, как это сопровождает Чапека всю жизнь,

словно бы не было никакого расстояния между миром, где он жил позднее, и прамиром, где он впервые огляделся вокруг глазами новорожденного. «Вот у нас, в предгорье...», «Боже мой, то ли дело наши, там — дома...» — повторял он при всяком удобном случае.

Оживлял первые впечатления, точно отирал пыль со старой картины, чтобы редкие краски не потускнели от времени. Нес с собой связь с родной средой, проявляющуюся всякий раз, когда он присаживался на корточках над ручьем, над коркой промерзшего снега, когда восхищался отвагой первых прелестных крокусов.

— Тут совсем как у нас дома, — вспоминал он в Норвегии, в Швейцарии и в Доломитовых Альпах. Все на свете было продолжением некогда впервые явленной ему панорамы далекого родного гнезда.

Когда мы обосновались за городом, Чапек нередко становился мальчишкой, едва переступившим порог детства. Среди современных картин он повесил и несколько компромиссных творений прошлого века, потому что это были первые художественные впечатления, некогда приковавшие внимание ребенка. Он никак не мог расстаться со старым громоздким шкафом, подходил и принохивался к нему, потому что даже за полвека из него не выветрился запах отцовских лекарств. А стоя перед домом, часто осматривался вокруг и сравнивал: «Такой же ручей протекал у дедушкиной мельницы... Гляди, болиголов, бабушка ходила рвать его.... Чу, совы... с детства не слышал такого уханья...» Он побеждал время и расстояние, благоустраивая уголки, которые напоминали ему детство, удалявшееся со скоростью звука, света, налетевшей бури.

Однажды мы вместе побывали в тех местах, — тогда его «Разбойника» ставили под открытым небом. Это было уже давно, и мои воспоминания затянула дымка дождя, с готовностью и охотой доказавшего нам, что театральные представления на лоне природы — вещь неестественная и до сих пор не получившая у небесных сил одобрения. Карел Чапек ходил по следам прошлого с растерянной улыбкой, словно стараясь быть особенно осторожным в обращении со столь хрупкой вещью. Много узнавал, перед многим останавливался с разъяснением, воспоминанием, шуткой. Потом осмелел и тут уж не мог насытиться людьми, дорогами, знакомыми местами, таскал меня от Гронова до Бабушкиной долины,

замирал, смеялся, нахваливал и спешил дальше — порадоваться, помолодеть, махнуть рукой, прощаясь со временем, самым прекрасным и невозвратным.

— Понимаешь ли, — говорил он на обратном пути в Прагу, — родное гнездо — это некий мир в себе, не изменяющийся ни от времени, ни от появления новых лиц. Твое детство и первые жизненные впечатления просто остались в воздухе, в запахе халуп, в глазах людей и собак, в окружающей зелени и в небесном пространстве над ним. Там у нас все разрослось, дома стали выше, а жизни стало больше, но это ничего не значит, это всего лишь несколько лишних кубиков в детском наборе, который господь подарил тебе для первых игр. Наверное, я не скоро туда вернусь, на прекрасное надо смотреть бережно и издалека, но я счастлив, что вновь перелистал эту сказочную книжку.

И еще один раз я видела, каким глубоким чувством Карел Чапек связан с родным краем. Это было после Мюнхена, когда немецкий нож кромсал чешское тело, отделяя кусок за куском, рассекал артерии, вырезал мускулы, чтобы ослабить то, что оставалось, перед последним, смертельным ударом.

Каждый день Чапек приходил в ужас, отмечая территорию, которую нацистская прожорливость повергала в политическое и географическое рабство. И вот однажды утром он сидел над нетронутой чашкой кофе, всегда доставлявшего ему величайшее удовольствие. Держал в руке газету и смотрел куда-то перед собой большими и оскорбленными глазами.

— Что случилось? — спросила я, заранее боясь ответа. Обычно он не выдавал своих душевных переживаний.

— Сватонёвице, — сказал Чапек тихо, — уже приближаются и к ним. Немцы продвигаются и захватывают нашу землю, скоро ворвутся туда, к нам, в места самые чистые, сегодня или завтра уведут в рабство доброго духа этого края, опозорят и обесчестят очарование бедности, горняцкое достоинство и гражданскую солидность моих земляков.

И ушел наверх, в свой кабинет, не позавтракав, с неумолимо жестокой газетой в руке, пристыженный и пунцовый, словно кто-то публично отхлестал его по щекам.

КАРЕЛ ЧАПЕК ВБЛИЗИ

В Кареле Чапеке действительно было нечто особенное. Каждый, кто его знал, кратко формулируя свое мнение о нем, не мог не сказать: даже если бы этот человек ничего не написал, все равно он был бы выдающейся личностью. Присущие ему черты: ясный, живой ум; пылкий, пылкий, неиссякающий интерес к жизни; поэтическое и философское восхищение природой и самим существованием человека; уважение к ближнему; прелестная и целомудренная нравственная строгость, чурающаяся вместе с тем указующего перста; требовательность к себе и снисходительность к другим — все это было воистину незаурядно. Им владели, будучи сильнее его, два прирожденных свойства — любовь и сострадание. Чапек был олицетворением всех положительных человеческих качеств и с их помощью воевал против пороков человечества. Целомудренный и простой, он редко публично заявлял о своей любви к родине, но любил ее такой чистой и преданной любовью, какой только дано любить мужчине, человеку. Человечество, жизнь, весь мир были для него неисчерпаемым источником самого пристального интереса, объектом изучения и исследования, но главной артерией своего сердца он считал собственную страну. И хотя книги Чапека покорили весь мир и книжные полки в его кабинете заполнялись все новыми и новыми переводами, в том числе даже на самые экзотические языки, особенно счастлив он бывал, когда его понимали дома, на родине. Этот писатель с мировым именем был и в корнях, и в кроне чехом, радующимся любому успеху в искусстве, достигнутому соотечественником, ибо такой успех каждый раз поднимает духовный уровень всего народа. Он был чехом настолько, что в тридцать восьмом году отказался уехать за границу, потому что он не хотел покидать в беде своих сограждан.

Образованный и постоянно расширявший свой кругозор, Чапек никогда не выставлял эрудицию напоказ, никогда не цитировал любимых авторов. Глубоко серьезный, он даже в самые тяжкие времена никому не портил настроение своей грустью; улыбался, шутил и перед смертью, стараясь приободрить людей, которых опечалит его кончина и которых он любил. В жизни он был великим примером самообла-

дания, источником юмора и неисчерпаемой сердечности, поэтому так любили его все друзья. Он трудно сходилась с людьми, был застенчив, но если уж с кем-нибудь подружился, то относился к другу, как к члену семьи.

Память у него была исключительная, хотя личные обиды он умел забывать, старался не придавать им слишком большого значения и обычно только отшучивался. Многое, что всякий другой вряд ли мог бы стерпеть, он считал пустяком. Не обращая внимания на обиды, которые касались лично его, он тем не менее был бескомпромиссно строг к тем, кто посягал на святое святых нации или наносил ущерб уровню общественной жизни. Свое «я» он не отделял от понятия «мы». Мужественный в борьбе и по-детски доверчивый, он был истинным олицетворением поэта. Сам умел переносить страдания, но морщился от боли, когда страдал кто-либо другой. Он не пренебрегал достоинством противников, не унижал их, ему было трудно произнести недоброе слово. Тем поразительнее, что уже в относительной изоляции и без оружия он с такой невиданной страстью бросился в бой против гитлеровского кошмара. «Порой надо выполнять свой долг, даже если это будет стоить тебе жизни», — говорил он, когда мы, окружающие, трепетали от страха за него. В его хрупком теле откуда-то брались силы для упорной борьбы, в ней он обрел некую трагическую монументальность. Спустя три месяца после Мюнхена он продолжал писать, как до него, сражался в буквальном смысле слова до последнего дыхания. «У меня не хватило здоровья для военной службы, — говорил он. — А так я выполняю свой долг». Он выполнил свой долг и пал на поле брани.

Когда над нашей республикой нависла смертельная угроза, я была свидетельницей его борьбы за свободу не только на родине, но и за границей. В тридцать седьмом году он представлял Чехословакию в Париже на международном конгрессе Пен-клубов и встречался там с крупнейшими величинами мировой литературы. Не забуду его дебатов с Францем Верфелем, в ту пору уже бежавшим из Германии, по вопросу о нашем немецком меньшинстве. Помню настойчивые предостережения в адрес Франции, которую представлял Жюль Ромен, разговоры с Фабрициусом о взаимном сотрудничестве

малых народов. Лион Фейхтвангер, уже знавший, что ожидает человеческий дух под властью Гитлера, не скрывал при этом своего трагического скепсиса. Чапек был на приеме у Дельбоса и у президента Лебрена, присутствовал на собраниях и банкетах и всюду повторял, подчеркивая трагическую серьезность предупреждения: «Чехословакия!» То же повторилось и год спустя, когда международный съезд писателей проходил у нас. Тут он после нескольких лет перерыва вновь встретился со своим другом Уэллсом. В доме было полно выдающихся литераторов, и Чапек обращался к каждому, точно тряс за плечи, убеждая не допустить гибели нашей страны. В ту пору он отдал особенно много душевных и физических сил. Его ужасало, насколько не готовы к борьбе те, кому мы верили. Он сопровождал иностранных писателей во время сокольского слета и поездок к военным, чтобы гости сами убедились в нашей собранности, в нашей готовности оборонять святая святых. Вечером, падая от усталости, с тревогой говорил, что эти сыны крупных государств рассуждают и чувствуют себя спокойнее, чем мы. Карел писал в заграничные газеты, объяснял, кто мы такие и чем должны остаться. И со все большей горечью переживал роковую безнадежность борьбы. В то время он воспринимал свой домашний мир с печальной улыбкой, как игрушку, которую давно перерос. Смотрел вперед большими глазами, часто их прищуривая, словно в ожидании удара. Потом поднимался и снова шел кого-то убеждать, кому-то писать. «Они не могут выдать врагу самих себя», — говорил он, потому что ясно видел, куда все это ведет.

Вот уже двадцать лет, как он мертв. С тех пор над скромной могилой пронесли величайшие исторические события. В этом доме остались его книги, все его творческое наследие, в котором воплотилась его личность. Наследие, подписанное именем, которое со временем станет символом, как это бывает в литературе всякого народа. Но для нас, для тех, кто был с ним близок, он остается живым, словно сидит где-то в соседней комнате и каждую минуту может к нам выйти. Вечный юноша ходит по земле Стржи рядом со стариком, ищущим подземный источник, и смотрит, как тот простым прутиком обнаруживает воду. Ходит гордый, что вскоре сможет сделать это и сам, и удивленный, ибо объясне-

ния этому дать не может. Преданный друг, стоящий на колдобистой деревенской дороге, встречая гостей. Чапек домашний, в течение пяти минут, сидя за чашкой кофе, решающий кроссворд и сердящийся, что все кроссворды слишком легки. Чапек с собакой на коленях, в ботинках для сада, принципиально не снимающий их в комнатах, точно так же как он принципиально не снимал домашних шлепанцев, когда нужно было выйти в сад. Грибник, возвращающийся из леса с живым чудом — грибами, которые желает видеть во время обеда на столе, в жардиньерке, вместо цветов, чтобы воочию лицезреть, на что способна природа. А потом вдруг видишь бойца, отринувшего все дары жизни и стоящего твердо и отважно лицом к лицу с трагедией, точно он может задержать ее, подставив собственную голову или вытянув вперед руки. Привычная улыбка на его лице твердеет, а на черной смоли висков что ни день прибывают белые волосы. Для нас он больной, исполненный деликатной бережности к тем, кто здоров, несчастный оттого, что своей болезнью портит врачам и медицинской сестре рождество. Умирающий с озабоченностью во взоре и на устах — как будем жить мы, когда он перестанет нам улыбаться.

От юноши-Чапека тут остались гимназические лекции бабочек, его любимая книга — «Красное и черное» Стендаля, которую он с молодости не перечитывал, боясь, что при втором чтении роман уже не так ему понравится. Ученический столик, на котором он писал, да несколько раковин, найденных во время морского отлива. Бледнеющее в памяти повествование о его детстве и о Париже, полуистлевшая шаль, которую он купил, когда был с братом в Марселе. Первая маленькая картина Шпалы, подаренная на мое семнадцатилетие.

А от зрелого Чапека остались записные книжки садовника, человека и писателя. Садовнические блокноты полны латинских названий цветов, которые он хотел вырастить или узнать. Его личные записи пестрят планами путешествий, перечнями предстоящих визитов и еще не исполненных общественных обязанностей, в них незначительные пометы соседствуют с роковыми датами. Они радостны и трагичны, как жизнь всякого человека. А в записных книжках писателя — заготовки для статей и книг, которые он соби-

рался написать. Но после Мюнхена его оторвали от письменного стола, и теперь он там, где уже не предостерегают, не борются, не пишут.

ИЗ РАССКАЗОВ О КАРЕЛЕ ЧАПЕКЕ

Карел Чапек, собственно, всю жизнь оставался учеником, человеком, вечно ищущим и что-либо изучающим. Не было литературы — от негритянских сказок до самой современной, — которой бы он не читал, не было науки, которая бы его не интересовала. «Писатель это должен знать», — говорил он и изучал химию и физику, историю и естествознание, доставал брошюры о новых открытиях медицины, увлекался биологией. Его земное царство охватывало дух и природу, человека и все живое. Он не был книжным червем, изучение наук наполняло его такой же радостью, как уход за цветами или путешествия. Он стремился познать мир, в котором жил. Добросовестность была для него и наслаждением, и законом. Он изучал особенности людей, насекомых и растений так же восторженно и внимательно, как Эйнштейнову вселенную или квантовую теорию. Жил в величайших и мельчайших мирах человеческих открытий и знаний. И постоянно бывал недоволен, что знает так мало. Видеть и познавать было для него, пожалуй, важнее забот о собственных благах. «Нет необходимости переживать все самому, — говорил он, — со временем становишься наблюдателем, зрителем и получаешь, что тебе положено». Видел Чапек необычайно зорко, никто не мог у него этому научиться. Определял натуру человека по его лицу, характер животного по его движениям, предвидел будущие события по досконально взвешенным и логически осознанным свойствам современного ему общества.

Театр Чапек познал в общении с актерами как автор, заведующий литературной частью и режиссер. Некогда на Виноградах, в Городском театре, он начал выбирать для Квапила репертуар, а вскоре, едва оглядевшись в театре, взялся и за режиссуру. Как драматургу ему хотелось попробовать самому представить пьесу на суд зрителей. Тут он тоже стремился расширить свои познания и понять, как это делается, как театральная пьеса из книжного текста превращается в

живое сценическое произведение. Он начал с азов, с театральной техники, захотел постичь законы сценографии и освещения. Скромно советовался с актерами и, только постигнув все это, приступил к делу. Выбрал «Старую историю» Зейера и способствовал ее необычайному успеху. Позабавился мольеровским Станарелем и стал мечтать о драме, даже о трагедии. Поставил «Хлеб» Геона и для этого ходил с Ярославом Войтой в пекарню набираться опыта. Затем последовал шеллиевский «Ченчи» с Леопольдой Досталовой, и, наконец, он развлек публику озорным Аристофаном. И снова, когда всему научился, когда до конца познал законы театральной практики, с сожалением оставил режиссуру и заведование литературной частью, потому что театр требовал слишком много времени, необходимого для литературы. Но этот опыт был для Чапека очень полезен. Он не расставался с театром даже в то время, когда как драматург надолго умолк, постоянно встречался с актерами и режиссерами, чтобы не утратить тесного контакта с закулисной атмосферой. Чапек не был поклонником «динамизма», не приходил в восторг и от модного в свое время экспрессионизма, он оставался страстным любителем сценической правдивости, тонкой психологии и неискаженной человечности.

У Чапека было много дружеских связей, особенно в художественном мире. Он часто говорил о том или ином актере: «Я его люблю», или: «Я его уважаю». Вступив на почву театральной практики, он начал познавать вблизи актерские индивидуальности и каждый день находил в ком-нибудь что-то интересное. Ему было ясно, что актер — это удесятренная фантазия и чувствительность, вечная борьба с депрессией, сменяющаяся смехом и гипертрофией сердца. Он говорил, что актеры представляют собой драгоценное достояние национальной культуры, и каждого стремился занять в спектаклях, пробуждая фантазию исполнителя тем, что поручал ему роль, противоположную его обычному амплуа. Как заведующий репертуаром, Чапек порой вынужден был идти на компромисс, чтобы выявить творческую индивидуальность крупного актера или актрисы. Он знал, что писателю достаточно пера и бумаги, художнику — холста, скульптору — глины, а вот актер в своей художественной деятельности целиком зависит от репертуара и милости театрального руководства. Чапек

полюбил утонченного Закопала и могучего Вацлава Выдру, старался, чтобы прославленный трагик время от времени играл в комедии, а исполнитель, обладающий тонким чувством юмора, — в трагедии, и был счастлив, когда в результате этого рождалось значительное актерское достижение. Он восхищался целомудренной сдержанностью Карела Вавры, актерской всесторонностью Зденека Штепанека, героическим пафосом Леопольды Досталовой, стихийностью творчества Марии Бечваржовой, детальной разработкой ролей, характерной для Франтишека Коваржика и Людвика Веверки. Дома и в театре Чапек много лет подряд смеялся над неотразимым юмором Гааса и мечтал увидеть его в большой трагической роли. Потому-то он был так доволен, когда впоследствии Гаас с подлинным совершенством сыграл доктора Галена в его «Белой болезни».

Контакты с актерами занимали Чапека, он говорил, что это большие дети и для их понимания нужно иметь специфическую психологию. Заходил покурить в актерские уборные, подмечал, кто слишком возбужден, а кто замкнут и сосредоточен, но, полный сочувствия, предпочитал бежать от нервозности и беспокойства. Он не любил посещать премьеры — не выносил актерского волнения, а на собственных премьерях бывал абсолютно спокоен. Я убеждена, что как режиссер он испытывал большее напряжение, чем как автор. Когда Чапек присутствовал на премьере своей пьесы, он скорее проявлял интерес к тому, как будет реагировать зритель и произведет ли та или иная сцена надлежащее воздействие. Обычно он принимал участие в репетициях и во время подготовки спектакля до крайности выматывался, но в роковой для нового детища вечер ему, в самом деле, было лишь любопытно, что из всего этого получится, как будто речь шла о пьесе какого-то постороннего драматурга.

Мы не раз видели, что как автор Чапек с уважением относится к актерам, часто он представлял себе действующее лицо пьесы совсем иначе, чем исполнитель, но никогда не навязывал последнему своей воли. «Он подошел к этому персонажу иначе, — задумчиво говорил Чапек дома, — однако я не могу отвергнуть такое решение, потому что созданный им образ сильнее его и это решение — чистое и живое; приходится уступить», Столь же терпим он был и к критике, если та не ка-

залась ему предвзятой и злонамеренной; с улыбкой сносил все яростные нападки поколения, только вступающего в литературу. Когда ему доставалось от какого-нибудь розовошекого авторитета, он рассудительно качал головой: «Что он может поделывать со своей молодостью?»

К написанию романа готовился долго, порой — более года, без конца обдумывал сюжет, вынашивал и менял замысел и лишь после этого, наконец, сел за работу. Тут наступали изнурительные месяцы сосредоточенности и корпения в запертой комнате, куда при всем его радушии никто не осмеливался войти. В это время он мог говорить только о своей работе и ни о чем ином, рассеянно улыбался и часто в знак согласия кивал, даже не зная, о чем идет речь, точно вежливо защищался, боясь, как бы не порвалась нить раздумий. Добровольно отказав себе в общении с друзьями и цветами, отказав себе в отдыхе, он писал день за днем, месяц за месяцем, медленно и старательно, не выносил, чтобы его мысли подгонялись сроками или договорами. За восемь—десять часов исписывал четыре-пять страниц. В эти месяцы он не читал хороших книг, дабы они не оказали воздействия на его слог, падал от усталости в постель, но и там больше размышлял, чем спал, брал отпуск в редакции, а в благодарность за это безвозмездно уступал свой роман для публикации в газетных подвалах.

Когда роман был окончен, он давал мне читать рукопись или, если это была пьеса, сам читал ее мне своим гулким голосом и выслушивал замечания явно с большим удовольствием, чем похвалы. «Ты — заинтересованная сторона», — говорил он в таких случаях и ждал суждений широкого читателя. Написав театральную пьесу, всегда звал послушать ее нескольких близких друзей и старался, чтобы в этой скромной аудитории было как можно больше людей разного жизненного опыта и разных воззрений.

На первую читку «Белой болезни», написанной уже в часы нависшей над нами угрозы, помимо тех, кто мог выразить мнение широкого зрителя, пригласил государственных деятелей, военных и врачей. Он интересовался каждым суждением, вносил в текст поправки, если находил замечания справедливыми, но в главных идеях никогда не уступал — за них он отвечал всем своим

творчеством. Любил живые дискуссии, которые вспыхивали после такого чтения, — обычно возникало столько же новых пьес и новых решений, сколько присутствовало слушателей. «Смотрите-ка, сколько на свете драматургов!» — с улыбкой сказал он однажды. После чтения «Белой болезни» присутствовавший на нем глава государства высказал пожелание, чтобы конец был более оптимистичен, но Чапек не уступил ни как автор, ни как мрачный пророк.

В «Матери» Чапек предвосхитил свою собственную судьбу, ибо через год и он оказался в числе тех, о ком в его пьесе говорится: «Когда начинается война, мы, мертвые, поднимаемся».

Пьесы Чапек всегда писал гораздо быстрее, чем романы. «Роман возникает постепенно, а драма — это взрыв, — говорил он, — с ней нельзя слишком долго возиться, чтобы она не остыла под руками, чтобы не перемудрить, не засушить ее — тут уж пан или пропал, как в лотерее». Пьесы он долго обдумывал, а потом писал, как говорится, на одном дыхании. Ему нравилось добиваться словесной экономии, строгой драматической композиции, а работа над диалогом была для него наслаждением. Он понимал, насколько большей силой обладает слово произнесенное в сравнении с написанным. Вероятно, Чапек оставил бы после себя немало пьес, но у него отбили охоту к драматургии. Да и стоило ли приниматься за драму или даже комедию лишь ради того, чтобы добиться успеха и в течение двух часов развлекать зрителей? Он обращался к этой литературной форме, только когда у него было что сказать.

Чапек жил в персонажах, которых создавал. Как актер, увлеченно работающий над ролью, он умел одновременно быть и в персонаже, и над ним. Вынашивая идею, он спорил и сражался с самим собой, противился персоналом, стараясь, как он сам говорил, «не попасть под их влияние». «Поразительно, — удивлялся Чапек, — как перерастает тебя персонаж, если он по-настоящему живой и способен к человеческому уделу. Поначалу ты его хозяин, но постепенно становишься слугой, которому он диктует свои требования, оттесняя в сторону твои планы и начиная жить по-своему. Подчас в нем столько силы, что он меняет весь замысел произведения и распоряжается остальными персонажами, как ему заблагорассудится. Право же, автору нет расчета созда-

вать слишком сильные фигуры, потом ему уже ни во что не позволяют вмешаться».

Однако подобного рода признания Чапек делал лишь в кругу близких, обычно же о своей работе он не говорил.

ВЕСЕЛО О КАРЕЛЕ ЧАПЕКЕ

Если бы меня спросили, что в Кареле Чапеке было самым очаровательным, мне пришлось бы повториться: его мальчишество. При всей своей серьезности и при всех своих знаниях он в какой-то мере оставался ребенком, любопытным, шаловливым, неустанно открывающим мир. Его вечная любознательность, его интерес к тому, как это делается, напоминали пытливость, с какой дети терзают своими вопросами взрослых. Но Карел Чапек дознавался обо всем сам, тихо и вдумчиво, путем изучения и опыта. Он, как говорится, постоянно совал нос и в ремесла, и в открытия, и в искусство. Его интересовала не только наука и природа, но и любое человеческое ремесло и любой труд; он был бесконечно сосредоточен на всем, что происходило в его душе, но столь же бесконечно рассеян по отношению к своему внешнему «я»; вероятно, поэтому необходимость одеваться обычно доставляла ему затруднения.

Он всегда был чистенький, словно бы только что вымытый, но из сада приносил на подошвах комья земли, пока пристыженный тихими и горестными вздохами женщин не согласился после своих садовнических занятий переобуваться у порога дома в шлепанцы. Мы купили ему сразу две пары, легонькие, из мягкой кожи, одни даже красные, чтобы они бросались ему в глаза. Чапек осмотрел их и одобрил это мероприятие как свидетельство похвального стремления беречь человеческий труд и ковер. Он был полон добрых намерений, но рассеянность часто оказывалась сильнее их; с тех пор его нередко можно было видеть стоящим посреди расползшейся вязкой трясины мягкого газона в тонких домашних туфлях, заляпанных грязью, меж тем как его уродливые садовничьи ботинки сторожили вход в дом. «Я больше люблю смотреть на цветы, чем на свои дурацкие ноги», — возражал он, когда его уличали в недосмотре.

Столь же мало внимания Чапек обращал на свою

одежду, он любил хорошие материалы и расцветки, но однажды портной Врзал предложил ему серую грубую ткань; этот портной был добрый человек, однако жил в противоположном конце города — на Малой Стране. За своей элегантной обновкой Чапек зашел только под вечер и в сумерках не заметил, что в общем-то красивый материал имеет розоватый оттенок. Я проявила терпимость к такому экстравагантному выбору, хотя Чапеку этот цвет очень не шел, но настаивала, чтобы муж заказал себе еще один костюм в самом лучшем портновском заведении. Он отправился туда неохотно, тем не менее сообщил мне, что заказал себе новую шкуру из английской материи. «Из какой?» — спросила я с вполне оправданным любопытством и была удовлетворена, когда он похвастал, что материя приятна и мягка на ощупь.

— В этом костюме я смогу сесть к письменному столу или даже опуститься на колени — и он нисколько не сомнется.

— А цвет, какой цвет ты выбрал?

Чапек заколебался.

— Ну, какой-то такой серый. Что еще может носить мужчина, если он не на похоронах и не на светском рауте?

Он успокоил меня, но ненадолго: недели через три пришел наглаженный и с торжественным выражением лица, демонстративно уселся в кресло, положив руки на подлокотники. На нем был тот самый розоватый костюм, который я так не любила, и все же пришлось его похвалить, раз он прямо по-детски требовал этого своей хвастливой позой.

— Тебе сегодня вернули костюм из чистки и утюжки, не так ли?

Он немного удивился и поубавил фитиль светлой улыбки, озарявший глаза и губы:

— Как так из чистки? Это же новый костюм, ради которого ты заставила меня идти к портному, — неуверенно произнес он и не мог понять, почему я расхохоталась.

Я бросилась к его шкафу и вытащила то же розовое уродство в поношенном виде.

— Здесь ведь тот же рисунок, тот же цвет, что в прошлогоднем костюме. [...]

Впрочем, не он один был не в ладах с элегантностью. Когда-то его с братом Йозефом пригласили в Берлин на премьеру пьесы «Из жизни насекомых»; до премьеры

оставалось так мало времени, что они уже не успевали заказать себе новые смокинги, бывшие тогда обязательной принадлежностью парадной одежды. Карел вытащил свой юношеский — сшитый к церемонии вручения аттестата зрелости, а Йозеф одолжил у товарища. Смокинги, мягко говоря, сидели на них неважнецки. Карелу его выпускной смокинг стал мал и короток в рукавах, а статный Йозеф никак не мог застегнуть на груди свою взятую в долг элегантность. Близкие отправили их представлять чешскую литературу за границей с обоснованными и нескрываемыми опасениями, но оба автора привезли домой такой успех, что в конце концов их внешний вид больше никого не смущал.

Зато они рассмеялись от всего сердца, когда критик какой-то берлинской газеты ополчился на отважную пьесу из Чехословакии и в конце рецензии написал о драматургах: «Пропади они пропадом, хоть оба и появились перед занавесом в безупречных смокингах!»

— Вот видишь, — как мальчишка, заливался Карел, — или этот господин ничего не смыслит в театре, или не разбирается в смокингах!

Сам он никогда не замечал, во что одет, и обращал внимание на мое платье, только когда я надевала его в тридцатый раз; даже самый нарядный вечерний туалет не мог привлечь его внимания, как я ни старалась расхаживать в нем перед Карелом. Он знал рисунок и форму крыльев всех бабочек, расцветку пернатых, отличительные признаки бесчисленных растений и трав, но продукция швейной промышленности его так и не заинтересовала.

Его садовничьи брюки скорее годились на облачение огородного пугала, чем на одяние писателя: контакт с землей он ценил в буквальном смысле слова. Сколько раз эти брюки спасали его от неожиданного визита иностранца. Приказав подвезти себя к вилле Чапека, такой посетитель видел за забором человека в брюках, собранных на коленях гармошкой, что-то окапывавшего или половшего. В роли посредника обычно выступал шофер, он снисходительно кричал человеку в парусиновых или потертых вельветовых штанах:

— Эй, дружище, пан Чапек дома?

— Нету, дружище, — лукаво отвечал садовник, а гость, вероятно, бывал чрезвычайно удивлен, когда дня через три, испросив по всем правилам разрешение на

визит, замечал что-то знакомое в лице прилично одетого писателя.

Шляпу Карел Чапек считал ненужной обузой; необходимость ее он признавал только в те дни, когда бывало холодно или шел дождь, но при первых же признаках тепла обычно снимал шляпу с головы и мял в руках. Во всем он любил порядок и тем не менее часто жаловался вслух или писал с дороги, что задержался там или сям, потому что потерял шляпу; по полям с трудом обнаруженной странницы можно было догадаться, в каких переделках она побывала.

Однажды Чапек отправился в Женеву на какой-то съезд и вечером должен был явиться к ужину при полном параде; позвонил мне по телефону, что не знает, чем все это кончится, ибо у него загадочным образом исчезла шляпа, а магазины уже закрыты, и вот ему нечем прикрыть свою несчастную голову. На следующий день он сообщил мне, что нашел шляпу, когда она уже была не нужна, то есть утром, в мусорной корзине, где та очутилась необъяснимым путем. Лежала под коробками и оберточной бумагой, в которых были принесены из города покупки.

Путешествуя по Скандинавии, мы остановились в норвежском городе Нарвике, в гавани под пирамидами крутых гор.

— Вон та похожа на маленький Маттерхорн, — показал Карел Чапек на одну из них, и утром мы двинулись к ней. Буквально на четвереньках вскарабкались по крутому склону, но игра стоила свеч. Небольшое пространство вершины одной горы оказалось подножием другой, более высокой, а вокруг вонзался в небо гребень фантастических зубчатых стен и острых скал. Мы очутились на зеленой площадке, где дрожало от холода маленькое темное озеро, а в нем отражались ледники горных хребтов. Рядом низвергался со скалы безутешный водопад, а на предательском торфянике несли сторожевую службу предостерегающие красные буи. Нигде ни следа жизни, никакой надежды на спасение из этой жуткой и величественной западни природы.

Мы, мой брат и я, сидели рядом с Чапеком, как очарованные, но испуганные дети; право, там было страшно, как в сказке. Наверху — ледяные скалы, внизу — море, под нашими ногами — обрыв, и только вокруг нас — кусочек земли с торфяником и озером.

Чапек сразу же раскрыл альбом для эскизов, чтобы сделать набросок пейзажа в будущую книгу путевых очерков, а у нас веки смежались от усталости. Минут через пять я открыла глаза и стала трясти брата, лежавшего на груди, лицом к горам.

— Где Карел?

Брат не знал и принялся удивленно озирать окрестности:

— Минуту назад сидел здесь и рисовал.

Мы вскочили; уйти далеко он никак не мог. Мы звали его, оглядываясь во все стороны, но наши голоса заглушал водопад. Чапек не мог быть от нас дальше чем в двадцати — тридцати метрах, никакого «дальше» тут вообще не было, он должен был нас слышать и оставаться в поле нашего зрения. Но Карел пропал без следа. Для шуток это было не слишком подходящее место, мы оба побледнели, в голову лезли самые дурные предположения. Наверное, оступился, хотел взглянуть на озеро и... Или провалился в бездонное болото, которое способно затянуть и лошадь, или... Мы снова испуганно кричали, а потом умолкли — голос пресекался от ужаса. На берегу темного озера лежала шляпа Чапека.

— Надо спуститься вниз, в долину, позвать людей, — предложил брат, тщетно пытавшийся сохранить спокойствие, и мы оба, обессилев от страха, стали спускаться по крутому склону, чтобы призвать людей на помощь и организовать спасение загадочно пропавшего.

Мы нашли его внизу, у подножия горы, откуда мы недавно начали подъем к роковому месту. Он заметил наши расстроенные лица и сказал извиняющимся тоном:

— Я так и думал, что вы с ума сходите от страха. Да, эта прогулка кончилась несколько иначе, чем я себе представлял.

— Ох, и заставили же вы нас поволноваться! — со вздохом облегчения произнес мой брат. — Объясните нам, как вы оказались внизу, ведь мы чуть ли не касались вас пятками... Вы начали рисовать и вдруг...

— И вдруг попытался поймать шляпу, которую сорвало с моей головы ветром, потерял равновесие и съехал вниз по скале, как говорится в народе, на заднице. Можете сами убедиться. — И он показал нам насквозь пропыленные брюки. — Меня оторвало, словно кусок пряника, и я понесся вниз, как по детской горке. А очутившись здесь, решил больше не испытывать судь-

бу, не тратить зря силы — и не полез второй раз за вами. Я был уверен, что вы найдете ту расщелину в склоне, по которой я сюда съехал.

Мы облегченно вздохнули, но смеяться были не в силах.

— Ваша шляпа лежала рядом с торфяной трясиной, — пробормотал мой брат, — как вы сами можете догадаться, нам было не до веселья.

— Ах, паршивка, улетела с моей головы! Когда несешься в пропасть, вещи не желают погибать вместе с тобой.

Меня задним числом трясло от нервной лихорадки, пришлось сесть на землю; выглядела я комично.

— Что ты тут делал, пока мы наверху кричали, как помешанные?

— Сражался с огромной красивой кошкой за жизнь одной отвратительной писклявой мыши, — объяснял он, — адский труд — тащить окровавленную жертву из пасти расвирепевшего и ловкого хищника. Ты бы видела, как эта бедняжка дрожала от страха!

— А как ты думаешь, сколько эта кошка поймает за день мышей, которых ты не высвободишь? — усмехнулась я безнадежно.

— Знаю, — кивнул он, глядя на кровавый след, оставленный его подопечной. — Пусть природа делает, что хочет или что ей положено, но пусть хоть не показывает нам ужас своих созданий.

Итак, одна мышь и один человек временно были спасены. [...]

— А где же моя шляпа? — вспомнил Чапек, когда морской ветер начал обдывать ему голову.

— Осталась наверху, на берегу озера.

Он кивнул и, как обычно, пошел покупать новую.

ЖИВОЙ, КАК НИКТО ИЗ НАС

Мы всегда опасались, что семидесятипятилетие Карела Чапека будет отмечаться спустя много лет после его ухода в небытие. Основанием для таких опасений служила не только его физическая хрупкость. Просто никто из нас не мог себе представить, что этот вечный ученик с выражением детской изумленности на лице и искрометным духом когда-нибудь станет стариком. Труд-

но было поверить, что его розовые щеки утратят краску, глаза — блеск, что этот всегда улыбающийся человек, этот фейерверк шуток, замыслов и идей утихомирится, погрузнеет или выцветет от времени. Хотя с каждым часом он становился все мудрее, это не имело ничего общего со степенностью, а десяток серебряных нитей в черных как смоль волосах появился у него уже годам к тридцати.

Преисполненный таинственной силы предвидения, Чапек, по всей вероятности, в душе боролся с теми же опасениями, что и мы, и потому заглушал их жадным интересом к любой, даже самой незначительной жизненной подробности, к судьбам окружающих, заглушал прославлением каждой из тех минут, которыми другие распоряжаются так беспечно и небрежно, ибо не дают себе отчета в том, как мало их человеку отпущено. Живой, как никто из нас, он мучился тысячами ран мира и человечества, но был благодарен за каждый миг познания и бытия. Благодарен за то, что видит золотые монетки солнечных бликов на старом ковре, птиц за окном, гладкую форму фаянсового кувшинчика, из которого наливает себе кофе, и причудливые скопления облаков, за то, что ощущает аромат утра, может наблюдать результаты человеческого труда и шаги прогресса. Все, что когда-либо и где-либо было придумано или успешно осуществлено, он воспринимал как факт, свидетельствующий об уровне современной цивилизации; все, что было несовершенным или бесчеловечным, отягчало и его совесть. [...]

Он умел подмечать красоту и в неказистом, восхищался формой камней, предметов и растений, нежной тканью листьев и цветов, движениями животных, своеобразием и лицами людей. Поэтому он оставил многие сотни фотографических снимков, какие не часто удаются любителю. Это фотографии ключей, сосудов, грубых ботинок и рабочего инструмента, нежной красоты травы, тугих пальмовых листьев, запыленных сорняков, нажившейся хвои и вихрастых хлебных колосьев, робких почек кустарника и увядших цветов гортензии. Тут увидишь и лошадей, и корову в ярме, и стадо гусей, извивающихся гусениц, улиток, сказочные мухоморы и боровики.

Он не был фотографом, стремящимся сохранить на память те или иные моменты жизни. Я сама долго не

могла упротить его сделать хоть один мой снимок. «Тебя я уже знаю», — отшучивался он, давая понять, что это пристрастие прежде всего, а может быть и исключительное, — выражение присущей ему потребности открывать свет, тени и формы жизни. Можно только пожалеть, что он не фотографировал своих гостей. В его доме бывало столько интересных и выдающихся людей, а он ни разу не направил на них объектив аппарата. Зато ездил в Словакию и привозил фотографии ссохшихся старух и стариков, детей, покосившихся халуп.

Чапек не выносил жары, лжи, нищеты, насилия и смерти. Со смертью он полемизировал в «Средстве Макропулоса», стремился избегать соприкосновений с нею как человек и, быть может, потому столь пристально вглядывался в ее пустые глазницы как писатель. Он отдал ей Бродягу в пьесе «Из жизни насекомых», заставляя его упасть со словами человеческого протеста: «Отстань! Не души! Отпусти! Я хочу жить, только жить! Ведь это так немного». Чапек отдал ей и таинственного героя «Метеора», и простодушного Гордубала, и Начальника железнодорожной станции из «Обыкновенной жизни». С его уходом автор примирился словами: «Видно, самое это обыкновенное дело — умереть, раз сумел с этим справиться даже человек такой правильной жизни». Чапек признается в письме, как страдает, когда его Прокоп в «Кракатите» находится при смерти, пишет, что у него у самого жар и что он должен вызволить своего героя из беды.

Точно так же он отгоняет свой толстовский страх перед смертью и в «Матери», где, провидя собственную кончину, смотрит куда-то за пределы бытия. Поэтому Чапек продлевает существование и жизненную значимость мертвых на этом свете. [...]

Дома он любил говорить о своих планах, словно мог ими подпереть будущее, как-то на него воздействовать. «Самые лучшие книги я напишу между пятьюдесятью и шестьюдесятью». Ради этой веры он даже поддался суевью. Однажды в Виноградском театре драматург Ян Бартош нагадал ему по ладони, что он будет жить до семидесяти семи лет. Карел Чапек, тогдашний заведующий репертуарной частью театра, просиял и больше верил в это пророчество, чем в пьесы самого Бартоша. С тех пор он, как его Разбойник, охотно показывал свою линию жизни всем самодеятельным прорицателям и га-

далкам и сразу же старался повлиять на их приговор, ссылаясь на счастливое предсказание Бартоша: «Как-никак семьдесят семь лет на дороге не валяются, голубчики мои!»

Загородный дом в Стржи Чапек благоустроивал, собираясь сделать из него прибежище для своей старости. «Здесь мы когда-нибудь укроемся от мира и будем писать, — обещал он. — Нигде не увидишь столько осенней паутины на чертополохе и елях, как здесь. А бессмертники? Что о них знает Прага?» Сам Чапек знал точно, на каком ясене ухает лесная сова и в котором часу вечера он услышит скрипучий крик коростеля, и обещал этим птицам, что когда-нибудь переселится к ним навсегда.

Околдованный прозрачной красотой Севера, после возвращения он с серьезной миной утверждал, что хочет повторить путешествие по фьордам еще девять раз, как император Вильгельм, хочет наведываться туда через год. С уверенностью, присущей его возрасту, Чапек постоянно планировал в будущем времени: «Поеду, напишу, сделаю». словно бы перед ним простиралась необозримая равнина времени.

Но при этом он подсознательно чувствовал давление ограниченности жизни и спешил поведать миру свои мысли, сокращая рассказ до размеров микрорассказа и микрорассказ — до размеров побасенки, чтобы поскорее произнести все, что ему еще надо было высказать. Уже в самые злые времена он признается Карелу Полачеку, что боится умирания, ибо никогда этого не делал и не знает, как с этим справиться. «Не бойтесь, Чапек, вы всюду попадете в самую точку», — утешает его с улыбкой грустный мудрец Полачек, поскольку оба знают: смерть, которая близится к границам Чехословакии, — это и их смерть. [...]

КАРЕЛ ШАЙНФЛОГ

ЧИСТЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я не хочу сейчас писать о творчестве Чапека, о его фантазии, юморе, обширных знаниях и прочих талантах. Это сумеют сделать другие лучше, чем я. Мне хочется сейчас напомнить только о некоторых его человеческих качествах.

Прежде всего о его оптимизме, огромной любви к жизни. Когда Бродяга в пьесе «Из жизни насекомых» говорит о «невыразимой сладости существования», то выражает не только чувства Бродяги, но и самого автора, умевшего от всего сердца, чисто по-детски наслаждаться тысячами прелестей жизни, мимо которых большинство людей проходит с равнодушным невниманием. С раннего утра он радовался тому, что светит солнце (когда шел дождь, он тоже радовался — ведь дождь так нужен для урожая), что благоухает кофе, поданный на стол, что поют птицы, ему доставляло радость, что взошли его сажены, что статья, которую надо было написать, уже готова. Он наслаждался всем, что создает жизненный уют, в котором он так нуждался, всем, что способствовало гармонии, бывшей основным элементом его существа. За исключением последних месяцев 1938 года, когда ему была нанесена смертельная рана, я никогда не видел его мрачным, брюзгливым, даже когда его больная спина доставляла ему жестокие мучения.

Он был идеальным собеседником во время путешествий, не только потому, что видел больше других, но и потому, что прямо лучился хорошим настроением, которое не тускнело ни при каких трудностях. Во время путешествия на Север, когда мы, сестра и я, уже падали от усталости после бесчисленных встреч, осмотров, выставок, музеев, прогулок и приемов, Карел Чапек прихо-

дил утром к столу таким свежим, как будто провел спокойнейшую ночь дома, в Стржи, и любая программа на этот день казалась ему недостаточно насыщенной.

Зверям, людям, вещам и даже абстрактным понятиям он присваивал обычно какие-нибудь шуточные клички и всем окружающим дарил свою мальчишескую улыбку и шутки. Гостей, приезжавших в Стрж, он делил на «гостиков», «гостей» и «гостишек». «Гостики» — это были приятели, приглашенные раз и навсегда, приезжавшие и уезжавшие, когда им хотелось; они принадлежали как бы к домашнему инвентарю, и с ними никто не цацкался. «Гость» — это было уже нечто совсем иное. Обычно тут речь шла о некоей уважаемой персоне, прибывшей по приглашению, гостей надо было принимать, создавать для них особую программу, уделять им часть своего времени, словом — трудиться до седьмого пота, как любил говорить Чапек. И, наконец, «гостишку» приводил в Стрж кто-то — неизвестно кто, когда и зачем, и потом он упорно появлялся там только потому, что никто не решался показать ему, насколько с ним всем скучно.

Франтить Чапек не очень любил. Дома он охотнее всего носил платье садовника, шил он обычно у деревенского портного где-то в Розптылах или Забеглицах, не знаю точно, где этот портной жил, помню только, что путь к нему был долгий и вел через заболоченные поля. Этого портного ему рекомендовал Франя Шрамок, и Чапек неизменно облачался в его портновские творения, в которых он выглядел деревенским бобылем, как любила говорить Ольга. Она уговаривала его найти другого портного, ведь нельзя в таком виде ходить по Праге, но он обезоружил ее заявлением, что это невозможно, что деревенский портной очень бы огорчился.

Чапек любил людей. А если и не мог кого-то полюбить, то старался и в нем найти что-то хорошее, он обращал внимание прежде всего на его добрые свойства, а не на недостатки. В 1938 году, когда он стал мишенью нападок правых сил, один известный автор напал на него в газетах самым грубым образом, затронув личные моменты. Для Чапека это было мучительно. Но когда мы пытались утешить его, преуменьшая значение оскорбителя, он решительно возражал: «Вот это уж нет. Он не кто-нибудь и многое умеет». Надо сказать, что тот, кто напал тогда на Чапека — его уже нет на свете, — при-

шел потом и самым трогательным образом извинялся за свои нападки. Но Чапек до этого, к сожалению, не дожил.

Своих друзей он выбирал очень осторожно, как будто боялся отдать в чужие руки хрупкий мир своей личной жизни. Проходило много времени, прежде чем он с кем-нибудь сблизился; кроме самых близких родственников, он говорил «ты», пожалуй, только двум или трем людям. Очень любил Франю Шрамека. Говорил, что Шрамек — удивительно чистый человек, — а это была в его устах, пожалуй, вообще самая высшая похвала. Когда Чешская академия наук и искусств избрала Чапека своим членом, он заявил, что не может принять это почетное звание, потому что членом академии не является Франя Шрамек, который давно заслужил эту честь. Карел Чапек был и сам очень чистый человек.

ОСЕНЬ С КАРЕЛОМ ЧАПЕКОМ

Как и прежде, Карел Чапек проводил лето 1938 года вместе с Ольгой в Стржи. Это было страшное время. Республику старались подорвать изнутри глинковцы и Генлейн, а извне ей грозил Гитлер, и репродукторы гудели, сотрясаясь от рева загипнотизированных его речами толп. Со дня на день все усиливалось беспокойство и ужас, охватившие нас, как и всю страну. В то же время крепла и решимость не сдаваться, сражаться за каждый дом, за каждое дерево и защищать дороги к родным местам, ставшим тем дорожке, чем большей опасности они подвергались. Чапек, как и весь наш народ, не терял надежды — ведь у нас были друзья и союзнические договоры! Его честная душа была далека от мысли о том, что для кого-то союзнический договор не более чем клочок бумаги; все свое свободное время он тратил на то, чтобы своим пером вселять в сограждан уверенность, отвагу и надежду.

Однако свободного времени у него было немного, в Стржи непрерывно звонил телефон, и каждый день приезжали гости. Появлялись политики, журналисты, иностранные корреспонденты, люди, приносившие информацию, стремившиеся посоветовать, предостеречь и успокоить. В доме в Стржи было полно и рабочих — к задней стене дома, выходящей на луга, Чапек начал пристраивать еще с весны стеклянную веранду, возле дома строи-

лась швейцарская беседка по проекту, сделанному его другом Карелом Дворжаком, кроме того, он решил навести порядок и в близлежащей рощице, хотя она и не принадлежала ему, но Чапеку не хотелось, чтобы она портила вид под окнами, как убогий, бедный сосед. Погода была хмурая, парк превратился в склад строительных материалов, и по размокшим и потоптанным газонам взад и вперед сновали каменщики. В августе разразились страшные дожди, вода прорвала плотину на прудах, расположенных выше дома, Стрж затопило, на берегу ручья рухнула старая-престарая ива, которую так любил Чапек, в результате бурелома погибли лучшие участки соседнего леса.

Приближались самые критические дни этого года. До глубокой ночи мы сидели у приемника, слушали отечественные и заграничные передачи, когда передавались важные сообщения, мы собирались все до одного, члены семьи, прислуга, гости и каменщики, нанятые Чапеком.

С концом этого дождливого августа кончился отпуск у Ольги, и она должна была вернуться к своей работе в театре в Праге, да и Чапек в это тяжелое время не мог оставаться за пределами Праги. А затем мобилизация остановила все работы в Стржи, о них уже никто не думал.

Мюнхен нанес Чапеку страшный удар. Не только рухнул весь его мир, но на него обрушилась и злоба тех, кто в своем отчаянии стремился найти виновников несчастья и связывал его имя с трагической ситуацией народа, полагая, что если бы он в своих произведениях вместо демократии, человеческой порядочности и веры в достоинство человека пропагандировал нацизм и Гитлера, все бы обернулось лучше. На него начали нападать газеты, и почти каждый день почтальон приносил кучу грубых анонимных писем, в которых Чапека обвиняли в несчастье народа.

Многие начали приспосабливаться к возникшей ситуации и по-другому. Мне не забыть, насколько потрясен был Чапек, узнав, что Общественный клуб на Пршикопах исключил своих членов-евреев под предлогом, что они якобы не уплатили членские взносы. Никогда раньше руководство клуба не прибегало к таким крайним мерам ни против кого из своих членов, и было ясно, что оно просто придралось к случаю. Среди исключенных был и писатель Карел Полачек, критик Йозеф Кодичек,

принадлежавшие к числу постоянных участников чапековских приемов по пятницам, актер Гуго Гаас и другие его друзья. Чапек грозил, что он еще покажет этим господам из руководства клуба, но ему не суждено было осуществить свои угрозы.

Но, кроме анонимных писем, приходила и иная корреспонденция. Это были письма антифашистов, не только чехов, но и письма из Англии, Швеции, Голландии, Франции и, что самое интересное, из Германии и даже от наших судетских немцев. В них выражалась симпатия, сочувствие нашему несчастью, содержались советы, информация; присылались научные статьи и даже неизданные беллетристические произведения. Писем было столько, что их едва сумели обработать десять человек за полгода. Их некуда было складывать. (Когда Чапек умер, эта корреспонденция покрывала почти весь пол его рабочего кабинета, поднимаясь на весьма солидную высоту. Я все сжег по уговору с сестрой утром 15 марта, чтобы не компрометировать друзей. Под котлом в прачечной несколько часов пылал огонь, поглощая эти письма, полные оскорбленного чувства справедливости и человеческого достоинства.)

После Мюнхена начали возвращаться солдаты, которым не суждено было вступить в бой, вернулись и каменщики, которые снова нанялись на работу в Стрж. Ремонт надо было закончить, и Чапек снова переселился туда. Правда, он каждую неделю приезжал в Прагу, а Ольга ездила к нему, как только ей удавалось вырваться из театра, но все же у него оставалось немного одиноких дней я вечеров. Нам не хотелось оставлять его одного в состоянии такой подавленности в этом большом доме. Погода была уже неприятная и вечера бесконечными. Поэтому Ольга просила меня навещать его как можно чаще.

Я ездил к нему два-три раза в неделю, когда я в полдень кончал работу. Обычно он слышал, как я подъезжал, и выходил меня приветствовать в своем старом пальтишке, покрытом цементной пылью: он помогал каменщикам. Выглядел Чапек осунувшимся и сильно сутулился. Мальчишеская улыбка давно исчезла с его лица, под взглядом полных мягкой приветливости глаз появились темные круги, не осталось и следа того бодрого юмора и остроумия, с которыми он обычно встречал друзей.

Мы обычно сживали вместе в столовой — единственной обогреваемой комнате. Это было не слишком приветливое помещение, мрачность комнаты с темными ставнями еще увеличивалась из-за темного цвета мебели и олеографий эпохи конца века, с которыми Чапек не хотел расстаться, так как унаследовал их от отца и они напоминали ему родительский дом и детство. Он начал тогда работать над новым романом — писать «Книгу Иова» о страданиях человека. Но об этом он упоминал только вскользь. Разговоры велись главным образом о политическом положении — малый народ в центре Европы часто оказывается в такой критической ситуации, которая заставляет его думать главным образом о политике, в то время как великие, более счастливые народы могут заниматься более приятными вещами. Так мы философствовали, гадали, как все обернется, рассказывали друг другу, что происходит с приятелями, и советовались, что же предпринять в этой ситуации. Благодаря чьей-то нескромности Чапек узнал, что его имя находится на третьем месте в нацистском списке тех, кто должен быть арестован, если гитлеровские войска вступят в Прагу. Но Чапек тем не менее категорически отказался покинуть родину, утверждая, что его место здесь вместе с народом.

Он снова обрел спокойствие, был твердо уверен, что поражение не окончательно, что скоро наступят времена, когда гитлеровская Германия вынуждена будет вернуть то, что она захватила, и когда Запад дорого заплатит за свое предательство. Главное — выдержать и ни в чем не сомневаться, Люди не должны утратить надежду и веру в будущее. Малый народ не может защищаться успешно с помощью оружия, он может сохранить себя только благодаря моральной силе. Его спокойствие давалось ему дорого, и за ним крылась непрекращающаяся депрессия, из которой его не вывело даже сообщение шведской печати, что его выдвинули кандидатом на Нобелевскую премию по литературе.

Во время одного из моих визитов в конце октября я спросил, как идет работа над «Книгой Иова». «Это я пока оставил, — сказал он мне. — Уж очень эта тема меня волновала, наверное, я еще вернусь к ней, когда времена будут спокойнее». Потом он начал рассказывать, что пишет роман о человеке с инстинктивно сильным тяготением к искусству, очень честолюбивом, но лишенном

таланта. «Ведь таких людей полно всюду, куда ни помотришь. И не только в искусстве, но и в политике, словом, всюду. Меня уже давно интересует такой тип людей — и к тому же можно хоть ненадолго отвлечься И думать о чем-нибудь другом. Из «Книги Иова», как я понял со слов Чапека, было написано около тридцати страниц. Куда они делись, никому не известно. После его смерти мы тщетно их разыскивали.

Строительные работы в Стржи подходили к концу. Пора было перебираться в город — зима началась в том году очень рано, и каменный холодный дом становился очень неуютным. Да и вообще Чапеку нужно было вернуться в Прагу. Ему было явно не по себе. Он привык выбегать на улицу без пальто, начал кашлять, и глаза у него лихорадочно блестели.

Но и в Праге он тоже не лег в постель. До одержимости увлеченный образом Фолтына, он стал затворником, как всегда, когда работал над какой-нибудь крупной вещью, и писал без отдыха. За неделю до рождества он, соскучившись по друзьям, пригласил их прийти. Появились действительно все, кого он любил, и, как будто сговорившись, высказывались только в оптимистическом, обнадеживающем духе. Чапек выглядел плохо, покашливал, но счастливо улыбался, довольный этим приятным вечером. Когда мы прощались, он пошел проводить гостей на маленькую площадку перед домом, выскочил налегке без зимнего пальто, хотя было около двадцати градусов ниже нуля. Напрасно мы пытались отправить его домой. Он не желал изменять своим привычкам, и ему хотелось сохранить иллюзию полного благополучия до конца этого счастливого вечера. Он все стоял перед домом и махал нам рукой на прощанье, пока мы не разъехались. Потом он вернулся домой и лег в постель, чтобы больше не вставать. Грипп, воспаление легких, воспаление почек. Так он спасся от гестапо и избежал всего того, что ожидало его несчастного брата.

ФРАНТИШЕК ЛАНГЕР

ИЗ КНИГИ «БЫЛИ И БЫЛО»

ВНАЧАЛЕ БЫЛИ БРАТЬЯ ЧАПЕК

О ком из них двоих ни вспоминают теперь уже постаревшие современники, о Кареле или о Йозефе, поначалу в памяти всегда возникают оба — братья Чапек. Где-то около 1910 года они вступили в литературу как одно лицо и точно так же, как одно лицо *in personis*¹, вступили в общество художников и писателей, собиравшихся в кафе «Унион» на углу Перштина, а тем самым и в культурную жизнь Праги.

В.-В. Штех привел их тогда в небольшое помещение кафе, где, сменяясь, подобно караулу на страже развития чешского искусства, с обеда до вечера сживали такие представители нарождавшегося поколения, как Бруннер, Басс, Филла, Шпала, Бенда, Кисела, Ольбрахт, Кубишта, Кубин, Кропачек, Гутфройнд, Штех, Киш, Гочар, Янак, Майерова, Малиржова, Гофман, Крадохвил, Крамарж, Вирт, Матейчек, Боучек, Тон, братья Кршичка, Небеский, Штурса. Но и столь богатый перечень еще не означает, что здесь упомянуты все гости прославленного кельнера сего прославленного кафе — пана Патеры.

Это пестрое и яркое общество было лучшей академией всех искусств и ряда наук, какая только существовала в Праге первого десятилетия нашего века. Их пылкость, их интересы не знали границ, и потому здесь велись дебаты об архитектуре, о политике, о художественных конкурсах, о театре, о современной живописи, о старой Праге, о критике и об истории искусства. Здесь обсуждали, оценивали, отвергали, реформировали, размышляли и философствовали. Здесь рождались проекты и основывались новые направления, программы, теории, кабаре, театры, книжные серии, листовки, журналы, художественные мастерские. Одновременно это была и большая дружеская компания мастеров всех видов ис-

¹ Собственной персоной (*лат.*).

куства, очевидно, уже последняя в своем роде, компания где много шутили, сплетничали, спорили, пародировали друг друга, одалживали деньги, затевали прогулки по ночной Праге и воскресные выезды за город.

Каждый член этого общества был, по его собственному мнению, индивидуальностью, и почти каждый впоследствии всем своим творчеством сумел на деле доказать обоснованность таких притязаний. На это человеческое качество или хотя бы на его зародыш у компании было чутье, и тот, кто желал оставаться ее равноправным членом, должен был уже с самого начала как-то проявить свою неповторимость.

Братья Чапек сразу возбудили всеобщее внимание своим двойничеством, однако их истинной визитной карточкой было авторство сенсационно-остроумных, переливающихся всеми цветами радуги гротескных миниатюр, которые появились на страницах «Стопы» Горкего. Ранее подпись «Братья Чапек» воспринималась читателями как преднамеренно вводящий их в заблуждение псевдоним какого-нибудь остроумца из великой европейской столицы, по ошибке забредшего в закоулки пражской литературы. И вот они стояли перед нами — собственной сдвоенной персоной. Удивление было тем больше, что их вид полностью контрастировал с позой великосветского денди, характерной для их юморесок. В кафе «Унион» братья появились в одинаково сшитых, студенчески непритязательных костюмах цвета молочного шоколада, в одинаковых котелках и галстуках, оба отличались здоровым румянцем, темные волосы у обоих были аккуратно зачесаны и приглажены; так что они были воплощением свежести и здоровья, а главное — простоты и, быть может, даже провинциальности.

В кафе «Унион» братья с первого же дня подчеркивали, что составляют неделимую двоицу. На пороге появлялись вместе, садились рядом, дружно заказывали по чашечке черного кофе с роголиком. Казалось, и на улице их нельзя было встретить порознь, и потому Кратохвил, или Бруннер, или Кисела придумали для них герб с изображением близнецов, как на заводском клейме изделий из золингенской стали. Штех не раз высказывал подозрение, будто они ходят вместе ради позы или рекламы, но больше похоже на правду, что просто им все время хотелось обмениваться мнениями о мире и людях и обсуждать свои статьи и рассказы.

По вечерам наша компания из кафе «Унион» часто отправлялась на ночные прогулки, которые начинались с пирожного и рюмки вина в ближайшем погребеке «У Петршиков» на Перштине, а кончались, к примеру, в «Монмартре» знаменитого Вальтнера. Чапеки с педантичной пунктуальностью приходили в наше кафе около трех и уходили в пять. И потому никогда не участвовали в исторической игре в «кауфцвик» с Гашеком, что велась в погребеке «У Петршиков», хотя там за соседним столиком сживали корифеи из «Модерни ревю», которыми Карел чрезвычайно интересовался. Не знали они и «Монмартра» с Властой и Революцией, с Гамлетом — паном Ираком и Кишем; Прага после десяти вечера для них вообще не существовала. Поэтому их подозревали в лицемерии, притворном аскетизме и скупости. Они оправдывались, что, мол, раза два в месяц позволяют себе изрядный кутеж в ресторане какого-нибудь шикарного пражского отеля, тратя за вечер чуть ли не десять крон. Разумеется, с вином, потому что проесть тогда в Праге за один присест такую сумму было просто невозможно. Их оправданиям не слишком-то верили, тем не менее «Сад Краконоша» свидетельствовал о том, что они читали прейскуранты вин и видели миллионеров, игроков, кутил и прочих креатур большого ночного света, хотя бы сидя за соседними с ними столиками. Такие кутежи были братьям вполне по средствам, ибо жили они на собственный капитал, дарованный им отцом и отданный под проценты, что приносило шестьдесят крон в месяц каждому, то есть сумму по тогдашним временам, да еще для людей искусства прямо головокружительную.

В карманах у них всегда были большие кожаные портсигары, наполненные короткими папиросками домашней набивки, с табаком примерно на два пальца. Такие папиросы обычно назывались русскими, но сами Чапеки называли их «минутками» — так недолго длилось куренье. По тому же принципу позднее Карел привык разламывать пополам или разрезать и египетские сигареты, чем положил начало курению «половинок». Своими «минутками» Чапеки охотно делились, и потому пепельницы на наших столах всегда были полны жеванных папиросных окурков.

Очевидно, их аскетизм был не так уж строг, ведь по воскресеньям они нередко отправлялись с нами в Годковички или в Затиши, где в загородных трактирах бы-

вали танцы. Кто-то уверил девушек, которые танцевали с нами, будто Йозеф — чертежник у какого-то архитектора, а Карел — приказчик из магазина тканей Амшельберга. И, разумеется, на обратном пути пароходом оба, как и все остальные, платили за своих партнерш. Во время премьер в Национальном театре они обычно стояли на первой галерее, как в свое время стояли там Шрамек, или Маген, или я, пока все мы не дождались собственных премьер, после чего сидели уже на плюше партера или балкона. Их можно было встретить и на набережной, которая для Карела оставалась излюбленным местом прогулок, пока он не переселился на Винограды, а во время первой мировой войны он встречался здесь с писателями, подготавливавшими свой манифест.

Братья жили тогда у родителей на Ржичной улице Малой Страны, у них был большой книжный шкаф, набитый всякой устаревшей литературой; так, например, здесь стояло полное немецкое издание Марриета, которое я постепенно целиком перечитал. Где писал Карел — не знаю, у Йозефа там была каморка, вдоль ее стен рядами стояло немало законченных полотен, а в ящике лежала кипа рисунков и литографий еще со времен Художественно-промышленного училища. Он называл их «пеленками».

Братья столь явно составляли одно целое, что во время дискуссий в кафе «Унион» им давали право всего на один голос, и сами они никогда не домогались разрешения на второй. Друг с другом братья часто объяснялись какими-то аббревиатурами и девизами, словно названиями глав, подробное содержание которых второму заранее известно. Когда же они разговаривали с прочими, оба употребляли сходные выражения, при словья, шуточки, каламбуры, прозвища, метафоры и эпитеты, созданные ими за годы совместной жизни как некий жаргон для домашнего потребления. В этом художественном кругу, где каждый досконально знал свою профессию и пытался разбираться в смежных, так что архитекторы говорили о литературе, художники о политике, а литераторы о чем угодно, братья Чапек блестяще выдержали проверку на эрудицию. Однако оба они отличались осведомленностью и в явлениях искусства, до сей поры не обсуждавшегося и не получившего общего признания; они интересовались периферией искусства и были весьма не ортодоксальны в поклонении

последним парижским новинкам. Как ни странно, хотя художники сразу же распознали в Йозефе недавнего выпускника Умпрума, в первое время, очевидно, под влиянием сенсационного литературного успеха обоих братьев в кафе «Унион», его тоже сажали за столик литераторов.

Новые знакомые постепенно привыкли к неразлучности двоицы Чапеков, однако братское авторское двойничество не переставало их интриговать. Какова роль каждого в совместном произведении, чья творческая личность перевешивает, каким образом один полностью утрачивает или, напротив, удваивает свое «я», навязывает свою волю другому или подчиняется ему, если в результате возникли вещи столь цельные, точно вылитые из одной изложницы? Сначала эти вопросы задавались в связи с миниатюрами, составившими первую книгу братьев «Сад Краконоша». Пожалуй, именно тут не было оснований недоумевать, поскольку их первая совместная работа явно рождалась путем суммирования остроумных идей и взаимной шлифовки рукописи. Значительно сложнее решалась загадка совместного творчества и авторской доли каждого из братьев применительно к их рассказам и в еще большей степени — применительно к пьесам, которые они совместно писали позднее.

Однако сами Чапеки не желали облегчать задачу тем, кто ломал голову над проблемой их индивидуального авторства, всегда так или иначе уклонялись от прямого ответа и ни разу не выдали, чьей была та или иная идея — Карела или Йозефа, точно старались защитить свое двуединство. Но даже участие братьев в общих разговорах само по себе представляло достаточно наглядных возможностей для наблюдения за методом их совместной работы. Как уже было сказано, они участвовали в дебатах и разговорах, хотя бы в первое время, с правом одного голоса. Обычно один из братьев выражал точку зрения обоих. Так случалось, когда речь шла о вещах заранее ими продуманных и проанализированных, по поводу которых они уже пришли к общему мнению. Но если поднималась какая-нибудь новая тема, если необходимо было выработать обоюдное согласие тут же, на наших глазах начинал действовать скрытый механизм их сотрудничества. Например, Карел брал слово, но прежде чем в разговор включалась дру-

гая сторона, Йозеф успевал дополнить, расширить или уточнить высказывание брата, а затем — допустим, снова Карел — быстро что-нибудь добавлял или поправлял, и если Йозеф молчал, эта формулировка оставалась окончательной для обоих. Иногда, вместо дополнения, один из них корректировал высказывание другого, это могло быть даже несогласием вместо ретуши, но после быстрого обмена тремя-четырьмя репликами братья приходили к полному взаимопониманию, так что мнение снова становилось единым, и этот совместный вывод был их окончательным вкладом в дискуссию. Вряд ли их работа над рукописями выглядела иначе.

И напротив, слушателей совершенно сбивало с толку, когда братья чрезвычайно занятно вдруг сами начинали рассказывать о своей совместной работе. Они и тут не открывали степени участия каждого, все, о чем они говорили, совершалось под общей вывеской «Мастерская братьев Чапек». Так же, как архитекторы и художники порой затевали профессиональный разговор о своем творчестве, иной раз Чапеки начинали рассказывать о своем совместном труде — чаще всего во время загородных прогулок, шагая по дороге мимо лесочков или присев где-нибудь на меже. На первый взгляд могло показаться, что они с необычайной откровенностью раскрывают перед нами свою творческую кухню, повествуя о работе над рассказами из «Сияющих глубин» или демонстрируя, как шаг за шагом возникала и разрасталась их прелестная «Любви игра роковая».

Это было в пору, когда писатели из нашего кружка, как и их друзья-художники, взяв пример с Сезанна, утверждали в художественном творчестве волевое начало. Они пытались вернуть искусству форму и строй, которые, по их мнению, исчезли из словесности с наступлением реализма и импрессионизма, и потому обратились к изучению законов формы, ища образцы в классических и классицистических эпохах, где форма сохраняла все свое значение. В ту пору все экспериментировали, стремясь подчинить свое творчество строгой дисциплине, а лабораторно испробовать этот метод лучше всего было в коротких, ювелирно отшлифованных новеллах с неожиданной развязкой. Не раз Чапеки устраивали подлинный семинар по технике писания новеллы, приводя примеры из собственного творчества. «В наших новеллах», — с молодым задором хвастали братья, выставляя

напоказ свою писательскую дисциплину, — нет ничего, что бы не являлось продуктом сознательного намерения и творческой логики». По их словам, они всегда исходили из формального замысла: давай, мол, сочиним новеллу, составленную из газетных сообщений, новеллу чисто эпическую — то есть с одной лишь фабулой, или, к примеру, новеллу драматическую, сплошь из диалогов, или... и так далее. «И только потом для этой формы, — утверждали братья, — мы находим или из нее выводим соответствующие сюжеты, персонажей, атмосферу, место действия, детали...»

Так однажды они рассказывали нам, как с начала до конца строили и конструировали новеллу «L'éventail». Очевидно, я потому вспоминаю этот воскресный день подробнее других, что в память о нем у меня сохранилась фотография одного квинтета, совершавшего загородную прогулку и разлегшегося на опушке леса: мы сидели и слушали, а Чапеки рассказывали. Отличная фотография, на которой изображены молодые лица.

«Итак, — рассказывали они, — мы поставили перед собой задачу написать новеллу, высшей композиционной точкой которой была бы внутренне завершенная драматическая сцена, а эпическая часть составляла бы лишь экспозицию и эпилог, подготавливая кульминацию и опуская под конец занавес. Дабы драматическая сцена стала подлинной композиционной вершиной новеллы, целесообразно было поместить ее в последней трети текста, а дабы она была особенно напряженной, мы договорились, что в ней будет всего одно действующее лицо. Однако, чтобы драма не превратилась в монолог, мы решили дать в партнеры говорящему персонажу хотя бы говорящую куклу. Пусть она умеет произносить всего лишь «да» и «нет», для истинно экономного драматического диалога этого достаточно. Ведь если кукла умеет говорить только «да» или только «нет» и произносит эти слова совершенно произвольно, лишь в зависимости от того, как сработает механизм, — разве это (мнение тогдашних Чапеков, приходится признать, было еще довольно незрелым) не типичнейшая картина женского поведения с его изменчивостью, случайностью, безответственностью? И не придаст ли новелле особый драматизм, если именно обыкновенная кукла определит трагическую развязку?»

Но как же вывести эту говорящую куклу на сцену?

Вряд ли она из обыкновенного балагана с механическими фигурами, призванного развлекать публику во время храмовых праздников. Ведь наша кукла должна была обладать утонченной внешностью и изощренным механизмом, такую не сыщешь на непритязательных народных гуляньях. Тогда мы придумали, — откровенничали братья, — великолепный дворянский праздник с красочными развлечениями и барочными фигурами, этот праздник должен был придать нашему повествованию соответствующую атмосферу и богатую рамку. Если же вернуться к композиции, то, чтобы драматическая форма в последней трети новеллы не оказалась неподготовленной и не производила впечатления нарочитости, мы готовили ее исподволь, вводя в повествование два диалога, где как рефрен возникают те же «да» и «нет», которые станут затем «солью» центральной минидрамы...

Так примерно рассказывали Чапеки, обосновывая и объясняя, почему именно данное действующее лицо, данная ситуация возникли на десяти страничках новеллы, какая необходимость или формальная преднамеренность вызвала ту или иную деталь. Казалось, только теперь, перед нами, они конструируют и строят свое повествование — говорили то один, то другой, перебивая и не давая друг другу закончить: «Скажи еще, Печа, как мы пришли к мысли создать фигуру Эзопа», «Расскажи им еще, Кодл, почему в заключительной сцене мы устроили грозу».

Разумеется, и я в то время плавал под флагом классицизма и тоже писал и оттачивал свои новеллы, а следовательно, прекрасно знал, насколько, вернее — как мало причастно ко всему этому авторское намерение и умысел и сколько тут элементов, вытекающих из источников, значительно менее постижимых. И я понимал: все, что тут демонстрируют нам Чапеки, якобы охотно раскрывая перед нами двери своей творческой мастерской, чтобы мы могли восхищаться слаженностью их авторского механизма и доступной им одним алхимией, все это не что иное, как та же игра. Номер для кабаре, обычная воскресная «чапекиада»; они выставляют напоказ прозрачность и простоту своих творений ради такого же артистического наслаждения, с каким воздушные акробаты, проделывая свои трюки на трапеции, имитируют птичью легкость и непосредственность. Короче говоря, перед нами такое же свидетельство их

склонности к игре, какие мы видели в другие воскресенья, когда Чапеки вспоминали и проигрывали перед нами свои гротескные детские ссоры или дуэтом пели стародавние бабушкины песни.

Подобные самоистолкования носили печать чарующего духа братьев Чапек, их фабричное клеймо, и если бы все это было записано, братья вполне могли бы, например, присовокупить такое раскрытие тайн своего творчества к волшебным миниатюрам «Сада Краконоша». Они никогда не записывали своих экспромтов, вероятно, только из-за того, чтобы кому-нибудь не показалось, будто они варьируют трактат По о возникновении «Ворона».

Конечно же, и такого рода исповеди не помогали решить, кто из братьев щедрее наделен поэтичностью, фантазией или, как это обобщал любознательный психолог нашей группы В.-В. Штех, — у кого из них больше таланта. В результате они заслужили от него самый серьезный упрек, на какой он был способен, — он назвал их «холодными умами». И напротив, у художников, которые все еще изображали своих купальщиц, поскольку Винценц Крамарж пока не привез в Прагу первые кубистические картины Пикассо и Брака, братья Чапек встретили полное понимание.

Со временем Чапеки перестали столь явно играть в близнецов. Освоившись в нашем кружке и убедившись под влиянием царившей здесь атмосферы остроумия и шуток, что их значительности нисколько не убудет, если они прекратят эту игру, братья, по-прежнему оставаясь неразлучными, все же как-то начали разделяться на Карела и Йозефа. Йозеф примкнул к художникам, Карел — к литераторам. Но первоначальное впечатление оказалось столь сильным, что я просто поразился, встретив как-то в Университетской библиотеке одного Карела, И точно так же изумился, когда при случайной встрече с Йозефом на вопрос, где и что делает Карел, тот ответил: «Не знаю».

По мере того как братья все ближе сходились с отдельными участниками нашего сообщества, каждый из них все более отчетливо вылупливался из общей скорлупы. Карел — старательный студент философского факультета, книголюб и писатель по призванию, Йозеф —

скорее художник. Когда в каморке малостранской семейной квартиры Йозеф раскладывал свои рисунки, офорты и литографии, расставлял свои картины маслом (тогда во всем этом ощущалось изрядное влияние Домье) или когда летом он писал известняковые горы близ Святого Яна под Скалой немного в манере старых бидермейеровских зарисовок с натуры и позволял взглянуть на холст через свое плечо, видно было, что у него есть и собственная духовная жизнь. Рядом с братьями возникли их мать, отец и сестра, так что на фоне различия интересов и всего своего семейства Карел и Йозеф окончательно превратились из фирмы в настоящих братьев.

Те, кто с ними сблизился, могли наблюдать, как литературное двойничество постепенно заслоняется чем-то значительно более простым, но и более щедрым — чистым и благородным братским союзом. Серьезный и тяжеловесный Йозеф всегда несколько покровительствовал более молодому и хрупкому Карелу, а порой и поучал его. И притом почти по-отцовски гордился им, как гордятся талантливым, пожалуй, даже феноменальным ребенком. Карел, в свою очередь, признавал за Йозефом права старшего и в случае какого-либо несогласия после незначительного сопротивления всегда подчинялся. Они звали друг друга Кодл и Печа. «Кодл» старшего звучало покровительственно, точно этим типично мужским прозвищем он поднимал мальчишку до своего уровня. «Печа» было типичное имя, с каким младший обращается к старшему. Карел умел вложить в это имя жалобную интонацию меньшего брата, покинутого старшим у придорожной канавы. Это был зов о помощи. Точно так же он мог обратиться к брату и спустя много лет, когда звал его выйти в сад и поглядеть, какая у него приключилась беда — на альпийской горке погибло редкое растение.

Я застал Карела одного, без Йозефа, в Берлине и видел, как он ожил, когда оба наконец оказались в Праге. Они жили врозь около года, а может и дольше, но сразу же снова слились воедино, точно их друг от друга никто не отрывал. Каждый горячо интересовался творчеством другого, хоть оно и перестало быть совместным. На генеральной репетиции «Средства Макропулоса» Йозеф поминутно хватал меня за руку и полуспрашивал-полуутверждал: «Хорошо, правда?» Ни одна ма-

маша дебютантки не могла бы испытывать большего волнения. Точно так же во всех баталиях, которые вынужден был вести Карел, Йозеф становился его мужественным секундантом. А Карел, как никто другой, умел говорить о картинах брата и разбирал их едва ли не лучше самого Йозефа.

Их спаяли общее детство и общий рост, одинаковые наклонности, пристрастия и неприязни, вера и взгляды. Возможно, временами их кривые и расходились, становились у одного более отвесными или более пологими, чем у другого, но в конце концов в них всегда торжествовала параллельность мышления и чувств, они были настроены на одну волну и потому резонировали в унисон. Их братские отношения смело можно назвать любовью. Хотя они целомудренно остерегались малейших ее внешних проявлений, это была поистине братская любовь, прекрасная и редкая в жизни вообще, тем более — когда она овевана флюидами, исходящими от двух гениальных натур.

ПОБОЧНЫЕ ТАЛАНТЫ КАРЕЛА ЧАПЕКА

Когда начнут собирать последние крохи сведений о тех родниках и ручейках, которые сливались в широкий поток словесного искусства Карела Чапека, когда примутся выискивать все сохранившиеся штрихи и краски, чтобы как можно подробнее дорисовать его личность, только тогда поймут, какое значение и для того, и для другого имело его постоянное стремление, покидая собственный писательский заповедник, навещать и в иные уголья. Иначе говоря, как великолепно дополняет Чапека его столь частое, столь им излюбленное, веселое и притом солидно обоснованное браконьерство в самых различных областях человеческой деятельности, будь то профессии, искусства или пристрастия!

Такие пограничные по отношению к главному делу всей его жизни области, с одной стороны, дают нам возможность увидеть множество разных подобий его натуры, мальчишески любознательной и с наслаждением предающейся игре, но одновременно вновь пробуждают в нас серьезное уважение и восхищение. Прежде всего потому, что этих пристрастий и увлечений великое и разнообразное множество. И потому еще, что уже в том,

как Чапек знакомился и сближался с разного рода предметами с материалом и методом обращения с ним, в том как он впоследствии мастерски овладевал всем этим и делал из своего конька разновидность ремесленного или художественного творчества, виднелись отсветы все новых и новых непредвиденных талантов, которыми, казалось, не было конца, причем в каждом он добивался результатов по меньшей мере незаурядных.

Некоторые из таких пристрастий достаточно хорошо известны по его книгам. Но несмотря на то, что они увещаны самим Чапеком, рассказ об их зарождении и развитии может еще кое-что добавить. Есть и ряд менее значительных пристрастий, которые можно лишь с трудом проследить в его сочинениях, подчас в содержании какого-нибудь одного рассказа, а то и вовсе в мимолетном упоминании. Притом и большие и малые увлечения были для Чапека поводом, чтобы соприкоснуться с новыми источниками вдохновения и новыми группами людей, с их речью, образом жизни и взглядами. У нас было много общих пристрастий, в некоторых я был его партнером, а потому, думаю, для грядущих серьезных разборов его творчества будет бесполезно, если я хотя бы в виде отрывочных воспоминаний и с долей печали о покойном постараюсь рассказать о его разнообразнейших занятиях, забавах и интересах.

Начну с самого общеизвестного чапековского «конька» — садовничества. На первых порах ничто не предвещало будущего превращения его садовничества в искусство, никто не догадывался, что когда-нибудь он сможет похвастать этим пристрастием как знаток, да еще в книге, которая доставит наслаждение всему садовлюбивому свету.

Дело в том, что начинал Чапек весьма жалко. Человек по природе хозяйственный, он хотел, чтобы участок возле его виноградского дома приносил хоть какую-то пользу, а потому в первый год выделил место под цветочные клумбы, под фруктово-ягодные посадки, под клубнику и стручковые, а львиную долю земли отвел под овощи. Но потерпел полнейший крах, подсчитав, что купленный ананас обошелся бы ему дешевле, чем собственноручно выращенная цветная капуста, а савойскую капусту, даже ту, которая останется после нашествия гусениц, не съесть и за неделю. Только после сего печального опыта он погрузился в чтение садовод-

ческой литературы, которая заняла в его библиотеке солидное место, и призвал на помощь специалиста — садового архитектора Кулишана.

Точно так же поначалу, исходя исключительно из собственных представлений, он устроил альпийскую горку. Его горка ни в коем случае не должна была походить на обыкновенную, рекомендованную всеми трезвыми руководствами, — ей надлежало стать горкой необыкновенной, великолепной и романтической. Чапек обкладывал ее всевозможнейшими красивыми камнями и великолепными друзьями кристаллов, которые хранились у него дома с гимназических лет или были подарены товарищами. Очевидно, он представлял себе альпийскую горку как изумительное соединение минеральных цветов с живыми. Не знаю, что стало со всеми этими аметистами и халцедонами, с колчеданом и яшмой, но на другой год он уже устроил горку согласно проверенным практикой научным предписаниям из самых обыкновенных почтенных каменных глыб.

С точно такими же трудностями засаживал он на первых порах и различные уголки своего сада. Как-то договорился с братом Йозефом, что-де было бы выгодно и занято избежать стандартных садовых посадок и попытаться счастья в чем-нибудь особенном. Мол, Йозеф, когда поедет летом с семьей на дачу (думаю, это была Орава), должен присылать Карелу в Прагу вырытые в тамошних лесах и горах цветы — и это будет нечто сногшибательное! В виноградскую виллу Карела, и правда, стали поступать ящики с рассадой горных и лесных растений, снабженные длинными описаниями Йозефа: какое они имели на природе освещение, какую почву, влажность и т. д. Их надо было без промедления высаживать в землю; Карел часто вздыхал над их количеством и над неполнотой сообщений Йозефа, особенно если растеньице через два-три дня безнадежно свешивало головку. Во второй половине лета поехал заниматься ботаникой Карел, а сажал и вздыхал Йозеф. Поскольку я тогда все лето провел в Праге, то помогал обоим и сажать, и вздыхать. Однако дикие саженцы в пражской атмосфере или не принимались, погибали, или, наоборот, дичали и лишь в столь же прекрасной половине сада, которая принадлежала Йозефу и сохранила более естественный характер, некоторые образчики горной фауны прижились и вспоминают о нем по сю пору.

После этих неудач наученный горьким опытом Карел, решительно подчинившись требованиям пригородной природы, начал создавать образцовый садик семейной виллы, учитывая соответствующие ботанические и архитектурные возможности, и добился необычайного результата, трогаящего нас и поныне, потому что каждая очаровательная пядь этого садика была делом его рук и его сердца. Закончил Карел рощицей в уголке сада где каждый из посетителей «пятниц» собственноручно посадил деревцо.

Полностью осуществив свои замыслы, он мог бы заняться какими-нибудь другими областями растениеводства, но тут как раз ему достался большой земельный участок в Стржи, близ Добржиша, где он мог в огромных масштабах продолжить то, что делал дома в миниатюре. Это уже были не клумбы да кустики, не карликовые деревца, не газоны, бассейн и дорожки, здесь он мог пересаживать деревья, закладывать лес, планировать луга, мосты и пруды, создавать целый пейзаж — в Стржи Чапека ожидал вершинный подъем его любви к растению и земле, тут уж он принял за дело как архитектор природы, моделирующий поверхность земли.

Чапек был готов отправиться куда угодно, лишь бы раздобыть интересный экземпляр растительного мира или интересные саженцы. Большею частью эти экспедиции мы совершали с ним вместе; когда он заразился кактусовой лихорадкой — ездили к пану Фричу в Коширже, позднее — к пану Бёму в Забеглице за розами, в Кобылисы к пану Смржу за молодилом, к пани Стивиновой в Чернолице за растениями для альпийской горки, а также еще в Радотин, в Пругонице, словом — во все пражские окрестности.

Везде его приветствовали как первого покупателя и завязывали соответствующий разговор; так Чапек учился настоящему садовническому языку, придающему главную прелесть созданной им настольной книге садовода. Знаменитое «Должно бы дождинку быть» тоже скорее всего вынесено из подобной поездки. Другим источником, преумножившим его садоводческие языковые сокровища, были учебники ботаники и вообще научная литература, в которую он ушел с головой, чтобы ознакомиться с условиями жизни растений. Особенно же много дали ему ценники и старинные гербарии — оттуда он почерпнул несметное множество прекрасных, ди-

ковинных и стародавних народных и научных названий и прозвищ цветов, которые так щедро рассыпаны в его книжке. В садике Чапека был образцовый порядок, возле каждого цветка — табличка с названием, чтобы, по собственному признанию хозяина, легче запоминалось, оттого-то и сыплет он в своей книге ботаническими терминами, как из рога изобилия.

Таким образом, к знаниям садовника-профессионала он шел непрямо, путем ошибок, на которых учился. Но как учился! И на ошибках можно учиться по-разному, по-ученически или гениально. Чапек каждый раз делал гениальный скачок от первоначального заблуждения прямо к правильному решению, потому что всегда умел нащупать существо ошибки. Я был очень ему благодарен за его ошибки, к которым дружески приглядывался. Они сэкономили мне два года поисков, когда я принялся за собственный сад и смог через все это разом перешагнуть.

Очевидно, именно на опыте садоводства Чапек понял, что ошибки можно использовать, если подходить к ним методически, и проверил это на практике, когда поддался другому увлечению — фотографии. Годами, гуляя с ним, я носил фотоаппарат, и он не проявлял к этому роду деятельности никакого интереса, пока совершенно неожиданно не объявился у меня в Подоли с лучшим в ту пору аппаратом — «роллейфлексом» в руке. И с руководством Давида по фотографии в кармане. Карел заявил, что займется фотографией методически и поначалу нарочно будет делать все ошибки, которых должен так старательно избегать фотолобитель, если верить соответствующей главе у Давида. Я сразу превратился в подопытного кролика, Чапек пробовал на мне, как выглядят два, а то и больше снимков на одном негативе, или снимал, плохо наводя на резкость, со слишком маленькой или слишком большой выдержкой, неверно направив на объект фотоаппарат, снимал при солнце, бьющем в объектив, снимал человека без головы или без ног, делал снимки, размазанные движением, — короче, испробовал все ошибки, на какие способен начинающий фотолобитель. Потом на копиях убеждался, в чем допустил промах, как надо действовать правильно, чего остерегаться. И хвастал, что потом уже не испортил ни одного негатива; поверим ему на слово, во всяком случае, его фотографии, и верно, вскоре стали такими, ка-

кими мы знаем их по собачьим и кошачьим идиллиям, по живым, почти репортажным моментальным снимкам да по нескольким дюжинам изображений словацких халуп и домашнего инвентаря, развешанным в коридорах его дома, — фотографиям, за которые не постыдился бы ни один участник любительских выставок. Это был странный чисто чапековский метод, я бы сказал — педагогическое открытие: нарочно делать ошибки.

Он рассказывал мне, что тем же методом изучал английский язык. Отправляясь в Англию, он уже кое-как говорил по-английски, возможно — вполне сносно, но поскольку ему предстояли встречи с корифеями английской литературы и даже публичные выступления, хотелось овладеть этим языком так, чтобы вполне пристойно на нем изъясняться. Поэтому он несколько недель прожил в чисто английском окружении, размял язык, а главное — запечатлел в памяти, какие ошибки делает иностранец в английском произношении, в построении фраз, неверно пользуясь идиомами и синонимами и так далее. Чапек и вправду весьма неплохо освоил английский, но, чтобы уберечься от любого ляпсуса, на том самом ужине Пен-клуба, которого он так опасался, произнес торжественную речь, с начала до конца напичканную всеми ошибками, неправильностями и трудностями, которые, как капканы, расставляет английский язык перед иностранцем. Его слушатели (вернее, те из них, кто еще жив) и поныне вспоминают эту речь как одно из самых остроумных выступлений в английском Пен-клубе.

Третьей областью разветвленной любительской деятельности Чапека было рисование. Со школьных лет сохранились тарелки, которые он разрисовывал, образцы старательнейшей росписи по фарфору. Впоследствии он долго не освежал своего умения рисовальщика и вернулся к нему лишь в Англии, когда увидел, что многое можно куда нагляднее показать чешскому читателю в рисунках, а не на словах. В свои способности Карел поверил, когда ему очень неплохо удался не только довольно простой в этом отношении портрет Дж.-Б. Шоу, но и значительно более трудноуловимый Г.-Дж. Уэллс. Окончательно же Карел поверил в это свое дарование, когда брат Йозеф похвалил его рисунки.

Иной раз рисунок возникал с необыкновенной легкостью, иной раз, напротив, после множества неудачных

попыток и главное — после глубоких раздумий над тем, каким условным ключом раскрыть свое образное представление. Так, например, с несметным множеством голландских велосипедов он мучился на уйме рисунков за столиком каждого кафе, откуда мы наблюдали их густые потоки и сутолоку на перекрестках, и только в отеле ему пришла в голову идея, как все это передать в рисунке. Он прибежал ко мне ночью с радостью, достойной открытия Архимеда. А ветряные мельницы, голландские каналы и поля дались ему сразу, за один присест.

Я бы не сказал, чтобы его художническое мастерство как-то развивалось и что более поздние рисунки лучше первых. Но Карел постоянно пытался рисовать по-новому: в Испании это были рисунки пером, зачастую — с тончайшими деталями, в Скандинавии для него важна была и передача красочного колорита, в «Дашеньке» он выводил свои линии, словно китайский пи-сец. Его рисунки — это вообще некий вид каллиграфии, с помощью которой он передает не только видимость предмета, но, если нужно, также изобразительную метафору, эпитет, истолкование, рассуждение, шутивное замечание. Рисуя пером он делал то же, что пишущим, и это удавалось ему с такой же прелестью, щедростью духа и остроумием, с такой же типично чапек-ковской радостью оттого, что он постигает, открывает и изображает мир, с таким же умением и находчивостью.

Я не причисляю к видам искусства, которыми он как бы между прочим позабавился, театральную режиссуру, ибо это слишком серьезное занятие, глубоко связанное с его драматургической деятельностью, но скажу о музыке: наверняка мало кому известно, что Чапек был любителем и в этой области. Как каждому человеку, не имеющему слуха, музыка была ему чужда — он не искал встреч и общения с нею. И все же: Карел любил старые бидермейеровские песенки, перенятые от бабушки, и, если бывал в настроении, пел их приятным, носовым, умеренно фальшивым голосом, причем, как ни странно, умел передать всяческие неожиданные музыкальные переходы, певческие фиоритуры, колоратурные переливы и тому подобные тонкости, которые, помимо текста, составляли их главное очарование. Чаще всего он пел эти песенки дуэтом вместе с басом Йозефа.

Другой областью музыкальных интересов Чапека была экзотическая и примитивная музыка, которую он собирал на граммофонных пластинках. Поначалу Карел тратил деньги только на разные диковины, порой не брезгуя даже шлягерами, — на записи ксилофона, гармоники, волынки, на матросские танцы и хоровое пение. Одна из этих пластинок, на которой было записано пение десятитысячного хора, вдохновила меня на создание пьесы «Ангелы среди нас». Но от этого Чапек быстро перешел к систематическому собиранию музыкального фольклора самых различных народностей, к поискам необычных ритмов, мелодий, инструментов и манер исполнения и вскоре стал владельцем необычайно богатой коллекции. Он был настолько известен как профессиональный собиратель, что фабриканты граммофонных пластинок посылали ему каталоги, а нередко он даже получал в дар от какого-нибудь научного учреждения необыкновенную запись, сделанную во время посещения бог знает какого дикого племени. Когда вместо нашей обычной прогулки Чапек проигрывал мне такую пластинку, он умел передать словами, в чем состоит ее музыкальное своеобразие, обращал мое внимание на взаимопроникновение мелодий, на лад инструментов, точно был заправским знатоком столь редкой музыки, хотя пришел к ней от своего общего интереса к фольклору, без специальной музыкальной подготовки.

Соприкоснулся Чапек и с архитектурой. Долго изучал ее и часто писал об урбанизме, прежде всего — о строительстве Праги. Я слышал его вполне профессиональный спор с генеральным директором Ремесленного банка, который хотел строить новое банковское здание в помпезном классицистическом стиле, между тем как Чапек защищал тогда еще многим ненавистные коробки из бетона. Делал он и попытки практически приобщиться к архитектуре: едва архитектор закончил строительство виноградской виллы, Чапек сам заново все остроумно перепланировал и перестроил.

Насколько мне известно, ваянием Чапек не занимался, танцевать тоже не научился. Таким образом, перечень его любительских опытов в области искусств можно было бы считать исчерпанным, однако мы отнюдь не исчерпали всех его научных познаний и увлечений. Таков, например, его интерес к энтомологии, о чем поныне свидетельствует коллекция разновидностей «аполлона»,

которую он составил в гимназические годы, и две-три витрины с дневными и ночными бабочками, собранные и оформленные с трогательным прилежанием первого ученика. Или его умение разбираться в восточных коврах. Основательные познания о них Карел почерпнул из книг, а затем сам стал покупать ковры. Бегая по пражским старьевщикам и антикварным лавкам, приносил домой всякие ветхие, казалось бы, дышащие на ладан экземпляры и давал им гордые ориентальные названия. Несмотря на недоверие друзей, считавших причиной столь обшарпанных приобретений бережливость Чапека, некоторые из купленных им ковров и правда оказывались носителями этих громких имен. Постепенно он стал со знанием дела разбираться не только в происхождении ковров, но мог определить, когда какой экземпляр был изготовлен, оценить качество материала, красителей и рисунка. Сомневаюсь, чтобы в его доме нашелся хоть один банальный ковер. Полностью покрыв все свои полы, он утолял ковровую страсть, охотно выполняя роль терпеливого советчика, когда ковер покупал кто-нибудь из его друзей. Как турецкий паша, он часами просиживал в лавке на низком сиденье перед грудями ковров, а приказчики пана Прейслера разворачивали перед ним экземпляр за экземпляром и каждому из них воздавали положенные хвалы.

Кинология! Не забудем, что Чапек написал, нарисовал и снабдил фотографиями прелестные повествования о двух маленьких фокстерьерах Дашеньке и Ирис. Путь к этим вошедшим в литературу собачкам опять же начался с ошибок. Такой ошибкой было приобретение сучки в Коширжском собаководстве, которое я знал со времен Ярослава Гашека, и потому рекомендовал Чапеку туда обратиться. Это был шенок, но уже довольно порядочный; сучка оказалась помесью дога с легавой, весила не менее пятнадцати кило, и Карел поверил, что это охотничий пес и замечательный сторож.

На первую прогулку с собакой Чапек позвал и меня. Мы шли по дороге между Виноградями и Вршовицами мимо какого-то кладбища. Был вечер, собака, получившая кличку Минда, тащила Карела на поводке, она явно не была приучена к спокойной прогулке. Вдруг она дернулась, порвала ошейник и скрылась в пустынной местности на рубеже двух предместий. Не один час был потрачен на хождения и расспросы, пока мы не обна-

ружили ее в кустах, не подманили и не поймали. Поскольку вести ее было не за что, а для Карела она оказалась слишком тяжела, пришлось мне тащить ее на руках, не то она снова сбежала бы от нас. Чапек смастерил для нее ошейник из куска какого-то старого прогнившего ремня и собирался купить новый, когда они с собакой немного попривыкнут друг к другу. Но они так и не привыкли. Охотничий пес отправился назад в Коширже, а Чапек проклял всех собак — раз и навсегда. Но потом кто-то подарил ему щенка, прелестного, пятнистого, маленького и легкого, совершеннейший клубочек шерсти, и тут настала эра Дашеньки, Ирис и книжек, которые принесли Чапеку славу великого знатока собачьих душ и собачьей речи.

Археология? Нет, вокруг нее Карел только все время с любопытством крутился, хотя я каждую минуту ожидал, что он вот-вот примется за раскопки старых курганов; история культуры, политика — тоже нет, это уже не дилетантские занятия, а интересы, тесно связанные с писательской деятельностью Чапека. Так что мне остается рассказать еще лишь об одном его коньке. О том, каким он был знатоком и ценителем вин.

К умению разбираться в винах Чапек тоже пришел окольным путем. Первые его шаги в этой области были весьма невинны, поначалу он знакомился только с названиями марок, звучащими особо экстравагантно и неординарно, с такими, которые могли удивить читателя. В ту пору он еще писал вместе с Йозефом «Сад Краконоша» и классицистические новеллы. Подлинно интимное знакомство с вином состоялось лишь после того, как он перенес свои «пятницы» с Ржичной улицы в виллу на Виноградах и принял на себя обязанности гостеприимного хозяина. Тогда он заказал в южной Моравии бочонок обыкновенного белого деревенского вина и сливовицу. Сливовица среди участников «пятниц» имела успех, вино же — никакого, хотя Чапек и пытался скрасить его недостатки забавными сведениями о нем. Последующие закупки вина тоже не увенчались успехом, так что в будущем во время приемов Чапек стал специализироваться на одной сливовице. Тем не менее кое-что практически необходимое о вине разузнал, делал попытки разливать его по бутылкам и хранить в погребе, но лишь с отчаянием наблюдал за химическим процессом, превращавшим вино в уксус. Однако в кон-

це концов он действительно сделал открытие — познакомился с замечательным знатоком вин и виноделия, восторженным другом всех людей искусства — Франтишеком Чебишем.

И в данном случае необходимо отметить, что страстие Чапека шло рука об руку с его лингвистическими интересами. Он обнаружил, что в мире вина и винной культуры перед ним открывается новый лексикон, почти столь же богатый, как и в мире садовничества, хотя у знатоков вин эти словарные запасы состоят главным образом из имен прилагательных, отличающихся удивительным лиризмом и служащих для обозначения самых различных качеств. Позднее, когда наш друг Чебиш, директор большого винного магазина в Праге, вел нас под Староместской площадью по подземным аллеям, уставленным винными бочками, или когда мы с той же целью отправились в погреба Мельника или в Бержковице, можно было услышать, как Чапек находит для каждого вкусового оттенка вина самую точную характеристику, причем мы убеждались, что он владеет не только всеми старыми и привычными «винными эпитетами», но по их образцу сочиняет новые, мифические, но всегда в полном соответствии с духом винодельческого арга.

Необходимо добавить, что сам он был в отношении вин воздержан, никогда не пил больше, чем приличествует интеллигентному человеку, и вообще, как и положено истинному любителю, пил вино лишь ради его вкуса и хорошего настроения. Только позднее, в канун Мюнхена и после него, когда мы встречались в винном погребе на Карловой улице, он пил вино печально, помирски грубо, рюмку за рюмкой, чтобы заглушить боль. Во всех же остальных случаях лишь пробовал, смаковал и оценивал, как истинный знаток — на вид, на запах, кончиком языка и нёбом. За рюмкой вина он бывал очарователен, под хмельком всегда затягивал бабушкины песни, придумывал каламбуры, или пускался в бесконечные философствования, сводил счёты и в конце концов примирялся со всем светом в со своими противниками. В эти моменты лицо его бывало краснее обычного, глаза светились, мальчишеские губы складывались трубочкой, оттопыривались, хохолок на затылке вставал ежиком, а волосы, обычно старательно расчесанные на пробор, падали на лоб — так его в нескольких

вариантах в зависимости от сортов пробуемого вина изобразил Адольф Гофмейстер.

Вспоминая об этом пристрастии Чапека, — в моем перечне последнем, — я хотел бы с нежностью поднять рюмку доброго вина в память о друге.

КАРЕЛ ЧАПЕК И ЛЮДИ ВОКРУГ НЕГО

Говоря о людях, близких Карелу Чапеку, естественнее всего начать с человека, который большую часть жизни был для него самым близким — с его брата Йозефа. В пору их литературных начинаний вообще не существовало никаких Карела Чапека и Йозефа Чапека, была лишь авторская двоица — братья Чапек. Братья даже немного выставляли напоказ свою родственную связь. Первое время приходили в кафе «Унион», где собиралась компания людей, причастных к искусству, одетые совершенно одинаково; в беседе дополняли друг друга, передавая нить сюжета или мысли, точно двумя устами говорило одно лицо; у них был собственный жаргон и среди разнородного художнического общества они казались двумя отлично сыгравшимися, необычайно подходящими друг к другу актерами.

Однако во время каждого серьезного разговора всем становилось ясно, что идеи, разлетающиеся, как искры фейерверка, и словно роняемые небрежными намеками суждения на самом деле рождались в результате тщательно взвешенной мыслительной работы, в долгих спорах и попытках прийти к согласию. Наконец, тот, кто был знаком с обоими братьями, знал, что их совместные словесные игры, их обмен идеями, похожий на перебрасывание мяча, их импровизации — все это было мальчишеской речью близнецов, к которой они привыкли со времен пребывания на острове общего детства. А за всем тем — еще и общая горница, общий стол и общая лампа, общее подрастание, общие планы и прежде всего великолепная братская гармония. Напрасно наше богемное общество ожидало хотя бы временных срывов, каких-нибудь ссор или минутных расхождений, так часто оживляющих братские союзы. Хотя, случалось, Чапеки могли и повздорить, но только из-за какой-нибудь ерунды, однако и эти маленькие размолвки они тоже включали в свои игры. В братском содружестве Карел пользовался всеми правами младшего. Он

имел право на импульсивность, на причуды и упрямство. Имел право во всем ссылаться на Йозефа как на высший авторитет. Зато должен был иной раз стерпеть воркотню, а то и замечание или даже надзор, как это и положено в отношении к старшему брату, лучше разбирающемуся в жизни, причем слушался он Йозефа довольно безропотно. Если Карел оказывался с нами один, без брата, что в общем-то случалось чрезвычайно редко, он чувствовал себя покинутым, бывал несколько удручен, не так агрессивен и более уступчив в дебатах. Без Йозефа ему чего-то не хватало.

Когда братья впервые расстались на довольно долгое время и старший поехал в Париж, а младший — в Берлин, я застал Карела в Берлине одиноким и раздражительным. Едва мы успели поздороваться, как он попытался завязать со мной тот же способ общения посредством диалогических игр и словесных трюков, каким они обычно пользовались с Йозефом. Карел был точно покинутый другом щенок, готовый сманить на привычные игры хотя бы овцу. Из этого я смог понять, как он скучает по Йозефу. В Берлине, где я для Карела был в какой-то мере заменой Йозефа, мы положили начало нашей дружбе. Чапеки являли собой необычайное, истинно братское созвучие, тем более редкое, что в нем объединились две крупные художественные индивидуальности. Это созвучие предоставит историкам литературы материал для разнообразных интересных исследований, психологам — нелегкие орешки загадок совместного творчества и взаимовлияния, а исследователям стилия — повод призадуматься над ролью семейного диалекта в формировании речевой манеры Чапека, поскольку они смогут обнаружить его у обоих братьев, да еще и у сестры, которая тоже написала несколько книжек.

В жизни Чапека немало значил и его отец. Карел очень гордился своим папашей, старым провинциальным врачом с внушительной практикой в горной местности, гордился тем, что его отец был первым врачом в округе, уверовавшим в антисептику, гордился его жизненным опытом и рассудительностью. И не важно, что в разговор со старым паном он по мере возможности вносил грубоватый мальчишеский тон и чуточку детской неучтивости, словно ему по-прежнему было всего

десять лет, словно взаимоотношения отца и сына установились еще в ту давнюю пору и больше не менялись. Впрочем, в Свато-м Яне под Скалой, где старый пан во время летнего сезона возобновлял свою практику, отец не оставался перед сыном в долгу, и, когда после полудня они беседовали в садике, видно было, что внешняя форма словесных игр обоих братьев коренится в семейной традиции. Позднее, после того, как пан доктор навсегда поселился у младшего сына, Карел той же наигранный дерзостью маскировал искреннюю и верную сыновнюю заботу о нем. А когда отец неизлечимо заболел, пересыпал колкостями и шуточками свои хлопоты, постоянные напоминания о необходимости соблюдать режим, и чем настоятельнее нужно было утаивать от отца горечь скорой и неумолимой разлуки, тем больше сыпалось насмешек и поддразниваний. Так Карел защищался от чувств, которые переполняли его; он всегда выражал их совершенно будничными проявлениями, которых непосвященный даже не заметит. С той же замкнутой мужественной самоотверженностью он вел себя в декабрьские дни 1938 года, когда навсегда прощался с женой.

Каких людей он любил? Я бы сказал, людей с богатым жизненным опытом, особенно если они достигли в своей деятельности определенных успехов. Первое впечатление, которое такая личность производила на него при знакомстве, как правило, было неким юношеским, почти школярским уважением и даже влюбленностью. Только потом он начинал доискиваться, что, собственно, ему импонирует, начинал сопоставлять отдельные высказывания и раздумывать о поведении этого человека, пытаясь определить его как человеческий тип. Охотнее всего Чапек наделил бы каждую такую личность садовой табличкой; а когда оказывался перед фигурой настолько законченной, что мог охарактеризовать ее одним словом, как обозначают выпестованное в саду растение, я знал: этот человек импонирует ему сверх всякой меры.

В конце концов он сосредоточил свое восхищение на фигуре Масарика. Для него он не подыскивал никаких односложных этикеток. Он был просто Т.-Г. М., однако Чапеку потребовалось два тома, чтобы обрисовать эту личность во всей полноте. Была у него еще одна лю-

бовь — к поэту Шрамеку. К олицетворению тишины и чувства, к лирику, пустыннолюбу, обнаженному человеческому сердцу. Чапек определил его одним словом: «поэт». Я объяснял себе эту любовь Карела тем, что он видел в Шрамеке кое-что из того, что тщетно искал в себе, или, быть может, чувствовал себя перед ним виноватым, поскольку забрал себе слишком много славы и успеха в сравнении с этим нежным, хрупким и самоотверженным художником. Не знаю. Или же — да этого и достаточно — Шрамак был для него, как и для всего нашего поколения, первой литературной любовью, и Чапек остался верен этой любви до конца жизни.

Не любил раздвоенных нытиков и неудачников, разумеется, не в плане материального преуспевания, а с точки зрения духа и воли, хотя мог этим людям сочувствовать и помогать. Его симпатии вызывал каждый великий или малый человек, если он был цельным и внутренне законченным, как яичко. Чапек умел находить таких людей, имел на эти человеческие экземпляры особый нюх, и каждый из них заслуживал у него название «порядочного» садовника, военного или водопроводчика.

Часто он заранее обрисовывал мне такого «порядочного» садовника, неделями суля познакомиться с ним, и покупал у него свою рассаду охотнее, чем у кого-либо другого, пусть даже предоставляющего больший выбор. У Чапека был почти неизменный, но всегда приятный и безотказный способ сближения с людьми. Здравовался просто, не по-городскому, почти кумовски. Официальное «мое почтение» произносил разве что в магазине. Затем следовало какое-нибудь самое обыкновенное замечание общего характера, которое партнер мог легко подхватить: о погоде, о том, как тут красиво, какая эта далища, пока сюда доберешься... Порой так завязывался выразительный разговор из одного кармана, как в книге чапекских рассказов. При этом Карел умел преодолеть различия взглядов, ни с кем не пускался в дебаты и никого не пытался переубедить, не выяснял чужие взгляды и не навязывал своих. Он никогда не делал ни малейшей попытки видеть в ком-либо материал для своей писательской работы, просто искал живого общения с человеком. Он казался мне неким «соседом» всего света, очевидно, таким же простым, приятным и соседским казался он всем собеседникам, даже когда они не знали, с кем имеют дело.

Несколько неуверенно держался Чапек с детьми. Хотя он умел с ними поговорить и даже поведать им что-либо для них интересное, все это было достаточно далеко от того наслаждения беседой с детьми на их собственном языке, какое он испытывал, когда писал для них, И когда ребенка уже не было рядом, Карел облегченно вздыхал, точно все это время боялся, как бы малыш не потоптал его цветы.

С женщинами ему тоже бывало не по себе, и при всем неподдельном внимании и учтивости он радовался, когда беседа кончалась. Особенно если чувствовал со стороны женщины интерес к себе, а тем более — восхищенный интерес.

Могу припомнить только одно исключение. Как-то он повел меня из редакции (это было, вероятно, в ту пору, когда в Национальном театре собирались ставить его «Разбойника») не обычным путем — в свою квартиру на Малой Стране, а на Смихов, в фойе театра Шванды. Там его уже ждала молодая светловолосая актриса, репетировавшая тогда одну из ролей в «Школе жен». По тому, как он меня с ней знакомил и как при этом на меня поглядывал, я уловил совершенно новые оттенки его характера. Сквозь чапековскую сдержанность просвечивали мужская гордость и сознание собственной значимости. Но потом он вдруг смутился, она тоже, и оба маскировали растерянность чрезвычайно оживленным разговором. Я поспешил ретироваться, поняв, что этот разговор так быстро не кончится. Карел не кончил его в течение всей своей жизни. То была Ольга Шайнпфлюгова.

Чапек любил, когда вокруг него собиралась компания. Любил, поскольку имел возможность наблюдать сразу множество людей, видеть их несхожесть, присутствовать при столкновении мыслей. Он был естественно дружелюбен, однако не допускал, чтобы кто бы то ни было вторгался к нему в часы работы. Если Карел работал, то и самый близкий товарищ должен был обождать. Поэтому его особенно устраивало общество, собирающееся регулярно и в определенные часы, для таких встреч он всегда умел выкроить время.

Первую компанию, завсегдааем которой стал Чапек в Праге, он нашел за столиками художников в кафе «Унион», когда там звучало эхо первых завоеваний ку-

бизма, возвещавших новую эру в развитии искусства. По воскресеньям, если братья были в Праге, они отправлялись с художниками и архитекторами из кафе «Унион» в традиционные загородные вылазки, на танцы, хотя ни сами танцы, ни девушки особенно их не интересовали. Однако путь туда и обратно с присаживаньем то тут, то там на меже был наполнен дебатами, содержание которых могло бы удовлетворить и самого избранного перипатетика. Карел тогда частенько захаживал в редакцию (и администрацию) еженедельника «Пршеглед» — в день, когда номер отправляли на почту, — и помогал паковать тираж и обклеивать каждый номер полоской бумаги с адресом. Там мы встретились с Халупным и со всей редакционной группой, которая была на десятилетие старше нас, так что в «Пршеглед» мы больше оказывались слушателями, чем участниками разговоров, всегда значительных и широких по тематике.

После войны он сколотил компанию, которая встречалась у него по пятницам, и довел эти сборища до совершенства, как все, к чему испытывал подлинное пристрастие. Чапек продолжал совершенствовать «пятницы» и их участников, пока вокруг него не образовалось общество того типа, какой он особенно любил: с регулярными встречами, достаточно замкнутое и все же свободно пополняющееся, с установленными обычаями и порядками, с дружеской мужской атмосферой. По отношению к гостям Чапек вел себя как старейшина. Оберегал излюбленный уголок каждого, знал, кто соблюдает диету, интересовался их делами и заботами. Можно сказать, едва ли не для них он оборудовал свой дом и постоянно окружал их вниманием вплоть до обязательных приветов семье при прощанье и книжек на память. Он чуть ли не контролировал регулярность посещений: словно с учительской кафедры извещал, какими уважительными причинами объясняется отсутствие того или иного, а поздним вечером провожал гостей за калитку, где обычно, как настоящий старейшина, предсказывал погоду. Встречая посетителя, заговаривал его собственным языком, чтобы тот сразу почувствовал себя как дома. С Карелом Полачком — языком репортера из зала суда или меланхолического ремесленника, с доктором Адлофом — языком членов «Сокола», а с Коптой — на «легионерском» русском, специально выработанным им для этой цели.

Чапек, насколько мы его знали, любил говорить, только участвуя в диалоге. Никогда он не произносил длинных связных речей, никогда не выступал с широкими эпическими повествованиями. В свое время Йозеф давал ему достаточно поводов для превращения монолога в диалог, по «пятницам» такую же возможность предоставляло ему большое многоголосое собрание. Естественно, что он был центром общества, но даже как хозяину ему отнюдь не позволялось говорить больше, чем другим, и его высказываниям не придавалось большего значения. Если он выступал с каким-нибудь мнением, то вынужден был выслушивать такую же критику, а то и колкие насмешки, как любой другой. Сколь умело он дирижировал этим мужским хором, обнаруживалось в те редкие «пятницы», когда его с нами не было и многие, пользуясь анархией, начинали излишне разглагольствовать. Но и сам он лучше чувствовал себя как член коллектива, воспламенялся общим энтузиазмом или негодованием, участвовал в общем смехе и мужских проделках на правах обычного доброго сотоварища. «Пятницы» стали его привычкой и высшим проявлением дружеских обязанностей. Но и для его гостей они были ярчайшим днем недели. Всю жизнь посетители «пятниц» будут помнить дружеское общение, которое создавал и бдительно охранял Чапек, будут помнить теплую, домашнюю атмосферу его комнаты и сумеречные краски заката над садами городской окраины.

Но вопреки всему вышесказанному, Чапек не был «известным», «популярным», как называют человека, имеющего разветвленные личные контакты с остальным обществом. Он не читал лекций, не председательствовал, не произносил речей, после премьер перед спущенным занавесом не благодарил публику за аплодисменты, не ходил на министерские приемы и вообще не появлялся в местах, где люди могли бы с ним познакомиться или хотя бы поглядеть на него вблизи. Так что знали его лишь члены семьи да круг друзей; я даже не припомню, чтобы он когда-нибудь встречался со своими земляками или однокашниками. Знали его актеры и другие театральные работники, коллеги по редакции, несколько художников, наборщики, дюжины три иностранных писателей, которых он принимал в Праге, множество садовников, кое-кто из старьевщиков и антикваров,

обслуживающий персонал в Ланах и Топольчанках, члены организаций, которые сам он вызвал к жизни. Кого-то я, вероятно, не перечислил и не утверждаю, что названных мною людей так уж мало, но наверняка это ничтожно мало для автора с мировым именем, книги которого выходили десятитысячными тиражами, а пьесы выдержали сотни реприз в ряде столиц. Более всего Чапек был известен своим творчеством, а также по фотографиям и карикатурам. И по корреспонденции. Он вел обширную переписку с читателями. Одни отзывались на его книги, другие предлагали темы, на которые необходимо написать, третьи поверяли свои затруднения, а кое-кто даже просил писателя-«миллионера» одолжить денег. Чапек отвечал на каждое письмо, и людей, которые могут похвастать его письмом, в Чехии нашлось бы значительно больше, чем тех, кто может припомнить беседу с ним.

Говоря о людях, знавших Чапека, я, разумеется, не могу забыть его соседей и их детей из квартала В стройках. Те видели пана Чапека, — конечно же, просто пана Чапека! — ежедневно, когда тот шел по узкой улице, которая теперь называется улицей Братьев Чапек, направляясь в редакцию или возвращаясь из редакции «Лидовых новин», чуть ссутулившегося, с тростью на сгибе руки. И приветствовали его: «Добрый день, пан Чапек».

Только, думаю, читатели даже не сознавали, что никогда его не видели. Всем казалось, будто голос его раздавался где-то совсем близко, словно они ходили с ним по Праге, по Чехии, по свету, по миру Утопий и вообще прошли с ним рядом порядочный кусок жизни. Но так будет всегда казаться всем его читателям.

КАРЕЛ ЧАПЕК ГЛАЗАМИ ДРУГА

Мастерской Чапека был его письменный стол. Он привез его в мае 1925 года с Ржичной улицы в свою новую виноградскую виллу. Письменный стол стоял в кабинете на втором этаже так, что сбоку от него Карел видел застекленную веранду, где находились сотни горшков с кактусами. Стол вовсе не был предметом старины, просто был старомоден — покрытый желтым лаком, небольшой, как раз на два расставленных локтя, опирающихся о столешницу, да еще с местечком для какой-нибудь кни-

ги; зато в тумбах было множество ящичков, а сверху — над столешницей — полочки и резная деревянная ограда.

В то время Чапек писал на четвертушках бумаги, стопка их всегда лежала наготове. Писал он обыкновенным стальным пером на деревянной ручке, очевидно, помнившей его гимназические годы. Вечным ручкам не доверял, пишущей машинке тоже. Свои четвертушки покрывал ровными строчками, отнюдь не каллиграфического, но вполне разборчивого милого школярского почерка, со стоящими вертикально буквами. В его почерке нельзя было обнаружить ничего такого, что бросалось бы в глаза, ничего нарочитого или произвольного; графолог, вероятно, определил бы, что почерк принадлежит ничем не примечательному интеллигенту.

Тогда, после первой мировой войны, я жил на Виноградах, на Флоре, неподалеку от квартала вилл, именуемого В стройках, где стоит и дом Чапека; порой я заходил за ним, направляясь в редакцию «Лидовых новин». Приготовленную для газеты рукопись он складывал пополам и неуважительно совал в нагрудный карман. Такого достижения цивилизации, как портфель, Чапек тоже не признавал. Да портфель и мешал бы ему, поскольку на руке всегда висела трость. Если надо было еще дописать несколько строк, он заканчивал статью, а я пока кормил сахаром его собаку Ирис. Кончив работу, Чапек открывал дверь и довольно громко кричал вниз своей экономке: «Кофе-е!»

Нередко он давал мне прочесть написанное, и потом нам было о чем говорить от Виноград до самого центра Праги. Особенно если он опять изобретал какой-нибудь новый вид прозы, который помогал ему выразить свои взгляды и сам по себе мог привлечь внимание — рассказы из обоих карманов, или микрорассказы, или столбец. Наши прогулки затрудняло одно обстоятельство. Оба мы были глуховаты на левое ухо, и потому тот, кто собирался говорить, переходил направо, чтобы очутиться поближе к правому уху собеседника. Со стороны могло показаться, будто мы на ходу танцуем менуэт.

Когда Чапек работал над чем-либо покрупнее, стопка четвертушек на письменном столе росла, время от времени он давал мне ее подержать и хвастливо просил: «Посмотри-ка, Франц, какая тяжелая!» Чапек во многом мне imponировал, но эти приготовленные впрок чет-

вертушки пробуждали во мне особое уважение. По ним можно было видеть, как, еще не начав работать, он со всей серьезностью готовится к предстоящему творчеству. Нарезает и складывает стопками пеленки задолго до рождения дитяти. В этом сказывался он весь: даже такая мелочь заслуживает со стороны подлинного профессионала внимания, раздумий и систематичности. [...]

Чапек постоянно нахваливал мне свои четвертушки, говорил, что по их количеству может заранее определить объем будущего произведения, что они удобны для типографов, подарил мне целую пачку на пробу, пока я не поддался искушению и, следуя его примеру, тоже не заказал себе таких четвертушек. [...]

Профессиональное отношение к творчеству было свойственно Чапеку и в больших масштабах, а возможно, и вообще во всем его подходе к работе. Однажды он прочел мне нотацию примерно такого содержания: «Франц, ты пишешь то о том, то о сем, перескакиваешь с одного на другое. Почему бы тебе с самого начала не придерживаться какой-то одной линии, программы, сходного содержания, чтобы за какое-то время возникла цельная книга, а не разношерстный сборник?» Тогда я понял, что за всеми его якобы импровизированными и буйно бросаемыми на ветер идеями и фантазиями, которыми он щедро потчевал читателей «Лидовых новин», за всеми этими сюжетными и жанровыми неожиданностями с самого начала скрывается обдуманная концепция, позднее воплощающаяся в книги, словно упавшие с неба, например, в «Книгу апокрифов». Я опять прислушался к его советам — так возникли мои «Рассказы филателиста» и «Пражские легенды».

Его работа в кабинете-мастерской вообще была совершенно иной, чем это принято у большинства чешских писателей. Он всегда устанавливал для себя определенный план работы, график, метод, а потом продвигался в заданном ритме, так что несколько часов ежедневного сидения за письменным столом едва ли могли показаться ему или его читателям напряженным трудом. Впрочем, если на результатах его трудов оставались следы пота, он умел полностью стереть их до того, как объявлял новую вещь готовой.

Работу он сдавал точно в назначенный срок; даже в доисторические времена, когда мы на товарищеских началах сотрудничали в журнале «Умелецки месичник»,

ни разу не случилось, чтобы Чапек (вернее, Чапеки) задержали выход очередного номера, не сдав вовремя рукопись. Он всегда считал своим долгом справиться с работой в срок, даже если из-за боли в позвоночнике писал стоя или, мучимый парадонтозом, без конца отрывался от писания, чтобы растереть десны различными лекарственными зельями. Он писал, не отговариваясь никакими причинами и строго выполняя взятое на себя обязательство, точно само его существование зависело от одной строчки. При этом время у него было так хорошо распланировано, что еще оставалось несколько недель для отпуска и несколько свободных послеобеденных часов, используемых по понедельникам для загородных прогулок со Шрамеком и со мной, а по пятницам — для приема постоянных гостей. Не знаю только, как он еще выкраивал часы для работы в саду, для проявления фотографий и тому подобных занятий.

Я всегда давал Карелу читать свои пьесы, а Карел звал меня, когда они с Йозефом читали свои. Первой была «Из жизни насекомых», они прочли ее небольшому дружескому кружку. Ролей между собой не распределяли, читали монотонно, почти небрежно, чтобы ненароком не внести в текст актерской окраски. Только то, что Карел больше обыкновенного произносил в нос, и выдавало его волнение. После чтения долго, до ночи говорили; мы были очарованы этой феерией, но все-таки уже тогда возникли возражения против ее чересчур безнадёжной концовки. Я всеми силами защищал жизнь Бродяги. Точно так же слушали мы и «Адама-творца». Во время дискуссий, которые возникали после чтения, совместные творения обычно защищал Йозеф, со спокойной рассудительностью, но и с немалым упрямством; Карел же не умел столь быстро парировать реплику и обосновывать свою позицию, возражения оппонентов хоть ненадолго убеждали его. Позднее пьесы Чапека читала Ольга, и потому «Белую болезнь» я услышал уже в чисто сценическом звучании.

Чапек не выражал радости даже при самых похвальных суждениях о своих только что изданных книгах или только что поставленных пьесах. Если в «пятницу» кто-нибудь из обычных гостей заводил об этом речь, Карел быстро переключал разговор в другое русло. Думаю, его стеснительность или сложившаяся привычка способствовали тому, что по «пятницам» вообще не раз-

бирались художественные произведения или статьи присутствующих гостей. О задуманных или уже продуманных больших вещах Чапек говорил мне часто, но по преимуществу отрывочно, касаясь отдельных проблем или персонажей и объясняя, как он пришел к тому или иному решению; это были скорее беседы с самим собой, при этом он явно не нуждался в моем одобрении или возражениях. Просто думал вслух. А вот о содержании «Средства Макропулоса», напротив, рассказал мне подробно, когда еще лишь приступал к работе над ним. После своих первых драматургических успехов он вообще бредил театром да к тому же должен был одаривать пьесами Виноградский театр, где был тогда ведущим репертуарной частью. А «Средство Макропулоса», по мнению Чапека, особенно затрагивало меня, поскольку в одном из рассказов я тоже касался мафусайловской темы. Однако «Средство Макропулоса», содержащее полемику с долговечностью по Шоу, весьма отличалось от моей «Вечной молодости».

Впрочем, мы с ним нередко сообща рассуждали о сюжетах для драм. Карел постоянно искал такой сюжет, к которому подошел бы типично чапековский хвалебный эпитет «раскидистый». «Раскидистыми» он называл темы, способные как бы сами собой развиваться под вашими руками, так что на них можно навешивать какое угодно богатство мыслей. Одно время он думал, что нашел такую заманчивую тему, и в разговоре часто к ней возвращался. Карел размышлял над этой пьесой, завершив работу над «Адамом-творцом». Тогда он словно бы отдалился от театра или хотел с точки зрения содержания и формы подойти к нему с иного конца. В основу сюжета пьесы должна была лечь история трех людей, уже умерших, но тем не менее совершенно телесно вновь разыгрывающих свою драму. Он крутил тему и так и сяк, размышлял, как поставить пьесу, чтобы избежать какой бы то ни было мистики, поскольку тезис его был прост и человечен: только смерть становится кульминацией жизни, довершая ее смысл, или что-то в этом роде. В первоначальном замысле его персонажи при жизни составляли любовный треугольник, и, мне кажется, когда с годами идея окончательно созрела, именно из нее выкристаллизовалась «Мать».

Разумеется, мы много с ним говорили и в пору его работы над «Белой болезнью», да и всякий раз, когда

он писал что-то связанное с медициной и ему не хватало собственных знаний, почерпнутых в молодости от отца, он обращался за советами ко мне. А если и моего разума не хватало, я делал для него выписки из медицинских учебников или спрашивал мнение какого-нибудь специалиста. Чапек прилагал все усилия, чтобы его персонажи-врачи говорили подлинно медицинским языком. Когда же дело касалось его собственной болезни, он уже не проявлял такой скрупулезности; любимым его врачом был один мой коллега, лечивший все болезни впрыскиваниями лекарств, состав которых хранился им в глубочайшей тайне. Откуда взял Чапек, работая над «Белой болезнью», сведения о деспотических хозяевах клиник, не знаю; у нас он вряд ли нашел бы подобный пример, хотя тогдашние заведующие клиниками и рассердились на него за фигуру Сигелиуса.

Писательский рост Чапека проходил после первой мировой войны, в обстановке, когда интерес к вопросам культуры у нас стал во много раз шире, чем это было всего лишь за десять лет до того, — в эпоху Австро-Венгерской монархии. Разумеется, интерес этот затронул и литературу, с которой постепенно опало все, что прежде еще терпелось: торгашество, провинциальность, менторство и дилетантизм. Литература стала чуть ли не важным народнохозяйственным объектом. Появляются и пятидесятитысячные тиражи книг, причем издания некоторых распродаются менее чем за полгода. Стихи печатают малые и большие издательства, а не как прежде, когда несчастные молодые лирики издавали за собственный счет жалкую сотню экземпляров. Читатели интересуются уже не только горсткой излюбленных авторов, с равным уважением читаются Ванчура и Чапек, причем одними и те же читателями, они же читают и Майерову, Тильшову, Ольбрахта, Йозефа Чапека, Чапека-Хода, Копту, Дуриха, Полачека, Пуйманову, Йона и других. Или Томана, Гору, Дыка, Неймана, Шрамека, Сейферта, Волькера, Незвала, Фишера, Галаса. Какой неожиданно богатый урожай чешской прозы и чешского стиха! Просто сердце радовалось.

В театре дело обстояло так же. К большим официальным театрам прибавились меньшие лишь по размерам зданий — Освобожденный и Э.-Ф. Буриана, а рядом

роями возникали экспериментальные сцены, на которых с успехом и без него пробовали свои силы новые актеры, режиссеры, драматурги. В больших театрах авторы пьес могли порадоваться многим десяткам реприз, тогда как прежде десять реприз представлялись успехом даже для самых талантливых. И если теперь в одной лишь Праге каждую пьесу Чапека видели пятьдесят — сто тысяч зрителей, то было ясно, что его аудиторию составляют не одни только патриоты и театралы, не держатели абонементов, снобы или бог весть чем привлеченные в зрительный зал люди, как это бывало в прежние времена, а просто широкая театральная публика.

Помимо тех, кто читал его книги и видел его пьесы, постоянной аудиторией Чапека были и подписчики «Лидовых новин», в редакции которых он служил, украшая ее своим присутствием всю зрелую половину жизни. После переворота в 1918 году «Лидовы новины» перекочевали из Брно в Прагу, где заложили основы своего будущего расцвета и превращения в ежедневную газету чешской либеральной интеллигенции. Одним из путей к этому было установление контактов со множеством хороших молодых писателей, и потому от газеты постоянно исходили некие литературные и вообще художественные флюиды. Ряд будущих писателей нашел здесь пропитание, газета стала чем-то вроде рассадника литературных талантов, и даже у какого-нибудь репортера из отдела местной хроники в ящике письменного стола лежал почти готовый роман.

Где-то Чапек рассказывает, как ему пришлось заполнять налоговую декларацию; в ней была рубрика: «От кого вы унаследовали ремесло, которым занимаетесь?» Чапек написал: «От пана Неруды». Очевидно, он хотел подразнить мерина в чиновничьей форме, готового одинаково бездушно тянуть любую поклажу. Чего только не придумаешь, чтобы подсластить общение с налоговой управой. Но по существу эта ссылка на Неруду была гордым признанием в принадлежности к цеху газетчиков. У Неруды и у Чапека мы можем обнаружить равный интерес к журналистике, одинаково высокие требования к ней и общую веру в ее высокое назначение. И все же, вернувшись в 1920 году с войны, я был поражен, увидев Чапека — точнее, обоих Чапек — в редакции газеты «Народни листы». Удивляло

не только то, что братья очутились именно в этой газете к духу которой, как мне казалось, они не могли испытывать симпатии и из которой действительно через полгода ушли, удивляло, что Карел вообще мог сидеть в какой бы то ни было редакции.

Судя по добросовестности и усердию, с какими он занимался на философском факультете, мы могли ожидать от него быстрой и даже блестящей карьеры университетского ученого. Он рассказал мне, как война исчерпала семейный капитал, так что даже отец, старый человек, во время войны вынужден был вернуться к медицинской практике. Представляю себе, как было бы прекрасно, если бы Карел остался верен философии и, будучи экстраординарным профессором, сочинил бы «Гордубала» и уже ординарным профессором, а может быть, и деканом философского факультета издал бы «Войну с саламандрами». Это еще более подчеркнуло бы глубину мысли и философскую направленность его произведений, — черты, действительно характерные для его творчества; возможно даже, его романам придало бы большую авторитетность, если бы они были трудами философа, а не созданиями поэта. Но как многие начинающие писатели у нас, Чапек посвятил себя журналистике. Через два года ему бы уже не пришлось этого делать. После успеха «Разбойника», «RUR» и «Из жизни насекомых» он свободно и в достатке мог бы жить на гонорары и смело продолжать свой путь драматурга с мировым именем. Если же Карел и потом остался сидеть в редакторском кресле, то единственно оттого, что это ему нравилось. Он вкусил яд ежедневной газеты.

Воздействие национальной традиции воспитало в Чапек чувство писательской ответственности. Оно требовало повседневной деятельности, то есть интереса к происходящему вокруг, участия в нем, изучения, критики, инициативы, организации и иных прямых попыток вмешательства в общественную жизнь. В хорошей газете с широким публичным резонансом Чапек нашел удачное место для приложения своих сил. Кроме того, в качестве премии за его труды и премии читателям за их внимание к «Лидовым новинам» ему позволялось вести на страницах этой газеты большую игру: он мог развернуть весь калейдоскоп своей поэтической фантазии, раздавать читателям свои наблюдения и познания, открывать для них новые материи, новые закономерности и

силы, новые красоты, новые континенты, новые человеческие отношения, новый смысл вещей. Мог преумножать в них чувство жизни, в чем, собственно, и состоит задача художника. Здесь возникла полная гармония и равновесие между журналистом и творцом.

Я редко заходил к нему в редакцию. У него там был лишь стол, как у всех других, и свою ежедневную работу он начинал с обхода коллег: выяснял, что будет в сегодняшнем номере. Беседа с коллегами служила для него разбегом, он ронял на ходу шуточки и каламбуры, а затем садился и тихо выполнял свой «урок». Его редко просили написать о чем-либо определенном, обычно он сам принимался к тому, что носилось в воздухе, и находил себе темы. Но если было нужно, выполнял за кого-нибудь его дневное задание или писал на требуемую тему хроникальную заметку в несколько строк без подписи, теперь уже никто не определит в таких мелочах авторства Чапека, но сам он относился к ним с полным уважением, считая неотъемлемой частью повседневной журналистской работы.

Чапек постоянно выуживал материалы для «Лидовок» из каждого своего грамотного знакомого. В редакции он чувствовал себя так хорошо, что старался угостить тем же ощущением и своих приятелей, заодно надеясь создать там для себя домашнюю атмосферу. Карел охотно бы вообще переселил туда всех своих друзей. От шефа он добился для Ванчуры, для меня и особенно для Шрамека выгодного предложения: под видом некоего постоянного сотрудничества мы могли за малую работу получать вполне приличную ежемесячную оплату. Наибольшая ставка была учреждена для Шрамека, который и впрямь нуждался в каждом гроше. К тому же это должно было побуждать его чаще возвращаться к литературе. Однако Шрамак издавна испытывал отвращение к любым обязательствам, Ванчуре не хотелось соваться в редакцию, выражающую интересы средних слоев, я же по настойчивой просьбе Карела успел занять освободившееся после него место заведующего репертуарной частью в Виноградском театре и был загружен по горло.

Итак, я никогда не сидел рядом с ним в редакции и его работу видел лишь со стороны, но и такая позиция давала немало пищи для наблюдений. Помимо пьес, Чапек печатал в газете (еще до книжного издания)

почти все, что написал, так что читатели «Лидовок» стояли у колыбели каждого его произведения. Нам, его сотоварищам по писательскому цеху, почти ежедневную писательскую радость доставляли встречи с его переменчивой, причудливой и все возрастающей творческой изобретательностью. Ныне, когда многое из чапековских достижений стало общим достоянием писателей, даже трудно себе представить, как свежо, точно некое открытие, воздействовал тогда сам освобожденный словарь Чапека, его раскованный синтаксис, воздушная, вольная, легкая и естественная народность и разговорность его языка. Сколько оттенков можно было обнаружить в его речи, будь то авторское повествование или диалог; как он ласково играл словечками, фразой, какую радость ощущал от родного языка как инструмента и материала!

А изобразительная сторона его работы! Он умел превратить различные журналистские формы, жанры и приемы в поистине художественные перлы, а поэтические произведения умел сделать необходимой частью газетной страницы. Эта сторона его творчества была не менее притягательна и столь же поразительна, как и постоянная новизна, разнообразие, глубина, настоятельность, остроумие, подлинность его тем.

Так, например, для воскресного приложения он придумал особый тип газетной прозы — «повествование», которое могло быть чем угодно — от рассуждения до сказки, могло щедро разбегаться вширь, поскольку ему отводилась целая страница да еще с рисунками. Для тем, актуальность которых не исчерпывалась одним днем, так что над ними можно было поработать и подольше, Чапек пользовался «столбцом», который набирался курсивом и помещался на первой странице справа, через две колонки от передовой статьи, и потому обретал большую «воздушность», чем обычный фельетон, помещаемый в «подвале». Для медальонов и заметок на два-три десятка строк он изобрел особый жанр «антрфила» между новостями дня посреди страницы, от которых оно отличалось шрифтом и стилем. Или еще... Дабы удовлетворить свое пристрастие к драматургии, когда ему не хотелось приниматься за что-нибудь крупное, Чапек придумал насыщенные действием драмы, по размерам меньше самой короткой одноактной пьесы, порой даже чистые монологи, опирающиеся на реплики

партнеров и сопровождаемые режиссерскими замечаниями вслух, — и вот мы читали в подвалах «Лидовок» чудеса драматической миниатюры, остроумные и глубокие, получившие известность под названием «апокрифы». Писал он, конечно, и рассказы. Но порой опускал все, кроме фабулы, и тогда называл их «микрорассказами»; впрочем, он умел обшипать и оголить их и еще больше, так что оставалась лишь заостренная мысль, — это были «побасенки» в три строки, и, наконец, дошел до того, что сумел выразить драматическую эссенцию своей идеи в нескольких словах, — и это были афоризмы. Менее экономный автор непременно разбавил бы такие концентраты (афоризмов, побасенок и т. д.), превратив в длинные истории и романы, густоты мысли в них для этого порой бывало вполне достаточно.

Думаю, возможность каждый день щедро одаривать читателя не только насыщенным содержанием, но и волшебством новых форм (а ведь и то, и другое являлось практическим применением неугомонной чапековской фантазии) крепче всего привязывала писателя к газете. Здесь к его услугам была большая площадка для самых разнообразных игр. В том, как он радовался возможности по своему усмотрению мять и лепить, кроить и резать, создавая новые формы выражения, с каким любопытством наблюдал, что из этого получится, к чему приведет опыт, сколько сулит удивительных неожиданностей (нагляднее же всего это видно именно в газете) — во всех этих чертах Карела проявлялось нечто от веселого мальчишки из сада Краконоша. И мы, снимавшие первую пробу друзья и читатели, ежедневно широко раскрывали восхищенные глаза, дивясь тому, как он находит для своих мыслей равноценную форму.

Везде, где я говорю «мы», я не имею в виду, что все без исключения современники видели Карела Чапека именно в таком свете. На правом и левом политических крыльях к суждениям о нем примешивались партийные и идеологические влияния. Справа, где его меньше читали, чем говорили вслух, за ним постоянно приглядывали; это древо гуманизма постоянно ошипывали, чтобы оно не выросло слишком высоко; его называли «космополитом», «антипатриотом», в худших случаях клеймили как рупор, любимчика и агента Града, утверждали, будто его так называемые заграничные успехи финансируются Министерством иностранных дел, Слева

молодое поколение упрекало его за изолированность, иронизировало над его конформизмом, над стремлением обойти общественные проблемы, над попытками сглаживать острые углы. Но то же молодое поколение, справедливо отдавая Чапеку дань уважения, было благодарно ему за перевод французской лирики, которым он открыл для молодой чешской поэзии новые богатства языка и поэтических форм. Разумеется, позднее «Белая болезнь», «Война с саламандрами» и «Мать» дали достаточно громкий и веский ответ на вопросы, которые были близки и сердцам молодых.

Нападки критиков Чапек переносил легко. Реагируя на колкости и злопыхательство, ограничивался несколькими небрежно брошенными ироническими замечаниями. Некогда считалось, что писатель обязан защищать свои произведения и свои идеи и, ведя так называемые полемики, карать недостаточно уважительное или враждебное отношение к ним. В мое время и моими сверстниками полемическое искусство перестало восприниматься серьезно. Еще в предшествующем поколении дело обстояло совсем иначе, писатели с горячностью кидались в полемику. Это были бесконечные схватки фехтовальщиков и атлетов! Махар, Дык, Шальда, Прохазка и другие! Вся Прага прислушивалась к выпадам, стремительным ответам и репликам литературных ристалищ. По сравнению с этим наше провозглашение лозунгов кубизма и современного искусства в целом, наша культурная революция выглядели чуть ли не как цикл академических лекций. В официальном органе нового искусства «Умелцеком месячнике» я могу припомнить лишь одну поистине старомодную полемику. И вел ее самый спокойный из всех художников, немногословный Филла. Против кого? Против братьев Чапек, из наших же рядов. Филла обвинял их в том, что они отошли от ортодоксального кубистического учения. Как они отбивали его удары, я уже не припомню.

Позднее, достигнув полной зрелости, мы избегали полемик как абсолютной неразумной потери времени и бесполезной траты мыслительной энергии. И все же. Насколько раз невозможно было уклониться, и Чапек впутывался в какую-нибудь баталию — правда, почти всегда против собственной воли. В теории Карел знал все полемические тонкости, всю стратегию словесного поединка, Да и написал об этом прелестное эссе, но не могу при-

помнить, чтобы он хоть когда-нибудь добился победы на практике.

Одно из полемических сражений вызвал он сам. Это произошло из-за Шрамека, которого Чапек ценил больше всех живших тогда поэтов, можно даже сказать — любил. Хрупкие, словно бы покрытые росой стихи Шрамека всегда вызывали в Кареле ответный резонанс. В ту пору Шрамак часто впадал в меланхолию, ему казалось, будто с приходом старости его поэзия теряет живость, будто он переживает свой климактерий. Ему было тогда около пятидесяти, выглядел он свежо — какая уж тут старость? Но Шрамак как раз издал роман «Западня», и две-три рецензии лишь утвердили его в подобном ощущении. Депрессия сменилась ужасом, он испугался, что окончательно иссяк, что его творческий путь завершен, что он уже не поэт и вообще давно умер. Шрамак, как отшельник, замыкался ото всех в своей вршовицкой квартире. Тогда-то Карел и пустился из-за него в полемику с критикой. Упрекал ее в противоречиях, в произволе и бестактности по отношению к нежной душе поэта; я не помню тона его упреков, но, безусловно, они звучали как рыцарская попытка защитить нечто столь незащищенное, как книжка поэта. Карел довольно решительно потребовал от друзей поддержки в деле защиты Шрамека. Разумеется, мы так ничего и не доказали, но заступничество Чапека хотя бы настолько придало Шрамаку уверенности в себе, что удалось даже несколько раз выманить его на прогулку за Вршовице, и в разговорах с нами он размышлял о своих будущих стихах и прозе.

Из другого самого доброго намерения Чапека возник большой скандал, получивший название «Новогодняя афера». Начало ей положила небольшая костюмированная сценка, разыгранная в полночь в вилле Карела: три актера, представлявшие согласно написанному хозяином тексту трех политических лидеров, пришли поздравить гостей с Новым годом. Это должно было прозвучать как хвала республике и президенту. Но поскольку представитель национально-демократической партии был выставлен в роли, не соответствовавшей реальной политике, руководство партии, совершенно утратив чувство юмора, обрушилось на Чапека в «Народних листах». Внесли свою лепту и кое-какие забияки из вечерних изданий той же газеты — и кампания стала до того шумной, что голосов Чапека и его приверженцев вовсе не было слышно.

Да, не умели мы защищаться! В тот новогодний вечер я у Чапека не был, но в полемику все же ввязался и получил свою порцию брани. Хоть меньше досталось на долю Чапека.

В последний раз я стоял бок о бок с ним в трагическую пору после Мюнхена. Тогда писатель Дурях упрекнул его за то, что в ночь славной национальной мобилизации в сентябре 1938 года он, опасаясь немецких бомб, сбежал в свою деревенскую усадьбу в Стржи под Добржишем. Это была неправда, я пытался всеми силами (также и лично) склонить Дуриха, чтобы он внес в свое утверждение коррективы, но тот принял мои слова с презрением и упорно держался своих сведений, полученных из третьих, если не из четвертых рук. После его выступления, словно по сигналу, уличный и газетный сброд, годами копивший зависть и ненависть, понял, что Чапека можно травить, словно загнанного зверя, и на него, как из клоак, хлынули потоки клеветы и злобы. Мюнхен Чапек переживал так, будто ему самому нанесли увечье. Он был точно раненый, убитый горем. Нападки, которые через его голову обрушивались на все, что он любил, Чапек переживал как глубокое унижение и бесчестье. Чуть ли не вопросительно оглядывался вокруг: будет ли в это тяжкое время — а тогда особенно нуждались в чапековских мыслях — кто-нибудь его слушать? Эта кампания преследования была еще одним ударом из числа тех, которые подытожил последний час его жизни.

Как-то при встрече я посоветовал ему ненадолго уехать, хотя бы в Швейцарию. Там он смог бы лучше сориентироваться в европейской обстановке и с разных сторон увидеть наше будущее, наши перспективы, подлечить нервы и, набравшись сил, вернуться к своей работе. Признаюсь, я выражался намеками и не сказал открыто, что имею в виду; позднее, в июле 1939 года, его брат Йозеф совсем не так советовал мне: «Франц, ты тут сейчас ничем не можешь. На тебя накинута с нескольких сторон. Уезжай, там ты хоть что-нибудь делаешь. А когда вернешься и мы встретимся...» Но даже на мой намек Карел ответил взглядом, из которого я вычитал больше, чем из слов: как это могло прийти мне в голову, разве способен он в такое время уехать из родной страны и не принять на свои плечи хоть часть тяжести, которую несет весь народ?

Почти все время, что ему еще оставалось, Чапек пи-

сал «Фолтына». В книге не было ничего от боли, которую он в тот момент испытывал, но и ничего освобождающего, чем он мог бы ее облегчить. Это был горький роман — пожалуй, горечь была единственной связью с тем, что Чапек тогда переживал. В литературные произведения он вкладывал свою фантазию, свою философию, свои мысли, взгляды и прозрения, свою веру, но ни в коей мере не свои личные чувства. Только уже пережитая жизненная эпоха и этап развития — молодость с ее волнениями и проблемами, с ее горестями и бессилием — проникали в его раннюю прозу. Так было в «Сияющих глубинах», написанных еще с братом Йозефом, так было в его собственных «Распятии» и «Мучительных рассказах». Но, разумеется, как всякий подлинный художник он не мог избежать проникновения в творчество собственных чувств или хотя бы настроений. Однако они проникали туда в многократно преображенном виде, отнюдь не так непосредственно и определенно, как его суждения, оценки и жизненные наблюдения.

Чапек нередко побаливал, недомогал, был даже серьезно болен и, как человек нервный, остро переживал все градации физических страданий. Но вместо того, чтобы жалеть себя и вызывать к себе сочувствие, что бывает лучшим утешением, почти наградой за боль и муки (причем это свойственно и писателям), он скорее стыдился своих слабостей, преуменьшал их и награждал ими какого-нибудь смешного человечка в фельетоне, так что болезнь превращалась в сюжет для юмориста. Так, в «Кракатите» есть целые главы, наполненные горячечным бредом. Однажды я спросил, переживал ли он сам нечто подобное... какое-нибудь бредовое состояние. Да, высокая температура у него была — во время ангины, а остальное он представил себе с помощью фантазии.

Своей внутренней жизни Чапек не раскрывал даже друзьям. Впрочем, мы были мужской компанией и не привыкли обнажать друг перед другом самое сокровенное. Если же Карелу было необходимо излить перед кем-нибудь душу, на то у него был брат, а позднее — жена.

Здесь читатель приходит в противоречие со своим представлением о Кареле Чапеке. Ему казалось, будто произведения Чапека полны авторской личности и будто он, читатель, состоит с этой личностью в постоянном,

почти интимном контакте. Такое впечатление возникает потому что автор не утомлял читателя и за исключением столь редких случаев, как, например, «Критика слов» или «Марсий», всегда обращался не к особо образованному читателю или интеллектуалу, а всего-навсего к человеку начитанному и любящему чтение; в иной подготовке чапековский читатель не нуждался.

Великие истины и мудрые откровения Чапек сообщал читателю, не отпугивая его сложностью изложения. То, что он говорил, обладало сочной выразительностью и теплом чешского мудреца, беседующего с соседом. Кроме того, сотнями тончайших ухищрений, всем своим писательским искусством он умел придержать читателя за пуговицу пиджака и притянуть к себе, чтобы тот знал: пан писатель действительно обращается ко мне, а не адресуется через мою голову к какой-то невидимой аудитории, к общему собранию или к базарной толпе. Тут я, читатель, вовсе не предлог, каким бывает для беллетриста его «снисходительный», а подчас и «любезный» читатель или читательница, я сам — личность, достойная его откровений и доверия. Благодаря такому умению завязывать контакт у каждого читателя Чапека возникало ощущение доверительной беседы с автором. Порой это была всего лишь приятная минута общения с ним — например, при чтении микрорассказа. Но это мог быть и монументальный отрезок времени, кусок вечности, измеряемый не количеством страниц, а щедростью авторской души, — как, например, пятнадцать строчек его «Похвалы чешскому языку». Такое ощущение все возрастало, так что, скажем, читателю чапековских путевых очерков казалось, будто автор ведет его за руку от одной занимательной особенности чужих стран к другой. На самом же деле Чапек и там старался не выдавать своего присутствия, отводя главенствующую роль предмету изображения.

Я говорю это не только в образном смысле. Насколько он умел полностью отказаться от себя в своем творении, я не раз видел, когда возникали «Картинки Голландии». Мы вместе поехали в Голландию на конгресс Пен-клубов. Чапек в своем стремлении к пунктуальности хотел прибыть за сутки до начала заседаний. И совершил большой промах.

Мы приехали в Гаагу ночью. На вокзале ни единого справочного бюро, отели во всем городе переполнены,

ночлега не найти. Переспать на вокзале? Наконец мне удалось поймать работника УМСА и добиться устройства в ночлежке для молодых бездомных. Спали мы хорошо, на двухъярусной койке. И только на следующий вечер отправились на вокзал, чтобы дать организационному комитету возможность торжественно приветствовать нас и препроводить Чапека, председателя уважаемого чехословацкого отделения Пен-клуба, в парадные апартаменты лучшего гаагского отеля.

Из этого могла бы получиться прелестная история, за которой, если ее описать, последовала бы еще одна.

До отеля мы ехали в такси, и сверх таксы Чапек дал шоферу на чай сколько полагалось по приведенной в «бедекере» рекомендации. Однако шофер с пренебрежением бросил нам эту красивую голландскую серебряную мелочь под ноги и вылил на наши головы потоки голландской скороговорки; мы решили, что это матросская брань, звучащая по-голландски весьма раскатисто и слышная на мили вокруг. От худшего нас уберег швейцар отеля. С той поры в качестве бакшиша мы всегда давали половину голландского гульдена, ради чего приходилось экономить на собственном желудке, зато в нас сразу признали уважаемых иностранцев.

Не рассказывает Чапек и как лакомился во время великолепных голландских завтраков. На столе всегда стоял большой кофейник со свежим крепким кофе, рядом с ним — глиняный кувшинчик с густыми сливками, большой кусок запотевшего на холоде масла, коллекция сыров и ветчин, пирогов, бананов и яблок. Хотелось поглощать эти яства до обеда, и Карел, обычно воздержанный, не мог преодолеть искушения. Поэтому мы являлись на заседания конгресса довольно поздно, впрочем — остальные его участники тоже.

А яванский ужин? Наш общий приятель голландский прозаик Фабрициус, тогда широко известный в Чехословакии, пригласил нас в яванский ресторан. Его посетителями были возвращенцы из Индонезии, чьи желудочные соки привыкли к дьявольски острой пище и на что-либо более пресное уже не реагировали. Еда там содержала огромное количество белого, желтого, зеленого, красного и черного перца и иных обжигающих веществ. Блюда были великолепны на вкус, но во рту после них палило, как в кратере вулкана. Фабрициус предостерег нас, чтобы мы не пили и даже не ополаскивали рот, жжение пос-

ле каждого блюда устраняется ложкой отварного риса (миска с рисом стояла перед каждым на столе). Я решил руководствоваться его советом и чувствовал себя вполне сносно. Карел же гасил или пытался погасить огонь во рту холодной водой со льдом, выпил несколько кувшинов, да еще по дороге в отель останавливался и пил лимонад. Всю ночь ему было плохо, к счастью, жена привратника держала для своих детей сухую ромашку, этим детским средством мы и вылечили его желудок. Утром Чапек уже завтракал. Этого в его книге тоже нет.

О Северном море он рассказывает, как зритель, видевший его издали. Такое впечатление неверно. Чапек в нем даже купался. К морю нас возил атташе чехословацкого посольства. День был пасмурный, за серой завесой серебряным светом поблескивало солнце, море было тусклое, как олово. То тут, то там, но только на берегу можно было увидеть какого-нибудь закаленного спортсмена. Чапек, как и всякий чех, должен был незамедлительно окунуться в море при любой погоде. И вот мы только бродили вдоль бережка, а Чапек в плавках помогал сынку нашего атташе строить крепости из песка на таком холоде, что дома он непременно надел бы пальто. От этого купанья у меня осталась фотография — воспоминание о Кареле, хрупком, с небольшим круглым брюшком, однако без какой-либо видимой деформации позвоночника, вероятно уже вылеченного; Карел был подвижен, почти как тот восьмилетний мальчуган. В своем путеописании Чапек мог бы хоть похвастать, что купался в море при каких-нибудь десяти градусах тепла, но не похвастал.

Голландок он упоминает лишь в небольшом абзаце о фольклоре да еще когда рассказывает о монашенках на велосипедах. Но в его книжке нет ни словечка о сказочно одетых индонезийских принцессах, на которых женились в бытность свою на островах голландские колонисты и теперь бахвалились их красотой во время официальных приемов. О них он, возможно, забыл, хотя мы оба ими восхищались, но о ком он непременно должен был вспомнить — так это о хозяйке автомобиля, на котором мы ездили.

Дело в том, что гаагские дамы, владелицы машин, предоставили автомобили в распоряжение отдельных делегаций. Сами же они и водили свои машины, а поскольку каждая знала несколько языков, одновременно были

для нас гидами и переводчицами. Меня и Чапека в очень красивой лимузине возила очень красивая молодая женщина. Мы быстро подружились, и Чапек, преодолев смущение, всегда испытываемое им в дамском обществе, говорил с ней по-английски, по-французски и по-немецки, примешивая еще и голландские слова, которые уже успел усвоить, причем умудрялся сочинять на этой смеси разные шуточки. Более того, он выслушал повесть о ее жизни, о трех сыновьях, которым она, начиная с восемнадцати лет, давала жизнь, чтобы теперь, в двадцать два, освободиться от всех забот о продолжении рода и в свое удовольствие заниматься химией или астрономией. Она говорила с Чапеком, как с давнишним другом семьи, была совершенно им очарована. Когда мы, купив букет, пришли с ней проститься, на глазах ее были слезы, и она объявила, что хоть и не читала еще никаких вещей Чапека, но чувствует: он великий человек. Мы спросили, почему она выбрала именно чехословацких делегатов, в то время как могла бы возить на своем элегантном лимузине господина Уэллса или господина Моруа. Оказалось, потому, что мы великое обувное королевство, а ее муж — владелец маленькой обувной фабрики. Об этой даме Чапек явно должен был что-нибудь написать. Или о том, как в саду нашего посольства, приютившего нас на несколько ночей, он каждое утро полон и рыхлил запущенную альпийскую горку, прежде чем мы отправлялись в путешествие по музеям, картинным галереям и кафедральным соборам. Нет, нет, Чапек держал себя на порядочном расстоянии от своего творчества!

К какому виду дружбы причислить мои отношения с Чапеком? Чаще всего мужская дружба начинается со школьных лет, долгие годы совместного ученья, множество общих впечатлений, учителя, футбол, хождение в купальню, ухаживание за девчонками и, если дружба продолжается в более позднем возрасте, конечно, хоть какая-то общность интересов. Такая близость однокашников вполне подходит и к нам двоим; оба мы посещала одну школу искусств в кафе «Унион», были у нас и совместные прогулки, и множество общих интересов и взглядов. Я знал, что Чапек меня любит, хотя, пожалуй, меньше, чем Шрамека, которого, помимо прочего, он еще и опекал. Не сомневаюсь, если бы я когда-нибудь нуж-

дался в помощи, Карел охотно и щедро оказал бы ее. Мы всегда дарили друг другу свои новые книжки, на рождество обменивались подарками, однажды он преподнес мне серию своих рисунков к «Прогулке в Испанию» и кое-какие свои фотографии; отовсюду, куда ни ездили, мы посылали друг другу открытки. Одну он прислал из Швейцарии; меня первого известил, что решил жениться, и его невеста Ольга Шайнпфлюгова на той же открытке подтвердила сообщение, которого я ждал уже десять лет. Писем друг другу мы написали очень мало, я вообще не любил писать, да и зачем — виделись мы часто и у обоих были телефоны. Наверняка мы взаимно ничего друг от друга не таили, но в интимной откровенности и исповедях оба придерживались определенных границ. Охоту к этому дружба с Карелом, вероятно, не вызвала ни у кого. И наоборот, каждый ходил изливать душу к Йозефу, ожидая от него совета, отпущения грехов или надеясь, что он отговорит от неверного шага. Йозеф чаще раскрывал человеку объятия, был более уверен в себе, зрел и мудр.

Однако вспоминаются отдельные моменты, когда мы с Карелом вдруг почувствовали особо доверительную близость. После смерти отца он привел меня в его комнату и показал все медицинское наследство. Это были медицинские руководства середины девятнадцатого века, бережно связанные комплекты старых, сначала немецких, а потом уже исключительно чешских медицинских журналов, блокноты с календарем для ежедневных записей, связки рецептурных бланков да кое-какие бумаги. И еще деревянный ларец со старыми медицинскими инструментами. Карел предложил взять все, что может мне пригодиться. Он смотрел на меня вопросительно, почти напряженно: соглашусь ли я, приму ли его подарок? Это были инструменты, которыми давно никто не пользовался, потускневшие, несовременной формы, одни помнили эпоху антисептики, другие — еще более древние времена. Карел держал ладонь на книгах и инструментах, точно гладил руку отца. Я был тронут тем, насколько он уважает все оставшееся от отца, и собирался уже поблагодарить за инструменты и отнести их домой, а потом положить куда-нибудь на самое дно шкафа. Тем самым я просто разделил бы с Карелом его печаль, обнадежил бы его, что оставшиеся на память об отце вещи в добрых руках, и кто знает — может, еще и сослужат служ-

бу. Но, подумав, я предпочел откровенно сказать, что это уже музейные экспонаты, и склонил Карела, действительно, предложить все в музейную коллекцию, о чем нам удалось договориться через Общество чешских врачей. В ту минуту, когда он стоял против меня по другую сторону стола, заваленного книгами и инструментами, нежный, мягкий, тщетно пытающийся утаить печаль и волнение, и предлагал мне долю своих воспоминаний об отце, кусок собственной жизни, собственного детства... — думаю, в ту минуту мы были необычайно близки друг другу.

Еще такой же момент. Я заходил к нему часто, когда во второй половине дня у меня было какое-нибудь дело в городе, но он, хотя моя квартира на Флоре была почти на его пути в редакцию, редко заглядывал ко мне. И потому я удивился, когда в один из осенних вечеров, возвращаясь из редакции, он зашел ко мне — и не на минутку, поскольку, не дожидаясь предложения, снял пальто, удобно уселся, курил «половинку» за «половинкой» и пустился в длинный разговор. О чем — я уже не припомню, но я заподозрил, что пока он только ходит вокруг чего-то, как кот вокруг горячей каши, ибо, перескакивая с одного на другое, все время беспокойно поглядывает в окно, за которым уже спускается тьма. И вот, наконец, Карел попросил, чтобы я вышел его проводить. Я полагал, у него на сердце нечто такое, что легче высказать не сидя, а во время ходьбы, когда душа раскрывается как бы сама собой.

И, верно, едва мы вышли на улицу, как Чапек, крепко сжав мой локоть, признался:

— Франц, я зашел к тебе, потому что ты мне нужен, — боюсь идти домой один. С утра у меня в ушах звучит стих, не знаю, откуда он взялся, как возник в моей голове: «Еще сегодня брызнет кровь. Еще сегодня брызнет кровь». Я слышал его не меньше пятидесяти раз, он все возвращается и возвращается. Я боюсь. Крови.

Дальше он уже шел молча. Было темно, я тоже молчал, он заразил меня страхом, и на каждом углу я смотрел, нет ли кого впереди. Но на всем пути среди вилл нам не встретилось ни души. В его вилле тоже было тихо. По счастью, Карел сразу заметил, что у двери не висит поводок, значит, экономка пошла выгуливать собаку. И весь страх с него спал. Я дождался, пока Дашенька с

экономкой вернулись, выкурил с ним сигарету, выпил две-три рюмки сливовицы и пошел домой.

Однако мы еще несколько раз вспоминали этот случай: Карел не любил нерешенных вопросов. Но никак не мог, вернее, мы никак не могли найти связь между тем случаем и какой-либо идеей, словечком; нам не удавалось обнаружить никаких ассоциаций, никакого самовнушения, ничего, что способно было вызвать так напугавший его стих. С моей помощью он анализировал свое состояние как некий симптом отклонения от психической нормы, как галлюцинацию, как материал для исследования Фрейда. Или как неудачное и не доведенное до конца вторжение мистики в реальную жизнь. В конце концов мы поняли, что это не более чем тема для какого-нибудь рассказа из третьего кармана, новый вариант необъяснимого следа из «Распятия». Но не только благодаря загадочности этот случай сохранился в моей памяти. Главное — Чапек сказал мне, что я ему нужен! Мужчины никогда так не чувствуют близости, как в момент, когда один из них нуждается в другом, и нет более доверительной минуты в их дружбе, чем когда они высказывают это вслух.

Самое большое потрясение Чапек испытал на моих глазах в пору Мюнхена. С болью, какую может причинить лишь открытая рана, переживал он эти дни национального траура, отчаяния, ненависти и протеста. Как будто именно под его ногами пошатнулся фундамент, на котором он строил более почетное и справедливое будущее своего народа; рушилось все, к чему он пришел в своих исканиях, с чем сросся всей душой, что придавало смысл его произведениям. Он словно прощался со всем, с чем связал свою жизнь.

Мы тогда виделись нечасто, лишь урывками, после заседаний писателей, сотрудничавших с армией, мы просиживали полчаса в кафе или за бокалом вина, которое Карел пил скорее от злости. Жалею и до сих пор упрекаю себя за то, что слишком много предоставлял ему самому себе. Впрочем, я мог предложить ему лишь слабое утешение, что наши национальные проблемы решит неминуемая новая мировая война. Жестокая операция, и нам ее не избежать, но сомневаться в результатах не приходится.

Очевидно, Чапек еще больше, чем я, боялся даже помыслить о войне. На его глазах рассыпалось все: труд будителей где-то на рассвете нашего национального существования, вековые мечты о свободе, которые только наше поколение начало по-настоящему претворять в жизнь. Прошлое как не бывало. Точно все нужно было начинать с начала, с нуля. Но кто начнет? И когда?

Осуществление своих надежд Чапек, видимо, связывал с таким новым началом, он верил в бессмертие народа, в его спасение и возрождение, хотя мысленно и отодвигал все это в некое отдаленное будущее. Если бы он прожил на четверть года дольше, ему могло бы показаться, что сбылись самые горькие его предчувствия. Если бы он повременил со смертью еще семь лет, то убедился бы, что я не ошибся в своем предсказании.

Судьба проявила к нему милосердие, даровав преждевременную смерть. Она соблаговолила дать ему достойный уход из жизни. Он не погиб, как это должно было случиться, от рук нацистов, не был ни казнен, ни отправлен в концлагерь.

Я часто раздумывал, как он пришел к столь интенсивному чувству патриотизма. Оно явно уходило корнями в семью и школу и достигло наивысшей ступени, когда его с болью носил в душе весь народ. Но ведь у двадцатилетнего Чапека, у обоих братьев да и у всей той художественной группы, к которой принадлежали его сверстники, внешне патриотизм никак не проявлялся. Несомненно, это было тогда реакцией против прежнего романтизма в национальном самоощущении, патетического, сентиментального, громогласного и легко имитируемого притворщиками.

Если бы кто-нибудь спросил нас в ту пору, чувствуем ли мы некую связь с национальной жизнью, некую общую ответственность за нее, мы бы указали на свои реалистические попытки превратить наш народ в столь же зрелую составную часть современного культурного мира, какими давно уже стали наиболее свободные народы. Это стремление молодых деятелей искусства включало в себя борьбу за победу современного искусства над ретроgrадами, филистерами, над любителями внешней красоты и громких фраз. Первая мировая война рассеяла наше поколение, но, безусловно, любой из нас, как и весь наш народ, естественно реагировал на ход собы-

тий, так же переживал ужасы войны и связанные с нею надежды, которые в конце концов сбылись.

После войны люди нашего поколения специализировались в различных областях деятельности, и качество их творческого труда в значительной мере представляло зрелость свободного Чехословацкого государства. Успех драм Карела Чапека и братьев Чапек прекрасно вписывался в ту эпоху. Это был первый всемирный успех чешской литературы, а тем более — драматургии, подлинный спонтанный успех. Так, самим своим положением в литературе Карел Чапек был вовлечен в более широкую общественную деятельность, чем он сам когда-либо предполагал. Он выступает за границей как авторитетный представитель чешской литературы и культуры, создает чехословацкое отделение международной писательской организации Пен-клуб, дает интервью, ездит на конгрессы и так далее. Разумеется, Карел Чапек слишком глубоко интеллигентен, чтобы находить во всем этом тщеславное удовлетворение своих художнических амбиций. Напротив, он понимает, что такое положение ко многому его обязывает. Сознывая, что его голос будет услышан и будет иметь какой-то вес, он считает своим долгом следить за нашей общественной жизнью и вмешиваться в нее.

Сотрудничество в ежедневной печати облегчает ему возможность выполнения всех этих обязательств; наряду с публикацией милых и забавных вещей он часто говорит немало мудрого и полезного. К концу двадцатых годов широких масштабов достигла у нас безработица — и внимание Чапека сосредоточилось на ней. Когда мы встречались по «пятницам», в его речах звучало глубокое беспокойство, вызванное тем, что одни голодают, а другие равнодушны к этому. Сталкиваясь в журналистской работе с ужасающей нищетой тех лет, он реагирует на нее как на общественную боль. Взывает, будоражит, ищет средств, чтобы помочь. Он становится инициатором благотворительной кампании «Демократия детям» и верит, что добрая воля способна устранить зло, хотя бы там, где оно особенно ощутимо.

В этой готовности сосредоточить все силы на решении отечественных проблем явственно заметно стремление Чапека отождествить свою судьбу с судьбой родины.

Это чувство многократно возрастает, когда несколькими годами позже он слышит по радио истошные крики

мегаломана, орущего на нас через границы и избравшего нас целью агрессии. В то время у нашей калитки поминутно звонил кто-нибудь из беженцев — немецкий интеллигент или просто прогрессивный человек, спасающий свою жизнь от нацистского разгула, и Чапек, как все, старался помочь им и оказывал щедрую финансовую поддержку возглавляемому Шальдой комитету помощи беженцам. Он еще верит в нерушимость наших союзнических соглашений, но не может не чувствовать опасности, против которой должна подняться вся нация как один человек. Вместо этого разгорается межпартийная борьба, а под ее поверхностью начинает расплзаться фашистская плесень. Чапек ищет людей доброй воли, созывает их на защиту республики. Отправляется к кладненским горнякам, к малоземельным крестьянам Словакии, ищет людей доброй воли и среди политиков. О своих находках он рассказывает друзьям как о доказательстве крепкого национального единства, как о гарантии нашей безопасности. Он не позволяет поколебать свою веру скептикам из левого крыла, таким завсегда-таям его «пятниц», как Ванчура, Пршикрыл, Краус, д-р Боучек, правда, их скепсис относился лишь к «находкам» второго рода. Публицистическая деятельность Чапека обретает новый смысл. «Столбцы», которые он теперь пишет, направлены на то, чтобы поднять настроение, ободрить и поддержать встревоженную общественность, да и себя самого. Наиболее действенно эту задачу выполнили записанные им «Разговоры с Т.-Г. Масариком». Вместе с другими писателями Чапек помогает чехословацкой армии крепить оборону республики, а остальному миру адресует «Белую болезнь» и «Войну с саламандрами». Это предостережения всему свету: «Вам всем грозит опасность. Ее несут безответственная тирания, эгоизм капитала, слепота государственных деятелей, стадность народов!» Каждым своим помыслом он теперь защищает родную землю, свой народ, его свободу, само его существование. Жизнь Чапека достигает кульминации, растворяясь в его предсмертной любви ко всем этим огромным ценностям и исчезает почти одновременно с ними.

Смерть Карела Чапека казалась, нам тогда знаменем конца целой эпохи национальной жизни. Вот на какую символическую высоту поднялся его патриотизм!

ЭДМОНД КОНРАД

ИЗ КНИГИ «О ЧЕМ ВСПОМНЮ»

КАРЕЛ ЧАПЕК ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ

[...] Никому и никогда не пришло бы в голову, что выйдет из тех двух вызывающе экстравагантных юношей, которые именовались Чапеками и которых можно было регулярно встретить на набережной. Я говорю «вызывающе экстравагантных», потому что не знаю, как это иначе назвать: два самоуверенных носа, вздернутых кверху, под двумя плоскими, как низкие кастрюли, шляпами из твердой соломы, с широкими лентами по тулье. Две пары пронзительных, блестящих, словно пуговицы, глаз на двух довольно румяных лицах разглядывали окружающий мир с молчаливой, чуть пренебрежительно-насмешливой критичностью. Две пары губ, гордо выпяченных, точно они исподтишка плюют со своей высоты на весь свет. Да почему бы им и не плевать, когда две головы в двух сверхмодных шляпах, называемых «жирарди», или «матроска», или «американка», сидели на до неправдоподобия широких плечах. Теперешняя молодежь, вообще более молодое, чем мы, поколение, не может оценить, что значили в наши времена такие плечи. Нынче каждый пиджачишко при помощи подкладных плеч научился изображать мужественность. Только старики еще понимают, какой сенсацией, каким броским великолепием выглядело это в ту пору.

Могучие плечи были принадлежностью двубортных темно-синих пиджаков, ниже которых вы могли лицезреть две пары таких же отутюженных брюк и сногшибательных американских шишковатых и кривобоких полуботинок модели «walk-over»¹, или, как говорили образованные пражане, «валковер»². Таких полуботинок

¹ Легкая победа (англ.).

² Непередаваемая игра слов: *válka* (валка) — по-чешски война.

нынешнее молодое поколение, вероятно, никогда не видывало. Они были сконструированы согласно новейшим научным достижениям своего времени и нарушали соразмерность относительно передне-задней оси готически узкой обуви отцов и дедов, наминавшей им изрядные мозоли. Кривые изгибы этой обуви повторяли очертания стопы, бугристые выпуклости в начале подъема позволяли пальцам свободно шевелиться, особенно большому пальцу, над коим возвышался смелый купол — ни дать ни взять римский пантеон из кожи! В такой вот амуниции вышагивали Чапеки по набережной со спокойствием свирепого превосходства — теперь уже невозможно припомнить, оба они или только Карел кокетливо помахивал тростью, с которой люди видели его потом долгие годы. Встретивший их студент робко заключил: задаваки. [...]

Мемуаристу уже трудно вспомнить, когда, где и при каких обстоятельствах этот студент познакомился с ними. Точно сквозь дымку припоминается прославленное кафе «Унион», угол Перштина и Национального проспекта, с его не менее прославленным кельнером паном Патерой. Ибо поблекшая картина воспоминаний окутана табачным дымом, как батальное полотно, и сопровождается боевым гулом какого-то спора не на жизнь, а на смерть.

Он и отдаленно не ручается за правильность передачи содержания или тем этих ожесточенных дебатов, но все же ему кажется, что младший из Чапеков говорил о некоем «*estilo Manoelino*»¹ и о каком-то Белеме, да только студент ни бельмеса в этом не понял. Лишь оказавшись лет двадцать спустя у стен белемского монастыря под Лиссабоном, он смог бы по достоинству оценить слова Чапека, конечно, если бы он их помнил. Значительно раньше он уразумел, что такое многоперспективное пространство, идею которого защищал уже не помню кто, то ли Вацлав Шпала, то ли Властимил Гофман — или это был В.-В. Штех? — однако и поныне память слушателя довольно надежно сохранила утверждение Йозефа Чапека, что картина должна иметь ось, вокруг которой она вращается, и основание, на котором стоит. При этом он сослался на какого-то никому неизвестного парижского мэтра, но едва было произнесено слово «Париж», как студент попал под ураганный огонь

¹ Стиль Мануэла (*португ.*).

имен, цитат, крылатых словечек, намеков, шуток и взрывов смеха.

Это было ошеломительно. Настоящие интеллектуальные танки, тяжестью своей духовной стали вызывающе приминая заграждения общепринятых взглядов, они извергали смертоносный огонь парадоксов, презрения и боевого задора. Бедняга студент только пригибался под этим прибоем архиреволюционной самонадеянности, немолимой новизны, которая судила живых и мертвых, играла в футбол земным шаром и была такой невероятно взрослой, всеведущей, одним словом, всемогущей. Куда нам с суконным рылом да в калашный ряд! Около таких сверстников студент казался себе круглым дураком и невеждой, при всей своей молодости безнадежно устаревшим и отсталым. [...]

Однажды Карел Чапек, сделавшись заведующим репертуарной частью Виноградского театра, пришел к молодому библиотекарю, чтобы полистать классиков чешской драматургии. Библиотекарь очень живо напоминает охватившее его смятение, когда посетитель направился прямо к нему; молодой библиотекарь надулся от гордости, победоносно поглядывая на коллег: смотрите, прославленный автор с мировым именем обращается ко мне по-товарищески, как равный к равному. И готов был лопнуть от восторженного усердия, лишь бы угодить посетителю. Он поспешно выкладывал перед ним свои библиотечные познания, как павлин стелет по земле свой роскошный хвост.

Не обошлось без анекдота. Как все посетители библиотеки, Карел Чапек снял в гардеробе зимнее пальто, но захотел пройти с библиотекарем к открытым полкам, где, разумеется, было нетоплено. Хотя в помещениях, где постоянно находились работники библиотеки, топили, но и там люди обычно сидели в двух куртках, так удобней было бегать за книгами. Поэтому библиотекарь сказал: «В таком виде я вас туда не пушу, вы простудитесь. У меня две куртки, со мной ничего не случится, а вы наденьте мое пальто». Он помог Чапеку натянуть пальто, тот удивился: «Знаете, оно мне в самый раз. Только в плечах тесновато». Потом улыбнулся и добавил: «Ведь я привык расталкивать всех плечами». Все залились восторженным смехом, — голову даю на отсечение, каждый,

по крайней мере, еще год хвастал, что собственными ушами слышал шутку Карела Чапека. Честолюбивый библиотекарь напряг все силенки, чтобы не ударить в грязь лицом. Он тоже улыбнулся: «Не беспокойтесь, зато я перед каждым гну спину». И покраснел от удовольствия, услышав новый взрыв смеха.

Важнее, чем этот анекдот, была возможность впервые увидеть Чапека за работой. Поражала ее быстрота. Чапек вроде бы шел спокойно и задумчиво. Но библиотекарь едва за ним поспевал. Говорят, точно так же, с кажущейся ленцой, бежит медведь. Походка Чапека была такой «медвежьей трусцой». И все же еще живее была реакция его рук и глаз. Он перелистывал передаваемые книги с проворством кассира, считающего деньги. Молниеносными зигзагами, штрихами и загогулинами экономного почерка делал записи в блокноте; библиотекарь заметил, что странички у него заранее распланированы: Шуберта он записывал на одной страничке, Струепежницкого на другой. Сказал: «Зейер... ага! «Старая история» — это может быть очень мило!» Задумался над Боздехом, записал Тыла с Клицперой, спросил про Туринского: «Как думаете, имела бы успех почтительная пародия на него?»

Он не задержался ни секундой дольше, чем нужно, приветливо и спокойно, «медвежьей трусцой» припустил назад. Библиотекари взглянули на часы: весь визит занял ровно тридцать четыре минуты, включая время на поиски шифров и книг, на хождение к полкам и назад. [...]

Спокойная поспешность явно была прирожденным жизненным темпом Чапека, пребывание в гостях, кроме исключительных вечеров, он инстинктивно сводил до необходимого минимума, и посторонний наблюдатель начинал понимать его «estilo Manoelino». Этот человек столько знает и умеет, потому что все делает быстро. Его время обладает большей вместимостью, чем у остальных людей, а его пронизательность, память и быстрота соображения делают его жизнь наполненной, чем у нас, остальных. Очевидно, таков же был и мозг Бернарда Шоу.

Итак, как-то раз заведующий репертуаром пришел к библиотекарю, но однажды и библиотекарь зашел к заведующему репертуаром, теперь уже в качестве драматурга. В театре на Виноградах лежала его пьеска,

принятая еще Гиларом. Не терпелось узнать, когда Квапил соберется ее ставить. Чапек заговорил о пьесе с ласковым тактом, видно было, что он ценит ее не слишком высоко, но не хочет обижать автора. Можно-де в любой момент недурно ее сыграть, но можно было бы сыграть и куда лучше, если бы пьеса была побогаче содержанием.

— Там столько поводов для великолепных поворотов, для поразительных находок и шуток... — начал он сыпать идеями, которых хватило бы на три комедии, если бы, конечно, автор сумел их тогда использовать.

Но все эти идеи на несколько голов превышали возможности автора, кроме того, они были настолько чапековскими, что реализовать их сумел бы лишь он сам. Пришлось бы заново переписать всю пьесу, чтобы хоть как-то слепить это воедино. И автор сказал напрямик:

— Слушайте, все, что вы предлагаете, гениально! Но я не осуществлю ваших предложений, даже если просиму над пьесой целый год; успеху в роли поддельного Чапека я предпочитаю свой собственный провал.

Чапек задумчиво улыбнулся:

— В чем-то вы правы. Мне ваша пьеса понравилась, вот и полезли в голову мысли, как бы написал ее я. Но заведующий репертуарной частью должен уметь подавлять в себе драматурга. [...]

[...] На духовной карте личности Чапека, теперь уже вырисовывающейся довольно подробно, постепенно начинало проступать его истинное, неповторимое лицо, независимо от того, носило ли оно черты близости к Шоу, Честертону или прагматизму. Еще больше подробностей прибыло на этой карте, когда Чапек пригласил своего сверстника в недавно организованный чехословацкий Пен-клуб и их общение стало более частым и оживленным.

Прежде всего на карте вдруг поблекла и вовсе исчезла «hybris»¹, эта хищная агрессивность, этот презрительно-высокомерный смех Разбойника. За всем тем стал вырисовываться спокойный, ласковый человек, хоть и любивший острую шутку, но скорее задумчивую и приносящую новое познание, чем задиристо-воинственную.

¹ гордость (*древнегреч.*).

«Estilo Manoelino» оказался слабым отблеском потрясающих знаний во всех областях науки, но вместо такого же, как у Шоу, духовного всемогущества, тому, кто наблюдал за этим человеком, открывалось чувство какой-то болезненно-щепетильной ответственности.

Возможно, изменился не только угол зрения на Чапека. Изменился, по всей вероятности, и сам Чапек. После счастливого медового месяца в объятиях мировой славы он вкусил и ее горькую отечественную изнанку. Позднее можно было догадаться, с каким грустным удивлением воспринял Чапек дух этого «Если не я, то почему вдруг он?», ополчившегося против него вместе с иными ингредиентами нашего национального характера. С другой стороны — живая личная дружба с главой государства, которая добавила к разнообразным причинам антипатии к Чапеку еще и мотивы партийно-политические и, по-видимому, в известном смысле легла дополнительным грузом на плечи поэта. По крайней мере, в творчестве Чапека — драматурга и романиста наступил определенный перерыв, вызывавший различные толки. Из близкого окружения намекали: у него отбили охоту писать. Всякое желание работать пропало. Он больше не хочет писать для театра. Зачем попусту дразнить чешскую чернь? Но можно ли было этому поверить? Вряд ли столь сильный дух, столь суверенный гений позволит нарушить свое спокойствие из-за брюзжания нескольких недовольных.

Как-то при случае спросил самого Чапека: «А как насчет того, чтобы снова написать пьесу? Или роман?» Он покачал головой: «Сейчас я должен воспитывать народ». Это было, вероятно, в то время, когда Чапек написал «Удивительные сны редактора Коубека». В том, что он писал, все явственнее проступал дидактический элемент, стремление исподволь учить нравственности, намеренно повторять простые истины.

Гораздо непосредственнее эта его склонность ощущалась в личном общении. Давно была забыта задиристая самоуверенность Разбойника. Вместо нее вдруг обнаружилась сдержанность, привычка взвешивать каждое слово. Благодаря своему положению в мире Чапек постепенно обрел новую значимость. Как самая известная *неполитическая* фигура в Чехословакии, он возбуждал к себе интерес за границы. Приходилось отвечать на вопросы зарубежных учреждений, организаций и газет,

принимать визиты именитых иностранцев. Его приглашали за границу как полномочного представителя чехословацкой культуры. В значительной мере он становился символом нашей страны, выполнял роль нашего международного культурного атташе. Щекотало ли это его самолюбие — по нему никогда нельзя было узнать, но явно усугубляло его чувство ответственности. Он знал: то, что он скажет за границе, будет там воспринято как чехословацкая точка зрения. И в этом смысле начинал чувствовать ответственность за всю Чехословакию.

Нападки у себя на родине не облегчали Чапеку выполнение этой задачи. Насколько я помню, он вряд ли когда вступал в полемику по поводу своих пьес и книг. Зато нередко можно было слышать, что в этом отношении он славится завидной и отнюдь не чешской авторской толстокожестью (ибо, как известно, деятели чешского искусства довольно часто и весьма раздраженно полемизировали с критикой о своих произведениях). Но мнение это было ошибочным. И Чапек был чувствителен к неблагоприятным критическим отзывам. Однако он был слишком интеллигентен, чтобы с ними полемизировать. Тем не менее в один прекрасный день он отказался председательствовать в Пен-клубе, сославшись на то, что после всех нападков не может чувствовать себя достаточно авторитетным представителем чешской литературы и поэтому не имеет права на пост председателя Пен-клуба. [...]

Он не раз выступал перед заграницей как защитник интересов Чехословакии. Порой казалось, он делает это с не совсем чистой совестью и потом чувствует себя обязанным содействовать исправлению положения в стране, чтобы в дальнейшем защита ее интересов давалась ему легче.

В международных культурных связях немало затруднений доставляла нам тогдашняя хортиевская Венгрия, причем нередко ее поддерживала и родрмирская часть английской интеллигенции. Намерение рассказать о венгерских попытках подорвать нравственный кредит Чехословакии в международных культурных отношениях завело бы нас слишком далеко. Попытаемся как можно короче передать суть дела: будапештский Пен-клуб подал жалобу на цензурные притеснения венгерской литературы в Словакии, обвиняя пражский Пен-клуб в том,

что тот вопреки тогдашним международным установлениям ничего против этого не предпринимает.

Чапек проверил жалобу и выяснил, что препоны действительно ставятся, но еще и не достигают цели: чтобы воспрепятствовать проникновению книг с пропагандой венгерского шовинизма, словацкие органы вообще запретили ввоз книг из Венгрии. Однако для чешских земель такого запрета не существовало, и венгерские книги, насквозь пропитанные шовинизмом, преспокойно доставлялись в Словакию через Прагу.

Чапек сразу же вмешался и потребовал отменить запреты, в равной мере постыдные и бессмысленные, и на варшавском съезде Пен-клуба представители Чехословакии под бурные аплодисменты объявили, что писательская общественность протестовала против запрета на распространение венгерской литературы в Словакии. На будапештском съезде, — кажется, двумя годами позднее, — чехословацкая делегация в качестве дара пражского отделения Пен-клуба вручила хозяевам копию нового положения о ввозе в Чехословакию книг из Венгрии, написанного по-чешски, по-словацки и по-венгерски. Это положение, встретившее еще более горячий отклик, появилось исключительно благодаря Чапеку. Причем оно было так ловко составлено, что начисто закрывало венгерскому шовинизму доступ на чехословацкий книжный рынок.

В известной мере это установление, открывавшее путь культуре и ограничивавшее пропаганду шовинизма, можно считать началом борьбы Чапека с фашизмом. Ибо я едва ли ошибусь, если назову фашистской хортиевскую Венгрию, из которой начинали уезжать и «умеренно левые», как их тогда называли, писатели. Все подтверждало такое мнение еще задолго до того, как Чапек неожиданно, чуть ли не за одну ночь и буквально в последний момент подготовил поездку делегата, на сей раз еще и единственного, в республиканскую Барселону — это было, как мне представляется, в тридцать пятом году, — этот представитель должен был защищать Чехословакию от новой венгерской жалобы.

Жалобу в Венгрии состряпали, так сказать, притянув факты за уши, ибо вскоре поняли, что в Словакию проникает как раз то, чего бы они не хотели: настоящая венгерская литература, а не пропаганда Великого королевства Венгрии.

Не будь рядом Чапека, делегат пришел бы в ужас от своей щекотливой миссии: они просидели вместе полдня, обговорили директивы, взвесили все возможности; Чапек передал ему такой неопровержимый материал о фашистской деятельности хортистских пропагандистов в Словакии, что делегат мог спокойно отправляться в путь. Чапек вооружил его так, что съезд вообще не дал венгерскому делегату слова и, напротив, просил Чапека занять пост президента международного Пен-клуба.

Но поскольку это уже вопрос историко-политический, к нашему повествованию он прямого отношения не имеет. Интересен он лишь с точки зрения того, как в ту пору, спустя более чем двадцать пять лет, выглядел Чапек вблизи: это был человек, несущий бремя жизни, как будто она доверена ему под личную ответственность. Два совершенно разных высказывания, видимо, лучше всего подчеркнут границы очень широко понимаемого им чувства ответственности. Вскоре после его свадьбы кружок друзей встретился с супругами Чапек в какой-то большой компании, а потом они вместе зашли в винный погребок. Чапек в расцвете своего супружеского счастья был таким радостно возбужденным, каким мы редко его видели. Выходя, уже на улице, он взял под руки двух своих приятелей, озорно их подтолкнул и сердечно посоветовал (случайно оба были холостяками): «Ребята, женитесь! Я вам скажу, это все равно, что взять на себя ответственность за погоду!»

Тут важна не столько шутка, не столько сравнение с погодой, сколько мысль об ответственности. Чапек — счастливый новобрачный в период медового месяца, он сияет, проказничает, но первое слово, которое приходит ему на язык — «ответственность». Это было бы весьма красноречивым свидетельством для модного в свое время аналитического теста.

Другое высказывание — более старое. Мы вместе с Чапеком, Лангером и кем-то еще были в Голландии. Однажды вечером нас принимал у себя тогдашний советник посольства Матейка, позднее убитый фашистами. Речь как-то зашла о понятии «отечество». Что такое отечество? Каждый пытался найти подходящее определение. Чапек слушал молча. И вдруг всех перебил:

— Нет. Отечество — это долг.

Счастье — ответственность. Отечество — долг. И это говорил человек, для которого патентованные патриоты не

могли найти достаточно бранного слова. Ибо, разумеется, не он произнес: «Слава богу, что на свете есть фашизм». Здесь не место заниматься историей борьбы Чапека и Чапек с фашизмом. Нашей темой остается сам Чапек, каким он является взору человека, становящегося ему все ближе и ближе. Еще задолго до тридцать третьего года от этого взора не укрылось, как Чапек все настоятельнее ощущает свою ответственность и долг перед родиной. Сюда же, очевидно, нужно отнести и то, что подпадает под его фразу: «Сейчас я должен воспитывать народ». Туманное воспоминание подсказывает, что именно смерть Маттеотти, убитого по приказу Муссолини, особенно потрясла Чапека: он переживал это как личное оскорбление, как покушение на собственную человечность (хотя, разумеется, сам он не был с Маттеотти знаком), даже почти — и это было верно — как покушение на нашу национальную и государственную безопасность, как удар по нравственным устоям любого национального сообщества. По крайней мере — я привожу фразы, из которых вытекает все вышесказанное, — он не удержался от резких слов: «Вот как нынче спасают нацию! Проклятые спасители!» [...]

Нет надобности отыскивать в творчестве Чапека доказательство того, как безмерно любил жизнь автор стихотворной строки о «невыразимой сладости существованья», в другом месте написавший, что «различья премножают жизнь». Каждая написанная им страница свидетельствует о «невыразимой сладости существованья», о ненависти ко всему, что принижает, обедняет, уродует и губит жизнь. Проанализировав произведения Чапека, вы обнаружите в них море любви и лишь одну-единственную ненависть: ненависть к ненависти. Ненависть — война — смерть. Между этими тремя величинами Чапек ставит знак равенства (мы не считаем, что впервые делаем это открытие), начиная со Смерти с лампасами и развешиваемся плюмажем, которую видел на поле сражения Бродяга в пьесе «Из жизни насекомых», и кончая Его Превосходительством Смертью из «Белой болезни». Глубокое отвращение к гибели, уничтожению, убийству не просто одна из многих черт его натуры.

Это черта бесконечно личная. Чапек умел стрелять и порой с удовольствием стрелял в цель. Но никто не видел, чтобы он хоть когда-нибудь стрелял по чему-либо

живому. Впрочем, сохранилось воспоминание о таком случае: однажды вечером — тогда Чапек уж начал получать от фашистов анонимные письма с угрозами — коллега по редакции предложил приводить его. Ведь идти ему от трамвайной остановки довольно далеко, по безлюдной местности среди садов. Что, если на него нападут? Правда, у него есть трость, но редактор с ужасом представил себе, что могут сделать несколько жестоких бандитов с человеком, который из-за большого позвоночника не способен ни убежать, ни как следует защищаться.

Но Чапек улыбнулся:

— Если на меня нападут? — и с усмешкой, наполовину мальчишески-гордой, наполовину виноватой, произнес: — Тогда я буду стрелять!

— Вы? — удивился коллега. — Из чего? Разве, кроме шуток и твердых убеждений, у вас есть какое-нибудь оружие?

Чапек торжествующе вытащил из кармана пистолет и хотел сунуть его обратно.

— Постойте, — остановил его коллега. — Покажите, пожалуйста.

Чапек несколько неуверенно протянул ему оружие — то был стартовый пистолет, каким дают сигнал во время бега, плавания и других состязаний.

— И этим вы хотите защищаться от профессиональных бандитов?

— А почему бы и нет? Видите ли, эта штука великолепно сверкает и грохочет. Они все трусы, убегут после первого выстрела — зато я абсолютно уверен, что никому не причиню вреда!

Обычно человек, находящийся в опасности, хочет быть уверенным, что никто не сможет причинить вреда ему. Чапек в опасности, наоборот, хочет быть абсолютно уверен, что сам никому не причинит вреда. Он больше боится кого-нибудь ранить или убить, чем того, что ранят или убьют его самого.

Эта глубоко естественная, стихийная ненависть к гибели, уничтожению и разорению проявлялась и иначе. Чапек стал борцом-антифашистом. Фашизм угрожает родине Чапека. Родина вооружается материально и морально, писатели поддерживают ее боеспособность. Чапек тоже хочет поддержать боеспособность своей страны. Нужна книга о мужестве, о боеготовности, об отваге в

момент опасности, о товарищеской солидарности. Чапек — приятель слышит это из его собственных уст — ищет сюжет.

— Знаете, что-нибудь этакое, ирасековское...

Оба они питают симпатии к этому величайшему летописцу чешского народа и с особой любовью вспоминают два тома рассказов «Из бурных времен» (не путать с книгой «Из разных времен!»). Ни все вместе, ни по отдельности эти рассказы не вошли в Собрание сочинений. Как выясняется, оба с упоением читали их в детстве и оба особенно любили рассказ «На кровавом камне», историю трех чешских солдат во время войн с Турцией. Но ни у букинистов, ни в библиотеках ни Чапек, ни его приятель двух томов и этого рассказа потом не нашли.

— Знаете, — говорит Чапек, — что-нибудь в таком роде нужно было бы написать сейчас.

В ту пору он состоял членом правления «Круга писателей» при Военном научном институте и сблизился с военными. Мысленно обозревал исторические события, гуситскую эпоху, но тщетно.

— Знаете, — бросил он как-то мимоходом, — война как таковая мне не по душе.

Пока наконец так же мимоходом не объявил:

— Уже пишу.

Вы себе представляете, как не терпелось приятелю Чапека прочесть его первое батальное, оборонное, боевое произведение! Но он даже не удивился, когда это оказалась «Первая спасательная». Он ведь знал, как глубока ненависть Чапека к убийству, к вражде и злобе, ко всему, что отрицает жизнь и бытие. Издавна известно, что на свете практически существуют два героизма: один — который ведет людей к опасности, как это делают полководцы, и другой — защищающий людей от опасности.

Можно было заранее предугадать, что Чапек изберет второй вид героизма.

— Знаете, — удовлетворенно объяснял он потом, — тут есть все, чем должен обладать солдат: мужество, находчивость, солидарность...

Да, тут есть все, только одного не хватает: Чапек не мог решиться воспеть героизм, убивающий людей, пусть хоть самых отвратительных, самых ненавистных. Если так обязателен враг, пусть уж это будет ни в чем не повинная природа. Враг — человек и героизм как возмож-

кость поставить ногу на его грудь... Нет, Чапек просто не смог преодолеть себя, чтобы прийти к этому!

В его понимании патриотического долга можно было ощутить моральное противоречие, которое все росло. В «Белой болезни» оно проявилось драматически. Там Чапек впервые избрал героя, который защищает людей от опасности и сражается с природой. Здесь тоже, кстати сказать, как и в «Первой спасательной», мотив социальный, хотя бы поначалу, преобладает над мотивом борьбы. Наверняка не случайно, что герой «Первой спасательной» не столько Станда Пульпан, сколько сама бригада, коллектив, причем коллектив рабочих, и не просто рабочих, а шахтеров. Желая служить делу защиты отчизны, Чапек написал социальный роман, это признание в любви к народу, кредо своей веры в него. Не знаю, было ли это уже в достаточной мере оценено.

И в «Белой болезни» весьма существенным элементом является социальный мотив, причем Чапек занимает тут прямо-таки классовую позицию: Гален лечит только бедных, отказывается лечить богатых, разве только с условием, что те употребят все свое влияние, дабы предотвратить войну. Нужно признать, что и для нынешней борьбы за мир не так легко было бы найти более актуальный сюжет, чем этот, на столько лет пророчески предвосхищивший историю. Однако задача настоящих строк не разбирать «Первую спасательную» или «Белую болезнь», а рассказать, в каком свете предстает на их фоне фигура позднего Карела Чапека, исходя из длительного опыта общения с ним, который накопился у окружающих.

Итак, как уже было сказано, герой «Белой болезни» — снова герой спасающий, а отнюдь не герой, несущий опасность, более того: этот спасающий герой выступает против героя, несущего опасность. Он пользуется социальным оружием. Пользуется им *против насилия*. И тут Чапек явно перешагнул в душе глубокий, бездонный Рубикон: Гален отказывается лечить могущественного фабриканта оружия. Вместо того чтобы сделать ему спасительную инъекцию, он выпрыскивает лекарство из шприца наземь: уступишь мне — *или я не стану тебя спасать*. Гален *вымогает* у Крога мир. Герой, спасающий людей, *отказывает в спасении*.

Тут впервые Чапек стоит за героем, который, *программно выступая против насилия*, сам его допускает. Это насилие пассивное, нечто вроде забастовки с зало-

женными за спину руками, так называемое пассивное сопротивление, но все же это насилие, это угроза смертью, нож, приставленный к горлу, это «или — или», причем одно из самых драматических в мировом театре. Но все это должно было сначала разыграться в душе самого Чапека, собственному сердцу он должен был сказать свое «или — или», его чувство ответственности должно было сказать «нет» прежнему Чапеку, в полном смысле слова, возложить его на алтарь отечества, которое есть долг. Какой большой и нелегкий шаг от стартового пистолета к шприцу Галена!

Это был первый, но не последний шаг. За ним следует «Мать». Некогда (во время обсуждения пьес Чапека в Обществе братьев Чапек) о ней уже говорилось. Была высказана точка зрения, что Чапек-драматург добрался в «Матери» до самого фундамента, до самых истоков и изначального происхождения драматического искусства, то есть до вечного противоречия между наслаждением жизнью и ужасом перед ней; что он воплотил это противоречие в борьбе женского, животворного начала, любой ценой сохраняющего жизнь, и начала мужского, смертоносного и готового принять смерть, достичь своей цели даже ценою жизни.

Еще тогда можно было услышать замечание, что художественное развитие Чапека от Разбойников и Бродяг к этой Матери Ниобее, потерявшей все, но в конце концов вручающей винтовку своему последнему ребенку, само по себе есть драма. Именно эта драма составляет ныне предмет моих раздумий, предположений и догадок. Это последний шаг в развитии чапековского чувства ответственности от равенства «ненависть — война — смерть» к осознанию боевого долга, к готовности стрелять, стрелять в живых, в человека-врага; последний шаг от героя только и исключительно спасающего к герою, несущему опасность, убиваемому, уничтожающему, от наслаждения «невыразимой сладостью существования» к защите жизни даже ценою смерти, от «различий», которые «преумножают жизнь», к трагической реплике Матери: «Иди!»

Не подобрать подходящих цитат или крылатых слов, чтобы передать трагедию такого мучительного преобразования. Для того Чапека, которого мы наблюдали и старались понять долгие годы, это была безмолвная и беспощадная победа над самим собой, вершина внутренней

дисциплины и самоотречения, победа, в которой таится и умолчание о принесенных жертвах. Все, что Чапек хотел сказать об этой своей жизненной драме, он вложил в драму сценическую. Устами Матери говорит сам Чапек. Не только мужчины уговаривают Мать, это сам Чапек убеждает себя доводами разума и морали.

Если Олдржих Кралик охарактеризовал «Распятие» как книгу, выражающую глубочайшее отвращение к войне, то мы могли бы сказать, что «Мать» оппонирует «Распятию», что поздний Чапек «Матери» уговаривает и убеждает раннего Чапека: знаю, знаю, но ничего не могу поделать. С этой точки зрения «Мать» — самая большая жертва, которую принес Чапек своему чувству ответственности, тому чувству, которое сам он определил формулой «отечество — это долг». История ужасным образом поймала Чапека на слове, и Чапек своему слову остался верен.

Это проявилось не только в содержании «Матери». Лихорадочная деятельность, которую он развил, пытаясь использовать все свои заграничные связи, весь свой международный авторитет и все свое влияние, чтобы спасти родину, уже ничего не меняет в том его облике, который предстал перед нами тогда и который мы пытались здесь восстановить. Разве что стоит мимоходом присовокупить к этому одно весьма приблизительное сравнение своим отношением к ненависти, к войне и смерти Чапек в чем-то напоминает Толстого. К Толстому же он близок своим отношением к богу и своей впечатлительностью, которая столь же пронзительно, как и у Толстого, усиливает чапековскую «невыразимую сладость существования». Но на общем фоне сходств и аналогий они ясно и резко отличаются друг от друга в решении основополагающей нравственной проблемы; там, где толстовская мудрость смиренно клонится к «непротивлению злу», Чапек с тяжелым сердцем, но без каких бы то ни было оговорок решает злу противиться. И противиться всеми своими физическими и духовными силами. Даже ценой жизни.

Тут сам собой напрашивается вопрос: боялся ли Чапек смерти? Боялся ли он чего-то вообще? И был ли мужествен? «Правые» круги нарочито давали ему понять, что он не борец, над ним посмеивались из-за его цветочков и собачек, слово «садовод» превратили в бранное прозвище. При этом они явно руководствовались поверхностным и привычным представлением о мужестве, до-

ставшимся нам в качестве шаблонного предрассудка доисторических времен от эпохи человека шелльского, кроманьонского и неандертальского. Согласно этому шаблону только трус может бояться, и потому он ничтожество, выродец, тряпка, портянка и достоин презрения даже женщин и детей. Настоящий мужчина, герой ничего не боится. Этот избранник богов — вспомним попутно кое-что из характерной для него фразеологии — бесстрашен, более того, он, как известно, вообще «не ведает страха», «не знает, что такое страх», «не робкого десятка». Он владеет, как говорит итальянский граф в одном юмористическом романе, «il dono di coraggio» — даром храбрости.

Можно легко распознать — да это уже давно известно, — сколько подчас весьма устарелых представлений вошло в эту коллекцию громких, пустых фраз, не исключая и того героя, который не только не боится, но с упоением, с наслаждением бросается туда, где опаснее, который не может дождаться боя и дрожит от возбуждения. Это все Гераклы, Ахиллы, Эанты, Зигфриды и Ролланды героических песен, олицетворения идеального мужества, опирающегося на физическую силу.

Такой вид, я бы сказал, профессионального мужества, носитель которого наперед знает, что в единоборстве его никто не победит, и поныне сохраняется в области физических представлений о мужестве, хотя его устарелость в условиях современного мира становится очевиднее с каждым днем. Подобный идеал мужества пригоден разве лишь для того, чтобы клеветнически обвинить кого-нибудь в трусости, в пристрастии к цветочкам и собачкам. Ожидать от хрупкого человека с большим позвоночником этакой кровожадной воинственности воистину можно, лишь руководствуясь одним из чапековских «Двенадцати приемов литературной полемики», который гласит: «Отокару Бржезине не достает здорового, жизнерадостного юмора».

И тем не менее: отсутствовало ли у Чапека физическое мужество? Многие соприкасались с ним более четверти века. Но только после его смерти узнали от других, что у Чапека непрерывно и ежедневно болел позвоночник, часто почти невыносимо. И болел более двадцати пяти лет, а Чапек об этом ни слова не говорил и вообще не подавал виду. Не знаю, по-моему, для садовода это немалое физическое мужество!

И вообще, что такое мужество? Нужны были Шекспир, Толстые, Ибсены и Шоу, чтобы возведенные вокруг этого понятия крепостные валы предрассудков были проломлены простой истиной, что и герой может испытывать страх, может бояться. В том-то и состоит героизм: бояться, но действовать так, точно не боишься. Иными словами: герой тот, кто преодолевает страх, чтобы в конечном счете побороть опасность. Для Чапека характерно, что он побеждал свой физический страх с помощью стартового пистолета, поскольку больше всего боялся причинить кому-нибудь зло!

Страшился ли Чапек смерти? Олдржих Кралик доказывал, что болезнь Чапека, считавшаяся смертельной, стала одним из источников «Распятия». Как мог приверженец «невыразимой сладости существования» не бояться небытия? И как бы мог не бояться смерти тот, в ком так много любви? Ведь со смертью, по всей вероятности, кончается и любовь. Однако в чувстве страха содержится еще одна внутренняя дифференциация. Выражение «я боюсь» своей возвратной частицей ясно указывает на непосредственно эгоистическое или, если угодно, личностное происхождение. В нем дважды содержится мысль о «я»: я боюсь. Я — съ. Однако глагол «бояться» обычно употребляется с предлогом «за». Боюсь за кого? Этот второй вид страха есть страх сублимированный, страх нравственный, имеющий отношение к ближнему, страх любви. Да, настало время, когда все мы боялись за всех и за все.

И Чапек тоже — причем наверняка вдвойне, ибо он боялся за все, за что брал на себя ответственность. За весь тот мир, который он носил не только в своем сердце, но и в своей неусыпной чувствительной совести. У каждого в те дни лихорадочно светились глаза и явственнее проступали красные пятна на щеках. Мы жили мыслью о разрывах бомб и горящих городах, о газовых атаках и мертвых детях. Вместо этого неслышно подкралось нравственное моровое поветрие. За одну ночь мир Чапека рухнул. После невыразимой сладости существования настала страшная пустота небытия. Вдруг уже не за что было нести ответственность. Врачи, глядя на больного, качали головами: «Организм нам не помогает. Тело совершенно не борется. У больного нет воли к жизни». Очевидно, тогда он перестал бояться смерти. Так вместе со всем своим миром умер и Карел Чапек.

КАРЕЛ ЧАПЕК-ЖУРНАЛИСТ

Если некогда Эдуард Басс похвалялся, что не существует газетной рубрики — за исключением, пожалуй, экономической, — для которой он бы не сумел написать, то это же можно отнести и к Карелу Чапеку. Такие рассказы, как, например, «Рекорд», служат доказательством того, что и спортивная рубрика не была для него недоступна. Тем более что Карел Чапек принадлежал к числу «пишущих» редакторов, если принять известное подразделение на редакторов «пишущих» и «правлящих».

Впрочем, еще не доказано, не заслуживал ли он в равной мере и чести быть причисленным к редакторам «правлящим», как человек с достаточно изобретательным умом, поскольку вообще «изобретательность» и «читабельность» были и, очевидно, остаются основными достоинствами всякого порядочного редактора. Нет нужды повторять старую истину, что Чапек изобрел так называемое «антрфиле». Это его изобретение известнее других лишь потому, что прижилось и продержалось долгие годы не только в чапековских, но и в различных других газетах.

Однако существовало множество изобретений Чапека, которые из-за самого своего газетного характера были ограничены во времени злобой дня, периодом, пока они привлекали к себе общественный интерес, изобретений сугубо актуальных. Лично Чапек не придавал им никакого значения, наоборот, всегда бескорыстно предоставлял свою идею в распоряжение шеф-редактора или с его согласия позволял воспользоваться ею тому, в чьем ведении была соответствующая рубрика. Тогда для газетной практики было характерно постоянное острое соперничество, и, помимо прочего, газеты очень нуждались в новых формах подачи материала. Не только каждый журналист в отдельности, но и газеты в целом хотели быть «читабельными», будить любопытство, вызывать интерес, информировать и развлекать, что в так называемой бульварной прессе неминуемо вело к плачевному падению не только политического, но и культурного уровня. Хорошие газеты умели заинтересовать и удержать своих читателей без снижения журналистского качества. Именно поэтому для них приобретали значение и многие в общем-то малозначительные моменты. Количество рубрик, разделов и подразделов имело

склонность к постоянному росту. Беллетристика и полубеллетристика, «антрфиле» и фельетон в самых разнообразных подобию становились весьма существенным элементом каждого, особенно воскресного или праздничного номера.

И не было для всевозможнейших форм более неисчерпаемого источника материалов, чем Карел Чапек. Он чрезвычайно легко и с невероятной находчивостью беллетризовал реальность и реализовал требования специфически беллетристические. Достаточно припомнить хотя бы известную традицию Чапека печатать большинство своих романов в газетных подвалах. Специально для газеты он изобрел не только свою собственную разновидность путевого очерка, но и ныне уже ставшие классическими микрорассказы и побасенки.

Однако, полагаю, не так широко известно, что этот драматург и эпик, который, не считая ранних опытов, едва ли когда писал и почти никогда не печатал стихов, весьма находчиво рифмовал, успешно соперничая с Эдуардом Бассом в жанре так называемого «отголоска», где нужно было остроумно и с непривычной для поэтов быстротой зарифмовать события за неделю. Мастерство Чапека в словесной игре многократно праздновало здесь подлинные триумфы. Да будет позволено привести хотя бы один пример.

Думаю, это было после 30 июня 1934 года, когда Гитлер совершил страшное кровопролитие, расправившись со множеством своих приверженцев под предлогом, будто они вместе со своим главарем (или мнимым главарем) майором Ремом гомосексуалисты. Тогда Чапек опубликовал «отголосок» из четырех строк, который не может претендовать на бессмертие лишь потому, что, по счастью, не оказался бессмертным и Гитлер со своим режимом. Вот оно:

Правит всем die reine Rasse¹,
И расцвел der deutsche Lenz²,
Эра homo-sexualis³
Вместо homo sapiens⁴.

Этот трехязычный каламбур в четыре строки относится к самым ярким (хоть и не самым большим по размерам) доказательствам журналистской находчивости

¹ Чистая раса (нем.).

² Немецкая весна (нем.).

³ Человек сексуальный (лат.).

⁴ Человек разумный (лат.).

Чапека, его «изобретательности» и «читабельности». Однако объяснить источники этих его свойств невозможно, их нужно просто принять как данность.

Наверняка врожденным свойством является и «читабельность», но с журналистской точки зрения можно хотя бы технически понять ее основную черту. Впрочем, эта черта характерна для всего творчества Чапека — и тем более характерна, чем зрелее становилось его творчество: Чапек писал, как говорил, и говорил, как писал. Собственно, это тайна любого хорошего стиля, который предполагает прежде всего умение хорошо мыслить. Карел Чапек умел хорошо мыслить, потому что мыслил не только логически, мозгом, но одновременно и жадно впитывающими впечатления органами чувств, и всегда бодрствующей, живой, деятельной фантазией.

Можно предполагать, что только взаимодействие этих трех ипостасей душевного поведения создает подлинно совершенные представления и соответствующие им формы выражения, с которыми мы встречаемся у великих творцов и которые являются основой их всесторонности. До какой степени всесторонним был Карел Чапек — журналист, в полном объеме удастся выяснить, лишь когда станут известны все условные буквенные обозначения, которыми он подписывался, когда по возможности бесспорно будут установлены все принадлежащие его перу анонимные мелочи. Ведь согласно весьма обоснованным слухам, Чапек, особенно в молодые годы, порой помещал в одном номере газеты четыре-пять, а то и больше материалов. Полностью они, очевидно, не будут обнаружены никогда.

ЧАПЕК ЕЗДИТ И РИСУЕТ

Не всегда читатель допытывается, как возникло то или иное произведение. Он принимает написанное готовым, таким, каково оно есть, с интересом, с восторгом, с критикой, с неприязнью. Чаще всего путевой очерк рождает вопрос, как, собственно, автор успевает зарегистрировать и воссоздать сырую действительность, проносящуюся мимо с дорожной быстротой.

Вот почему многие спрашивают, как описывал и даже зарисовывал свои путешествия Чапек. Его спутники по поездкам в Италию, Англию, Испанию или на Север должны это знать и наверняка с удовольствием по-

делятся своими воспоминаниями. Что касается нас, то мы можем лишь засвидетельствовать, как он делал это в Голландии.

Наше свидетельство будет столь же просто, сколь и поразительно: он это делал *по памяти*. Чапек обладал потрясающей, совершенно неправдоподобной памятью. Если Платон говорит, хотя и в несколько ином смысле, что учиться означает вспоминать, то куда более земной истиной будет утверждение, что искусство Чапека состояло в умении вспоминать, да еще с тем творческим преимуществом, что он в любой момент мог вспомнить именно то, в чем нуждался для своего творчества. Чапек умел бесперебойно и щедро пополнять свою память и все эти огромные запасы впечатлений располагать в образцовом порядке.

К примеру, идем мы лесом. Вдруг на свежей вырубке Чапек останавливается. «Что такое?» — удивляется его спутник. Чапек рассеянно: «Ничего. Мне нужно здесь осмотреться». Чуть расставил ноги, покачивает тростью за спиной и не трогается с места. Только черные глаза спокойно кружат от пней — до облаков.

Само собой разумеется, в Голландии он поступал точно так же. С раннего утра наблюдал текущие картины за окном, пускался в остроумные рассуждения — вроде того, почему все здешние коровы черно-белой окраски, потом вдруг набрел на мысль, что нужно издать чешский учебник голландского языка и, продолжая смотреть в окно, тут же начал сочинять: «Иди в гай¹ — по-голландски следует переводить: иди в Гаагу. Между прочим, это одно и то же: гай — место охраняемое, защищаемое, а den Haag — место оберегаемое, заповедник. Теперь попытаемся спрягать; вот хотя бы: Амстердам, амстердаш, амстердаст, амстердадим, амстердадите, амстердадут. — Он улыбнулся, озорно подмигнул и добавил: — Условное наклонение — я амстердал бы».

Затем, уже под маркой неправильных глаголов, составил из голландских местных названий несколько роскошных непристойностей, которые, увы, совершенно непригодны для публикации; но их языковое остроумие было неповторимо.

¹ По-чешски: *jdi do háje* (дословно: «иди в рошу») — пошел

Вжившись таким образом в голландскую атмосферу, на международном съезде Пен-клуба в Гааге он окунулся в водоворот изнурительной общественной деятельности. Без особого удовольствия, но с типично чапековской основательностью и добросовестностью. Он служил. Служил Чехословакии. В то время фашизм уже достаточно громко и демонстративно проводил политику всеобщего обмана. Чапек пропагандировал Чехословакию. Верно угадав источник угрозы, он защищал свою страну и пользовался для этого любой возможностью.

Чапек со вздохом принимал всевозможнейшие приглашения. Каждый раз сначала огорчался: «Скажите, пожалуйста, кто это? Что за человек? Ведь мне не о чем будет с ним говорить!» Ему сообщали, что это геолог. Чапек (с облегчением): «А, геолог! Ну, геологией я немного занимался, найдем, о чем поговорить». Или ему сообщали: археолог. Чапек (облегченно вздохнув): «А, археолог! Ну, археологией я немного занимался. Могу с ним поговорить». Когда же это оказывался биолог: «А, биолог! Ну, биологией я немного занимался. Это можно». Но однажды ему сообщили: «Большой ваш ценитель, миллионер». Чапек нахмурился. «Фабрикант роялей». Чапек пришел в отчаяние: «Что я скажу фабриканту роялей?» — «У него великолепная коллекция граммофонных пластинок с народной музыкой различных национальностей». Чапек ожил: «С народной музыкой? У меня тоже есть небольшая коллекция. Будет о чем поговорить. А потом я его, пожалуй, спрошу, как изготавливаются рояли. Знаете, из каких сортов дерева и как это делается, чтобы они вообще звучали?»

Пришло приглашение от профессора Клейвеха де Зваана, чья редкая забота о могиле Яна Амоса Коменского в Наардене безусловно обязывала чехословацкую делегацию нанести этому ученому визит. Чапек осторожно спросил: «А кроме Коменского, что, собственно, он собой представляет?» — «Он египтолог. Долгие годы провел в Египте». — «А, египтолог! Ну, египтологией мы немножко занимались. Знаете... чтобы не пришлось все время говорить о Коменском».

Итак, мы отправились к профессору Клейвеху де Зваану. Вошли в крошечный кабинетик в маленьком голландском домике, где над маленьким письменным столиком висела огромная картина — какой-то итальянец XV века, размерами чуть ли не больше всего дома.

Чапек вошел, посмотрел и воскликнул: «А, эту картину я знаю это то-то и то-то (здесь мемуаристу изменяет память), у нее еще есть пандан, который хранится в Сиене в таком-то художественном собрании! Скажите, пожалуйста, господин профессор, как вы ее заполучили?» Польщенный хозяин рассказывает, где обнаружил это произведение, а Чапек: «Скажите, пожалуйста, сколько вы за эту картину заплатили?» Хозяин с гордостью коллекционера усмехнулся: «Угадайте!» Чапек: «Видите ли, дело вот в чем: некоторые коллекционеры бывают рады и самой покупке. Другие радуются, только если купят особенно дешево. Вы купили свою картину по дешевке или за большие деньги?» Клейвех: «Пожалуй, за ее настоящую цену». Чапек: «Значит, вы заплатили...» — и назвал цену. При тогдашнем высоком курсе голландской валюты, когда один голландский гульден соответствовал примерно тринадцати с половиной чехословацким кронам (тогдашним!), Чапек ошибся в пятизначном числе всего на каких-то пятьдесят чехословацких крон.

Так он беседовал и встречался с людьми в буквальном смысле слова днем и ночью. Помимо поездок, запланированных организаторами конгресса, в свободное от заседаний время нашу делегацию возил по Голландии чехословацкий посол в Гааге Божинов. Чапек смотрел. Насколько я помню, он никогда не вынимал записной книжки, чтобы сделать какие-либо заметки. Делал ли он их дома, должен знать Франтишек Лангер, который жил тогда вместе с ним.

На сон у Чапека почти не оставалось времени. Так, вернувшись как-то довольно поздно после одной из поездок, мы нашли дома настоятельное приглашение в Схевенинген. Делегация какой-то страны, которую там поселили, собиралась выступить на утреннем заседании с предложением и хотела наперед заручиться поддержкой чехословацких делегатов. Чапек решил, что предложение необходимо выслушать. И вот мы едем ночью в Схевенинген, а утром — назад.

Тем не менее на следующий день Чапек, едва войдя в картинную галерею, схватил секретаря пражского Пен-клуба за руку и потащил в сторону: «Пойдемте я вам что-то покажу!» В галерее он был впервые, но, видимо, прекрасно в ней ориентировался и вот, восхищенно сверкая глазами, вместе с очарованным секретарем

стоит в одной из ближних зал перед двумя рембрандтовскими неграми. Оба, Чапек и секретарь, простояли там в молчаливом восхищении довольно долго. Секретарь был настолько ошеломлен, что проходил мимо остальных картин, как слепой. Его чувства и мозг больше ничего не вмещали. А Чапек преспокойно закусил еще дюжиной Вермееров, Брейгелей и Рейсдалей.

Пропустив несколько высокоофициальных и высококультурных мероприятий («Ночной дозор» — увы, уже не настоящий «Ночной дозор» при вечернем освещении и с буфетом), Чапек вместо этого заглянул с Фабрициусом в маленький ресторан, чтобы, проявляя недюжинное мужество, попробовать невероятно переперченные блюда жгучей тропической кухни, от которых волосы встают дыбом, глаза вылезают из орбит, текут слезы и градом катится пот.

Но в воскресенье утром Чапек отказался от предложенной Фабрициусом поездки к морю: «Останусь дома, сегодня я должен рисовать». Когда в полдень делегация вернулась, он сидел за столом, сплошь покрытым разбросанными листами бумаги, и закричал секретарю: «Пожалуйста, подойдите сюда! Что было накручено на голове той монашенки с велосипедом, которую мы встретили в Делфте? Этакие крылья на чепце, помните? Я никак не мог вспомнить». Секретарь взял лист бумаги и попытался сложить наподобие этих крыльев. Чапек не спускал с его пальцев глаз. И вдруг: «Ага! Уже вспомнил! Спасибо!» И двумя штрихами дорисовал картинку,

Секретарь оглядел стол. Вся книжка Чапека о Голландии была проиллюстрирована. А может, уже и написана. Только об этом секретарю еще ничего не было известно.

ВЕСЕЛО О КАРЕЛЕ ЧАПЕКЕ

Прежде чем стать знаменитым, Карел Чапек, как любой мальчишка, был учеником. И старательным учеником.

Все его интересовало, и всем, что его интересовало, он играл, ибо был обуреваем постоянной жаждой деятельности. Даже гораздо позднее, давно уже став гордостью чешской литературы, а также редакции газеты «Лидове новины», он часто являлся туда со словами:

«Послушайте, надо бы...», или: «Недурно бы...» А если Чапек говорил «надо бы» или «недурно бы», всем было ясно, что так именно и следует поступать, и обычно так и делалось, причем чаще всего делал это сам Чапек.

Так повелось еще с его детских лет. Один из первых тому примеров — его увлечение росписью по фарфору. Рассказывал он об этом примерно так: «Я познакомился с рабочими, когда решил учиться росписи по фарфору. Каждое утро вставал, как из пушки, в половине шестого и бежал три километра к одному старому художнику по фарфору. Мне это дело страшно нравилось, особенно когда работаешь на самом закругленном месте, знаете, где округлость круче всего, потому что если вы тут хоть на волосок отклонитесь, исправить уже ничего нельзя. Тогда я впервые понял, что такое ответственность».

Эти занятия росписью по фарфору имели и политические последствия. В четвертом классе Чапеку пришлось покинуть гимназию в Градце Кралове, поскольку выяснилось, что он состоит членом какого-то рабочего кружка, полагаю — читательского. Тогда, в Австро-Венгерской империи, это считалось тяжкой провинностью. «Я пошел туда не по какому-нибудь сознательному убеждению, ведь я еще был совсем мальчишка. Просто я любил рабочих, знал их с тех пор, как увлекался росписью по фарфору. В Градце Кралове я учился с похвальными грамотами и был в классе первым учеником. А когда потом перебрался в Брно, директор мне говорит: «Значит, в Градце вы переходили из класса в класс с отличием и были первым учеником? Не думайте, что и тут будет то же самое. Градец — провинциальная дыра, там без труда можно получить любую грамоту, но здесь — здесь совсем иное дело!» Что ж [...], — продолжал Чапек, — я ничего не ответил, приналег, поднатужился — и снова получал грамоты и был первым учеником. Но потом мы переехали в Прагу, и когда я поступал в Академическую гимназию, директор мне сказал: «Значит, в Брно вы переходили из класса в класс с отличием и были первым учеником? Прекрасно, однако здесь вам со всем этим придется распрощаться. Брно — провинциальная дыра, там можно без труда получить любую грамоту, но здесь — здесь совсем иное дело!» Что ж [...], — продолжал Чапек, — я ничего не ответил. Приналег, поднатужился — и снова был первым».

Добиваться отличий и быть первым — таков был его удел и в школе жизни. Редко случалось, чтобы он чего-то не умел, ибо обычно он умел все. То и дело можно было слышать: «Я сейчас занимаюсь микрофизикой — ужас как интересно!», или: «Я сейчас занимаюсь биологией — ужас как интересно!»

В литературе он пришел к убеждению: «Знаете ли вы, что читатель или зритель воспринимают правду, то есть сходство с действительностью, как красоту? Ему нравится, если он может сказать художнику: «Да, да, это правда, да, да, так оно и есть».

А потому Чапек был чрезвычайно опечален, когда один читатель «Обыкновенной жизни»¹ уличил его в ошибке.

«Я получил письмо от читателя, — рассказывало он. — Там говорилось примерно следующее: «Уважаемый господин писатель, очень хорошо, что Вы всегда пишете правду. Поэтому я позволю себе обратить Ваше внимание на одну ошибку. В главе, где молодой железнодорожный чиновник сватается к дочери своего начальника, у Вас написано, будто это было, когда цвел борщевик и светило такое-то созвездие... (мемуарист уже и сам не помнит, какое именно) — так тут, простите, господин писатель, ошибка. Созвездие это светит лишь в августе, когда борщевик давно уже отцвел». «Я огорчился, — продолжал Чапек, — и купил звездный атлас, поглядел, что он показывает в пору, когда цветет борщевик, и — надо же! — обнаружил совсем другое созвездие. Я вставил его в рукопись, велел только ради этого рассыпать набранную страничку книжного текста, потому что ошибка была обнаружена, когда роман еще печатался в газете. Обошлось это мне довольно дорого, но в книжном издании все напечатали правильно.

И тут вдруг снова получаю письмо: «Уважаемый господин писатель, очень хорошо, что вы так стараетесь писать правду, и особенно хорошо, что прислушиваетесь к советам человека, который в этом разбирается. Только насчет борщевика вы снова ошиблись. Хоть и правда, что это созвездие светит, когда цветет борщевик, но оно появляется на небе лишь в два часа ночи, когда все дав-

¹ Д-р М. Галик установил, что с незначительными коррективами этот случай скорее может относиться к «Кракатиту». Изменили память Чапеку или автору этих строк, в конце концов безразлично. (Прим. автора.)

но спят». «Я снова огорчился, но что поделаешь, исправить уже ничего было нельзя».

Опять перед вами добросовестный, старательный ученик, который разрисовывает фарфор. На сей раз он все-таки на волосок отклонился.

ИЗ ЛЮБОпытСТВА И ЛЮБВИ К ИГРЕ

[...] Отокар Фишер примерно четверть века назад выводил талант Чапека в первую очередь из двух источников: из любопытства и любви к игре. По его мнению, Чапек ко всему проявлял любопытство, всем играл, ибо третьим источником его творчества была жажда деятельности. Проявить любопытство было для него равнозначно попытке самому испробовать: как это действует, что тут происходит, как это делается, — да еще попытаться узнать, что произойдет, если... И вся его жизнь с самого детства была поучительной игрой, школой-игрой, *schola ludus*.

Однажды по просьбе редактора журнала «Розправы Авентина» он написал письмо «О себе», где говорит, что стал писателем, чтобы выразить вещи, и объясняет: «Если бы я мог ограничиться одной профессией, я бы, наверное, стал хорошим специалистом. Но поскольку я занимаюсь всем, из меня получился всего-навсего писатель».

Он познаёт, чтобы играть, и играет, чтобы познавать. Существуют свидетели того, чем была для него обыкновенная игра, которой забавляются представители рядового человеческого типа, из коего складывается широкая публика: читатели, зрители, слушатели. Очевидно, не было и нет игры распространеннее, чем кроссворд. Вам самим наверняка знакома сосредоточенность человека, решающего кроссворд, — он самоуглубленно подсчитывает клеточки, вписывает слоги или буквы, мучительно долго думает и наконец спрашивает: «Скажи, пожалуйста, как называется глава церкви в Тибете?»

Это было чудо — видеть, как решает кроссворд Чапек. Возьмет, посмотрит и с быстротой бухгалтера, подсчитывающего столбцы цифр, начинает скорописью заполнять, как по конвейеру, клетку за клеткой. Обычный кроссворд он решал за две-три минуты, а номер специального журнала для любителей кроссвордов — при-

мерно за четверть часа. Если бы Чапек хотел, то в следующие полчаса он и сам бы сочинил такую же тетрадку кроссвордов, тем более что как никто иной умел играть вещами, а еще более удивительным образом — их звуковыми знаками — словами. Каламбур был самой мелкой разменной монетой его духовного капитала, казалось, слова в его памяти разложены по ящичкам, как в некоем каталоге, и соединяются в любых комбинациях: по внешнему подобию, по смыслу, на основе рифмы или происхождения — и от каждого прямая радиотелеграфная связь ведет к остальным, или, вернее, слова у него расщепляются и взрываются, словно атомы урана, ядро от ядра, образуя бесконечные цепи из ракет остроумия, из вспышек познания взаимосвязей, из сверкающих молний глубокой поэзии. Характерный пример. В «Фабрике Абсолюта» промышленник читает газету, сложенную так, что от одного из объявлений остался лишь слог «брел», ему сразу же приходит в голову: забрел, набрел, обрел — а на самом деле это «изобрел». Тут Чапек изобличил себя самого в пристрастии к словесной игре: о его каламбурах можно было бы рассказывать без конца, их было столько и таких ярких, что, изучив их, какой-нибудь университетский ученый получил бы звание доцента.

Не сочтите, пожалуйста, за нескромность, если я похвастаю, желая прославить Чапека, а отнюдь не себя, несколькими языковыми шутками, которые достались от его щедрот и на мою долю. После премьеры «Эдисона» Чапек перекрестил меня — впрочем, не один он — в «Эдмондисона», что при благосклонном истолковании могло даже польстить моему самолюбию. Хуже было, когда однажды Ольга Шайнпфлюгова похвалила мой новый костюм, а Чапек добавил: «Что ж, Конрад всегда эдмонден». А когда я приехал к ним в Стрж и раскрыл чемодан, чтобы вынуть вещи, Чапек с нескрываемым, немного мной шкаф и произнес: «Ну вот, а сюда можете повесить свои эдмундиры».

Было бы великой заслугой показать, какую роль в произведениях Чапека играет то, что выросло из игры, из веселого любопытства, но этим далеко не будет исчерпана даже малая часть существа его творчества — ни его высокая нравственность, ни его духовность, ни его поэтичность, ни широта мысли, ни глубина воззре-

ний. Поскольку уж мы говорим о его любви к игре, не хотелось бы упустить еще три ее аспекта: игру с живыми существами — с детьми, с животными и растениями. Если источник этого огромного таланта любопытство и игра, то остается еще вопрос столь же философский, как и детский: в чем источник этой любви к игре, этого любопытства? Но тут достаточно взять чапековские сказки, взять «Дашеньку» или «Год садовода» — и ответом на наш вопрос сама собой прозвучит фраза в конце первого акта «Разбойника»: «Это не кровь. Это — любовь!»

Сколь просто объяснение множества великих чудес! И вместе с тем самоочевидно: былой вундеркинд и вечный прилежный ученик Карел Чапек потому всем так интересовался и потому так охотно всем играл, что все это страшно любил. Он родился с детским сердцем, полным любви, которая хотела охватить все сущее. В филологических лекциях стала уже избитой фраза о том, что-де тот или иной поэт «любил жизнь». И все же нередко это бывает правдой, а к Карелу Чапеку сказанное относится в высшей степени. Некогда гениальный карикатурист нарисовал Наполеона III играющим в бильбоке земным шаром. Чапек тоже играл земным шаром, начиная с полонин «Гордубала» и кончая плантациями «Метеора». Но не как захватчик-император, а как нежный садовод. Иные агрессивные лжеимператоры укоротили жизнь садовода. Но оказались беспомощными против силы его любви. Она осталась с нами во всем, к чему он прикасался, и особенно в нашей благословенной родной земле, которую он любил больше всего и потому не умер. Карел Чапек живет среди нас.

ЭМИЛЬ ВАХЕК

ИЗ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ О СТАРОМ ГРАДЦЕ»

[...] Нужно заметить, что мы уже тогда составляла кружок. Как он образовался? Wahlverwandschaft¹ — скажем вместе с Гете. Прежде всего нас, разумеется, объединяли общие наклонности, из которых доминирующей была любовь к книгам. Но когда я ныне перебираю в памяти своих тогдашних друзей, то обнаруживаю в них определенное физическое сходство. Все мы были хрупкого сложения, а единственный из нас, кто отличался крепким здоровьем, — Отто Соммер, — очень плохо видел. Я, постоянно живший впроголодь, был тощ как щепка, Карел Чапек, в ту пору гимназист, был таким же, каким и вы его знаете: физически слабым и к тому же отличающимся крайней стеснительностью. В связи с этим вспоминаю: однажды Карел признался (тогда он как раз переживал одно из первых любовных увлечений), что никогда не осмелится поцеловать девушку, поскольку от страха у него вокруг губ сразу появятся капельки пота. Всего нас было пятеро или шестеро — мы, как заговорщики, встречались на променаде, обсуждали только что прочитанное и обменивались запрещенными книгами. Кружок наш прекратил существование, с одной стороны, из-за отъезда Карела Чапека в Брно, с другой — оттого, что я тогда перешел в другой кружок. [...] Впрочем, наш первый кружок вошел в литературу. В моих жилах, видимо, уже тогда текла кровь журналиста — моим любимцем в ту пору был Карел Гавличек, [...] и я основал второй за свою жизнь журнал. Журнал этот уже не переписывался от руки, а печатался литографским способом; оригинал был написан каллиграфическим почерком моего брата Йозефа и носил многооб-

¹ Избирательное сродство (нем.).

тающее название «Ревю неймладших». В первом номере Карел Чапек поместил стихотворение «Красный фонарь» а я эссе и критические статьи. Подписался я: «Эмиль Черский». Псевдоним позаимствован мною у одного из героев Станислава Пшибышевского, что служит свидетельством моего выхода из-под влияния Махара и вступления под начало этого польского декадента. Журнал принес нам широкое признание, ведь мы печатали и продавали тридцать экземпляров! — и успех его питала новая атмосфера, которой начало дышать мое родное гнездо. [...]

Карел Чапек был лучшим другом моей молодости, пожалуй, с той поры я не нашел более верного товарища. Вспоминаю, как заботливо он ухаживал за мной, когда я схватил загадочную горячку (его отец был врачом), как мы вместе без конца ходили по свежескошенным лугам на левом берегу Орлицы, как зарылись однажды в копну сена, чтобы послушать музыку, доносившуюся из офицерского парка, и как у Чапека от этого началась сенная лихорадка. Таких воспоминаний сотни. Однажды к нему приехал брат Йозеф, уже тогда оказывавший на него огромное влияние; он занимался в Художественно-промышленном училище и знакомил нас с песенками, которые пела тогда студенческая Прага, поправлял акварели Карела, носился с мыслью принять участие в конкурсе на роспись окна в костеле и хотел нарисовать меня голым в виде старца. Я старался вселить бодрость в несчастно влюбленного Карела, выпросил у него для нашего журнала первое стихотворение — уже тогда он писал своим характерным мелким красивым почерком — и вообще оказывал на него сильное влияние, но все это влияние не помогло мне, когда я попытался уговорить его играть с нами в футбол. Понятно, что в четырнадцати-пятнадцатилетнем юноше нельзя было распознать будущего Карела Чапека, даже столь типичное для позднейшего Чапека остроумие тогда еще не проявлялось. Наоборот, он был страшно серьезен, любил латынь и греческий, в литературе был менее подвержен влияниям, чем я, потому что дома читал Диккенса и прочую солидную литературу. И уже тогда обладал той нежной душой, которую я ощущаю сейчас в его произведениях. Для меня в ту пору он был друг, какого не скоро сыщешь [...]

АНТОНИН НОВОТНЫЙ

ИЗ СТАТЬИ «ШКОЛЬНЫЙ ТОВАРИЦ КАРЕЛ ЧАПЕК»

Среди нас, мальчишек, непоседливых и отчаянно шумливых учеников шестого или седьмого класса классической гимназии, появился в начале школьного года довольно длинный темноволосый мальчик в коричневом костюме цвета корицы и в зеленом шелковом жилете, застегнутом по самое горло. Новичок, откликнувшийся на имя Карел Чапек, не принимал участия в наших школьных проделках. То, что было в нем скрыто, мы сначала не разглядели и не ждали от него ничего особенного. Простите меня, великий покойник, но ваш всегда открытый рот и опущенный подбородок — результат полипов в носу — не вызывал большого доверия к вашему врожденному уму. Со временем, правда, мы в нем убедились в полной мере, и, не понимая мыслей нового соученика, выходявших далеко за пределы кругозора мальчишек средних способностей, мы начали его называть (смотри «Лабиринт славы» Воцела) Духомор. Чапек стоял слишком высоко, чтобы обижаться на такие ехидные пустилки, это прозвище ему скорее нравилось, и он хотел даже сделать его своим псевдонимом.

В то время он уже много прочитал из мировой классики, был знаком с самой современной литературой и не мог понять, как кто-то может читать «Девин» Гневковского. Напрасны были объяснения, что чтение Гневковского интересно для знакомства с чешским обществом и его настроениями около 1800 года и что по этой же причине будет читаться также «Дафнис» Неедлы, «Возвышенность природы» Полака и перевод «Аталы», сделанный Юнгманом. «Зачем вам это старье, тем более что вы будете изучать право. Подождите, я принесу вам кое-что способное приблизить вас к современности». Слово свое он сдержал, но ученик, которому он принес книгу,

не знал, как ему относиться к сентенциям «Музея восковых фигур», автором которого был, кажется, Мейринк.

Порой Чапек намеренно пугал собеседника цинизмом, видимо, притворным и нарочитым. Увидев в руках того, кого он так ехидно поддел будущими занятиями правом, «Вертера» Гете, он ухмыльнулся и процедил сквозь зубы: «Вы влюблены в кого-то? Если вас это мучает, представьте себе ее в туалете. Это лучшее средство против сердечных мук». Точно так же переполошил нас Духомор, пустившись на уроке физики в эстетически-философский диспут с преподавателем доктором Ярославом Еништой на тему о том, что произошло бы в космосе, если бы кто-нибудь умышленно изменил порядок цветов в солнечном спектре. Еништа доказывал абсурдность этого предположения: ведь даже воля божья не может изменить законов, однажды установленных, но Чапек не сдавался и утверждал с помощью не знаю уж каких диалектических фокусов, что в таком случае направление космического вращения неизбежно изменилось бы, из-за чего солнце восходило бы на западе, а садилось на востоке и Северная звезда указывала бы на юг. Совершенно обалдевший учитель, расценивший такое выступление ученика как стремление «эпатировать буржуа», перенесенное из эстетической в научную сферу, закончил диспут решительным: «Садитесь, вы болтаете чепуху». Чапек сел, и по его довольному лицу было видно, что учитель не так уж не прав. Он мог позволять себе такие дискуссии по вопросам физики, потому что как динамику, так и остальные разделы он усваивал играючи. Охотнее, чем за уроками, он посиживал в школьные годы в кафе на Житной улице, в том самом, что на углу Штепанской. За мраморным столиком кафе он обычно читал не только всю ежедневную прессу, но и журналы, хотя никогда не признавался, привлекает ли его симпатии программа какой-либо из тогдашних политических партий. Из разговоров с ним можно было скорее вынести впечатление, что его не интересует политика и он предпочитает пьедестал космополита трибуне партийного оратора, а по некоторым высказываниям его легко было заподозрить в склонности к анархизму. Заметной чертой его характера была ирония, часто острая и безжалостная, однако эгоизм был ему совершенно чужд. Он охотно помогал товарищам то подкаской, то разъяснением какой-нибудь математической

или другой загадки. Но когда весь класс участвовал в какой-нибудь шалости, он обычно оставался в стороне, хотя никогда не ябедничал. На вопросы учителей, расследовавших проступок класса, кто же виноват, он всегда отвечал, что не знает. Каждый из нас в те годы имел какой-то предмет обожания, но Чапек умел хранить свои секреты, и мы так и не узнали, поддался ли он женским чарам какой-нибудь ровесницы.

Хотя он и производил на нас впечатление шуки, сам он предпочитал пруды, в которых водилось только немного карпов. А вообще-то Духомор, ходивший в школу всегда вместе с братом Йозефом, слушателем близ расположенного Умпрума, только раз позволил заглянуть в свою частную жизнь, рассказав о воспитательных методах их отца. Когда оба брата достигли пятнадцатилетия, отец положил на имя каждого из них капитал в десять тысяч гульденов, помещенных в пятипроцентные бумаги, с тем чтобы юноши сами содержали себя на эти доходы. Отец им уже больше помогать не будет. Если юношам потребуется больше, пожалуйста, пусть и зарабатывают сами. Как, это их дело.

Будущий писатель, завоевавший мировую славу, в школьные годы играючи справлялся с учебной программой, но после получения аттестата зрелости исчез из поля зрения автора этих строк. Зато все чаще доходили слухи о нем, и всегда хвалебные. Обанкротившийся юрист, он же не кончивший свое образование философ, никогда Чапеку не завидовал, только иногда ему случалось вздыхать: «Вот счастливцев! Почему именно он оказался избранником судьбы, почему...»; продолжать эти воздыхания он не смел; ну как что-либо подобное могло бы произойти с ним самим? Только много лет спустя бывшие соученики снова встретились в зале старого Ремесленного банка, вскоре после выхода в свет «Сияющих глубин» в издательстве Борового. Слово за слово, в разговоре было высказано поздравление с выходом новой книги и сделано признание, что писательское поприще является великой мечтой жизни и второго школьного товарища, который, однако, уверен в ее неосуществимости. Чапек, который в разговоре отказался от своего бывшего утверждения, что литература эпохи Возрождения — это старье, сначала закивал головой. Потом начал не только описывать трудности, которые подстерегают автора, но и задал несколько вопросов, стараясь понять, что же

теперь представляет собой его собеседник. Разговор завершился ободряющими фразами: «Если в вас есть это самое, то оно непременно даст о себе знать. Надо иметь время, чтобы приложить руку к делу. Попробуйте что-нибудь написать! Ведь ничего не случится, если даже вещь выйдет никудышная. Миру не нужно множество художников, гораздо больше ему нужны сапожники».

Этим не слишком обнадеживающим заверением завершилась наша последняя беседа с Карелом Чапком. [...]

ИЗ КНИГИ «В ЗАТУМАНЕННОМ ЗЕРКАЛЕ»

[...] Только в 1909 году содружество, вырвавшееся в различных учебных заведениях и объединявшее родственные усилия людей из разных кружков, пополнилось братьями Чапек. Раньше мы только видели их прогуливающимися по проспекту Фердинанда. Это были два подчеркнуто одинаково и чересчур элегантно одетых молодых человека в цилиндрах и перчатках. [...] Мы не слишком высоко ценили их литературные опыты в «Стопе» Горкего, которым подпись «Братья Чапек» придавала такую же броскость, какою отличалась их одежда. Их критические статьи и рецензии, посвященные изобразительному искусству, тоже не встречали в нашей среде одобрения. Нам чужды были нарочитое остроумие и какая-то эксцентричность стиля, противоречившие свойственной нам и определявшей нашу манеру поведения естественности. Поэтому я удивился, когда в один прекрасный день эти два сверхчеловека явились в кафе «Унион» и представились мне по всей форме. Я был приветлив без излишнего дружелюбия и представил их остальным. Братья подсели к нашему столу, хотя прием был не так уж горяч, а сердечности, особенно среди художников, и того меньше. Но Чапеки выдержали эту не слишком радушную встречу и продолжали посещать компанию, а вскоре и совсем сжились с группой молодых людей, которые вместе гуляли, дискутировали и без конца ссорились. Очевидно, братья оценили значение культурно-художественного центра, каковым было тогда кафе «Унион», и пользу того, что там делалось, хотя у них и было какое-то более старое знакомство с С.-К. Нейманом. Пожалуй, быстрее всех они сдружились с Франтишком Лангером, к тому времени уже тесно сросшимся с нашей компанией. Он-то и при-

вел их в «Пршеглед». Там братья Чапек попытались выступать уже в иной тональности, чем прежде в «Стопе». Они быстро учились, перенимали взгляды, доселе им чуждые, верно угадывали скрытый смысл намеков и суждений, умели подчинить свою экстравагантность и избранность естественной неофициальности нового коллектива. Чувствовалось их желание выдвинуться, стремление добиться успеха, что для всех остальных как-то не имело первостепенного значения. Они были проницательны и понятливы, целенаправленно и планомерно просвещались во время дружеских застолий в кафе и коллективных поездок в окрестности Праги, хотя сами не танцевали и не пили. Оба были в высшей степени добропорядочны и корректны, чем резко выделялись среди людей богемы, зарабатывавших на жизнь от случая к случаю, пробавлявшихся с помощью «путешествующей пятикрановой монеты». И хотя все эти люди тоже чего-то хотели, однако не слишком пеклись о карьере, в то время как у Чапек можно было заметить преднамеренное стремление к успеху. Они во всем отличались от беспорядочной толпы экстравагантных личностей, преследующих собственные химеры. Но все же постепенно мы с ними сблизились, поскольку они были необычайно умны и в не меньшей мере тактичны. Они сумели извлечь из этой своеобразной среды максимальную пользу, хотя о Йозефе как о художнике здесь почти никто не говорил. В нашем кружке они проявляли только литературную сторону своего дарования, послужившую основой нашей последующей близости. Постепенно мы стали вхожи и в их семью, которая имела для обоих братьев чрезвычайно важное значение. Семья поддерживала их труды и устремления, чего вовсе не было у других членов нашего сообщества. Отец — врач, человек практичный и рассудительный, рано получивший какую-то пенсию и переселившийся в Прагу, несомненно, способствовал их профессиональному и несентиментальному пристрастию к фактам. Мать собирала в Крконошах народные легенды и, по-видимому, повлияла на их тонкое чувство родного языка. У братьев был врожденный языковой дар, о котором они рассказывали как о способности, развившейся под влиянием служанки Наны; эта способность связывала двух совершенно далеких от народа интеллигентов с корнями коллективной жизни, с народом и его пластичной речью. Порой я бывал в их квартире на

Ржичной улице и наблюдал простой старомодный житейский уклад семьи, очевидно, вполне состоятельной, но весьма экономной. Если не ошибаюсь, отец дал каждому из них по двадцать тысяч крон; а затем они уже сами вносили плату за жилье и пропитание, привыкая к тщательной экономии, впоследствии столь характерной для обоих. Я познакомился и с их методом творчества. Чапки рассказали однажды, как прочли в энциклопедии Отто о «комедии дель арте». Обнаружив, что это устоявшаяся драматическая форма с традиционными персонажами-масками, где действие импровизируется, братья тотчас домыслили ее возможности; так возник замысел «Любви игры роковой». В кафе «Унион» зашел разговор о Стендале, о концентрированной эпичности его повествования. Братья Чапек немедленно принялись за чтение и многому научились у Стендала, особенно лаконизму. Работали они явно по четкому плану, не тратили времени зря, как прочие, не задерживались попусту из-за каких-нибудь бесполезных вещей, для нас, остальных, подчас весьма важных. Несмотря на первоначальное нерасположение к естественно-простому, но малообразованному Властимилу Гофману, братья сумели понять, почему он пользуется в нашей среде признанием. И если поначалу они чуть свысока выслушивали его непосредственные и часто наивные вопросы, то потом сблизилась и с ним, и с его земляком Вацлавом Шпалой. Были корректны, но так и не преодолели некоего вежливого холодка по отношению к Филле и, разумеется, к Киселе тоже. Нам казалось, они слишком рассудочны, не позволяют себе сердечных проявлений. Но несмотря на все это, сближение продолжалось. Доктор Чапек подвизался в качестве сезонного врача на различных курортах. В 1909 году мы отправились к нему в Св. Ян под Скалой, потому что тогдашний владлец этих живописно-романтических мест фабрикант Маршнер делал попытки обновить тамошний курорт. Наша группа медленным шагом спускалась от Карлштейна в долину, где нас приветливо встретили и провели по этому своеобразному уголку земли. В родительской квартире на подрамнике стояла незаконченная картина Йозефа Чапека. Он уже тогда явно стремился перейти от декоративного стиля Умпрума к чистой живописи. Мы как-то мало считались с ним как с художником, но не могли не признать общей для братьев любознательности, систематичности и серьезных устремлений в литературе —

области, где они постоянно экспериментировали. У них было немало интеллекта и логики, а также способности к самодисциплине и систематическому труду.

ИЗ КНИГИ «ЗА ОГРАДОЙ ОТЧИЗНЫ»

Когда в октябре 1910 года я приехал в Берлин, на перроне пражский поезд встречали Карел Чапек и Артур Лангвайль. [...] Я познакомил обоих чехов друг с другом, и Чапек сообщил мне, что я буду жить вместе с ним на Лилиенштрассе. Лицо Лангвайля выразило смущение, такое же смущение отражалось на лицах коренных берлинцев, как только я сообщал им наш адрес. Лангвайль отвез нас с Anhalterbahnhof¹ на квартиру, найденную Чапек по объявлению, которое было вывешено на факультете, — и я увидел просторное, уютное жилище — три комнаты со старомодной обстановкой. Квартира была расположена во втором этаже, на узкой оживленной улице за королевским дворцом и Александерплац, центром рабочего района Норд-Ост.

Я еще не успел записаться в Королевский университет Фридриха-Вильгельма (ныне имени Гумбольдта), куда уже был записан Чапек. [...]

В обшарпанном квартале нам жилось совсем неплохо, мешала только близость пожарной части, из которой еженощно с тревожным звоном выезжали пожарные. Но к этому мы скоро привыкли, как и к окружающей нас бедности. Собственно, мы и сами были такие же бедняки. Вдвоем с Чапек мы посещали маленькие ресторанчики или просторные пивные, где в обстановке всеобщего пивного угара зычно играл оркестр и где совершенно терялись два иностранца, даже в этом гаме не прекращавшие разговоров и рассуждений, характерных для пражской художнической компании. Наши личные познания и наблюдения перемежались с общепринятыми в этом кругу мнениями и формулировками.

— Вы обратили внимание, что Бодлер не написал ни одной драмы? В этом, очевидно, причина его духовного

¹ Ангальтский вокзал (нем.).

разлада — нет ничего мучительнее ощущения, что ты не способен написать драму! — заметил как-то Чапек, рассматривая публику за соседними столами, пьяно покачивающуюся в такт оглушительной музыке. И добавил:— Моя фантазия работает, лишь когда я совершенно трезв. [...]

Я всегда был человеком непоседливым, а Карел Чапек после университетских лекций больше бывал дома. Он много занимался немецкой литературой, особенно его в то время привлекал Г, Гейне, о котором он говорил остроумно и с присущим всякому истинному поэту пониманием. У него было врожденное чутье к литературе и языку, к строению и пластике чешской речи, тайны которой он постигал с величайшей мудростью. Я убедился в этом еще до отъезда из Праги, но теперь его большой языковой дар проявлялся еще ярче. Он владел родным языком куда лучше меня, писавшего тяжело и с напряжением. Прочтя мою диссертацию, Чапек с первого взгляда уловил излишнюю сложность и тяжеловесность стиля:

— Здесь нужно поставить точку с запятой, тут может спасти положение тире, а эту фразу разбейте на три...

Его советы помогли сделать диссертацию более удобочитаемой. [...]

Рассуждения Чапека всегда бывали умны и пронзительны, хотя в Берлине он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Скучал по дому, а главное — по брату. Как-то не мог сосредоточиться, тщетно пытался писать — ничего не приходило в голову. В конце концов он даже купил у меня за одну марку сюжет рассказа о том, как распадается интеллигентная семья, в которую попал необразованный и примитивный человек, своей естественностью и живым чувством побеждающий условности воспитания. Сюжет Чапеку понравился, но вскоре, не добившись успеха, он в расстройстве бросил и этот замысел и только валялся на диване, читал, думал.

Зато в дебатах, которые продолжались и во время наших вечерних прогулок, он всегда проявлял поразительную самостоятельность взглядов и последовательность интересов. Чапек совсем не пил, но хотел знать названия и различал состав и вкус всех крепких напитков, тогда еще едва известных в нашем пивном мире. Он

гордо заявлял, что знает состав коктейля «манхеттен», знает, что такое флип, мартини, и с видом знатока смаковал эти экзотические в ту пору напитки. Один раз мы сидели в зале монументальной германской Валгаллы — ресторана Рейнгольда, говорили, как обычно, по-немецки для тренировки в языке и, в процессе «научной» дегустации незаметно для самих себя действительно крепко захмелев, вдруг стали изливать друг другу душу. Не знаю уж, что я наплел о себе, но до сих пор в моих ушах звучит: «Ich will die Macht haben»¹. Впервые он открылся до конца: «Если бы я мог достичь власти иным путем, я бы пошел им. Но я умею только писать и потому достигну власти посредством литературы...» [...]

Однажды Чапек сказал, что не верит ни в какие «Tiefheiten»² жизни или души, видит во всем этом лишь истерию. Сдержанный, трезвый, эгоцентричный, не впускающийся ни во что без толку и глядящий на мир со стороны, он всегда выступал против импрессионизма. Это был взгляд рассудительного, интеллигентного и умного человека, причем, конечно, высоко одаренного; его холодную логику уравнивали привязанность к семье и врожденное поэтическое чувство. Очевидно, он уже тогда знал, каким путем пойдет; в то время как я разбрасывался, импровизировал и тосковал по полноте жизни, он был деловит и несентиментален. Если взглянуть на жизнь Карела Чапека в целом, его расчет был явно правилен, поскольку ему действительно удалось достичь и власти, и денег.

Характером мы были совсем не схожи. Совместная жизнь углубляла доверительность, но отнюдь не дружбу, ибо каждый оставался на своих позициях. Но для обоих нас Берлин был чужим городом. Впрочем, различия натур не мешали ряду совпадений в оценках художественных произведений. В Берлин приехал Франтишек Лангер, издавший тогда в библиотеке Шальдовой «Новины» книгу «Золотая Венера», теперь он вместе с нами проматывал гонорар. Естественно, его интересовало наше мнение о книжке. [...] Мы с Чапек-ком были полностью единодушны: рассказы Лангера

¹ Я хочу иметь власть (нем.).

² Глубины (нем.).

казались нам слишком артистичными, безжизненными, вторичными, искусственными, мы не утаили от него и суждений о «жестяном» великолепии его слога, чересчур декоративного и вычурного. Но наши прямые высказывания не нарушили дружбы. [...]

На Gare du Nord ¹ меня встречали оба Чапека и сообщили, что мне заказан номер в отеле Des Américains ² на бульваре Сен-Мишель в Латинском квартале, где жили и они сами, и сразу же повезли меня через весь Париж по муравейникам бульваров, кварталам, полным суеты, которые я едва успевал окинуть взглядом, через Сену и остров Сите на другую сторону перенаселенного и чрезвычайно оживленного города. Наш скромный отель, где вовсе не было никаких американцев, находился на сравнительно тихом конце шумной магистрали, пересекающей квартал университета, учебных заведений, институтов науки. [...]

Едва успев осмотреться и разобрать чемодан, я отправился с Чапеками на прогулку, и снова мы погрузились в искрящийся оживленный поток людей, в атмосферу, которую я впитывал всеми порами и с которой уже невольно сближался. На автобусе мы поехали в Лувр, Чапеки водили меня по залам, и я восхищался. [...]

Братья Чапек с пониманием и одобрением относились к моим восторгам.

Я видел, что они уже сжились с чужбиной, освоились, обрели ритм совместной жизни. До обеда Йозеф Чапек рисовал — мне казалось, он следует Мангену и Марке, — в стиле вольной, прямой и крепкой живописи, в которой не оставалось и следа бывшего пристрастия к стилизации; а Карел писал. В полдень мы отправлялись обедать, выпивали в кафе «Биар» на бульваре по чашечке черного кофе, покупали «Матен», в ту пору популярнейшую парижскую газету, и, усевшись напротив, в Люксембургском саду, читали продолжение детективной истории Фантомаса. Этот удивительный солнечный сад с водоемами, фонтанами, памятниками и аллеями, кишаций старыми и малыми посетителями,

¹ Северный вокзал (фр.).

² Американский (фр.).

соединял широту и размах открытых перспектив с интимностью ленивого отдыха. Там же мы чаще всего встречались и в полдень гуляли, отпускали замечания по поводу того, что нас окружало, спорили. В сравнении с берлинским периодом Карел Чапек заметно переменялся, точно в присутствии брата ожил, сбросил с себя угрюмость. Там ему как-то все время было не по себе. Жизнь вместе с Йозефом означала возобновление удивительного единства их мышления и чувств. Братья гордо говорили: пишем пьесу! Рождение ее замысла, ее дух и сюжет они объясняли общей любовью или восхищенной симпатией к дочери известного пражского кондитера, их партнерше по занятиям в танцевальной школе Линка. Они создали атмосферу восхищения молодостью, воплощенной в светлом и теплом образе прелестной Мими (возможно, прототип ее — барышня из школы танцев — до сих пор жива и все еще гордится своей ролью вдохновительницы), и развивали действие в духе наших пражских воскресных загородных прогулок. В предисловии к первому изданию «Разбойника» Карел Чапек упоминает об этом:

«Товарищи былых времен, признайтесь, разве не прав автор, утверждая, что «Разбойник» хоть немного ваш портрет. Портрет тех, кто танцевал в Затиши, бегал за каждой юбкой, срывал каждую розу и одновременно боролся с рутинной в искусстве; веселый производил и жизнерадостность, которые озаряли тогда молодые лица, не утратили своей силы и в воспоминаниях. Какое счастье и какая гордость — сознавать себя молодым поколением! Ощущать себя в жизни новатором, завоевателем, разбойником! Как свежо и привлекательно беззаконие, как героично нести на своих плечах бремя безответственности! Но когда автор вернулся к вам с первой редакцией пьесы в кармане, он увидел, что и вы уже простились с молодостью».

«Разбойник» остался наброском, которому недоставало конца.

В третьем действии вдохновение покинуло автора, и этот перелом явственно виден каждому. Карел Чапек говорит о себе как о единственном авторе, но «Разбойник» вырос из совместной творческой мастерской обоих братьев. И хотя действительно писал только Карел, однако во время полуденных прогулок по Люксембургскому саду они обговаривали вдвоем не только фа-

булу, но и весь ход действия, все его повороты, даже до подробностей обсуждали отдельные ударные моменты. Братья рассказывали, как идет работа над пьесой, а я восхищался их идеальным взаимопониманием. Они мыслили в полном согласии. Стоило одному начать фразу, как другой заканчивал, четко формулируя ее смысл. Видно было, что их внутренняя жизнь буквально биологически сплелась воедино. То, что днем они вместе продумывали, на следующее утро Карел записывал. Я понимал, насколько они нерасторжимы, задним числом понимал причины постоянной угрюмости и духовного беспокойства Карела в Берлине и говорил себе: вероятно, так работали Гонкуры. И все же мне кажется, что этот изначальный симбиоз не выдержал испытания до конца жизни, таково, по крайней мере, впечатление, вынесенное мною из Бухенвальда. Однако тогда, в Париже, они были неразлучны, а я только приглядывался к чрезвычайно упорядоченному и размеренному ритму их жизни, к их целеустремленности, к их умению беречь время и трудиться планомерно. Рабочие часы они чередовали с посещением картинных галерей и художественных магазинов — последних обычно по понедельникам: в ту пору Йозеф как раз начал проявлять интерес к искусству примитивных народов, о котором позже написал прекрасную книжку. Их уравновешенность сказывалась и в распределении времени, и в различных деталях быта. Ужинали они дома и всегда старались, чтобы вина у обоих было налито поровну: кто-нибудь один, присев, обязательно сравнивал уровень вина в рюмках. После ужина выходили попить пива на тротуаре перед пивной Дюмениль неподалеку от нашего отеля. Особых встреч или дружеских связей не искали. Едва перекинулись одним-двумя словами с Вацлавом Небеским, жившим всего в нескольких шагах от нас, но совершенно чуждым нам по манере поведения. Им было достаточно самих себя, они сумели создать собственный мир в Латинском квартале, полном студентов и экзотических посетителей любого сорта, которые заполняли главную магистраль интеллектуального квартала вокруг университета, этого самостоятельного целого внутри французской метрополии, мало связанного с остальными ее кварталами. Карел Чапек, как и я, особого прилежания к университетским занятиям не проявлял. [...]

Бурдель все так же искрился жизнью, был равно приветлив со знаменитыми и безвестными. Тем не менее в одно из воскресений меня поразили дружеская приветливость и смирение, с какими он отвечал на неожиданные выпады и придирки странного старика, который высказывался чрезвычайно громко, не обращая внимания на то, что говорят окружающие. Когда мы сели ужинать, я спросил, кто этот сварливый потрепанный человек. «Это величайший художник современности!» — «Где можно увидеть его картины?» — «Нигде». Художника звали Леон Шолиак. [...]

Старый художник почувствовал ко мне нечто вроде симпатии и однажды, желая взглянуть на какую-то фотографию, навестил меня в нашем отеле. После воскресного визита к Бурделю я рассказал Чапекам о Шолиаке и о его примитивных и вместе с тем гениальных живописных набросках, где материал и композиция были слиты воедино, об этом самородке, подобном Сезанну или Френофферу из бальзаковского «Неведомого шедевра». Я пробудил в них любопытство, а когда старик явился ко мне, сбегал наверх, к братьям, которые оказались дома, и сообщил: «У меня Шолиак». [...] Они спустились вместе со мной, и я познакомил их с художником. Это знакомство продолжалось довольно долго. Они часто гуляли с Шолиаком, тот даже рисовал Карела Чапека — как всегда, на шелковой бумаге. Позднее они посвятили фигуре этого старика, которого мы потом потеряли из виду, статью и, если не ошибаюсь, напечатали ее в «Мусейоне» Шторха. То был человек, чем-то привлекавший их и возбуждавший их любопытство.

Дебаты с Чапеками продолжались, результатом стало известное сближение с Йозефом, довольно замкнутым и строгим. По рассказам я узнал о предмете любви художника, наполнившей всю его жизнь, постиг его вдохновенную целеустремленность; мы с ним четко разграничили, что нас отличает друг от друга: «Для вас искусство — проявление, для нас — сообщение». Но их систематичность, их логизм, их отношение к жизни я полностью отвергал. Чапеки и тогда уже умели сосредоточиться, методично работать над собой, концентрировать внимание на себе. Им были чужды мои импровизации, мой рассеянный образ жизни. А мне — их программность и систематичность. Они извлекли из

города все, что тот мог предложить не пустившим прочных корней иностранцам, но, с другой стороны, не могли не чувствовать ограниченности радиуса своего бытия, и им было как-то не по себе. «Разбойник» не удавался, авторы завязли на третьем акте. Оба недовольно ворчали, пока наконец у них не родилась идея путешествия в Испанию, на которое они собирались сэкономить денег, пожив некоторое время в Марселе. Братья развивали передо мной этот план, но я все еще считал, что слишком мало видел, бродя по Парижу и его картинным галереям. [...]

[...] Я отправился в Марсель.

На вокзале, согласно договоренности, меня ждали оба Чапека и проводили до самой дешевой гостиницы в душном, шумном и грязном квартале. Я спросил их: «Что поделяваете?» — «Экономим», — как-то грустно отвечали они, и через минуту я узнал, что пребывание в раскаленном, переполненном людьми городе и грязной дешевой квартирке действует на них угнетающе. Особенно в Кареле чувствовался упадок физических сил. Он никогда не был абсолютно здоров; в нашей среде говорили, будто у него больной позвоночник и, возможно, потому он тяжело дышит полуоткрытым ртом. В Берлине и Париже он ни на что не жаловался и не хворал, много ходил, постоянно чем-то интересовался, рассуждал и делал широкие выводы. Но здесь, мне показалось, он утратил интерес к поездке в Испанию, которая давно проектировалась и, очевидно, должна была стать составной частью его писательской карьеры. Итак, он решил, что в Испанию не поедет, покинет брата и вернется домой. [...]

Меня не удивило постоянное уныние Карела: нелегко было северянину вариться в раскаленном котле безумного марсельского муравейника. К жаре присовокуплялись разнообразнейшие неприятные запахи и беспрерывный шум; по ночам мы не могли заснуть в переполненном курятнике крошечного отеля, расположенного в сомнительной репутации квартале, окружающем ратушу; с первого этажа доносилась пронзительная музыка, а с улиц — крики и вопли дерущихся. «Это сумасшедший дом», — говорил я себе, — однако довольно занятный». Наша часть города вокруг бассейна старого порта, как бы замкнутая воздушной железной конструкцией транспортера, с домиками и домами, тесно

напиханными в узкие улочки этих диких джунглей, кишевших арабами, неграми и еще какими-то оливковыми людьми, была весьма экзотична, в то время как противоположная сторона гигантского водоема была значительно радушнее и носила французский народный колорит — с лавочками и ларьками, где продавались устрицы, морские ежи, каракатицы и прочие разновидности даров моря. Тут было как-то просторней и тише, в трактирчиках того же рода, что изображен в «Пароходе Тинэсити» Вильдрака, жизнь была ключом. С Чапеками мы довольно скоро расстались, и я с удовольствием погрузился в эту непривычную суматоху. [...]

Еще раз мы встретились с ними уже на прощанье. Пожалуй, это был наш последний, до конца искренний разговор. Снова мне показалось, что Йозеф представляет собой главное творческое начало этой своеобразной двоицы, — кряжистый, замкнутый житель гор, одаренный силой воли и острым видением мира. [...] Младший, Карел, был, по-моему, не столь глубок, но как-то легче Йозефа, образованнее и общительнее его. Уже тогда у Карела была готовая программа, и он умел ее осуществлять более гибко и с меньшей строгостью. [...]

БОГУМИЛ МАТЕЗИУС

ВСПОМНИ ПРО ФОРТ-ШАБРОЛЬ, КАРЕЛ ЧАПЕК!

Корпус, немного наклоненный вперед, толстая трость в руке, большая, как казалось, голова, и толстые, по-мальчишески надутые губы, — таким предстал передо мной Карел Чапек во время нашего знакомства с ним на пражском философском факультете за два-три года перед войной. Игривый и капризный по натуре, он прикрывал свою преждевременную зрелость наивно-грубоватым цинизмом; в его глазах, вместе с искорками озорства, только изредка, на короткий миг мелькала тень некоторой разочарованности, позволяя заглянуть в его внутренний мир, утонченный до болезненности. Он любил афоризмы, каламбуры, остроумные рифмы (я вспоминаю один его экспромт: «Сижу я в кафе назло летам, читая при том «Фигаро» и «Ле Тан»), сюжеты с запутанным и сложным действием. Тогда уже началась его литературная карьера, вместе с братом он писал экстравагантную прозу для журналов «Народни обзор», «Горького тыденик» и «Стопа». Мы не дружили, только учились вместе. Меня отталкивала его подчеркнутая интеллектуальность, страстная приверженность к Западу и его культуре, особенно к французской. Чапек был тогда именно «западник», а я «Славянофил», по классификации Гоголя.

То были блаженные, неповторимые, идиллические времена. Атмосфера была, пожалуй, несколько душной и чересчур полнокровной, если посмотреть на нее из перспективы мировой войны. Мы толкались по разным семинарам — особенно популярными у студентов был в то время семинар Арне Новака по литературной критике — и штудировали Масарика, Тилле, Пекаржа и Зубатого. В старой университетской читальне, темной и пропыленной, я сидел, зарывшись в толстые фолианты,

повествующие об истории французской критики и легендарной битве «древних и новых», в то время как Чапек прилежно черпал из Флэгеля и Шнееганса сведения по эстетике бурлеска и гротеска. Позднее это и повлияло на бурлескные, гротесковые и сатирические мотивы и мотивчики в «Любви игре роковой» и «Веере», а также и на отдельные сцены «Из жизни насекомых», «Адама-творца», вплоть до некоторых эпизодов «Обыкновенной жизни». Не знаю, тогда или несколько позже Чапек увлекла итальянская комедия дель арте (ее следы заметны в двух первых из названных пьес).

Однажды у нас было окно между лекциями, и мы пошли гулять вдоль Влтавы по направлению к Вышеграду. Под железнодорожным мостом, ведущим на Смилов, мы нашли листок бумаги — это была страничка, вырванная из романа «Санин», и мы начали беседовать о нем. Рассуждали не слишком по существу, Чапек был не в своей тарелке и казался рассеянным. Тогда был в моде антифеминизм и ницшеанское отношение к женщине, и мы оба сошлись на неприятии арцыбашевского романа. Вдруг Чапек остановился, взмахнул палкой и начал рассказывать с несвойственным ему возбуждением о полицейской осаде какого-то убежища преступников — о ней в то время (в апреле 1912 г.) трезвонила вся мировая пресса. Если меня не подводит мой дневник тех лет, эта была осада двух парижских апашей, Бонно и Дюбуа, укрывшихся в гараже деревни Шуази-ле-руа под Парижем, где они продержались полтора часа против превосходящих сил противника. За ними долго гнались, и наконец они были схвачены и обвинены в стрельбе по полицейским и убийстве двоих из них. Из французских газет Чапек знал все подробности, он даже нарисовал на песке план гаража и местности вокруг него. Мне никогда не приходилось видеть его таким взволнованным. Я не спрашивал себя, — почему? — это дело меня тоже увлекло. Подумайте сами, нам обоим тогда было не многим больше двадцати. Мы забыли про свои лекции, выбросили из головы «спор древних и новых», бурлески и гротески, вернулись в библиотеку и начали искать в истории криминалистики всевозможные случаи осады убежищ преступников полицейскими. Чапек разыскал случай осады некоего убийцы в лондонском Уайтчепле, на улице Сидней в январе 1911-го. Осажденный продержался целую ночь против тысячи

полицейских и солдат, вооруженных тремя пушками. А я откуда-то (бог знает откуда, я уж не припомню) победоносно извлек историю о Форт-Шаброль, маленькой крепости, которую соорудил на парижской улице Шаброль некий господин Дюмон, обвиненный в заговоре против президента Лубе. В этой крепости он оборонялся против полиции, войск и жандармов целых тридцать восемь дней — с августа до 20 сентября 1899 года. Это был номер, и Чапек с блаженной улыбкой переписал для себя это сообщение, своим неровным почерком с лезущими кверху строчками.

Прошло много лет и зим, между ними и несколько военных, и я забыл множество вещей, в том числе и Форт-Шаброль. Только когда я увидел после войны «Разбойника» в каком-то театре за пределами Праги, во время сцены осады у меня в голове мелькнуло что-то вроде отдаленной ассоциации; после постановки «RUR» с его драматической сценой осады я был уже уверен, что мысль верна, а когда в «Кракатите» тоже появилась осада в качестве второстепенного эпизода — я окончательно узнал старый, героический Форт-Шаброль нашей юности, художественно воплощенный и, особенно в «RUR», обработанный экономно и действительно. Я упомянул об этом во время одной из наших редких встреч с Карелом Чапеком. Он тихонько засмеялся: «Знаете, то, чему в молодости научишься... Но ту выписку я тогда затерял и помнил только, что та крепостишка носила какое-то безумно храброе имя».

Чапек, очевидно, имел в виду графическое написание слова «Шаброль» — «Chabrol».

Снова прошло много лет и зим, между ними и последнее лето и последняя зима Чапека. В тот год я виделся с ним чаще. Капризная игривость совершенно исчезла в нем, проступили следы разочарования, болезненного напряжения и тревоги. У меня хранится очень грустное его письмо от середины лета того года.

Последний раз мотив осады Чапек пережил уже реально: он был осажден вместе со своим народом с января до октября, а после октября 1938 года он был осажден внутри своего народа. А сегодня — сегодня застывшее тело Карела Чапека под снегом Вышеградского кладбища обложила одна лишь вечная тишина.

Но надо свести концы с концами и проследить линию Форт-Шаброль — «Первая спасательная». Сегодня

из перспективы 1938 года, открытой смертью Чапека, необходимо констатировать, что, несмотря на хрупкое тело и типично невоинственный дух, избегавший радикальных решений и драматических выводов, в нем с самой юности жила скрытая, стыдливая, мальчишеская любовь к героизму, уважение к героям и тяга к героическому; какую душевную борьбу пришлось ему выдержать, чтобы вложить ружье в руки Матери-героини в одноименной драме. Но все же он вручил ей это ружье. Уже в «Первой спасательной» пропел он свою стыдливую песнь о героизме. А кроме того, в нем жил и житейский героизм, тихий, невоинственный, непатетический, он проявил его в отношении к своей болезни и к проклятому 1938 году. Это я и хотел показать, вспомнив романтику наших юных лет. Форт-Шаброль еще держится, Карел Чапек, лампочка из «RUR» еще мерцает, электростанция все еще не сдалась!

ИЗ ПИСЕМ

[...] Я родился в 1894 году — следовательно, за исключением первых лет знакомства с Чапеками, они должны были считать меня почти сверстником. Познакомился я с ними, когда мне было 15 лет, способом не слишком оригинальным. Я так страстно мечтал познакомиться с Чапеками, что просто ввалился в комнату сестры во время их визита и смущенно выпалил: «Я брат вашей приятельницы!» Они приняли меня совершенно серьезно, представились, как взрослому, расспросили, чем я интересуюсь, что читаю, что делаю, и т. п. Я признался, что перевожу со средневековой латыни «Утопию» Томаса Мора (я был этим несуразно горд, особенно после того, как перевод вышел отдельной книгой во «Всемирной библиотеке» — нечто вроде рекламного издания), и был официально принят в их общество и кружок. Сперва наше общение было редким; по свойственной молодым робости я очень их стеснялся, но спустя несколько лет уже ежедневно ходил на так называемое корсо художественного мира. Здесь я должен сделать отступление и объяснить, о чем идет речь.

Довольно многочисленная группа прогрессивных художников и их друзей ежедневно собиралась в кафе «Унион», где им было отведено особое помещение, а кельнер Патера был их квазихранителем и часто, очень часто помогал многим из них в периоды пустоты в кармане и желудке. Сам пан Патера заслуживал бы небольшой монографии, пока еще не все художники, которых он таким образом поддерживал, отправились в путь, откуда нет возврата.

Все это бывало вечером, в 8—10—12 часов. Но днем, примерно после пяти, мы встречались на пре-

красной набережной между Национальным театром и Карловым мостом. Нас бывало человек 20—30, иногда больше: Чапеки, Ф. Лангер, Кубишта, Шпала, Гофман, братья Гейдлер, Кодичек, архитектор Фейерштейн и многие другие. Разговоры велись о всевозможных актуальных предметах, прежде всего художественных: там мы знакомились с Пикассо, Дереном, Матиссом, Верхарном, Аполлинером и с горячностью и страстностью молодости стремились максимально приблизиться к их творчеству, быть на уровне тех, кто дает миру новые литературные и художественные ценности. Это было время возникновения первых творческих опытов братьев Чапек, которые недавно были изданы как воспоминание о поре, когда они пробивались в литературу. Период этот начался еще до «Сада Краконоша». [...]

Уже тогда удивляла их находчивость, завершенность формулировок, лаконизм, способность с максимальной точностью и доступностью раскрыть суть любой проблемы; эта черта была совершенно неожиданной у молодых людей, которым в застойную, топчущуюся на месте эру модерна (и близких ему бастардов) вдруг открылся бурлящий, богатейший интеллектуальный мир Франции и современной Германии вместе с великими, но почти неизвестными у нас фигурами, такими, как Эль Греко, Гойя и т. д., Рабле, Вийон (Уолт Уитмен из современных), со всем этим бесконечным рядом творцов и первооткрывателей.

На вечерних прогулках Чапеки были самыми активными, самыми информированными (знали языки!); пронизательные, остроумные, подчас даже язвительные и ироничные, но всегда без малейшего следа дешевой вульгарности, хотя их выражения и бывали порой грубоваты. Это как раз было одним из больших их плюсов: всякое, даже самое смачное выражение, уходящее корнями в народную речь, благодаря своему содержанию обретало значительность и утрачивало безвкусную вульгарность. [...]

[...] В один очаровательный весенний вечер, когда мы не могли налюбоваться Градчанами, рекой, Карловым мостом, Малой Страной (места, которые мы любили неумемной, фанатической любовью), Карел-Ичек,

как его нежно называли, образовав это сокращение от семейного уменьшительного Карличек, вдруг ни с того ни с сего произнес: «А не хотели бы вы, Иржичек, вместе со мной стать на лето воспитателем сына графа Лажанского? Это прекрасное место близ Карловых Вар, вы бы преподавали рояль и немного спорт, — работы там будет мало, часа два в день, а главное — возможность прокормить за счет графских владений семью. Я принимаю место единственно по этой причине». Да, шел 1917 год, ощущалась большая нехватка провизии, хлеб, например, был отвратительный: из буковых опилок, грубо молотой кукурузы да небольшой примеси муки, мяса вообще никакого, молока не было и в помине, мука за большие деньги, примерно в 30—50 раз дороже, чем до войны, и т. д. Очень привлекала возможность посылать родителям провизию. А к тому же еще больше улыбалась перспектива несколько месяцев прожить с Карелом, с которым мы искренне любили друг друга, в тесной, дружеской близости; третий довод — я собственными глазами увижу жизнь дворянства, которое я презирал как отмирающую, неестественную касту, дающую человеку высокое положение просто так, ни за что ни про что — лишь вследствие родовой принадлежности. До тех пор я никогда не видел живого дворянина, потому что представители дворянства приезжали в Прагу лишь на несколько зимних балов, и я смотрел на них как на доживающих свой век мастодонтов или плезиозавров, как на реликт давнего прошлого.

Итак, я принял это предложение и несколько месяцев был счастлив, как только может быть счастлив молодой студент (я был на 3-м курсе медицинского факультета), рядом с которым постоянно находится такой обворожительный, близкий, веселый, изобретательный человек, как Карел. Обстановка — небольшой старый замок с тургеневским парком, чудесный край — леса, луга, чистая речка, над которой высится гора Владарж (славная битва Жижики), — все нетронуту, напитано волшебством земли, где индустриализация еще не начала творить материальные ценности и наносить урон красоте.

Старый граф, вспыльчивый, образованный (доктор прав), ограниченный, насквозь порочный, под старость — с наклонностями гомосексуалиста, жестокий, тираниче-

ский; вдовец с единственным сынком, унаследовавшим все его худшие стороны...

Кроме кучера — ни единого мужчины, все на фронте, но постоянно полно гостей-дворян, поскольку кухня «пана» графа славилась на всю округу. Мы с Карелом щедро пользовались этим, главным образом — я, ставший любимцем графа, потому что позволял ему обыгрывать себя в шахматы; граф всегда приказывал подавать мне второе, в то время как бедняга Карел, который ел медленно, еще мучился с первым, а потом еду уносили со стола.

У нас с Карелом были отдельные комнаты, располагались они рядом, и мы проводили вместе все свободное время, наслаждаясь жизнью и природой, выдумывая десятки абсурдных и диковинных игр. Так, например, каждый (почти) вечер мы, меняясь ролями, играли в преступника и судью-палача. Судья придумывал самые ужасные обвинения: «Вы изнасиловали свою дочь, сестру, мать, бабушку!»; «Вы распорол живот беременной от вас служанке и зажарили недоношенного ребенка. Вы насыпали собственному отцу в пиво кантаридина, и после этого тот всю ночь бегал в хлев к овцам. Вы связали приходского священника и выбили ему камнем все зубы» и т. д., и т. п.

Однажды мы так увлеклись игрой, что забыли, где находимся. Судья кричал, обвиняемый (я) извивался на полу и клялся, что в будущем постарается выдумать преступления еще страшнее, между тем как граф, разбуженный криками, все слышал и всему *верил*, представьте себе, *верил* и цепенел от ужаса, но его извращенной натуре это чем-то даже нравилось (говорят, он забил до смерти свою жену, а потом каждый день ходил на кладбище); застав нас в самый разгар страстей, он обрадовался, какие замечательные инструкторы состоят у него на службе. Нам стоило немалого труда убедить его, что это всего лишь игра.

[...] Первым делом отвечу на Ваши вопросы. Карел в Хише писал, но не знаю толком, было ли это «Распятие» или «Мучительные рассказы». О переводах я, к сожалению, ничего не знаю. Если да, то скорее всего французскую поэзию. Рассказ «В замке» определенно возник под впечатлением нашего пребывания в Хише.

Чапек решил в этом рассказе посмеяться надо мной и превратил меня в англичанина, хотя никакой сколько-нибудь похожей истории на самом деле не было. Была там лишь очень пригожая горничная, но по ней совершенно не было заметно, чтобы она испытывала ко мне симпатию. И только цербер в юбке, французская гувернантка, как Аргус сторожившая ее добродетель, была напугана происшедшей в ней переменой. Дело в том, что эта горничная начала чистить зубы! Слава богу, чисткой зубов все и ограничилось, а Карел этот сюжет придумал, чтобы подразнить меня.

Относительно службы в библиотеке — дело было так: для необеспеченных литераторов, которые хотели освободить побольше времени на собственное творчество, чтобы ничто им не мешало, были специальные места в библиотеке, прежде всего — в университетской. Там, например, прятался (и прилежно творил) д-р Отакар Фишер, известный прекрасный германист, позднее профессор университета и театральный деятель, далее — поэт Отакар Тээр, в то время очень почитаемый молодежью, замечательный композитор д-р Выцпалек (он один только сейчас жив и является старостой «Художественной беседы») и множество людей более второстепенных. С библиотекой Национального музея дело обстояло подобным же образом, только там большей частью были природоведы. Очевидно, Карел (ввиду того, что маленькая родительская рента из-за военной инфляции в значительной мере обесценилась) нуждался в каких-то средствах и в достаточном количестве свободного времени для творчества. Почему он оттуда ушел — не знаю, у дорогого друга Кхоличека (он издал кое-какие мои театральные переводы и был моим долголетним другом-пациентом) мы уже спросить не можем. Так что этот момент останется необъясненным.

Совторство Карела с Печей (его братом Йозефом). Весьма интенсивное, полное бесконечных дебатов. Обычно Карел так и сыпал идеями, вообще он творил чрезвычайно легко. Говорил, что достаточно ему взять перо в руки, как оно уже само пишет. Печа размышлял, отбирал, углублял, мудрствовал и придавал написанному большую весомость подчас даже ценой меньшей гибкости и способности нравиться. (Порой он сердился

на Карела и зло его попрекал, как, например, в случае — разумеется, написанной не совместно — «Войны с саламандрами».) Обычно они говорили, возвращаясь из кафе, где, особенно летом, мы сидели до поздней ночи, вернее — до утра. Мы возвращались домой вместе, втроем, и тогда без конца говорили и творили, подкалывали и иронизировали, осыпали проклятьями и ругали (главным образом немцев в 1915—1918 гг.). Жаль, что в то время не существовало магнитофона. Исчез без следа кусок истории, и я часто упрекаю себя, что в молодом упоении ничего не записывал. [...]

[...] В годы войны прежде всего, но и позднее Чапек был ориентирован на новые течения в западной, главным образом французской литературе, как это видно и из его переводов французской поэзии. Валери, Верхарн, «проклятые поэты», Карко и т. д. были на первом плане его интересов. Как постоянный, незамедлительный и критический читатель, он знал, разумеется, очень много и широко из всех периодов мировой литературы. Особенно близок ему был Сервантес, прежде всего — новеллы. Так же «Гаргантюа», Вийон и т. д.

От современной тогда немецкой литературы он был достаточно далек. Я дал ему стихи Верфеля. Он оценил, но сердцем к ним не прирос. О Фр. Кафке, долгое время почти неизвестном, Чапек наверняка знал давно, но никогда не упоминал о нем. Я обратил внимание Чапека на Кафку (не помню уже — на какую вещь), потому что как многолетний друг М. Есенской (Вам известны письма Кафки Милене?) я все же знал о нем и несколько раз его видел и с ним говорил. С немецкими писателями этого круга Чапек, я думаю, не имел никаких контактов. О. Пика он, конечно, знал хотя бы как переводчика стихов Бржезины.

Достоевского знал хорошо, ценил за гениальность, но постоянная и доминирующая паталогичность почти всех главных персонажей его отталкивала. Любил «Белые ночи». Толстого уважал как романописца, однако как религиозного и социального мыслителя — не слишком. Чапеку он казался недостаточно реальным и в этом смысле был вне круга более пристального интереса.

Чехова любил (да и кто бы мог его не любить?), Горьким восхищался, хотя из его творчества у нас в ту пору было известно немного.

Поскольку Чапек не знал русского языка, а переводов было мало, он не был достаточно ориентирован в послереволюционной советской литературе, быть может, в какой-то мере и потому, что я отнимал у него слишком много времени, упорно и, по всей вероятности, утомительно обосновывая необходимость ознакомиться с советской экономической системой (как бывший студент-политэконом, я был этим очень увлечен).

В целом советская литература не была ему близка. [...]

ЭДУАРД БАСС

ИЗ СТАТЬИ «СОТРУДНИК РЕДАКЦИИ»

Карел Чапек пришел к нам вместе с братом Йозефом в марте 1921 года. Той зимой я как-то случайно повстречался с ними — они работали тогда в «Народных листах», — и полушутя-полусерьезно напустился: что это они, собственно, делают на этой галере, когда их настоящее место именно в «Лидовках»?! Тогда мне не показалось, что они действительно хотели переменить место работы, но в новогодний вечер неожиданно позвонил Карел и спросил, серьезны ли мои предложения, они, мол, не прочь перейти к нам. Еще и сегодня я отчетливо помню тогдашние поспешные переговоры; шеф пражской редакции К.-З. Клима немедленно связался с Гейнрихом в Брно, — и все было решено в тот же вечер во время новогоднего празднества. Братья Чапек перешли к нам, как только кончился срок, который они должны были отработать после подачи заявления об уходе. Они действительно прекрасно подходили к нашей редакции, тем более что Карел Чапек как раз в ту пору начал писать «Фабрику Абсолюта» — роман-фельетон, предназначенный для газеты. Его удивительная, словно неисчерпаемая сила воображения была как будто создана для работы в ежедневнике.

Сперва он вел культурную рубрику, писал для нее критические рецензии и информационные заметки, но неумная творческая фантазия и богатство сюжетов были таким ценным капиталом, что для газеты оказалось более выгодным освободить его от регулярных обязанностей. Чапек быстро завоевывал мировую славу. Эту славу принес ему театр, но популярность на родине ему, бесспорно, обеспечили выступления в «Лидовых новинах», где его талант нашел свое неповторимое выражение в легкой болтовне воскресных фельетонов, в за-

бавных и смешных сериях с продолжением, полных остроумных наблюдений над жизнью, в воскресных побасенках и где он впервые напечатал свои незабываемые путевые впечатления, рассказы, маленькие комментарии, заметки, свои лаконичные афоризмы, а также роман за романом. [...] Бесконечно многим обязаны «Лидове новины» Карелу Чапеку. Почти все его творчество начиная с 1921 года было связано с «Лидовками», где он опубликовал гораздо больше того, что потом было собрано в его книгах. В различных номерах газет помещено множество мелких заметок, которые он подписывал одной буквой Г., не желая придавать этим мелочам тот вес, который сообщали написанному его инициалы: К. Ч. Нельзя не вспомнить и нескончаемый поток его идей и вымыслов. В Кареле Чапеке жило нетронутым очаровательное мальчишество, увлеченность игрой, различными комбинациями, конструкциями, изобретениями и открытиями. Это ощущается и в самых серьезных его произведениях, но еще заметнее эти свойства проявлялись во время его сотрудничества в газете, где он снова и снова неустанно показывал, что в каждом, самом будничном происшествии можно открыть нечто удивительное и необычное, глубоко скрытую тайну, тесно связанную с жизнью и смертью. Хотя сам он и не был репортером, но невольно обучал работников редакции, как брать в свои руки явления жизни, как подходить к ним с любовью и вниманием. Никто в редакции не слышал от него теоретических рассуждений или поучений, но сам он писал так, что невольно стал одним из основоположников той «школы «Лидовых новин», которая заметно выделяла эту газету среди всех прочих органов печати. В пору наиболее тесного сотрудничества с редакцией он врывался туда ежедневно, как река в половодье, с шумом и шутками, с остротами, адресованными каждому, с кем встречался, поругивая порядки в газете и вообще всяческие непорядки. Его рабочий стол находился в самом большом помещении редакции, поэтому Чапек во все вмешивался, за все болел, во все совал свой нос, к нему все тянулись, редакция превращалась в сумасшедший дом, но среди немолчного шума и гама рождались «Лидове новины» такие, какими они тогда были.

Позднее, под сенью мировой славы, Чапек уже не находил времени для ежедневных наскоков и атак на

нас. В прихожей часами высиживали, добиваясь аудиенции, разные- англичанки и американки, норвежки и немки, известные и неизвестные вовсе рыцари пера, поэтому пребывание Чапека в редакции выливалось в консультации, собеседования, встречи, здесь он пытался скрыться от тех, кому что-то обещал, здесь тратил значительную часть своего времени на оказание помощи никому не ведомым неудачникам. На его письменном столе громоздились кипы писем со всего мира, книги для подарков и автографов, словом, весь тот балласт, который отягчает жизнь славного писателя. Он пробирался к себе в кабинет совершенно загнанный и замученный, и часы «службы» были для него скорее временем отдыха. [...]

ОТАКАР ВОЧАДЉО

ИЗ КНИГИ «ПИСЬМА ИЗ АНГЛИИ» КАРЕЛА ЧАПЕКА

Вечером 28 мая, согласно программе, Чапек прибыл на вокзал Виктория. Он выглядел свежим и был в хорошем настроении. Дорога была приятной, погода отличной, а «канал спокоен, словно вода в тазу», как он выразился. По подземке я вез его на станцию Ватерлоо, а оттуда к нам в Сербайтон. Уже на вокзале я заметил, что лифт ему неприятен и что охотнее он поднимается по ступеням лестницы. Подземкой он тоже пользовался неохотно, предпочитая автобусы. Особенно любил сидеть на крыше автобуса, тогда еще некрытой, откуда можно без помех наблюдать уличное движение.

Сербайтон — зеленый городок на реке Темзе, нечто вроде предместья Лондона; Сербайтон называли пригородным районом — до него не больше часу езды от центра, хорошее сообщение поездом. Там Чапек провел первые дни и, совершенно измученный лондонской сутолокой, охотно возвращался в Сербайтон на субботу и воскресенье — отдохнуть, как он говорил, и писать «Письма из Англии». Стояла прекрасная солнечная погода, и Чапек с удовольствием сидел в садике под развесистым ливанским кедром. Ему нравились английские парки, он был очарован ветвистыми деревьями и густыми, коротко подстриженными английскими газонами. Его приводило в восторг, что по ним можно расхаживать совершенно безнаказанно.

Июнь в Англии — апогей светского сезона, и начиная с первого июня Чапека ожидал целый ряд приглашений.

Скромный и очень чувствительный, Чапек был необычайно робок в светских отношениях, выступать публично и привлекать всеобщее внимание было для него истинным мучением. Я пытался подготовить его к тому, что его ожидало. На банкете, куда он был приглашен

в качестве почетного гостя, предполагалось его торжественное чествование, председательствующий должен был быть Голсуорси. Мне пришлось призвать на помощь все свое красноречие, чтобы уговорить Чапека ответить на его приветствие. Он выдвинул множество возражений, охал и ворчал, но вскоре явился с готовой речью, которую мы вместе вправили в великолепную английскую форму, а потом отработали с точки зрения фонетики, чтобы произношение и интонации были правильными. Все было в порядке. Но он все же жаловался в письме к Ольге Шайнпфлюговой от 31 мая: «Мне, правда, не о чем писать, да я и не смог бы этого сделать, потому что, господи боже мой, сколько тут приходится работать! Сегодняшним утром мне нужно написать статью для «Ивнинг ньюс» и выступление в Пен-клубе, так как мне все-таки придется говорить по-английски. После обеда я принимаю визитеров — вчера с 5 до 9, сегодня с 5 и не знаю до каких пор. Завтра я переезжаю в отель в Лондон, на послезавтра зван на ужин к Голсуорси, а во вторник — на обед в Пен-клубе, где будет присутствовать румынская королева, и так далее, и так далее. Девочка моя, я бы охотно удрал отсюда, пока что я побывал только в одном парке и потом съездил в Лондон, чтобы купить себе костюм для этого обеда, потому что на званый обед фрак не годится. Здесь, в квартале в илл, — прелестно, но Лондон действует мне на нервы, тут я, черт возьми, долго не задержусь, такая куча людей, что становится дурно. А сейчас мне нужно бежать в банк, чтобы обменять чек, необходимо купить рубашку и за два дня прочесть пять толстых книг, для того чтобы делать вид, будто я знаком с книгами хотя бы нескольких членов комитета клуба, ты понимаешь, так полагается, но книги эти страшно толстые, и на меня все это просто наводит ужас. Хоть бы уж эта официальная часть была позади!»

И подписался: «Несчастный Карел». С большей охотой он сочинял статью, которую ему заказала вечерняя газета «Ивнинг ньюс» еще до его приезда. Редактор хотел узнать у популярного драматурга его взгляды на театр. Вместо этого Чапек в форме письма в редакцию описал свои первые впечатления от лондонских улиц. Статью я сразу же перевел, и 2 июня она была напечатана, равно как и портрет автора. Редакция сократила вводные фразы и озаглавила это письмо «Maddening

London», дословно: «От Лондона можно свихнуться». Оригинал Чапека имеет несколько макаронический вид, он полон английских выражений и слов, подлинных и приблизительных, и обрывков фраз.

В оригинале это выглядит так:

«Дорогой сэр,
вы просили меня написать что-нибудь о драме или о театре. Да, конечно, я мог бы высказать кое-какие соображения об этом таинственном предмете (matter) — между прочим, я сочинил несколько пьесок, был режиссером, брался почти за все, что связано с театром, и теперь на основании некоторого опыта могу сказать, что в театре я абсолютно не разбираюсь. Это вовсе не проявление скромности с моей стороны, а только глубокое убеждение — I say, я охотно написал бы что-нибудь о драме, but I am too occupied by digesting slowly a terrible drama which occurred to me since I am in England¹.

Вчера утром я сидел в Гемптон-парке под прекраснейшим деревом на свете; я думаю, что самое прекрасное в Англии — это деревья, и, кстати сказать, меня очень удивляет, почему англичане не друиды; так и сидел я под этим благороднейшим деревом и чувствовал себя небольшим центром космоса. Бесконечна ценность жизни, и это великое (big) дело — быть человеком и даже попасть в Англию; я прямо-таки лопался от энтузиазма и гордости и в ту минуту не отдал бы жизни даже за весь мир. После обеда меня отвезли в Лондон: на поезде, на трамвае, на метро, на автобусе, на лифте, на эскалаторе — и я уж не знаю, на чем еще; я видел людей, людей, все людей и людей — мне сказали, что их тут семь с половиной миллионов, но я не смог пересчитать их, и сердце мое сжалось. Я повидал большую часть Европы, но никогда не чувствовал себя таким подавленным. It is a formidable human overinflation².

Мой маленький центр вселенной исчез; я чувствовал, что среди этого множества каждый из нас и гроша не стоит, а все вместе — и того меньше — a farthing apiece (en gros it would be still cheaper).

¹ Итак... но я был совершенно поглощен ужасной драмой, разыгравшейся со мной в Англии (англ.).

² Чрезмерное человеческое перенасыщение (англ.).

Уже здесь Чапек формулирует основные идеи, с которыми мы не раз встретимся в «Письмах из Англии» в разнообразных вариациях: ужас перед «чудовищным перепроизводством людей» и восхищение облагороженной природой и великолепными ветвистыми деревьями в «русалочьих парках».

1 июня перед торжественным клубным вечером Чапек переехал в «Бернер-отель» в качестве гостя Пен-клуба (первоначально предполагался отель «Сесил»). На другой же день Голсуорси пригласил его для первого знакомства на ужин в клуб «Атенеум», чтобы представить Чапека Шоу и некоторым другим литераторам. В качестве особой чести этот привилегированный клуб избрал Чапека почетным членом на все время его пребывания в Лондоне. Тогда отмечалось столетие со дня открытия клуба, и поэтому вспоминали о его основателях Скотте и Фарадее. Чапек понимал значение этого клуба и охотно пользовался его гостеприимством. Его приводило в восторг то, что он сидел там, где когда-то сживал Диккенс или Спенсер, может быть, даже в том же самом кресле. О первых светских впечатлениях Чапек 2 июня написал в Прагу своим коллегам по «Лидовым новинам»:

«Сегодня я был на ужине в клубе «Атенеум» с Голсуорси, Милном и другими. Шоу меня пригласил к себе на следующую пятницу, он совершенно очарователен. Завтра обед в Пен-клубе, где будет присутствовать также румынская королева... Вечером театр. В среду тоже театр. Приглашен к мистеру Сквайру. А при том я ни слова не понимаю по-английски. Кошмар. Завтра я знакомлюсь с Честертоном и, видимо, с Уэллсом. М-р Сквайр позовет Беллока. Сегодня я был на выставке в Уэмбли. Мне пришлось купить себе не только morning-suit¹, но и шапокляк. Думаю, денег хватит приблизительно на неделю. Лондон просто ужасен. Кроме того, меня замучили со всякими интервью. Охотнее всего я бы удрал, но все это безумно интересно».

Приглашения на вечер Пен-клуба были разосланы уже 22 мая (Guest of honour: Karel Capek author of «RUR», Chairman: John Galsworthy)², но за день до на-

¹ Утренний костюм (англ.).

² Почетный гость Карел Чапек, автор пьесы «RUR», Председатель distinguished John Galsworthy (англ.).

значенного срока планы изменились, потому что румынская королева Мария, находившаяся с визитом в Лондоне, хотела непременно присутствовать на этом приеме, но именно этот вечер оказался у нее занят. Нельзя же было не пойти навстречу кузине английского короля.

Благодаря присутствию королевских особ, обед в монархической Англии превратился в крупное общественное событие, широко освещавшееся печатью. Газеты утверждали, что на вечерах Пен-клуба никогда еще не собиралось такое множество знаменитых персон.

На торжественном приеме председательствовал Голсуорси. Чапека посадили рядом с румынской королевой, с другой стороны сидел его любимый Честертон, посещавший начинания Пен-клуба только изредка. Но отсутствовал Г. Уэллс, с которым Чапеку очень хотелось увидеться. Очевидно, его отсутствие было на совести румынской королевы: социалист Уэллс испытывал крайнее отвращение ко всем монархам. Не пришел также и Шоу. Он сначала не был членом Пен-клуба из-за своего принципиального несогласия с любой формой объединения писателей. Хотя он принимал участие в некоторых начинаниях Пен-клуба, например, присоединился к писателям при их посещении Шекспировского театра в Стрэтфорде после майского съезда (я сам с ним там беседовал), но только после визита Чапека обратился к Голсуорси с просьбой принять его в члены. Уэллс и Шоу вознаградили Чапека за свое отсутствие приглашением к себе домой.

Голсуорси начал свою речь, коротко приветствовав королеву, а затем обратился к Чапеку. Он сказал, что счастлив приветствовать молодого писателя такого редкого дарования, столь изобретательного и оригинального, чьи пьесы возбудили год назад в Англии большой интерес. С живым интересом публика будет и дальше следить за его творческим путем. Он сообщил, что Чапек хочет произнести несколько слов, но не на своем родном, романтическом языке — он имел в виду романтическое звучание слова «богемец», но на языке, не имеющем для присутствующих ни грана таинственности, то есть по-английски. Для Чапека было нелегко обращаться к такому избранному обществу на чужом для него языке и в обстановке, далекой от идеальной, — зал был большим, Чапек сидел за первым столом, и через открытые

окна доносился время от времени уличный шум, но он справился со своей задачей блестяще. Он оттолкнулся в своей речи от чешского побережья у Шекспира, к которому приставали корабли с драгоценным багажом — английскими книгами. Хотя он и много их читал и любил, здесь, на английской земле, он пережил сильное удивление: ему показалось, что он не знает ни одного английского слова; он был беспомощным и словно глухонемым. Но следующая неожиданность была приятной — он обнаружил, что все в Англии на удивление английское. Глухонемой путник, как он, инстинктивно внимает ее затаенной мелодии. Все кругом так непохоже на то, что ему знакомо, — деревья, газоны, улицы, магазины, люди и их дома, и все же его не оставляет какое-то удивительное, очень интимное чувство, будто он все это уже когда-то видел, — но где и когда? в каком сне?

«Конечно, тогда, — продолжал он, обращаясь к председателю, — когда я читал ваши произведения, ваши прекрасные и печальные романы, мистер Голсуорси, или ваши причудливые рассказы, мистер Честертон, ваши мудрые драмы, мистер Дринкуотер, ваши глубоко прочувствованные истории, мисс Ребекка Уэст, или же пророческие видения мистера Уэллса, или что-нибудь из удивительных, полных иронии произведений мистера Шоу».

Так постепенно он вежливо воздал дань всем присутствующим и многим неприсутствующим авторам. Благодаря им, мол, он, одинокий чужестранец, чувствует себя как дома в этой чужой и непохожей на его родину стране. В заключение он напомнил о главных целях Пен-клуба: именно поэты, романисты и эссеисты всех стран служат залогом единства мира. Подлинно творческие писатели, видимо, не имеют возможности принести миру религиозное или социальное спасение, но их право и призвание способствовать взаимопониманию между людьми, а это и есть прекраснейшая задача в мире. Его речь была встречена бурными аплодисментами.

Первая, богатая событиями неделя, завершилась посещением Шоу. Он пожелал познакомиться с Чапеком поближе и пригласил нас в письме от 5 июня на субботу на обед (не на пятницу, как полагал Чапек). Письмо Шоу гласит:

«5 июня 1924 г.

10. Адельфи Террас. W. C. 2¹.

Не могли бы Вы доставить нам удовольствие и пообедать у нас в будущую субботу в 1.30, пригласив с собой д-ра Чапека?

Я встретился с ним во время ужина, который давал мой приятель Джон Голсуорси, и д-р Чапек принял мое приглашение и обещал, что оставит субботу свободной.

Г. Бернард Шоу.

P. S. Мой номер телефона (его нет в телефонной книжке) — Жеррард, 331. Я не имею возможности послать приглашение непосредственно д-ру Чапеку, потому что он не смог сообщить мне свой адрес, но он сказал, что если я напишу Вам, то это все равно, что ему».

Шоу проводил обычно конец недели в своем деревенском доме в Эйоте. В субботу утром мы с Чапеким были в Сити. Когда часы пробили полдень, мы ехали на крыше автобуса по известной улице газетчиков — Флит-стрит и дальше по Стренду по направлению к Адельфи Террас, куда в дом номер 10 Шоу переехал после своей женитьбы, получив его в приданое за женой. Сам хозяин пришел открыть нам двери. Тогда ему было шестьдесят восемь лет, и он имел на своем счету уже тридцать шесть пьес. Чапек был ровно в два раза моложе, и из пяти пьес, под которыми стояло его имя, две уже завоевали международную известность.

Шоу нас мило приветствовал и сказал, что он представлял себе автора «роботов» и соавтора безжалостной сатиры о насекомых пугающим существом (a formidable creature). Вдобавок ко всему он еще прочитал в газетах, что это страшное существо вывернуло наизнанку в своей последней драме его собственное оптимистическое и возвышенное понятие долгожительства — и вот оказалось, что Чапек такой милый молодой человек. Миссис Шарлотте, видимо, Чапек также сразу пришелся по душе. Как образцовая хозяйка, она велела приготовить для Чапека к обеду котлеты, что привело гостя в явное замешательство. Он весьма охотно приспособился бы к нашим витаминным деликатесам. Из одного замечания

¹ Уайтхолл корт 2.

в «Письмах из Англии» можно заключить, что Чапек подозревал Шоу в гурманстве. В ответ на вопрос относительно его первых впечатлений от Англии Чапек развил основную мысль своей речи, высказанную на торжественном приеме: все в Англии кажется ему как будто знакомым. «Может быть, вы были Шекспиром», — предположил Шоу с улыбкой. Столь лестное предположение в устах знаменитого драматурга и легендарного конкурента Шекспира было совершенно неожиданным, и Чапек покраснел при мысли о подобном перевоплощении. Речь зашла о последней драме Шоу, о «Святой Иоанне», которую все мы с нетерпением ждали. Ни одна пьеса не писалась у него так легко, заметил Шоу, собственно, это получилось как-то само собой. Мысли свои он стенографировал во время поездок, и у нас создалось впечатление, что и драму всю целиком он написал в поезде. Шоу очень остроумно говорил о режиссуре и ненужности режиссеров вообще, рассказывал о ненадежности переводчиков, о встрече с чудаковатым Стриндбергом, с восторгом вспоминал о скульпторе Родене, когда-то сделавшем его скульптурный портрет в Париже; он скромно пошутил, что, вероятно, это его единственный шанс на бессмертие. Он с уважением говорил о Масарике, которого помнил по лондонским собраниям фабианских социалистов. Если бы возникли соединенные штаты Европы, он бы выдвинул его кандидатуру в президенты. Само собой разумеется, больше всего говорилось о театре, в том числе о народном, за организацию которого в Англии Шоу тщетно сражался. Пока такой театр существовал только в родном городе Шоу — Дублине, его основала англичанка Хорнимен. Чапек особенно гордился нашим шекспировским репертуаром и хвалил постановку Квапилом «Троила и Крессиды» в театре на Виноградах. И Чапек, и Шоу решительно осуждали капиталистическую организацию английских театров. При этом я вспомнил одно высказывание Шоу, сделанное во время моего первого визита к нему, о том, что английский театр — «пугало для всего мира»; когда позднее, на Гебридах, я переводил статью Чапека об английском театре для «Сетердей ревью», то нашел в ней отзвуки этой непочтительной оценки. Чапек мудро решил не включать эти мысли в «Письма из Англии», вероятно, он понял, что для иностранца он в своей критике зашел слишком далеко. Чапек интересовался Ир-

ландией, ему хотелось туда поехать, но Шоу не очень советовал ему предпринимать это. Он предложил Чапеку осмотреть только романтический скалистый островок Блеккет-Айленд у юго-западного побережья, где уцелело кельтское наречие и старинные обычаи; к сожалению, правда, из-за сильного прибоя туда не всегда можно пристать. Оба писателя так живо беседовали, что любезная хозяйка пригласила нас и на полдник; Шоу на прощание сыграл нам на клавесине произведения Моцарта — это было мило и любезно по отношению к гостям, прибывшим из того города, где Моцарт написал любимую оперу Шоу «Дон Жуан».

«Лавина приглашений продолжает наваливаться на меня, — писал Чапек 7 июня Ольге Шайнпфлюговой. — Сегодня я обедаю у Шоу, а потом еду на чай в Сербайтон. Всю следующую неделю я хожу на обеды и ужины, мне необходимо побывать в театрах, клубах, разных обществах и т. д. Я никогда не мог себе представить такое безумное гостеприимство».

То, что его ожидало на следующей неделе, он перечисляет в письме от 9 июня:

«...сегодня, в понедельник, в день поминовения усопших, у меня первое спокойное утро, и я могу сесть писать. Правда, через три четверти часа мне надо ехать на обед к Сетону-Уотсону, потом придется нацепить на себя фрак и ехать на ужин к Найгелу Плейферу, потом в театр, сам еще не знаю куда. Завтра я обедаю с каким-то журналистом и ужинаю у Ребекки Уэст, хорошей писательницы. Послезавтра утром еду в деревню к издателю «Манчестер гардиан», вернусь в четверг утром и опять помчусь на обед и ужин... Все так безумно добры ко мне и любезны. Позавчера я обедал у Шоу, он был удивительно мил и страшно интересно рассказывал. Остается еще познакомиться с Уэллсом. В Лондоне я пока еще не видел почти ничего, но зато познакомился с тем, что довелось узнать мало кому из чехов — я попал в лучшие английские дома, в лучшие клубы и в самое изысканное общество».

О встрече с Уэллсом я условился еще до приезда Чапека, теперь надо было лишь договориться о подходящем дне. Уэллс нас пригласил телеграммой 2 июня на ужин в среду, а потом в театр на комедию Конгрива «Пути светской жизни», которая вместе со «Святой Иоанной» Шоу была крупнейшим событием лондонского

театрального сезона. Но вечер в среду был у Чапека уже занят, а на пьесу Конгрива мы были приглашены на вторник 3 июня. По стечению обстоятельств Чапек впервые увидел Уэллса у Ребекки Уэст. Я знал эту писательницу и активную прогрессивную общественную деятельницу, бойца за женское равноправие, по заседаниям Пен-клуба, а ее первое произведение, психологический роман «Возвращение Война» 1920 года меня очень заинтересовало. Я достал для Чапека ее последний роман — «Судья». За год до этого она была летом в Марианских Лазнях, и тогда я приглашал ее в Прагу. Судя по ее письму, она хотела приехать, но из-за недостатка времени этот приезд не осуществился. На торжественном обеде в Пен-клубе, в котором она приняла участие, Уэст попросила меня, чтобы я как можно раньше включил в программу Чапека визит к ней. Мы договорились на 10 июня. Я рассказал ей, что Чапеку понравился ее «Судья». «Your Judge», — сказал я. Она меня быстро поправила: «The Judge», — но я видел, что ее это обрадовало. Я охотно сопровождал бы Чапека во время визита к ней, но, к сожалению, не смог и знаю только по рассказам Чапека, какой прекрасный и интересный вечер он провел с очаровательной хозяйкой. Мне было известно, что эта прелестная, остроумная женщина была близкой приятельницей Уэллса, но я не подозревал, что с ним Чапек познакомится у нее. Его очень смутило, что у Ребекки Уэст Уэллс вел себя как дома. «Представьте себе, я звоню и мне открывает дверь Уэллс — без пиджака!» Конечно, Чапек быстро преодолел первое смущение в обществе такого глубокого мыслителя и его обворожительной партнерши; надо полагать, — об этом говорит и письмо Уэллса, — что, несмотря на языковой барьер, Чапек произвел на обоих чарующее впечатление оригинальностью своих суждений. В тот же вечер, находясь под свежим впечатлением от встречи с Чапеком на ужине, Уэллс писал, что тот ему очень понравился.

Программу на уик-энд определило приглашение Уэллса приехать в его деревенский дом в Эссексе. Чапек надеялся немного отдохнуть от Лондона, и встреча с Уэллсом в его семейном окружении предоставила ему исключительно благоприятную возможность ближе познакомиться с писателем, которого он чувствовал особенно себе близким и чьими произведениями особенно

восхищался. В субботу 21 июня мы, как было условлено, заехали за Чапеком к миссис Брзун в два часа дня и поехали в Истон-Глиб. На станции Истон-Лодж нас ожидал Уэллс со своим старшим сыном «Джипом», с которыми мы познакомились еще в Праге, и повез нас на своем маленьком автомобильчике по очаровательному эссекскому краю в свой дом в местечке Литтл-Истон. Истон-Глиб оказался великолепным зданием из красного кирпича, в прошлом это был дом приходского священника (как показывает само название, Glebe — это означает «земля, отведенная священнику») на краю большого парка, удобно и с комфортом оборудованный. При доме был разбит большой сад и газон, где после обеда играли в теннис. Этот дом Уэллс снял в 1912 году у графини Уарвик. Я знал это его убежище еще по замечательному роману «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна», из которого видно, как на него подействовала первая мировая война. Нас немного удивило, что Уэллс, автор «Современной утопии», нашел убежище в очаровательном патриархальном деревенском уголке Старой Англии с соломенными крышами и архаическим наречием, где электрическое освещение считалось излишней роскошью. Но, видимо, именно это патриархальное окружение придавало его вполне современному домашнему очагу то интимное очарование, которое так неотразимо привлекало Чапека. Все тут представлялось ему абсолютно совершенным. Он с грустью вспоминал дом, который строил для себя на Виноградах — в сравнении с резиденцией Уэллса он показался ему убогой пастушьей хижинкой. В отличие от прошлого уик-энда, который мы провели в семейном кругу, на этот уик-энд Уэллс позвал несколько очень интересных гостей — режиссера, ставившего пьесу Чапека, Найгеля Плейфера с женой, молодого в то время историка Геделлу, с которым Уэллс сотрудничал в подготовке «Краткой истории мира», его прелестную супругу и драматурга А.-А. Милна, известного у нас автора книжек для детей. По мере приближения ужина меня начали одолевать заботы по поводу нашей светской экипировки. Чапек, несмотря на мое предупреждение, категорически отказался брать с собой смокинг. «В деревню? — искренне удивлялся он. — К социалисту Уэллсу?» Но в тогдашней Англии к вечернему туалету относились строго. От конфуза нас спасла наша идеальная хозяйка. Когда она узнала от горничной, распаковы-

вавшей наши чемоданы, что «evening-jacket» у нас с собой нет, то попросила остальных гостей не переодеваться к ужину. Только Уэллс пришел в своем черном бархатном пиджаке, который он после очередной партии тенниса и ванны регулярно надевал к ужину. Он извинился, сказав, что так одет исключительно ради удобства.

Уэллс не выглядел красавцем. Он был невысок ростом, с брюшком и говорил фальцетом. Но во взгляде его глубоких темно-синих глаз была какая-то особая сила, добрая и благожелательная, проникновенность и любознательность, ироническая усмешка и ободряющая ласковость. Его информированность была совершенно исключительной. Нам не надо было разяснять ему проблемы, беспокоившие нас, он прекрасно понимал, например, те трудности, которые вызывались отношениями с агрессивным немецким меньшинством в нашей стране, считавшим себя авангардом высшей германской расы. Что с этим делать? «You can't make them out-law» («изгнать вы их не можете»), — заметил он сочувственно. Уэллс был замечательным собеседником, буквально озарял слушателей своим искрящимся умом, так и сыпал остроумными мыслями и веселыми выдумками. Он блестяще передразнивал и пародировал общих знакомых и рассмешил всех нас.

С этой стороны я его до тех пор не знал. Сам я так неприлично хохотал, что мне стало даже стыдно. Во время более серьезного разговора я случайно перехватил взгляд, полный обожания, который Чапек устремил на Уэллса; этот взгляд удивил меня и открыл мне, как глубоко его очаровал этот по внешности «обыкновенный» человек — *superman in the street*, а в действительности — один из самых глубоких умов нашего столетия. Чапека привели в восторг и отличные товарищеские отношения Уэллса с обоими сыновьями, и он спросил, как это ему удастся. «Наверное, они понимают, что стоит быть с отцом в добрых отношениях», — с улыбкой заметил Уэллс. Вообще он обладал удивительным пониманием детской психологии и придумывал увлекательные игры для детей (*Floor Games*).

Он даже издал очаровательную детскую книжку с собственными иллюстрациями. Шутливые картинки из семейной жизни он рисовал и для того, чтобы развеселить свою жену.

При той активной светской жизни, которая привлекала Уэллса, он не нашел бы более совершенной и внимательной хозяйки, чем миссис Катерина. Она была не только образцовой хозяйкой, содержавшей на широкую ногу дом всемирно известного писателя, она была и идеальной женой для человека с теми склонностями к полигамии, которые были присущи Уэллсу. С беспримерным терпением она переносила и прощала мужу его любовные похождения. Видимо, она понимала, что эти любовные приключения необходимы Уэллсу для обогащения его творческих возможностей и что он, так смело провозгласивший в «Анне-Веронике» (1909) право на свободную любовь для эмансипированных женщин, имел для дам подобного склада роковую притягательность. Но его эротическая пылкость зато бесконечно огорчала ее верных приятельниц, например, миссис Даусон Скотт, обычно вздыхавшую: «Бедняжка Катерина!» И хотя Уэллс несколько недооценивал свою практическую жену в сравнении со своими очаровательными и остроумными приятельницами из литературных кругов (Эмибер Ривс, Ребекка Уэст), из его «Опыта автобиографии» («Experiment in Autobiography») мы можем узнать, как он любил свою Дженни (так он называл жену, хотя в действительности ее имя было Катерина). Он хорошо понимал, скольким он ей обязан, как самоотверженно она пеклась когда-то о его хрупком здоровье и какую помощь она оказывала ему во всех делах с самого начала его писательской карьеры. Это можно прочесть и в его предисловии к посмертному изданию ее литературных опытов («The Book of Catherine Wells»¹). Она была также замечательной секретаршей своего мужа. Уэллс, единственный из известных писателей, не нуждался в услугах литературного агентства. Авторизация переводов его произведений обычно согласовывалась с его женой. И мы тоже сообщили ей, что хотели бы открыть новую англо-американскую библиотеку каким-либо произведением Уэллса. Я имел в виду по-диккенсовски юмористический роман «История мистера Полли», который я очень люблю, или его замечательную книгу о войне «Неугасимый огонь». Но миссис Уэллс предложила нам самое последнее произведение Уэллса, его утопию, содержащую карикатуру на

¹ Книга Катерины Уэллс (англ.)

воинственного Черчилля, — «Люди как боги». Это произведение и открыло новую серию. Учитывая славную традицию английских романов-утопий, продолженную Шоу и Олдосом Хаксли, это было вполне достойное начало серии.

На воскресенье был приглашен в Истон-Глиб Голсуорси с супругой, а на обед пришла и «лендледи» Уэллса — графиня Дэзи Уарвик, социалистка, прославившаяся в молодости своей красотой. Ей было шестьдесят два года, но она была до сих пор привлекательна и активно занималась общественной деятельностью. Она была любовницей Эдуарда VII, когда-то весьма популярного гостя Марианских Лазней, прославившегося своей элегантностью и светским шармом. Она основала целый ряд школ и была известна своей из ряда вон выходящей любовью к животным. После обеда играли в теннис, причем своим искусством выделялась миссис Уэллс, после ужина танцевали в просторном амбаре, переделанном для светских приемов. Чапек сначала только с интересом наблюдал за танцами, но в конце концов его удалось уговорить тоже немного потанцевать.

Уик-энд в Истон-Глиб был, пожалуй, самым приятным и интересным для Чапека приемом во время его пребывания в Англии. Воспоминание о том, как мы сидели и дружески беседовали в старинной гостиной дома Уэллса, обшитой дубовыми досками, около пылающего камина (в июне!), из которого доносится приятный запах больших кедровых поленьев, и о том неотразимом юморе, которым приправлял свои рассказы наш гениальный хозяин, конечно, сохранилось в памяти Чапека, так же как и в моей, до самого конца жизни.

В понедельник 23 июня мы с Уэллсом распрощались.

КАРЕЛ ПОЛАЧЕК

ПЯТНИЦА

В течение многих лет я хаживал на Винограды, в тот квартал, который носит характерное имя — Флора. Это садовый квартал, утопающий в зелени и цветах. Помнится, именно там, в один из жарких майских вечеров впервые в жизни я услышал громкое и страстное пенье соловья. Там, на улице, которая звалась Узкая, я каждую пятницу искал глазами домик из двух квартир, в котором жили братья Йозеф и Карел Чапеки.

Прежде чем войти в дом, каждый посетитель «пятниц» был обязан пройти по саду, чтобы посмотреть, как там поживают растения. Посетителя сопровождал Карел Чапек, в своей живой и стремительной манере рассказывая о свойствах и причудах каждого цветочка: он буквально заглядывал своему гостю в рот, ожидая, что тот похвалит его сад. Этот сад был большой любовью писателя, одним из многих творческих деяний этого плодовитого мастера, очаровательным творческим горением очаровательного человека. Кусок бесплодной земли величиной в несколько сажений, называвшийся раньше участком, Чапек заставил зазеленеть, вынудил мертвый кусок земли раскрыть свою утробу и породить пеструю и красочную жизнь.

Карел Чапек принадлежал к тем людям, о которых говорят, что у них золотые руки. Стоило ему только прикоснуться своими руками к неодушевленному предмету, и — смотрите пожалуйста! — этот предмет завертелся, начал дышать, налился соками, переливается разноцветными красками и заговорил. Чапек принялся за садоводство и заслужил восторженное изумление садоводов; начал фотографировать — и превзошел профессионалов; пришлось ему в голову рисовать картинки — и эти картинки только лишь не говорили. Все это потому, что он лю-

бил природу, и она отвечала ему взаимностью. Только великой и чувствительной душе природа открывает свое сердце. Сам Карел Чапек тоже напоминал мне растение. Я все брожу между клумбами и разыскиваю на них цветок по имени Карел Чапек. Мне представляется какая-то мягкая, совсем неприметная травка, о которой он говорил, что она никогда не цветет или же расцветает раз в сто лет. В один прекрасный день эта травка поразит всех бесконечным богатством своего цветения, множеством бутонов и прелестных цветов, распространяющих благоухание, полное веселья, ласки и радости. Плодовитая и освежающая трава, имя которой Карел Чапек. И всегда она будет напоминать нам о юморе, солидарности, братстве и любви.

Он объединил вокруг себя группу деятелей, каждый из которых был чем-то интересен и каждый имел что сказать по поводу событий дня. Гости теснились в маленькой комнате, навсегда обозначенной присутствием президента нашего государства Т.-Г. Масарика. Не одного знаменитого иностранца принимали в маленьком доме великого писателя, здесь было заключено немало полезных дружеских союзов с гостями из далеких стран. А Карел Чапек похаживает между гостями, разливает черный кофе, курит свои нарезанные пополам папироски, и его глубокие темные глаза искрятся озорством и остроумием.

У него было много врагов, но сам он никогда не испытывал злобы к людям. Он был слишком значительным человеком, чтобы не иметь врагов. Только к совсем незначительным людям никто не испытывает вражды. И Карел Чапек всегда жалел тех, кто на него нападал, он способен был вскипеть только тогда, когда нарушались общественные интересы. Тогда его охватывал прavedный гнев.

Карел Чапек, великий писатель чешской земли и любимейший друг наш, прощай!

ФРАНТИШЕК КУБКА

КАРЕЛ ЧАПЕК И ЗАВСЕГДАТАИ «ПЯТНИЦ»

...Я присутствовал на премьере пьесы «Средство Макропулоса» в театре на Виноградах. Публика аплодировала, вызывая автора на сцену. Вместо щеголеватого франта на авансцену нехотя вышел худощавый юноша — а ведь ему к этому времени исполнилось тридцать два. На нем был плохо сшитый пиджак, косо повязанный галстук. Он словно собрался на прогулку; заложив левую руку за спину, он поклонился аплодирующему залу, как примерный ученик. Рот он держал полуоткрытым, на мальчишеских скулах — по круглому красному пятнышку. Он был аккуратно причесан, но там, где кончался пробор, на темени торчал растрепанный хохолок — как на карикатурах Гофмейстера. Карел Чапек обвел взглядом зал, внимательно посмотрел и на галерку, словно искал там кого-то, подал руку пани Досталовой и быстро ушел со сцены.

Так я впервые увидел Карела Чапека...

Лично я познакомился с Карелом Чапеком только в 1924 году.

Не помню уже, кто первый ввел меня в новый дом Чапека на улице Узкой на Виноградах — Йозеф Копта или Франтишек Лангер.

Чапеки устраивали свои «пятницы» уже не первый год. Началось это еще на старой квартире на Ржичной улице, на том берегу Влтавы.

Сначала к ним ходил только Франя Шрадек, которого Карел просто обожал. Он считал его, как выражались на «пятницах», «вполне приличным человеком». Я слышал, как Чапек восхищался переменной в анархистском сердце Шрамека, восторженно забившемся с приходом

в 1918 году молодой Чехословацкой республики. «Ведь раньше был ярый антимилицарист, а теперь глаз не сводит с наших чешских солдатиков», — с восхищением говорил о Шрамекe Карел Чапек.

В Шрамекe Чапеку нравилась и его застенчивость, и неразговорчивость.

«Шрамек — мужчина и ребенок в одном лице. Он любит людей и поэтому сторонится их...»

Когда на Ржичной по пятницам стали собираться люди, Шрамек предпочел оставаться дома. Теперь Чапек ходил к нему потолковать о том о сем.

Дом братьев Чапек, куда в те времена приходилось пробираться по грязи, по изрытым пустырям Стромков ниже виноградской «Орионки», делился на две части. В одной его половине жил Йозеф Чапек с женой и дочкой Аленкой. В другой — Карел Чапек со старым отцом. Фасад дома выходил на маленькую площадь. Сзади зеленел и цвел сад, тоже поделенный на две части — Йозефа и Карела. Это и был тот самый знаменитый сад, который описан в «Году садовода».

Карел Чапек сидел в небольшом кресле возле двери в комнату «а-ля Ф.-Л. Век». Он не вставал, когда входил новый гость. Только руку протягивал.

«Усаживайтесь где-нибудь», — обращался он к очередному гостю.

Не помню уже, с кем я сидел в первый раз. Конечно, были здесь тогда Копта, Лангер и доктор Адлоф, «Молодой Славянин». Разумеется, был и Йозеф Чапек — в соседней комнате. Сидя на диване с Вацлавом Рабасом, они о чем-то шептались. Они всегда о чем-нибудь таинственно шептались. О живописи, о «Манесе», об «Умелецкой беседе». Их шепоту мрачновато вторил Властимил Рада, небритый, будто сбежал из тюрьмы.

Не помню, о чем говорили в ту мою первую «пятницу». Помню только, что пили мы — потом так было всегда — некрепкий черный кофе из коричневых чашечек, а попозже, перед уходом, в половине восьмого, — крепкую желтую сливовицу. Эту сливовицу Карел Чапек получал от своего почитателя из южной Моравии. Сливовицу пили уже стоя, в соседней комнате, где прежде сидели только Йозеф Чапек с Рабасом.

Не помню, какие картины висели на стенах. Но их было несколько. Одна осталась у меня в памяти.

Черно-белый рисунок девушки монголоидного типа на стилизованном сумрачно-сером кубистическом фоне. Это была ранняя работа Йозефа Чапека. Но невольно вспоминался Зрзавый.

* * *

Я любил бывать на «пятницах» у Чапек, очень любил. Это была единственная возможность общения с людьми вне редакции. «Пятницам» я обязан тем, что не занялся чистой журналистикой.

О чапековских «пятницах» ходило много всяких толков еще при жизни Чапека, да и потом. Не знаю, ради чего Чапек придумал свои «пятницы» и поддерживал эту традицию. Но впечатления, что я посещаю какую-то литературную школу или группировку, отнюдь не возникло. Среди завсегдаев «пятниц» писатели составляли меньшинство. Кроме Чапека, их бывало трое-четверо: Лангер, Копта, Полачек, Ванчура...

Меньше всего говорили о литературе. Например, премьеры у Лангера — никто не обронил о ней ни слова. Копта закончил роман — и тоже как будто ничего не произошло. У Ванчуры вышла новая книга — молчали о ней. Правда, своим «завсегдаям» (как он их сам называл) Чапек всегда надписывал и раздавал свои новые книжки. Но он делал это незаметно и как бы невзначай. Точно так же незаметно, как бы невзначай, гости платили ему тем же.

О своих книгах Карел Чапек почти никогда не говорил. Он говорил о градостроительстве, о своем увлечении садоводством, о бюрократии, об университетских профессорах, о внутренней политике, а главное — о житейбытье. В этом же духе говорили и все остальные.

«Что нового?» — это был главный вопрос Карела.

Новыми были анекдоты.

Карел Чапек записывал те, которые годились в рубрику «К + М + Б», выходящую по понедельникам в «Лидовых новинах». Полачек рассказывал о судьях, судах и судебной хронике, доктор Адлоф — о раке и Сокольском движении, адвокат Боучек — о процессах Махара времен газеты «Час». Копта — о легионерах. Арне Лаурин — о *Kriegspressequartier*¹ во время прошедшей войны. Профессор Шуста — о монахинях в Италии.

¹ Военный пресс-центр (нем.).

Чаще всего на «пятницах» говорили о том, в чем никто из завсегдатаев не понимал. Например, об археологии. Или о кельтских захоронениях.

На «пятницы» приходили профессора философии, историки, лингвисты, юристы, врачи, специалисты по экономике и журналисты из издательств, люди скромные и люди влюбленные в себя и уверовавшие в свою неповторимость, специалисты по обучению, переводчики, критики. Нелегко было настроить на одно это разнородное общество, и Чапек даже не пытался направлять разговор. Один перебивал другого. Образовывались кучки. Отмежевывались художники, приходившие к Йозефу Чапеку, и, сдаётся мне, только они беседовали о своей профессии и о вопросах искусства. В остальном же «пятничное» общество представляло собой собрание, где каждый мог высказаться по своему усмотрению, независимо от того, слушают его или нет.

Гости «пятниц» напоминали завсегдатаев уютного кафе, перенесенного в квартиру знаменитого чешского писателя. Ни идейной, ни художественной, ни политической общей платформы они не имели. Не было тут ни устава, ни программы. Они часто спорили о том, что выеденного яйца не стоило, и умолкали, как только речь заходила о вещах серьезных. Чаще говорили об исправности водопровода, чем о вопросах Женевского протокола или экономического кризиса. Их больше занимала музыка сокольских слетов, нежели советские пятилетки. Они словно намеренно преуменьшали значение существенных вещей, преувеличивая не столь значительное. Одни делали это вполне серьезно, другие подыгрывали хозяину.

В этом интеллектуальном обществе, где все обращались друг к другу на «вы» и строго по фамилии («Чапек», «Ванчура», «Мукаржовский», «Пршикрыл»), никогда не произносили чего-нибудь вроде «хороший человек», а говорили только «человек на уровне». Под «уровнем» и соответствующими качествами подразумевалась «приличность». Под «приличностью» — лояльность людей друг к другу и специфической чехословацкой демократии, основанной на так называемых «гуманных идеалах».

Если кто-нибудь из завсегдатаев возвращался из поездки по Советскому Союзу (Йозеф Копта, Йозеф Чапек, Ванчура и др.), «пятниц» для рассказов не хватало. Их восторг воспринимался с легкой иронией, но при этом о Советском Союзе на «пятницах» говорили почти всегда.

«Я в Москву не поеду. Что нового я там увижу? — заявлял Карел Чапек. — Люди и после революции вернутся на круги своя. Огульная индустриализация направо и налево — вещь опасная. Это ведет к войнам. Слышать не хочу о мощной технике. Вернитесь к святому, неторопливому труду!»

Такой взгляд на мир шел вразрез с масштабами личности самого Карела Чапека. Чапек бежал таким образом от самого себя. Вавилонскую башню «новой Европы» он оставлял вавилонской башней. Он перестал заниматься крупными делами и перешел на малые. Заложив левую руку за спину, он удовлетворенно прохаживался по островку чешской демократии. Он уже не верил в прагматизм и сложил оружие перед войной вчерашней и грядущей, которую он постоянно предчувствовал. Он добродушно наблюдал за жизнью всегда и всем довольных соседей, следил за ростом цветов и деревьев в своем саду, за любовными похождениями сучки Дашеньки, вникал, как делается газета, как ставятся пьеса и фильм, и насколько прекрасны вещи, тебя окружающие.

Тем не менее он побывал-таки в Италии, в Англии, в Испании, в Голландии, в Скандинавии и написал о великих и простых людях этих стран прелестные очерки. Посмотришь — и впрямь в мире все по-старому. Никаких перемен!

Больше всего он любил возвращаться домой.

Вернувшись же, он, обыкновенно вместе с Полачком, заводил с завсегдатаями «пятниц» разговор о «романах для прислуги» и детективных романах, о ярмарочных песнях и меткости народных выражений. Чапеку в те годы самому очень хотелось создавать что-нибудь в этом духе; по крайней мере, он умел писать об этих явлениях по-научному глубоко, притом, что статьи эти были преселые.

Иногда он философствовал вслух. Афоризмами.

«Долой «жгучие проблемы»! Их не существует. Все они — одно лишь надувательство со стороны крупных предпринимателей, землевладельцев, промышленников, поборников социализма. Плановое хозяйство? Космическая революция? Марш миллионов к солнцу? Что на это скажет старый господь бог? Природу не переделать! Изгони господь бога с небес и запри в стальном сейфе — он выбьется наружу! И ничего с этим не поделаться!»

«Писателя в первую очередь должно интересовать со-

вершенство ремесла, которому в последние века дали название «искусство».

«Вот архитектор отводит художнику часть плоскости на стене, — рассуждал вслух Карел Чапек. — Прямоугольник, полукруг. Миколаш Алеш сделает из полукруга или прямоугольника бессмертную фреску. Я докажу, что в четыре подвальных столбца «Лидовок» можно точно уместить приличный рассказ!»

Несколько месяцев спустя эта идея воплотилась в «Рассказах из одного кармана» и «Рассказах из другого кармана». Они не были извержены из «сияющих глубин».

О том, как они придумываются и делаются, Чапек на своих «пятницах» рассказывал охотнее, чем о драмах и романах, написанных в молодости. Он испытывал нечто вроде злорадного удовольствия от того, что ему по черточкам удалось создать портреты обычных людей: жандармов, полицейских, следователей, врачей и мелких служащих, людей честных и грешных — не сверхчеловеков необычных судеб и характеров. Загадочное преступление с легкостью раскрывает отнюдь не загадочная полиция, и не загадочный судья докапывается до сути нарушения извечного правопорядка. Долой героев и всякого рода эксперименты! Они ведут лишь к катастрофам и гибели! Создадим мир добра и любви без пафоса и фраз!

Бедных одарите любовью и помогите, но воздайте не только им! Ведь и богач жаждет любви. Не лишайте его души и человеческого облика! Не гонитесь за новизной! Лучшая форма сосуществования — гражданский мир. Он рождается путем эволюции, реформ, смягчения кренов вправо и влево. Лучшее государство — государство, справедливое для всех. Но нация и государство — это единство богатых и бедных, кардиналов и капелланов, «батей» и мелких сапожников, отокаров бржезин и закоренелых убийц, банковских управляющих и несчастных каменщиков, на которых обрушивается на Поржичи недобросовестно спроектированный и кое-как строящийся дом. Все они люди. Пусть живут по собственному усмотрению. Жизнь *an sich*¹ настолько хороша, что достаточно лишь капли любви и некоторой доли демократии — и она станет почти совершенной. Ведь и совершенство — понятие относительное, сам создатель обладал относительными способностями!

¹ Сама по себе (нем.).

Так философствовал и так писал Карел Чапек, когда ему было около сорока. Он был нездоров. Как-то он заметил невзначай: «Боль не отпускает ни на минуту».

Он преодолевал боль и преодолевал себя. По-юношески стройный и старчески сгорбленный, он честно оставался «человеком на уровне», ищущим безопасности в относительно хорошем и относительно плохом мире.

Осенью 1925 года он взбудоражил свои «пятницы» довольно необычной идеей. Отнюдь не без «повивальных усилий» со стороны, в его голове родилась мысль о создании интеллигентской партии труда, некоего подобия бывшей реалистической партии. Это была попытка с помощью избирательного бюллетеня разорвать путы, которыми крупные политические партии связали общественную жизнь страны. Карел Чапек буквально загорелся этой идеей. На каждой «пятнице» он агитировал за создание новой партии.

На выборах партия получила сто тысяч голосов, но измененное положение о выборах помешало ее представителям войти в парламент. «Трудовики», как именовали журналисты от крупных партий приверженцев партии труда, потерпели поражение.

Под вечер 15 ноября 1925 года — в день выборов — я зашел в редакцию «Лидовых новин», штаб-квартиру партии труда. Чапек сидел за своим редакционным столом, просматривая подшивки «Лидовок». Он помечал, когда появился тот или иной его «столбец». Готовил к печати новую книгу. Ему приносили листочки с итогами голосования в разных пражских районах. Глядя на цифры, он каждый раз вздыхал. Курил, вставляя в свой вишневый мундштук одну половину сигареты за другой. Часам к девяти, сдав подшивки «Лидовых новин» в архив, он надел плащ, взял трость и сказал:

— Все могло быть иначе...

И спокойно пошел домой.

Он умел проигрывать.

На «пятницах» совсем перестали говорить о внутренней политике.

* * *

В Чапеке и после сорока многое оставалось от мальчишки — моложавая внешность, привычка говорить громко и отчетливо, упрямство, любопытство и чисто детская

любопытность. И склонность к игре. Он играл в слова, придумывая новые. Составлял анаграммы. Изобретал неожиданные рифмы. В детстве и юношестве братья изъяснялись на особом языке, напоминавшем дадаистические ассонансы или «заумь» русских футуристов. Да и позже они разговаривали между собой на таинственном языке детства.

Еще в пору написания «Разбойника» Карел Чапек мастерски обыгрывал избитые слова и фразы разговорного языка, подвергая их убийственной критике. Считал их проявлением «механизирования» жизни, ее чрезмерной стандартизации. А так как в нем рос противник любого механизирования, автоматизирования и притупления чувства и мысли, за которыми терялся многоликий индивидуум, он критиковал умерщвление слова во имя вечно живого языка. Карел Полачек стал его последователем. Для «Журналистского словаря» Полачека Карел Чапек написал статью о «логической обманчивости» фразы. На «пятницах» не раз за эти годы обсуждался вопрос об искажении чешского языка.

И работа в газете тоже была игрой. Были времена, когда Чапеком-писателем более руководили журналистские интересы. Он любил «Лидовки» фанатически преданно. Он хотел, чтобы газета получалась интересной, увлекательной, читалась одним махом. Чтобы публикуемые новости приобретали литературную форму, чтобы чувствовалась рука хорошего редактора, а не канцелярского работника печатного агентства и не корреспондента полицейского участка. Он умел легкой рукой набросать местную хронике, отличную заметку, превосходный фельетон. Не слишком высоко ставя фельетон как литературный жанр, он довел его до совершенства. В форме фельетона он написал все свои путевые заметки. Часто сам их иллюстрировал. Опять это была игра — карандашом, пером графика. У Чапека-художника был неповторимый почерк — воздушный, с нестрогими линиями, словно он рисовал по воде.

Для Чапека и сад был игрой, где он исполнял роль ботаника. Любил похвастать своими знаниями, пересыпая свои рассказы латинскими названиями растений. Сжатым, почти бесцветным был его стиль в изображении картин природы, гор и моря. Но кактус и цветок за окном он описывал пространно, сочными мазками. Любовь к саду на окраине вытекала из его взглядов на мир.

У человека, владеющего садом, нет времени на бесплодные рассуждения и попытки ворочать крупными делами. Кто ворочает глину, не свернет миропорядка. Просто проследит за естественным ходом событий. Пока из семечка не вырастет дерево.

В своем саду Карел Чапек посадил березки. По одной на каждого из своих гостей. По одному деревцу на себя и на брата. Потом он ходил смотреть, как деревья растут, не погнул и не надломил ли их ветер. Радовался, видя, что растут они по-разному. Одно повыше, другое пониже, одно потолще, другое потоньше. Даже листья разных оттенков! Вот он, плюрализм жизни!

Почти суеверно следил он за ростом этих березок, на стволах которых прикрепил имена своих гостей и свое собственное. Он любил жизнь и боялся смерти. Своей и своих близких.

Умирал его отец. В преклонном возрасте, но неожиданно. Смерть пришла за старым врачом во время сильной летней грозы. Карел Чапек на одной из «пятниц» признался, что видит связь между этой грозой и отцовской смертью. Небеса оплакивали того, кто покидал на земле своего сына. Отца похоронили без колокольного звона и особых церемоний. Как просвещенного интеллигента. А сын посетовал, что такой уход в вечность слишком печален и строг. Больше утешают деревенские похороны с молитвами, пением и плачем.

* * *

Карел Чапек любил домашних животных. Особенно собачек, маленьких и смешных. Он описал их жизнь. Для взрослых и для детей. Он рисовал собачек и фотографировал их. И это тоже было очередной игрой взрослого мальчишки. Но поскольку в любую игру он играл так основательно, что превращал ее в искусство, то сделался мастером и в области фотографии. Лестницу внутри дома он увешал фотографиями. Он любил делать фото-портреты и карикатуры. Уже тогда, когда это еще не превратилось во всеобщую моду, он мог иронизировать и полемизировать языком фотографии. И польстить с ее помощью он тоже умел.

На «пятницах» заговорили о фотографии.

Чапек не хотел ехать в Россию, чтобы не поколебать своего мировоззрения. Так он сам говорил. Но на «пятницах» о России говорили много, особенно когда в 1929 году разразился всемирный экономический кризис, Россия уверенно возводила свое огромное новое здание.

Слова «класс», «классовая борьба» по «пятницам» не сходили у Чапека с уст. О марксизме и своем непонимании его он не упоминал. Но внимательно вслушивался в слова Вацлава Боучека, юриста, когда тот одобрительно отзывался о Конституции СССР и восторженно рассказывал о своем разговоре с Вышинским.

Чапек тогда предпочитал врачевать раны мира подорожником милосердия, а не скальпелем революции.

Вообще у него была своя, особая концепция политики. Внутренней и международной.

Он был председателем Пен-клуба, организации, которая исподволь, по инициативе Англии, взялась за объединение интеллектуальной литературной Европы с Германией, но без Советского Союза. Взгляды Пен-клуба на пути спасения мира приближались к чапековским: познакомьтесь, узнайте друг друга по-человечески — кто мы и что мы, и да простим друг другу грехи наши, поужинаем вместе, подыдем бокалы за мир в Европе и потолкуем еще раз о том, чем занимаются господа из Локкарно, Бриан, Штреземан и Остин Чемберлен в Лиге наций.

Чапек не раз ездил за рубеж представителем чехословацкого Пен-клуба. Он отстаивал Чехословакию перед лицом венгерского реваншизма и всех, кому не по душе было новое государство в Центральной Европе. Позже на «пятницах» он рассказывал о своих дебатах. Он приобрел множество друзей из мира культуры. Начиная с Шоу и кончая японскими писателями. Сердился на советских писателей за то, что они не вступают в Пен-клуб.

Пен-клуб в Праге принимал многих зарубежных писателей. Чапек очень заботился о них. Председательствовал на обедах и ужинах. Пробовал произносить традиционные речи на послеобеденных беседах. За столом много говорили о всеобщем мире, об искоренении ненависти, ибо любовь есть жизнь, а ненависть есть смерть. Это были прекрасные разглагольствования на званных

ужинах и трибунах конгрессов. В Праге весной 1938 года господа еще мило беседовали. Жюль Ромен, например. После Мюнхена они иногда давали о себе знать, но отвечали по большей части раздраженно, потом все утихло окончательно. К этому времени Чапек уже давно не был председателем чехословацкого Пен-клуба.

* * *

Некоторое время Карел Чапек проявлял интерес и к Антонину Швегле. Его увлекала страсть Швеглы к политической власти, подобная страсти к картам. Он записывал свои беседы с ним. Но при этом он многого не мог понять в личности Швеглы, в его духовном мире. Зияющая пропасть разделяла мир Швеглы и мир Чапека, и Чапек тщетно пытался перебросить через нее мост. И только после швегловского «post festum» — уже после его смерти — стало очевидным, что семена, посеянные «государственным деятелем» Швеглой, дали страшные всходы. Чапек воспринял это с мягкой иронией.

Не знаю — он никогда об этом не говорил, — каково ему было на пышных пикниках и подобных собраниях господ прейсов, малипетров и удржалов, куда его, как и Карела Гашлера, приглашали, дабы он развлек милостивых господ. Я убежден, что на них он усердно изучал человеческие типы и... страдал.

* * *

На «пятницах» было много разговоров о Швегле и о Прейсе, о песнях пражских жителей, о народном юморе и детективных романах, и Карел Чапек сам был их зачинщиком. Зато полным молчанием обходилось то, что Чапек опять пишет и издает романы («Гордубал», «Метеор», «Обыкновенная жизнь»), что это произведения большой художественной силы, что это философский и психологический итог всей предшествующей жизни Чапека.

Мы тоже ничего не говорили об этом на «пятницах», потому что этого не хотел сам Карел Чапек. Он сердился на непонятливую критику, как мальчишка на несправедливого учителя. В ту пору он сам показал мне рукопись «Метеора». Это были нескрепленные, густо исписанные и тщательно поправленные восьмушки черновой бу-

маги. Чапек по старинке писал стальным пером. Была у него и авторучка, но только потому, что это отвечало духу времени. Почерк у него был мелкий, разборчивый, несколько вычурный.

«Не понимаю, — удивлялся он, — как Шоу может набросать на огромном листе дорогой бумаги четыре предложения буквами размером с ворота и начинать новую страницу. Вот ведь какие господа, им не надо экономить ни бумагу, ни место...»

Тогда же он возмущался: «А вот мы беспечно бросаемся бумагой при издании книг. Терпеть не могу наши книжные форматы. Большие — на полки не вмещаются, маленькие — микроскопом не сыщешь. Книги должны быть одного, стандартного размера. И в библиотеке это выглядит лучше, и вообще практичней. Посмотрите на французские книги! Ведь это древняя и разумная традиция».

«Вы быстро пишете?»

«Если сесть основательно — страницу за страницей, — ответил он. — Работа идет быстро».

Трилогию он закончил в два года.

* * *

В 1933 году начался чехословацкий кризис. Наперекор пророчествам авторитетов развитие резко пошло вправо.

Кое-кто из завсегдатаев «пятниц» — главным образом журналисты — познакомились с беженцами из Германии, которых тут же хлынуло к нам видимо-невидимо. Рассказывали о том, что от них услышали. Чапек не любил эмигрантов. Считал их людьми, способными только жаловаться. А кто жалуется, тот уже приближается к «mauvais sujet»¹. Эмигранты готовы поднять на ноги весь мир, только бы им вернуться на родину. «Почему они позволили событиям зайти так далеко, что сами вынуждены были бежать?» — так сначала говорил Чапек. Но он быстро понял, что произошло. Однако в «пятницу» я не встретил у Чапека ни одного немецкого эмигранта, хотя иногда сюда приходили зарубежные писатели, которые быстро откланивались, потому что, кроме Чапека,

¹ Несносный человек (фр.).

с ними никто ни о чем не заговаривал. В Чехии жили эмигрировавшие Томас и Генрих Манны. Но на «пятницах», насколько мне известно, они ни разу не появились.

О Гитлере начиная с 1933 года у Чапеков говорили постоянно. Йозеф Чапек боролся с ним как художник-карикатурист. Карел не верил авторитетам, утверждавшим, что Гитлер продержится самое большее лет пять, а потом падет. Запутается в сетях договоров. Это вселяло серьезные надежды. Но Чапек не был государственным человеком, он был художником, и сердце его предчувствовало недоброе.

На «пятницах» мы гадали, что будет с нами. У нас в пограничье живут немцы. Гитлер объявляет себя немецким Мессией. Одни надеялись на чудеса демократии, другие взирали на завтрашний день с унынием. Эмигранты рассказывали всякие ужасы. Но весь ужас до конца им пережить не пришлось: они избежали концентрационных лагерей, о которых писали «коричневые книги». Верилось с трудом. Но ведь все это было...

Недобрым был тридцать четвертый год. Он только начинался, когда 2 января взорвался газ в шахте Нельсон III в Осеке в районе Мостецко. Погибли сто тридцать четыре шахтера. Рабочие под руководством коммунистов протестовали против преступной системы угольных магнатов, «экономивших» на мерах безопасности. В Австрии началась вооруженная борьба за власть в государстве. Гитлер вооружал армию и с усмешкой смотрел на пакты о мире и деятельность Лиги наций. Потом он физически расправился со своими противниками в нацистской партии, и по Праге бегал Георг Штрассер, разоблачая Гитлера и агитируя за свою концепцию нацизма. В Москву и в Прагу нанес визит французский премьер Ж.-Л. Барту. Готовился пакт против германской агрессии. Вскоре после этого был убит в Марселе Барту, а вместе с ним — король Югославии Александр. Югославия дрогнула. Договор оставался в силе лишь на бумаге.

Теперь у Чапеков самое веское слово принадлежало журналистам. Они приносили последние новости, а их всегда было много. На исходе года мы, несколько журналистов из числа «завсегдаев», съездили в Москву. Вернувшись, рассказывали об увиденном — на публичных собраниях, на «пятницах». Бедный родственник вдруг превратился в богатого дядюшку, который, кроме того,

был еще и «salonfähig»¹, как самый новый член Лиги наций! Было даже забавно, что у нас кое-кто говорил о признании «правительства Советского Союза». Да мы были рады, что Советский Союз становится нашим союзником! Друзья Москвы чувствовали себя на «пятницах» именинниками.

На «пятницах» разгорелись споры с теми «поборниками» демократии и начальниками отделений, которые утверждали, будто дух демократии не дает нам права сажать Конрада Генлейна и его партию в тюрьму, напротив, он требует предоставления им свободы действий в соответствии с демократией. Выступавшие в этом духе — а среди них были и бывшие члены уже не существующей реалистической партии — заявляли, что наша демократия должна стать демократией авторитарной и всем нам следует потуже затянуть пояс.

— Так, может, и нам придется бежать?

— Разумеется... Вы что, думаете, все останется по-старому? Генлейн войдет в состав правительства.

Толком никто не ориентировался.

Карел Чапек говорил немного. В основном недовольно ворчал. Зато Йозеф был оживлен, как красная рыбка. Он рисовал карикатуры и воевал с каждым проявлением пораженческих настроений.

Карел писал и писал. На «Войну с саламандрами», вышедшую в 1936 году, критика, как обычно, ответила невпопад. Она увидела в ней юмористический роман, возобновление чапековской борьбы человека с роботами, остроумную, даже приземленную сатиру и чистую журналистику, Чапек сердился. Он знал, что написал роман в высшей степени актуальный и разоблачающий. Саламандр породил торгашеский дух «демократий», худосочных, эгоистичных, глуповатых уже по самой своей корыстности. Саламандры — марширующие, работающие по команде и по команде стреляющие, лишённые человеческого облика толпы, которые в один прекрасный день положат худосочным «демократиям» конец, уничтожив их войной, — этому их научили сами «демократии». Это вовсе не антивоенная утопия, но протест против бесчеловечного, корыстного порабощения мира. Как и Гитлер, Верховный Саламандр был порожден капитализмом и правительствами обывателей. Созрев, он под-

¹ Вхож в салон (нем.).

ложит под старый мир взрывчатые вещества, придуманные самим старым миром.

На «пятницах» у Чапеков молчали и об этой книге. Многими она была воспринята как очередное остроумное и проходящее увлечение писателя, призванного писать крупные вещи. Но материала для крупных вещей не было, и смеяться тоже больше не хотелось. Чапек видел дальше, чем казалось. Он был лично знаком со многими «отцами» своих саламандр. Кое с кем из них он поддерживал отношения, хотя в газетах его за это ругали. В нем сохранилась мальчишеская любознательность, поэтому он изучал своих противников вблизи. Поэтому он упрямо стоял и как художник был беспощаден. Кое-кто пытался купить его своим личным вниманием. С такими он мог беседовать, пререкаться, но при этом не поддавался на их ухищрения. Теперь он часто уезжал из Праги. В Добржиш, где около пруда Стрж у него был свой дом. В замок в Осове. Об Осове на «пятницах» он никогда не рассказывал. Никогда не говорил, кто там бывал, кроме него.

Кажется, именно тогда перестал ходить на «пятницы» Ванчура.

После краткого «медового месяца» с Советским Союзом некоторые завсегдатаи «пятниц» опять начали критически высказываться в адрес чехословацких коммунистов, боровшихся против авторитарной «демократии» и заигрывания с Генлейном. Оно было вовсе не таким уж платоническим, как пытались это представить те, кто был поосторожнее.

В 1935 году Генлейн победил на выборах в парламент, став, таким образом, главой самой сильной в Чехословакии партии. Он взял под контроль все немецкие демократические партии. Зато потерпели поражение Стршибрный и Крамарж. Чешские избиратели от фашизма открещивались. В правительственной коалиции по-прежнему преобладали аграрии.

«Завсегдатаи» понимали, что наступают сумерки — чапековские «пятницы» распадались.

Да и работы было много. А свободного времени не было вообще.

Часто не приходил и сам Карел Чапек. Он оставался в Добржише или в Осове: к этому времени он уже женился на Ольге Шайнпфлюговой, которую давно любил, и вокруг него собралась другая компания.

И в доме на Узкой произошли перемены. Раньше на «пятницах» никогда не бывало женщин. Теперь на них присутствовала жена Чапека. Дом перестраивался. Мансарда была превращена в веселую, живописную гостиную по соседству с кабинетом Чапека, где он сживал наподобие Эразма Роттердамского, как его изображают старинные гравюры.

Если не приходил Карел, его заменял Йозеф. Если же и Йозеф не мог прийти, кофе разливали сами гости. Особенно летом таких «пятниц» без хозяев становилось все больше.

Но если уж Карел и приходил, он был более словоохотлив, чем обычно. Сознательно придавал себе солидности.

Теперь он был не только «человеком на уровне», но еще и женатым человеком, и это кое-что изменило в его жизни. В те времена он страшно любил вспоминать свое детство, проведенное в Сватонёвицах. Бабушку, которая, как он говорил, «обучила его речи чешской», шахтерский край и таинственные фигуры шахтеров с черными впадинами под глазами. В нем зрела «Первая спасательная». Прошли годы, и катастрофа на шахте Нельсон выросла для него в эпос об истинном мужестве простого народа, что все предшествующее его творчество обходило стороной. Когда в 1937 году наконец вышла «Первая спасательная», на «пятницах», как всегда, о ней промолчали. Никто не заметил, что из наблюдателя Чапек становился борцом. Современность бывает слепа по отношению к современности. После «майнера» Гордубала, одиночки, затерявшегося в далеком мире, которому уже нечего искать дома, пришла очередь коллектива «майнеров», шахтеров Чехии. Сплоченной группы, целой отважной бригады.

* * *

Чапек тех лет был полон энергии. Он не дал сбить себя с толку ни непониманием одних, ни восторгами других, ни ненавистью третьих. Он бывал среди солдат, полюбил их. Видел в них надежду на спасение республики. Он выступал за современность вооружения, за высокий моральный дух солдат-защитников, за укрепле-

ние границ. Его радовала самоотверженность и улыбочное мужество чешского народа, не знавшего страха.

Прошло несколько лет, и он вновь написал драму. Это была «Белая болезнь», обвинение диктаторам, призыв к уничтожению милитаристов всеми средствами. Преступники, способные на массовые убийства, должны искореняться любым путем — например, если они не откажутся от своих военных планов, они не получат нужных лекарств. Ряд критиков отмечал, что автор невольно создал «бесчеловечную утопию», хотя именно в «Белой болезни», и только в этой драме, Карел Чапек со всей определенностью отрекся от «гуманизма для всех», ведущего в конечном итоге к уравниванию прав убийц и жертв. В «Белой болезни» фантазия Чапека определила появление права наказания военного преступника, таким образом, в ней уже есть правовая философия Нюрнбергского процесса. Идея, высказанная доктором Галеном, отнюдь не бесчеловечна, напротив, это идея человеческая и даже общечеловеческая: смерть тому, кто хочет убивать!

Никто из нас тогда по-настоящему не понял, как колоссально вырос Карел Чапек. Доктор Гален при всей своей скромности и сдержанности не является «вполне приличным человеком». Напротив, он человек в высшей степени «неприличный». Но при этом он — «человек на уровне», бескомпромиссный, высоконравственный,

* * *

Чапек превзошел самого себя. В его адрес раздавалась брань из уст негодяев и хулиганов из фашиствующих вечерних газет, но Чапек работал. Он думал о родине, о ее красоте и величии, ее мужественном народе, который готов был биться до конца с оружием в руках. Он писал и писал. Небольшие статьи и репортажи, рифмованные радиоотголоски и обращения в английские газеты. Он делал больше, чем десять послов вместе взятых. При этом он часто не знал, как быть с теми, кто был у власти в Чехии и Словакии и хотел править без народа и в ущерб ему. Кто Москвы боялся больше, чем Берхтесгадена. Кто путем капитуляции хотел избежать войны, ибо в противном случае народ получил бы в руки оружие. Кто искал хоть какой-нибудь лазейки в

беспощадном сердце Гитлера, чтобы вызвать в нем сочувствие к «малюсенькой», так свято хранящей свои национальные традиции и так борющейся с коммунистами, ко, впрочем, очень милой республике. Чапек презирал их. Теперь он верил только солдатам. Он проникался легендами, которые в те дни придумывал народ, шлифовал их, придавая им героическое звучание.

Он чувствовал себя счастливым на последнем предвоенном сокольском слете. Особенно глядя на голубоватые стальные штыки солдатских рот, на новые самолеты, пролетавшие над головами ликующих зрителей. Музыка играла «Почему нам не радоваться...». Чапек улыбался, как ребенок, следящий за поднявшимся высоко в небо бумажным змеем.

К этому времени за его плечами уже была последняя крупная вещь — драма «Мать».

Толчком для ее написания послужили события в Испании. Бои за Мадрид.

...Враг занимает страну. Мать, у которой погиб муж и все сыновья, кроме последнего, младшего, любимчика, хрупкого и слабого, каким в детстве был сам Карел Чапек, вкладывает этому ребенку в руки ружье и говорит, как в античные времена: «Иди!»

«Иди!» — сказал пацифист, протестующий против любого проявления гнева, ненавидящий каждую смерть, улыбочивый философ, принимающий все безумные радости жизни. Иди и умри за свою страну!

Так думал его народ. Поэт сказал об этом вслух,

* * *

11 марта завсегда и «пятниц» вместе с обоими Чапеками сидели около радио. Гитлер напал на Австрию. Мы были в пасти фашизма. После передачи, подобной похоронному звону, мы вдруг почувствовали облегчение.

«Раз уж это произошло — пусть будет так!» — сказал кто-то. И молодой врач Боучек выкрикнул по-русски слова из припева «Интернационала»: «Это будет последний и решительный бой!»

Мы были убеждены — и в первую очередь Карел, — что этот бой начинается. И что он будет последний и решительный.

«Пятницы» быстро распались. У кого было время на них ходить? У Чапек времени не было, так же, как ни у кого из «завсегдатаев». Все «вполне приличные люди» что-нибудь да делали. Кто что мог. Этот труд приносил нам своеобразную радость. Как таборским женщинам, раскладывающим свои шали и покрывала на дне пруда у Судомержи. Как гуситам, ставящим срубы на Виткове.

Опять пели, как в 1914 году: «Русский с нами, а кто против, тех сметут французы...»

Пражские гостиницы были переполнены иностранцами. Наблюдателями — известными и неизвестными журналистами. Они постоянно приходили к Карелу Чапеку, спрашивая его, что он думает о будущем — о ближайшем будущем. Он считал, что оно будет трудным и ответственным. Не только для Чехословакии — для Франции, для Англии.

«Напишите об этом для нас!»

Карел Чапек писал днем и ночью. Он воздвигал преграды на пути саламандр. Он твердо верил, что остановит их шествие. Кто из честных людей тогда в это не верил? Только верой и жили.

Ах, как нежно любили мы в те предмюнхенские дни осеннюю красоту своей земли! Какими красками она заиграла! Каким безоблачным был над ней небосвод! Как отливало золотом созревающее мельницкое вино! Как сказочно-целомудренна была Прага, распротершаяся на берегу Влтавы! Как верили мы в свою справедливость и правду!

Не знаю, не писал ли Карел Чапек в те дни стихов. Но то, что он ежедневно публиковал в газетах, было прозой столь высокой и по-человечески глубокой, что больше напоминало стихи.

За это ему вслед летела грязь из выгребных ям. Утверждали, что он оставляет Прагу, оказавшуюся а опасности, и намерен бежать за рубеж.

Я не видел Карела Чапека ни в предмюнхенские дни, ни во время мюнхенских событий.

Но я знаю, что именно тогда он написал «Молитву этого вечера».

Мюнхен состоялся.

Утки и вороны от журналистики, которые с весны 1938 года, нетерпеливо хлопая крыльями и громко каркая, черными стаями кружили над чешской землей, в начале октября улетели, насытившись зрелищем вступления Гитлера в пограничные районы.

То, что они хотели увидеть, они увидели. Им было скучно в отчаявшейся Праге.

Наши кровоточащие сердца их больше не интересовали.

В информационном бюро на Велфликовой улице было тихо. Новый министр иностранных дел сменил заведующих отделами. На места бывших начальников пришли новые. Подчиненные им референты подшивали к делу сведения о мюнхенском кризисе. Другой работы у них не было. Никаких визитов из-за рубежа. Долгими неделями.

И все-таки один гость на Велфликовой улице появился — из Англии.

Это было в конце ноября. Он предъявил письмо из чехословацкого посольства в Лондоне. В нем говорилось, что мистер Эсквайр, редактор «Таймс», «намерен посетить писателя Карела Чапека». Письмо содержало просьбу способствовать этой встрече.

Мистер Эсквайр был англичанин неанглийского вида. Потертый костюм, беспорядочно торчавшие во все стороны седые волосы, щеки, усеянные красными прожилками, глаза мутно-голубые. От него пахло виски. Он напоминал человека, который пришел на похороны дальнего родственника, не знает, кому бы выразить соболезнование, напускает на себя похоронный вид и рад бы уйти, да церемония задерживает.

Он сказал, что вовсе не является знатоком литературы, но все-таки знает, что Карел Чапек — великий чешский писатель. Кроме того, английский читатель ценит Чапека за то, что он написал «Письма из Англии». Он, мистер Эсквайр, — музыкальный рецензент. Редакция послала его в Прагу, чтобы он собственными глазами увидел, как живет Чапек.

Я сказал, что, насколько мне известно, именно сейчас Чапека нет в Праге.

«Я поеду за ним хоть в пекло!» — героически воскликнул мистер Эсквайр.

Англия послала к Карелу Чапеку не его переводчиков. Не уважаемого члена английского Пен-клуба. Редакция «Таймс», издающая регулярное литературное приложение, послала к нему не литературного критика, а именно музыкального рецензента, мятущегося свободного художника со слезами на глазах и мягким сердцем. Наверное, выбор пал на него именно потому, что у него было доброе сердце — ведь он должен был утешить Карела Чапека. Мистер Эсквайр знал, что Карел Чапек нуждается в утешении. Даже до Англии, до древней, равнодушной ко всему редакции, дошла весть о том, что после Мюнхена у нас развязана новая кампания против Чапек, особенно против Карела, кампания еще более отвратительная, чем до Мюнхена.

Писателя отрывали от народа. Хамоватые вечерние газеты называли его «хамом из Хамова». На стену, окружавшую его сад, неизвестные хулиганы клали стреляные револьверные гильзы, намекая таким образом на возможное покушение. Фашиствующая улица клеймила автора «Белой болезни» и «Матери», называя его одним из виновников чехословацкой катастрофы, поджигателем войны и врагом народа.

Чапек уехал из Праги. Не потому, что боялся: это было необходимо, чтобы избежать потока анонимных писем и оскорблений по телефону — ему даже ночью не давали покоя.

Мистер Эсквайр был удивлен: как в Чехии могут не любить мистера Чапека; ведь он автор таких веселых, остроумных вещей. «А что, если ему уехать в Англию? У вас тут, кажется, не очень-то приятно».

Действительно, атмосфера была не из приятных.

Мы ехали от Збраслава к Иловиште лесами, прекрасными даже в этот ноябрьский день. Мокрая дорога была засыпана увядшими листьями. Холодный ветер дул в запотевшие окна машины, дорога перед нами терялась в тумане, было серо и грустно. И в Мнишке было тоже серо и грустно, даже дети не играли на маленькой площадке под голыми липами и у костела на холме. Потом начало моросить и обнаженные поля свернулись под грязной периной тумана. Молодая аллея протягивала тощие руки к невидимым небесам и была похожа на цепочку голодающих детей.

Я спросил мистера Эсквайра, каково происхождение его благородного имени («эсквайр» означает «рыцарь», «дворянин», «помещик»). Он рассказал, что является потомком обедневшей аристократической семьи. Аристократические семьи в Британии беднеют со дня на день. Теперь появилась новая «аристократия» — коммерсанты, промышленники, судовладельцы и просто мошенники.

«Вроде Ренсимена?»

Мистер Эсквайр пробурчал что-то невразумительное.

«Значит, вашей семье не повезло?»

«Не повезло. Это и по мне видно. Платят мало. Я пишу рецензии на концерты. Что вы скажете о серийной музыке?»

На это я ничего не ответил. Не было настроения. Звучала музыка осени.

Мы выехали из лесов уже за Возницей. В этих местах тумана не было.

Багряные дубы пылали, словно факелы. Мы свернули влево, на узкую лесную дорогу.

«Какие у вас замечательные леса. Кому все это здесь принадлежит?» — спросил мистер Эсквайр.

«Не знаю... Отсюда до Добржиша — одному князю...»

«I say... У вас и князя есть?»

«Есть, да не наши».

«Так чьи же?»

«Ну... иностранные...»

«И что же, у них здесь есть земля?»

«Да, мистер Эсквайр. Хотя несколько лет назад мы проводили земельную реформу».

«Значит, вы у них ничего не отобрали? Вы добрый народ».

«Даже слишком. Поэтому теперь они хотят забрать у нас все!»

«Что — «все»?»

«Всю нашу страну! Они возьмут у нас все! Сожрут с потрохами, как у нас говорят».

Мистер Эсквайр улыбнулся на мои последние слова. Машина остановилась. У мельницы? Нет, у дома Чапека. Мы вышли. Было слякотно, речка недобро журчала, с деревьев сыпались капли. Домик — продолговатый, грязно-желтый, удивительно древний: ему было, по крайней мере, лет сто пятьдесят — высоко поднимался над сорняками, над невидимой сердитой водой, мрачный и одинокий, как весь наш мир в то время.

Карел Чапек встал из-за дубового стола. Он был в своем домашнем пиджачке. Нас встретил без улыбки.

«Hou do you do, Mr. Esquire!»¹

«Hou do you do, Mr. Čapek!»²

После этого ответов не ждут.

В маленькой, по-деревенски обставленной комнате Чапека было холодно. Массивный стол, деревенские стулья, на стенах — полочки с керамикой, на столе — словацкая «чутора» и несколько стаканчиков. Чапек налил в стаканчики желтую сливовицу. Ее оставалось совсем немного.

Он сказал: «Прошу, согрейтесь! С отоплением тут неважно».

Мистер Эсквайр со всей обстоятельностью объяснил, что он, как уже известно мистеру Чапеку из предварительного письма, был послан редакцией «Таймс», дабы увидеть собственными глазами, как живет писатель Чапек.

Карел Чапек сказал: «Правда? Я живу хорошо».

«Нет ли у вас каких-нибудь трудностей?» — спросил от имени своей газеты мистер Эсквайр.

«Никаких, кроме тех, которые испытывает вся моя страна. А как вы там, в Англии? Вы счастливы?»

«Нет, — откровенно ответил гость, — и все же... Не хотите ли вы на короткий срок уехать в Англию?»

«Нет, не хочу, — сказал Карел Чапек. — Разве можно покинуть родину?»

«Иногда это необходимо», — сказал мистер Эсквайр.

«Для меня в этом необходимости нет, не такая уж я важная персона. И вообще... — Голос Чапека стал помальчишечьи резким, привычно громким. — Ничего я не хочу, и ничего мне не надо. Что мне хотелось, того нет. Что мне было нужно, у меня отобрали. И Англию я любил. Мистер Чемберлен отобрал ее у меня. Вы можете вернуть мне то, что у меня отобрали? Можете вернуть мне мою страну? My country? Почему вас волную я и не волновала судьба моей страны в Мюнхене? Мне не хочется обижать вас, мистер Эсквайр. Вы приехали в далекую, незнакомую страну. Это мило с вашей стороны. Но мне ничего ни от кого не надо. Передайте от меня привет в редакции вашей знаменитой газеты. Пусть

¹ Здравствуйте, мистер Эсквайр! (англ.)

² Здравствуйте, мистер Чапек! (англ.)

обо мне не беспокоятся. Как-нибудь переживу. Я знаю, что будет плохо. И нам, и вам. Я не хочу этого видеть. Не хочу этого слышать. Хватит всего этого. Говорю вам, хватит! Сыт по горло... Давайте поговорим о чем-нибудь другом».

Но ни о чем другом мистер Эсквайр говорить был не способен. Он сидел тихо. Грустно смотрел в темнеющее окно ипил сливовицу, один стаканчик за другим.

Чапек встал, зажег свет и сказал по-чешски: «Добрый вечер!» Он всегда так говорил, когда включал свет, и на наших «пятницах» тоже.

Мистер Эсквайр спросил меня шепотом: «Пора уходить?»

«Пора, — сказала я. — Уже поздно».

Мистер Эсквайр простился с Карелом Чапек, как, должно быть, прощались рыцари во времена барокко. Он пожелал ему счастливого рождества, которое было еще так далеко и все-таки уже стояло за дверьми. Чапек покачал головой. Он проводил нас до самой калитки. В домашнем пиджачке, левая рука заложена за спину, мальчишеская голова чуть наклонена вбок,

Он сказал по-чешски: «Ну что ж, прощайте!»

И закрыл за нами калитку на ключ...

До самой Праги мы с мистером Эсквайром ехали молча.

С того дня я никогда больше не видел мистера Эсквайра. И Карела Чапека.

На рождество он умер в своем пражском доме от воспаления легких. Это было 25 декабря 1938 года.

Он умер, потому что не мог и не хотел жить.

* * *

Его похоронили на Вышеграде.
Над могилой его стоит распятие.

ВИТЕЗЛАВ НЕЗВАЛ

ИЗ КНИГИ «ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ»

Как-то раз в 1926 году Ванчура по просьбе Карела Чапека привел меня на одну из «пятниц». Дескать, там кто-то будет, и мы с Ванчурой ожидали, что это будет Отокар Бржезина. Это был Т.-Г. Масарик. [...] Может быть, потому, что среди гостей оказались мы с Ванчурой, разговор все время шел о коммунизме. Масарик сказал, что отвел бы коммунистам на Подкарпатской Руси участок земли, на котором они могли бы испытать «свои экономические теории». Я довольно нелюбезно возразил, что коммунизм не подопытный кролик и способен завоевать то, что принадлежит ему по праву. Не знаю, не пожалел ли Чапек, что позвал меня, но и после ухода президента он держался по отношению ко мне вежливо и сердечно. [...] Карел Чапек, который явно испытывал муки неуверенности, пока мы говорили, сострил: «А еще утверждают, что коммунисты не признают индивидуального террора. Здесь их только двое, а никто уже ни о чем другом не ведет речь, кроме как о коммунизме». [...]

Чапек любил людей, в которых верил как в литераторов, верил в их дарование, в их решимость осуществить свои литературные планы. Он пригласил меня еще раз, когда они с Йозефом Чапеком были дома одни. Тогда разговор шел о поэзии, и Карел Чапек признался, что писать стихи от первого лица ему мешали бы стеснительность, стыд. В драме, где лирика преподносится от третьего лица, ему уже ничто не мешало писать, как он хотел. Этот вечерний разговор о лирике сделал для меня значительно ближе автора «Сияющих глубин» и других удивительных произведений. Искусственная предубежденность нашего поколения против Карела Чапека и его творчества проистекала из полити-

ческих причин и была давнего происхождения. Чем чаще мне выпадал случай хотя бы мельком говорить с Карелом Чапеком, тем быстрее меня покидало сектантское предубеждение члена «Деветсила» против человека иных взглядов и тем больше человеческой симпатии я к нему испытывал. Его глаза были прекрасны, а жизнь необыкновенна. Нельзя отрицать, что и Карелу Чапеку была присуща интеллектуальная предвзятость и он с трудом отделял человека от отпечатка, наложенного на него политическим направлением. Чапек хотел служить, хотел своим искусством воспитывать народ, и не надо забывать, что большая часть его творчества нова, поразительна в литературном отношении и прекрасна в высшем смысле этого слова.

ЭДУАРД ВАЛЕНТА

ИЗ ПИСЬМА

[...] Я был редакционным коллегой Карела Чапека с 1920 года и до его смерти, следовательно, почти двадцать лет, но я работал в главной редакции, тогда как он был членом пражской редакции-филиала и наезжал в Брно лишь время от времени. [...]

Как Вы, вероятно, знаете, Карел Чапек стал сотрудником «Лидовых новин» благодаря тогдашнему их главному редактору Арношту Гейнриху, ныне забытому крупному журналисту, прежде всего журналисту-организатору, который, к сожалению, позднее стал алкоголиком и преждевременно умер. Этот «Наполеон чешской печати» был до жестокости строг и способен без предупреждения уволить даже старого редакционного работника, если тот согрешил против духа чешского языка. Но у него был чрезвычайно острый нюх, с помощью которого он умел разгадать талант и возможности каждого. Помимо прочего: хотя у него вовсе не было музыкального слуха и он вообще не разбирался в музыке, он еще в 1920 году знал, что Леош Яначек гений, а ведь только сейчас этот давно умерший композитор снискал мировое признание. Карел Чапек был одним из приобретений Гейнриха и поступил в нашу редакцию при условии, что одновременно будет принят и его брат Йозеф. Это важно подчеркнуть, хотя в позднейшие годы, главным образом, в конце жизни, оба брата идеологически, художественно и человечески совершенно разошлись, что и у нас мало кто знает. В книге их сестры Гелены Чапковой, которая вышла в прошлом году в издательстве «Чехословацкий писатель» и наверняка имеется у Вас, есть явственные намеки на это. Сия госпожа, умершая в прошлом году, не слишком любила Карела, зато Йозефа

любила безгранично. Сам я знал Йозефа многим меньше, чем Карела, и он был мне чужд. По сравнению с сердечным и открытым Карелом он был замкнут, холоден, строг. Как художника я очень его ценю, как писателя меньше. Он был весьма близок к коммунистическому художественному поколению, которое тогда пестовало «авангард», кубизм, сюрреализм, поэтизм, инфантилизм и вообще непонятное искусство, начисто отвергаемое современной марксистской эстетикой, — мне оно и тогда было совершенно чуждо, — Йозеф упрекал Карела, что тот пишет для служанок, а Карел как раз этим и гордился. Настолько парадоксальной была тогда ситуация: Карел, политический прагматист и отнюдь не революционер, человек, близкий Граду, Масарику, писал для народа и был любим народом, в то время как коммунистический авангард писал для нескольких избранных, а зачастую и для снобов. Сейчас такие художественные манеры остались только на Западе.

Важно напомнить, что хотя Карел Чапек являлся членом редакции «Лидовых новин», которые были частной собственностью семьи д-ра Ярослава Странского, решительного противника коммунизма, это не означает, что Карел Чапек был представителем какого-то буржуазного лагеря. В «Лидовых новинах» сосредоточился цвет чешской нации. Под их крышей охотно принимали почти всех коммунистических поэтов и писателей: С.-К. Неймана, Витезслава Незвала, Ярослава Сейферта, но там печатался и Йозеф Копта, Франтишек Лангер, католик Ярослав Дурих, так же как и видные рураллисты, — нечто вроде аграриев, — а позднее католики Заградничек и Чеп, — все печатались вместе.

Я познакомился с Карелом Чапек в 1922 году. Мне тогда было 23 года, ему — 33, я только что перешел с должности редакционного стенографа на должность редактора. Когда Карел Чапек приехал в Брно, мы вместе бродили по улицам. Живо помню, что он как раз вернулся от поэта Отокара Бржезины, в то время кандидата на Нобелевскую премию, который жил как простой директор школы на пенсии в местечке Яромержице под Рокитной и принимал там гостей из всех стран. Карел Чапек говорил о старике необычно и восхищался главным образом тем, что этот нелюдим в своем деревенском уединении прекрасно информирован обо всем

на свете и с любой точки зрения: художественной, научной, экономической и политической. Вскоре после этого я побывал у Бржезины, и тот, в свою очередь, с восхищением отозвался о зрелой мудрости Карела Чапека и предсказал ему мировую славу. [...]

В 1923 году я стал собственным корреспондентом «Лиловых новин» в Оломоуце. [...] Там [...] у меня началось воспаление тройничного нерва, а это сопряжено с жестокими болями. Тем не менее вечером я все же передал по телефону сообщение в Брно и пожаловался на свои страдания. Как же я был удивлен, когда на следующее утро в мою квартиру ворвался Карел Чапек, привезший мне заграничное лекарство тригамин, которое нашлось у него дома, потому что и сам он страдал этой болезнью. Оказалось, вечером он сидел в пражской редакции и от телефониста узнал, что редактор в Оломоуце болен, тут же забежал домой за лекарством, потом быстро на вокзал и — в Оломоуц (а ведь это пять часов поездом!). Вот поразительное проявление человечности: он ведь меня почти не знал, я был 23-летний, начинающий. Этот жест чрезвычайно сблизил меня с Карелом Чапеком, а потому я охотно извинял и его слабости, даже недостатки, прежде всего болезненную осмотрительность в обращении с деньгами и в конечном счете — его джеймсовский прагматизм, с которым я никогда не соглашался.

Другое мое, вероятно, важное для Вас воспоминание, касается «Войны с саламандрами». [...] В 1929—1930 годах мы с моим редакционным другом Бедржихом Голombeком сделали литературную запись по рассказам слесаря Яна Вельцля, прожившего 30 лет на острове Новая Сибирь, где он был даже эскимосским вождем, и затем выпустили две книги о его жизни на Севере, Книги вышли на нескольких языках, и одна из них («Тридцать лет на золотом Севере») получила в Америке премию в 10 000 долларов как лучшая книга года. Она вызвала в Америке такую сенсацию, что по воскресеньям в нью-йоркском еженедельнике «Таймс» отводилось специальное место для дискуссии и споров вокруг личности автора. Предисловие к американскому изданию написал Карел Чапек, который (единственный у нас!) сразу же понял, что фантастическая жизнь Вельцля не придумана. Прославленный американский эскимолог Вильямур Стефансон, профессор Хановерского уни-

верситета в штате Нью-Хэмпшир, в статье «Вокруг Вельцля» заявил, что речь идет о гениальной мистификации, поскольку на Новой Сибири ни эскимосы, ни белые охотники никогда не жили и не живут и что автором этой мистификации, по всей вероятности, является сам Карел Чапек, решивший посмеяться над всем миром. Карела Чапека это очень позабавило, и оба мы, он и я, написали в «Нью-Йорк таймс» статьи об истинном положении вещей, я указал и адрес Вельцля в канадском Доусоне (у границ Аляски). Туда сразу же полетели американские журналисты, в самом деле нашли Вельцля и взяли у него интервью. Тем не менее сенсация получила продолжение. Как раз в это время из Арктики вернулась экспедиция советского антрополога профессора Пинегина, которая искала там скелеты мамонтов... и нашла людей, эскимосов и белых охотников, живущих в пещерах, — все точно так, как изобразил Вельцль, в мировой печати даже появились фотографии, которые доказали, как мастерски изобразил Вельцль этот безлюдный ледяной мир. Это довольно малоизвестный эпизод в жизни Чапека — важно, однако, то, что чапекковский капитан ван Тох точно копирует внешний облик и манеру речи Вельцля. Вельцль вдохновил Чапека на создание этого персонажа. Когда Чапек решил писать «Войну с саламандрами», он приехал ко мне и Голомбеку в Брно, ознакомил нас со своим замыслом, спросил нас о фигуре Вельцля и, чтобы было ясно, что он идет на умышленный «плагиат», попросил разрешения вывести в романе и нас под полными именами. Там и в самом деле в начале романа появляются редакторы Голомбек и Валента (я), более того, в их разговоре есть и упоминание о Вельцле — таким щепетильным был Чапек в вопросах художественной честности. [...]

ЯН МУКАРЖОВСКИЙ

КАРЕЛ ЧАПЕК-ПИСАТЕЛЬ

Вспоминать о Чапеке-писателе... но как трудно и странно вспоминать о том, кто еще, кажется, живет среди нас! Ведь он ушел лишь вчера, недосказав последнего слова своей последней книги. Он, в эссе и путевых очерках доверительно беседовавший с каждым своим читателем, смолк на середине фразы, и мы невольно ожидаем продолжения разговора. Вот почему, когда я вспоминаю о Чапеке-писателе, я вижу живую сцену, которая хоть и разыгралась четыре года назад, но стоит перед моими глазами, словно с тех пор не прошло и минуты.

Карловы Вары, чудесное лето; Чапек с пани Ольгой Шайнпфлюговой лечится и пишет. Мы встречаемся ежедневно. Чапек пишет «Войну с саламандрами». Но пока лишь неопределенно упоминает о «романе», а что в этом романе будет — не говорит. Как всякий усердный труженник, он выражает то удовлетворение, то неудовлетворенность тем, «как ему сегодня писалось». Потом неожиданная встреча с брненским профессором В., правоведом, которого Чапек упорно расспрашивает: «Видите ли, у меня в романе этакие странные создания, животные, которые постепенно становятся людьми. Возникают сложные вопросы их правового статуса, такие-то и такие. Возможно ли в смысле правовых норм то решение, которое я даю?» На вопрос, что это за создания и о чем в романе идет речь, Чапек отказывается отвечать и, с благодушным юмором намекая на теоретическую приверженность профессора к нормативной философии права, добавляет: «Назовем их хотя бы «нормотвориками». Вот и все. Что я хочу этим воспоминанием сказать? Лишь то, что доступ в духовную мастерскую поэта закрыт на несколько замков.

Возможно, — да и наверняка, — те, кто стоял к Чапеку ближе, и самые близкие могли бы сказать больше других; но и они, вероятно, не сказали бы всего. Следовательно, придется довольствоваться тем, что расска-

зал в «Метеоре» о своем поэтическом творчестве сам поэт. Помимо прочего, там говорится:

«Я пытаюсь объяснить вам, что, руководствуясь фантазией, мы переступаем рубеж бесконечности, выходим в мир, не ограниченный нашим опытом, лежащий за пределами познания, содержащий неизмеримо больше того, что нам известно. И скажу вам, что мы ни за что не отважились бы вступить в эти беспредельные края, если бы не ворвались туда совсем случайно и внезапно, в стремительной погоне за чем-то ускользающим от нас. Если бы бес-искуситель шептал нам: «Ну-ка, придумай что-нибудь несуществующее», — мы бы смутились и отказались от столь пустого и бессмысленного занятия. Нам было бы страшно пуститься без цели в неизвестном направлении по этому *Mare tenebrarum*¹. Зададимся же вопросом: какой смысл человеку, который не хочет, чтобы его считали безумцем или обманщиком, выдумывать что-нибудь несуществующее? Есть только один ответ, к счастью, ясный и несомненный: оставьте его в покое — он не может иначе. Он поступает так не по своей воле, его тянет, как на аркане, он гонится за чем-то, и его извилистый путь — это путь необходимости. А что такое необходимость, спросите не его, а бога».

Из этого отрывка можно сделать вывод о подсознательной необходимости и таинственной жути поэтического творчества. Здесь пролегает граница, за которую не проникнуть наблюдающему со стороны; даже такой осознанно пишущий и проницательный поэт, как Чапек, творит не по своей воле и не по свободному выбору: «что-то» творит в нем — и это «что-то» есть тайна творчества.

Но то, что верно применительно к творческому процессу, не распространяется на законченное произведение. Такое произведение и для самого поэта — готовый факт, который он уже не в силах изменить и относительно которого столь же свободен от обязательств, как любой из читающих. И тем более — Чапек, ибо он не только творец, но и ценитель искусства, даже его теоретик. Уже диссертация Чапека имеет характерное название «Объективный метод в эстетике». Следовательно, готовое художественное произведение, по Чапеку, познаваемо; как предмет познания он воспринимал и собствен-

¹ Море мрака (лат.).

ное творчество. Так, например, о своих «Рассказах из одного и другого карманов» он сообщал в письме:

«Ядром «Рассказов из одного кармана» был замысел написать гносеологические художественные исследования о путях познания; а поскольку речь шла именно о «путях познания», сам собой напрашивался жанр детективного рассказа. Тут перед вами так называемое оккультное познание, познание поэтическое, рутинное, грубо эмпирическое и так далее. Только в процессе работы и против моей воли возник другой мотив — этический, проблема справедливости. Вы найдете этот мотив в большинстве рассказов второй половины «Одного кармана».

Кроме того, там есть несколько рассказиков, возникших как бы на обочине и не относящихся ни к той, ни к другой группе. По своей сути это критическая книжка, и потому она написана по-журналистски. Второй том («Рассказы из другого кармана») тематически более свободен; там речь идет скорее о поисках взблесков человечности и нежности в рутине жизни, ремесла или привычных оценок».

Вот чем было для Чапека-писателя художественное произведение: творением человека, сделанным с большим или меньшим мастерством и требующим от своего автора такого же серьезного внимания и технического умения, как и любой иной вид человеческого творчества. И потому он желал себе такой критики, которая разбирается в писательском ремесле и докапывается — как он некогда сказал — «до сути дела без эссеистских фокусов». Теоретик искусства по образованию, Чапек хотел бы для себя критика, который знает, что вещь должна быть «сделана», и умеет оценить, в какой мере это удалось. В таком понимании творчества мало пафоса, зато — великое сознание ответственности писателя перед произведением и читателем.

Отсюда и страстный интерес Чапека к теоретическим проблемам искусства. Вспоминаю (а со мной, безусловно, и другие), как по «пятницам», когда разговор о событиях недели слишком увлекал тех, кто был близок к общественной жизни, Чапек порой отсаживался в сторонку и приглашал своих собеседников в другую комнату: «Оставьте в покое политику, пойдемте говорить об искусстве!» О чем мы обычно говорили? Я вспоминаю не слишком явственно, ибо во время такой оживленной дискуссии у ее участников обычно не остается

времени для наблюдений. Поэтому в памяти сохранились не столько темы бесед, сколько некая фрагментарная картина общей ситуации и участников разговора: оппозиционный скепсис олицетворял Фр. Лангер; откуда-то из угла доносились точные суждения Йозефа Чапека; переводчик Й. Паливец возражал (в игре, который легко возникал, когда разгорались страсти) негромко и рассудительно, словно глядя в воздухе рукой стихи своих любимых поэтов. Бывали и тихие разговоры вдвоем: после чтения новой книги Чапека, когда складывалась антология его прозы или когда речь заходила о том, чтобы получить от Чапека статью для журнала «Слово а словесность», да еще когда велась подготовка книжной серии «Тропинки», само название которой выкристаллизовалось из туманной смеси самых различных идей и было предложено Чапеком. В таких разговорах иногда проявлялись многие черты не только писателя, но и поэта Карела Чапека. На вопрос, почему был написан тот или иной роман, какие импульсы послужили толчком для того или иного рассказа, Чапек всегда отвечал без отговорок и без малейших колебаний, причем охотно пускался в воспоминания и сам поддерживал начатый разговор.

Тогда казалось слишком преждевременным тут же записывать хотя бы самые важные из этих фактов; никто не мог подозревать, что так рано начнет смеркаться. Память сохранила лишь отдельные детали; вот одна из них, весьма характерная. Однажды Чапек проигрывал друзьям свои граммофонные пластинки. Когда зазвучала какая-то мелодия, кажется, кубинская, он заметил: «Эта пластинка крутилась с утра до вечера, когда я писал «Метеор». Вы чувствуете, какой там безумный тропический зной?» Это краткое, словно бы стыдливое замечание приоткрывало двери интимного творческого мира поэта.

Я собирался говорить о техническом мастерстве писателя, но снова обмолвился о поэте. Он возник передо мной внезапно, я едва успел его заметить — робкий и погруженный в себя. Что ж, вернемся к писателю. Как смотрел он сам на свое писательское предназначение? Послушаем, что он говорит об этом в «Похвале чешскому языку».

«Материал, с которым имеет дело писатель, — это само сознание народа; каждое слово подсказано ему устами народа; и горе ему, если он воспользуется народной речью для того, чтобы говорить на ней низкие вещи,

Я верю: быть писателем — великая миссия: и прежде всего — в области языка; это обязанность хранить национальную речь и творчески обогащать ее ценностями напевности и ритма, ценностями конкретного и точного видения, чистоты формы и внутренней последовательности. В какие бы глубины индивидуального подсознания ни уходили корни поэзии, крона ее шумит понятийным богатством национального сознания... Если вам удастся сделать речь напевной и ласкающей слух, если вы придадите ей гул колокольного или пушечного литья, если сделаете ее ясной и мудрой, упругой, конкретной, легкой, логичной или возвышенной, — это значит, что вы внушили душе народа эти добродетели; но если ваш язык тяжел, бесформен, стерт и фальшив — будьте вы прокляты, ибо вы согрешили против духовного бытия вашего народа. Писатель имеет дело с говорящей и поющей душой народа; повседневную речь он превращает в ценность духовную и культурную; каждый новый словесный оборот, каждая более высокая ступень содержательности и точности языка способствует обогащению и прояснению национального сознания. Я не знаю хорошего писателя, который не был бы творцом в области языка; нет хорошей литературы без совершенной речи».

Итак, по мнению Чапека, фундаментом поэзии является речь, достояние коллективное, связывающее поэта с народом; и здесь мы замечаем: Чапек особо подчеркивает в поэзии то, что в ней надличностно, что выходит за пределы отдельного индивидуума. Разумеется, поэт — деятельный участник того непрерывного творческого акта, каковым является развитие языка; однако это не только привилегия, но главным образом — ответственность перед надличностными интересами и духовным наследием нации.

Писательская совесть Чапека признает две высшие инстанции: само произведение и того, кому оно предназначено, читателя или, вернее, читательскую аудиторию. И хотя Чапек постоянно адресуется к одному читателю, с которым как бы ведет разговор, этот индивидуальный читатель может быть кем угодно. Чапек не мечтает, как, например, символисты, о читателе, особо избранном, единственном в своем роде, а обращается к читателю, который ощущает себя таким же членом общественного целого, как и сам поэт:

«Удивление и сочувствие — и сегодня неисчерпаемые

и глубокие источники наслаждения для народа; вероятно, их существует больше, но все они столь же примитивны и неодолимо человечески. Если бы надлежало родиться новому, народному, то есть народом воспринимаемому искусству, оно, по-видимому, должно было бы непосредственно и широко апеллировать к этим естественным проявлениям человеческой общенародной психики. Но ни в коем случае не благосклонно снисходить до них, а продираться к ним ценой труда и вдохновения, без чего большое искусство немислимо. Оттолкнуться следовало бы от элементарных поделок, а никак не от шедевров; следовало бы присмотреться к произведениям, развивающим древнейшие традиции (к ним я отношу «Из зала суда», все газетные романы, фильм, героический эпос и другие недооцененные источники), и на этой основе творить новое искусство. Ах, если бы я мог предсказать, как это сделать, я бы не писал этой статьи, а засел за роман; в нем говорилось бы о любви, о героизме и других великих добродетелях, и он был бы таким прекрасным, таким сентиментальным и возвышенным, что каждый экземпляр его переходил бы из рук в руки, из рук, потрескавшихся и распухших от стирки, ржавых от кирпича, испачканных чернилами, в другие руки, с отметинами нелегкой жизни, до тех пор, пока у всех книжек не потерялся бы титульный лист и ни одна душа уже не знала бы, кто это написал. Да и не нужно было бы знать, потому что каждый нашел бы там самого себя, как в песне находит самого себя поющий: «Молодость умчалась, счастья не изведав».

Итак, из поля зрения Чапека в конце концов исчезает каждый отдельный воспринимающий и творящий индивидуум и остается произведение — и человек в своем общечеловеческом значении. Отсюда интерес Чапека ко всем формам народного и примитивного искусства, искусства с поразительными аналогиями и без поддающегося определению индивидуального авторства, брызжущего как из-под земли во всех широтах, в обществах с различнейшими типами организации; отсюда поиски поэтической выразительности, которая воспринималась бы повсеместно. Национальная поэзия, «крона которой шумит понятийным богатством национального сознания» и одновременно — поэзия общечеловеческая, апеллирующая к тому, что в человеке человечески, — таково кредо Чапека-писателя.

АДОЛЬФ ГОФМЕЙСТЕР

ВОЛЯ К ОБЫЧНОМУ

(Из выступления на международном симпозиуме)

[...] позвольте художнику представить вам изображение Карела Чапека, с которым он познакомился без малого пятьдесят лет назад и несчетное множество раз его рисовал. Не стану возражать против ваших шекспировских вздохов: «Если бы это было настолько же правдоподобно, насколько правдиво». Полагаю даже, что так оно и есть, ибо подлинный облик автора подчас находитися в прямом противоречии с портретом, рисуемым литературной критикой.

Карел Чапек до самой смерти выглядел как мальчик. У него были маленькие руки, черные, большие, всегда удивленные глаза, темные, позднее с проседью, густые, гладко зачесанные волосы. На темени три непослушных волоска деда Всеведа. Щеки розовые, как у деревенского школяра. Из-за болезни у него была странная походка, словно у человека, страдающего прострелом. Сердился он как-то физически. В минуты, когда споры участников «пятниц» обретали ожесточенный характер, ему то и дело приходилось укрощать свою нервную непоседливость. Курил он «половинки» — чехословацкая табачная монополия поставляла ему уже разрезанные пополам сигареты. До сих пор не могу понять, каким образом ему удавалось писать, включив на полную мощность граммофон или радиоприемник. При мне он всегда пускал шотландские волынки, очевидно, сознавая, что на меня, кроме оглушительных дудок и барабанов, ничего не подействует, ибо в музыке я не смыслю ни бельмеса. Впрочем, скажи я ему это, он бы без всякого перехода спросил: «А известно ли молодому человеку, что такое бельмес?»

Достигнув того возраста, когда пишут первые стихи, мы уже ощущали себя поколением и основали художественный союз «Деветсил». Мы исповедовали левые

взгляды. Впервые читали Ленина, Кропоткина, Плеханова, Бакунина. Мы были анархистами, коммунистами. Тогда в нашей стране еще не было коммунистической партии. Мы впервые читали «Кочегара» Франца Кафки в неймановском «Червне». Открыли для себя Ф.-Кс. Шальду. У нас был собственный жаргон и страшное недоверие ко всему, что нас окружало. Мы были против всех и даже против самого Алоиса Ирасека. Мы готовы были строить на развалинах новые мировые системы. Чапеки же считали исходной точкой мир, каков он есть. Они его знали. В совершенстве. Со всеми пороками и противоречиями, в том числе и с классовым неравенством. В этом мы с ними не могли прийти к согласию.

Но перед Чапеками мы робели. Они так невероятно образованны! Так начитанны! Они были старше нас. Успели пожить в Париже. Воскресными вечерами прогуливались по набережной, а то и по «Фердинандке», помахивали тросточками, иной раз даже появлялись в котелках. Сотрудничали в «Стопе» Карела Горкего. Сотрудничали в неймановском «Червне» на протяжении всего первого года его издания. Были членами редакции газеты «Народни листы». Основали журнал «Небойса». В газете «Народни листы» тогда была чрезвычайно сильная редакция: Дык, Махар, Чапеки. «Небойса» привлек и нас. Мы начали для него писать и рисовать: Гауссман, Фрич, Вахсман, Фейерштейн, Ванчура, Фучик. А Плоцек, или пан Карел Чапек, на тех же страницах искрился остроумием своих политических ребусов, анаграмм и каламбуров. Так, например, старочешскую газету Баштыржа «Глас народа» он, переставив буквы, переименовал в «Гола сранда»¹. Просто Чапеки были личностями. Они были упрямы. Были современны. И все же мы говорили с ними иначе, чем с С.-К. Нейманом, Шрамеком или Горой. Иначе, чем с паном профессором Неedly. Виноваты были, насколько мне помнится, мы сами. Речь Чапек казалась нам искусственной. Однажды Чапеки пригласили Тейге, Ванеков и меня к себе на кофе (Ржични улица, д. 11). Это была светлая квартира — несколько просторных комнат в ряд, по тем временам, видимо, довольно неэкономная. Квартира была скупко обставлена красной мебелью устаревшего фасона. Мы сидели вокруг стола на стульях из ампириного гар-

¹ Чистая потеха (чешск.).

нитура и казались себе смешными. Мне почудилось, будто Тайге смеется слишком много и слишком громко, Людвик Ванек выражает свои мысли слишком профессионально, неестественно и тягуче, а Карел Ванек выдает все наши планы. Представляете себе такое неприятное ощущение, такую неловкую ситуацию? Чапеки заметили, что нам не по себе. Разговор не клеился. Чего им, собственно, от нас нужно? И что нужно нам здесь, у них? Но в эту минуту Йозеф Чапек вдруг произнес: «С вами говорить, что с обосранным танцевать». И плотину прорвало... Мы были ему благодарны за грубое словцо, сказанное в нужный момент. Таково волшебство освобождающего неприличия, ругательств, брани. Тогда я понял, насколько речь выдает сущность человека, его характер.

Владислав Ванчура писал сочным чешским языком. Пользовался, так сказать, вручную выточенными на токарном станке словами, речью корней, а не кореньев и прыностей, чаще архаизмами, чем просторечием. Если язык поэта и писателя напоминает картину, писанную кистью художника, то речь менторов схожа с фотографией. Но наш обиходный язык правдив, как карикатура или шарж. Он чуть лукав, чуть насмешлив. Именно таковы анонимные пражские простонародные шутки. Это речь вкусная, словно хрен, или хлеб, или лук. А порой она даже сытна и ароматна, как картофель или яблоки. Карел Чапек хотел быть обыденным, хотел говорить обыденно. Это была его программа. И никогда — даже как журналист и мастер «столбцов», «антрфиле» и эпиграмм — он не унизился до газетного языка. Язык газетчика — это речь по обязанности, скалькулированная, состоящая из сплошных повторов, как автоматная очередь холостыми патронами. Эта речь полна спасительных цветистых штампов, обходов и объездов, точно муниципальное шоссе, она умеет кружить вокруг да около и никуда не вести. Если бы Карел Чапек в «Критике слов» не подверг уничтожающей насмешке выражение *«воля к чему-либо»*, я бы воспользовался для характеристики чапековского языка выражением *«воля к обычному»*. Но следуя его рекомендации, лучше выберу выражение *«пристрастие к обычному»*. Я был на премьере «Разбойника» в Национальном театре. Пани Эва Врхлицкая играла Мими, Рудольф Дейл-отец был еще в ту пору

Разбойником, а Фанку играла незабываемая пани Гюбнерова. Тогда Карел Чапек написал в программке (или мы только с ним говорили об этом, теперь уж не помню, на сей счет можно справиться в архиве Национального театра), что сейчас главным персонажем пьесы еще является Разбойник, но, когда автор состарится, главным персонажем, пожалуй, станет Профессор, отец Мими. Я горячо протестовал и в полемическом запале возразил Чапеку, что все равно для него всегда и всюду главной фигурой останется Фанка. Я полагал, что он рассердится, и, очевидно, даже хотел его рассердить. Но ему это, наоборот, понравилось. Я был просто глупым мальчишкой. Пристрастие Чапека к обычному или — верю, Чапек простил бы мне это словечко, которое в данном случае больше подходит, — чапековская *воля к обычному* — была неразрывно связана с его представлением о демократии. Чапек не искал в обыкновенном человеке пролетария. Напротив, он включал пролетария в число обыкновенных людей. По Чапеку, быть обыкновенным — великая честь. Обычность для него в каком-то смысле была постаментом демократии, обычность всегда служила одеждой честного труженика. Труд и трудолюбие, ремесло и гордость ремесленника — вот предпосылки, охранительный щит и истоки демократии. Именно так Чапек понимал труд, так трактовал обычность. Сам он был невероятно трудолюбив. И вовсе не афоризм, а чистая правда его фраза: «Когда мне нечего делать, я работаю». В обычности таится и заколдованная в эту обычность истина. Карел Чапек и Эрнст Хемингуэй формулировали свои взгляды на правдивость и честное отношение к писательскому ремеслу почти одинаково: «Ремесло писателя — говорить правду». Какой это был нелегкий идеал для необыкновенного человека — быть необыкновенным человеком и притом жить обыкновенной жизнью! Он хотел внешне и внутренне походить на народ. Любовь к народной мудрости, готовность учиться у незаметных людей питали его речь, — тот великолепный чешский язык, не предписанный никакими правилами, а услышанный, подслушанный; скорее бодряческий, нежели бодрый, пережитый в пословицах, язык правдивый, народный, чистый. Это был язык настолько правдивый, что в самой своей обычности он уже становился необычным. Становился чем-то редким, возвышенным. Думаю, здесь Чапек раньше и полнее всего достиг своего идеа-

ла. И сразу же нужно подчеркнуть, что его широко-масштабное стремление к обычному вовсе не было при-страстием к мещанству, в чем мы его тогда обвиняли. То была догматическая ошибка нашей юности. Впрочем, не это роняло его в наших глазах. Мещанство не имеет ничего общего с обычностью человека из народа, как малое не имеет ничего общего с большим. Наши с Чапек-ком разногласия коренились в ином. Просто нас ничто не удовлетворяло. Ничто из существующего тогда. На-пример, нас не устраивало чапековское понимание сво-боды. Он всегда заботился о том, чтобы его свобода не ущемляла свободу других. Был продуманно скром-ен. Мы же были нескромны.

Мы спорили с ним о том, что такое свобода. Как мне кажется, спор этот не кончен и сегодня. Является ли мерой свободы человека возможность делать то, что ему необходимо делать? Или же возможность делать то, чего он не должен, но что хочет делать? А если бы мы вдруг попробовали измерять свободу тем, что чело-век делать обязан? Или свободным можно считать лишь такое поведение, которое нарушает запреты? Безуслов-но, мерой свободы человека является его стремление ко всему, что для него доступно и возможно. Но ныне все эти перечисленные нами свободы превзойдены свободой человека делать невозможное. Полеты в космос убедили нас, что условие прогресса — стремление человека к тому, что доселе считалось недостижимым. И эта, каза-лось бы, самая бессмысленная, самая свободная свобо-да с научной точки зрения становится наиболее приемле-мой. Свобода делать невозможное. Чапек, уважавший все плоды законной свободы, соприкасался с этой буй-ной мечтой о свободе в своей фантастике. Чапековская фантастика, произвольно послужившая толчком к ги-пертрофированному производству научно-фантастической литературы, не была утопичной, а явилась результатом серьезного научного изучения, основывалась на фактах реальной действительности. Все, к чему обращался Ча-пек в своем творчестве, он знал, и знал основательно. Это был добросовестный, пытливый человек и добросо-вестный, пытливый писатель. Но с каждым годом его все более тревожил ход исторических событий, и потому от отдаленного будущего он все ближе подходил к совре-менности, — хотя не следует забывать, что с каждым го-дом и будущее неотвратно приближалось к нему. [...]

Если бы авторы научно-фантастических романов лучше знали дальнейшее развитие чапековского творчества, думаю, они бы открыли и путь Чапека к правде. Путь сознательный. Честный. Обычный. И нелегкий.

Позвольте мне процитировать тут высказывание одного писателя, большого эстета, который на первый взгляд не имеет к нашей теме никакого отношения; он написал фразу, весьма подходящую к Карелу Чапеку. Как ни странно, это Джон Рескин: «Говорить правду — как хорошо писать — и то и другое приходит с практикой». Думаю, так оно и есть или, в данном случае, было. От книги к книге Карел Чапек становился правдивее и значительнее.

Он был сложной личностью, и понять его было нелегко. К тому же о себе Чапек написал не слишком много. Он придерживался взгляда Карла Крауса: «Не люблю вмешиваться в свои интимные дела». В 1927 году я придумал лаконичную изобразительную формулу внешности Карела Чапека. Его профиль стал чем-то вроде печатки. Это было как стенографическое сокращение. Не скажу, что он был именно таким, каким я его изобразил. Его облик менялся с каждой переменной настроения. Нужно было обобщить все выражения его лица. Я знаю, у него был не совсем такой нос и совсем другие волосы, но так он казался больше похожим на себя, чем даже в действительности, потому что был проще и смотрел на мир еще удивленнее. От непрестанного изумления и напряженного внимания глаза широко распахнуты, рот полуоткрыт; он ласково склонился к низким, приземленным, обыкновенным вещам. Одежду он носил без всякой самоуверенности. Казалось, он был на ножах со всеми общепринятыми законами ношения галстуков, воротничков, перчаток. Немного ребенок и немного упрямый недотепа. Я разделял Чапеков по цвету: Карел был красный, Йозеф синий. Впрочем, Карел Чапек сам изображал себя мастерски. Куда мне до него! Но я предпочитал рисовать его таким, каким я его любил.

Йозеф Чапек, когда я впервые нарисовал Карела, написал мне письмо. Адрес его был таков: «Адольфу Гофмейстеру, негоднику». Он упрекал меня, что с тех пор, как я сделал свой оттиск внешности Карела, он не может рисовать его иначе, чем я. Но думаю, — и говорю это, ей-ей, не от излишней скромности, — он ошибался. Скорее его рисунки повлияли на мои, но Йозеф Чапек

рисовал кистью, а для внешности Чапека больше подходило перо. Он был тоньше. И более хрупок. Был эмоциональнее и чувствительней. Был даже как-то немного расщеплен. Я нарисовал многие сотни, а может и тысячу различных портретов Карела Чапека, иллюстрировал его произведения, положительно оценивал его газетные начинания и порой отрицательно — его позицию в политике. Делал обложки к его книгам. Словом, хотя наше поколение и Чапек поначалу выступали почти как соперники, мы никогда с ним не расходились окончательно.

В последние годы жизни он невероятно быстро развивался и завидными темпами перегонял все либеральные литературные фазтоны. Собственно, можно сказать, что он обгонял нас во всем, вплоть до собственной нашей сферы, несмотря на то, что мы тоже проделали свой путь ускоряющегося революционного развития. В пору Мюнхена разногласия поколений отпали. И хотя политически нас еще многое отделяло друг от друга, во всех основных вопросах мы были единодушны. Это уже не было взаимное снисхождение, или уважение, или признание. Это был дружественный союз. [...]

ВАЦЛАВ ВЫДРА

МОЕ ЗНАКОМСТВО С КАРЕЛОМ ЧАПЕКОМ

Мое личное знакомство с К. Чапекom состоялось, когда он начал работать у нас, на Виноградах, в театре и для театра. Придя к нам, он не имел никакого представления ни о закулисном мире, ни о распределении и организации труда в театре. Но очень скоро осмотрелся и даже дождался собственного режиссерского дебюта. Сразу было видно — он знает, чего хочет, а знал Чапек, что людям нужен живой и привлекательный театр, соответствующий намерениям и духу автора.

Для своего режиссерского дебюта он выбрал Зейера. Чапек умел взяться за дело уверенно и ловко, умел неповторимо просто, убедительно и, я бы сказал, играючи договориться с актерами. И хотя с технической стороной театра знакомился только во время репетиций (к примеру, он ничего не знал о существовании бутафора и, как говорил мне, был убежден, что реквизит актеры приносят из дому), поставил спектакль, который я смотрел из партера с превеликим удовольствием. А когда актеры, взявшись за руки, благодарили аплодирующих зрителей и Чапек — в духе комедии дель арте — бежал вместе с ними в цепочке через сцену, я сказал себе: он умеет даже это. И хрупкая безделушка Зейера, которая до тех пор редко появлялась на сцене, а с того времени, кажется, вообще вот уже 17 лет не ставилась, обрела свою театральную жизнь. Незадолго до ухода с виноградской сцены я играл в поставленном им «Ченчи». Во время этой совместной работы мы успели обоим много побеседовать. Чапек говорил: трудно объяснять и показывать актеру, как ему играть ту или иную мизансцену. Знать это — задача самого актера. Но ему, вне всякого сомнения, можно объяснить и рассказать, в какой обстановке действует и живет персонаж, которого

он играет, что заставляет этого персонажа поступать так, а не иначе и каковы скрытые пружины его поведения, каково его отношение к другим действующим лицам и как он оказывается в ситуации, обретающей драматический характер. Актеру нужно четко представлять себе всю предысторию персонажа, кем он был до того, как попал на сцену, где и в какой среде, в каких семейных и общественных условиях рос и жил, что в процессе воспитания могло повлиять на него, побуждая действовать так, как этого требует в пьесе автор. Растолковав ему все это, Чапек помогал дереву запустить корни глубоко в землю задолго до того, как оно разрасталось вширь и ввысь. Он заверял меня, что этой методой ему, как правило, удавалось добиться от умного и восприимчивого актера именно того, чего он хотел, и притом легче, чем путем прямого диктата или подсказки — что и как делать в той или иной ситуации, с какого конца подойти к роли. А вы без труда можете догадаться, как пластично, живо, выразительно и вместе с тем просто и ясно умел Чапек рассказать обо всем этом актеру!

Когда мы репетировали его «Творца», он спросил меня, легко ли произносится вступительный монолог Адама, который длится почти 20 минут. Я со спокойной совестью мог сказать, что монолог этот произносится великолепно. Речь течет естественно, она пластична и чиста, без сучка и задоринки, без всякой вычурности. Глаза у него просияли. Именно этого он и хотел. Чапек стремился сделать наш родной язык таким, каким ему и положено быть, — прекрасным при всей своей простоте и легко произносимым. И мало кто умел и умеет добиваться этого так хорошо.

А когда через год-другой (к тому времени Чапек уже не работал в театре) я заговорил с ним при встрече об опыте, который ему дала короткая театральная деятельность, он подтвердил мое мнение, что каждому театральному рецензенту следовало бы, по крайней мере, год проработать в театре или в тесном контакте со сценой и театральной практикой. «Нигде, — говорило он, — теория не подводит так часто, как в тех случаях, когда рецензент знает театр только по впечатлениям из зрительного зала да по книгам».

ЛЕОПОЛЬДА ДОСТАЛОВА

С ВОСХИЩЕННЫМ И БЛАГОДАРНЫМ УВАЖЕНИЕМ...

Карел Чапек не относился к числу авторов, которые не знают, *как* будет поставлено их произведение. Создавая свои драмы, он, как мне думается, имел очень ясное и конкретное представление, для какого актера или актрисы их пишет... Когда много лет назад он впервые читал в своей квартире «Средство Макропулоса», то пригласил на эту читку только нас, тех, кого он непосредственно имел в виду, работая над образами отдельных персонажей. Чапека очень интересовало, как мы будем реагировать на создания его фантазии. Мне, например, он сказал, помимо одного более важного замечания: «Видите, я сделал даже ваш маленький шрам на шее».

Тогдашнюю виноградскую премьеру он сам и режиссировал, однако режиссура, хотя он служил ей с любовью и нередко с успехом (назову наугад «Хлеб» Геона), все же была лишь эпизодом в его великом драматическом творчестве. Конечно, эпизодом, которым он отнюдь не пренебрегал, относясь к нему, напротив, с искренним и, быть может, даже горячим увлечением, как, впрочем, и ко всему, что он делал.

Спустя годы я стала участницей еще одного чапековского спектакля, исполнив роль Матери в «Белой болезни». А меньше чем через год после этого, во время рождественских праздников 1937 года, Чапек щедро одарил меня своей «Матерью». Уже тогда, при первом чтении, все мы, слушатели, были потрясены этим совершенно необычным и таким человеческим произведением. Мы понимали, что оно станет вершиной театрального сезона. И хотя после премьеры критические отзывы о пьесе не прозвучали столь единодушной похвалой, как мы ожидали, я твердо убеждена, что «Мать» Чапека, когда ее станут оценивать в более отдаленной перспективе и без

предрассудков, будет признана одной из величайших современных драм. Впрочем, заграница уже подтверждает мое мнение.

С душевной дрожью приняла я этот дар — роль настолько большую и содержательную, что меня пугала близкая дата премьеры.

И при создании роли Матери у автора было конкретное представление об актрисе, которая будет ее играть. Мне же, признаюсь со всей искренностью, вовсе не доставило особой радости, когда уже во время первых репетиций на сцене появился Карел Чапек. Почему? Боже мой, это же так просто: получаешь роль, принимаешься за нее с любовью и страстью, но от всего этого в голове у тебя пока еще хаос, ты еще недостаточно срослась с персонажем, и присутствие автора тебя стесняет. Не хватает слов — поэтому не можешь «разговориться», как бы тебе ни хотелось, еще не владеешь внутренним ритмом, а тут перед тобой сидит автор, знает каждое слово, отчетливо представляет себе каждую фразу. Может быть, он разочарован? Первая репетиция, но автор, Чапек, молчит; смотрит, наблюдает и молчит. Ощущение не из приятных, скажу я вам! Однако Карел Чапек был (как трудно выходит из-под пера это *был*) не только автор, а и бесконечно милый человек; когда на следующей репетиции он заговорил, это были не слова одержимого собственной идеей драматурга, скорее дружеские советы; Чапек не добивался осуществления своих замыслов, а лишь четко объяснял свои мысли и представления. И хотя, если говорить искренне, я сначала побаивалась Чапека, он завоевал мою любовь, несмотря даже на то, что после премьеры, когда мы вместе стояли на сцене перед аплодирующей публикой, сказал: «Знаете ли... на генеральной репетиции вы, по-моему, играли еще лучше!»

Как актрисе «Мать» дала мне столько, что с тех пор имя — Карел Чапек — для меня непосредственно связано с понятием — «Мать».

Позднее, по окончании этой последней работы со *всемирно известным* Карелом Чапеком, мы очень сдружились с незабываемым Чапеком-человеком, с бесконечно проникательным, мудрым и снисходительным наблюдателем жизни и ревностным работником (в самом прекрасном смысле этого слова) на ниве национальной культуры; с неутомимым, по-мальчишески милым и очаровательным хлопотуном среди домашней суеты и близких.

О том, что он любил природу, известно достаточно хорошо, но *как* он любил каждый листочек, каждый цветок, который выпестовал, с какой любовью и радостью благоустроивал и совершенствовал ради удовольствия жены родной очаг, — это целая самостоятельная глава. Я узнала Карела Чапека и с этой сугубо личной стороны, и, имея в виду также его большую, нежную, лишенную эгоизма любовь к жене, которая была для него на свете не только любимой женщиной, но и опорой в надеждах, самой твердой опорой в его вере, я, женщина, я, актриса, вспоминаю о Кареле Чапеке с восхищенным и благодарным уважением.

КАРЕЛ ДОСТАЛ

ЧАПЕК И ЕГО РЕЖИССЕР

В мою жизнь Карел Чапек вошел как личность, наделенная такой редкой цельностью, что мне нелегко выделить какие-то отдельные стороны его натуры. Может быть, в целях эстетического разбора позволительно устанавливать различия отдельных частей созданного, но в своих отношениях с тем или другим человеком он был всегда Карелом Чапек, то есть неким гармоническим целым, словно окружность, каждый сектор которой измеряется тем же радиусом.

Я был очень счастлив, когда он доверил мне режиссуру своей «Белой болезни» и «Матери». Я не думаю, что когда-нибудь еще моя работа будет столь щедро вознаграждена. Но не это сознание делает незабвенной для меня постановку обеих этих пьес. Большим событием, за которое я благодарен судьбе, стало для меня участие Чапека в работе по их сценическому воплощению. Хотя я хорошо знал его задолго до появления «Белой болезни», но только в репетиционном зале «Манеса» и на сцене Сословного театра получил возможность наблюдать за поэтом в разгаре творческой работы. Вместе с ним я вдыхал воздух его рабочего кабинета. И не только я, но и актеры, участвовавшие в пьесах Чапека. Это был здоровый воздух, и нам легко дышалось.

Обычно ни актеры, ни режиссеры не любят, когда автор появляется на репетициях, — без него можно работать более сосредоточенно, не смущаясь, полностью доверяя своему творческому чутью, которое хотя и может обмануть, но зато дает крылья для полета. Поэтому мы работаем лучше, когда не чувствуем над собою контроля. Мы знаем к тому же, что автор не всегда прав, то есть не прав в нашем театральном смысле. Чапек обладал всеми предпосылками для того, чтобы с ним работа-

лось по-иному. Мы знаем, что Чапек обладает не проявившимся полностью, но своеобразным режиссерским талантом, три или четыре его постановки в театре на Виноградах вызвали наше уважение. И теперь во время репетиций мы увидели в нем режиссера, лучше всех понимавшего Карела Чапека. С некоторыми деталями мы не соглашались, пока автор не убедил нас, что без них не был бы Карелом Чапеком. И Карел Чапек при первой постановке имел бесспорное право испробовать резонанс своих собственных представлений, потому что, в отличие от других писателей, его представления были в конце концов именно театральными, — больше того, они принадлежали оригинальному художнику театра. И публика приходила слушать автора, не испорченного тщеславием режиссерской или актерской позолоты. Здесь не могло быть более действенного метода, чем воздать поэту поэтово. Это означало: вложить себя в пьесу целиком, чтобы не обеднить ее ни в чем.

Вот, кстати, одна мелочь, происшедшая во время репетиций «Белой болезни». Мне все время казалось, что могучий трагизм предпоследнего появления Маршала как-то снижается из-за слов его дочери, на мой взгляд, совершенно лишних: «Папа, папочка...» Мое представление об образе надломленного дуба как-то нарушалось из-за этого повторяющегося обращения. Только-только Маршал вырастает в моих глазах до размеров подрубленного гиганта — и бац! — это «папочка». И снова Штепанеку надо из кожи лезть, чтобы восстановить это впечатление. Но Чапек сказал: «Послушайте, не вычеркивайте этих слов. Я верю только в такую трагику, которая может вынести будничное платье. Иначе это, на мой вкус, театральщина».

Я вынужден был согласиться с ним, потому что убедился в том, что художник, полный любви к человеку и даже к человечку, пишет романы и драмы не для того только, чтобы пожинать заслуженные лавры, как очень часто ошибочно полагаем мы, работники театра, он — тот, кто учит нас смотреть на человека более естественно, более просто и поэтому стремится иногда, может быть, слишком бескомпромиссно устранять складки, заглаженные на брюках, всюду, где они кажутся ему слишком театральными.

Перед репетициями «Матери» он напоминал нам! «Обратите внимание на то, что у мертвых в этой пьесе

двойная жизнь: их удел не только стоять на страже, под- держивая живых, как говорит в третьем акте Дедушка; они населяют дом Матери ее представлениями. Именно представления Матери для сценического воплощения самые важные, потому что Мать смотрит на мертвых глазами воспоминаний. Прошу вас, пусть Пешек постоянно что-то вертит в руках, ведь именно таким его помнит Мать. Конечно, это мертвые, но только, ради бога, пусть Богач и Догнал ведут себя ничуть не более торжественно, чем они вели себя когда-то во время шуточных потасовок в обыденной жизни».

Моим лозунгом всегда было — осуществлять постановку в духе автора пьесы. И зачем что-то менять? В принципе иногда это возможно. Но, пожалуй, только в таком смысле: я говорю себе, что, если бы автор жил сегодня или если бы этот ослепительный француз или бравурный американец жил в Чехии и писал для чешских зрителей и актеров, говорящих по-чешски, он бы, наверное, сам вычеркнул этот пассаж, он бы, конечно, разрешил ту или иную замену ритма и, пожав плечами, однажды сам бы заявил: «Господа, вы делаете это на собственный страх и риск. Но я знаю — в Италии по-итальянски, в Америке по-американски и в Чехии по-чешски. Конечно, если вы проиграете — это ваш проигрыш, а не мой». Со времени совместной работы с Чапеком я всегда мысленно отвечаю авторам: «Дорогой ты мой поэт, ведь я научился слушать поэтический голос от такого учителя, какой тебе не снился. И если я тебе открою, что этим учителем был Карел Чапек, поверишь ли ты тогда, что я не обижу тебя из тщеславия, для вящей славы режиссера? А уж если обижу, то, клянусь, это будет только из-за врожденной неспособности, ведь надо же признать, что и режиссер — всего лишь смертный, который может ошибаться».

Перед началом работы над новой постановкой «RUR» злая судьба лишила меня советов и сотрудничества поэта-режиссера. Но мне казалось, что я слышу его предупреждение: «Ну и мученье мне с этой пьесой. Вы ведь знаете, что ее окрестили утопической драмой. Чего я только из-за этого не натерпелся! С самого момента появления пьесы и друзья, и недруги уверяют меня, что я обязан ее успехом только этому утопическому сюжету. Но каждый не преминет добавить, что утопическая литература сегодня уже не вызывает большого интереса,

Послушайте, сделайте мне такое удовольствие, постарайтесь на этот раз никак не подчеркивать утопический характер пьесы. Пусть выяснится, достаточно ли весомо человеческое и моральное содержание драмы само по себе. Не ищите времени драматического действия где-то в будущем, попытайтесь сыграть ее совсем просто, как будто дело происходит сегодня. То есть, не как игру фантазии, а как действительность. Поверьте, для меня такая проверка совершенно необходима».

ЗДЕНЕК ШТЕПАНЕК

ИЗ КНИГИ «АКТЕР»

[...] Квапилу удалось привлечь в театр на должность заведующего литературной частью Карела Чапека. Это был великолепный ход; поначалу даже трудно было поверить в успех такой затеи, но Чапек пришел, напился пива из глиняного кувшина — и был наш!

Встреча с Карелом Чапеким имела для меня необычайное значение. С каким сердечным удовольствием вспоминаю я этого чудесного человека, разговоры с ним, его тонкие замечания, серьезные, но высказываемые с улыбкой советы. Чапек умел видеть вещи, на которые я прежде просто не обращал внимания, а именно из таких на первый взгляд обычных вещей и складывается жизнь, рождается искусство. Огромная эрудиция, невероятная память, остроумие позволяли ему заниматься, казалось бы, пустяками, которые, однако, после неожиданного легкого поворота вдруг становились серьезными, глубокими идеями, формирующими характер человека, его натуру. [...]

Когда я вспоминаю Карела Чапека, я словно молодую. Мои воспоминания, как и сам он, полны озорства, милого мальчишеского веселья. Должен сказать, что Карел Чапек пришел в Виноградский театр отнюдь не как профессионал, в его жизни это был небольшой экспромт, он появился у нас, чтобы помочь театру, а главное — потому что театр его привлекал и развлекал. И вот писатель пожелал ближе с ним познакомиться, собственными глазами увидеть, как делается спектакль. Так и вышло, что Карел Чапек познакомился с театром, а я — с Карелом Чапеким.

Однако Чапек вовсе не собирался тихо постоять в сторонке и понаблюдать, он хотел прежде всего быть по-

лезным, деятельным и потому решил стать режиссером. Ведь надо узнать и испробовать все.

Первой постановкой Чапека была «Старая история» Зейера. Когда до нас дошли слухи о его намерении, мы только пожимали плечами. А когда Чапек впервые появился перед нами, актерами, на сцене, настал его черед пожимать плечами. Актеры, как и музыканты, любят испытать своего нового дирижера. Но едва Чапек начал, он сразу же завоевал наши симпатии, ибо его режиссура превратилась в некую захватывающую игру актерской игрой. словно вся сцена от его неожиданных выдумок рассмеялась и пустилась в пляс; мы казались себе школярами, вместе с которыми сам учитель замышляет всевозможные проказы. Премьера стала подлинной сенсацией, открытием нового режиссера — Карела Чапека. Чапек сиял.

Иногда мы вместе возвращались после репетиций домой. Оба мы жили на Виноградах. На улице разговор не клеился, сказывалась усталость. Но как только доходили до маленького парка, Чапек оживал.

— Посмотрите, какое чудо — у кленов листья точно паруса!

Он знал названия каждого дерева, каждого куста или цветка и впоследствии с гордостью садовода рассказывал о своем новом садике.

— Непременно приходите посмотреть, увидите, как живут растения, как они умеют бороться за жизнь.

— И откуда только у вас берется на все время!

— У каждого есть какое-нибудь пристрастие, а мое — ко всему еще и полезно, — отвечал он, словно бы между прочим, не прерывая наблюдений за ползущим жучком... — Я должен знать и уметь все, раз я хочу писать. Вот сейчас я учусь писать рассказы, когда научусь — примусь за романы; ну, а когда освою театр, возьмусь и за пьесы.

— Вы же и так все умеете! — возразил я.

Он покачал головой:

— Еще нет, но, кажется, уже догадываюсь, как к этому подступиться. — Он махнул рукой. — Хотелось бы уметь больше. Актеры тоже постоянно должны учиться, но, понимаете ли, мало изучать только то, что непосредственно относится к роли, актер тоже должен знать все, и в первую очередь — самого себя. Вот что я вам скажу, Штепче (он любил меня так называть), вы уже немало

пережили и перевидали, но лишь когда вы научитесь видеть себя, из вас получится настоящий актер. А пока вам все еще чего-то не хватает, изобразительного мастерства, понимаете? Обратите на это внимание.

Это был хороший совет.

Карел Чапек любил актеров, охотно сживал с ними в бутафорской: отопьет пива из старого кувшина бутафора Киселки, перебросит ногу на ногу, вставит в мундштук треть сигареты, закурит — и бутафорская превращается в семинар о театре. Пока не кончался антракт, мы слушали его, как школьники.

Еще Карел Чапек ставил у нас «Хлеб» Геона и шеллиевского «Ченчи». Старого Ченчи играл Вацлав Выдра-старший, его дочь Беатриче — Леопольда Досталова, а я играл ее брата Джакомо. Спектакль вышел очень интересный и имел успех. Через несколько дней после премьеры Чапек явился в бутафорскую и еще в дверях воскликнул:

— Штепче, мы прославились! — и помахал английской газетой.

Потом перевел критический разбор нашего спектакля, не скупившийся на изъявления признания и восторга.

Однако вскоре Чапек простился с театром, который слишком его обременял и не давал возможности заниматься литературным трудом. Но мы с ним остались друзьями. [...]

Совет Чапека долго не давал мне спать. Да, в его словах много правды: актер должен знать и уметь все, поскольку это необходимо ему для работы, для искусства. [...]

По случайному совпадению в то же время, что и я, заболел и Карел Чапек; говорят, это был грипп. Лечил его Карел Штейнбах, который, как и Гуго Гаас, еще не знал, как поступит, останется или уедет.

Был, кажется, предрождественский вторник. Мое состояние улучшилось. Но Харват все еще категорически запрещал мне вставать. Шел примерно второй час ночи, когда меня разбудил стоявший возле постели телефон. Я поднял трубку, любопытствуя, кто так поздно звонит. Слышу веселый голос Карела Чапека:

— Ну, что там с вами? Лежебока! Приходите на рюмочку вина!

— Мне еще не разрешено вставать, — отвечаю, — у меня температура.

— В таком случае, вы мне в подметки не годитесь! Я уже пью вино, тут сидят Бор и Штейнбах, жаль, что вас не будет. Очень жаль!

Потом говорили Бор и Штейнбах, а потом снова Чапек:

— Послушайте, Штепча, вы не симулируете? Кто вас лечит?

— Доктор у меня строгий, — отвечаю. — Харват.

— Ага, этот скаут! У меня лучше — гинеколог! Так живо поправляйтесь и не разлеживайте. Смотрите же у меня!

Я услышал звон рюмок, смех — и Чапек повесил трубку.

«Черт побери, — думаю, — кабы не температура — ведь это в двух шагах, вот бы удивились, если бы я вдруг вошел... Нет, нельзя, надо слушаться врача».

Через два дня Харват явился гораздо позже обычного.

— Я задержался у Чапека, дружище. Не нравится он мне.

— Как так, ведь он мне звонил, что уже здоров.

— А сегодня вызывали меня, — продолжает Харват, — это серьезно, не нравится он мне.

Когда я рассказал ему о ночном разговоре, он взорвался.

— Послушай, дружище, чтобы тебе и в голову не пришло вставать! Категорически запрещаю!

На следующий день настроение Харвата было еще более пессимистическим.

— Мы пригласили на консилиум еще и Пельнаржа, он того же мнения, что и я. Чапек слабеет, температура тридцать пять градусов, пульс нерегулярный, дыхание страшно участилось.

Это был сочельник. Вечером я смотрел на елочку, на спящую от счастья маленькую Яну и думал о Чапеке. Звонил туда, но безрезультатно: никто не брал трубку.

К рождеству Чапека уже не было в живых.

Так, внезапно, в течение нескольких дней, угас дух одного из самых великих людей, каких мы, чехи, когда-либо имели. Это была утрата, потрясшая всех.

Тогда я не подозревал, что, собственно, судьба была к нему еще милостива, что смерть спасла его от худших мук и унижения, ибо сразу же по приходе в Прагу немцы явились, чтобы его арестовать. [...]

МАРТИН ФРИЧ

КАРЕЛ ЧАПЕК И КИНО

Сотрудничество с таким великим писателем, как Карел Чапек, я считаю большой честью для себя. После успеха «Яношика» «Ллойдфильм» заключил договор с Пальё Беликом на главную роль в новом фильме. Правда, сценария еще не было. Раньше такое тоже случалось. А срок договора вскоре должен был истечь. Тут директор «Ллойдфильма» вспомнил, что у него имеется также договор с Карелом Чапекком на экранизацию романа «Гордубал». Разумеется, молодой Пальё не мог играть Гордубала. Вот тут-то и возникла мысль — и даже удалось внушить ее Чапеку, — что Гордубал может обзавестись братом.

Так возникли Гордубалы.

Когда я впервые пришел к Чапеку, он с минуту разглядывал меня. В то время я носил небольшие усики. Чапек смотрел-смотрел, потом указал на меня: «Подумайте только, у этого господина под носом дамские брови». Вот так и началось наше сотрудничество. Мы писали и переговаривались уже почти два дня, а Чапек все продолжал на меня странно посматривать и наконец сказал: «Пан Фрич, пожалуйста, выругайтесь». Я спросил, как мне выругаться, он уточнил, и я произнес то ругательство, которое ему хотелось слышать. «Вот теперь нам будет гораздо легче работать вместе. Ну, я пошел за вином».

И верно, после этого мы гораздо лучше стали понимать друг друга. Интересно, что я всегда находил взаимопонимание с настоящими писателями — как с Чапекком, так и с Магеном, Незвалом или Ф.-К. Шальдой. Обычно хуже обстояло дело с теми, кого профессор Зде-

нек Неедлы называл «писаками». Они-то всегда опасались за сохранность своего «литературного произведения».

Когда Чапек увидел завершённый фильм, он заявил: «Знаете, Фрич, то, что вы сделали из Гордубала, это не плохо, но только уж этот братец... (Чапек называл его Тарзан.) Нет, не нравится он мне — это из другой оперы».

Чапек был строгим критиком и по отношению к своим произведениям, впечатление от каждой новой пьесы он старался тщательно проверить. Для этого он приглашал знакомых разных профессий. Пани Шайнпфлюгова читала вслух пьесу, а потом о ней дискутировали, Чапек внимательно прислушивался к разным мнениям, делая из них свои выводы.

Однажды я присутствовал на таком вечере, когда обсуждалась пьеса «Мать», и это было исключительно интересно.

При работе над «Гордубалом» Чапек не поладил с Милошем Гавелом. Чапека оскорбила неуместная критика Гавела, и он сказал, что его не интересуется мнение всякого болвана. Это имело, впрочем, неприятные последствия. Пан Гавел был владельцем кинотеатра «Люцерна», где шли «Гордубалы», и он снял фильм с программы до конца недели. Таким образом фильм провалился, потому что снять фильм с программы среди недели означало катастрофу. Это произошло только с двумя чешскими фильмами — с «Гордубалами» и с «Рекой» Ровенского.

Я с удовольствием вспоминаю о нашем сотрудничестве с Чапекком. От постановки рассказов Чапека у меня не осталось уже таких приятных воспоминаний. Не из-за них самих, а из-за времени, когда я их снимал. Тогда, как говорится, дела Чапека были плохи. Это было не во времена первой республики, а, к сожалению, после войны. Я не мог пробить сценарий, который написал вместе с Ярославом Жаком и Франтишекком Влчекком. Те, кто был попрличнее, но зато более труслив, пытались свалить все на плохой выбор рассказов, на неудачное обрамление. То, что все-таки удалось снять рассказы Чапека, — заслуга Витезслава Незвала, который один против всех заступился и за Чапека, и за меня. Когда я позднее демонстрировал фильм министру Вацлаву Копецкому, два товарища из министерства, поздравляя ме-

ня, заметили: «Режиссура нам нравится, актерское исполнение — тоже, но вот Чапек нам не нравится».

Интересно, что тогда министр Копецкий очень решительно вмешался и сказал им: «Нет, товарищи, тут вы делаете ошибку. Чапек и Гашек наиболее популярны из всех наших писателей в Советском Союзе, да и я сам написал Чапеку письмо с благодарностью за его «Обыкновенную жизнь». Это все равно, как утверждать, что Периотка слабый журналист. Это была бы ошибка. Он способный журналист, но, к сожалению, работает не на нас». Именно Копецкий первым начал защищать Чапека и сумел его защитить.

ЙОЗЕФ ХАРВАТ

ВОСПОМИНАНИЕ О КАРЕЛЕ ЧАПЕКЕ

Уважаемый товарищ, я получил ваше письмо. Меня обрадовало, что вы занимаетесь Карелом Чапекком. Он был не только великим писателем, но и человеком в подлинном значении этого слова. Вы просите меня рассказать, как он умирал. Много я вам сообщить не смогу. Собственно говоря, я его раньше не лечил, меня позвали на консультацию в последний момент. Это было в канун рождества — 24/ХІІ 1938-го. Мне сообщила по телефону его жена, Ольга Шайнпфлюгова, писательница и актриса, что Чапек уже несколько дней болеет гриппом. Она вызвала врача, но тот не был уверен в диагнозе и настаивал на консилиуме. Она сказала мне также, что в этот же день с утра Чапека навестили его друзья. Он пошел их проводить, когда они уходили, но не мог потом подняться на первый этаж, где находилась его спальня, и ей пришлось помочь ему взойти по лестнице. Я тотчас поехал туда и, к своему ужасу, обнаружил крупозное воспаление легких в тяжелой форме (пневмококковое воспаление легких). Правое легкое было задето целиком, левое примерно до половины. Пациент задыхался, сердечная деятельность сильно ослабла. Осложняло положение и то, что Чапек уже долгое время страдал затвердением позвоночника (болезнь Бехтерева) и не мог как следует откашливаться. В то время мы не располагали еще пенициллином или какими-нибудь другими антибиотиками. Правда, уже имелись первые сульфамиды, но они действовали медленно, а тут надо было спешить — ситуация была критическая. Подводило сердце, и нарушено было кровообращение. Я начал впрыскивать кофеин и другие подобные средства, наконец, глюкозу со строфантином в вену, и состояние больного временно улучшилось, хотя бы настолько, что с ним стало возможно

разговаривать. Я видел, что он находится в глубокой депрессии. Смерти он не боялся, но, как я понял с его слов, на него тяжело повлияла деятельность той группы, которая именовала себя «Влайкой». Это была, собственно, фашистская группа, хотя и небольшая, но очень агрессивная. Чапек считал их деятельность предательством нашей национальной и демократической традиции. Я провел тогда у его изголовья целую ночь. Хотя я старался помешать ему говорить, чтобы он не утомлялся, он упорно возвращался к этой теме, принимая все это ближе к сердцу, чем свою собственную болезнь. Когда он на другой день (25/ХІІ 1938-го) умер, у меня осталось впечатление, что ему не хотелось жить в фашизирующемся мире. Я не стал скрывать этого своего предположения, пожимая в знак сочувствия руку его жене.

Если бы он тогда перенес пневмонию, он бы не перенес концентрационного лагеря. Во время гитлеровской оккупации Чехословакии арестовали его брата Йозефа (мы были с ним вместе в Дахау и Бухенвальде, он вел себя необычайно мужественно, но в конце концов погиб в Бельзене).

Мои воспоминания о Кареле Чапеке, как вы видите, кратки, они касаются неполных последних суток его жизни, но эти сутки врезались в мою память. Болезни удалось сокрушить его благодаря тому, что в нашем народе нашлись фашистские и антидемократические элементы.

ЙОЗЕФ КОПТА

РУКИ КАРЕЛА ЧАПЕКА

Нет ничего удивительного в том, что у стоящего человека руки опущены. Но Карел Чапек свешивает их и когда сидит. А если иной раз он и заставит их двигаться, то всегда с определенной целью. Ползет в нагрудный карман, вынет сигарету, разломит ее и, всадив половинку в дешевый мундштук, сунет эту целесообразную, лишнюю ненужных украшений вещь в левый угол рта. И снова руки затихнут, свесившись вдоль тела. Может быть, отдыхают?

Я знал Чапека до его превращения в садовода, когда он еще не возил тачек, не копал, не разбрасывал по клумбам перегной. Но руки его свешивались вниз, как и сейчас. Правда, теперь они расцарапаны, натружены и все в ушибах — ведь садик должен быть в порядке! Никто никогда не видел, чтобы Карел Чапек запустил пальцы в шевелюру. Или чтобы он проделывал руками какие-нибудь декоративные фокусы. В крайнем случае подойдет к человеку, притянет его к себе двумя пальцами и что-нибудь шепнет на ухо. (Никогда он ни на что не жалуется. Но и радости свои, кроме кактусов и садика, держит про себя. И особенно свои литературные планы). Вот я и говорю: руки Карела Чапека напоминают что-то очень полезное. Какие-нибудь рычаги, металлически точные и непарадные, готовые, когда понадобится, выполнить серьезную работу. Мы существуем для труда. Пока хозяин работает языком, наше время не настало. Оно придет, как только наш хозяин соберется писать.

Когда Карел Чапек говорит, бросается в глаза необычный контраст между свешенными руками и подвижной головой. Скорее, скорее, открой кран — или я лопну! Мундштук, зачастую без сигареты, перескакивает из одного уголка рта в другой. Все работает: глаза, губы,

уши и нос, только руки не шелохнутся. Когда я вижу эти руки, строгие, по-рабочему непатетические, мне кажется, что их рай — на клавиатуре пишущей машинки. Но при том, что сейчас почти у каждого есть пишущая машинка (нередко приобретенная в кредит), Карел Чапек все еще сопротивляется (хотя мог бы обойтись и без кредита). Ладно бы он писал каким-нибудь особо красивым, каллиграфическим почерком! А то ведь почерк у него, я бы сказал, мальчишеский. Да к тому же корявый, будто писал шахтер или прачка. И мелкий, бисерный, как у влюбленных. Ага, вот он собирается писать, уйдем-ка потихоньку, чтобы его руки закружили над четвертушкой бумаги, поплыли по ней, словно два лебедя по воде. Именно так, думается мне, работает Карел Чапек. Хотя потом окажется, что он дробил скалы, добывая для нас самоцветы невиданной красоты.

АННА МАРИЯ ТИЛЬШОВА

УЛЫБКА КАРЕЛА ЧАПЕКА

Эта улыбка, застенчивая, смущенная, полная юмора и беспомощная, доброжелательная и извиняющаяся или вот уже снова обиженная и несмелая... Эта загадочная улыбка — и защита от людей, маска ранимой души, и вместе с тем сознательная программа оптимизма по американскому образцу (*keep smiling*¹)... Эта улыбка лирического «Разбойника», остроумного рассказчика, великого друга всех животных и страстного садовода, прагматического философа, познавшего мир, и преданного слушателя, часами просиживавшего рядом с основателем нашего государства, и опять же задиристого драматурга, резко швырявшего на острие ножа две противоборствующие идеологии... Это улыбка человека, умудренного печальным опытом, словно бы пережившего все духовные муки, какие только существуют на свете, я это паразитично наивная улыбка ребенка, не разучившегося краснеть из-за каждого пустяка, — эта улыбка сейчас, за несколько минут до того, как над ней захлопнется крышка гроба, становится трагичной.

Не помню теперь, где я нашла у Чапека цитату, которую сама превратила в диалог, точно человек, раздвоившись, разговаривает сам с собой:

«— Но от чего вы устремлены далеко за горизонт, мирные очи? Отчего, безыскуснейшая душа, ты вмещаешь в себе демоническую добродетель смятения? — спрашивает одна половина.

А другая отвечает:

— Как высоко, головокружительно высоко плывут облака — где-то у врат солнца!»

¹ Застывшая улыбка (*англ.*).

Это не ответ, это испуганное бегство от него, и все же он звучит тоскующей жадой абсолюта, и оба голоса принадлежат Карелу Чапеку, одному, наивно любознательному, и другому, запрятанному за семью улыбками, тому Чапеку, который стесняется добраться до самого себя.

Когда уляжется великий ужас перед этой безвременной смертью, которая выбрала себе в жертву Карела Чапека не раньше и не позже как в рождество и столь неожиданным, дисгармоничным аккордом закончила его полную многообразных успехов жизнь в злую годину нашего национального бедствия, только тогда станет ясной вся психологическая сложность чапековской улыбки.

Возможно, со временем наше отношение к его произведениям коренным образом изменится, и именно его улыбка заставит нас понять многое из того, о чем мы не догадывались, когда книги Чапека разлетались по свету, когда шла речь о Нобелевской премии, а на родине писателя даже в эту трудную пору ему копала яму бледная Зависть. Возможно, за этими семью улыбками, которые одних раздражали, а другими, более наивными, принимались за чистую монету, возможно, за этими улыбками обнаружится и чешский патриотизм Чапека, раненый и легко ранимый, обнаружится то страстное ожидание поэта, которое сам он сформулировал такими словами:

«Вот если бы все происходило по естественным законам нашей души — тогда творились бы подлинные чудеса».

КАРЕЛ КОНРАД

КАРЕЛ ЧАПЕК И ПРАЖСКИЕ РАБОЧИЕ

В декабре 1938 года кучка стоящих у власти политиков, журналистов и выступающих в роли чешских генлейновцев интеллектуалов достигла предела нечистоплотности и низости.

Особенно усердствовали печатные органы наших аграрных вельмож, этих активных соучастников Мюнхена, и в первую очередь — вечерний выпуск «Венкова». Тут ежедневно клеветали на всех честных и порядочных общественных деятелей, однако самые обильные потоки гнусностей выливались на голову Карела Чапека. Отвратительная травля не прекратилась и после того, как стало известно, что он болен воспалением легких; даже это не угумонило неслыханную подлость продажных писак.

Сердце Чапека, изнуренное и обессиленное такой ношей, не выдержало.

В день его смерти, буквально едва переводя дыхание, в клуб деятелей искусства «Манес» примчался Юлиус Фучик и сообщил, что рабочие пражских заводов решили прекратить работу и демонстративным траурным шествием почтить память Чапека, а заодно припугнуть этой массовой манифестацией зарвавшихся adeptов берановского фашизма. Я по телефону и устно передал в редакцию газеты «Лидове новины» и руководству издательства, в котором она выходила, предложения и ручательства Фучика. А когда нам сообщили, что земский комитет не разрешил выставить гроб Чапека в Музее (такую честь он как-никак заслужил!) и в результате траурный кортеж не сможет пройти по улицам до Вышеграда, Юлек тут же предложил соорудить катафалк в зале книжного магазина Топичей, ведь здесь же находилась редакция газеты, в которой сотрудничал Чапек, — и еще раз подтвердил, что рабочие оставят станки. Он пере-

числил все важнейшие заводы, с рабочими которых у него была надежная договоренность о том, что, следуя за гробом, они заполнят улицы Праги. Вижу, напуганные господа из окружения Странского уклоняются от ответа, высказывают всяческие опасения, и передаю телефонную трубку Фучику; Юлек заклинал их, убеждал, уговаривал... и щеки его пылали гневом. Но и пламенное красноречие Фучика не подействовало. Как известно, от идеи траурного шествия по городу устроители похорон отказались: погребальный акт состоялся в Вышеградском храме на кладбище.

При всей искренности, зажигательной силе и организаторской энергии Фучику не удалось в эти тяжкие дни добиться проверки национальной солидарности, чтобы по улицам Праги прошли народные колонны — колонны трудящихся, чтобы решительная поступь рабочих и всех честно мыслящих людей стала не только данью благодарности и уважения большому писателю и поэту, но и предостережением всем, кто был причастен к его гибели.

Чтобы эта великолепная многотысячная поступь масс фанфарами прозвучала над его незасыпанной могилой.

Те, кто позволил себя запугать, этого не допустили.

ЧАПЕК ЖИВОЙ И МЕРТВЫЙ

Мимо свежей могилы Карела Чапека во второе воскресенье января прошли тысячи пражан. Это был настоящий парад живых перед мертвым писателем. Тысячи людей различных профессий — рабочие, служащие, учителя, студенты, ремесленники — шли в глубоком молчании мимо могилы, словно желая что-то сказать мертвому Чапеку, что-то пообещать ему и, в свою очередь, выслушать, что говорит им писатель. Да, это безмолвное шествие говорило своим молчанием.

Через неделю новые колонны людей направились в Виноградский театр на траурное заседание, посвященное памяти Карела Чапека. Это были не обычные посетители театра, это были массы, которые пришли сюда, чтобы принять участие в тризне. И это участие можно назвать демонстративным.

Может быть, ни один чешский писатель так старательно не уклонялся от политических столкновений, как это делал Карел Чапек. Он думал над большими проблемами, но охотнее оставлял многое недосказанным, даже недомысленным, чем высказывал что-либо политически слишком конкретное, каждодневное, как ему казалось, «будничное». Чапека привлекали самые актуальные темы, он охотно за них брался и разрабатывал их, но в тот момент, когда читатель ждал: сейчас, сейчас будет сказано нужное слово, ведь все уже вело к тому, чтобы оно было произнесено, — Чапек ускользал в абстракцию, чтобы не говорить этого слова. Он боялся кипения мира в литературе.

Он боялся его и в жизни. Писатель был бы доволен, если бы мир, в котором он жил, считался достаточно сносным для всех, настолько сносным, чтобы в нем не нужно было ничего радикально менять. Однако Чапек, будучи художником, не мог не чувствовать, что окружающий его мир не таков. В его произведениях часто звучала боль, вызванная этим чувством, и часто прояв-

лялось неправильное стремление скрыть это, прикрыть хотя бы слегка, как прикрывают незаживающую рану английским пластырем. В годы, когда первые великие бои свободы с наступающей реакцией буквально потрясали мир, Чапек рассказывал о герани, которая так чудесно расцветала в его саду, рассказывал громко, чтобы заглушить то, что звучало за садовой оградой, то, что звучало в его собственной душе.

Нет, не трусость принуждала его к такому поведению. Ведь на это ему требовалось, а к сожалению, и действительно потребовалось слишком много силы. Нет, это было вызвано ложным сознанием ответственности за существующий порядок, за который на самом деле он не нес ответственности и который был ему как художнику не только глубоко чуждым, но и прямо враждебным.

Он не мог не чувствовать этой враждебности на протяжении всей своей творческой деятельности, но особенно остро он испытал ее на собственном опыте в последние недели своей жизни. На него обрушилось так много грязной ненависти, как редко обрушивалось на кого другого. За то, чего он не сказал, его преследовали с такой ожесточенностью, как если бы он всю свою жизнь открыто это проповедовал. Его преследовали за то, что лучшие его произведения и лучшие части его произведений, даже вопреки желанию автора, раскрывали подлинные чувства художника: нет, не все в порядке на этом свете, и это необходимо изменить. Чапека преследовали даже за его непоколебимую, хотя и не воинственную веру в человека и его доброе начало.

В последние дни своей жизни ему пришлось обнажить шпагу для самозащиты. Он сделал это впервые, с непривычки робко, но с сознанием, что он должен так поступить. Тогда же он впервые ясно понял, какое великое дело решается в этом каждодневном политическом фехтовании, которого он всегда боялся и сторонился. Ему не пришлось сражаться долго. Его настигла смерть, которой было не трудно осилить человека, наполовину уже затравленного гончими псами врагов.

Чапек умер. Но родился парадокс — мертвый Карел Чапек стал борцом. Тот, кто себя старательно изображал в виде мирного садовника, стал боевым символом для тех, на кого он не рассчитывал.

Собственно, это и не парадокс. Всякое творчество, достойное жизни, наследуют те, кто борется за свободу.

О ЧЕМ Я ДУМАЛ У ГРОБА ЧАПЕКА

Кто отнял его у чешской культуры? Смерть. Только ли смерть? Никто ей не помогал? Ведь она сломила молодую, еще не отцветшую жизнь. Откуда у нее взялись на это силы? Что же объединилось, прежде чем погиб этот человек?

Карел Чапек делал вид, что не чувствует укусов комаров, которые тучей роились в болотах страны, испытывающей бедствие. Однако ни одно поэтическое сердце не может быть нечувствительным, не может не реагировать даже на малейшую несправедливость. Как тяжело переносил Чапек жестокие нападки Дуриха, насмешки над своей болезнью, хотя он всегда старался показать, что прекрасно вооружен против низости! Он скрывал свою болезнь, не желая выдавать врагу свое уязвимое место, глупо и вместе с тем так по-человечески понятно стыдился того, что болен.

Эта нелепая и вместе с тем понятная, свойственная людям сильным попытка скрыть свою слабость, это самоотверженное преодоление ее стоило чешской литературе жизни большого писателя. Он был действительно болен, но как долго он смог бы еще жить и что он смог бы еще создать в ином окружении, в ином мире!

И насколько больше за эту свою непродолжительную жизнь он смог бы создать в ином окружении, в ином мире!

Он пользовался мировой известностью, как никто другой из чешских писателей, и все-таки сколько таланта он растратил на литературные мелочи, которые его не переживут! У него были более благоприятные условия для творческой деятельности, чем у кого бы то ни было из чешских писателей, и все же сколько сил отнял у Чапека существовавший общественный порядок, который он пытался защищать, жестокость которого он тщетно пытался смягчить и прикрыть поэтическим флером. Это был художник большой творческой силы. Ее чувствуешь главным образом в начале и в конце его творческого пути, но в промежутке был большой период, когда одни с торжеством и с удовлетворением, а другие с горечью называли Чапека «официальным писателем». Это был период вынужденного оскудения, когда душа писателя стремилась к глубине, а ложное сознание ответственности за существующий общественный порядок вы-

нуждало его к поверхностному изображению. Чапек платил кровавую дань миру, который был чужд истинно поэтическому творчеству. Он был чужд и ему как художнику.

Как был потрясен Чапек, когда после 30 сентября 1938 года он осознал или, по крайней мере, почувствовал, что существующее общественное устройство, за которое он хотел нести ответственность, ему глубоко чуждо. Он думал, что мир сокрушен, но ошибался — этот мир не был его миром. Чапек умер в годы духовного кризиса, из которого он мог бы выйти возрожденным, с новой, очищенной поэтической силой.

В годы своей «официальности» он пытался воспевать настоящее, а как художник он должен был стремиться к будущему. Официальное настоящее, которое порочило его произведения, закрывало двери театров перед его «Разбойником», запрещало демонстрацию фильма по его пьесе «Белая болезнь», тяжелыми потрясениями освобождало его от заблуждений. Только теперь взгляд поэта прояснился и с надеждой устремился в будущее. И как раз в этот момент его заволокла пелена смерти.

Многие произведения Карела Чапека будут долго жить, но не всегда те, которые принесли ему славу. Уже сейчас можно сказать, что прежде всего будет жить волшебная поэзия его молодости в «Сияющих глубинах», «Разбойнике», не умрет человечность «Обыкновенной жизни» и «Первой спасательной». Уже сейчас знаешь, что многие его достижения в области языка будут жить в творчестве новых поэтов, новых журналистов. Огромная сила Чапека заключалась в том, что он искал и создавал в поэзии и журналистике новый язык, богатый и ясный, иногда чрезмерно изощренный, но часто действительно сильный и народный. Своим переводом «Зоны» Аполлинера он обогатил язык современной чешской поэзии так же, как позже его фельетоны освобождали язык чешской журналистики от ложного пафоса, как он усовершенствовал и сделал более выразительным язык чешской драматургии.

Чапек — это богатство.

Как горько думать у гроба Чапека, что враждебное ему государственное устройство, враждебный мир так много отняли у его поэтической души и тем самым — у культуры всего человечества.

ЛАДИСЛАВ НОВОМЕСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ЧАПЕКА

После того, что за последние два-три месяца можно было прочесть о Кареле Чапеке в некоторых пражских газетах, а в особенности после того, что разносили, нашептывали о нем бойкие языки, казалось, будто смерть, вырвавшая писателя из наших рядов, была для него двойным избавлением — не столько от телесных страданий, сколько от душевных мук. И трудно найти более подходящие слова, чтобы благословить его на путь к Абсолюту, чем те, с которыми обратился к нему В. Незвал:

...ушел искать покой
в родной земле среди ее корней,
змея и скорпион иных людей добрей...

Однако всех, кто имел возможность в четверг утром стоять в пражском Вышеградском костеле перед украшенным траурными венками катафалком, на который был водружен гроб с телом умершего поэта, или хотя бы на древнем пространстве перед костелом, в толпе женщин, мужчин и особенно — молодежи, должно было удивить, как мало действительны атаки лжи, для которых Чапек послужил далеко не последней мишенью, как умеет народ проявить достоинство и выразить свое уважение к тому, кого провозглашали его врагом.

Из официального сообщения вы узнаете, сколько человек собралось во время похорон Чапека на Вышеграде. Для нас важнее, кто именно пришел проститься с писателем. Прежде всего — это ответственные лица из государственных институтов и учреждений: представитель президентской канцелярии, председатели обеих палат парламента, пражский приматор, представители университета, различные политические деятели, затем великое

множество людей из чешского литературного мира вместе с несколькими присутствовавшими в Праге словацкими писателями, театральные деятели, актеры, журналисты, личные друзья покойного поэта и неисчислимое множество тех, кто знал Чапека по книгам и на их основе определил свое отношение к нему.

По первоначальному замыслу похороны Чапека должны были протекать как тихое и скромное прощанье с мертвым. Но неожиданно они превратились в великое собрание лично знакомых и незнакомых с ним почитателей и приверженцев, пришедших воздать ему надлежащие почести во время панихиды и на коротком пути до расположенного поблизости белого кладбища. Перед черным гробом, который сопровождали страговские монахи в белом и траурные гости в черном, несли огромный зеленый венок от президента.

Чапек никогда не любил появляться на подмостках, не выносил, когда на него было обращено внимание толпы. Но на этот раз ему сопутствовало молчаливое внимание великого множества людей. Как писателя, Чапека порой мучила мысль, выполнят ли его произведения свою миссию. Старые и молодые люди, долгие часы в пронизывающий холод простоявшие на расползающемся снегу, чтобы поклониться автору романов, сказок, драм и великого множества написанных по разным поводам газетных заметок, рассеивают эти опасения.

Когда отзвучали слова, которыми представители литературного, театрального и журналистского мира прощались с покойным, когда отзвенели последние звуки гимна в полдень, в четверг, 29 декабря 1938 года, гроб с останками Карела Чапека был опущен в могилу на Вышеградском кладбище — «в родной ему земле, среди ее корней». В сад, где покоятся тела вечно живых хранителей чешской духовной культуры, прибыл новый жилец. В списке имен, начинающемся с Божены Немцовой, включающем Неруду, Врхлицкого, Чеха — вплоть до Сметаны и Дворжака (хочется назвать тех, кто особенно часто вставал в нашем сознании, когда сегодня мы проходили мимо их памятников), теперь прибавилось имя Карела Чапека. И занимает в нем достойное, соответствующее его большим заслугам место.

НЕУВЕРЕННОСТЬ, СТРАХ, ГИБЕЛЬ — СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА?

(Выступление на международном симпозиуме)

В конце лета 1934 года Карела Чапека напрасно ждали в Москве, хотя для организаторов I Всесоюзного съезда писателей и для других советских представителей было очень важно, чтобы именно он приехал на съезд из Чехословакии. Чапек извинился, как всегда, тактично, по-видимому, не указав, что и его заграничный паспорт, как остальные паспорта, выдававшиеся у нас в это время, был действителен «для выезда во все государства Европы, кроме Советского Союза», и потому для путешествия в эту отодвинутую на задворки и хотя бы так сдвинутую со своих позиций часть света требовался паспорт с особой отметкой.

У него слишком официальное положение, — объясняли мы себе эту его сдержанность. Во всем мире и у себя дома он представлял и олицетворял тогдашнюю демократическую Чехословакию, а в то время, особенно для него, один лишь приезд в Москву мог и непременно должен был означать нечто гораздо большее, нежели, скажем, путешествие по Англии или Голландии. Он прекрасно понимал, что такая поездка была бы истолкована как некое признание, как выражение симпатии, которые нарушили бы традицию неприязненного отношения классических демократий к непокорному Советскому Союзу, сложившуюся после первой мировой войны и переживавшую различные перипетии; и хотя тогда, в 1934 году, после длительного, пятнадцатилетнего холода в отношении к Советскому Союзу и к коммунистам уже начали сказываться заметные признаки потепления, Чапек все же не приехал. Боялся? Ему, поди, хорошо в покое виноградского садика, и он, «обыкновенный человек», не захотел, чтобы его тревожили и волновали обилием речей — и обилием забот — советских людей и коммунистов. Многие объясняли это и таким образом.

Но уже осенью того же года Чапеку пришлось в буквальном смысле слова пробиваться сквозь густую толпу заполнивших Национальный проспект «националистически настроенных манифестантов», чтобы вовремя добраться до кафе «Метро», где его и Йозефа Чапека вместе с другими оповещенными лицами уже ожидали некоторые коллеги, принадлежавшие к крайне левому писательскому крылу, чтобы поговорить о том, что, в

сущности, представляют собой эти запрудившие Национальный проспект люди, чего можно ожидать от продолжающихся уже несколько дней и становящихся все шумливее «националистических манифестаций» и каким образом чехословацкие писатели могут и должны в глазах общественности отмежеваться от этих бесчинств.

Не помню уже точно, какие цели выдвигали поначалу эти манифестанты, то ли упивались модным в ту пору замыслом свалить власть «Града и его камарильи», то ли их демонстрации имели национально-шовинистическую антинемецкую направленность или уже тогда носили более широкий антисемитский и антибольшевистский характер. Нас возмущало и тревожило то, что власти, которые обычно без особого труда разгоняли во сто крат более организованные рабочие демонстрации, теперь оказываются «бессильными что-либо сделать», более того, когда дебоширы желали передохнуть и спеть государственный гимн, полицейские на посмешище всему свету и манифестирующему сброду стояли навтыжку, отдавая честь, что отнюдь не вменялось им в обязанность инструкциями. Всех лозунгов, под которыми манифестировал тогда местный национализм, я уже не припомню. Однако после очень короткого разговора в пражском «Метро» мы легко сошлись на том, что тут все тесно взаимосвязано, что манифестации если не законное, то во всяком случае родное дитя националистического угара, и если мы упустим из виду ту или иную сторону «националистического пробуждения», то в очень недалеком будущем станем свидетелями водворения всего, что в ту пору обещали установить различного рода «национализмы». Карел Чапек был во время этих переговоров весьма активен, призывал к осторожности, но не к осторожничанью, к такту, но не к тактическим уступкам, к мудрости, но не к пустому, ничего не говорящему мудрствованию; он корректировал отдельные фразы, но не затрагивал основополагающих принципов, советовал или советовался о том, какую форму избрать для выступления, но не отрицал и не подвергал сомнению самую мысль о необходимости решительных действий — так, в горячей атмосфере осенних манифестаций национализма (без сомнения, импортированного к нам) родилась идея создания Общины чехословацких писателей, вызвавшая широкий отклик в общественных кругах,

что сразу же выдвинуло Карела Чапека в авангард борьбы против националистического или опасно заигрывающего с национализмом и столь же опасно сближающегося с нацизмом движения.

Разумеется, он был самым известным и значительным среди нас. Но ему доставалось и за то, что он с нами сотрудничал, а также за его интимные отношения с Градом, особенно с Масариком, все это определяло для него необходимость принимать на себя и стойко выносить удары распетушившихся противников, адресованные подчас не столько ему, сколько самому distinguished Граду и обоим его обитателям. Чапек принял и до конца с успехом использовал оружие, которое вручила ему негодующая родина, подобно тому как Мать в его пьесе того же названия вручает винтовку самому младшему сыну; с этим оружием он выстоял до последнего. Не только обороняя нашу отечественную демократию, но с воодушевлением продолжая борьбу и в ту пору, когда демократия подверглась нападению и защищалась в Испании. А затем вновь во время концентрированной атаки на нее в Чехословакии. До той минуты, пока предпротекторатным фашистским крикунам не удалось наконец с удовлетворением констатировать, что его уже нет в живых и он больше не будет отравлять им существование.

Эта внелитературная активность, у Чапека теснее и интимнее, чем у кого бы то ни было, связанная с литературными воззрениями и деятельностью, началась задолго до того момента, о котором мы здесь вспоминаем. Тогда она только достигла завершения и величайшего подъема, обретя единство, пусть не совсем гармоничное, с аналогичными усилиями, которые, особенно в Чехии, были значительно ранее известны по политической и общественной деятельности участников авангардного движения.

Поначалу Чапек уверовал, будто демократия — специфический феномен, который может существовать и развиваться, а главное, сохраняться вне зависимости от общественных перемен, и платил этой вере регулярную и богатую дань. Он поддался возникшей после первой мировой войны иллюзии, будто политическая демократия найдет в себе силу и способность разрешить общественные и материальные противоречия, и отвергал утверждение, что политическая демократия возникает

лишь в результате устранения общественных и материальных противоречий. Я говорю и, наконец, вынужден говорить обо всех этих вещах почти символическими намеками, чтобы уложиться в установленный для дискуссии регламент, но, думаю, и такой пунктир приведет нас к пониманию причин сдержанного отношения Чапека к коммунизму и его революционным методам и даже решительного отрицания их, наиболее явственно выразившегося в его ответе на вопрос: «Почему я не коммунист?» Это объясняет и серию ожесточенных споров, которые после первой мировой войны длительное время вел Чапек или которые вели с ним представители политического и интеллектуального левого крыла.

Еще в те времена его беспокоила мысль о катастрофических перспективах развития человечества и мира. Но хотя весьма шаткое положение демократии, государства, народа и народностей нашей республики стало для Чапека первым, изначальным и решающим стимулом, определившим его раздумья, все же он добыл из них значительно больше того, что связано с судьбой демократии, государства и народа: в этих его представлениях конкретизировалась трагическая судьба человечества и мира. Вдруг в совершенно определенном месте и в совершенно зримом подобии перед Чапеком открылась трещина, или одна из трещин, или же главная трещина, грозящая гибелью всему кораблю.

Хотя в выражении чешского духа и во владении чешским языком Карела Чапека никто не превзошел, ему пришлось обойти весь земной шар, чтобы из виноградской виллы попасть в центр Праги, в заслуженный центр внимания всей страны, чтобы обрести общенациональное признание смысла и назначения своего творчества; повторяю, ему пришлось обойти земной шар, чтобы его оценили официальные представители власти, «обыкновенного», «маленького» человека, хотя именно такого человека он возвеличивал и прославлял каждым движением своего пера; ему, и верно, в полном смысле слова пришлось обойти весь земной шар, с востока на запад, чтобы в этой антифашистской стране мы могли превознести и ту великолепную часть его творчества, которая не будет полностью представлена в собрании его сочинений и все же навсегда останется его непреложным и обладающим огромной воспитательной силой завещани-

ем, предостерегающим *memento*¹ и захватывающим кредо. Я имею в виду его антифашистское и антинацистское, апеллирующее к демократии, к идее государственной и национальной свободы апостольство.

Мало кто понял эту его деятельность в ее безусловной целостности. Мало кто понял, что антифашистский пафос был итогом его творчества, а не каким-то обусловленным эпохой случайным эпизодом, который в конце концов можно истолковать и в ином смысле, не в том, какой этот пафос реально в себе заключал, и даже вообще в духе какой-нибудь эмигрантской бессмыслицы.

Мы бы могли избавить Чапека от перипетий этого нелегкого пути и себя от поздних (правда, еще не запоздалых) прозрений, если бы всегда понимали, что наш мир последовательно и органично возник из его мира, а не родился вне какой бы то ни было связи с ним и даже вопреки ему и его горизонтам; если бы мы всегда сознавали, что наш мир досказывает, а не отрицает и не отвергает взгляды самого Чапека.

¹ Помни (*лат.*).

РОМЕН РОЛЛАН

ИЗ «ИНТИМНОГО ДНЕВНИКА»

[...] Эта фантастическая пьеса à la Уэллс очень заинтересовала Вильдрака и Дюамеля во время их последнего путешествия, и они мне о ней рассказывали. Меня она не привела в такой уж восторг. Сама идея оригинальна, а также некоторые режиссерские находки, однако поэтическое и в особенности театральное исполнение посредственно, медлительно, манера подачи текста старомодна. Чапек, сидящий позади меня в президентской ложе, поясняет мне диалог, подчас прерывая объяснения возгласом: «Это глупо... глупо. Тут есть несколько идей, но в остальном это глупо... Вам не наскучило? По-моему, ужасная скука... У вас еще хватит терпения остаться тут до конца? То, что вы видите сейчас, — безвкусно... Не смотрите!» и т. д.

Он молод, лет 33—35, лицо худое, бритое. Притом он один из немногих в Праге, кто прилично говорит по-французски. Интеллигентный, одухотворенный, немного парадоксальный, нашпигован иронией, не совсем свободен от снобизма, но по сути своей искренен и трагичен. [...]

**ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О КАРЕЛЕ ЧАПЕКЕ И ОТОКАРЕ
ФИШЕРЕ»**

Разбирая остатки своей пострадавшей много раз библиотеки, я нашел старую, забытую путевую тетрадь, на одной из страниц которой сохранился [...] автограф Карела Чапека. [...] Всматриваюсь в немногие строки, набросанные быстрой рукой Карела Чапека, — и в памяти оживают некоторые факты из литературной и научной жизни 1931 года.

Весной 1931 года, приехав в Прагу, как член эстонского Пен-клуба, я сделал официальный визит Э. Конраду, бывшему тогда секретарем пражского Пен-клуба. Я был приглашен в пражский Пен-клуб, где мне устроили традиционный прием. Тут я познакомился со многими чешскими писателями, из которых я вспоминаю Франтишека Лангера, театроведа Тилле и самого К. Чапека. За ужином К. Чапек приветствовал гостя застольной речью, на которую пришлось ответить экспромтом. Так как я плохо говорю по-французски и в то время еще не знал чешского языка, то я попал в довольно затруднительное положение. Было бы бессмысленно говорить на языке своего народа, по-эстонски, хотя формально я имел право это сделать. Приготовленный мною дома французский текст оказался негодным в данной обстановке. Не имея под рукой ни бумаги, ни карандаша, я встал после обращения Чапека ко мне и под любопытствующие взгляды чешских коллег начал отвечать... по-русски. Вероятно, именно поэтому меня наградили бурными аплодисментами (чехи всегда очень любили русский язык и все русское, но дипломатические отношения с СССР были установлены лишь в 1934 г.), когда я закончил свою речь вольной цитатой из размышлений Чапека о малых нациях. Чехи мало знали об эстонцах; Чапек уже в ту пору, когда он досконально

разбирался в моих личных делах, продолжал путать Эстонию с Латвией, но наш общий интерес к русской литературе быстро открыл мне доступ к нему. Он пригласил меня заходить к нему в редакцию газеты «Лидовые новости» («Lidové noviny») и старался ознакомить меня с чешской культурой. Вскоре после приема в пражском Пен-клубе Чапек решил показать мне гордость чешского народа — Национальный театр (Národní divadlo). Из редакции мы пошли втроем: нас сопровождал Отокар Фишер — переводчик Гейне, Гете и Шекспира на чешский язык, сам поэт и критик, драматург и ученый театрал.

И Фишер, и Чапек произвели на меня неизгладимое впечатление, напомнив легендарных художников итальянского Возрождения. Эти люди поразили меня своей универсальностью. Карел Чапек, которого я знал как новеллиста («Рассказы из одного и другого кармана») и романиста (поразивший меня пророческий «Кракатит»), оказался и передовым драматургом, и эссеистом, блистательным фельетонистом, автором веселых путевых записок, удачливым рисовальщиком и — как он сам себя называл — журналистом, творцом новых жанров и полужанров. Неподдельно молодой, невероятно остроумный, энциклопедически образованный, знаток архитектуры и истории, он показался мне хозяином Праги, да и всего тогдашнего европейского мира. Хотя ему было уже за сорок, он производил впечатление мальчика, то ли из тех, в которого был превращен Фауст после смерти, то ли крылатого мальчика из «Волшебной флейты» Моцарта. Соединяя в разговоре значительность тем с легкостью и непринужденностью словесного выражения, он очаровал меня с первого взгляда.

Отокар Фишер, которого я сначала стеснялся (почтенный ученый был почти на два десятилетия старше меня, профессор, почти классик), оказался таким же живым и интересным собеседником, как сам Чапек, беспрерывно сыпавший шутками на своеобразной смеси чешского и немецкого языка (по-видимому, учитывая мое слабое знание чешского языка). Фишер говорил по-немецки не хуже Томаса Манна, как мне тогда казалось. Мы шли пешком по сияющему огнями Национальному проспекту (Národní třída), по которому беспрерывной лентой двигался поток пражан. Подхватив меня под руку, Чапек напоминал мне: «Hod'te vlevo!» (пра-

вила левостороннего движения были мне непривычны) и обращал мое внимание на великолепие столичных витрин. «Вот тут торгуют галстуками, похожими на сонеты (так примерно говорил он). Здесь найдете все варианты, от старомодного пластрона до американских вытянутых в улыбку бабочек». При входе в зал Национального театра у нас не спросили билетов. Мы прошли в директорскую ложу. В антракте К. Чапек и О. Фишер показывали мне стенную роспись между опорами свода, так называемые люнеты Алеша, и рассказывали историю Национального театра, которая мне очень напомнила историю эстонского театра «Ванемуйне», также построенного самим народом. Я был слишком взволнован оказанной мне честью, чтобы следить за сценой, и опомнился только после представления, когда мы пошли ужинать в нарядную «каварну»¹ и, по пражскому обычаю, выпили изрядное количество «черной кавы» с водой. И вот тут-то развернулся разговор на литературные темы, запомнившийся мне на всю жизнь и имевший как бы продолжение при наших последующих встречах и с Чапек, и с Фишером (всего я разговаривал с Чапек раз четыре-пять, а с Фишером виделся и позже, в Карловом университете). Запись в мой альбом Чапек сделал 16 июня 1931 года, во время прощального визита, перед моим окончательным отъездом в Эстонию.

Литература бессмертна — и темы нашего разговора, как мне думается, актуальны и посейчас. Поэтому хотелось бы сохранить некоторые особенно запомнившиеся мне мысли, имеющие в какой-то мере значение и для нашего времени.

Во время одной из бесед Чапек спросил меня, читал ли я Франца Кафку. Я тогда не знал даже о существовании такого писателя. Чапек говорил о его творчестве с иронией и восхищением одновременно и сказал, что он при следующем нашем свидании подарит мне «кус Кафки». Так я стал обладателем сборника мелкой прозы Кафки, изданного Куртом Вольфом. Я очень ценю это — ставшее большой редкостью — издание. Текст в нем напечатан особенно крупным шрифтом, с просторными интервалами; огромные поля как бы приглашают

¹ Передаем общепринятые чешские слова русскими буквами, сохраняя отдельные характерные чешские выражения в качестве «местного колорита». (Прим. автора.)

делать пометки и пояснения к туманному тексту пражца, творчество которого облетело впоследствии весь мир. Но в то время наследие скончавшегося в 1924 году Кафки было еще мало известно, и я без особого понимания пробежал малопонятные мне тогда миниатюры. Только значительно позже бросилась в глаза некоторая общность между «Апокрифами» Карела Чапека и стилем Кафки. Обычно указывают на связь «Апокрифов» с сатирическими новеллами Анатоля Франса и Жюль Леметра. Конечно, образованнейший К. Чапек не мог не знать Анатоля Франса — но не ближе ли параллель с сатирическими приемами пражца Кафки? Конечно, жизнерадостный и солнечный Чапек не мог просто подражать пессимисту Кафке, но упомянутые произведения сближаются параболическим стилем и применением приема переосмысления и разоблачения всяких мифов. У Кафки, например, бог морей Посейдон показан, как занятый бюрократ за письменным столом, который успел только бегло взглянуть на море, но мечтает после просмотра счетов и отчетов все же совершить небольшую поездку туда; у Чапека равнодушные судьи создают бюрократическое дело на доставшего человечеству огонь Прометея, обвиняя его в государственной измене и приговаривая его к смерти и пожизненному заключению в кандалах. Конечно, «Апокрифы» Чапека, печатавшиеся тогда в газете «Лидове новины»¹, тяготеют к жанру газетного фельетона, хотя и значительно перерастают его рамки, а параболы Кафки претендуют на обобщение в философском плане.

Очень своеобразной — совсем в духе двадцатых годов — была наша беседа о русской литературе. Мои собеседники особенно интересовались «тайнами» личности Достоевского, я же выдвигал в противовес Гоголя, о котором только что написал небольшую монографию². Отокар Фишер, незадолго до этого опубликовавший «Историю двойника»³, труд, которому он посвятил

¹ Первое книжное издание «Апокрифов» К. Чапека вышло в 1932 году, а полное издание увидело свет уже после смерти автора, в 1945 году. (Прим. автора.)

² V. Adams. Gogols Erstlingswerk «Hans Küchelgarten» im Lichte seines Natur und Welterlebens. Leipzig, Markert u. Petters Verlag, 1931. (Прим. автора.)

³ В сб.: «Duš e a Slovo». Essaie. Praha, Melantrich, 1929. (Прим. автора.)

десятилетия, так и сыпал учеными замечаниями на эту тему. Его недюжинный интеллект был способен проследить тот или иной мотив на материале всех мировых литератур, что ныне стало редкостью. Его фаворитом был Э.-Т.-А. Гофман. Я вспомнил, что Достоевский, сравнивая Гофмана с Эдгаром По, тоже отдавал предпочтение первому¹. Однако Гофман не внес ничего нового в историю мотива двойничества по сравнению со своим учителем Жан Поль Рихтером. Я рассказал чешским коллегам о тогдашней сенсации в истории эстонской литературы: перевод рассказа Жан Поля «Schulmeisterlein Wuz»² в продолжение десятилетий считался «самым эстонским и самым индивидуальным» произведением эстонского просветителя Фр.-Р. Крейцвальда. Слушая это, Чапек смеялся своим заразительным мальчишеским смехом. О теме двойничества у Гоголя и Вл. Ф. Одоевского чехи не думали, хотя О. Фишер в своем скрупулезном труде говорит даже о Погорельском³. [...]

Чапек попытожил, помнится, наши филологические реминисценции указанием на то, что Гофман придал этой старой теме мировое звучание благодаря более легкому стилю и большей доходчивости его манеры. Насчет «тайны творчества Достоевского» мы тоже договорились с Чапексом в том смысле, что, собственно, никаких тайн творчества, по существу, нет, Отокар Фишер, наоборот, подчеркивал роль «невыразимого» в искусстве. Этот влюбленный в классика эрудит остался, по существу, запоздавшим романтиком. В этой связи Чапек стал расхваливать выпущенный Drei Masken Verlag⁴ сборник эссе англичанина Бертрана Рассела под заглавием «Wissen und Wahn»⁵. Тогда я еще ничего не знал о нынешнем борце за разоружение и мир — да и после мне не удалось осилить его трудов по математической логике. Чапек говорил о другом аспекте нашего совре-

¹ В статье 1861 года «Три рассказа Эд. Поэ». — Ф. М. Достоевский. Соч. в 13-ти томах., т. 13, ред. В. Томашевского и К. Халабаева. М.—Л., 1930, с. 523—524. (Прим. автора.)

² «Учителышка Вуц» (нем.).

³ Погорельский (псевдоним Алексея Алексеевича Перовского; 1787—1830) — русский последователь Гофмана, издал в 1828 году книгу «Двойник, или Мои вечера в Малороссии». (Прим. автора.)

⁴ Издательство трех масок (нем.).

⁵ «Познание и заблуждение» (нем.).

менника Рассела, близком ему, Чапеку, — о пользе критического метода, рекомендованного еще Декартом. Только изрядная порция критицизма и даже скептицизма, сказал он, может сорвать маски с видимости и пробить путь к новой морали. Этот скептицизм Чапека был, бесспорно, связан с началом критического отношения писателя к разнообразным окружавшим его буржуазным догмам. Не менее интересно и то демократическое содержание, которое Чапек вкладывал в понятие новой морали. Она должна покоиться не на вражде и оговорках, а на стремлении к полноте жизни. Такое стремление к полноте жизни олицетворялось самим Карелом Чапеком. Этот «*počínáť*», как он себя мне рекомендовал (Чапек всегда был занят современностью), интересовался всем, всем, всем. И цветами, латинские имена которых он называл наизусть, и чужими странами (в то время он интенсивно готовился к поездке в Голландию), и мастерством искусства («Похвала газетам», «Как это делается»), и поэзией (он цитировал стихи от Ли Тайбо до Незвала и Волькера), и жилищным строительством Праги, которую он воспринимал на фоне окружающего ландшафта. Он радовался парочкам, расположенным на «зеленой простыне» пражской окраины, советовал мне проехаться в задумчивую Словакию, где архитекторы-лунатики понастроили башни в облаках, а девушки одеты, как движущийся этнографический музей, в Моравию (здесь, под Брно, — главный вход в преисподнюю) и уверял, что туннель в Кралованах построен специально для того, чтобы путешествующие поездом могли целоваться.

Никогда я не знал писателя столь многостороннего, талантливого и столь любимого своим народом. Его брат характеризует его в сборнике «Стихи из концлагеря»¹ так:

Byl chytrý, moudrý, ba, on mnoho znal
a mnoho uměl, mnohé vykonal,
byl dobrým vlasti synem, její chloubou byl
můj bratr Karel Čapek...²

¹ Za bratrem Karlem. В кн. Josef Čapek, Básni z koncentračního tábora. Praha, 1946, s. 11. (Прим. автора.)

² Был проникательный, мудрый, да, он много знал и многое умел, много сделал, был добрым сыном родины, ее гордостью был мой брат Карел Чапек... (чешск.)

Юлиус Фучик сказал о Кареле Чапеке в своем некрологе: «Чапек — это богатство»¹.

Однако, пользуясь всеобщим признанием и любовью, он не зазнавался, а был крайне отзывчивым и любезным. Благодаря его радушию я познакомился с его братом Йосифом и сестрой Еленой и получил зеленый проездной билет в Словакию. По его рекомендации я был принят в Общественный клуб, где я увидел цвет чешской интеллигенции и даже приехавшего в Прагу Андре Моруа. [...]

От Чапека и Фишера я впервые услышал об одном из самобытнейших чешских поэтов конца XIX века, почти неизвестном у нас, — Отокаре Бржезине (1868—1929). Выросший в недрах раннего символизма, Бржезина начал, как и наш А. Блок, с литургической монотонности религиозной символики, с «таинств» и «музыки прежде всего» (Верлен). Но в дальнейшем туманные символы стали все больше отступать на задний план, а самые простые вещи приобретают в его изумительных стихах силу символов. [...]

Я тогда искал «дантеобразности» в творчестве многих писателей и находил ее и в «Замке» Кафки (современное «инферно»²), о котором уже стали писать в пражских газетах («Bohemia»), и у позднего Бржезины («парадизо»³ будущего), которым я стал увлекаться после этого разговора. Концепция «дантеобразности» оказалась впоследствии не во всем убедительной, но сама поэзия Бржезины, если к ней подойти без вульгаризаторства, весьма интересна. И искусство его метафор и символов, и самый «космический» подход к жизни необычны для того времени, а идущая от славянской традиции Яна Гуса и Коменского идея о братстве и сотрудничестве всех людей продолжает жить и формироваться в становлении космического века. Эта, так сказать, антишпенглеровская направленность поэзии позднего Бржезины волновала во время нашего разговора и меня⁴, и Чапека, столь далекого от всякой мистики. Со свойственным ему острым интересом к судьбам современной цивилизации он и в годы успешного грюндерства

¹ Ю. Фучик. Избр. М., 1956, с. 140. (Прим. автора.)

² Ад (ит.).

³ Рай (ит.).

⁴ Книга Шпенглера «Закат Европы» в то время дискутировалась и в Эстонии. (Прим. автора.)

своим пытливым умом проникал в неясные тогда еще возможности грядущих катастроф — и это вносило нотку актуальности в наш «авгурский», академический разговор об искусстве символиста Бржезины, смолкшего уже в 1903 году. Я не помню деталей и подлинных слов нашей беседы, но смысл ее, думается, передан правильно. Тень начавшегося уже экономического кризиса незримо падала и на огни «золотого города». [...]

Из Праги я уезжал в крайне удрученном состоянии. В Эстонии, как и во всех капиталистических странах, уже началась полоса жесточайшей безработицы. Для не связанного с правящими кругами и корпорациями филолога-слависта не было ни малейшей надежды на работу. [...] Чапек подсказал мне, что я мог бы устроиться для начала в качестве лаборанта («konceptní síla») в только что расширенной библиотеке в Клементинуме. Но трудности по нострификации диплома и получению разрешения на работу иностранцу и тоска по родному Тарту побудили меня все же покинуть прекрасную Прагу, так очаровавшую меня. [...]

На этом оборвалась моя связь с Чапеком. Вначале я надеялся на переписку, но это осталось благим намерением. Карел Чапек сделал при последней нашей встрече в мою записную книжку запись: «Д-ру Адамсу вместо фонтана Треви, чтобы он снова возвращался в Прагу».

Агрессия фашистских людоедов прервала и все другие мои связи с Прагой. Смерть спасла Карела Чапека и Отокара Фишера от гитлеровских концлагерей, но переживший брата Йозеф Чапек все же попал в концлагерь. [...]

СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ

СОЗДАТЕЛЬ «РОБОТА»

У садовой калитки сложены камни. Невысокий сутулый человек с холодными глазами и брезгливым ртом, только что подававший реплики, не лишённые ипохондрического налета, останавливается у камней, и в голосе его появляются подлинная заинтересованность и энергия.

Из этих камней он будет что-то строить в своем саду, с которым он возится так любвеобильно, что сад этот перелез даже в карикатуры, на которых фигурируют знакомый искривленный рот и не дающий себя пригладить фонтанчик волос, бьющий из того места на затылке, откуда волосы растекаются по голове.

Этот садовод — Карел Чапек, автор знаменитой пьесы «RUR», создавший образ механического рабочего — «робота», образ, крепко вросший в культурный фонд сегодняшнего человечества, вызвавший к жизни продолжателей и подражателей. Вспомним — пьеса Алексея Толстого «Бунт машин» в основном построена на фабуле и образах вещи Чапека. Семен Кирсанов написал поэму «Робот».

Наибольшую популярность «RUR», а за ней и остальные вещи Чапека имеют в Англии и вообще у англосаксонской интеллигенции. [...]

С Англией Чапека также роднит и прагматизм. В нем есть много от повадок так называемых «высокобровых» — секты «аристократов интеллекта» — цинических, разуверившихся, культивирующих созерцание для созерцания.

«...Я утверждаю, что готический храм не является самым сложным из кристаллов. Даже среди нас самих упорствует могущество кристаллов. Весь Египет кристаллизован в пирамидах. Греция — в колоннах, готика —

в зубчатых башенках и Лондон — в кубах из черной глины. Бесчисленные законы структуры и композиции проходят через весь материал, как тайные математические молниеносные вспышки. Мы должны быть точны, математичны и геометричны для того, чтобы быть заодно с природой. Числа и фантазия, законы и изобилие — суть проявления лихорадочной силы природы. Приближаешься к природе не тем, что сидишь под зеленым деревом, а тем, что создаешь кристаллы и идеи, пропитываешь материю пылающим огнем волшебного вычисления.

Ах, до чего бедна и неоригинальна поэзия, как мало дерзновенна она и как мелочна!»

«Я алогист», — может прервать Чапек, пожав плечами, любую беседу и со скучающим видом сделать ироническое замечание в сторону, замечание высокомерное в своем снисходительном парадоксализме. [...]

Но все это, думается, в значительной мере внешность. Внутренне же Чапек далеко не такой пресыщенный космополит, каким он кажется. Копните глубже и увидите достойного гражданина маленькой, но героической страны, глубоко не равнодушного ко всему, что в ней творится, неспособного духовно эмигрировать из ее идеологической атмосферы даже в благоденственную страну космополитического безразличия. [...]

Диваны вдоль стен опоясывают комнату в особняке Чапека. Картины висят по стенам. Тут и произведения его брата, и пейзажи Шпалы, продолжающего в Чехии творческую линию художника Мунха. На диванах сидят, беседуя, художники, писатели, публицисты, философы.

Тут драматург Лангер, романист Кратохвил. Деятели литературы и искусств, группирующиеся вокруг Чапека, теснейшим образом связаны с основными фигурами Чехословацкой республики — Масариком и Бенешем.

У Чапека есть целая книга этюдов «Разговоры с Масариком». Последний этюд называется «Молчание с Масариком».

В беседе говорим об усилении фашистского влияния среди немцев, населяющих чешские окраины.

— Не делайте пугала из этих немцев, — говорит один из присутствующих, — какие-нибудь два года, и весь этот кажущийся фашистский монолит рассыплется.

— Но отпущены ли вам эти два года историей?

Будь генлейновцы одним из течений чехословацкой общественности, мысля свое развитие в пределах вашей государственности, может быть, вы и были бы правы. Ну, а если это не просто одна из парламентских партий, а, так сказать, авангард фашистских оккупационных армий, уже расположившийся на территории республики? Тогда как?

Разговор увядает. Последнее мнение не имеет большинства. Конечно, угроза фашистских соседей, тучей нависших над маленькой республикой, неотвязна и мучительна. Но все-таки хочется обмануться — может быть, пронесет, может быть, рассосется.

Разговор в особняке заканчивается, переходя на Советский Союз, на обещание Чапека приехать к нам в гости, и я вспоминаю, с каким неподдельным волнением говорила о советском искусстве жена писателя, виднейшая чешская артистка и сама писательница Ольга Шайнпфлюгова, противопоставляя бесперспективность заграничного артиста, прогрессирующую год от году, окрыленности и уверенности нашего работника искусства, сильного тем, что он знает, что строит, куда движется, к чему придет.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ИЗ КНИГИ «ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ»

Пробраться из Чехословакии в Париж оказалось не-легко. Когда я приехал в Прагу, еще белел снег, Скверы успели зазеленеть. [...]

Я познакомился с Чапеком. Некоторые левые критики нападали на него: время грозное, а он пишет о собачках. Чапек внешне походил на посетителя лондонского клуба: был вежлив, сдержан; но я сразу почувствовал за этой маской горечь. Час спустя Чапек сказал: «Прежде говорили о старом человеке, что он горбится под тяжестью лет. Мы можем сказать — под тяжестью веков... Надвигается эпоха воинствующей глупости...» [...]

На парижском конгрессе не было крупных писателей Чехословакии. Я побывал в Праге, встретился с Чапеком. Он много говорил о фашистской угрозе, согласился войти в президиум Ассоциации. Работал он тогда над романом «Война с саламандрами». Усмехаясь, он говорил: «Вы, наверно, слышали пражский анекдот: в солнечный день Чапек идет по Пршикопу с раскрытым зонтиком и на недоуменный вопрос встречного отвечает: «В Лондоне сейчас дождь». Я, правда, многое люблю в английских нравах, мне, например, нравится, что лондонцы не толкаются, в метро или в автобусе не наваливаются один на другого. Вероятно, это связано с тем, что я люблю мечты прошлого века. А мы живем в другую эпоху, общество теснит человека, один народ наваливается на другой...»

ПОСЛЕДНЯЯ БЕСЕДА С КАРЕЛОМ ЧАПЕКОМ

Смерть чешского писателя Карела Чапека — это большое горе для всех, кто был знаком с его творчеством и наблюдал его благородное и мужественное поведение в качестве общественного деятеля, кто сталкивался с его живостью, добросердечностью и блистательной талантливостью в частной жизни. Эта новость пришла совершенно неожиданно и потрясла всех, хотя по существу особой неожиданности тут и не было. С ужасающей последовательностью, не имеющей параллели в истории, лучшие, самые талантливые люди, подлинные представители своих стран, исчезают со сцены, как только фашистская диктатура приходит в этих странах к власти. Они бегут, их убивают, они сами убивают себя — или же они просто-напросто умирают; любой заразительной болезни легко проникает в их ослабленный отчаянием организм; заболевание гриппом, которое при других условиях прошло бы почти незаметно, уносит человека из жизни. Художник ранга Чапека и с его убеждениями не мог дышать в изувеченной, фашистской Чехословакии, попавшей под власть Гитлера. Но в то же время для него, величайшего поэта своей страны, сочетавшего выдающийся литературный талант с искренним, глубоко укоренившимся патриотизмом, было неприемлемым жить и работать в чужой стране, где говорят на чужом языке. И вместе с тем было ясно, что он не мог оставаться дольше на родине, — поэтому он лег и умер.

Я провела целый день с Чапексом сразу же после Мюнхенского «мирного» договора. Я подъехала к его де-

ревенскому дому в маленьком открытом автомобиле, предоставленном в мое распоряжение Министерством пропаганды, находившимся все еще на военном положении. Солдат сидел за рулем рядом со мной — молодой парень в униформе, молчаливый и очень бледный.

В его узких славянских глазах было сердитое и вызывающее выражение. Улицы были забиты колоннами отступающей чешской армии; молчаливо, опустив головы, солдаты эвакуировали деревню за деревней, высоту за высотой, хотя враг не показывался. Вид этих мощных, блестяще экипированных частей, отступавших назад, назад, все назад, без боя, был мучительным, все это представлялось совершенно непонятым и неестественным. Я заговорила об этом с шофером, в его узких глазах показались слезы, когда он обратил мое внимание на укрепления с проволочными заграждениями и объекты противовоздушной обороны, которые возводились когда-то с такой надеждой. «Мы могли бы держаться месяцами, если бы это было нужно», — сказал он; и его лицо, лицо обманутого и преданного чешского народа, навсегда останется в моем сердце и моей памяти. Высадив меня перед прекрасным старинным деревенским домом, пунктом моего назначения, он попросил разрешения оставить меня тут часа на три. Он хотел съездить к своей семье в деревню Х — недалеко отсюда. «Мы не знаем, явится ли Гитлер сюда, — сказал он, — а мои родственники — демократы, и их судьба будет печальной».

Я была знакома с Карелом Чапеком со времени первого из моих многочисленных визитов в Прагу. Я знала, что он был близким другом Бенеша, и надеялась, что он сможет объяснить мне, почему Бенеш проявил такое необъяснимое доверие к державам, чьи предательские намерения были достаточно ясны, и почему он ждал и надеялся, парализованный, будто кролик под взором удава. Жена Чапека, известная чешская актриса Ольга Шайнпфлюгова, встретила меня. Она была бледна как лист бумаги, можно было заметить, что она много плакала. Она сказала мне, что Чапек провел ночь в слезах и писал Бенешу; никогда в жизни я не видела столько плачущих людей, как в те дни, когда Чехословакия была осуждена своими друзьями на смерть.

Чапек, несмотря на то, что его тонкое славянское

лицо было отмечено печатью меланхолии, а в его темных глазах можно было прочесть безграничную печаль, в сущности был очень приветливым человеком. Это был ясный строгий ум, его мысли нередко находили выражение в острой, исполненной комизма сатире. Пьеса Чапека «Белая болезнь», которая с большим успехом шла по всей Европе, представляет собой блестящее, злое и трагикомическое изображение и обличение фашистской диктатуры. «Белая болезнь» — это таинственное, заразное смертельное заболевание, распространяющееся, подобно чуме, как только фашизм приходит к власти. В конце концов она губит и самого диктатора как раз в тот момент, когда цель и главная мечта его жизни осуществляются и наступает хаос мировой войны. В «Белой болезни» проявляется блестящий талант Чапека-сатирика, присущий этому выдающемуся поэту. Чапек выступает тут как боец такого высокого класса, который способен осудить войну с высочайшей высоты человеческого духа.

«Вот мы и проиграли наше сражение, — сказал он мне. — Все кончено. Я не могу, конечно, дольше оставаться здесь, но это не самое страшное — я охотно уехал бы, если бы для этого были разумные причины». Я ответила, что разумных причин, вынуждающих Чапека покинуть свою родину, быть не может. «Могут быть только абсурдные, отвратительные, гнусные причины». Белая болезнь, подумала я про себя, — это и только это может выгнать такого человека с его родины. «Мы эмигрируем, — сказала мадам Шайнпфлюгова, — мы научимся разговаривать и жить там, где свобода еще существует». Взгляд, который муж бросил на нее, был исполнен безбрежной грусти. «Где же?» Его взгляд, казалось, спрашивал: где же во всем мире найдется такое место? Мы заговорили об Америке, и снова я увидела, что только жена была полна надежды. «Америка — великая, свободная страна», — сказала она, а я добавила, что Чапека высоко оценят там. Вместо ответа Чапек сказал: «Что будет делать Бенеш? Ведь ему тоже нельзя оставаться здесь». Этот разговор происходил за два дня до того, как Бенеш подал в отставку с поста президента, но, конечно, Чапек, его друг, знал о его намерениях. Я задала тот вопрос, который хотела задать насчет Бенеша. «Да, я знаю, знаю, — сказал Чапек, перебив меня устало. — Он мог, наверное, действовать иначе, вероятно,

должен был действовать иначе. Но разве вы не видите, что вся его жизнь, вся коллективная концепция государства Масарика, государства Бенеша, нашего государства, покоится на идее западных демократий. Если Англия и Франция изменяют этой идее, они обманывают нас и предают нашу страну. Значит, мы преданы не только извне, но и изнутри. Мы остаемся одни не только в военном и вообще практическом смысле, мы теряем самое существенное для нашего существования, раз все, на что мы опирались, рухнуло».

«Но вы, вы сами, — воскликнула я страстно, — конечно, вы переберетесь к нам, за границу, и будете продолжать вашу работу. Весь этот ужас будет иметь для нас хотя бы тот благоприятный результат, что рассеянные отряды наших бойцов получат сильное, чудесное подкрепление от чешских сил Сопротивления». Он снова не ответил прямо. «Надо искать какую-то помощь для нас за океаном, — сказал он. — Я прошу вас, если меня не будет, скажите американцам, что нельзя позволить Чехословакии погибнуть. Нам нужна помощь, в конце концов, даже экономическая помощь, чтобы уцелеть».

«Но ведь мы уедем, правда? — спросила его жена голосом, полным мольбы. — Ведь ты же не хочешь остаться здесь?» Чапек покачал головой, но это не выглядело решительным протестом; этот медленный жест обозначал предельное отчаяние. «Здесь мне оставаться нельзя», — сказал он. Его голос не упал к концу, и фраза выглядела незаконченной.

Даже когда я перевела разговор на его книги — на «Саламандр» и «Гордубала», его лицо не просветлело.

«Ну подумайте, могу ли я писать что-нибудь вроде «Гордубала» в чужой стране?» — сказал он. И действительно, самая поэтическая и самая трогательная из его книг настолько глубоко проникнута «кровью и почвой» в самом лучшем, подлинном смысле этого слова, что нацисты должны бы побледнеть от зависти. «Но «Саламандры», — заметила я, — ведь этот роман читается на многих языках. История об этих разумных, расторопных существах, которых люди сначала использовали для всякого рода услуг и которые в конце концов превратились в стадо, лишенное какой-либо почвы и моральных основ, но обладающее опасными техническими навыка-

ми, и обращают мир в развалины, — эта история настолько современна и значительна, настолько убеждает, и ко всему так полна юмора и так увлекательна, что ей обеспечены друзья повсюду». — «Может быть», — снова с каким-то незаметным жестом отрицания сказал Чапек. При звуке этого «может быть» его жена снова залилась слезами.

Карел Чапек умер. Он не мог остаться в Чехословакии — он сам сказал это, но он никогда не смог бы жить за границей. Эта утрата для всего мира огромна. К потерям, причиненным человечеству «белой болезнью», прибавилась еще одна — тяжелая и страшная.

ЛУИ АРАГОН

О ЧАПЕКЕ

В Праге умер Карел Чапек. Он не надолго пережил разгром Чехословакии. Карелу Чапеку было 48 лет. Он умер в гористой европейской стране, где всегда звучали песни свободы. От средних веков и до наших дней чужеземные тираны один за другим царили в Праге, но ее жители сохранили, несмотря на преследования и пытки, тот язык, на котором писал и Карел Чапек.

Как можем мы, французы, забыть, что в страшную ночь, нависшую над нами в 1914—1918 годы, братья Карел и Йозеф Чапек напечатали «Антологию современной французской поэзии»! [...]

Я познакомился с Чапеком в 1936 году в Париже. Тогда он не хотел открыто принять участие в борьбе, разделяющей весь мир на два лагеря. Он боялся ошибки. Он не хотел войны. Но война надвигалась, и не Чапеку было остановить робота, сфабрикованного в Берлине. А потом был Мадрид и была Герника; фашизм стал угрожать захватом Судет. И тогда Чапек, ставший глашатаем свободы, написал пьесу «Мать».

Чапек (а за ним и другие писатели Чехословакии) вступил в Международную ассоциацию писателей в защиту культуры, ее чехословацкую секцию он превратил в национальную организацию.

Мы, писатели Франции, в лице Чапека потеряли большого друга.

Газета «Се суар» гордится тем, что именно на ее страницах, назавтра после Мюнхена, писатели потребовали присуждения Чапеку Нобелевской литературной премии.

В последнее время Чапек подвергался клеветническим нападениям со стороны гитлеровцев, даже в прессе своей страны. Но он умер, не покоровшись.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Мемуарная литература находится не только на рубеже художественной и документальной прозы, беллетристики и публицистики, но и на стыке многих жанров (интервью, разговор, очерк, автобиография, литературный портрет, историческое исследование, роман с ключом и т.д.), причем наиболее достоверны как раз «нетипичные» и порой не предназначенные для публикации мемуарные свидетельства (запись в дневнике, сообщение в письме о только что состоявшейся встрече, зарисовка в интервью или очерке). Однако временная дистанция, снижая документальную достоверность сообщения, вместе с тем позволяет мемуаристу шире и глубже обрисовать объект изображения, отобрать из своих впечатлений самое существенное.

В мемуарной литературе о Кареле Чапеке представлены почти все упомянутые жанры.

Хотя первые мемуарные свидетельства о К. Чапеке появились еще при его жизни (Йозеф Чапек, Франтишек Лангер, в какой-то мере Отто Пик), а к ним можно добавить портретные зарисовки некоторых авторов интервью и очеркистов (С. Третьяков), основной поток воспоминаний вызвала его смерть. Подчас некролог трудно отделить от мемуаров. Иногда это воспоминание в форме некролога, иногда некролог, в который вкраплены воспоминания. Это относится и к первой волне воспоминаний о Чапеке.

Но обильный поток быстро и притом искусственно прекратился. В годы фашистской оккупации имя Чапека стало запретным. В день поминовения мертвых в 1942 году у его могилы стоял полицейский и говорил тем, кто к ней приближался: «Дальше, дальше, не останавливаться...»¹

Поток этот возобновился сразу после освобождения Чехословакии. Затем в конце сороковых — начале пятидесятых годов, когда в борьбе с идеологическим наследием масарикизма не был пощажён и Чапек, вновь заглох. Наиболее значительные мемуары опубликованы в конце пятидесятых — шестидесятых годов.

Vladimír Thiele, K. Č. — «Svobodné noviny», 29.VI.1946, s. 5.

Настоящая книга — первая попытка собрать воедино воспоминания о Кареле Чапеке. На родине писателя издания подобного рода еще не предпринималось. Из обширного опубликованного материала отобраны лишь наиболее значительные по содержанию и весомости тексты. Ввиду ограниченности объема книги многие из них печатаются в сокращении. Опущено главным образом несущественное и не относящееся непосредственно к Карелу Чапеку. Авторы воспоминаний не только дополняют, но зачастую и повторяют друг друга. Иногда это для нас важно, поскольку совпадение ряда свидетельств подтверждает достоверность факта. Вместе с тем стремление избежать чрезмерного обилия таких повторов также диктовало необходимость купюр. Все купюры обозначены многоточием в ломаных скобках.

В начале книги помещены воспоминания людей, наиболее близких Карелу Чапеку и знавших писателя на протяжении всей или значительной части его жизни. В дальнейшем материал расположен по хронологическому принципу, а в тех случаях, когда это было невозможно, — по принципу тематическому (воспоминания писателей, театральных деятелей и т.д.).

В примечаниях даются краткие сведения о мемуаристах и их отношении к Чапеку, указывается источник, по которому печатается текст, комментируются реалии, уточняются отдельные факты, сообщаемые авторами воспоминаний. Остальные данные (даты жизни и краткие характеристики упомянутых в корпусе настоящего издания лиц, сведения о периодических изданиях и издательствах, даты выхода произведений) содержатся в аннотированном «Указателе имен и названий».

В ссылках на чешскую периодику год издания указывается только в тех случаях, когда он расходится с календарным годом (т.е. годовой комплект начинается не с января). В ссылках на журналы со сплошной нумерацией страниц за год указываются только страницы. В ссылках на газеты приводится только дата и страница.

Авторские примечания и переводы иноязычных текстов даны под строкой.

В качестве иллюстративного материала, помимо репродукций с печатных изданий, в книге использованы фотографии, оригиналы которых хранятся в Литературном архиве Музея национальной письменности в Праге, в Архиве Матицы Словацкой в Мартине и в личном архиве Карела Чапека и Ольги Шайнпфлюговой. Некоторые фотографии получены от родственников мемуаристов и от чешских исследователей творчества Карела Чапека.

Приношу искреннюю благодарность Карелу Шайнпфлюгу-младшему, Марии Шульцовой, Далибору Голубу, Ярославу Кунцу, оказавшим наибольшее содействие в моей работе, а также всем чехословацким учреждениям и соотечественникам Карела Чапека, которые помогла мне в сборе и комментировании материалов тома.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- I—VII — Карел Чапек. Собр. соч. в 7-ми томах. М., «Художественная литература», 1974—1977.
- Об искусстве. — Карел Чапек. Об искусстве. Л., «Искусство». Ленинградское отделение, 1969.
- Зоон политикон. — Karel Čapek, O věcech, obecných čili Zoon politikon. Praha, 1932.
- Ветвь и лавр. — Karel Čapek. Ratolest a vavřín. Praha, 1947.
- Ювенилии. — Bratři Čapkové. Krakonošova zahrada. Zářivé hlubiny a jiné prózy. Juvenilie. Praha, 1957.
- Корреспонденция. — Viktor Dyk. St. K. Neumann. Bratři Čapkové. Korespondence z let 1905—1918. Praha, 1962.
- Вочадло. — Otakar Vočadlo. Anglické listy Karla Čapka. Praha, 1975.
- ЛН и LN — «Лидове новины» и «Lidové noviny».
- РП и RP — «Руде право» и «Rudé právo».

П Р И М Е Ч А Н И Я

ЙОЗЕФ ЧАПЕК

Йозеф Чапек (1887—1945) — старший брат и неоднократный соавтор К. Чапека, видный чешский художник; выступал как прозаик, драматург, поэт, критик, теоретик искусства.

В 1900 г. был послан родителями учиться немецкому языку в городок Жацлерж, где жил в семье местного трактирщика, онемечившегося чеха. В 1901—1903 гг. посещал немецкую школу прядения и ткачества в городке Врхлаби, а затем в течение года работал учеником на ткацкой фабрике Ф. М. Оберлендера в Упице.

По примеру Йозефа К. Чапек начал рисовать, причем братья нередко располагались прямо на улице и вывешивали табличку: «Не глядеть!» К. Чапек вспоминает, что еще в детские годы для него немало значила «необычайная зоркость брата-художника» (Об искусстве, 233). Вслед за старшим братом, который еще в третьем классе начальной школы задумал роман о чешском юноше, отправляющемся искать золото на Аляску, К. Чапек впервые берется за перо. Свои ранние литературные опыты Йозеф и Карел посылали в детский журнал «Мали чтенарж» («Маленький читатель»).

В 1904 г. Й. Чапек уезжает в Прагу и поступает в Художественно-промышленное училище. В 1907 г., когда и Карел вместе с родителями переезжает в Прагу, братья встречаются вновь и совместно

выступают как авторы статей об изобразительном искусстве, иронических миниатюр, составивших впоследствии книгу «Сад Краконоша» (1918), и рассказов, вошедших в книгу «Сияющие глубины» (1916).

Творческое сотрудничество молодых братьев Чапек было настолько тесным, что в упомянутых выше книгах двойное авторство написано и тем произведениям, которые первоначально публиковались в периодике за подписью одного из них (свои произведения К. Чапек подписывал сокращенно инициалами — К. Й. Ч. или К. Й. Чапек, а Й. Чапек — Й. К. Ч. или Й. К. Чапек, причем Карел вместо полного своего второго крестного имени Антонин пользовался для второго инициала в подписи именем брата). В июне 1910 г. братья закончили первую свою пьесу — одноактную комедию «Любови игра роковая» (замысел ее принадлежал Йозефу), а в октябре покинули Прагу, чтобы продолжить образование; Йозеф едет в Париж, Карел — в Берлин. В феврале 1911 г. они встречаются в Париже, куда приезжает Карел. Й. Чапеку принадлежит и замысел комедии «Разбойник», начатой братьями в 1911 г. в Париже, но законченной К. Чапеком уже самостоятельно в 1919 г.

В том же 1919 г. братья Чапек задумывают комедию «Из жизни насекомых» (работа над пьесой, общая идея которой также принадлежала Йозефу, была закончена только в 1921 г.). Весной 1920 г. К. Чапек, «отщипнув» от родившегося у него замысла третьего акта этой пьесы, носящего подзаголовок «Муравьи», «побочную идею тейлоризма», пишет драму «RUR» принесшую ему всемирную славу. Однако предыстки ее замысла можно видеть в ранних рассказах братьев Чапек «Рассказ назидательный» (1908), «Система» (1908), «L'éventail» (1910). Й. Чапеку принадлежит также идея комедии братьев Чапек «Адам-творец», над которой они работали в 1925—1926 гг. К книгам К. Чапека «Как ставится пьеса» (1925) и «Девять сказок» (1932) Й. Чапек делает свои «добавления» (соответственно глава «Техника сцены» и «Первая разбойничья сказка о толстом прадедушке и разбойниках»). В 1924 г. Й. Чапек опубликовал ироническое эссе «Искусственный человек», где прослеживает историю этого мотива в мировой литературе.

В 1913 г. Й. Чапек пишет картину «Шарманщик», в чертах героя которой можно обнаружить сходство с К. Чапеком. Он иллюстрирует многие книги братьев Чапек и К. Чапека (книжные издания пьес «Разбойник», «RUR», «Из жизни насекомых», роман К. Чапека «Фабрика Абсолюта», книги «Год садовода», «Девять сказок», «Как это делается» и др.), создает эскизы костюмов и декораций (а чаще всего и то и другое) к постановкам пьес братьев Чапек и К. Чапека («RUR», «Из жизни насекомых», «Разбойник») и к спектаклям, которые К. Чапек ставил как режиссер (Ю. Зейер, «Старая история»; А. Геон, «Хлеб»; П.-Б. Шелли, «Ченчи» и др.), неоднократно изображает брата на карикатурах. В свою очередь, К. Чапек ставит пьесу Й. Чапека

«Земля многих имен» (1923), пишет о его творчестве (введения к «Альбому десяти графических листов Йозефа Чапека», 1918, и к монографии «Йозеф Чапек», 1924) (см. VII, 410—419).

Й. Чапек был активным участником антифашистского движения. Тема борьбы с угрозой войны и фашизма занимает значительное место и в его художественно-изобразительном творчестве. 9 сентября 1939 г. он был арестован и содержался в концентрационных лагерях Дахау, Захсенхаузен, Берген-Бельзен; погиб между 4 и 25 апреля 1945 г. В посмертно изданном сборнике Й. Чапека «Стихи из концентрационного лагеря» (1946) несколько стихотворений посвящено памяти брата.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Ювенилии, 9—15

Написано совместно с К. Чапеком. Впервые опубликовано в качестве предисловия к книге братьев Чапек «Сад Краконоша» (1918).

С. 10. *...читателей разных газет...* — Ранние произведения братьев Чапек, включенные ими позднее в сборник «Сад Краконоша», печатались в 1908—1912 гг. в газетах «Народни листы» и «Лидове новины», в еженедельниках «Народни обзор» и «Горкего тыденик», в журналах «Стопа», «Пршеглед» и «Копршивы» («Крапива»),

С. 11. *...один неусыпный критик...* — вероятно, Карел Сезима, который в рецензии на книгу братьев Чапек «Сияющие глубины» писал, что она «не дает представления ни о настоящем состоянии своих авторов, ни об их прошлом...» (K. Sezima. Bratří Čapkové. Žítivé hlubiny. — «Lumín», 1916, s. 514).

С. 13. *Дом врача...* — Доктор Антонин Чапек, отец братьев Чапек, рудничный врач в поселке Мале Сватонёвице, 30 июня 1890 г. переселился в построенный в 1889—1890 гг. особняк в Упице, где в 1890—1900 гг. занимался частной практикой, а с 1900 г. по 1907 г. был окружным и фабричным врачом. К. Чапек вспоминает о своем отце в лекции, переданной по пражскому радио 8 мая 1932 г. и опубликованной в журнале «Люмир», 1932, № 8 (см. «Как это вышло», VII, 431—433).

Недавно А. Н. ... — Речь идет о рецензии А. Новака «Братья Чапек», опубликованной в газете «Венков» 11 декабря 1917 г. Автор ее писал, что два молодых дебютанта испытывают любовь к змеям и так же, как они, легко меняют кожу.

С. 14. *...влюбился, писал под партой стихи...* — Сохранились письма и стихи К. Чапека этой поры, адресованные Анне Неперженой (1890—1975) (см.: Karel Čapek. Listy Anielce. Praha, 1978). Некоторые из этих стихотворений были опубликованы в брненском журнале «Неде-

ле» («Воскресенье») за 1904 г., в газете «Моравска орлице», в ученических журналах «Обзоры» («Горизонты») и «Ревю неймладших» за 1905 г.

...невинный кружок... — В 1904—1905 гг. К. Чапек становится участником тайного ученического кружка «Мансарда» (собрания поначалу проходили в мансарде у однокашника К. Чапека — Войтеха Краличека). Члены кружка создали собственную библиотеку, обсуждали вопросы политики и искусства, издавали журналы «Обзоры» и «Ревю неймладших», печатавшиеся на гектографе, встречались с рабочими, исповедуя неопределенные анархо-социалистические и атеистические воззрения. Иржи Червены в книге «Воспоминания о «Мансарде» пишет о юном Чапек: «На первые собрания «Мансарды» он ходил регулярно; его притягивал главным образом одноклассник Войта Краличек, который был старше его и с которым он состязался в сочинении стихов, Чапек еще в третьем классе вызвал возмущение преподавателя чешского языка И литературы сочинением, которое назвал «Человек — белая бестия»; в четвертом классе — еще хуже: сочинение Чапека было прямо революционным и стало причиной его перехода в брненскую гимназию...» (J. Červený. Paměti Mansardy. Havlíčkův Brod, 1962, s. 15).

С. 15. *...раз в неделю поставлять в газету материал...* — Речь идет о сотрудничестве братьев Чапек в еженедельниках «Народни обзор» и «Горкего тыденик», которые редактировал радикальный публицист Карел Горки.

Мессалина. — Имеется в виду героиня одноименного романа А. Жарри.

КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ «САДА КРАКОУНОША»

Ювенилии, 255—256.

Открытое письмо владельцу издательства «Авентин» О. Шторху-Мариену, редактору журнала «Розправы Авентина». Впервые опубликовано в журнале «Розправы Авентина» (год изд. 2, № 1, 7.X.1926). Печатается в сокращении.

С. 17. *...какой-то рассказец...* — Обнаружить этот рассказ в журнале «Моравский край» не удалось.

ИЗ КНИГИ «О СЕБЕ»

Josef Čapek O sobě". Praha, 1958, s. 29—33, 93—100, 103—106.

НАШ ВОЛЯНОЙ

Впервые опубликовано в газете «Лидове новины», 30.IV.1939, Печатается в сокращении.

С. 18. ...*Божена Чапкова...* — К. Чапек вспоминает о своей матери Б. Чапковой (урожденной Новотной) в лекции «Как это вышло» (VII, 432—433). В период подготовки чехословацкой Этнографической выставки (1895) Б. Чапкова собирала фольклор и предметы быта; ее фольклорные записи были опубликованы в 1896 г. в журнале «Чески лид» («Чешский народ»). За участие в выставке она получила диплом и памятную медаль. Коллекция А. Чапека и Б. Чапковой послужила основой упицкого городского музея.

С. 19. ...*нашей бабушки... Гелены Новотной...* — К. Чапек вспоминает о ней в лекции «Как это вышло» (VII, 432).

СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ, КАК...

Впервые опубликовано в газете «Лидове новины», 1.I.1939.

С. 21. ...«*двумя стариками, поедающими арбуз...*» в *повести Гоголя...* — Образ «старика, поедающего арбуз», братья Чапек, видимо, нашли в «Старосветских помещиках» Гоголя, где описывается, как Афанасий Иванович съедает после сна арбуз, который приносила ему Пульхерия Ивановна (см.: Н. В. Гоголь. Собр. соч. В 6-ти томах, т. 2. М., 1949, с. 15).

«*Grolier, grolier...*» — Цитата из книги Д.-Х. Беллока «Четверо путников». См. восп. Г. Чапковой в наст. изд., с. 52.

...из *преданья древних гзлов...* — См. восп. Г. Чапковой в наст. изд., с. 52.

С. 22. «*Неблагодарный Бурда*» — персонаж детской карточной игры, в которую Г. Новотная играла со своими внуками; королевский палач «неблагодарный Бурда» (его роль исполняла сама Г. Новотная) спрашивал короля (победившего), как наказать проигравших, и тот (обычно это был Карел, которому подыгрывала бабушка) назначал количество шлепков поварешкой по ладони.

САД ВСПОМИНАЕТ

Впервые опубликовано в газете «Лидове новины», 16.IV.1939. Печатается в сокращении.

С. 22. ...*возится с цветочками...* — Имеется в виду статья Э. Филлы «Предательство поколения» («Вольне смерь», 1933, № 2).

С. 24. В Кью находится лондонский Королевский ботанический сад.

ГЕЛЕНА ЧАПКОВА

Гелена Чапкова (1886—1961) — старшая сестра братьев Чапек, автор книг «Маленькая девочка» (1920), «Колыбель» (1922), «О живой любви» (1924) и «Мои милые братья» (1962). В юности выступала на благотворительных концертах как пианистка; К. Чапек вспоминал о том, что в детские годы для него много значил «восторженный музыкальный мир» сестры (см., «Как это вышло», VII, 433).

Создав книгу «Мои милые братья», Г. Чапкова как бы восполнила и ту часть долга перед памятью Карела Чапека, которую возложил на нее старший из братьев. У истоков книги лежат «праздники совместных воспоминаний», доставлявшие большое удовольствие двум братьям и их старшей сестре еще в молодости, когда они испытывали потребность вернуться к «началам» и «причинам».

Сотканный Г. Чапковой гобелен из «разноцветной пряжи» истории рода и края раскрывает простую основу сложного духовного мира ее братьев. Мемуарный характер имела уже, первая ее книга, «Маленькая девочка». К. Чапек дважды читал рукопись сестры и советовал сократить описания, разнообразить манеру изложения, стремиться воспроизводить типичное и вечное, соединяя «пластическую объективность и субъективную мудрость» и создавая из воспоминаний «голландскую живопись». Развернутую рецензию прислал сестре и Й. Чапек. Пройдя такую литературную школу, Г. Чапкова оставила нам мемуары высокой художественной ценности. Возникли они через много лет после описываемых событий, но мемуаристка обращалась к тому, что первоначально было зафиксировано уже в книге «Маленькая девочка», а также имела возможность опираться на письма братьев, и это повышает фактическую достоверность текста.

«Мои милые братья» (книга вышла через несколько месяцев после смерти Г. Чапковой) — наиболее полное и правдивое повествование о детстве и юности К. Чапека. Особенно подробно и широко изображена здесь бытовая и общественная обстановка тех лет. Однако большой объем книги не позволил включить ее целиком в настоящий том Воспоминаний. Пришлось ограничиться главами и страницами, целиком посвященными К. Чапеку.

ИЗ КНИГИ «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА»

"Helena Čapková. Malé děvce. Praha, 1920, s. 8.

С. 25. *...привлекло родное Подкрконошье...* — В 1882 г. А. Чапек приехал в поселок Мале Сватонёвице, где поступил на службу к князю Шаумбург-Липпе в качестве рудничного и курортного врача.

...привез ее... — Брак А. Чапека и Б. Новотной состоялся в 1884 г.

ИВ КНИГИ «МОИ МИЛЫЕ БРАТЯ»

Helena Čapková. *Moji milí bratři*. Praha, 1962, s. 15—16, 53, 58—60, 62—63, 68, 162—163, 164—165, 175—177, 187—189, 191—192, 196, 198—199, 213, 218, 219, 221, 223—226, 227, 228—229, 229—231, 232, 233—234, 236, 238, 239—241, 243, 245, 246, 247—258, 266—268, 269—274, 278—281, 283—285, 286—292, 306—309, 311—317, 323—325, 337—340, 342—344, 347—348, 351—352.

С. 25. *...январским вечером...* — 9 января 1890 г.

С. 30. *...стал школьником.* — В первый класс упицкой начальной школы К. Чапек поступил в 1895 г.

С. 31. *...в градецкую гимназию...* — После окончания первого класса городской школы (вторая ступень обучения) в Упице (1900—1901 учебный год) К. Чапек поступает в первый класс гимназии в Градце Кралове, где учится в 1901—1905 гг.

С. 33. *...тайное общество учащихся...* — См. прим. к с. 14.

...ежемесячный журнал... — Вероятно, речь идет о журнале «Ревю неймладших». См. восп. Э. Вахека в наст. изд., с. 348—349, и прим. к с. 14.

С. 34. *...у замужней сестры...* — В ноябре 1904 г. Г. Чапкова вышла замуж за адвоката Ф. Кожелуга.

С. 35. *...прекрасное движение...* — «Если бы убеждения были предметом выбора, я предпочел бы стать социалистом девяностых годов — на пороге молодости меня еще подхватила волна этого социального будительства; тогда это была настоящая вера, преобразующая человека [...]» (Зоон политикон, 135). *Будительство* — от «будители» (см. прим. к с. 175).

...кружок самообразования... — См. прим. к с. 14.

С. 36. *Пятнадцать лет брожу я...* — Цитата из стихотворения К. Чапека «Старая метафора», посланного А. Неперженой (см. прим. к с. 14) 7 апреля 1905 г.; стихотворение это за подписью Аристос и с посвящением: Бар[ышне] А. Н. — было опубликовано в журнале «Обзоры» (год изд. 1, № 5, апрель 1905, см.: К. Чапек. *Listy Anielce*, s. 126, 129).

С. 38. *...тайком записались...* — поскольку пользование немецкой библиотекой в тогдашней чешской среде считалось антипатриотическим поступком.

С. 39. «*Весна*» — женская средняя специальная школа с пансионом в г. Брно, основанная одноименным моравским женским обществом.

...своих учителей Карел перевозносил... — В мемуарной заметке «Два редких учителя», опубликованной в «Сборнике к шестидесятилетию существования чешской гимназии в Брно. 1867—1927» (1927), К. Чапек с похвалой отзываясь о преподавателе естествознания Ольдржихе Крамарже, прочитавшем гимназистам чуть ли не университетский

курс цитологии, и об учителе-практиканте Йозефе Огареке, страстном математике.

...в газету «Моравска орлице» и другие редакции его первые стихи, — См. прим. к с. 14.

...выставки импрессионистов... — Братья Чапек писали об этой выставке в статье «XXIII выставка общества мастеров изобразительного искусства «Манес» в журнале «Моравско-слезска ревию» («Моравско-силезское обозрение») (ноябрь 1907 г.).

С. 41. ...«бриди»... — Сравни песню старухи дамы Кяки из поэмы Г. Гейне «Бимини» (см. прим. к с. 59): «Птичка колибри, лети, || Рыбка Бридиди, плыви...» (перевод В. Левика) (Генрих Гейне. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 3. М., 1957, с. 238).

С. 43. *Кецал* — деревенский сват, персонаж комической оперы Б. Сметаны «Проданная невеста».

«Шлапак» — чешский народный танец.

С. 44. В Сватом Яне под Скалой братья Чапек жили с родителями летом 1909 г., в Сватоу Катержине — летом 1910 г.

...*татарская принцесса*... — княжна Вилле, персонаж из романа К. Чапека «Кракатит».

С. 45. «*Спящая любовь*». — Впервые опубликовано в журнале «Умелецки месичник» (год изд. 1, № 8, май 1912 г.).

С. 48. «*Унионка*» — кафе «Унион» в Праге, на углу Национального проспекта и улицы На Перштине, с 70-х гг. XIX в. и до середины 40-х гг. XX в. служившее местом встреч чешской художественной интеллигенции; впоследствии К. Чапек вспоминал о поре, когда и он был завсегдатаем «Унионки» («Памятник прошлого под угрозой». — ЛН, 21.I.1923).

...«*Два старца*». — См. прим. к с. 21.

С. 49. ...*Не стоило выделять им их доли*. — В 1910 г. А. Чапек выделил сыновьям половину своего состояния; каждый из братьев мог распоряжаться лишь процентами со своего банковского вклада и должен был платить родителям за питание и жилье.

С. 52. *В Париже у братьев было довольно друзей*... — По возвращении из Франции, в марте 1914 г., К. Чапек принимает в Праге своего парижского друга литератора Александра Мерсеро; в ноябре 1913 г. сообщает в письме С.-К. Нейману, что собирается пригласить в Прагу Жана Рене Аркоса; в библиотеке К. Чапека хранится стихотворный сборник Филиппо Маринетти «Le Monoplan du Pape» (1912) с посвящением автора; с Аполлинером К. Чапек поддерживал переписку (см. Корреспонденция, 82).

С. 53. ...из *Марселя*... — Братья Чапек провели в Марселе две недели в июле 1911 г.

...*французскую поэзию*... — Свои переводы с французского К. Чапек собрал в книге «Французская поэзия нового времени» (1920), вто-

рое дополненное издание под названием «Французская поэзия» — 1936 г.

С. 55. *Валаиска Бела* — село в Словакии, где в 1854 г. сделал несколько работ с натуры Й. Манес; наиболее известная из них — портрет крестьянки Марины Куринцовой.

С. 57. *...совет от сватонёвицкой девы Марии...* — Имеется в виду место паломничества в поселке Мале Сватонёвице, где на дереве, из-под которого вытекал целебный источник, висело живописное изображение, девы Марии.

С. 58. *...на какое-то время воспринял... идеи прагматизма...* — На весенний семестр 1914 г. К. Чапек записался в семинар доцента Э. Бенеша «Прагматизм» и к 25—26 марта намеревался покончить «со своей семинарской работой о прагматизме» (Корреспонденция, 84), Эта работа легла впоследствии в основу брошюры К. Чапека «Прагматизм, или Философия практической жизни» (1918, 2-е, дополненное изд. — 1925). Некоторые мемуаристы (Я. Б. Козак) и современные исследователи творчества К. Чапека (например, Ф. Бурианек) справедливо отмечают, что влияние прагматизма на писателя не следует преувеличивать.

С. 59. *...о счастливом острове Бимини...* — В архиве К. Чапека сохранилось рукописное либретто оперы «Источник молодости», близкое по содержанию рассказам К. Чапека «Остров» и «Между двумя поцелуями» и рассказу Й. Чапека «Живое пламя», возникшим в 1911—1912 гг. и вошедшим в книгу «Сияющие глубины»; герой либретто после многих злоключений попадает на остров Бимини, где находится источник с водой, возвращающей молодость. Мотив этот, возможно, подсказан поэмой Г. Гейне «Бимини», опубликованной в 1869 г.

С. 60. *«Морава, Морава...»* — песня «Подебрадская» (слова Вацлава Ганки, музыка Людвика из Дитриха); впоследствии стала народной.

«Матица Ческа» (1831—1949) — чешская организация, занимавшаяся изданием научной литературы.

Общество чешских филологов в Праге — основано в 1868 г., первоначально — студенческий кружок, с 1882 г. — научная ассоциация.

С. 66. *Петриш* — холм на левом берегу Влтавы в черте Праги, на котором разбит парк.

С. 67. *На военную службу его не призвали...* — В письме С.-К. Нейману от 27 августа 1916 г. К. Чапек сообщал: «На призывной комиссии Печа был признан непригодным из-за плохого зрения, а я из-за своей новой, впрочем очень неприятной, болезни, ноющей подагры почти всех межпозвоночных суставов» (Корреспонденция, 164).

...кого-нибудь из мерзавцев-политиканов. — К. Чапек вспоминал, что в годы мировой войны серьезно предлагал деятелям антигабсбургского сопротивления свою кандидатуру для покушения на

«какого-нибудь из столпов Австрии», но с иронией пишет, что «ему никто не купил револьвер» (Зоон политикон, 148).

С. 68. ...*докторский диплом*... — Звание доктора философии, которого В Австро-Венгрии (позднее и в Чехословакии) удостаивались выпускники университетов, сдавшие особые экзамены и написавшие дипломную работу, было присвоено К. Чапеку 29 ноября 1915 г.

С. 69. *Плоцек* — прозвище, которое дала К. Чапеку его бабушка Г. Новотная; К. Чапек пользовался им как псевдонимом, преимущественно в журнале «Небойса», где он публиковал сатирические стихи и миниатюры.

С. 70. ...*в Академической библиотеке*. — Имеется в виду библиотека Музея королевства Чешского (ныне — Национальный музей). О своей работе в этой библиотеке К. Чапек вспоминает в фельетоне «Куда деваются книги» (VI, 456—457).

...*гувернером единственного сына графа*... — Между 16 февраля и 2 марта 1917 г. К. Чапек поступил на службу к графу В.-Ф. Лажанскому в качестве учителя его тринадцатилетнего сына Прокопа.

...*онемеченные еще во времена Марии-Терезии и Иосифа II*... — Мария-Терезия и Иосиф II проводили политику централизации и германизации.

...*гуситских времен*... — т.е. эпохи социального и национально-освободительного движения XV — начала XVII в., зачинателем которого был идеолог чешской реформации Ян Гус.

...*на горе Владарж*... — В ноябре 1421 г. отряд сторонников радикального течения в гусизме — таборитов, возглавляемый великим чешским полководцем Яном Жижкой, был окружен на горе Владарж, но после боя, который продолжался трое суток, вырвался из окружения.

С. 71. ...*портрет старого графа*... — В сборнике «Ветвь и лавр», составленном издателем литературного наследия братьев Чапек Мирославом Галиком (1901—1975), В. Лажанскому посвящены некролог «Старый граф» (ЛН, 30.VII.1925) и медальон «Старый патриот» (ЛН, 25.III.1934) (Ветвь и лавр, 297—299, 97—105).

...*в редакции газеты «Народни листы»*... — К. Чапек вступил в нее 22 октября 1917 г. первоначально в качестве рецензента рубрики изобразительного искусства.

С. 74. ...*после реформы Рашина*... — В 1922 г. министр финансов А. Рашин, борющийся с инфляцией путем снижения зарплаты государственных служащих и ограничения расходов на социальные нужды, провел в интересах крупного капитала денежную реформу, от которой пострадали наименее обеспеченные слои населения.

...*бидермейеровской мебели*... — Бидермейер — художественный стиль, получивший распространение в первой половине XIX в. в мещанских кругах Германии и Австрии, включая Чехию; влияние его

наиболее отчетливо проявилось в прикладном искусстве (интерьер, мебель и т.д.).

С. 75. *...на премьеру...* — Премьера комедии К. Чапека «Разбойник» в пражском Национальном театре состоялась 2 марта 1920 г.

С. 76. *...Арношт Прохазка написал...* — Рецензия А. Прохазки на комедию К. Чапека «Разбойник» была опубликована под псевдонимом Алап («Модерни ревью»), год изд. XXVI, т. 35, № 6).

С. 77. *...есть еще одна пьеса...* — «Из жизни насекомых».

С. 79. Премьера «RUR» в пражском Национальном театре состоялась 25 января 1921 г., первая зарубежная постановка — в Государственном театре в Ахене (премьера — 6.X.1921). Отклики критики см. в кн.: К. Сареk. RUR. Praha, 1966.

Об отношениях Чапека и Честертонa см.: Вочадло, 272—281 и др. Чапек посвятил Честертону некролог «Бравый Честертон» (Ветвь и лавр, 255—257). См. также: V, 128—129, и прим. к с. 147.

«Из жизни насекомых» — премьера в пражском Национальном театре 8.IV.1922 (в Брно — 3.II.1922).

...Рашину, который экономил на апельсинах для детей... — См. прим. к с. 74.

...главную редакцию... — Находилась в г. Брно, где печатались «Лидове новины».

С. 82. *Болезнь и смерть матери...* — Рассказывая об этом, мемуаристка отстывает от хронологической последовательности событий. Б. Чапкова, страдавшая от бессонницы и приступов неврастения, умерла 13 апреля 1924 г., приняв в больнице смертельную дозу тайком купленного морфия.

С. 83. *...хвалебный фельетон...* — «Пылающее сердце дома» (VI, 281—286).

...«пятницам»... — Дружеские приемы у К. Чапека происходили по пятницам один раз в две недели. По свидетельству Й. Копты, традиция эта возникла осенью 1924 г., еще на Ржичной улице; первоначально постоянными гостями братьев Чапек были девять человек, среди них писатели Шрамаk, Лангер, Ванчурa, Полачек, а иногда и Дурих (Josef Kopta. První a poslední. — «Lidová demokracie», 24.XII.1958, s. 2).

...дом на двоих. — Вилла на Узкой улице, ныне улице Братьев Чапек. К. Чапек переехал в этот дом в начале апреля 1925 г.

С. 87. *...Лудлена...* — К. Чапек посвятил ей юмореску «О бессмертной кошке», VI, 281—286.

С. 88. *«Средство Макропулоса».* — Премьера в Городском театре на Краловских Виноградах в Праге 21 ноября 1922 г.

...подвалов в «Лидовых новинах»... — В «Лидовых новинах» подвалами печатались романы с продолжением.

С. 90. *Штрбске Плесо* — озеро в Татрах (Словакия).

С. 94. *«Адам-творец»*. — Премьера этой комедии братьев Чапек в пражском Национальном театре состоялась 12.IV.1927 г.

С. 95. *...небольшой успех... успех за границей...* — Пьеса шла в Братиславе, Брно, Пльзни, Остраве. В лондонской газете «Обсервер» о новой пьесе братьев Чапек писал Эмлин Уильямс, в «Берлинер тагеблат» — Макс Брод. Она была поставлена в Кембридже, Женеве (студенческой труппой), Сиднее. Однако и в Чехословакии, и за границей успех этой пьесы значительно уступал успеху «RUR», «Из жизни насекомых», «Средства Макропулоса».

...на экспорт. — См. полемические статьи К. Чапека «Успех, экспорт и другие вещи» (ЛН, 23.VI.1922), «Монополия на литературный экспорт» (ЛН, 5.III.1932).

ОЛЬГА ШАЙНПФЛОГОВА

Народная артистка Чехословакии, прозаик, драматург, поэтесса Ольга Шайнпфлогова (1902—1968) сыграла значительную роль не только в жизни, но и в творчестве К. Чапека. Чапек познакомился с О. Шайнпфлоговой в 1919 г. 27 августа 1920 г. он опубликовал в газете «Народни листы» рецензию на постановку комедии В. А. Крылова «Сорванец» (1888) в пражском театре Шванды, где писал: «...в главной роли выступала барышня Ольга Шайнпфлогова, представшая как молодая актриса необычайного темперамента, которая свежим юмором, искрометной пылкостью и всем своим причудливым, беспокойным очарованием наполнила жизнью эту незамысловатую комедию молодости. В приятном ансамбле остальных она была жгучим и неудержимым огоньком; в ее бедовой героине немного больше взволнованного протеста, чем игривого веселья, а некоторые напряженные, тревожные нотки предвещают будущую трагическую актрису...» (Karel Čapek. *Divadelníkem proti své vůli*. Praha, 1968, s. 58—59). Летом 1921 г. К. Чапек делает О. Шайнпфлоговой предложение. В июле они проводят вместе с Г. Чапковой и писательницей А.-М. Тильшовой четыре недели в горном курорте Шпидлерув Млин в Крконошах. О. Шайнпфлогова возвращается в Прагу, а К. Чапек едет к родителям в Тренчанске Теплице. В середине августа, по свидетельству О. Шайнпфлоговой, доктор А. Чапек без ведома сына послал ее отцу, писателю и журналисту К. Шайнпфлогу, письмо, в котором, ссылаясь на состояние здоровья сына, говорил о невозможности брака К. Чапека и О. Шайнпфлоговой. По собственным словам Чапека, природа описала вокруг него круг, из которого он не мог выйти. Сложные отношения, продолжавшиеся полтора десятилетия и отразившиеся в письмах К. Чапека Ольге Шайнпфлого-

вой (К. Čapek. *Listy Olze*. Praha, 1971), завершились 26 августа 1935 г. свадьбой.

О. Шайнпфлюгова исполняла роли Кристины (1922) в «Средстве Макропулоса», Мими в «Разбойнике» (1925, 1928, 1938); Матери (1967).

ИЗ КНИГИ «ЧЕШСКИЙ РОМАН»

Olga Scheinpflugová. *Český roman*. Praha, 1969, s. 52—58, 60—75, 77—78, 82—85, 91—97, 100—101, 104, 108—110, 119—123, 127—128, 131—132, 134—147, 213—215, 217—219, 147, 149—150, 160—162, 170—172, 152, 155, 223—229, 232—233, 236—240, 186, 241—245, 251—254, 256—258, 260—265, 267—268, 271—273, 276—277, 282—284, 288—289, 291—294, 297—299, 310—311, 313—321, 326—336, 339—341, 349—372, 374—375, 377—378, 380, 383—384, 386—392, 394, 397—402, 404—408, 410—415, 418—427, 433—434, 444—445.

Замысел книги «Чешский роман» возник у Ольги Шайнпфлюговой сразу после смерти Карела Чапека. Работа над первой редакцией была начата весной 1939 г. «Я знала, — писала впоследствии О. Шайнпфлюгова, — что если не решусь выступить со свидетельством своих отношений с Карелом Чапеком, пока мои чувства еще растравлены болью и не остыли под влиянием времени, то уже не напишу эту книгу никогда» (цит. по предисловию Ф. Крчмы. — О. Scheinpflugová. *Český román*, s. 486). В годы фашистской оккупации рукопись книги в двух консервных банках была зарыта в саду в Стржи. После освобождения Чехословакии эти банки по указанию О. Шайнпфлюговой были найдены и выкопаны из земли советскими бойцами, расквартированными в Стржи.

Документальной основой книги служили письма К. Чапека к О. Шайнпфлюговой. Большая часть их ныне опубликована в книге «Письма Ольге» и позволяет сопоставить воспоминания О. Шайнпфлюговой с реальными фактами, часть писем утрачена во время войны. Многие цитаты из них сохранились лишь в тексте «Чешского романа». Вместе с тем О. Шайнпфлюгова, избрав для своих воспоминаний форму «романа», часто приводит цитаты из писем Чапека в его репликах, а порой даже в описаниях, пользуясь этими цитатами произвольно, независимо от их датировки и реального контекста. Иногда писательница нарушает хронологию и в самом повествовании. С целью повышения документальной достоверности мемуаров О. Шайнпфлюговой из их текста опущены все реплики-цитаты, опубликованные в книге «Письма Ольге», и восстановлена реальная хронология событий. Напротив, в максимальной степени сохранены цитаты из утраченных писем Чапека. Отрывки из писем, вошедшие в роман как

документальный эпистолярный материал, набраны курсивом и сверены по книге «Письма Ольге».

Хотя ряд моментов приближает книгу О. Шайнпфлюговой к жанру «романа с ключом», искренность ее свидетельства, основанного на многолетнем тесном общении с писателем, делает это произведение важнейшим мемуарным документом. Значительный объем «Чешского романа» и желание использовать более поздние воспоминания Ольги Шайнпфлюговой, а также необходимость избегать повторений нередко заставляла составителя прибегать к сокращениям. Однако именно «Чешский роман» дает читателю наиболее полное представление об основных вехах жизни Чапека в 20-е и 30-е гг.

Первое издание «Чешского романа» вышло в Праге в 1946 г.

С. 100. *...в молодом государстве...* — Независимость Чехословакии как самостоятельного государства была провозглашена 28 октября 1918 г.

...книгу рассказов... — Имеется в виду сборник «Распятие».

...в редакции... — К. Шайнпфлюг-старший до 1928г. был сотрудником газеты «Народни листы».

...в маленьком театре... — Имеется в виду театр Шванды (ныне пражский Реалистический театр им. З. Неedly), основанный в 1881 г. в пражском рабочем предместье Смихов.

С. 110. *...свою «никакую» роль...* — По свидетельству К. Шайнпфлюга-младшего, О. Шайнпфлюгова получила свою первую роль в пьесе Ф. Ведекinda «Лулу», которая шла на сцене театра Шванды в феврале—марте 1920 г.

С. 111. *Кампа* — небольшой остров на р. Влтаве в центре Праги.

С. 120. *...большую роль...* — Речь идет о роли Бьянки в комедии Шекспира «Укрощение строптивой» (премьера в театре Шванды — 29. II.1920).

С. 121. *Его успех...* — премьера «Разбойника» в пражском Национальном театре (20.III.1920).

С. 127. *...Ольга читала пьесу...* — Чтение «RUR» на квартире у К. Чапека состоялось 5 сентября 1920 г.

С. 128. *Премьера...* — Премьера «RUR» в пражском Национальном театре состоялась 25 января 1921 г.

С. 129. *...приглашение Городского театра.* — О. Шайнпфлюгова стала актрисой пражского Городского театра на Виноградах в начале 1922 г.

С. 130. *...о его успехе в Англии...* — Речь может идти лишь об откликах английской прессы на пражскую премьеру «RUR», поскольку первая постановка этой пьесы в Англии состоялась 24.IV.1923 (Театр святого Мартина в Лондоне).

С. 132. *...написал не тебе, а мне...* — См. преамбулу, с. 506. Противоречие между указанным свидетельством и текстом «Чешского романа»,

где утверждается, что К. Шайнпфлогу-старшему писал сам К. Чапек, К. Шайнпфлог-младший объясняет тем, что О. Шайнпфлогова, вероятно, первоначально считала, что письмо А. Чапека было инспирировано сыном.

С. 136. ...*репетирует Ибсена*... — роль Регины Энгстран в «Привидениях» Ибсена (премьера 4.V.1923).

С. 139. ...*в качестве режиссера он ставит несколько вещей*... — К. Чапек поставил на сцене Виноградского театра «Старую историю» Ю. Зейера (премьера 7.XI.1921 г.), «Сганареля, или Мнимого рогоносца», «Лекаря поневоле» и «Брак поневоле» Мольера (14.I.1922), водевили Э. Лабиша (20.II.1922), «Хлеб» А. Геона (6.V.1922), «Ченчи» П.-Б. Шелли (30.IX.1922), «Средство Макропулоса» (21.XI.1922), «Плачущего сатира» Ф. Шрамека (15.I.1923), «Землю многих имен» Й. Чапека (6.IV.1923), «Всадников» и «Женщин в народном собрании» Аристофана (19.XII.1923). В пражском Национальном театре он поставил комедию Ж. Ромена «Труадек, предавшийся распутству» (4.III.1924).

С. 141. ...*Чапек пишет сатиру*... — роман «Фабрика Абсолюта».

С. 143. ...*уехал в Италию*... — в середине апреля 1923 г.

...*когда-то я написал стихи*... — Имеется в виду стихотворение К. Чапека «В молодые годы», впервые опубликованное в «Альманахе на год 1914-й» (сентябрь 1913 г.).

С. 144. ...*вся моя болезнь*... — Речь идет о духовном и физическом кризисе, который Чапек, судя по его письмам, адресованным О. Шайнпфлоговой, переживал в 1921—1923 гг.

С. 145. ...*с головой ушел в роман*... — «Кракатит».

...*принцесса... молодая и сложная, как Ольга*. — Как стало ясно после опубликования писем К. Чапека Вере Грузовой (Karel Čapek Věře Hřůzové. Dopisy ze zázuvky. Praha, 1980. Editor Jiří Opelík), в образе княжны Вилле (Вильгельмины), одной из героинь романа «Кракатит», отразились черты не только О. Шайнпфлоговой, но и Веры Грузовой (1901—1979), по мужу — Скоупиловой.

С. 147. *Шоу*. — См.: V, 130; VII, 390—391. Об участии Шоу и Честертона в обсуждении премьеры «RUR» см.: Карел Чапек. Соч. в 5-ти томах, т. 3. М., 1958, с. 437. О соотношении пьесы Чапека «Средство Макропулоса» и драматической пенталогии Шоу «Назад к Мафусаилу» см. IV, 281—282, 599.

Плейфер. — См. V, 128.

Уэллс. — См. V, 129—130, 91; VII, 391—392. Уэллс и Чапек обменивались письмами и дважды встречались в Праге (в 1936 и 1938 гг.). В 1935 г. Уэллс предложил Чапеку заменить его на посту председателя Пен-клуба, но тот ответил на это предложение уклончиво (см. Вочадло, 270 и др.).

Голсуорси. — См. V, 128; VII, 385—387. В качестве председателя чешского Пен-клуба в 1926 г. Чапек принимал Голсуорси в Праге.

В 1929 г. Голсуорси написал предисловие к английскому изданию «Мучительных рассказов» К. Чапека. Чапек и Голсуорси переписывались (см. Вочадло, 268 и др.).

Чисто актерский театр... — См. К. Чапек. Английский театр (Об искусстве, 77—79).

С. 153. *Всыпала таблетки в рот...* — По свидетельству Б. Шайнпфлюговой-Конрадовой, эпизод этот имел место в 1927 г.

С. 155. *...партию трудовой интеллигенции...* — Имеется в виду участие К. Чапека в предвыборной кампании Национальной партии труда (см. восп. Ф. Кубки в наст. изд., с. 402).

...политические дразги и литературные свары вызывают его гнев... — Речь идет прежде всего о политической и литературной активности, националистических и клерикальных группировок, усилившейся во второй половине 20-х годов.

С. 156. *Умер мой отец...* — 4 июля 1929 г.

С. 157. *Т.-Г. М.* — Томаш Гарриг Масарик. В буржуазной Чехословакии существовал культ Т.-Г. Масарика, дань которому отдали и многие авторы воспоминаний о К. Чапеке. После возникновения независимой Чехословацкой республики Масарик стал для большинства чехов олицетворением принципов классической буржуазной демократии. Сын сельского кузнеца и университетский профессор, он сохранил подчеркнутую простоту в обращении и аскетическую скромность в своих жизненных привычках. В гости к Чапеку он из президентского дворца в пражском кремле — Граде часто шел через весь город пешком. Старшее поколение хорошо помнило его статьи в защиту научной беспристрастности, даже если она шла вразрез с ложно понимаемым патриотизмом; его мужественное поведение во время австрийской «дрейфусиады» — процесса против еврея Гильснера, обвиненного в совершении ритуального убийства, и «загребского» процесса по делу нескольких десяткой хорватов, которым было предъявлено обвинение в государственной измене; его борьбу в поддержку всеобщего избирательного права. Официальная пропаганда называла Масарика «отцом чешской независимости». Чешские коммунисты отдавали ему должное, но вместе с тем раскрывали подлинный классовый смысл его буржуазно-демократической программы, показывали, как часто он использовал свой авторитет в интересах укрепления позиций буржуазии (Масарик, например, сделал все, чтобы воспрепятствовать победе рабочих в Чехословакии в период революционного подъема 1918—1920 гг.), подчеркивали вред его реформистской проповеди для чехословацкого рабочего движения, осуждали проводившийся им внешнеполитический курс.

Личное сближение между Масариком и Чапеком наметилось в тот момент, когда оба они были обеспокоены опасностью чешского фашизма. Масарик, оказавшийся в «созданном» им государстве в

известной политической изоляции, стремился найти дополнительную опору в Чапек и его литературном окружении. Чапек и некоторые его друзья старались через Масарика оказать воздействие на политический курс страны. В Масарике и его ближайшем сподвижнике, министре иностранных дел Эдуарде Бенеше, они видели защитников общих интересов нации в противовес частным интересам партий и классов. Но, став «официальным писателем», сам Чапек, прежде всего как общественный деятель и публицист, оказался моральным пленником Масарика и Бенеша.

С. 158. «Пятницы» — см. прим. к с. 83.

«Демократия детям» — благотворительная организация, созданная в 1934 г. по инициативе К. Чапека.

С. 161. «Ты отлично рычал, лев!» — переиначенные слова Тезея, обращенные к столюру Миляге, в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».

С. 171. ...*прошел трубочист*... — Чешская примета: встретить трубочиста — к счастью.

«Марцелка» — название дружеского кружка; состоявшего из приятелей О. Шайнпфлюговой (по модному тогда имени Марцела).

С. 174. Роман «Война с саламандрами» закончен 27 сентября 1935 г. См.: К. Чапек. Ничего нового. — В кн. «День мира». М., 1937, с. 486—487.

С. 175. *Будители* — деятели чешского национального Возрождения (конец XVIII — первая треть XIX в.).

С. 176. *Стрж* — усадьба, полученная К. Чапек и О. Шайнпфлюговой в качестве свадебного подарка от помещика Вацлава Паливца (1882—1964), брата второго мужа Г. Чапковой.

С. 177. ...*последней пьесы*... — комедии братьев Чапек «Адам-творец».

С. 178. ...*дописывал роман*... — В 1936 г. К. Чапек готовил к книжному изданию роман «Война с саламандрами», вышедший с продолжением в газете «Лидове новины» с 21 сентября 1935 г. по 12 января 1936 г.

...*на конгресс Пен-клуба*. — С 7 по 12 июня 1936 г. Чапек принимал участие в работе симпозиума Постоянного комитета по вопросам науки и искусства при Лиге наций, который проходил в Будапеште.

...*замка*... — Имеется в виду замок Осов, принадлежавший Вацлаву Паливцу.

...*дополнял свои французские переводы*... — См. прим. к с. 53.

С. 179. ...*письменное объяснение*... — Оригинал письма К. Чапека Т.-Г. Масарика от 24 марта 1933 г. хранится в Архиве Института истории Коммунистической партии Чехословакии в Праге (џа., Karèl Sapèk, kr. 15, sl. 91).

С. 181. ...книжка, которую хозяин написал о ней. — «Дашенька, или История щенячьей жизни» (VI, 247—276).

С. 185. ...предводитель определенного политического направления... — Гитлер.

...диссертацию... — Диссертацию (дипломную работу) «Объективный метод в эстетике применительно к изобразительному искусству» К. Чапек защитил в 1915 г.

С. 189. «Письма с родины». — Очерки, которые К. Чапек предполагал включить в эту книгу, вошли в сборник «Картинки родины» (1954), составленный М. Галиком (частично переведены на русский язык, см. V, 363—418).

С. 192. ...одной национальной катастрофы... — Имеется в виду приход Гитлера к власти в Германии (1933 г.).

С. 193. ...французский писатель... — Жюль Ромен. Впоследствии К. Чапек был настолько потрясен и возмущен выступлением председателя Пен-клуба Жюля Ромена по поводу Мюнхенского сговора, что собирался выйти из этой организации (см. Вочадло, 305).

С. 195. ...сильная драма... — Речь идет о замысле пьесы «Белая болезнь» (премьера в пражском Сословном театре 29.I.1937).

С. 200. ...съезд писателей... — XV конгресс Пен-клубов (июнь 1937 г.).

С. 202. ...ездил в Испанию... — К. Чапек был в Испании в октябре 1929 г.

...съезде Пен-клубов в Польше. — Летом 1930 г.

С: 205. В полночь из радиоприемника... — В своем рождественском обращении к Тагору, «гармоническому голосу Востока», «поэту сладкой мудрости», из Европы, где «даже самые развитые народы не умеют подать друг другу руку как родные братья», — Чапек в тот момент, когда на крайних оконечностях материка грохотали пушки и оружие, изобретенное на Западе, опустошало землю Азии, провозглашал веру в «мир равных и свободных людей» («Život a dílo Karla Čapka», Praha, 1939, s. XXIII). К. Чапек познакомился с Тагором в июне 1921 г. во время посещения индийским писателем Праги. См.: К. Чапек. Рабиндранат Тагор. — «Иностранная литература», 1965, № 1, с. 168—169.

С. 206. «Мать» появилась на сцене... — Премьера в пражском Национальном театре 12.II.1938 г.

С. 208. ...съезд писателей... — XVI конгресс Пен-клуба (26—30 июня 1938 г.).

«Сокол» — чешская спортивная организация, созданная в 1862 г. В 1938 г. насчитывала более 600 000 членов; X всесокольский съезд в Праге в июле 1938 г. стал общегосударственной антифашистской манифестацией.

...красным, белым и синим... — т. е. цветами чехословацкого флага.

С. 217. *Прекрасные аккорды арфы...* — позывные пражского радио, аккорды арфы из вступления в симфоническую поэму Б. Сметаны «Вышеград» (1874).

Мобилизация... — Была объявлена 23 сентября 1938 г.

С. 219. *...в редакции одной из газет аграрной партии...* — в газете «Вечер» 13.XI.1938. См. восп. К. Шайнпфлюга-младшего в наст. изд., с. 260.

С. 221. *...в Годесберге...* — 22—23 сентября 1938 г. в Годесберге состоялась встреча Н. Чемберлена с Гитлером.

С. 222. *Это случилось только к вечеру.* — Вечером 29 сентября 1938 г. Чемберлен, Даладье, Гитлер и Муссолини подписали в Мюнхене соглашение, по которому от Чехословакии были отторгнуты пограничные области с населением около 3,5 миллиона человек.

С. 224. «*Молитва*» — К. Чапек опубликовал две «Молитвы»: «Молитву этого вечера» (ЛН, 22.IX.1938) и «Молитву за правду» (ЛН, 25.IX.1938).

С. 225. *Правда побеждает...* — слова Яна Гуса, вычеканенные на чехословацком государственном гербе.

С. 228. *...«Фолтына»...* — К. Чапек не успел завершить роман «Жизнь И творчество композитора Фолтына»; о замысле последних глав со слов автора рассказала читателям О. Шайнпфлюгова (глава «Свидетельство жены писателя»). См. III 557—642.

С. 236. «*Письмо Эдуарда Бенеша Карлу Чапеку*». — Этот фальсифицированный текст был издан в качестве частной и не подлежащее продаже публикации: Dr. Eduard Beneš Karlu Čapkoví. V. květnu 1945 (издатель Йозеф Вавржичка, место издания не указано).

КАРЕЛ ЧАПЕК И МАЛЕ СВАТОНЁВИЦЕ

Olga Scheinpflugová. Karel Čapek a Malé Svatoňovice. — «Svobodné noviny», 29.VI.1946, s. 1—2.

С. 239. *...«Разбойника» ставили под открытым небом.* — 21 июня 1925 г. в поселке Мале Сватонёвице.

Бабушкина долина — часть долины р. Упы, где Б. Немцова провела детство и «поселила» героиню своей повести «Бабушка» (1855).

С. 240. *...доброго духа:..* — Имеется в виду сказочный Краконош.

КАРЕЛ ЧАПЕК ЗБЛИЗКА

Olga Scheinpflugová. Karel Čapek zblízka. — «Zemědělské noviny», 25.XII.1958, s. 4.

ИЗ РАССКАЗОВ О КАРЕЛЕ ЧАПЕКЕ

Olga Scheinpflugová. Z vyprávění o Karlu Čapkoví. — «Divadelní noviny», 1963/64, № 10—11, 28.XII.1963, s. 4.

С. 245. ...*заведующий литературной частью...* — К. Чапек был заведующим литературной частью Виноградского театра с 1 сентября 1921 г. по 31 марта 1923 г.

С. 246. ...*Сганарелем...* — См. прим. к с. 139

...*ходил с Ярославом Войтой в пекарню...* — Я. Войта, исполнявший в пьесе Геона «Хлеб» главную роль пекаря Петра, вспоминает: «Из-за своей режиссерской добросовестности он тогда вставал ежедневно в 4 часа утра и водил меня по разным пражским пекарням, чтобы я собственными глазами видел, как замешивается тесто. Он настаивал на том, чтобы я безукоризненно этому научился, поскольку весь процесс приготовления хлеба мне нужно было продемонстрировать на сцене» (Jaroslav Vojta. Karel Čapek očima herce. — «Divadelní noviny», г. 3, 1960, № 15, s. 6).

...*с Леопольдой Досталовой...* — Л. Досталова исполняла в трагедии П.-Б. Шелли роль Беатриче.

...*Аристофаном...* — См. прим. к с. 139.

С. 249. *Пьесы...* — В разговоре с чешским театроведом Франтишком Черным О. Шайнпфлюгова сообщила: «Он хотел также написать драму «Юдифь» — не библейскую Юдифь, но где-то на заднем плане все же Юдифь Ветхого завета. От замысла «Юдифи» никаких письменных материалов не сохранилось. Героиней была Девчонка, которая, следуя своим убеждениям, убивает Диктатора. Место убитого занимает ее друг и любовник, но ничего, ровным счетом ничего не меняется, В конце остается лишь «голый поступок» и прекрасное чапековское решение» (F. Černý. Pozdravy za divadelní rampu. Praha, 1971, s. 126).

ВЕСЕЛО О КАРЕЛЕ ЧАПЕКЕ

Olga Scheinpflugová. Vesele o Karlu Čapkoví. — «Magazin veselých dětí». Praha, 1965, s. 145—148.

С. 251. ...*на премьеру пьесы.* — «Из жизни насекомых» 11.II.1923 в Театре на Кёниггретцерштрассе.

С. 253. *Маттерхорн* (Монте Червино) — гора в Альпах.

ЖИВОЙ КАК НИКТО ИЗ НАС

Olga Scheinpflugová. Živý jako nikdo z nás. — «Literární noviny», 1965, № 2, s. 4.

КАРЕЛ ШАЙНПФЛОГ-МЛАДШИЙ

Старший брат О. Шайнпфлюговой, юрист по образованию, Карел Шайнпфлог-младший (род. в 1899 г.) познакомился с К. Чапеком в пору его первых встреч с О. Шайнпфлюговой; впоследствии был юридическим представителем К. Чапека как специалист по авторскому праву; посещал чапековские «пятницы»; был спутником О. Шайнпфлюговой и К. Чапека в их поездках в Австрию и Северную Италию (июль — начало августа 1935 г.), по Скандинавии (июль—август 1936 г.), по Австрии, Швейцарии, Франции, Германии (июль—август 1937 г.). Являясь одним из основных наследников К. Чапека (вместе с Боженой Шайнпфлюговой-Конрадовой), К. Шайнпфлог охраняет его авторские права, архив и совместно со своей женой, писательницей Ярославой Рейтмановой, поддерживает в первоначальном состоянии ту часть дома, которая принадлежала К. Чапеку, и прилегающий к ней сад.

ЧИСТЫЙ ЧЕЛОВЕК

Karel Scheinpflug. In: Člověk Karel Čapek. — «Svobodné slovo», 23.XII.1968, s. 7.

В подборке «Человек Карел Чапек» первоначальное название мемуарной заметки К. Шайнпфлога опущено. Название восстановлено по рукописи, полученной от автора.

С. 260. *...один известный автор...* — Имеется в виду Ярослав Дурих; К. Чапек ценил талант Дуриха, в частности рекомендовал его «чрезвычайно милую вещицу», повесть «Маргаритка» (1923) для перевода на английский язык, старался помочь ему перевестись в Прагу (Дурих был военным врачом) и в 20-е гг. интенсивно с ним переписывался; с конца 20-х гг. Дурих и Чапек неоднократно вступали в публичную полемику; как воинствующий католик Дурих все более эволюционировал вправо, что в конечном счете привело его к апологии испанского и итальянского фашизма. В статье «Плач Карела Чапека» («Акорд», 1936—1937, № 2) Дурих, намекая на слабое здоровье Чапека, отнес его к разряду белобилетников, чему якобы соответствует и его мораль. После Мюнхена Дурих ратовал за «очистку» чешской культуры от чапековского «лжегуманизма». См. также прим. к с. 219 и 465.

С. 261. *Когда Чешская академия... избрала Чапека...* — Сообщение об избрании Чапека в члены Чешской академии появилось в печати 20 мая 1925 г. Письмо К. Чапека литературному отделу IV отделения Чешской академии наук и искусств было опубликовано в газете «Лидове новины» 9 июня 1925 г.

ОСЕНЬ С КАРЕЛОМ ЧАПЕКОМ

Karel Scheinpflug. Podzim s Karlem Čapkem. — «Vlasta», 1968, № 52, s. 8.

С. 261. *Глинковцы* — словацкие националисты, последователи словацкого католического священника Андрея Глинки (1864—1938), организатора реакционной Словацкой народной партии (возникла в 1919 г.), которая в 1925 г. получила название Словацкой народной партии Глинки.

С. 264. *...кандидатом на Нобелевскую премию.* — В октябре 1938 г. группа французских писателей (Р. Роллан, Ж.-Р. Блок, Л. Арагон и др.) выступила с требованием присудить К. Чапеку Нобелевскую премию (См.: «Французские писатели требуют присуждения Карелу Чапеку Нобелевской премии». — «Интернациональная литература», 1938, № 11, с. 236), однако премия Чапеку присуждена не была.

...пишет роман... — «Жизнь и творчество композитора Фолтына».

ФРАНТИШЕК ЛАНГЕР

Народный писатель Чехословакии Франтишек Лангер (1888—1966) — самый близкий из друзей Карела Чапека; знакомство их продолжалось почти тридцать лет. Первое воспоминание о братьях Чапек Ф. Лангер опубликовал в 1926 г. («Мальчишки, которые написали «Сад Краконоша», — «Кмен», год изд. 1, № 2).

ИЗ КНИГИ «БЫЛИ И БЫЛО»

František Langer. Byli a bylo. Praha, 1963, s. 89—114, 119—139.

ВНАЧАЛЕ БЫЛИ БРАТЬЯ ЧАПЕК

В основу книжного текста этих воспоминаний положена одноименная лекция, прочитанная в Обществе братьев Чапек в Праге 20 января 1954 г.

С. 266. *...о старой Праге...* — Многие завсегда таи кафе «Унион» (Бруннер, Кисела, Штурса и др.) были активными деятелями общества «За старую Прагу», основанного в 1900 г. и ставившего своей целью защиту архитектурных памятников Праги.

С. 268. *...в исторической игре в «кауфцвик»...* — О карточной игре «кауфцвик», к которой охотно присоединялся Я. Гашек, Ф. Лангер

рассказывает в главе «Воспоминания о Ярославе Гашеке» («Byli a bylo», s. 30).

Годковички, Затиши — в описываемое время пражские пригороды (см. IV, 45).

С. 269. ...*манифест*. — Патриотическое письмо чешских писателей во главе с А. Ирасеком и Я. Квапилом, обращенное к народу, было опубликовано в мае 1917 г. и содержало требование самоопределения и национальной независимости.

...*со времен Художественно-промышленного училища*. — См. преамбулу к восп. Й. Чапека в наст. изд., с. 495.

...*они интересовались периферией искусства*... — Из своих статей о так называемых «периферийных», или «пограничных», видах искусства (вывески, лубок, фотография, кино, мебель, художественное стекло, керамика и т. д.) Й. Чапек составил книгу «Самое скромное искусство». Часть статей К. Чапека о периферийных видах искусства вошла в книгу «О самых близких вещах» (1926). Периферийным жанрам литературы (фольклору, книгам для массового читателя) посвящен сборник статей К. Чапека «Марсий, или По поводу литературы».

С. 270. *Умпрум* — сокращенное название пражского Художественно-промышленного училища.

С. 272. *L'éventail* («Веер») — новелла братьев Чапек, впервые опубликована в журнале «Новина» («Новь»), 13 и 27.V.1910, № 13 и 14.

ПОБОЧНЫЕ ТАЛАНТЫ КАРЕЛА ЧАПЕКА

Текст лекции, прочитанной в пражском Пен-центре 28 января 1948 г. (впервые опубликовано в журнале «Китице» («Букет»), год изд. 3, 1948, № 5).

С. 278. ...*думаю, это была Орава*... — В 1930—1938 гг. Й. Чапек проводил летний отпуск на р. Ораве в Словакии в поселке Оравский Подзамок

С. 280. ...*с руководством Давида*... — Имеется в виду переведенное на чешский язык в многократно переиздававшееся «Руководство по фотографии для начинающих и продвинутых» Л. Давида.

С. 281. ...*несколько недель*... — О. Вочадло в книге «Письма из Англии» Карела Чапека опровергает Ф. Лангера. Перед своим выступлением в лондонском Пен-клубе К. Чапек прожил в «чисто английском окружении» не несколько недель, а неделю (полнедели у О. Вочадло и три дня в отеле). О том, как К. Чапек готовился к своей речи в Пен-клубе см. восп. О. Вочадло в наст. изд., с. 380—381). Большая часть речи Чапека была опубликована в газете «Таймс», 4.VI.1924 (см. Вочадло, 97—98).

...тарелки... — См. восп. Э. Конрада в наст. изд., с. 343; набор собственноручно расписанных и обожженных чашек и десертных тарелок К. Чапек подарил сестре к свадьбе.

С. 284. ...Ирис... — См.: К. Чапек. Ирис (VI, 243—247).

...в Коширжском собаководстве... — В пражском предместье Коширже находился собачий питомник Фухса, издателя журнала «Свет звиржат» («Мир животных»), у которого Гашек служил с января 1909 по октябрю 1910 г. в качестве редактора.

...Минда... — См.: К. Чапек. Минда, или О собаководстве (VI, 229—243).

С. 286—287. ...так его... изобразил... Гофмейстер... — Речь идет о книге «Вино» (1930), вышедшей под редакцией и с рисунками А. Гофмейстера; К. Чапек написал для этого издания эссе «Об особых винах» (VI, 434—436).

КАРЕЛ ЧАПЕК И ЛЮДИ ВОКРУГ НЕГО

В основу текста книги положена статья «Карел Чапек среди людей», опубликованная в журнале «Пршитомност» («Настоящее»), год изд. XVI, 1939, январь.

С. 290. ...разговор из одного кармана... — Ср. название сборника К. Чапека «Рассказы из одного кармана».

С. 292. «Сокол». — См. прим. к с. 208.

С. 294. Ланы, Топольчанки — летние резиденции Т.-Г. Масарика (в Чехии и Словакии)

КАРЕЛ ЧАПЕК ГЛАЗАМИ ДРУГА

В основу текста положена лекция «Карел Чапек в глазах современников», прочитанная в Обществе братьев Чапек 8 января 1950 г.

С. 298. ...по Шоу... — См. прим. к с. 147.

...в одном из рассказов... — Имеется в виду рассказ «Вечная молодость» из сборника Ф. Лангера «Мечтатели и убийцы».

...над пьесой... — В архиве К. Чапека сохранились отрывки незаглавленной пьесы; возможно, они и представляют собой наброски произведения, о котором говорит Ф. Лангер. Персонажи этой пьесы — Иржина, Роберт, Франци, экономка Машкова.

С. 299. ...тогдашние заведующие клиниками... — Речь идет об интервью с профессором Й. Пельнаржем, заведующим одной из клиник медицинского факультета Карлова университета, опубликованном под

названием «Врачи и «Белая болезнь» («Ческе слово», 7.III.1937). К. Чапек откликнулся на интервью Й. Пельнаржа статьей «О докторах, профессорах и университетах» (ЛН, 14.III.1937), в которой писал, что, изображая клинику Сигелиуса, не имел в виду какую-либо чешскую или даже немецкую клинику (последнего не допустила бы цензура), а стремился сказать о типическом явлении современности в более широком масштабе, о том, что немалая часть ученых за «чечевичную похлебку» продалась реакционным диктаторским режимам.

«Освобожденный театр» — чешский прогрессивный театр (1925—1938 гг.); в 1925—1927 гг. был экспериментальной сценой, которой руководили режиссеры Иржи Фрейка и Индржих Гонзл; с 1927 г. ведущими актерами театра становятся Иржи Восковец и Ян Верих, а основу репертуара составляют написанные ими сатирические ревью; в сборнике «Десять лет Освобожденного театра» (1937) К. Чапек опубликовал статью «Предшественники новых времен», посвященную творчеству И. Восковца и Я. Вериха.

...Э.-Ф. Буриана (театр)... — Революционный театр «Д-34», основанный в 1933 г. Э.-Ф. Бурианом.

С. 300. ...переворота... — Имеется в виду провозглашение государственной независимости Чехословакии (28 октября 1918 г.).

С. 303. ...«антрфиле»... — По свидетельству сотрудника брненской редакции «Лидовых новин», писателя Бедржиха Голомбека, идея «антрфиле» пришла в голову одному из молодых членов этой редакции в феврале 1921 г., то есть еще до прихода братьев Чапек (см.: Bedřich Golombek. Dnes a zítra. Brno, 1944, s. 102—104).

С. 304. Град — пражский Кремль, резиденция президента Чехословацкой республики; здесь имеется в виду центристская буржуазная политическая группировка, возглавляемая Т.-Г. Масариком и Э. Бенешем.

С. 305. Как они отбивали его удары... — См.: Karel Čapek. Proti útokům v. Uměleckém měsíčníku. — «Přehled», XII, 1913—1914, s. 499—500.

...прелестное эссе... — См.: К. Чапек. Двенадцать приемов литературной полемики, или Пособие по газетным дискуссиям (VII, 299—303).

С. 306. ...в полемику с критикой... — См.: K. Čapek. Pást Sramkova a Pást kritiků. — «Přítomnost», 1933, s. 119—123; Čapek. Pást kritiků a její důsledky. — «Přítomnost», 1933, s. 150—152, 169—171, 185—187 и др.

...национально-демократической партии... — партия крупного капитала (1918—1934 гг.); в 1934 г. вместе с другими чешскими реакционными группировками вошла в партию «Национальное единство».

С. 307. ...Дурих упрекнул его... — См. прим. к с. 219 и 260.

С. 309. «Марсий» — книга эссе К. Чапека «Марсий, или По поводу литературы», часть из них опубликована по-русски: VII, 289—346; Об искусстве, 222—230.

«Похвала чешскому языку» — эссе из книги «Марсий, или По поводу литературы», впервые опубликовано в газете «Лидове новины» (20.III.1927) под названием «Речь и литература». В том же году вышло отдельным изданием для библиофилов.

...конгресс Пен-клубов... — Состоялся в Гааге в конце июля 1931 г.

С. 310. YMCA (ХАМЛ — «Христианская ассоциация молодых людей») — международная религиозно-просветительская и благотворительная организация.

С. 311. ...окунуться в море при любой погоде... — Пристрастие чехов к морю вызвано отсутствием морей в Чехословакии.

С. 313. ...из Швейцарии... — См. восп. О. Шайнпфлюговой в наст. изд., с. 162—169.

С. 315. ...необъяснимого следа... — Имеется в виду рассказ «След» (I, 145—150).

С. 317. ...чехословацкое отделение... — учреждено 15.II.1925 г.

С. 318. ...возглавляемому Шальдой комитету... — Создан в апреле 1933 г. О его возникновении и участии в этом К. Чапека вспоминает в книге «Жизнь и революция» (1974) ветеран чешского коммунистического движения Вилем Новый.

...«пятниц»... — См. прим. к с. 83.

«Столбцы» — См. восп. Ф. Лангера в наст. изд., с. 303.

...помогает чехословацкой армии... — Речь идет об участии К. Чапека в деятельности объединения писателей, созданного при пражском Военном научном институте в 1937 г.

ЭДМОНД КОНРАД

Драматург, театральный и литературный критик Эдмонд Конрад (1889—1957) сблизился с К. Чапеком, став секретарем пражского Пен-центра; в 1945 г. официально оформил брак с Б. Шайнпфлюговой-Конрадовой.

ИЗ КНИГИ «О ЧЕМ ВСПОМНЮ»

Edmond Konrad. Nač vzpomenu. Praha, 1967, s. 160—161, 164—189.

Первое издание этой книги вышло в 1957 г.

КАРЕЛ ЧАПЕК ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ

В основу книжного текста положена лекция, прочитанная в Обществе братьев Чапек 28 мая 1952 г.

С. 320. Архитектурный стиль эпохи португальского короля Мануэла I отличался орнаментальностью, пышностью, сочетанием элементов готики и мавританского искусства.

С. 324. *«Удивительные сны редактора Коубека»* — памфлет К. Чапека, впервые опубликованный в газете «Лидове новины» (ноябрь—декабрь 1930 г.)

С. 325. *Нападки...* — См. прим. к с. 155.

...отказался председательствовать в Пен-клубе... — См. восп. О. Шайнпфлюговой в наст. изд., с. 179.

С. 326. *Чапек сразу же вмешался...* — См. К. Čapek, *Případ s knížkami*. LN, 21.I.1931, s. 1—2.

...на варшавском съезде... — в 1930 г.

...на будапештском съезде... — в 1933 г.

С. 328. *Слава богу...* — Высказывание К. Крамаржа.

...«невыразимой сладости существования»... — Цитата из комедии братьев Чапек «Из жизни насекомых».

...«различья преумножают жизнь»... — Неточная цитата из книги К. Чапека «Прогулка в Испанию», где сказано: «Каждое различие в вещах и людях делает богаче жизнь» (V, 213).

С. 330. *...«Из бурных времен» (не путать с книгой «Из разных времен»)*... — A. Jirásek. *Z bouřlivých dob. Historické obrázky*, Praha, Jan Otto, d. 1—1879; A. Jirásek. *Z různých dob, Povídky a obrázky*. Praha, Jan Otto, d. I, II, III, 1892.

...член правления «круга писателей» при Военном научном институте... — См. прим. к с. 318.

...гуситскую эпоху... — См. прим. к с. 70.

С. 332. *...обсуждения пьес...* — З. Конрад выступил с лекцией о пьесах К. Чапека в Обществе братьев Чапек 28 мая 1952 г.

С. 333. *...охарактеризовал «Распятие»...* — первоначально в лекции «Распятие» Карела Чапека», прочитанной в Обществе братьев Чапек 9 апреля 1952 г. См. также: «Krkonoše. Podkrkonoší. 1963», Navlíčkův Brod, 1964, s. 231—249; Oldřich Kralík. *První ráda v tvorbě Karla Čapka*, Ostrava, 1972, s. 49—72.

С. 334. *...человека шелльского...* — т. е. человека шелльской культуры (по названию города Шелль близ Парижа), относящейся к раннему палеолиту (питекантроп, синантроп и т. п.).

«Двенадцать приемов литературной полемики» (1925) — эссе из

книги К. Чапека «Марсий, или По поводу литературы». В действительности Э. Конрад допускает ошибку и цитирует по памяти юмореску К. Чапека «Легко и быстро» (ЛН, 27.IV.1922). См.: «Вопросы литературы», 1975, № 4, с. 300—302.

КАРЕЛ ЧАПЕК — ЖУРНАЛИСТ

Впервые опубликовано в журнале «Ческословенски новинарж» («Чехословацкий журналист»), 1955, № 1.

С. 337. *Правит всем...* — Четверостишие из «Пражского радиоотголоска» (ЛН, 7.VII.1934).

С. 338. *...буквенные обозначения...* — Как установлено ныне, К. Чапек в газете «Лидове новины» в 20-е гг., помимо полного имени и фамилии или инициалов, подписывался буквой «F», в 30-е гг. — буквой «G».

ЧАПЕК ЕЗДИТ И РИСУЕТ

Впервые опубликовано в газете «Лидова демокрацие», 9.X.1955.

С. 339. «...гай». — В чешском написания это слово в родительном падеже (háje) почти совпадает с французским написанием названия столицы Нидерландов (Haue). По-чешски фраза «Идя в Гаагу» (Jdi do Haue) звучит и пишется почти так же, как фраза «Иди к черту» (Jdi do háje).

С. 340. Питер Клейвех де Зваан ассистировал при эксгумации и идентификации останков Я.-А. Коменского перед их перезахоронением в Наардене.

С. 341. *Схевсинген* — западное предместье Гааги, морской курорт и рыбацья гавань.

ВЕСЕЛЮ О КАРЕЛЕ ЧАПЕКЕ

Впервые опубликовано в кн. К. Čapek. *Vesele o lidech*, Praha, 1955.

С. 343. *Академическая гимназия* — одна из старейших пражских классических гимназий.

ИЗ ЛЮБОпытСТВА И ЛЮБВИ К ИГРЕ

Впервые опубликовано во втором издании книги: E. Konrad. Nač vzpomenu. Praha, 1967.

С. 345. «О себе» (1925). — См. Об искусстве, 217—218.

ЭМИЛЬ ВАХЕК

Эмиль Вахек (1889—1964) — чешский журналист и писатель; сблизился с К. Чапеком в Градце Кралове, где учился в реальной гимназии.

ИЗ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ О СТАРОМ ГРАДЦЕ»

Emil Vachek. Vzpomínky na starý Hradec, Havlíčkův Brod, 1960, s. 72—74.

С. 348. ...*составляли кружок*. — См. прим. к с. 14.

С. 349. Первый номер журнала «Ревю неймладших» со стихотворением К. Чапека «Красный фонарь» пока не обнаружен; однако сходный мотив содержится в стихотворении К. Чапека «Jeunesse dorée» («Золотая молодость») в номере 2—3 этого журнала (I.XII.1905).

АНТОНИН НОВОТНЫЙ

Чешский историк искусства, директор Музея главного города Праги Антонин Новотный (1891—1972) был одноклассником Карела Чапека по Академической гимназии в Праге, где тот учился в 1907—1909 гг.

ИЗ СТАТЫ «ШКОЛЬНЫЙ ТОВАРИЦ КАРЕЛ ЧАПЕК»

Antonín Novotný. Spolužák Karel Čapek. — «Ročenka XVIII Jiráskova Hronova», 1948, s. 43—44.

С. 350. ...*появился... темноволосый мальчик...* — Сестра другого одноклассника К. Чапека по Академической гимназии, лауреата Нобелевской премии, выдающегося химика Ярослава Гейровского (1890—1967) Клара Гофбауэрова-Гейровская (1884—1959) в своей книге «Среди ученых и художников» (1947) передает рассказ брата о появлении в их классе нового ученика: «Недавно в их класс перевелся из провинции небольшого роста кареглазый юноша, гово-

рит он будто бы мало, но все подмечает испытующим взглядом. Если кто-нибудь к нему обращается, отвечает вежливо. Любит число семь. Дескать, оно часто встречается в природе. Под партой сочиняет рассказы и утопические истории, к которым рисует иллюстрации. Иногда рассказывает какую-нибудь из этих новелл, например, что делали и говорили американские миллионеры, потерпевшие кораблекрушение. Сидя на самой высокой корабельной рее, они забавлялись парадоксами. Одноклассника зовут Карел Чапек» (К. Hofbauerová-Heugrovská. Mezi vědci a umělci. Praha, 1947, s. 251). См. рассказ братьев Чапек «Система» (I, 96—102).

«Лабиринт славы» — философская поэма Я. Воцела. По образцу «Фауста» Гете Воцел сделал главными героями поэмы ученого Яна Кутенского-Гутенберга и новоявленного Мефистофеля — Духомора.

«Девин» (1-е изд. — 1805, 2-е, переработанное изд. — 1829) — в первом варианте «ироикомиическая», во втором — «романтико-героическая» поэма Ш. Гневковского, в основу которой положен национальный мифологический сюжет о «девичьей войне».

...«Дафнис» Неедлы. — В 1805 г. Я. Неедлы опубликовал перевод идиллии швейцарского немецкоязычного поэта Саломона Геснера (1730—1788) «Дафнис».

С. 352. *Франтишек Боровый* — пражский издатель, выпустивший ряд книг молодых братьев Чапек; с 1931 г. в издательстве, носившем имя своего старого владельца (с 1928 г. Боровый передал права владения Ярославу Странскому), выходили все книги братьев Чапек.

ВАЦЛАВ ШТЕХ

Видный чешский искусствовед Вацлав Вилем Штех (1885—1974) поддерживал приятельские отношения с Чапеком в 1909—1912 гг.; весной 1912 г. произошел разрыв, основанный в какой-то мере на различном отношении В.-В. Штеха и братьев Чапек к кубизму. В.-В. Штех, Э. Филла и другие бывшие соратники братьев Чапек по «Группе мастеров изобразительного искусства» (основана осенью 1911 г.) видели в кубизме последнее и окончательное слово современного искусства (см. восп. Ф. Лангера в наст. изд., с. 305). Братья Чапек и их ближайшие друзья В. Шпала и В. Гофман относились к кубизму лишь как к одному из возможных направлений творческого поиска. Сыграли свою роль и иные причины. Выход братьев Чапек и их друзей из «Группы» (конец 1912 г.) был проявлением протеста против чрезмерной амбициозности Э. Филлы и его единомышленников. Й. Чапек приводит слова брата: «...в этом

кружке нет таких богачей, чтобы кто-то мог «ручаться» за других» («Dvojí osud. Dopisy Josefa Čapka...»). Praha, 1980, s. X). Тем не менее следует отдать должное объективности В.-В. Штеха, который, преодолев личные антипатии и позднейшую враждебность, оставил достаточно достоверные воспоминания. Они содержат наиболее подробные сведения о пребывании К. Чапека в Германии и Франции в 1910—1911 гг. И если В.-В. Штех подчеркивает честолюбие молодого К. Чапека, известную долю расчёта в его творческом и человеческом поведении, то нельзя исключить реальную обоснованность этого наблюдения.

ИЗ КНИГИ «В ЗАТУМАНЕННОМ ЗЕРКАЛЕ»

V. V. Stech. V zamlženém zrcadle. Praha, 1967, s. 158—160.

С. 354. *...содружество...* — См. восп. Ф. Лангера в наст. изд., с. 266—271, 287—288.

...по проспекту Фердинанда... — Ныне Народни (Национальный) проспект в Праге.

С. 356. *Карлштейн* — королевский замок под Прагой, построенный в середине XIV в. чешским королем и императором Священной Римской империи Карлом IV (Карелом I; 1316—1378).

Умпрум. — См. прим. к с. 270.

ИЗ КНИГИ «ЗА ОГРАДОЙ ОТЧИЗНЬ»

V. V. Stech. Za plotem domova. Praha, 1970, s. 11, 15, 17—19, 37—39, 57, 59, 100—103.

С. 357. *Лициенттрассе* — берлинская улица, пользовавшаяся дурной славой.

С. 359. *Валгалла* — величественное мраморное здание, построенное в 1830—1842 гг. на берегу Дуная близ Регенсбурга по распоряжению баварского короля Людовика I (1786—1868); архитектор — Лео Кленце (1774—1855).

С. 361. *...говорит о себе как о единственном авторе...* — В программке к премьере «Разбойника» К. Чапек отмечал, что комедия возникла в «совместной мастерской братьев Чапек».

С. 363. *...симбиоз не выдержал испытания до конца жизни...* — См. также восп. Э. Валенты в наст. изд., с. 422. Подобного же рода свидетельства содержатся в неопубликованных мемуарах Я. Поспишиловой-Чапковой, в книге Г. Кожелуговой «Чапеки глазами семьи» (1962) и т. д. Суть расхождений между братьями достаточно отчетливо явствует из письма Й. Чапека Г. Чапковой от 27 августа 1935 г.,

в котором старший брат высказывает свое недовольство женитьбой младшего на О. Шайнпфлюговой. Й. Чапек был ближе К. Чапека левому крылу в чешской культуре, чешскому художественному авангарду. Он решительнее выражал симпатии Советскому Союзу, о чем свидетельствует его поездка в нашу страну и высказывания после возвращения (Josef Čapek. *Návštěvou v Sovětském. Svazu.* — LN, 14.V.1938, s. 5). Вместе с тем он все резче отвергал «литературность», испытанные приемы беллетристики и драматургии, в чем расходился с младшим братом (см.: V. Nezval. *Z mého života.* Praha, 1953, s. 28; Jiří Opelík. *Josef Čapek.* Praha, 1980, s. 210—211). И все же в своем дневнике Й. Чапек записал: «Ах, Карел, часть моего существа умерла вместе с тобой!» (J. Čapek. *Psáno do mraků.* 1936—1939. Praha, 1970, s. 300).

...из Бухенвальда... — В.-В. Штех находился в Бухенвальде вместе с Э. Филлой и Й. Чапеком.

...прекрасную книжку... — «Искусство примитивных народов».

С. 363. К. Чапек посвятил Леону Шолиаку эссе «Неизвестный художник» (Об искусстве, 147—151).

БОГУМИЛ МАТЕЗИУС

Видный чешский переводчик и литературовед, популяризатор русской и советской литературы Богумил Матезиус (1888—1952) познакомился с К. Чапеком в студенческие годы, на философском факультете Пражского университета, который закончил в 1912 г. Это одно из немногих воспоминаний, рисующих К. Чапека в университетские годы.

ВСТУПНИ ПРО ФОРТ ШАБРОЛЬ, КАРЕЛ ЧАПЕК!

Bohumil Mathesius. Fort Chabrol, Karle Čapku! — «Kritický měsíčník», 1939, s. 24—27.

С 366. ...Чапек был тогда именно «западник», а я «славяно-фил»... — Утверждение о «западничестве» молодого К. Чапека следует принимать с оговорками. Известно, какое сильное впечатление произвела на него русская революция 1905 г. (см. восп. Г. Чапковой в наст. изд., с. 36—37). Еще пятнадцатилетним юношей он писал А. Неперженной: «В чем заключается захватывающая красота современных авторов-северян, норвежцев и русских? Эту красоту нельзя выразить формулой, но ее чувствуешь в их книгах, и она переполняет твою душу — ergo, это красота в психике, а не красота речи и слога [...]. Чем жизненнее и проще вы подадите красоту, тем лучше.»

(К. Чапек. *Listy Anielce*, s. 23), Как раз в то время, о котором вспоминает Матезиус, К. Чапек пишет большую статью «Литературные заметки о человечности» (1912), в которой рассматривает русский роман как одно из высших достижений мировой литературы. В задуманном вместе с С.-К. Нейманом в канун первой мировой войны журнале «Червен» К. Чапек предполагал написать большую статью о реализме, в первую очередь русском и французском. «Западничество» Чапека проявлялось в ориентации на демократические и социально-реформистские идеи и институты республиканского Запада в противовес феодально-монархический Австро-Венгрии, Германии, России, в отрицании религиозно-мистических исканий «славянофильства».

С. 367. *...битва «древних и новых»...* — Имеется в виду полемика вокруг вопроса об отношении к античной литературе в конце XVII в. во Франции.

Вышеград — скала на правом берегу Влтавы в черте Праги, где когда-то находился королевский замок; ныне здесь расположен Славин (от слова «слава») — место погребения выдающихся писателей, деятелей искусства, ученых.

С. 368. *«Chabrol»* — французское написание этого собственного имени напоминает написание чешского слова «Chrabrost» — храбрость.

...грустное его письмо... — Письмо это до настоящего времени не опубликовано.

ИРЖИ ФОУСТКА

Зубной врач Иржи Фоустка (1894—1967) был многолетним другом К. Чапека; он стал прототипом гувернера-англичанина мистера Кеннеди из рассказа «В замке» (1919), вошедшего в книгу К. Чапека «Мучительные рассказы»; к пьесе И. Фоустки «Орудие жизни» (1937) К. Чапек написал предисловие «История одного сюжета», в котором раскрыл связь между концепцией пьесы «Белая болезнь» и предложенным ему И. Фоусткой замыслом романа о враче, нашедшем средство борьбы с глобальной эпидемией рака и диктующем правительствам свои условия. Сам Фоустка, также переосмыслив первоначальный замысел, осуществил его в пьесе «Орудие жизни».

ИЗ ПИСЕМ

Отрывки из писем Иржи Фоустки впервые опубликованы в журнале «Советская литература», выходящем на чешском и словацком языках; «Sovětská literatura», 1980, № 2, с. 151—154,

С. 371. *Градчаны* — район Праги на левом берегу Влтавы, где находится Град (Кремль).

Малая Страна — старинный пражский район на левом берегу Влтавы.

С. 372. *...славная битва Жижки...* — См. прим. к с. 70.

С. 375. *Достоевского знал...* — См.: Karel Čapek. Literární poznámky o lidskosti. — «Umělecký měsíčník», г. I, 1912, s. 102—104, 135—139; Karel Čapek. F. M. Dostojevskij. — «Národní listy», 19.XII.1917, s. 1; Зоон политикон, 14.

Толстого уважал... — См.: Bratři Čapkové, L. N. Tolstoj. — «Snaha», 7.X.1908, s. 4.

С. 376. *Чехова любил...* — F. Skromný básník. — LN, 27.I.1926, s. 2; F. Autokritika Antona Čechova. — LN, 1.X.1927, s. 1; F. Čechov a jeho zahrada. — LN, 16.IX.1927, s. 1; VII, 406—408.

Горьким восхищался... — См. VII, 392, 404—406.

ЭДУАРД БАСС

Чешский писатель и журналист Эдуард Басс (наст. фам. — Шмидт) (1888—1946) — коллега К. Чапека по газете «Лидове новины» и личный друг. Оставил несколько мемуарных заметок о К. Чапеке.

ИЗ СТАТЬИ «СОТРУДНИК РЕДАКЦИИ»

Eduard Bass. Člen redakce. — «Pondělní LN», 26.XII.1938, ráno, s. 2.

ОТАКАР ВОЧАДЛО

Чешский славист и специалист по англо-американской литературе и языку, в позднейшие годы профессор Карлова университета Отакар Вочадло (1895—1974) вступил в переписку с К. Чапеком осенью 1921 г. и, хорошо зная современный английский театр, помогал ему из Лондона, где тогда преподавал, формировать в этом плане репертуар Виноградского театра. Лично О. Вочадло познакомился с К. Чапеком в январе 1922 г. в Праге, в 1924 г. он был гостеприимным хозяином и гидом во время поездки Чапека в Англию, а с начала 30-х гг., после возвращения в Чехословакию, стал завсегдагатаем «пятниц». Неоднократно выступал с воспоминаниями о К. Чапеке.

ИЗ КНИГИ «ПИСЬМА ИЗ АНГЛИИ» КАРЕЛА ЧАПЕКА»

Вочадло, 86—92, 94—97, 100—106, 124—130.

С. 380. ...28 мая... — 1924 г.

С. 383. ...клуб «Атенеум»... — См. V, 81—82.

С. 384. ...после майского съезда... — Имеется в виду I международный съезд Пен-клубов, открывшийся в Лондоне 1 мая 1923 г. ...чи пьесы... — О премьере «RUR» в Англии см. прим. к с. 130. Премьера «Из жизни насекомых» состоялась в лондонском Регентском театре 5 мая 1923 г.

...романтическое звучание слова «богемец»... — По-английски слова «богемец» (чех) и «человек богемы», «цыган» являются омонимами.

С. 385. ...от чешского побережья у Шекспира... — В «романтической драме» «Зимняя сказка» Шекспир сделал Богемию, где происходит действие, приморской страной.

С. 386. ...возвышенное понятие долгожительства... — См. прим. к с. 147.

С. 387. «Троил и Крессида» — премьера в Городском театре на Виноградах 16.XII.1921 г.

...статью Чапека об английском театре... — См. прим. к с. 147.

С. 388. *Сетон-Уотсон*. — См. V, 127—128.

«Дон Жуан» написан Моцартом в Праге, где 29.X.1787 г. состоялась и премьера этой оперы.

С. 391.очаровательную детскую книжку... — Известны две детские книги Г. Уэллса «Игры на полу» (1911) и «Маленькие воины: игра для Мальчиков» (1913).

С. 392. ...англо-американскую библиотеку... — К. Чапек предпослал этой книжной серии статью «Об английской литературе», 1926 (К. Šarek. Na břehu dnů. Praha, 1966, s. 179—180).

КАРЕЛ ПОЛАЧЕК

Карел Полачек (1892—1944) — чешский писатель-юморист, коллега К. Чапека по редакции газеты «Лидове новины» и один из ближайших его друзей.

ПЯТНИЦА

Karel Poláček. Pátek. — LN, 26.XII.1938, s. 2.

С. 394. ...каждую пятницу... — см. прим. к с. 83.

ФРАНТИШЕК КУБКА

Чешский писатель и журналист Франтишек Кубка (1894—1969) принадлежал к числу завсегдатаев «пятниц». Свои воспоминания о встречах с К. Чапек опубликовал в книгах «Собственными глазами» (1959) и «Между войнами» (1969).

КАРЕЛ ЧАПЕК И ЗАВСЕГДАТАИ «ПЯТНИЦ»

František Kubka. Na vlastní oči. Praha, 1959, s. 118, 119—140. Глава из книги «Собственными глазами»; печатается в сокращении.

С. 396. *...преьера пьесы «Средство Макропулоса».* — См. прим. к с. 88.

...в 1924 году... в новый дом Чапека на улице Узкой... — Автор допускает неточность. В дом на Узкой улице К. Чапек переехал в начале апреля 1925 г.

...в анархистском сердце Шрамека... — Ф. Шрамак в середине 900-х гг. принимал активное участие в чешском анархистском движении.

С. 397. «Орионка» — кондитерская фабрика.

Ф.-Л. Век — герой одноименной эпопеи А. Ирасека, выходившей в 1888—1906 гг. (пять томов) в рисующей картину жизни чешского общества конца XVIII — начала XIX в.

«Манес» — объединение мастеров чешского изобразительного искусства, существовавшее в 1887—1945 гг.; в 1909—1911, 1912—1914 гг. Членом «Манеса» был Й. Чапек.

«Умелеца беседа» («Художественный клуб») — общество деятелей чешской литературы и искусства, основанное в 1863 г.; с 1929 г. членом его стал Й. Чапек.

С. 398. *...вне редакции.* — Ф. Кубка был сотрудником пражской немецкой газеты «Прагер Прессе».

Рубрика анекдотов «Пражский фильм» выходила за подписью: К + М + Б (К.-З. Клима — В. Микса — Э. Басс), которая расшифровывалась и как инициалы трех волхвов — восточных царей из апокрифических евангельских преданий Каспара, Мельхиора и Балтазара (возможность такой интерпретации подчеркивали кресты между буквами).

...процессах Махара времен газеты «Час»... — Имеются в виду судебные процессы, вызванные резкими критическими нападениями Махара на общественных и литературных противников; газета «Час» была постоянной трибуной Махара.

...сокольской движении... — См. прим. к с. 208.

...о легионерах... — т. е. членах чехословацких воинских формированиях.

ний, созданных в период первой мировой войны во Франции, в России и в Италии.

С. 399. ...*Йозеф Копта, Йозеф Чапек, Ванчура*... — Ванчура был в СССР в ноябре 1927 г., Й. Копта — дважды, в ноябре 1927 г. к в мае 1938 г., Й. Чапек — в мае 1938 г.

С. 400. «*Я в Москву не поеду...*» — История отношения К. Чапека к первому в мире социалистическому государству сложна и противоречива. Знакомство с русской литературой убеждало его, что революция в России оправдана и неизбежна. Но ни принципа пролетарской диктатуры, ни форм классовой борьбы, к которым она была вынуждена прибегать, он не признает. И все же он считал, что в отношении к революционной России «априорная вера лучше, чем априорное недоверие». И ему ясно, что Россия борется не за «мистическую революцию», а за Коммунистический манифест Маркса. Когда в 1928 г. ледокол «Красин» спас участников экспедиции Нобиле, Чапек писал, что этот подвиг совершили «советские моряки» и «советские летчики», а не носители неких абстрактных славянских доблестей. Еще в 20-е гг. он был сторонником признания СССР де-юре. Он протестует против запрещения советских фильмов, иронизирует над теми, кто из года в год предвещал крах советской власти. Задолго до Мюнхена Чапек понимал, что самый надежный союзник Чехословакии в ее борьбе с гитлеровской агрессией — Советский Союз. «Двадцать лет назад мы верили во Францию и опирались в своих надеждах на Россию; ситуация в какой-то мере повторяется» (К. Чапек. *Před dvaceti lety*. — LN, 28.X.1934, s. 77). Официальное сближение между Чехословакией и СССР, закрепленное в мае 1935 г. договором о взаимопомощи, было для Чапека не чисто дипломатическим шагом, а выражением коренной общности международных и внутренних интересов. Писатель сознавал, что своими успехами Россия обязана революции, и верил в то, что дальнейшее развитие в нашей стране приведет к расширению демократии. Об этом свидетельствуют его высказывание о проекте Конституции СССР, опубликованное в июне 1936 г. в «Правде», и интервью, которое он дал в июле того же года представителям печати во время пребывания в Осло. Причем для Чапека было важно, что это «новый тип демократии», возникающий на иной социальной основе, чем демократия буржуазная. Советский Союз писатель называет «экспедицией в будущее». Он становится нередким гостем на вилле «Тереза», где находилось тогда Советское посольство. Известно, что в октябре 1935 г. он принял приглашение советских писателей приехать в СССР. О. Шайнфлюгова и Карел Конрад свидетельствуют о его намерении осуществить этот замысел. В последние годы жизни К. Чапек входил в состав почетного правления Общества экономического и культурного сближения с СССР.

...сложил оружие перед войной вчерашней и грядущей... — Имеется в виду известная передышка в борьбе К. Чапека с милитаризмом, наступившая в конце 20-х — начале 30-х гг.. Однако и в этот период Чапек полностью не складывал оружия, о чем свидетельствуют его памфлеты (прежде всего «Удивительные сны редактора Коубека»), побасенки, публицистика (например, заметки «Из Женева доверительно», VII, 455—456; «Дети и война», VII, 456—458), а также предложенный им проект экономических мер против агрессора («Заметки по вопросу о разоружении», 1932).

...как делается газета, как ставятся пьеса и фильм... вещи, непосредственно тебя окружающие. — См. книги К. Чапека «Как это делается» (VII, 137—254) и «Вещи вокруг нас» (VI, 399—459) (первоначально: «О самых близких вещах», 1925).

...прелестные очерки... — См. V (passim).

...о «романах для прислуги» и детективных романах, ярмарочных песнях и меткости народных выражений. — См. эссе «Последний эпос, или Роман для прислуги», «Холмсиана, или О детективных романах» (VII, 334—346, 318—334), «Песни народа пражского», «О пословицах, или О мудрости народной» в книге К. Чапека «Марсий, или По поводу литературы».

С. 401. *Миколаш Алеш сделает из полукруга или прямоугольника бессмертную фреску.* — Речь идет о так называемых «люнетах Алеша» в фойе Национального театра в Праге.

...обрушивается на Поржичи... дом... — См. статью К. Чапека «Дом на Поржичи» (ЛН, 11.X.1928).

С. 402. *Реалистическая (Народная) партия* — чешская либерально-буржуазная партия, возникшая в 1900 г.; лидером ее был Т.-Г. Масарик; прекратила существование в 1918 г.

С. 403. *...обыгрывал избитые слова и фразы...* — См.: К. Чапек. Критика слов (VII, 347—358).

Для «Журналистского словаря» Полачека... написал статью... — «Журналистский словарь» К. Полачека — словарь газетных штампов. В качестве предисловия книге предпослано маленькое эссе К. Чапека «В плену слов» (ЛН, 6.XII.1933). См. Об искусстве, 239—240.

С. 404. *Умирал его отец...* — См. прим. к с. 156.

С. 405. *...господа из Локарно...* — т. е. инициаторы Локарнских соглашений 1925 г., гарантировавших неприкосновенность франко-германской и бельгийско-германской границ и оставлявших негарантированными восточные границы Германии, что открывало ей путь для агрессии против Польши, Чехословакии и СССР.

...венгерского реваншизма... — Речь идет о территориальных претензиях венгерских националистов, мечтавших о возвращении словацких земель в лоно «Великой Венгрии».

С. 406 *...не был председателем чехословацкого Пен-клуба.* — См. прим. к с. 179.

...проявлял интерес и к Антонину Швегле... — К. Чапек был со Швеглой в Карловых Варах 23 и 24.VII.1927 г. и опубликовал запись разговоров с ним в статье «На Карловарском аэродроме» (ЛН, 17.XII.1933), которая вышла отдельным изданием под заголовком «Крохи из разговоров со Швеглой» (1935); в Швегле Чапек ошибочно видел фигуру, которая может противостоять крайне националистическим и профашистским элементам.

...Карела Гашлера... — В 20-е и 30-е гг. сентиментально-патриотические песни Гашлера были в глазах левой интеллигенции воплощением мещанского вкуса.

...о народном юморе... — См. эссе К. Чапека «Несколько заметок о народном юморе» (VII, 313—318).

С. 407. *Терпеть не могу наши книжные форматы.* — Сравни «столбец» (фельетон) «Черт бы их побрал!» из книги «Вещи вокруг нас» (VI, 446—449).

С. 408. *«Коричневые книги»* — книги о преступлениях фашизма, подготовленные мировой прогрессивной общественностью. Первая «Коричневая книга» (Базель, 1933) была посвящена поджогу рейхстага и фашистскому террору; вторая, вышедшая в 1934 г. в Париже, имела подзаголовок «Димитров против Геринга».

...взорвался газ в шахте Нельсон... — 3 января 1934 г.; на эту катастрофу К. Чапек откликнулся статьей «Несчастье и техника» (ЛН, 5.I.1934).

...убит в Марселе Барту и... король Югославии Александр... — См.: К. Чапек. Выстрелы в Марселе (ЛН; 10.X.1934).

С. 409. *...реалистической партии...* — См. прим. к с. 402.

С. 410. *...против авторитарной демократии...* — В середине 30-х гг. политическая группировка Града выдвинула лозунг «сильной демократии», «демократии только для демократов».

...аграрии... — представители реакционной, кулацко-помещичьей аграрной партии.

С. 412. *Берхтесгаден* — немецкий курортный город, летняя резиденция Адольфа Гитлера; 15 сентября 1938 г. здесь состоялась встреча Гитлера с Невиллом Чемберленом, во время которой английская сторона впервые дала согласие на отторжение от Чехословакии пограничных областей, населенных немцами.

С. 413. *«Почему нам не радоваться»* — хор из оперы Б. Сметаны «Проданная невеста».

С. 414. *Судомерж* — деревня в южной Чехии, близ которой 25 марта 1420 г. Ян Жижка одержал победу над войском феодалов; согласно свидетельству, вызывающему у современных историков сомнение, Жижка приказал женщинам расстелить в прибрежных камы-

шах у плотины, на которой расположился его отряд, платки и покрывала, чтобы рыцари цеплялись за них шпорами и падали.

...срубы на Виткове... — 14 июля 1420 г. на горе Витков у Праги Жижка нанес поражение войску крестоносцев (с тех пор эта гора получила название Жижков). Главной опорой обороны гуситов были два деревянных бастиона, заранее воздвигнутых на Виткове по приказу Жижки.

«Русский с нами...» — Вариант строки из песни Само Томашика (1813—1887) «Гей, славяне!» (первоначально — «Гей, словаки!», 1838), возникший в 90-е гг. XIX в., когда стала вырисовываться возможность франко-русского союза; в таком виде этот славянофильский гимн чехов и словаков исполнялся в годы первой мировой войны легионерами и поднимал патриотические настроения в канун Мюнхена.

«Молитва этого вечера». — См. прим, к с. 224.

С. 416. ...«хамом из Хамова»... — «В самом деле манеры, достойные Хамова» — название статьи в газете «Народни листы» (18.I.1927), связанной с так называемой «новогодней аферой» (см. восп. Ф. Лангера в наст. изд., с. 306—307).

С. 418. «Чутора» — глиняная фляга.

С. 419. Вышеград. — См. прим. к с. 367.

Над могилой его стоит распятие. — Сравни сборник К. Чапека «Распятие».

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

Один из крупнейших чешских поэтов XX в. Витезслав Незвал (1900—1958) высоко ценил творчество К. Чапека, в особенности его книгу «Французская поэзия нового времени», ко второму изданию которой он написал восторженное предисловие («Путеводитель для молодых поэтов»). В свою очередь, К. Чапек отдавал дань уважения Незвалу и, когда появился анонимный сборник «52 горькие баллады вечного студента Роберта Давида» (1936), опубликовал статью «Ордер на арест вечного студента Роберта Давида» (ЛН, 13.XII.1936), где недвусмысленно привел все литературные приметы Незвала в качестве основания для установления личности подлинного автора книги, чем доказал свою прозорливость.

ИЗ КНИГИ «ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ»

Vítězslav Nezval. Z mého života. Praha, 1959, s. 102, 227—228.

Заглавие книги мемуаров В. Незвала имеет музыкальное происхождение: «Из моей жизни» — название 1-го струнного квартета Б. Сметаны.

С. 420. *...мы с Ванчурой...* — В 1926 г. К. Чапек писал О. Вочадло: «...не посягайте на Ванчуру, я люблю его так же, как Дуриха; я думаю, что тут мне ничем не поможешь...» (Вочадло, 226). Ванчуру братья Чапек приводили в пример джентльменского поведения тем, кому «организованный коммунист» казался страшнее «организованного тигра». К. Чапек с несколько ревнивым любопытством читал каждое новое произведение Ванчуры. Писатель Карел Новый вспоминает, что, узнав незадолго до смерти Чапека о его болезни, Ванчура хотел его навестить, но было уже поздно. О. Шайнпфлюгова сказала ему по телефону, что врач запретил визиты. Прощаясь с Новым, взволнованный и огорченный Ванчура воскликнул: «Такой великий писатель и такой скромный человек!» (Карел Новый. Маленький портрет К. Ч. — «Литерарни новины», 9.1.1960).

Подкарпатская Русь — ныне Закарпатская Украина.

С. 421. *«Деветсил»* — художественное объединение революционной ориентации; возникло в 1920 г. под председательством В. Ванчуры; большая часть литераторов и театральных деятелей, входивших в объединение, от программы пролетарского искусства перешла к поэтизму, отвергавшему идеологическое начало в художественном творчестве; окончательно прекратило существование в 1932 г.

ЭДУАРД ВАЛЕНТА

Чешский журналист и писатель Эдуард Валента (1901—1978) был коллегой К. Чапека по газете «Лидове новины»; в столбце «Когда все ушли» (ЛН, 30.XII.1938) запечатлел атмосферу на Вышеградском кладбище после похорон К. Чапека; воспоминания Э. Валенты о К. Чапеке опубликованы в подборке «Человек Карел Чапек» («Свободне слово», 23.XII.1968), ему же принадлежит мемуарный очерк «Гуманист в большом и малом» («Импульс», 1968, № 10).

ИВ ПИСЬМА

«Sovětská literatura» (Москва—Прага), 1980, № 2, s. 156—158.

Отрывок из письма Э. Валенты от 21.1.1963 г. Письмо это представляет собой первоначальный и в определенных моментах наиболее полный вариант более поздних воспоминаний автора о К. Чапеке.

С. 422. *...в главной редакции...* — См. прим. к с. 79.

...оба брата идеологически, художественно и человечески совершен^{но}но разошлись... — Э. Валента несколько преувеличивает это расхождение.

...в книге их сестры... — Г. Чапкова, «Мои милые братья».

С. 423. *Руралисты* (от лат. *ruralis* — деревенский) — чешские писатели, близкие по идеологии реакционной аграрной партии; в своих книгах идеализировали патриархальную деревню.

С. 424. ...*прагматизм...* — См. прим. к с. 58.

С. 425. «*Вокруг Вельцля*»... *оба мы... написали... статьи...* — Статья В. Стефансона была опубликована в журнале «Сетердей ревью оф литериче» (9.VII.1932); Письмо Карела Чапека (ЛН, 31.VII.1932); Э. Валента. Америка спорит о Яне Вельцле (ЛН, 3.VIII.1932); Э. Валента. Спор Вельцль—Стефансон решается (ЛН, 15.I.1933). К. Чапек посвятил Вельцлю эссе «Чешский полярник» (ЛН, 25.V.1930) (Ветвь и лавр, 120—123).

...*экспедиция Пинегина...* — А. В. Пинегин в 1927—1929 гг. возглавил экспедицию на Новосибирские острова, которую описал в книге «В стране песцов» (1932).

ЯН МУКАРЖОВСКИЙ

Ян Мукаржовский (1891—1975) — видный чешский литературовед, академик; автор ряда научных статей о К. Чапеке и нескольких предисловий и послесловий к его книгам; в 1934 г. издал книгу «Избранная проза Карела Чапека».

КАРЕЛ ЧАПЕК — ПИСАТЕЛЬ

Jan Mukařovský. Karel Čapek — spisovatel. — «Přítomnost», 1939, s. 156—157.

С. 428. ...*в письме...* — Полностью это письмо до сих пор не опубликовано.

С. 429. «*Похвала чешскому языку*». — См. прим. к с. 309.

С. 430. «*Удивленье и сочувствие...*» — Цитата из эссе «Пролетарское искусство» («Přítomnost», 27.VIII.1925), вошедшего в книгу «Марсий, или По поводу литературы».

С. 431. «*Молодость умчалась, счастья не изведав*». — Слова из словацкой народной песни «Загудели горы, леса загудели».

АДОЛЬФ ГОФМЕЙСТЕР

Чешский художник и писатель Адольф Гофмейстер (1902—1973) был одним из завсегдатаев «пятниц», где представлял вместе с В. Ванчурой «левое» крыло, и многократно изображал К. Чапека в карикатурах и шаржах. О встречах с ним вспоминает в ряде своих книг и статей.

ВОЛЯ К ОБЫЧНОМУ

Adolf Hoffmeister. Vůle k obyčejnosti. — «Kulturní tvorba», г. III, № 37, 16.IX.1965, с. 1, 4.

С. 432. *Дед Всевед* — чешский сказочный персонаж.

«*Деветсил*». — См. прим. к с. 421.

С. 433. *...не было коммунистической партии*. — Коммунистическая партия Чехословакии была создана в мае 1921 г.

...читали «Кочегара» Франца Кафки в неймановском «Черепе». — Речь идет о первой главе неоконченного романа Ф. Кафки «Америка», опубликованной в переводе М. Есенской в журнале «Кмен» («Ствол»; год изд. IV, № 6, 22.IV.1920), который в 1919—1921 гг. выходил под редакцией С.-К. Неймана. В 1918—1921 гг. Нейман редактировал также журнал «Червен» («Июнь»). Отсюда ошибка памяти у мемуариста.

Плоцек. — См. прим. к с. 69

...они были упрямы. — Намек на группу художников «Упрямые», возникшую в 1918 г. В нее входили Й. Чапек, и ее поддерживал в своих статьях К. Чапек («Выставка нескольких упрямых». — «Народ-- листы», 28.II.1918; предисловие к каталогу 2-й выставки «Упрямых», январь 1920 г. и др.).

С. 434. *...выражение «воля к чему-нибудь»...* — в юмореске «Воля».

С. 435. *...написал в программке...* — См. Об искусстве, 36—37.

«*Ремесло писателя — говорить правду*». — Автор имеет в виду статью К. Чапека «О литературе», 1924 (Об искусстве, 210—212) и высказывание Хемингуэя в его речи «Писатель и время», произнесенной в июне 1937 г. на Втором конгрессе американских писателей (см.: Эрнест Хемингуэй. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3. М., 1968, с. 613).

С. 437. «*Говорить правду — как хорошо писать*»... — Сравни русский перевод: «Избранные мысли Джона Рескина», вып. I. Пер. с англ. Л. П. Никифорова. М., 1899, с. 25.

ВАЦЛАВ ВЫДРА

Вацлав Выдра-старший (1876—1953) — выдающийся актер чешского театра и кино. Народный артист Чехословакии; исполнитель ролей Франческо Ченчи (в спектакле, поставленном К. Чапеком), Адама («Адам-творец»), барона Крога («Белая болезнь»), Алквиста («RUR»), Деда («Мать»). Письмо братьев Чапек. (1927) и письмо К. Чапека (1937), адресованные В. Выдре, опубликованы в его книге «Почтовый архив актера» (1956). Краткие упоминания о встречах с К. Чапеком

содержатся в книгах В. Выдры «Мой путь в жизни и в искусстве» (1954) и «Из-под пера актера» (1955).

МОЕ ЗНАКОМСТВО С К. ЧАПЕКОМ

Yáclav Vydra. Poznal jsem K. Čapka. — «Divadlo», г. XXV, 1938—1939, с. 75.

С. 439. ...начал работать у нас, на Виноградах... — См. прим. к с. 245.

...выбрал Зейера... — См. прим. К с. 139.

С. 440. ...по впечатлениям из зрительного зала... — Сравни раздел «Критика» в сочинении К. Чапека «О так называемом кризисе театра», 1933 (Об искусстве, 94).

ЛЕОПОЛЬДА ДОСТАЛОВА

Народная артистка Чехословакии Леопольда Досталова (1879—1972) была исполнительницей ведущих ролей в постановках и пьесах К. Чапека: Беатриче («Ченчи»), Эмилия Марти («Средство Макропулоса») в Виноградском театре, Мать («Мать») и Нана («RUR») в пражском Национальном театре. В последние годы жизни Чапека жила летом в поселке Стара Гуть по соседству с усадьбой Стрж и вместе со своим мужем скульптором Карелом Дворжаком часто бывала в гостях у писателя. О встречах с К. Чапекoм пишет в книге «Актриса вспоминает» (1960) и ряде мемуарных заметок.

С ВОСХИЩЕНИЕМ И БЛАГОДАРНЫМ УВАЖЕНИЕМ.

L. Dostálová. S obdivem a dí kuplnou uctou. — «Divadlo», г. XXV, 1938—1939, с. 75.

КАРЕЛ ДОСТАЛ

Карел Достал (1884—1966) — актер и режиссер, в 1920—1922 гг. был режиссером Виноградского театра, в 1922—1955 гг. — режиссером пражского Национального театра. Простился с К. Чапекoм статьей «Умер строитель...» (ЛН, 27.XII.1938).

ЧАПЕК И ЕГО РЕЖИССЕР

Karel Dostal. Čapek a jeho režisér. — ЛН, 25.1.1939, с. 1—2.

С. 444. *Сословный театр* — старейший пражский театр (построен в 1781—1783 гг.), с 1920 г. — филиал Национального театра, ныне носит название Театр Тыла.

С. 446. ...*над новой постановкой «RUR»*... — в 1939 г. в пражском Национальном театре.

ЗДЕНЕК ШТЕПАНЕК

Выдающийся чешский актер, народный артист Чехословакии Зденек Штепанек (1896—1968) был одним из личных друзей Карела Чапека. Роли его чапековского репертуара: Разбойник (в Виноградском театре — 1928 г. и в Национальном театре — 1938 г.), Прус («Средство Макропулоса», Виноградский театр, 1932), Маршал в «Белой болезни», Отец — в «Матери».

ИЗ КНИГИ «АКТЕР»

Zdeněk Štěpánek. Herec. Praha, 1961, s. 105, 107—109, 218—219.

МАРТИН ФРИЧ

Мартин Фрич (1902—1968) — чешский кинорежиссер, народный артист Чехословакии; поставил фильмы «Гордубалы» (1937) и «Рассказы Карела Чапека» (1947, Почетный диплом Венецианского кинофестиваля).

КАРЕЛ ЧАПЕК И КИНО

Martin Fric. Karel Čapek a film. — «Divadelní a filmové noviny», 17.II.1965, s. 6.

С. 452. *«Яношик»* — фильм Мартина Фрича о герое словацких народных преданий Юрае Яношике (1688—1713), разбойнике, который «у богатых брал, бедным давал»; в основу сценария фильма «Яношик» была положена одноименная пьеса И. Магена, опубликованная в 1910 г.

Так возникли Гордубалы. — Фильм режиссера М. Фрича «Гордубалы» был снят по сценарию К. Гашлера и К. Чапека.

С. 453. *«Река»* — кинофильм чешского режиссера Ровенского, удостоенный в 1934 г. «Кубка Венеции»; одно из лучших произведений чешской кинематографии 30-х гг.

От постановки рассказов Чапека... — Имеется в виду фильм «Рассказы Карела Чапека».

454. *Копецкий.* — Высказывания В. Копецкого о К. Чапеке и об

отношении к нему чешских коммунистов см.: Václav Kopecký. ČSR a KSČ. Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo. Praha, 1960, s. 182.

ЙОЗЕФ ХАРВАТ

Йозеф Харват (род. в 1897 г.) — выдающийся чешский терапевт, профессор Карлова университета, академик.

ВОСПОМИНАНИЯ О КАРЕЛЕ ЧАПКЕ

Josef Charvat. Vzpomínka na Karla Čapka. — RP, 24.XII.1978, s. 4.

Письмо Й. Харвата составителю настоящего сборника, датированное 13.IX.1978 и опубликованное с согласия автора и адресата в газете «Руде право».

С. 456. «Влайка» — организация чешских фашистов, возникшая незадолго до гитлеровской оккупации Чехословакии; издавала журнал «Влайка» («Флаг»).

ЙОЗЕФ КОПТА

Чешский писатель Йозеф Копта (1894—1962) принадлежал к числу самых старых завсегдатаев «пятниц». В 1915 г. попал в русский плен и стал членом Чехословацкого легиона в России; в своей трилогии «Третья рота», «Третья рота на магистрале», «Третья рота дома» (1924—1934) изобразил контрреволюционное выступление Чехословацкого легиона в России как трагическую ошибку. Был членом Общества культурного и экономического сближения с СССР; помогал Иностранной комиссии Союза советских писателей установить контакты с чешскими писателями и активно участвовал в подготовке ряда антифашистских акций писателей Чехословакии. Й. Копта — автор нескольких мемуарных статей о К. Чапке.

РУКИ КАРЕЛА ЧАПЕКА

Josef Kopta. Ruce Karla Čapka. — В кн.: Josef Kopta. Větrný mlýn. Praha, 1959, s. 136—137.

Впервые опубликовано 4 апреля 1927 г. в номере журнала «Народни и Ставовске дивадло» («Национальный и Сословный театр»), посвященном премьере комедии братьев Чапек «Адам-творец» в пражском Национальном театре.

АННА МАРИЯ ТИЛЬШОВА

Анна Мария Тильшова (1873—1957) — видная чешская писательница; в июле 1921 г. была вместе с К. Чапеком и О. Шайнпфлюговой в Татрах; в 1934 г. сменила К. Чапека на посту председателя пражского Пен-центра. Простилась с К. Чапеком речью на траурном вечере пражского Пен-центра (25.1.1939).

УЛЫБКА КАРЕЛА ЧАПЕКА

Anna Marie Tílšová. Úsměv Karla Čapka. — «Národní osvobození», 28.XII.1938, s. 3.

С. 459. *...прагматического философа...* — См. прим. к с. 58.

...я нашла у Чапека цитату... — А.-М. Тильшова цитирует рассказ К. Чапека «История без слов» (I, 215).

С. 460. *...в злую годину нашего национального бедствия...* — См. прим. к с. 222.

Вот если бы... — Цитата из рассказа К. Чапека «Элегия» («След», II; сборник «Распятие») (I, 212).

КАРЕЛ КОНРАД

Карел Конрад (1899—1971) — писатель левой ориентации, член «Деветсила» (см. прим. к с. 421), друг Юлиуса Фучика. Познакомился с К. Чапеком в 1934 г. на собрании писателей-антифашистов. В 1938 г. вместе с К. Чапеком присутствовал в Советском посольстве (вилла «Тереза») на праздновании Октябрьской годовщины.

КАРЕЛ ЧАПЕК И ПРАЖСКИЕ РАБОЧИЕ

Karel Konrad. Karel Čapek a pražské dělnictvo. — В кн.: Karel Konrad. Nevzpomínky. Praha, 1963, s. 25—26.

С. 461. *...вечерний выпуск «Венкова»...* — См. прим. к с. 219.

«Манес». — См. прим. к с. 397; в конце 30-х гг. клуб «Манес» стал средоточием антифашистских сил в чешской культуре.

...руководству издательства... — Имеется в виду издательство «Франтишек Боровый».

...земский комитет... — в межвоенной Чехословакии высший административный орган для отдельных исторических областей (земель), таких, как Чехия, Моравия с Силезией.

...Музее... — Речь идет о чешском Национальном музее, находящемся в центре Праги на Вацлавской площади.

...магазина *Топичей*... — Бывший книжный магазин издателя Ф. Топича на Национальном проспекте принадлежал в это время фирме «Франтишек Боровый» (ныне книжный магазин издательства «Чехословацкий писатель»).

С. 462. ...из окружения *Странского*. — Имеется в виду Ярослав Странский, владелец издательства «Франтишек Боровый» и газеты «Лидове новины».

ЮЛИУС ФУЧИК

Отношение выдающегося чешского критика и публициста, героя Сопротивления, автора книги «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика (1903—1943) к Карелу Чапеку отражало диалектику взаимного притяжения и отталкивания между писателем и революционной частью молодого поколения литераторов, начавших свой творческий путь после первой мировой войны. В статье «Поколение «Деветсила» Фучик писал: «Деветсил» начинает там, где война преждевременно прекратила развитие поколения Чапеков» (RP, 7.II.1926, «Dělnická besídka», s. 2). Фучик отмечал художественную честность братьев Чапек, не позволявшую им «провозглашать какую бы то ни было веру, в которую они не верят». Во второй половине 20-х — начале 30-х гг. он неоднократно выступает с резкими полемическими репликами против общественной позиции К. Чапека. Во второй половине 30-х гг. Фучик, напротив, берет его творчество под защиту («После Корнейчука на очереди Чапек», «Реакция уже требует запрещения пьесы Чапека» — RP, 9 и 10.II.1937), а в рецензии на роман К. Чапека «Первая спасательная» (RP, 21.XI.1937) пишет о нем как о писателе-поэте, обладающем «даром двойного видения» и лишь нарочито долгое время закрывавшем глаза на действительность. Заново свое отношение к Чапеку Фучик пересматривает в статьях-некрологах «Чапек живой и мертвый» и «О чем я думал у гроба Чапека», включенных в данный том. Уже с этих новых позиций он пишет оборванное на полуслове к оставшееся в рукописи «Повествование о жизни и творчестве Карела Чапека» (1939).

ЧАПЕК ЖИВОЙ И МЕРТВЫЙ

Julius Fučík. Čapek živý a mrtvý. В кн.: Julius Fučík. Milujeme svůj národ, Praha, 1951, s. 92—94.

Впервые опубликовано в журнале «Новая свобода», № 1, 19.I.1939.

С. 463. Траурный вечер в Виноградском театре состоялся 15.I.1939 г.

С. 464. ...*Чапек рассказывал о герани*... — В статье «Демократия на Панкраце» Ю. Фучик писал о том, что когда он, пришел к Ча-

пеку с просьбой подписать протест против белого террора в Венгрии и Румынии, тот собирал в своем саду «увядшие лепестки пеларгонии» и заявил, что в политику не вмешивается (J. Fučík. Demokracie na Pankráci. — «ReD», 1927—1928, s. 224—226).

О ЧЕМ Я ДУМАЛ У ГРОБА ЧАПЕКА

Julius Fučík. Co proběhlo hlavou nad mrtvým Karlem Čapkem. В кн.: Julius Fučík. Milujeme svůj národ, s. 95—97.

Впервые опубликовано в журнале «Наше цеста» («Наш путь»), № 1, декабрь 1938 г. под псевдонимом «К. В.».

С. 465. ...*нападки Дуриха...* — См. статью Ю. Фучика «Чистка нации и чешская культура» (Юлиус Фучик. О театре и литературе. Л.—М., 1964, с. 223—226) и прим. к с. 219 и 260.

С. 466. ...*после 30 сентября...* — 30.IX.1938 г. правительство Чехословакии приняло мюнхенский диктат (см. прим. к с. 222).

...*фильма по его «Белой болезни»...* — «Белая болезнь», 1937 (сценарист и режиссер — Гуго Гаас).

...*переводом «Зоны» Аполлинера...* — Перевод поэмы Г. Аполлинера «Зона», впервые опубликованный в журнале «Червен» (№ 21—22, 6.II.1919), вошел в книгу К. Чапека «Французская поэзия нового времени».

ЛАДИСЛАВ (ЛАЦО) НОВОМЕСКИЙ

Крупнейший словацкий поэт XX в., видный деятель Коммунистической партии Чехословакии Ладислав (Лацо) Новомеский (1904—1976) так же, как и Фучик, в своих выступлениях, посвященных Чапеку, первоначально занимает резко критическую позицию («Шотландцы спустились с гор на равнины», ДАВ, 1931, № 9; «История протеста семидесяти», «Лева фронта». II, 1931—1932, № 4 и др.). Новомеский сближается с Чапеком в конце ноября 1934 г., когда в ответ на состоявшиеся в Праге демонстрации националистических элементов возникла антифашистская «Община чехословацких писателей» и был опубликован манифест «Чехословацкие писатели о фашистских провокациях» (РП, 28.XI.1934). В 1938 г. Новомеский приветствует выступление К. Чапека на съезде Пен-клубов в Праге («Не слепы и не глупы...»). — «Творба», 15.VII.1938, № 28) и протестует против попыток «очистить» чешскую культуру от таких писателей, как братья Чапек, Гора, Ольбрахт, Ванчура, Незвал и т.д. («Духовное размежевание в Чехии». — «Элан», IX, 1938—1939, № 1—2, сентябрь—октябрь 1938 г.). На смерть К. Чапека Новомеский откликнулся статьями «Необыкновенная жизнь» («Словенски глас», 29.XII.1938,

№ 296), «Последний путь. Чапека» (публикуется в настоящей книге), «Величие и сомнения» («Элан», IX, № 4, декабрь 1938 г.), в которых дает глубокий анализ духовных корней творчества Чапека и его человеческой трагедии.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ЧАПЕКА

Ladislav Novomeský. Čapkova poslední cesta. — В кн: Ladislav Novomeský. Slavnost istoty. Výběr zo statí a príspevkoy o kultura aumení. 1938—1944. Publicistika, zväzok IV, Bratislava, 1970, s. 149—150.

Впервые опубликовано в газете «Словенски глас», 30.XII.1938, № 297, с указанием даты и места написания; Прага, 29 декабря 1938 г.

С. 467. *...ушел искать покой...* — Цитата из стихотворения В. Незвала «Карелу Чапеку», написанного ночью 25 декабря 1938 г. и опубликованного в газете «Лидове новины», 28.XII.1938.

...на Вышеграде... — См. прим. к с. 367.

С. 468. *...вместе с несколькими... словацкими писателями...* — Кроме Л. Новомеского, на похоронах К. Чапека присутствовали поэт Э.-Б. Лукач и критик и литературовед, ныне профессор Братиславского университета Милан Пишут.

...белого кладбища... — См. прим. к с. 367.

Страговские монахи — монахи Страговского монастыря в Праге (ныне в нем находится Музей чешской письменности и Институт чешской и мировой литературы).

НЕУВЕРЕННОСТЬ, СТРАХ, ГИБЕЛЬ — СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА?

Ladislav Novomeský. Neistota, strach, záhuba — osud človeka? — «Kulturný život», 17.IX.1965, № 38, s. 8.

Выступление на международном симпозиуме о творчестве К. Чапека в Марианских Лазнях в сентябре 1965 г.

С. 469. *...Чапека напрасно ждали в Москве...* — См.: Š. (Ladislav Stolí) Sjezd Sovětských spisovatelů, «Národní osvobození» а К. Чапек. — RP, 8.IX.1934, s. 4.

С. 470. *Град.* — См. прим. к с. 304.

Община чехословацких писателей (1934—1938 гг.) — См. преамбулу, с. 543...; председатель — Й. Гора.

С. 471. *...предпротекторатным...* — то есть выступавшим в период до 15 марта 1939 г., когда Чехия и Моравия были провозглашены протекторатом Германии.

С. 472. *«Почему я не коммунист?»* — Речь идет об ответе К. Чапека на анкету журнала «Пршитомност», опубликованном 4.XII.1924 г.

и вызвавшем широкую полемику. Чапек не столько полемизировал с коммунизмом, сколько оправдывался перед самим собой и другими, почему он, критически относящийся к буржуазии и видящий социальную несправедливость существующего строя, не с коммунистами. «Я защищаю современный строй, — писал он, не потому, что это мир богатых, но потому, что это мир бедных и тех средних слоев, дробимых между жерновами капитала и классового пролетариата, которые сегодня кое-как удерживают и сохраняют небольшую часть человеческих ценностей» (Зоон Политикон, 107—108).

РОМЕН РОЛЛАН

Ромен Роллан (1866—1944) приехал в Прагу 18 мая 1924 г. для ознакомления с чешской музыкой. Поскольку Шарль Вильдрак и Жорж Дюамель, побывавшие в Праге в апреле 1921 г., познакомившиеся с братьями Чапек и видевшие «RUR», похвально отзывались в присутствии Романа Роллана о К. Чапеке и его пьесе, французский писатель в первый же день выразил желание познакомиться с автором «роботов». В понедельник 19 мая они вместе присутствовали на спектакле «RUR» в Сословном театре. К. Чапек на следующий день писал о своем разговоре с Р. Ролланом Отакару Вочадло. 21 мая в газете «Лидове новины» появилась заметка К. Чапека «Ромен Роллан». В августе 1924 г. Ромен Роллан писал Полю Колену о Чапеке: «...он очень интеллигентен [...], остро судит сам себя и... наверняка создаст интересные произведения, если ему позволит это сделать его демон самокритики и иронии» (цит. по: Vladimír Brett. Romain Rolland et la Tchécoslovaquie. — «Europe», 43. Année, № 439—440, Novembre—Décembre 1965, p. 235).

О своей встрече с Ролланом Чапек вспоминает в заметке «Шестидесятилетие Романа Роллана» (ЛН, 29.1.1926; см. «Иностранная литература», 1965, № 1, с. 170).

ИЗ ИНТИМНОГО ДНЕВНИКА

Текст записи в «Интимном дневнике» Р. Роллана (1.1.—6.XII.1924). Архив Романа Роллана. Чешский перевод опубликован в книге: К. Чапек. RUR. Praha, 1966, s. 127.

В. Т. АДАМС

Вальмар Теодорович Адамс (род. в 1899 г.) — эстонский поэт и литературовед; многие годы преподавал в Тартуском университете, член Союза писателей СССР.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О КАРЕЛЕ ЧАПЕКЕ И ОТОКАРЕ ФИШЕРЕ»

«Ученые записки Тартуского университета», вып. 139. Труды по русской и славянской филологии, VI. Тарту, 1963, с. 367—372. Печатается в сокращении.

С. 475. ...из размышлений Чапека о малых нациях. — Карел Чапек. Малые нации («Пршитомност», 1927, № 1).

С. 477. ...люнеты Алеша... — См. прим. к с. 401.

Ванемуйне — музыкально-драматический театр в г. Тарту.

С. 478. ...общность между «Апокрифами» Карела Чапека и стилем Кафки... — См.: George Gibian. Capek's Aposcrifha and Franz Kafka's Parabls. — «The American Slavic and East European Review», vol. 18, № 2, 1959, Apr., p. 238—247.

...связь «Апокрифов» с... новеллами Анатоля Франса и Жюль Леметра... — См.: K. Růžička. Na okraj Čarkovy knihy apokryfů. — «Kritický měsíčník», 1946, № 18—19, s. 184—189; Архангельская Г. Н. «Книга апокрифов» Карела Чапека и некоторые проблемы творчества писателя 20—30-х годов. — «Вопросы зарубежной литературы», Ростов н/Д, 1971, с. 21—44 и др.

С. 480. ...здесь, под Брно, — главный вход в преисподнюю... — Имеется в виду пещера Мацоха глубиной 138 м., в карстовой области Моравский крас под Брно.

С. 481. *Иосиф, Елена* — Йозеф, Гелена.

...*Андре Моруа*. — См.: К. Чапек. Андре Моруа (ЛН, 2.V.1930; русский перевод — «Иностранная литература», 1965, № 1, с. 171).

С. 482. *Клементинум* — здания, входившие некогда в комплекс иезуитской коллегии и переданные в 1800 г. Пражскому университету. Ныне в них расположены Национальная, Университетская, Славянская и Государственная техническая библиотеки.

Фонтан Треви — фонтан в Риме (архитектор Николо Сальми), получивший нынешнее архитектурное оформление в 1732—1751 гг. По народному поверью, чтобы снова вернуться в Рим, нужно бросить в этот фонтан монету.

СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ

Советский писатель Сергей Михайлович Третьяков (1892—1939) посетил Прагу в составе делегации, возглавлявшейся Михаилом Кольцовым (октябрь 1935 г.). 9 октября 1935 г. Третьяков опубликовал в «Литературной газете» корреспонденцию «Делегация дружбы», в которой сообщалось о встрече советских писателей с К. Чапеком. На основе своих впечатлений о пребывании в Чехословакии С. М. Третьяков

написал цикл очерков «Будемте знакомы» («Красная новь», 1936, № 1, 2) и книгу «Страна-перекресток (Пять недель в Чехословакии)», М., 1937.

СОЗДАТЕЛЬ «РОБОТА»

Сергей Третьяков. Дэн Ши-хуа. Люди одного костра. Страна-перекресток. М., 1962, с. 713—715, 717—719.

Глава из книги «Страна-перекресток» печатается в сокращении.

С. 483. *...пьеса Алексея Толстого...* — О соотношении пьесы К. Чапека «RUR» и пьесы А. Н. Толстого «Бунт машин» см.: З. Г. Минц, О. М. Малевич. К. Чапек и А. Н. Толстой. — «Ученые записки Тартуского университета», вып. 65. Труды по русской и славянской филологии, I. Тарту, 1958, с. 120—164; O. Malevič. Z archivu badatele. — «Sovětská literatura», 1980, № 2, s. 155, 163.

С. 483—484. *...«я утверждаю»...* — Цитата из «Писем из Англии» (V, 76).

С. 484. *...романист Кратохвил.* — Я. Кратохвил не принадлежал к кругу посетителей «пятниц» и сблизился с К. Чапеком после организации антифашистской Общины чехословацких писателей. С. Третьяков допускает неточность, говоря о его тесной связи с Масариком и Бенешем.

С. 485. *...говорила... Ольга Шайнпфлюгова...* — Сравни: Ольга Шайнпфлог-Чапек: «Я завидую сознанию советского человека». — «Огонек», 1936, № 8—9, с. 1.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

Илья Григорьевич Эренбург (1891—1967), судя по его воспоминаниям, встречался с Чапеком дважды: в конце февраля — начале марта 1934 г. и в 1935 г.

ИЗ КНИГИ «ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ»

Илья Эренбург, Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9. М., 1967, с. 27, 71.

С. 486. *На пражском конгрессе не было крупных писателей Чехословакии.* — Имеется в виду Международный конгресс писателей в защиту культуры, открывшийся 21 июня 1935 г. К. Чапек прислал конгрессу приветствие. На конгрессе присутствовали В. Незвал, журналист Густав Винтер и писатель Рихард Вейнер.

...Ассоциации... — т. е. Международной ассоциации писателей в защиту культуры.

ЭРИКА МАНН

ПОСЛЕДНЯЯ БЕСЕДА С КАРЕЛОМ ЧАПЕКОМ

Эрика Манн (1905—1969) — немецкая актриса и публицистка, дочь Томаса Манна; после эмиграции из Германии, как и ее отец, получила чехословацкое гражданство. В 1935 г. вышла замуж за видного английского поэта Уистена Хью Одена и до 1939 г. жила в Англии.

Карел Чапек познакомился с Томасом Манном в июле 1931 г. в Женеве на заседании Комитета по вопросам литературы и искусства при Лиге наций. В марте 1932 г. Т. Манн приезжает в Чехословакию и выступает в пражском Пен-клубе. К. Чапек публикует в этой связи медальон о нем (VII, 384). Когда Т. Манн в 1933 г. был вынужден эмигрировать из Германии, Чапек помог ему получить чехословацкое гражданство. В июне 1936 г. писатели встречаются в Будапеште на заседании Комитета по вопросам литературы и искусства при Лиге наций. В 1938 г. Чапек становится одним из организаторов антифашистского «Общества Томаса Манна». Т. Манн и К. Чапек оживленно переписывались. Одно из писем Т. Манна К. Чапеку содержится в издании корреспонденции немецкого писателя, подготовленном Эрикой Манн. Ряд других (в том числе письмо от 21.V.1937, свидетельствующее о том, насколько высоко Т. Манн ценил творчество своего чешского друга, особенно «Войну с саламандрами» и «Белую болезнь». — См.: Karel Čapek. Divadelníkem proti své vůli, 1968, s. 386—387), хранится в Литературном архиве Музея национальной письменности в Праге.

ПОСЛЕДНЯЯ БЕСЕДА С КАРЕЛОМ ЧАПЕКОМ

Erika Mann. A Last Talk with Karel Čapek. — «The Nation», January 14, 1939, p. 68—69.

С. 488. *...был близким другом Бенеша...* — Отношение К. Чапека ко второму чехословацкому президенту было сдержанным. Он уклонился от написания «Разговоров» с ним и признался в кругу близких, что Бенеш его не вдохновляет.

С. 489. *...об Америке...* — О весьма критическом отношении зрелого К. Чапека к «американскому образу жизни» свидетельствует, в частности, его статья «Об американизме», 1926 (Зоон политикон, 73—80).

...подал в отставку... — 5.X.1938 г.

С. 490. *...«кровью и почвой»...* — В гитлеровской Германии насаждалось расистское почвенничество, литература «крови и почвы» («Blut und Boden»).

ЛУИ АРАГОН

Луи Арагон (род. в 1897 г.) был одним из инициаторов и участников вечера воспоминаний о Кареле Чапеке, организованного французской секцией Ассоциации писателей в защиту культуры (30 января 1939 г.).

О ЧАПЕКЕ

«Арагон о Чапеке» — «Интернациональная литература», 1939, № 2, с. 232—233.

Текст мемуарной статьи Л. Арагона, опубликованный в газете «Ce soir», 26.XII.1938. Печатается с сокращениями.

С. 491. *...братья... напечатали «Антологию современной французской поэзии»...* — К книге К. Чапека «Французская поэзия нового времени» Й. Чапек сделал обложку.

...познакомился с Чапеком в 1936 году в Париже. — В 1936 г. К. Чапек не был во Франции. Знакомство могло произойти в 1935 г., когда К. Чапек ездил в Ниццу на заседание постоянного Комитета по вопросам литературы и искусства при Лиге наций (1—3 апреля), или в июне 1937 г., во время работы XV конгресса Пен-клубов в Париже.

Герника — город в Испании; 26 апреля 1937 г. был разрушен германской авиацией; П. Пикассо под впечатлением этого события написал картину «Герника» (1937).

...назавтра после Мюнхена... — 18.X.1938 г.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

- Адамс Вальмар Теодорович, см. наст. изд., с. 545—475—482.
- Адлоф Ярослав (1894—1974), чешск. врач и литератор — 292, 397, 398.
- Александр — см. Карагеоргиевич Александр.
- Аленка — см. Чапкова Алена.
- Алеш Миколаш (1852—1913), чешск. художник-реалист — 401, 477.
- Амшельберг, владелец магазина тканей — 269.
- Англо-американская библиотека (1926—1934), книжная серия, выходявшая в пражск. изд-ве «Авентин» под ред. О. Вочадло — 392.
- А. Н. — см. Новак Арне.
- Аполлинер Гийом (наст. имя Гийом Альбер Владимир Александр Аполлинерий Костровицкий; 1880—1918), фр. поэт — 53, 371, 466.
- «Зона» (1912) — 466.
- Арагон Луи, см. наст. изд., с. 549—492.
- Аристофан (ок. 446—385 до н. э.) — 246.
- Архимед (ок. 287—212 до н. э.) — 282.
- Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927), писатель — 367.
- «Санин» (1907) — 367.
- Байрон Джорж Ноэл Гордон (1788—1824) — 33.
- Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — 433.
- Бальзак Оноре де (1799—1850) — 363.
- «Неведомый шедевр» (1831) — 363.
- Френоффер — 363.
- Бартош Ян (1893—1946), чешск. драматург — 257, 258.
- Барту Жан Луи (1862—1934), фр. гос. деятель — 408.
- Басс Эдуард, см. наст. изд., с. 528—80, 266, 336, 337, 377—379, 398.
- Батя Томаш (1876—1932), чешск. «обувной король» — 401.
- Баштырж Эдвард Ян (1861—1937), чешск. журналист — 433.
- Беатриса, испанск. инфанта — 147.
- Беллок Джозеф Хилери (Жозеф Илер Пьер; 1870—1953), англ. писатель — 52, 383.
- «Четверо путников» («Четверо мужчин») (1912) — 21, 52, 53.
- Бём Честмир (1893—1966), чешск. садовод — 279.
- Бенда Ярослав (1882—1970), чешск. график — 266.
- Бенеш Эдуард; *глава государства* (1884—1948), чехословацк. гос. деятель, президент Чехословакии в 1935—1938, 1940—1948 гг. — 236, 249, 471, 484, 488, 489.
- Бенеш-Тршебизский (наст. фам. — Бенеш) Вацлав (1849—1884), чешск. писатель — 33.
- Беран Рудольф (1887—1957), чешск. политик, один из лидеров реакционной аграрной партии; премьер-министр в послевоенной Чехословакии; осужден народным судом за коллаборационизм — 461.

Бергерова Термина (1891—1958), дочь пражск. кондитера Антонины Бергера, приятельница братьев Чапек — 43, 361.

Бехтерев Владимир Михайлович (1857—1927) — 455.

Бечваржова Мария (1879—1936), чешск. актриса — 247.

Библия — 13, 73.

Биелик Пальо (р. 1910), словацк. актер и кинорежиссер — 452.

Бисмарк Шёнгаузен Отто фон (1815—1898) — 113.

Блок Александр Александрович (1880—1921) — 481.

Блюм Леон (1872—1950), фр. полит. деятель, в 1936—1937 и 1938 гг. — премьер-министр Франции — 201.

Богач Карел, чешск. юрист — 119, 120.

Богач Ладислав (1907—1978), чешск. актер — 446.

«Bohemia» (1827—1938), пражск. нем. газета — 481.

Бодлер Шарль (1821—1867) — 15, 178, 357.

Божинув, чешск. дипломат — 341.

Боздех Эмануэль (1841—1889?), чешск. драматург — 322.

Бонно, парижск. апаш — 367.

Бор Ян (Ян Ярослав Стрейчек; 1886—1943), чешск. режиссер — 451.

Боровый Франтишек (1874—1936), пражск. издатель — 352.

Боучек Антонин (1880—1947), чешск. журналист и историк культуры, член Коммунистической партии Чехословакии с ее основания (1921) — 266.

Боучек Вацлав (1869—1940), пражск. адвокат — 398, 405.

Боучек Яромир (1895—1942), чешск. врач, казнен за подпольную антифашистскую деятельность — 318, 413.

Брак Жорж (1882—1963), фр. художник — 274.

Братья Чапек — см. Чапеки Йозеф и Карел.

Брейгель Питер Старший (между 1525 и 1530 — ум. 1569), нидерландск. живописец — 342.

Бржезина (Ебавы) Отакар (1868—1929), чешск. поэт — 334, 375, 401, 420, 423—424, 481—482.

Бржетислав I, чешск. князь, правивший в 1034—1055 гг. — 11.

Бриан Аристид (1862—1932), фр. гос. деятель и дипломат — 405.

Брожек Вацлав (1851—1901), чешск. художник — 56.

Бруннер Властислав Г. (1886—1928), чешск. график и карикатурист — 266, 267.

Брэн, квартирохозяйка К. Чапека в Ноттинг-хилле (Лондон), чешка по происхождению — 390.

Буковский, владелец газетно-журнальной торговли в г. Брно — 62.

Бурдель Эмиль Антуан (1861—1929), фр. скульптор — 363.

Буриан Эмиль Франтишек (1904—1959), чешск. режиссер, композитор и писатель — 299.

Вавра Карел (1884—1931), чешск. актер — 247.

Валента Эдуард, см. наст. изд., с. 535—422—425.

Валери Поль (1871—1945), фр. поэт — 375.

Вальтнер Йозеф (1883—1961), чешск. актер, владелец кабаре «Монмартр» — 268.

Ванеки, Карел и Людовик, братья: Карел (1900—1961), чешск. поэт и художник — 433—434. Людовик, начинающий поэт и художник — 433—434.

Ванчур Владислав (1891—1942), чешск. писатель, в 1921—1929 гг. член Коммунистической партии Чехословакии, герой Сопротивления, расстрелян гитлеровцами — 65, 299, 302, 318, 398, 399, 410, 420, 433, 434.

Вахек Йозеф, брат чешск. писателя Эмиля Вахека — 348.

Вахек Эмиль, см. наст. изд., с. 523—348 — 349.

Вахман Алоис (1898—1942), чешск. художник — 433.

Веверка Людовик (1892—1947), чешск. актер — 247.

Вейнер Рихард (1884—1937), чешск. писатель и журналист — 80.

Вейр Франтишек (1879—1951), профессор права в Брненском университете — 426.

Велишский Франтишек (1840—1883), чешск. классический филолог — 60—61.

«Жизнь греков и римлян» (1876) — 60—61.

Вельцль Ян (1868—1951), чешск. золотоискатель, рыбопромышленник и торговец в Сибири и на Аляске — 424—425.

«Тридцать лет на золотом Севере» (1930) — 424—425.

«Венков» (1906—1945), чешск. газета, орган аграрной партии — 461.

Верлен Поль (1844—1896) — 178, 481.

Вермеер Дельфтский Ян (1632—1675), голл. живописец — 342.

Верн Жюль (1828—1905) — 13.

Верфель Франц (1890—1945), австр. писатель — 242, 375.

Верхарн Эмиль (1855—1916) — 371, 375.

«Вечер», вечерний выпуск пражск. газеты «Венков» — 219, 236, 237.

Вийон Франсуа (1431 или 1432—?) — 371, 375.

Вильгельм II (1859—1941), герм. император и прусск. король в 1888—1918 гг. — 258.

Вильда, конюх деда К. Чапека — 117, 118.

Вильдрак (Мессаже) Шарль (1882—1971), фр. писатель — 365, 474.

«Пароход Тинэсити» (1919) — 365.

Винчек, младший помощник деда К. Чапека — 115, 119.

Вирт Зденек (1878—1961), чешск. историк и теоретик искусства, академик — 266.

Власта, танцовщица в кабаре «Монмартр» — 268.

Влчек Франтишек (р. 1910), чешск. киносценарист — 453.

Войта Ярослав (1888—1970), чешск. актер — 246.

Волькер Иржи (1900—1924), чешск. поэт, драматург, прозаик, теоретик пролетарской литературы — 299, 480.

«Вольне смерь» («Вольные направления»), чешск. художественный журнал, основан в 1898

- г.; в 1912—1913 гг. выходил под ред. Й. Чапека — 71.
- Вольф Курт (1889—1964), Лейпцигский издатель — 477.
- Восьмиклассник* — вероятно, Розенцвейг-Моир Йозеф.
- Воцел Ян Эразим (1803—1871), чешск. поэт и ученый — 350.
- «Лабиринт славы» (1846) — 350.
- Вочадло Отакар, см. наст. изд., с. 528—380—393.
- Врач* — см. Фирт Леопольд.
- Врзал, портной — 251.
- Врхлицкая Эва; *Мими, примадонна* (1888—1969), чешск. актриса — 76, 120, 121, 434.
- Врхлицкий Ярослав (Эмиль Фрида; 1853—1912), чешск. поэт, драматург и переводчик — 468.
- «Всемирная библиотека», книжная серия, выходившая в пражск. изд-ве Я. Отто в 1897—1931 гг. — 370.
- Выдра Вацлав, см. наст. изд., с. 537—247, 439—440, 450.
- Выщпалеk Вратислав (1892—1962), чешск. композитор — 374.
- Вышинский Андрей Януарьевич (1883—1954), сов. гос. деятель — 405.
- Гаас Гуго (1901—1968), чешск. актер и режиссер — 247, 263, 450.
- Гавел Милош (1899—1968), чешск. кинопромышленник — 453.
- Гавличек Карел (псевдоним — Гавел Боровский; 1821—1856), чешск. публицист и сатирик — 348.
- Галас Франтишек (1901—1949), чешск. поэт — 299.
- Гамлет — см. Ирак.
- Гамсун (Педерсен) Кнут (1859—1952) — 15, 38.
- Гарборг Арне (1851—1954), норвеж. писатель — 15, 38.
- Гаусеман Иржи (1898—1923), чешск. сатирик — 433.
- Гаха Эмиль (1872—1945), президент Чехословакии с октября 1938 г. до 15 марта 1939 г., коллаборационист — 468.
- Гашек Ярослав (1883—1923) — 268, 284, 454.
- Гашлер Карел (1879—1942), чешск. актер, шансонье, композитор, сценарист; погиб в концлагере Маутхаузен — 406.
- Геделла Филип (1889—1944), англ. историк — 390.
- Гейдлер, братья: Густав (1883—1930) и Фердинанд (1881—1928), чешск. юристы; Ян (1883—1923), историк — 371.
- Гейне Генрих (1797—1856) — 67, 358, 476.
- Гейнрих Арношт (1880—1933), чешск. журналист, главн. ред. газеты «Лидове новины» — 79—81, 377, 422.
- Генлейн Конрад (1898—1945), чешско-нем. полит. деятель, лидер фашистской судебно-нем. партии — 261, 409, 410, 461.
- Геон Анри (1875—1944), фр. драматург — 246, 441, 450.
- «Хлеб» (1911) — 246, 441, 450.
- Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 348, 351, 476.
- «Вертер» («Страдания молодого Вертера», 1774) — 351.
- «Избирательное средство» (1809) — 348.
- Гилар (Бакуле) Карел Гуго

(1885—1935), чешск. режиссер — 323.

Гиппократ (460—377 до н.э.), древнегреческий врач и естествоиспытатель — 197.

Главачек Карел (1874—1898), чешск. поэт-символист — 15.

«Глас народа» («Голос нации»), газ. консервативной старочешск. партии, под этим названием выходила с 1886 г. — 433.

Гневковский Шебастиан (1770—1847), чешск. поэт — 350.

«Девин» (1805 и 1829) — 350.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 21, 48, 366, 478, 479.

Гойя Франсиско Хосе де (1746—1828) — 371.

Голомбек Бедржих (1901—1961) чешск. журналист и писатель — 424, 425.

Голсуорси Джон (1867—1933) — 147, 381, 383, 384, 385, 386, 393.

Гонкуры — братья де Гонкур, Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—1870) — 14, 362.

Гора Йозеф (1891—1945), чешск. поэт, прозаик, журналист, член Коммунистической партии Чехословакии в 1921—1929 гг. — 65, 229, 299, 433.

«Горкего тыденик» («Еженедельник Горкего»); 1909—1910), чешск. журнал — 17, 18, 366.

Горки Карел (1879—1965), чешск. публицист, прозаик и издатель — 267, 354, 433.

Горький Максим (Алексей Максимович Пешков; 1868—1936) — 376.

Гофман Властимил (правильно Властислав Гофман; 1884—1964), чешск. архитектор и художник, друг братьев Чапек — 266, 320, 356, 371.

Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — 479.

Гофмансталь Гуго (1874—1929), австр. поэт; прозаик, драматург — 38.

Гофмейстер Адольф, см. наст. изд., с. 536—287, 396, 432—438.

Гочар Йозеф (1880—1945), чешск. архитектор — 266.

Гус Ян (1371?—1415) — 70, 225, 330, 481.

Гутфройнд Отто (1889—1927), чешск. скульптор — 266.

Гюбнерова Мария; *великая актриса* (1862—1931), чешск. актриса — 76, 136, 435.

Гюисманс Жорис Карл (1848—1907), фр. писатель, голландец по происхожд. — 15, 48.

Давид Людвиг, фотограф — 280.

Данте Алигьери (1265—1321) — 481.

Даусон Скотт Кэтрин (1865—1934), англ. писательница, инициатор создания Пен-клуба — 392.

Дворжак Антонин (1841—1904) — 468.

Дворжак Карел (1893—1950), чешск. скульптор, друг Чапека — 262.

Дворжак Ян, рыцарь из Грейнфельса, священник в Упице — 11.

Дед, дедушка — см. Новотный Карел.

Дейл Рудольф (1876—1972), чешск. актер — 435.

Декарт Рене (1596—1650) — 480.

Дельбос Ивон (1885—1956), министр иностр. дел Франции в 1936—1938 гг. — 243.

Демель Рихард (1863—1920), нем. писатель — 38.

Дерен Анри (1880—1954), фр. художник — 371.

Джеймс Уильям (1841—1910), америк. философ и психолог, один из основателей прагматизма — 73, 424.

Диккенс Чарльз. (1812—1870) — 349, 383, 392.

Директор — см. Фукса Франтишек.

Догнал Иржи (р. 1905), чешск. актер — 446.

Домье Оноре (1808—1879) — 275.

Достал Карел, см. наст. изд., с. 538—444—447.

Досталова Леопольда, см. наст. изд., с. 538—246, 247, 396, 441—443, 450.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 375, 478, 479.

«Белые ночи» — (1848) — 375.

Дочь известного кондитера — см. Бергерова Гермина.

Drei Masken Verlag, мюнхенское изд-во — 479.

Дринкуотер Джон (1882—1937), англ. поэт, драматург и критик — 385.

Дурих Ярослав; *известный автор* (1886—1962), чешск. прозаик и поэт — 260, 299, 307, 423, 465.

Дык Виктор (1877—1931),

чешск. поэт, драматург и прозаик — 15, 71, 299, 305, 433.

Дюамель Жорж (1884—1966), фр. писатель — 474.

Дюбуа, парижск. апаш — 367.

Дюмон — 368.

Дядя Пепик — см. Чапек Йозеф.

Его врач — см. Седлачек Карел.

Еништа Ярослав (1879—1927), чешск. физик и математик — 351.

Есенская Милена (1896—1944), чешск. журналистка, возлюбленная Франца Кафки; погибла в концлагере Равенсбрюк — 375.

Жак Ярослав (1906—1960), чешск. писатель — 453.

Жарри Альфред (1873—1907), фр. писатель — 15.

«Мессалина» (1901) — 15.

Жижка из Трочнова Ян (ок. 1360—1424) — 70, 372.

Заградничек Ян (1905—1960), чешск. поэт — 423.

«Загудели горы, леса загудели», словацк. народная песня — 431.

Заклятый враг — см. Медек Рудольф.

Закопал Богуш (Богуслав; 1874—1936), чешск. актер — 247.

Зейер Юлиус (1841—1901), чешск. поэт, прозаик и драматург — 246, 322, 439, 449.

«Старая история» (1883) — 246, 322, 439, 449.

«Зеленые рощи», чешск. народная песня — 21.

Знакомая писательница — см. Тильшова Анна Мария, Зравый Ян (1890—1977), чешск. художник — 398. Зубатый Йозеф (1855—1931), чешск. лингвист — 366.

Ибсен Генрик (1828—1906) — 38; 136, 335.

«Ивнинг ньюс» («Вечерние новости»), англ. газета, выходит с 1881 г. — 381.

Издательство — см. «Франтишек Боровый».

«Интернационал», гимн — 413.

Иосиф II (1741—1790), австр. император в 1780—1790 гг. (с 1765 г. — соправитель) — 70, 75.

Ирак (по прозвищу *Гамлет*), кельнер в пражск. кабаре «Монмартр» — 268.

Ирасек Алоис (1851—1930), чешск. прозаик и драматург, автор произведений с исторической тематикой — 33, 330, 433.

«Из бурных времен» (1879) — 330.

«Из разных времен» (1892) — 330.

«На кровавом камне» — 330.

Иржи — см. Богач Карел.

Йон Яромир (Богумил Маркалоус; 1882—1952), чешск. писатель и эстетик — 80, 299.

Карагеоргиевич Александр (1888—1934), король Югославии в 1921—1934 гг.; убит в Марселе хорватскими националистами, за которыми стояли нем. и итал. фашисты — 408.

Карко Франсис (Франсуа Каркопино-Тюзоли; 1886—1958), фр. писатель — 375.

Кафка Франц (1883—1924), австр. писатель — 375, 433, 477—478, 481.

«Замок» (не окончен) — 481.

«Кочегар» (1913) — 433.

Квапил Ярослав; *художественный руководитель* (1868—1950), чешск. писатель и режиссер — 137, 245, 323, 387, 448.

Кирсанов Семен Исаакович (1906—1972), поэт — 483.

«Робот» (правильно «Поэма о Роботе»; 1935) — 483.

Кисела Франтишек (1881—1941), чешск. художник — 266, 267, 356.

Киселка, бутафор Виноградского театра в Праге — 450.

Киш Эгон Эрвин (1885—1948), чешско-нем. писатель и журналист, деятель коммунистического движения Чехословакии, Австрии и Германии — 266, 268.

Клара, юродивая — 70.

Клейвех де Зваан Йоханнес Питер (1875—1931), голл. антрополог и археолог — 340—341.

Клима Карел Зденек (1883—1942), чешск. журналист — 377, 398.

Клицпера Вацлав Климент (1792—1859), чешск. драматург — 322.

К + М + Б (см. Клима Карел, Зденек, Микса Войтех, Басс Эдуард) — 398.

Кнауэр, шофер О. Шайнпфлюговой — 162, 165, 167, 170, 171.

Кнепры, владельцы дома в г. Градце Кралове, у которых жил К. Чапек — 31.

Князь — см. Коллоредо-Мансфельд Вейгарт.

Коваржик Франтишек (р. 1886), чешск. актер — 247.

Кодичек Йозеф (1892—1954), чешск. журналист, критик, режиссер; друг братьев Чапек — 262, 371.

Кожелуг Франтишек (1873—1926), чешск. адвокат, первый муж Г. Чапковой — 34, 35—36, 39, 44, 46, 47, 53—54, 60, 62, 79.

Кожелуговы, сестры (*дети, девочки, дочурки*), дочери Г. Чапковой: Гелена (1907—1967), чешск. журналистка, в 1948 г. эмигрировала из Чехословакии — 39, 45, 46, 60, 74, 75, 79; Эва (1905—1958) — 39, 45, 46, 60, 74, 75, 79, 97.

Коллоредо-Мансфельд Вейгарт (1882—1964), владелец замка Добржиш — 417.

Колумб Христофор (1451—1506) — 58.

Коменский Ян Амос (1592—1670), чешск. гуманист и просветитель, основоположник педагогики — 73, 340, 481.

Конгрив Уильям (1670—1729), англ. комедиограф — 388, 389.

«Пути светской жизни» (1700) — 388, 389.

Конрад Карел, см. наст. изд., с. 541—461 — 462.

Конрад Эдмонд, см. наст. изд., с. 520—319—347, 475.

«Эдисон» («Чародей из Менлоу, или Поколение первых вещей», 1934), пьеса — 346.

Константин Леопольдина (р. 1886), австр. актриса — 89.

Конфуций (Кун-фу-цзы или Кун-цзы; 551—479 до н. э.) — 206.

Копецкий Вацлав (1897—1961), чешск. коммунистический политик и гос. деятель, после мая 1945 г. — министр информации и министр культуры — 453—454.

Копта Йозеф, см. наст. изд., с. 540—292, 299, 396, 397, 398, 399, 423, 457—458.

Корбьер Тристан (Эдуар Жокен Корбьер; 1845—1875), фр. поэт — 53.

«Коричневые книги» — 408.

«Короб сказок» (т. 1—3, 1918—1920), сборники литературных сказок для детей, выходявшие по инициативе и под ред. К. Чапека — 72.

Кралик Ольдржих (1907—1975), чешск. литературовед — 333, 335.

Крамарж Винценц (1877—1960), чешск. искусствовед и кол-лекционер — 266, 274.

Крамарж Карел, *представитель национально-демократической партии* (1860—1937), чешск. политич. деятель — 306, 410,

Кратохвил Зденек (1883—1961), чешск. карикатурист и иллюстратор — 266, 267.

Кратохвил Ярослав (1885—1945), чешск. писатель, сторонник социалистического реализма, погиб в концлагере Терезин — 484.

Краус Карел (1886—?), чешск. филолог, переводчик англ. лит-ры — 318.

Краус Карл (1874—1936), австр. писатель и публицист — 437.

«Элегический дистих» (1911), цикл афоризмов — 437.

Крейцфальд Фридрих Рейнхольд (1803—1882), эстонск. писатель, фольклорист, просветитель. — 479.

Кропалец Петр (псевдоним — Павел Нери; 1889—1931), чешск. архитектор, режиссер, драматург — 266.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — 433.

Кршичка, братья: Петр (1884—1949), чешск. поэт и переводчик; Ярослав (1882—1969), композитор — 266.

Кубин Отакар (1883—1969), чешск. художник и скульптор — 266.

Кубишта Богумил (1884—1918), чешск. художник и теоретик искусства, друг братьев Чапек — 266, 371.

Кубка Франтишек, см. наст. изд., с. 530 — 396—419.

Кулишан Алоис Йозеф (1885—1948), чешск. садовый архитектор — 278.

Купер Джеймс Фенимор (1789—1851) — 41.

«Последний из могиан» (1826) — 13.

Курцова-Штепанова Илона (1899—1975), чешск. пианистка — 90.

Кхол Франтишек (Кхоличек; 1877—1930), чешск. библиотекарь, театральн. деятель, писатель, друг К. Чапека — 374.

Лагерлеф Сельма (185.8—1940), швед. писательница — 38.

Лада Йозеф (1887—1957), чешск. художник и писатель — 5.

Лажанский. Владимир Фердинанд, граф (1854—1925) — 71, 372—373.

Лажанский Прокоп, граф (1904—1972) — 71, 372.

Лангвайль Артур, знакомый В.-В. Штеха — 357.

Лангер Франтишек, см. наст. изд., с. 516—83, 149, 266—318, 327, 341, 354, 359—360, 371, 396, 397, 398, 423, 429, 475, 484.

«Ангелы среди нас» (1931) — 283.

«Вечная молодость» (рассказ из сборника «Мечтатели и убийцы», 1921) — 298.

«Золотая Венера» (1910) — 359—360.

«Пражские легенды» (1956) — 296.

«Рассказы филателиста» (1965) — 296.

Лаурин Арне (Арношт Люстиг; 1889—1945), нем. журналист, главн. ред. газ. «Прагер прессе» — 398.

Лебрен Альбер (1871—1950), президент Франции в 1932—1940 гг. — 243.

Леметр Жюль Франсуа Эли (1853—1914), фр. критик и писатель — 478.

Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — 433.

«Ле Тан» («Время»; 1861—1940), фр. газ. — 366.

Ли Бо (701—762), китайск. поэт — 480.

«Лидове новины» («Народная газета»; 1892—1945), в просторе-

чи — «Лидовки», чешск. газ., выходила в г. Брно, с 1920 г, имела редакцию в Праге — 64, 79, 80, 81, 88, 294, 295, 296, 300, 301, 302—304, 342—343, 377—379, 383, 398, 401, 402, 403, 422—424, 461, 476, 478.

Линк Карел (1832—1911), чешск. балетмейстер, содержавший школу танцев — 42, 361.

Ли Тай-бо — см. Ли Бо.

Лубе Эмиль Франсуа (1838—1929), президент Франции в 1899—1906 гг. — 368.

Маген Иржи (Антонин Ванчур; 1882—1939), чешск. писатель — 80, 269, 452.

Майерова Мария (1882—1967), чешск. писательница, ветеран коммунистическ. движения — 266, 299.

Маклеод Фиона — см. Шарп Уильям.

Малипетр Ян (1873—1947), чешск. гос. деятель (председатель палаты депутатов, премьер-министр), один из лидеров реакционной аграрной партии — 406.

Малиржова Мария (1877—1940), чешск. писательница, принимала активн. участ. в созд. Коммунистической партии Чехословакии — 266.

Манген Анри Шарль (1874—1949), фр. художник — 360.

Манес Йозеф (1820—1871), чешск. художник, основоположник национальной школы живописи — 55.

Манн Генрих (1871—1950) — 408.

Манн Томас (1875—1955) — 38, 408, 476,

Манн Эрика, см. наст. изд., с. 548 — 487—491.

Мануэл I (1469—1521), португальск. король — 320, 322, 324.

«Манчестер гардиан», англ. газ., выходит с 1821 г. — 388.

Марженка, девочка, в которую был влюблен юный К. Чапек — 34, 36.

Мария (1876—1938), румынск. королева, председательница румынск. Пен-клуба — 147, 381, 383, 384.

Мария Терезия (1717—1780), австр. эрцгерцогиня и императрица Священной Римской империи в 1740 — 1780 гг. — 70, 75.

Марке Альбер (1875—1947), фр. живописец — 360.

Марриет Фредерик (1792—1848), англ. писатель — 269.

Мартинец Франц, старший помощник на мельнице деда К. Чапека — 116, 118, 119.

Маршнер, фабрикант — 356.

Масарик Томаш Гарриг, *старый пан, глава гос-тва, основатель нашего гос-тва* (1850—1937), чехословацк. гос. деятель, политик, философ; президент Чехословакии в 1918—1935 гг. — 157, 162, 179, 249, 289, 318, 324, 366, 387, 395, 420, 423, 459, 471, 484, 489.

Матезиус Богумил, см. наст. изд., с. 526 — 366—369.

Матейка, советник чехословацк. посольства в Голландия — 327.

Матейчек Антония (1889—1950), чешск. искусствовед — 266.

«Матен» («Утро»), фр. газ., основана в 1895 г. — 360.

Матисс Анри (1869—1954), фр. художник — 371.

Маттеоти Джакомо (1885—1924), итал. социалист, убитый по приказу Муссолини — 328.

Махар Йозеф Сватоплук (1864—1942), чешск. поэт, прозаик, публицист — 305, 349, 398, 433.

Медек Рудольф (1890—1940), чешск. писатель, генерал; участник контррев. восстания чехословац. легиона в России; занимал крайне правую обществ. позицию — 64, 198.

Мейринк Густав (1868—1932), австр. писатель — 351.

«Музей восковых фигур» (1907), сборник рассказов — 351.

Мендельсон-Бартольди Феликс (1809—1847) — 92.

«Свадебный марш» (из музыки к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», 1843) — 92.

Микса Войтех (1887—1953), чешск. писатель и журналист (см. К + М + Б) — 398.

Милн Ален Александр (1882—1956), англ. писатель — 383, 390.

«Модерни живот» («Современная жизнь»; 1902—1903), журнал лит. об-ва «Сиринга», выходил в Праге — 33.

«Модерни ревию» («Современное обозрение»; 1894—1925), чешск. декадентско-символистск. литературно-художественный журнал — 76, 268.

Мольер (Жан Багист Поклен; 1622—1673) — 229, 246.

«Школа жен» (1662, изд. 1663) — 291.

Мор Томас (1478—1535), англ. гос. деятель и писатель, один из

основоположников утопическ. коммунизма — 370.

«Утопия» (1516) — 370.

«Моравска орлице» («Моравская орлица»), чешск. газ., выходила в г. Брно с 1863 по 1943 г. — 39.

«Моравский край», чешск. газ., выходила в г. Брно с 1895 г. — 17.

Моруа Андре (Эмиль Герцог; 1885—1967), фр. писатель — 312, 481.

Мотл Вацлав (р. 1911), шофер и садовник К. Чапека — 206—207, 217—218, 225, 252.

Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791) — 388, 476.

«Дон Жуан» (1787) — 388.

«Волшебная флейта» (1791) — 476.

Мрачкова Ружена (р. 1897), экономка О. Шайнпфлюговой — 170.

Мукаржовский Ян, см. наст. изд., с. 536—399, 426—431.

Мунк (Мунх) Эдвард (1863—1944), норвеж. художник — 484.

«Мусейон», сборник, посвященный изобр. искусству; вышел весной 1920 г. под ред. К. Чапека — 363.

Муссолини Бенито (1883—1945) — 328.

Нана, служанка — 355.

Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт; 1808—1873) — 347.

«Народни листы» («Национальная газета»; 1861—1941), чешск. бурж. газета, выходила в Праге — 64, 71, 79, 80, 300, 306, 377, 433.

«Народни обзор» («Национальное обозрение»; 1907—1909),

пражск. еженедельник (ред. — К. Горки) — 366.

«Научный словарь Отто», энциклопедия, выходявшая в изд-ве Я. Отто в 1888—1909 гг. — 356.

Небеский Вацлав (1889—1949), чешск. искусствовед — 266, 362.

«Небойса» (1918—1920), чешск. сатирич. журнал, выходил в Праге под ред. Й. Чапека (К. Чапек был членом редколлегии) — 72, 433.

Неедлы Зденек (1878—1962), чешский ученый-марксист (историк, музыковед, эстетик); активн. деятель Коммунистической партии Чехословакии, друг СССР; президент Чехословацкой Акад. наук — 433, 452 — 453.

Неедлы Ян (1776—1834), чешск. поэт и филолог — 350.

«Дафнис» (1805) (перевод идиллии С. Геснера, 1760) — 350.

Незвал Витезслав, см. наст. изд., с. 534 — 65, 299, 420—421, 423, 452, 453, 467, 480.

«Карелу Чапеку» (1938) — 467.

Нейман Станислав Костка (1875—1947), чешск. революционный поэт — 15, 46, 63, 65, 299, 354, 423, 433.

«Книга лесов, вод и косога-ров» (1914) — 46, 65.

«На пороге Пантеона» (1911), сб. статей — 63.

«О моде, успехе и нетерпении» (статья) — 63.

«Песни тишины» (цикл стихов из сб. «Новые песни», 1918) — 65.

Немцова Божена (Барбора; 1820—1862), чешск. писательница — 33, 468.

Неруда Ян (1834—1891),

чешск. поэт, прозаик и публицист — 33, 300, 468.

Новак Арне (1880—1939), чешск. критик и литературовед — 13, 366.

Новая экономка — см. Шункова Гелена.

«Новина» («Новь»; 1908—1912), чешск. литературно-критический журнал, выходил в Праге — 359.

Новомеский Ладислав (Лацо), см. наст. изд., с. 543 — 467—473.

Новотная Гелена, *бабушка* (1841—1912), бабушка К. Чапека со стороны матери — 19, 21, 26, 28, 31—35, 39, 43, 51, 69, 74, 113, 114, 117—119, 124, 239, 274, 282, 286, 411.

Новотный Антонин, см. наст. изд., с. 523 — 350—353.

Новотный Карел (1837—1900), дед К. Чапека со стороны матери, мельник, торговец хлебом — 21, 113, 114, 116, 118, 175, 239.

Новый министр — см. Хвалковский Франтишек Карел.

«Нью-Йорк таймс» («Нью-Йоркское время»), амер. газ., выходит с 1851 г. — 425.

Один неусыпный критик — вероятно, Сезима Карел.

Одоевский Владимир Федорович (1803 или 1804—1869), писатель и муз. критик. — 479.

Ольбрахт Иван (Камил Земан; 1882—1952), чешск. писатель и журналист, ветеран коммунистического движения — 266, 299.

Отто Ян (1841—1916), чешск. издатель — 356.

Паливец Йозеф (1886—1975), чешск. дипломат, поэт, переводчик, второй муж Г. Чапковой — 429.

Пальо — см. Биелик Пальо.
«Папочкина баловница», пьеса — 129.

Патера Франтишек (1871—1947), кельнер кафе «Унион» в Праге — 49, 266, 320, 370.

Пекарж Йозеф (1870—1937), чешск. историк — 366.

Пельнарж Йозеф (1872—1964), чешск. ученый-медик — 451.

Пероутка Фердинанд (1895—1978), чешск. публицист, выступал с антикоммунистическ. позиций, в 1948 г. эмигрировал и вел активную пропаганду против народно-демократическ. строя в Чехословакии — 454.

Пешек Ладислав (р. 1906), чешск. актер — 446.

Пик Отто (1887—1940), чешск. переводчик, первым начал переводить произведения К. Чапека на нем. яз. — 375.

Пикассо Пабло (1881—1973) — 274, 371.

Пинегин Николай Васильевич (1883—1940), художник, писатель, ученый-полярник — 425.

Платон (Аристокл; 427—347 до н. э.) — 339.

Плейфер Найгел (1874—1934), англ. театр. предприниматель, режиссер, актер; по его инициативе и в его адаптации в Лондоне были поставлены пьеса К. Чапека «RUR» и пьеса братьев Чапек «Из жизни насекомых» — 147, 388, 390.

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — 433.

По Эдгар Аллан (1809—1849) — 15, 274, 479.

«Философия творчества» (1846) — 274.

Погорельский — см. наст. изд., с. 479.

«Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828) — 479.

Полак Матей Милота Здирад (1788—1856), чешск. поэт и прозаик — 350.

«Возвышенность природы» (1819), поэма — 350.

Полачек Карел, см. наст. изд., с. 529 — 258, 262, 292, 299, 394—395, 398, 403.

«Журналистский словарь» (1934) — 403.

Поспишилова-Чапкова Яримила (1889—1962), жена Й. Чапека — 73—76, 85, 96, 363, 397.

Президент — см. Гаха Эмиль.

Прейс Ярослав, *генеральный директор* (1870—1945), директор пражск. Ремесленного банка, финансовый магнат — 283, 406.

Прейслер, торговец коврами — 284.

Прелестная, милая девушка — см. Солперова Либуше.

«Природоведение в картинках» — 13.

Профессор В. — см. Вейр Франтишек.

Прохазка Арношт (1869—1925), чешск. критик, поэт, переводчик — 76, 305.

«Пршеглед» («Обозрение»), чешск. либерально-буржуазн. культурно-обществ. журнал, выходил в Праге с 1903 г. — 18, 33, 292, 355.

Пршикрыл Богумил (1893—1965), чешск. публицист и изда-

тель, друг К. Чапека — 318, 399.

Пуйманова Мария (1893—1958), чешск. писательница — 299.

Пшибышевский Станислав (1868—1924), польск. писатель — 349.

Черский — герой романа «Номо сариенс» (1895—1898) — 349.

Рабас Вацлав (1885—1954), чешск. художник, друг К. Чапека — 397.

Рабле Франсуа (1494—1553) — 371.

«Гаргантюа» (1534)—375.

Рада Властимил (1895—1962), чешск. художник — 397.

Рассел Бертран (1872—1970) — 479—480.

«Wissen und Wahn» — 479.

Рашин Алоис (1867—1923), чешск. экономист, один из лидеров реакционной национально-демократическ. партии и ведущих редакторов газ. «Народни листы», министр финансов в 1918—1923 гг. — 74, 79.

Революция — см. Чадская Анна.

«Ревю неймладших» («Обозрение самых молодых»), *ежемесячный журнал*, ученический журнал, печатавшийся на гектографе; выходил в 1905 г. в Градце Крало-ве — 348—349.

Режиссер — см. Стейскал Богуш.

Рейсдаль Якоб (1628 или 1629—1682), голл. живописец — 342.

Рем Эрнст (1887—1934), нем. национал-социалист, возглавивший путч против Гитлера — 337.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — 342.

«Ночной дозор» (1642) — 342.

Ренсимен Уолтер (1870—1949), англ. политик; в июле—сентябре 1938 г. в качестве главы «неофициальной» англ. миссии изучал «судетскую проблему» и своими выводами подготовил Мюнхенское соглашение — 417.

Рескин Джон (1819—1900), англ. писатель, историк, теоретик искусства — 437.

Ривс Эмибер, прототип героини романа Г. Уэллса «Анна-Вероника», англ. студентка, активистка фабианского общества — 392.

Ригер Франтишек Ладислав (1818—1903), чешский политик — 65.

Рильке Райнер Мария (1875—1926), австр. поэт — 38.

Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (псевдоним — Жан Поль; 1763—1825), нем. писатель — 479.

«Schulmeisterlein Wuz» («Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz in Auenthal»; 1793) — 479.

«Робинзон Крузо» (1719) Даниеля Дефо — 13, 115.

Ровенский Йозеф (1894—1937), чешск. кинорежиссер — 453.

«Река» (1933), фильм — 453.

Роден Огюст (1840—1917) — 387.

«Бернард Шоу» (скульптурный портрет, бронза; 1906) — 387.

Родрмир Гарольд Сидней (1898—1940), англ. политик и газетный магнат; поддерживал диктатуру Хорти в Венгрии — 325.

Розенцвейг-Мойр Йозеф

(1887—?), чешск. поэт-анархист — 35.

«Розправы Авентина» (1925—1934), рекламный журнал пражск. изд-ва «Авентин» — 345.

Роллан Ромен, см. наст. изд., с. 545—474.

Ромен Жюль, *французский писатель, председатель* (Луи Фаригуль; 1885—1972) — 193, 200, 208, 242, 406.

Рони, братья: наст. имена Бёкс Жозеф Анри (1856—1940) и Бёкс Серафен Жюстен Франсуа (1859—1948) — 14.

Румынская королева — см. Мария.

Священник — см. Дворжак Ян. Седлачек Карел (1892—1962), врач-иммунолог, родственник О. Шайнпфлюговой — 299.

Сезанн Поль (1839—1906), фр. художник — 271, 363.

Сезима Карел (1876—1949), чешск. критик — 11.

Сейферт Ярослав (р. 1901), чешск. поэт — 65, 299, 423.

Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616) — 375.

Сестра — см. Фоусткова Зденка.

«Се суар» («Сегодня вечером»), прогрессивная фр. газета, издававшаяся Луи Арагоном и Ж.-Р. Блоком — 491.

«Сетердей ревью» («Субботнее обозрение»), англ. лит. журнал, основан в 1855 г. — 387.

Сетон-Уотсон Роберт Уильям (псевдоним — Скотус Виатор; 1879—1951), англ. историк, изучал полит. историю славян,

выступал в защиту словаков от венгерского нац. гнета — 388.

Сквайр Джон Коллингс (1884—1958), англ. поэт и критик, с которым К. Чапек познакомился в клубе «Атенеум» — 383.

Скотт Дьюкинфилд Генри (1854—1934), англ. палеоботаник — 383.

«Слово а словесност» (1935—1944), журнал Пражск. лингвист. кружка — 429.

Сметана Бедржих (1824—1884) — 468.

«Проданная невеста» (1866) — 43, 413.

Смрж Оскар (1885—1938), чешск. садовод — 279.

Сокол Карел Элгарт (1874—1929), чешск. писатель — 80.

Солперова Либуше (р. 1890), знакомая К. Чапека — 44.

Соммер Отто, одноклассник К. Чапека по гимназии в Градце Кралове — 348.

Спенсер Герберт (1820—1903), англ. философ — 383.

Старый шофер — см. Кнауэр. Стейскал Богуш (1896—1955), чешск. режиссер — 137.

Стендаль (Анри Мари Бейль; 1783—1842) — 15, 244, 356.

«Красное и черное» (1831) — 244.

Стефансон Вильялмур (1879—1962), канадск. полярный исследователь и писатель — 424.

Стивинова Мария, владелица садоводства в пригороде Праги — 279.

«Стопа» («След»; 1910—1914), чешск. литературно-художественный журнал, выходил в Праге,

ред. К. Горки — 17, 267, 354, 355, 366, 433.

Странский Адольф (1855—1931), чешск. буржуазный политик и журналист — 81.

Странский Ярослав (1884—1973), чешск. буржуазный полит. деятель, в 1948 г. эмигрировал, умер в Лондоне — 423, 462.

Стриндберг Юхан Август (1849—1912), швед. писатель — 15, 38.

Строупежницкий Ладислав (1850—1892), чешск. драматург — 322.

Стришбрный Иржи (1880—1955), главарь чешск. фашистов — 410.

Сук Йозеф (1874—1935), чешск. композитор, друг К. Чапека — 45.

Сын графа — см. Лажанский Прокоп.

Тагор Рабиндранат (1861—1941) — 205.

«Таймс» («Времена»), англ. газ., выходит в Лондоне с 1785 г. — 415—416, 418, 424.

Твоя экономка — см. Мрачкова Ружена.

Тейге Карел (1900—1961), чешск. график, теоретик искусства, критик, приверженец авангардизма — 433—434.

Тесноглидек Рудольф (1882—1928), чешск. писатель — 80.

Тилле Вацлав (1867—1937), чешск. литературовед и театровед — 366, 475.

Тильшова Анна Мария, см. наст. изд., с. 541 — 130, 299, 459—459—460.

Тихая сестренка — см. Шайнпфлюгова-Конрадова Божена.

Тихий, доктор, приятель А. Чапека (отца К. Чапека) — 49.

Толстой Алексей Николаевич (1882—1945) — 483.

«Бунт машин» (1924) — 483.

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 257, 333, 335, 375.

Томан Карел (Антонин Бернашек; 1877—1946), чешск. поэт — 65, 299.

Тон Ян (1886—1973), чешск. историк и литератор — 266.

Топич Франтишек (1858—1941), чешск. издатель и книго-торговец — 461.

Торндайк Дейм Сибил (1882—1976), англ. актриса — 147.

Трактат — см. По Э.-А. «Философия творчества».

Третьяков Сергей Михайлович, см. наст. изд., с. 546—483—485.

«Тропинки», книжная серия «Документов эстетического творчества», выходившая с 1937 г. под ред. Я. Мукаржовского в изд-ве «Ф. Боровый» — 429.

Тршебизский — см. Бенеш-Тршебизский.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 372.

Туринский Франтишек (1797—1852), чешск. драматург — 322.

Тыл Йозеф Каэтан (1808—1856), чешск. драматург, прозаик и поэт — 322.

Тээр Отакар (1880—1917), чешск. поэт — 374.

Уайльд Оскар Фингал О'Флаэтри Уилс (1854—1900) — 15, 48.

«Портрет Дориана Грея» (1891) — 15, 50.

«Саломея» (1893) — 15.

Уарвик Дези, графиня, англ. социалистка — 390, 393.

Удржал Франтишек (1866—1938), чешск. буржуазный политик, видный деятель аграрной партии, в 1929—1932 гг. премьер-министр Чехословакии — 406.

Уитмен Уолт (1819—1892) — 178, 371.

«Умелецки месичник», чешск. художественный журнал, выходил в Праге с 1911 г. (первое полугодие под ред. Й. Чапека) — 71, 296, 305.

Уэллс Герберт Джордж (1866—1946) — 147, 208, 243, 281, 312, 383, 384, 385, 388—393, 474.

«Анна-Вероника» (1909), роман — 392.

«История мистера Полли» (1910) — 392.

«Краткая история мира» (1922) — 390.

«Люди как боги» (1923) — 393.

«Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (1916) — 390.

«Неугасимый огонь» (1919), роман — 392.

«Опыт биографии» (1934) — 392.

«Современная утопия» (1905) — 390.

«The Book of Catherine Wells» (1928) — 392.

Уэллс Джипп, сын Г. Уэллса — 390, 391.

Уэллс Катерина (Кэтрин), жена Г. Уэллса — 390—393.

«The Book of Catherine Wells» (1928) — 392.

Уэст Ребекка (Сесили Изабел Ферфилд; р. 1892), англ. писательница — 147, 385, 388, 389, 392.

«Возвращение Война» (1920) — 388.

«Судья» (1922) — 389.

Фабрициус Йохан (р. 1899), голл. писатель — 242, 310—311, 342.

«Фантомас» (1911—1912), роман фр. писателей Пьера Сувестра (1874—1914) и Марселя Аллена (1885—1969) — 360.

Фарадей Майкл (1791—1867), англ. физик — 383.

Фейерштейн Бедржих (1892—1936), чешск. архитектор и театр, художник — 371, 433.

Фейхтвангер Лион (1884—1958) — 243.

«Фигаро», фр. газ., выходит в Париже с 1856 г. — 366.

Филла Эмиль (1882—1953), чешск. художник, скульптор и теоретик искусства — 266, 305, 356.

Фирт Леопольд, врач (1894—1968), чешск. врач, друг К. Чапека — 455.

Фишер Отокар (1883—1938), чешск. филолог, поэт и драматург, друг К. Чапека — 299, 345, 374, 475—477, 478, 479, 481, 482.

«История двойника» (статья из сб. «Душа и слово») — 478.

Флэгель Карл Фридрих (1729—1788), нем. литературовед и историк культуры, автор труда «История комического гротеска» (1788) — 367.

Фоустка Иржи, см. наст. изд., с. 527 — 370—376.

Фоусткова Зденка (р. 1890), сестра И. Фоустки — 370.

«Франтишек Боровый» (1912—1949), пражск. изд-во — 352, 461.

Франс Анатоль (Анатоль Франсуа Тибо; 1844—1924) — 478.

Франта — 29.

Фрейд Зигмунд (1856—1939) — 315.

Фрич Альберто Войтех (1882—1944), чешск. путешественник, этнограф, естествоиспытатель; увлекался разведением кактусов — 279.

Фрич Йозеф (1900—1973), чешск. поэт — 433.

Фрич Мартин, см. наст. изд., С. 539 — 452—454.

«Гордубалы» (1937) — 452—453.

«Рассказы Карела Чапека» (1947) — 453.

«Яношик» (1935) — 452.

Фукса Франтишек (1859—1935), директор пражск. Виноградского театра в 1913—1935 гг. — 137.

Фучик Юлиус, см. наст. изд., с. 542 — 433, 461, 462. 463—466, 481.

Хаксли Олдос Леонард (1894—1963), англ. писатель — 393.

Халупный Эмануэль (1879—1958), чешск. социолог, публицист, историк литературы — 292.

Харват Йозеф (*профессор*), см. наст. изд., с. 540 — 237—238, 450, 451, 455—456.

Хвалковский Франтишек Карел (1885—1947), чешск. министр иностранных дел, окт. 1938 — март 1939 — 415.

Хемингуэй Эрнест Миллер (1899—1961) — 435.

«Писатель и время» (1937), речь — 435.

Хорнимен Энни Элизабет Фредерика (1860—1937), англ. театр. предпринимательница — 387.

Хорти Миклош (1868—1957), фашистск. диктатор Венгрии в 1920—1944 г. — 325, 326, 327.

«Цветок прерий» (1920), пьеса М.-С. Селби (псевд. чешск. драматурга Антонина Фенция, 1881—1952) — 129.

Чадская Анна, танцовщица в пражск. кабаре «Монмартр» — 268.

Чапек Антонин, *отец, папенька, врач, доктор, родители, наши* (1855—1929), чешск. врач., отец К. Чапека — 13, 25, 26, 28, 30, 32—33, 39, 43, 44, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 65, 66, 67—69, 74, 76, 83—87, 88, 97, 98—99, 112, 113, 115, 116, 124, 128, 131, 132, 156—157, 175, 239, 268, 269, 275, 288—289, 299, 301, 313—314, 349, 352, 355, 356, 397, 404.

Чапек Йозеф (1860—1940), крестьянин, дядя К. Чапека со стороны отца — 98.

Чапек Йозеф (*Печа, брат, старший брат*), см. наст. изд., с. 495—10—24, 25—27, 28—30, 31, 32—33, 36, 39—86, 89, 92—96, 98, 112—113, 116, 117, 121, 157—158, 171, 251—252, 266—276, 278, 281, 282, 285, 287—288, 292, 293, 294, 297, 299, 300—301, 305, 307, 308, 313, 316, 317, 319—320, 328, 332, 349, 352, 354—357, 358, 360—365, 370—371, 374—375, 377, 394, 397—398, 399, 404,

- 408, 409, 411, 414, 416, 420, 422—423, 429, 433—434, 437, 456, 469—470, 480, 481, 482, 484, 492.
- «Воспоминания» — см. «О себе».
- «Для дельфина» (1923), сб. рассказов и эссе — 53.
- «Искусство примитивных народов» (1938) — 361.
- «Лелио» (1917), сб. рассказов и лирических миниатюр — 10, 53.
- «О себе» (1958), см. наст. изд., с. 498 — 18—24, 52, 345.
- «Самое скромное искусство» (1920), книга эссе — 75.
- «Стихи из концлагеря» (1946) — 480.
- Чапек Карел (*Кодл, Кадличек, Иченек, Плоцек*; 1890—1938) — *passim*.
- «Английский театр» (1924), статья — 387.
- «Апокрифы» (см. также «Книга апокрифов») (1932) — 478.
- «Белая болезнь» (1937), драма — 7, 195, 247, 248—249, 297, 298—299, 305, 318, 328, 331—332, 412, 416, 441, 444, 445, 466, 489.
- «Были у меня собака и кошка» (1939) — 281.
- «Ветвь и лавр» (1947), сб. биографич. медальонов, составитель — М. Галик — 71.
- «В замке» (см. «Мучительные рассказы») — 71, 373.
- «В молодые годы» (1913), стих. (см. «Возбужденные танцы») — 144.
- «Возбужденные танцы» (1946), сб. стихов, составитель М. Галик — 40.
- «Война с саламандрами» («Саламандры»; 1936) — 141, 174, 178, 184, 185, 301, 305, 318, 375, 409, 424—425, 426, 486, 490.
- «В плену слов» (1933), эссе — 3, 40.
- «Год садовода» (1929), книга эссе — 96, 277, 279—280, 347, 397.
- «Голубая хризантема» (см. «Рассказы из одного кармана») — 70.
- «Гордубал» (1933), роман — 94, 159, 257, 301, 347, 406, 411, 452—453, 490.
- «Дашенька, или История щенячьей жизни» (1933), книга для детей — 181, 282, 284—285, 347.
- «Двенадцать приемов полемики, или Пособие по газетным дискуссиям» (см. «Марсий, или По поводу литературы») — 305, 334.
- «Жизнь и творчество композитора Фолтына» (1939), роман — 228—230, 233, 234, 264—265, 308.
- «Зал ожидания» (см. «Распятие») — 66.
- «История без слов» (см. «Распятие») — 460.
- «Как это делается» (1938), книга эссе — 480.
- «Картинки Голландии» (1932), книга путевых очерков — 52, 309, 342, 400.
- «Книга апокрифов» (1945) — 296.
- «Книга Иова» — см. «Черная година».
- «Кракатит» (1924), роман — 44, 71, 90—91, 145—146, 257, 308, 344, 368, 376.
- «Красный фонарь» (ненайденное стих.) — 349.
- «Критика слов» (1929), книга эссеист. миниатюр — 72, 309, 434.

«Легко и быстро» (1922), юмореска — 334.

«Малые нации» (1927), статья — 475.

«Марсий, или По поводу литературы» (1931), книга эссе — 309, 429, 480.

«Мать» (1938), драма — 201, 203—204, 206, 249, 257, 298, 305, 332—333, 369, 413, 416, 441, 442, 444, 445—446, 453, 471, 492.

«Метеор» (1934), роман — 94, 159, 160, 257, 347, 406—407, 427, 429.

«Молитва» — 224.

«Молитва этого вечера» (1938) — 414.

«Молчание с Масариком» (1935), эссе — 484.

«Мучительные рассказы» (1921) — 71, 308, 373.

«Обыкновенная жизнь» (1934), роман — 94, 159, 257, 344—345, 367, 406, 466.

«Объективный метод в эстетике» (1915), диссертация (дипломная работа) — 427.

«О литературе» (1924), статья — 435.

«О себе» (1925), статья — 345.

«Первая спасательная» (1937), роман — 94, 195—197, 329—331, 368—369, 411, 466.

«Письма из Англии» (1924), книга путевых очерков — 52, 91, 147, 380, 383, 386—387, 400, 415.

«Письма из Италии» (1923), книга путевых очерков — 52, 91, 400.

«Письма с родины» (замысел книги) — 189, 193.

«Похвала газетам» (см. «Марсий, или По поводу литературы») — 480.

«Похвала чешскому языку» (см. «Марсий, или По поводу литературы») — 309, 429.

«Почему я не коммунист?» (1924), ответ на анкету — 472.

«Прогулка в Испанию» (1930), книга путевых очерков — 52, 282, 313, 400.

«Пролетарское искусство» (1925), статья — 430.

«Путешествие на Север» (1936), книга путевых очерков — 52, 188, 254, 282, 311, 400.

«Пылающее сердце дома» (1922), фельетон — 83.

«Разбойник» (1920), комедия — 44, 75, 76—77, 103—105, 107—111, 120—122, 142, 218, 239, 257, 291, 301, 323, 324, 332, 347, 361—362, 364, 368, 403, 434, 435, 459, 466.

«Разговоры с Т.-Г. Масариком» (1928—1935) — 289, 318, 484.

«Распятие» (1917), книга рассказов — 10, 66, 100, 308, 315, 333, 335, 373, 460.

«Рассказы из обоих карманов» (см. «Рассказы из одного кармана» и «Рассказы из другого кармана») — 296, 428, 476.

«Рассказы из одного кармана» (1929) — 70, 94, 290, 336, 401, 428, 476.

«Рассказы из другого кармана» (1929) — 401, 428, 476.

«Рекорд» (см. «Рассказы из одного кармана») — 336.

«RUR» («Роботы», драма о роботах, 1920) — 78—79, 124, 125—129, 184, 207, 301, 368—369, 383, 386, 446—447, 483.

«След» (см. «Распятие») — 315.

«Спящая любовь» (1912), стих.

(см. «Возбужденные танцы») — 45—46.

«Средство Макропулоса» (1922), комедия — 88, 89, 90, 257, 275, 298, 386, 396, 441.

Трилогия (см. «Гордубал», «Метеор», «Обыкновенная жизнь») — 94, 159.

«Три статьи о патриотизме» (1935) — 64.

«Удивительные сны редактора Коубека» (1930), памфлет — 324.

«Фабрика Абсолюта» (1922), роман — 88—89, 346, 377.

«Французская поэзия нового времени» (1920), книга переводов — 53, 69, 178, 305, 373, 492.

«Холодный» (см. «Критика слов») — 72.

«Черная година» («Книга Ио-ва», 1938), незаконченная и утерянная рукопись романа — 226—227, 264—265.

«Элегия» («След» II) (см. «Распятие») — 460.

Чапеки Йозеф и Карел (братья Чапек):

«Автобиографическое предисловие» (1918) — 10—16.

«Адам-творец» (1927), («Творец»); комедия — 94—96, 177, 297, 298, 367, 440.

«Афоризмы II» — см. «Сад Краконоша» — 62, 63.

«Из жизни насекомых» (1921) (*сатира о насекомых*), комедия — 77, 79, 251—252, 257, 259, 297, 301, 323, 332, 367, 386.

«Creatura naturans» (см. «Сад Краконоша») — 61.

«L'éventail» («Веер») (см. «Сияющие глубины») — 272—273, 367.

«Любви игра роковая» (см.

«Сияющие глубины») — 271, 356, 367.

«Пенелопа» — см. «Афоризмы II» — 62.

«Сад Краконоша» (1918), книга рассказов, юморесок, прозаических миниатюр — 11, 17—18, 41—42, 53, 61, 62, 63, 268, 270, 274, 285, 304, 371.

«Сияющие глубины» (1916), книга рассказов — 10, 53, 271, 272—273, 308, 352, 367, 401, 420, 466.

Чапек-Ход (Чапек) Карел Матей (1860—1927), чешск. писатель — 71, 91, 299.

Чапкова Алена (1923—1971), дочь Й. Чапека — 83, 397.

Чапкова Божена (*мама, маменька, родители, наши*) (1866—1924), мать К. Чапека — 18, 19, 20, 25, 26, 30—31, 32, 35, 39, 42—44, 46, 49, 54, 56—57, 60—61, 65, 67—69, 74, 76, 83, 84—85, 92, 97, 112, 116, 124, 128, 131, 269, 275, 355, 356.

Чапкова Гелена (*сестра, Изабелла*), см. наст. изд., 500 — 18, 19, 25 — 99, 112—113, 115, 116, 121, 157, 275, 288, 422, 481.

«Мои милые братья» (1962) — 422.

Чаплин Чарлз Спенсер (1889—1977) — 51.

«Собачья жизнь» (1918), фильм — 51.

«Час» («Время»; 1887—1915, 1920—1923), чешск. либерально-буржуазная газ., издавалась последователями Т.-Г. Масарика — 398.

Чебиш Франтишек (1895—1961), пражск. виноторговец — 286.

Чемберлен Остин (1863—1937), министр иностранных дел Великобритании в 1925—1929 гг. — 405, 418.

Чеп Ян (1902—1974), чешск. писатель, эмигрировал в 1948 г. — 423.

«Червен» («Июнь»; 1918—1919), чешск. журнал, выходил в Праге под ред. С.-К. Неймана — 433.

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874—1965)—392—393.

Честертон Гилберт Кит (1874—1936), англ. писатель — 79, 147, 323, 383, 384, 385.

Чех Сватоплук (1846—1908), чешск. поэт и прозаик — 468.

Чехов Антон Павлович (1860—1904)—376.

«Чехословацкий писатель» (с 1949 г.), чешск. изд-во — 422.

Шайнпфлог-старший Карел (*отец*; 1869—1948), чешск. писатель и журналист, отец О. Шайнпфлоговой — 100, 101, 108, 110, 122, 125, 132—133, 140.

Шайнпфлог-младший Карел (*брат*), см. наст. изд., с. 515 — 253—255, 259—265.

Шайнпфлогова-Конрадова Божена (р. 1901), сестра О. Шайнпфлоговой — 76.

Шайнпфлогова Ольга, см. наст. изд., 506 — 76, 96—98, 100—258, 259—260, 262—263, 289, 291, 297, 308, 313, 327, 346, 381, 388, 410, 411, 426, 443, 453, 455, 485, 488, 489.

Шальда Франтишек Ксавер (1867—1937), чешск. критик — 65, 90, 305, 318, 359, 433, 452.

«Ребенок» (1923), комедия — 90.

Шарп Уильям (псевдоним — **Фиона Маклеод**; 1855—1905), англ. писатель — 52.

«Ветер и волны» (чешск. перевод книги «Смех Петеркина: пересказ древних преданий чудесной страны кельтов», 1897) — 52.

Шатобриан Франсуа Рене де (1768—1848), фр. писатель — 350.

«Атала, или Любовь двух дикарей» (1801), повесть — 350.

Швегла Антонин (1873—1933), чешск. политик и гос. деятель, лидер аграрной партии, премьер-министр в 1922—1926, 1926—1929 гг. — 406.

Шекспир Уильям (1564—1616) — 161, 335, 384, 385, 387, 432, 476.

«Зимняя сказка» (1611) — 384.

«Сон в летнюю ночь» (1596) — 161.

«Троил и Крессида» (1602) — 387.

Шелли Перси Биши (1792—1822), англ. поэт, писатель — 246, 450.

«Ченчи» (1819), трагедия — 246, 439, 450.

Шёнберг Арнольд (1874—1951), австр. композитор — 45.

Шнееганс Гейнрих (1863—1914), нем. филолог, автор книги «История гротескной сатиры» (1894)—367.

Шолиак Леон, фр. художник-самоучка — 363.

Шопен Фридерик (1810—1849)—45, 92.

Шоу Джордж Бернард (1856—1950) — 147, 281, 298, 322, 323, 324, 335, 383, 384, 385—388, 393, 405, 407.

«Назад к Мафусаилу» (1921), пятичастная философск. драма — 386.

«Орлеанская дева» (правильно «Святая Иоанна»; 1923) — 387, 388.

Шоу Шарлотта, жена Д.-Б. Шоу — 386.

Шофер — см. Мотл Вацлав.

Шпала Вацлав (1887—1924), чешск. художник, друг братьев Чапек — 244, 266, 320, 356, 371, 484.

Шпенглер Освальд (1880—1936), нем. философ и историк — 481.

«Закат Европы» (1—2 т., 1918—1922) — 481.

Шрамак Франя (1877—1952), чешск. писатель, друг К. Чапека — 65, 83, 260, 261, 269, 290, 297, 299, 302, 306, 312, 396—397, 433.

«Западня» (1931), роман — 306.

Штедронь Богумир (р. 1905), чешск. музыковед — 90.

Штейнбах Карел, чешск. врач, друг О. Шайнпфлюговой и К. Чапека; уехал из Чехии, спасаясь от нацистов, живет в США — 450, 451.

Штепанек Зденек, см. наст. изд., с. 539 — 247; 445, 448—451.

Штепанкова Яна, дочь З. Штепанека — 451.

Штех Вилем Вацлав, см. наст. изд., с. 524—266, 267, 274, 320, 354—365.

Шторх-Мариен Отакар (1897—1974), чешск. издатель и литератор, владелец изд-ва «Авентин», в котором с 1921 по 1931 г. выходили все книги братьев Чапек — 363.

Штрассер Георг (Грегор;

1892—1934), нем. национал-социалист, в 1932 г. вышел из фашистск. партии, в 1934 г. был убит во время путча Э. Рема — 408.

Штреземан Густав (1878—1929), министр иностранных дел Германии в 1923—1929 гг. — 405.

Штурса Ян (1880—1925), чешск. скульптор — 266.

Шуберт Франтишек Адольф (1849—1915), чешск. драматург — 322.

Шуман Роберт (1810—1856) — 45.

«Aufschwung» (1838) — 45.

Шункова Гелена (ум. в 1976 г.), экономка К. Чапека — 87, 170, 172, 230, 295, 314—315.

Шуста Йозеф (1874—1945), чешск. историк — 398.

Эванс Эдит (1888—1976), англ. актриса — 147.

Эдуард VII (1841—1910), англ. король с 1901 г. — 393.

Эзоп (VI в. до н.э.) — 273.

Эйнштейн Альберт (1879—1955) — 245.

Эйсмонт Юлиан (1892—1930), польск. поэт, сатирик, переводчик — 202.

Эль Греко (Доменико Теотокопули; 1541—1614) — 371.

Энциклопедия Отто — см. «Научный словарь Отто».

Эразм Роттердамский (Герхард Герхардс; 1466—1536) — 411.

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967), см. наст. изд., с. 547—486.

Эсквайр, англ. журналист, муз. критик — 415—419.

Юнгман Йозеф (1773—1847),
чешск. филолог и переводчик —
350.

Якобсен Енс Петер (1847—
1885), датск. писатель — 38.

Янак Павел (1882—1956),
чешск. архитектор — 266.

Яначек Леош (1854—1928),
чешск. композитор — 80, 88, 89—
90, 422.

«Лиса Плутовка», полное на-
звание «Похождения лисы Плу-
товки» (1923), опера — 90.

«Средство Макропулоса»
(1925), опера — 88—89, 90.

СОДЕРЖАНИЕ

- С. Никольский.* О сборнике «Карел Чапек в воспоминаниях современников» 5

ВОСПОМИНАНИЯ

- Карел и Йозеф Чапек.* Автобиографическое предисловие. *Перевод С. Никольского* 10
- Йозеф Чапек.* Ко второму изданию «Сада Краконоша». *Перевод О. Малевича* 17
- Из книги «О себе». *Перевод О. Малевича* 13
- Гелена Чапкова.* Из книги «Маленькая девочка». *Перевод О. Малевича* 25
- Из книги «Мои милые братья». *Перевод А. Аникст* 25
- Ольга Шайнпфлюгова.* Из книги «Чешский роман». *Перевод В. Каменской и О. Малевича* 100
- Карел Чапек и Мале Сватонёвице.* *Перевод О. Малевича* 238
- Карел Чапек* вблизи. *Перевод О. Малевича* 241
- Из рассказов о Кареле Чапеке. *Перевод О. Малевича* 245
- Весело о Кареле Чапеке. *Перевод О. Малевича* 250
- Живой, как никто из нас. *Перевод О. Малевича* 255
- Карел Шайнпфлюг.* Чистый человек. *Перевод И. Бернштейн* 259
- Осень с Карелом Чапек. *Перевод И. Бернштейн* 261
- Франтишек Лангер.* Из книги «Были и было». *Перевод В. Каменской и О. Малевича* 266
- Эдмонд Конрад.* Из книги «О чем вспомню». *Перевод В. Каменской и О. Малевича* 319
- Эмиль Вахек.* Из книги «Воспоминания о старом Градце». *Перевод О. Малевича* 348
- Антонин Новотный.* Из статьи «Школьный товарищ Карел Чапек». *Перевод И. Бернштейн* 350
- В.-В. Штех.* Из книги «В затуманенном зеркале». *Перевод В. Каменской и О. Малевича* 354
- Из книги «За оградой отчизны». *Перевод В. Каменской и О. Малевича* 357
- Богумил Матезиус.* Вспомни про Форт-Шаброль, Карел Чапек! *Перевод И. Бернштейн* 366
- Иржи Фоустка.* Из писем. *Перевод О. Малевича* 370
- Эдуард Басс.* Из статьи «Сотрудник редакции». *Перевод И. Бернштейн* 377

<i>Отакар Вочадло.</i> Из книги «Письма из Англии Карела Чапека».	
<i>Перевод И. Бернштейн</i>	380
<i>Карел Полачек.</i> Пятница. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	394
<i>Франтишек Кубка.</i> Карел Чапек и завсегдатаи «пятниц». <i>Перевод Н. Зимяниной</i>	396
<i>Витезслав Незвал.</i> Из книги «Из моей жизни». <i>Перевод О. Малевича</i>	420
<i>Эдуард Валента.</i> Из письма. <i>Перевод О. Малевича</i>	422
<i>Ян Мукаржовский.</i> Карел Чапек — писатель. <i>Перевод В. Каменской</i>	426
<i>Адольф Гофмейстер.</i> Воля к обычному (Из выступления на международном симпозиуме). <i>Перевод В. Каменской</i>	432
<i>Вацлав Выдра.</i> Мое знакомство с Карелом Чапеком. <i>Перевод В. Каменской</i>	439
<i>Леопольда Досталова.</i> С восхищенным и благодарным уважением... <i>Перевод В. Каменской</i>	441
<i>Карел Достал.</i> Чапек и его режиссер. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	444
<i>Зденек Штепанек.</i> Из книги «Актер». <i>Перевод В. Каменской</i>	448
<i>Мартин Фрич.</i> Карел Чапек и кино. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	452
<i>Йозеф Хорват.</i> Воспоминание о Кареле Чапеке. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	455
<i>Йозеф Копта.</i> Руки Карела Чапека. <i>Перевод В. Каменской</i>	457
<i>Анна Мариш Тильшова.</i> Улыбка Карела Чапека. <i>Перевод В. Каменской</i>	459
<i>Карел Конрад.</i> Карел Чапек и пражские рабочие. <i>Перевод О. Малевича</i>	461
<i>Юлиус Фучик.</i> Чапек живой и мертвый. <i>Перевод А. Соловьевой</i>	463
О чем я думал у гроба Чапека. <i>Перевод А. Соловьевой</i>	465
<i>Ладислав Новомеский.</i> Последний путь Чапека. <i>Перевод О. Малевича</i>	467
Неуверенность, страх, гибель — судьба человека? (Выступление на международном симпозиуме). <i>Перевод О. Малевича</i>	469
<i>Ромен Роллан.</i> Из «Интимного дневника». <i>Перевод О. Малевича</i>	474
<i>В. Т. Адамс.</i> Из «Воспоминаний о Кареле Чапеке и Отокаре Фишере»	475
<i>Сергей Третьяков.</i> Создатель «робота»	483
<i>Илья Эренбург.</i> Из книги «Люди, годы жизнь»	486
<i>Эрика Манн.</i> Последняя беседа с Карелом Чапеком. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	487
<i>Луи Арагон.</i> О Чапеке	492
Комментарии	493
Указатель имен и названий	550

Ч-19 Карел Чапек в воспоминаниях современников. Пер. с чеш. / Предисл. С. В. Никольского; Сост. и коммент. О. М. Малевича. — М.: Худож. лит., 1983. — 575 с. (Серия лит. мемуаров).

В сборник вошли наиболее значительные и достоверные воспоминания о выдающемся чешском писателе Кареле Чапеке. Среди них воспоминания жены Чапека — народной артистки и писательницы Шайнпфлюговой, сестры К. Чапека — писательницы Гелены Чапковой, писателей и деятелей искусства — современников К. Чапека — Ф. Лангера, К. Полачека, Ф. Кубки, Л. Новомеского и других.

Ч $\frac{4703000000-368}{028(01)-83}$ 138-82

8 И (Чехосл)

**КАРЕЛ ЧАПЕК
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ**

Составитель

Олег Михайлович Малевич

Редактор В. Мартемьянова

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор М. Мельникова

Корректоры Г. Киселева и О. Наренкова

ИБ. 2093

Сдано в набор 09.04.81. Подписано в печать 17.06.82. Формат 84X108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24+1 вкл.+альбом=31,13. Усл. кр.-отт 31,55. Уч.-изд. л. 31,22+1 вкл.+альбом =31,94. Тираж 75 000. Изд. № V-253. Заказ 1343. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», ГСП, 107882, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрировано в типографии издательства Татарского обкома КПСС, Казань, ул. Декабристов, 2. Отпечатано на Киевской книжной фабрике республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР. Киев, Воровского, 24.



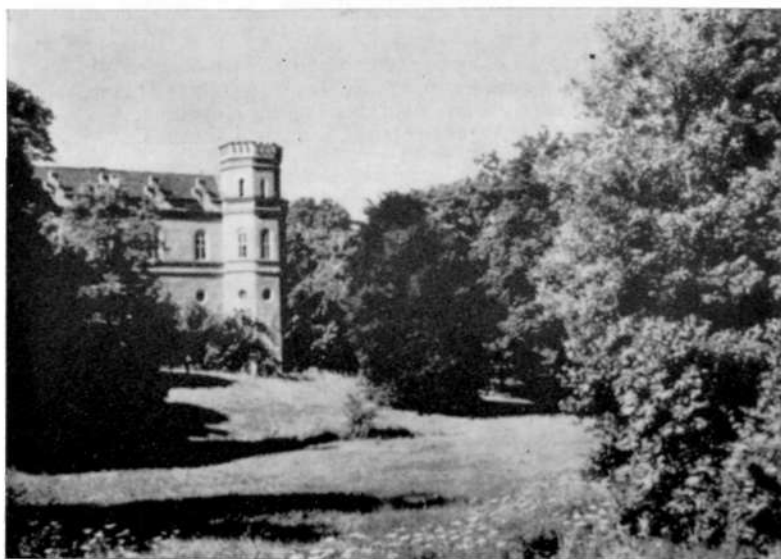


Карел Чапек в саду родительского дома в Упице.
Слева направо в верхнем ряду: К. Чапек, его брат Йозеф,
сестра Гелена; внизу: бабушка Гелена Новотная,
отец писателя Антонин Чапек, его жена Божена.



Чапек-гимназист
(1905 г.).

Замок в Хиже.





Братя Чапек.



Молодой Чапек.



К. Чапек
и О. Вочадло.
Сарбитон, Англия.



Вилла братьев Чапек
в Праге.



Ольга Шайнпфлюгова
в роли Кристины
(К. Чапек. «Средство
Макропулоса», 1922 г.).



Свадебная фотография К. Чапека и О. Шайнпфлюговой,
1935 г.



К. Чапек,
Йозеф Чапек и
Витезслав Незвал
подписывают
свои книги
(1934 г.).



Карел Чапек
в саду.



Эмиль Вахек.



Йозеф Копта.



Эдмонд Конрад.



Франтишек Кубка.



Франтишек Лангер.



Карел Полачек.



Эдуард Валента.

Йозеф Харват.



В.-В. Штех.



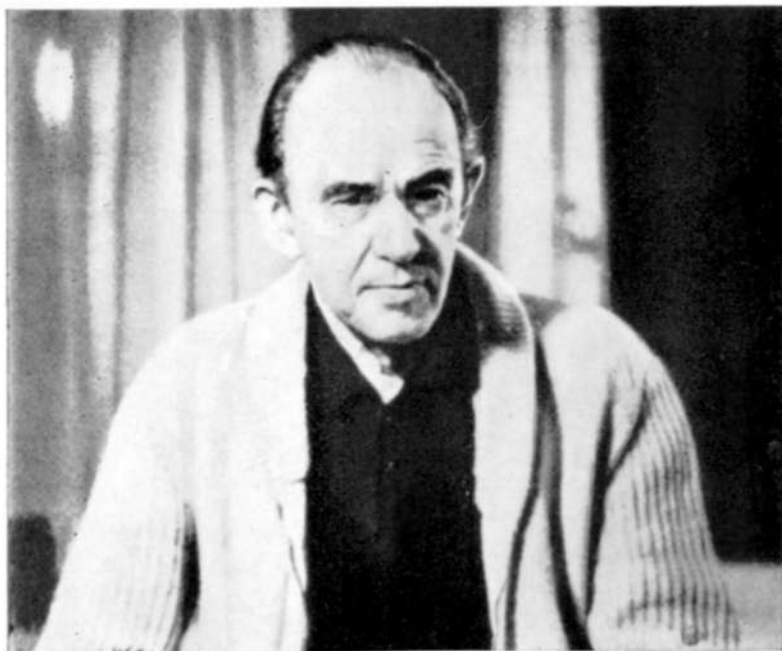
Юлиус Фучик.



Карел Конрад.



Лацо Новомеский.



Мартин Фрич.



Луи Арагон.



Вильмар Адамс.

Ромен Роллан.



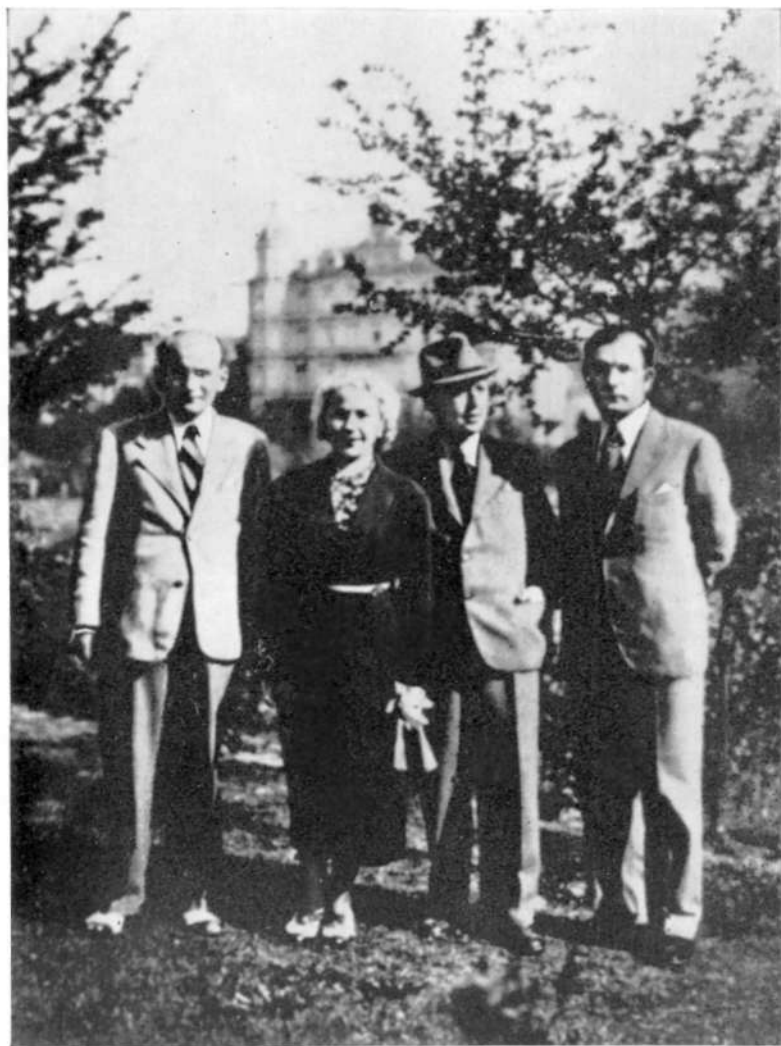
Сергей Третьяков.



Томас Манн
и Эрика Манн.



Карел Новый
и Илья Эренбург.



Ян Мукаржовский, Ольга Шайнфлюгова, Карел Чапек,
доктор Гюбнер (Карловы Вары, 1935 г.).



К. Чапек и Г. Уэллс (лето 1938 г., Прага).



Кабинет К. Чапека в Стржи.



Карел Чапек подписывает свои книги (1933 г.).